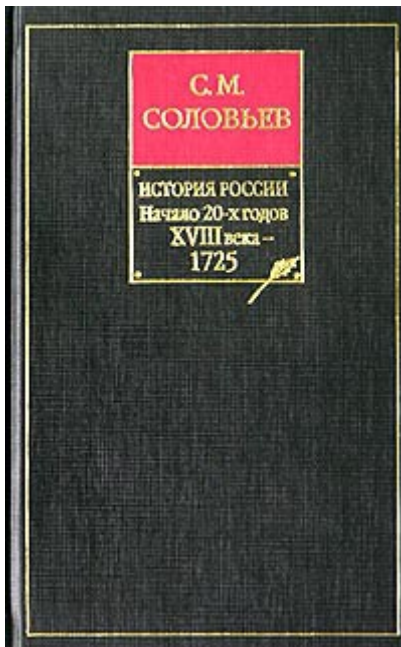


Сергей Михайлович Соловьев
История России с древнейших времен. Книга IX. Начало 20-х годов
XVIII века – 1725

История России с древнейших времен – 9



Аннотация

Девятая книга сочинений С.М. Соловьева включает семнадцатый и восемнадцатый тома «Истории России с древнейших времен». В них продолжено начатое в предыдущих томах повествование о царствовании Петра I, освещены события внешней политики России, изменения внутри страны, годы, последовавшие за смертью императора.

Сергей Михайлович Соловьев
«История России с древнейших времен»
Книга IX. Начало 20-х годов XVIII века – 1725

Семнадцатый том

Глава первая

Продолжение царствования Петра I Алексеевича

Несогласные действия союзников, датчан и саксонцев, в войне со шведами. – Кросенские постановления. – Обстановка союзников под Штральзундом. – Отношение к Англии и Голландии. – Отправление Менишкова в Померанию. –

Затруднительное положение русского посланника князя Долгорукого в Дании. – Потеря кампании 1712 года. – Грусть Петра. – Датчане и саксонцы поражены шведами под Гадебушем. – Посредничество Англии и Голландии. – Условия Петра. – Инструкция Меншикову. – Свидание Петра с курфюрстом ганноверским и с королем прусским. – Виды Пруссии. – Действия русских в Финляндии. – Действия Меншикова в 1713 году. – Голицинский министр Гёриц. – Дело о секвестре померанских городов. – Сдача Штетина Меншикову. – Штетин отдан Пруссии. – Неудовольствие по этому случаю в Дании. – Враждебность Англии и Голландии к России. – Решительность Петра сдерживает эти державы. – Посольство Ягужинского в Данию. – Голицинские предложения царю посредством Бассевича. – Дело о союзе с ганноверским курфюрстом. – Действия русских в Финляндии в 1714 году. – Приступление Пруссии и Ганновера к Северному союзу. – Осада Штральзунда. – Сдача этого города союзникам. – Переговоры князя Куракина с английскими министрами насчет условий мира с Швециею. – Петр выдает племянницу за герцога мекленбургского. – Следствия этого брака. – Столкновение Петра с союзниками по поводу Висмара. – Приготовления к высадке в Швецию со стороны Дании. – Петр отлагает высадку. – Смута между союзниками по этому случаю. – Свидание Петра с прусским королем в Гавельсберге. – Пребывание в Голландии. – Сношения с Англиею. – Отношения России к Франции и поездка Петра в Париж. – Договор России с Франциею. – Конференции князя Куракина о мире с Швециею. – Постановления о будущем конгрессе на Аландских островах. – Переговоры с Даниею. – Отношения к Пруссии. – Переговоры с Англиею. Сношения с австрийским двором.

При рассматривании внутренней преобразовательной деятельности в России от 1711 до 1721 года по самому ходу дел нельзя не заметить отсутствия, иногда очень продолжительного, царя-преобразователя. Это отсутствие условливалось затянувшеюся заграничною войною. В прутском несчастье Петр утешал себя и других тем, что по крайней мере прекращение турецкой войны даст возможность сосредоточить все силы на западе и кончить поскорее шведскую войну выгодным миром; но и эта надежда на скорое окончание тяжелой войны не оправдалась благодаря слабому содействию союзников.

По возвращении из турецкого похода, не могшего не подействовать разрушительно на физическое здоровье Петра, он, прежде чем начать новые труды, должен был отправиться осенью 1711 года в Карлсбад для пользования тамошними водами. 15 сентября царь начал употреблять воды, 3 октября уже выехал из Карлсбада и 14 числа в Торгау отпраздновал брак сына своего, царевича Алексея, с принцессою вольфенбительскою. Между тем со сцены военных действий приходили неприятные вести. Штральзунд был осажден союзными войсками – русскими, саксонскими и датскими; но вот что писал Петру находившийся в то время там князь Григорий Фед. Долгорукий от 3 сентября: «Войска наши, датские и саксонские находятся при Штральзунде, а действия еще никакого не начали, затем что министры и генералы не могли согласиться насчет того, как начинать дело, а согласиться не могут больше по своим злобам и гордости. Со стороны короля польского желают наперед добывать остров Рюген,

дабы там неприятельскую кавалерию уничтожить и продовольствие получить с острова, а потом уже добывать крепость. Со стороны короля датского больше желания, оставя короля польского под Штральзундом, добывать Висмар. От этих несогласий, министерских злоб и перекогов хотели, ничего не сделавши, разъехаться. Мы с князем Васильем Лукичом Долгоруким всеми силами трудимся не только министров и генералов, но и их величества до согласия привести, и думаю, что прежде станут добывать остров Рюген».

Долгорукому хотелось, чтобы король датский имел личное свидание с Петром, «понеже, – писал князь Григорий, – король датский зело человек гордый и, что изволите с ним постановить, то, чаю, ни для чего не отменит». Но саксонский генерал Флеминг не хотел этого личного свидания между государями и, подговоря с собою датских министров, Выбея и Шака, тайно отправился в бранденбургский город Кросен для свидания с царем и улажения всего насчет будущей кампании. 22 октября в Кросене было совещание, на котором Петр дал Флемингу и датским министрам следующие пункты: 1) необходимо теперь же овладеть Штральзундом, а если нельзя, то по крайней мере островом Рюгеном; 2) зимою надобно договориться с курфюрстом ганноверским о Бремене и Вердене, чтоб к будущей кампании ганноверский двор не мешал, а помогал (именно при дворе английском); 3) военные действия в будущую кампанию, как сухопутные, так и морские, начать рано, именно в апреле-месяце.

Петр из Кросена отправился в Россию, а союзники два месяца понапрасну стояли под Штральзундом, оправдывая себя тем, что не привозили артиллерии и потому нельзя ничего сделать. Решили, что нельзя стоять всю зиму под Штральзундом, надобно отступить; но и тут подняли спор: король польский говорил, чтоб всем союзным войскам, отступя от Штральзунда, зимовать в Померании и удерживать в блокаде Штетин, Штральзунд и Висмар; король Август представлял также, что если теперь все войска оставят Померанию, то на весну им трудно будет снова войти в нее по причине переправ, которые неприятель легко может защищать. Но король датский никак не хотел оставлять войск своих в Померании, представляя, что ему нужно войско для охранения Зеландии зимою, когда Зунд замерзает, и непременно хотел уйти в Голштинию на зимние квартиры. К усилению распри между союзниками королю Августу дали знать, что датский король начинает тайные переговоры со шведами посредством готторпского министра Фондерната. Таким образом, оба короля намеревались выступить из Померании; князьям Долгоруким, Григорию и Василию, стоило большого труда привести их к тому, что они наконец согласились: датскому королю оставить в Померании 6000 человек своего войска, а саксонцам и русским всем зимовать там.

Союзники действуют слабо; а между тем на западе грозит новая опасность: война Англии, Австрии и Голландии против Франции за наследство испанского престола готова прекратиться, что даст этим державам возможность вмешаться в Северную войну. В Англии с большим неудовольствием и подозрительностью смотрели на вступление русских войск в Померанию. Утверждали, что в Карлсбаде у царя и английского посланника Витворта произошел по поводу этого предмета очень крупный разговор, так что посланник счел благоразумнее уйти. Вместо князя Куракина посланником в Англию отправлен был фон дер Лит. Новый посланник доносил в ноябре 1711 года, что государственный секретарь С. Джон (знаменитый Болинброк) говорил: «Союзники в Померании поступают

выше всякой меры: сначала уверяли, что хотят только выгнать оттуда шведский корпус генерала Крассова, а теперь ясно видно, что их намерение – выжить шведского короля из немецкой земли; это уже слишком!» Переговоры о мире между Францией и союзниками должны были производиться в Голландии, и потому сюда на помощь Матвееву отправлен был князь Бор. Иван. Куракин. В ноябре 1711 года Куракин дал знать, что Франция сблизилась с партией тори в Англии и английский посланник объявил голландскому правительству требование, чтоб назначено было место для посольских съездов и чтоб выданы были паспорта французским уполномоченным. Когда депутаты от Штатов сказали ему, что надобно писать во все провинции республики, изведать общее желание, то он отвечал, что его королева решила – быть съезду и если Голландия будет медлить, то Англия одна назначит место для съезда и выдаст паспорта. «Господа голландцы, – писал Куракин, – в великой конфузии находятся. Мое мнение: если эти государства все больше и больше будут приходить в несогласие, то, конечно, в нас нужду иметь будут, и в таком случае, приняв меры, требуемые нашими интересами, не надобно упускать времени заключить с ними хотя оборонительный союз и свой кредит устанавливать; но теперь пока надобно относиться одинаково как к Англии, так и к Голландии». На это донесение канцлер Головкин отвечал Матвееву и Куракину наказом склонять Штаты к приязни и к вступлению в союз с царским величеством; объявить Штатам и цесарским министрам, что в случае продолжения войны их с Францией царь готов помочь им войском от 10 до 15000 человек, и больше за обычные субсидии и даже без субсидий, только на их содержании и жалованьи; взамен этого требовать, чтоб Австрия и Голландия гарантировали России все завоеванное ею у Швеции, в померанском деле царю и его союзникам не только не мешали, но и помогали. Ответ Матвеева был очень неудовлетворителен: «Из всего видим, что на их прямое усердие к исполнению того, чего от них желается, нам отнюдь опираться нельзя и никакой надежды возлагать на них не следует; притом плохой успех дел наших в Померании не может внушить им большой охоты помогать нам против шведского короля».

И так надобно было хорошо вести дело в Померании, чтоб заставить Австрию и Голландию благоприятно смотреть на наше предложение.

1 марта 1712 года отправился в Померанию с войском князь Меншиков, а князь Василий Лукич Долгорукий должен был хлопотать дипломатическим путем, чтоб союзники действовали дружно.

Задача была тяжелая; прежде всего шли взаимные обвинения в желании заключить отдельный мир с Швецией: время на конференциях проходило в том, что с обеих сторон уверяли в несправедливости подобных обвинений. Долгорукий настаивал, чтоб датчане выслали флот в море как можно раньше; датские министры отговаривались неимением денег. Долгорукий настаивал, чтоб действовать дружно в Померании; датчане считали выгоднее и легче для себя овладеть Бременом. Долгорукий в донесениях своих царю изъяснял опасения, что отдельный мир между Даниею и Швецией может состояться, и приводил основание своим опасениям: великую скудость денежную; все единогласно говорили, что войску жалованья давать нечего; министры и генерал Шульц, имеющие особенное влияние на короля, – люди нерасторопные, скупают множеством трудных дел и слышат народную злобу на себя за войну, а народ

раздражает противная министрам партия Плессена и Лента, которая находит доступ и к королю через сестру его; кроме того, датский двор опасался, что если англичане и голландцы успеют помириться с Франциею, то не заставили бы Данию окончить войну без всякой для нее прибыли; голштинский министр Фондернат хлопочет о мире с Швециею, опираясь на Плессена и Лента; министрам грозит опасность и от того, что король хочет переменить метрессу. «Ежели та перемена сделается, все дела здесь переменятся, – писал Долгорукий, – министры не могут ничего сделать против Фондерната, так он утвердил себя в королевской милости чрез карл и камердинеров; кроме того, держит богатый стол и весь двор кормит».

Долгорукий не мог отговорить датского короля от похода в Бременскую область. Чтоб оживить военные действия в Померании, сам царь отправился туда в июне 1712 года; Меншиков стоял под Штетинном, но царь не мог помочь ему овладеть этим городом, потому что датчане отказались дать ему свою артиллерию под тем предлогом, что ее должны доставить саксонцы. Петр писал датскому королю: «Я чаю, что уже вашему величеству известно, что я не только то число войск (которое поставлено в прошлом годе в Ярославле с королевским величеством польским) для здешних действий поставил, но троекратно более умножил, к тому же и сам сюды прибыл, не щадя здоровья своего, чрез всегдашнюю фатигу и нынешний так далекой путь для общих интересов; но при прибытии моем сюда обрел войско праздно, понеже артиллерия, от вас обещанная, не точию прибыла, но когда я вашего вице-адмирала Сегестета яко командира над оною спросил, который мне ответственвал, что она без особенного вашего указа быть сюда не может. Я зело в недоумении, чего для такие перемены чинятся и время так благополучное вотще препровождается, из которого, кроме убытку как в деньгах, а паче в интересах общих и посмеяния от неприятелей наших, ничего нет. Я всегда был и есть готовым своим высоким союзникам все, что интерес общий требует, вспомогать, что всегда с моей стороны исполнено. Ежели же сего моего прошения (о присылке артиллерии) исполнить не изволите, то я пред вами и всем светом оправдаться могу, что сия кампания здесь не от меня опровергнута, и тогда я невиновен буду, что, будучи без действия сам, а людей своих принужден буду вывезть в свою землю, ибо напрасного убытку от дороговизны здешней, а наипаче бесчестия от неприятелей понести не могу. Я здесь все места и их положение осмотрел и, какое может действие воинское ныне и впредь в сей земле быть для искоренения отсель неприятелей, о том послал пункты к вашему величеству. Сами изволите рассудить, что мне ни в том, ни в другом месте собственного интересу нет; но что здесь делаю, то для вашего величества делаю». Кампания пропала даром в Померании, тогда как в Бременской области датчане овладели крепостью Штадом. Как бесчестье неуспеха подействовало на Петра, видно из письма его к Меншикову, когда он 19 августа находился в Вольгасте, а светлейший стоял под Штетинном: «Письмо ваше я получил, на которое ответственвал кроме сокрушения своего не могу, ибо, как я к тебе в другом письме писал, о всем пространно можешь выразуметь, что, если б ветер не переменился, одним днем все было бы исполнено, и что делать, когда таких союзников имеем, и, как приедешь, сам уведаешь, что никакими мерами инако сделать мне невозможно; я себя зело безчастным ставлю, что я сюда приехал; бог видит мое доброе намерение, а их и иных лукавство, я не могу ночи спать от сего трактованья». Так как подобное

трактование обыкновенно отзывалось на здоровье, то Петр в октябре отправился в Карлсбад и Теплиц для лечения. Отдохнувши немного, ему хотелось соединить войска всех союзников и окончить год победою, потому что шведский фельдмаршал Стенбок, собрав последние средства, выступил с 18000 войска из Померании в Мекленбург. Петр писал из Теплица к датскому королю, чтоб тот приехал к своим войскам в Голштинию и соединился с русскими войсками для нападения на неприятеля; потом опять писал о том же из Дрездена 12 ноября: «Надеюсь, что ваше величество признаете необходимость такого действия; паки дружески и братски вас о сем прошу и притом объявляю, что хотя мое здоровье требует спокойствия после лечения, однако я, видя крайнюю нужду, дабы сего полезного дела не пропустить, немедленно отъезжаю к войску». К Меншикову царь писал: «Для бога, ежели случай доброй есть, хотя я и не успею к вам прибыть, не теряйте времени, но во имя господне атакуйте неприятеля».

Из Дрездена Петр поехал в Берлин, а из Берлина, как было обещано датскому королю, отправился к войскам своим в Мекленбургию. 28 ноября царь приехал в местечко Лаго, где была главная квартира русских войск; из Лаго царь выехал в Гистроу, куда велел следовать и войскам. Здесь 7 декабря получено известие, что Стенбок двинулся к Шверину и Гадебушу с тем, чтобы напасть на соединенное датско-саксонское войско, бывшее под начальством самого датского короля и саксонского фельдмаршала Флеминга. Царь отправил из Гистроу часть своего войска на помощь союзникам, пославши сказать им, чтобы не вступали в битву прежде соединения с русским войском; на другой день сам Петр выехал из Гистроу и отправил снова троих офицеров, одного за другим, к датскому королю, чтобы не вступал в битву, ибо русское войско находилось только в трех милях; но «господа датчане, имея ревность не по разуму», как писал Петр, вступили в битву и были наголову поражены Стенбоком при Гадебуше. Узнав об этом несчастии, Петр вернулся назад в Гистроу, куда датский король приехал с просьбой помочь ему в беде, и Петр в начале 1713 года двинулся с войском за шведами в Голштинию, разбил их при Швабштеде и прогнал из Фридрихштадта. Из этого города он уведомил фельдмаршала Шереметева о швабштедском деле: «Неприятель в такую землю зашел, что к оному только идти по дамам (плотинам), а поле все, испортя слюзы, потопил, а на дамах сделаны были перекопы и батареи; однако ж мы, несмотря на то, с помощью божиею отважились оного атаковать, который хотя и боронил оные прекрепкие пассажи, однако ж изо всех оных неприятель выбит с немалым уроном».

Между тем из Голландии, где происходил Утрехтский конгресс для прекращения войны за испанское наследство, приходили дурные вести. Матвеев писал, что Англия и Франция, сближаясь друг с другом, сближаются и с Швециею. Англия и Голландия предложили свое посредничество для прекращения Северной войны. Князю Куракину по этому случаю даны были следующие инструкции: «Надлежит объявить министрам морских держав, что царское величество к миру всякую склонность с союзниками своими имеет и посредничество морских держав принимает; но то посредничество, какое морские державы теперь князю Куракину объявили, царскому величеству и союзникам его вредно и предосудительно. Объявили они: если которая-нибудь сторона не примет посредничество по плану, ими сочиненному, то ее принудить силою. Но это будет уже насилие, а не посредничество. Объявить морским державам: если они

обнадежат, что возвращение наследственных русских земель, которые шведы отторгли вместо оказания помощи, будет принято за основание, но не как вознаграждение за войну, то его величество их медиацию принимает; о других же провинциях, которые царское величество желает получить в вознаграждение за войну, будет объявлено при назначенном съезде. Когда станут упоминать о Лифляндии, то объявить в общих выражениях, что царское величество твердо стоит в своем намерении уступить ее короне Польской».

Пробыв несколько времени в Фридрихштадте, Петр решился отправиться в Россию, потому что Стенбок, запертой в шлезвигской крепости Тенингене, не был более опасен. 14 февраля царь выехал из Фридрихштадта, оставив Меншикову инструкцию, как поступать в его отсутствие: «1) искать неприятеля к капитуляции принудить или иным образом к разорению его приводить всеми способами, а наипаче всего, чтобы не ушел, для того 2) надлежит у всех генералов, даже до генерал-майора, брать советы на письме о всяком важно начинаемом деле, дабы никто после не мог отпереться, что он иначе советовал. 3) Стеснение неприятелю как возможно ранее делать, а потом и бомбардированье, дабы нам прежде свое дело окончить генерального мира, по котором, чаю, не без помешки будет. 4) С датским двором как возможно ласкою и низостью поступать, ибо, хотя правду станешь говорить без уклонности, за зло примут, как сам их знаешь, что более чинов, нежели дела, смотрят. 5) Ежели даст бог доброе окончание с неприятелем, то библиотеку выпросить, конечно, всю из Шлезвига, также и иных вещей, осмотря самому с Брюсом, а особливо глобус». Не теряя надежды привлечь к союзу курфюрста ганноверского, Петр заехал для свидания с ним в Ганновер и о следствиях свидания писал Меншикову: «Курфюрст зело склонен явился и советы многие подавал, только что делом что исполнить, то никто не хочет». Узнав о смерти прусского короля Фридриха 1, Петр отправился в Шейнгаузен (в миле от Берлина) для свидания с новым королем Фридрихом Вильгельмом 1. При покойном короле Пруссия в отношении к России следовала постоянно одной политике, избегая решительного шага и выискивая случая приобрести что-нибудь без больших усилий с своей стороны. Еще в 1711 году царский чрезвычайный посол при прусском дворе граф Александр Головкин, сын канцлера, писал, что прусский двор не хочет заключать договора с Россией, во-первых, потому, что у Пруссии нет достаточного количества войска и она не может ввязаться в такое опасное дело, как война шведская; во-вторых, нет соответствия между тем, что царь обещает дать, и тем, чего требует от короля. Головкин представил самому королю, какие выгоды для Пруссии заключаются в союзе с Россией: Пруссия получит город Эльбинг и часть земли между Вислою и Помераниею. «Очень опасно, – отвечал король, – вступать мне в это дело: царскому величеству шведы нисколько вреда не сделают, потому что его государство далеко; но на меня, как на ближайшего, нападут; а царское величество войска свои дает под таким условием, что во время разрыва с султаном имеет право их отозвать». Головкин возражал, что хотя в предложенном трактате действительно так сказано, однако царь посылает теперь довольно войска против шведского померанского корпуса, также короли польский и датский имеют довольно войска поблизости. Король отвечал: «На датского короля нечего надеяться: это государь бедный и сам не знает, что делать». Прусские министры прямо объявили Головкину, что царь поступает дурно с ними, только обещая награду за союз впоследствии, а не давая ничего

вперед: «Маните вы нас Эльбингом, как пса куском мяса», – говорили министры. «У здешних господ министров, – писал Головкин, – на одном часу разные слова, и отменные, и часто только политичные». Слова были разные, но мысль одна, одно желание, и желание это было так сильно, что забывали приличия. Головкину объявили от имени королевского, что его величество лишен всех средств исполнить Мариенвердерский договор, но надеется и просит, чтобы царское величество по своему доброжелательству к королю изволил уступить ему город Эльбинг; если отдаст город явно, то поляки рассердятся, и потому пусть царское величество повелит генералу своему выйти из города и тайно уведомить об этом пруссаков, которые и займут Эльбинг, где все жители на их стороне, кроме магистрата; за это король обещается помогать тайно царскому величеству против шведов. «Я, – писал Головкин, – для наших нынешних обстоятельств заблагорассудил их ласкать и принял то на доношение. Король, своею особой, нашей партии, также и кронпринц начинает к нам склоняться; нынешний год надобно с здешним двором пасиенцию иметь и довольствоваться тем, чтоб они нам помогли артиллерию, и, может быть, несколько батальонов под каким-нибудь предлогом дадут, только на это крепко нельзя надеяться». В Берлине не спускали глаз с Эльбинга. В марте 1712 года Головкин имел разговор с министром Ильгеном, который представлял, какие услуги оказывает Пруссия России, пропуская царские войска через свои земли и оказывая им всякое вспоможение. «За такие услуги, – продолжал Ильген, – изволили бы царское величество отдать нам Эльбинг». «Царскому величеству, – сказал Головкин, – нельзя этого сделать без позволения короля польского и Речи Посполитой; но если король прусский действительно вступит с нами в союз против Швеции, то царскому величеству можно будет представить польскому королю и Речи Посполитой дело так, что, может быть, они и согласятся на передачу Эльбинга Пруссии». «Можно и теперь, – отвечал Ильген, – сделать сильные представления о необходимости передать Эльбинг Пруссии, можно внушить, что прусский король необходим союзникам для свободного прохода войск их чрез прусские владения, для закупки хлеба и других потребностей; что у прусского короля много войска, и если его не удовлетворить отдачею Эльбинга, то он может перейти на сторону Швеции. А вступать нашему королю в войну против Швеции не нужно, потому что северные союзники довольно сильны и без прусской помощи; но король наш рад помогать союзникам всячески». Через несколько времени Ильген подступил с другой стороны. «Наш король, – говорил он Головкину, – хочет содержать нейтралитет и, желая водворения мира на севере, не только хочет употребить для этого свой кредит при других дворах, но и оружие; только надобно знать, что вы нам за наши труды дадите, и объявляем вам наперед, что из-за одного Эльбинга мы не станем хлопотать, надобно еще что-нибудь прибавить». Это «что-нибудь» должно было состоять из части польской Пруссии и Курляндии.

Головкин писал, что кронпринц к нам склоняется. Теперь кронпринц стал королем, и надобно было узнать, в какой степени он к нам склонился. «Здесь, – писал Петр Меншикову, – нового короля я нашел зело приятна к себе, но ни в какое действо оного склонить не мог, как я мог разуметь для двух причин: первое, что денег нет; другое, что еще много псов духа шведского, а король сам политических дел не искусен, а когда даст в совет министрам, то всякими видами помогают шведам, к тому же еще не осмотрелся. То видевав, я, утвердя дружбу,

оставил. Ежели б что мог сделать здесь, конечно, намерен был водою к вам поворотиться. Двор здешний, как мы усмотрели, уже не так чиновен стал, как прежде сего был, и многим людям нынешний король от двора своего отказал и впредь, чаем, больше в отставке будет, между которыми есть много из мастеровых людей отпускают, которые сами службы ищут; також и картины, как слышим, продавать будут; того для, когда у вас дела будут приходиться к окончанию, тогда генерала Брюса отпустите в Берлин для найму мастеровых людей знатных художеств, которые у нас потребны, а именно: архитекты, столяры, медники и прочие».

Не склонив ни курфюрста ганноверского, ни прусского короля ни к какому «действию», Петр хотел нанести сильный удар врагу со стороны Финляндии. Намерение свое относительно этой страны он изложил в письме к адмиралу Апраксину еще из Карлсбада 30 октября 1712 года: «Сие главное дело, чтобы, конечно, в будущую кампанию как возможно сильные действия с помощью божиею показать и идти не для разорения, но чтобы овладеть, хотя она (Финляндия) нам не нужна вовсе удерживать, но двух ради причин главнейших: первое, было бы что при мире уступить, о котором шведы уже явно говорить починают; другое, что сия провинция есть матка Швеции, как сам ведаешь: не только что мясо и прочее, но и дрова оттоль, и ежели бог допустит летом до Абова, то шведская шея мягче гнуться станет». Немедленно по приезде в Петербург, в марте месяце, велел он приготовляться к морскому походу в эту страну. 26 апреля галерный флот, состоявший из 95 галер, 60 карбасов и 50 больших лодок с 16000 войска, отплыл из Петербурга к Финляндии, сам Петр, как контр-адмирал, шел в авангарде; в *корде* – баталии находился генерал-адмирал граф Апраксин, в ариергарде – генерал-лейтенант князь Мих. Мих. Голицын и контр-адмирал граф Боцис. В начале мая русские войска высадились у Гельсингфорса; начальствовавший здесь генерал Армфельд, не дожидаясь приступа, ночью зажег город и убежал в Борго; русские отправились к Борго; но шведы очистили перед ними и этот город; русские овладели беспрепятственно и главным городом Финляндии Або: «Не только войска неприятельского, но ниже жителей тамо обрели, но все найдено пусто». Это было в конце августа; в октябре русские нашли наконец неприятеля, который решился принять битву: при реке Пелкени, у Таммерсфорса, генерал Армфельд был разбит Апраксиным и Голицыным; следствием победы было то, что вся почти Финляндия, до Каянии, находилась в руках русских.

И в Голштинии, и в Померании военные действия в 1713 году шли успешнее, чем в предыдущем. В начале марта Меншиков из Фридрихштадта отправился в Гузум, где жил датский король, чтоб выговорить его министрам за неисправную доставку продовольствия русским войскам. «Если так продолжится, – говорил светлейший, – то мы принуждены будем оставить здешние действия». Датские министры рассердились и в сердцах проговорились: «Если станете дорожиться, то мы имеем близкое средство к миру». «Если хотите заключить мир, то говорите прямо», – сказал Меншиков. Министры смутились и стали пенять друг на друга за то, что проговорились. «Из этого случая, – писал Меншиков царю, – отчасти можно признать, что у них не без особенного промысла насчет партикулярного мира, тем больше, что на днях был в Гузуме голштинский министр, жил три дня и, говорят, тайно допущен был к королю». Этот голштинский министр был знаменитый впоследствии Гёрц. Мы видели, что зять и друг Карла XII герцог

голштинский был убит при Клиссове в 1702 году; за несовершеннолетием сына его, герцога Карла Фридриха, воспитывавшегося в Швеции, администратором Голштинии был родной дядя его, Христиан Август, князь-епископ Любский, который очутился теперь в тяжелом положении слабого в борьбе между сильными. Перед союзниками он выставлял свой нейтралитет, а между тем тайно отдано было приказание тенингенскому коменданту впустить Стенбока с войском в крепость. Теперь министр Христиана Августа, Гёрц, явился к датскому двору с предложением, что уговорит Стенбока сдаться союзникам, но за это голштинские владения должны быть очищены от союзных войск и получить вознаграждение за убытки, причиненные войною. Гёрц из Гузума разъезжал в Тенинген к Стенбоку, в Гамбург к другому шведскому фельдмаршалу, Велингу, и по возвращении в Гузум уверял Флеминга и князя Вас. Лукича Долгорукого, что Стенбок непременно сдастся. Датские министры написали было уже и договор в том смысле, что Стенбок сдастся одному датскому королю, но Долгорукий объявил, что он на это никак не согласится, что Стенбок должен сдаться всем союзникам, которые должны приобрести равные выгоды от этой сдачи. Между тем получены были известия, что в Тенингене большой недостаток в съестных припасах. Меншиков, тяготясь переговорами без конца, писал Долгорукому: «Это не дело, но Гёрцевы штучки, что самим вам легко рассудить можно: с начала пересылки с Стенбоком не видали мы ни одного от него письма; что Гёрц напишет или скажет, тому и верим, Гёрцу нужно одно – проволочь время и не допустить нас до бомбардирования. Итак, оставя это безделье, надобно приступить к делу, т.е. поскорее начинать бомбардирование, чего вашему сиятельству и надобно домогаться». Вследствие этого домогательства Гёрц был удален, и союзники вошли в непосредственные сношения с Стенбоком, который сдался им 4 мая; а через 20 дней Меншиков выступил из Фридрихштадта: одна часть войска пошла к Гамбургу, другая – к Любеку; первый должен был заплатить 20000 талеров, второй – сто тысяч марок за то, что не прерывали торговых сношений со шведами. Узнавши об этом, Петр писал Меншикову: «Благодарствуем за деньги, что взято с Гамбурга доброю манерою и не продолжа времени, и чтоб из оных добрую часть послать к Куракину: зело нужно для покупки кораблей, ибо когда из них добрую часть (и буде возможно, и половину) пошлете к Куракину, то на весну мы можем около 30 кораблей и фрегат поставить, в чем я надежен, что вы сего главного дела не запомните».

Датские войска продолжали осаду Тенингена, хотя там и не было более шведов. Отряды союзных войск под начальством саксонского фельдмаршала Флеминга взяли остров Рюген; князь Долгорукий требовал у датских министров, чтоб немедленно же была начата осада Штральзунда, который не мог держаться без Рюгена, но его представлений не послушали. Понапрасну также русский посланник противился допущению Гёрца снова к датскому двору, понапрасну представлял «недоброжелательства Гёрцевы ко всему Северному союзу, и особенно к короне Датской». Ему отвечали, что допущением Гёрца король покажет склонность к прекращению вражды с домом голштейнготторпским и что Гёрц, находясь при датском дворе, не может сделать ничего вредного. Но между тем Гёрц, не успевший обратить внимания Петра на свои предложения и видевший опасного себе врага в Долгоруком, бросился к Меншикову и успел вкрасься в его доверенность: он предложил ему план прорытия через

шлезвигские владения канала, который бы соединял Балтийское море с Немецким и избавлял русские корабли от обязанности проходить через Каттегат. Исполнение предприятия и выгоды от него предоставлялись светлейшему князю. Меншиков стал видаться с Гёрцем, вошел в его планы относительно тесного союза голштейнготторпского дома с Россией, и шла уже речь о браке молодого герцога с царевною Анною Петровною. Но у Гёрца был еще другой план: так как союзники имели в виду овладеть шведскими городами в Померании, то он предложил, что склонит шведских комендантов этих городов к сдаче, но с тем, чтоб города были отданы в секвестр прусскому королю и голштинскому администратору, половина гарнизона в них будет прусская, а другая – голштинская. Меншиков принял предложение, которое не могло не понравиться и царю, потому что таким образом Пруссия, принимая шведские города, затягивалась в враждебные отношения к Швеции. В начале июня граф Александр Головкин проведал, что голштинский тайный советник Бассевич приехал в Берлин и трактует с тамошним двором о взятии Штетина в секвестр Пруссией. Головкин немедленно выпросил частную аудиенцию у короля и представил ему, что это дело надобно улаживать по соглашению с Россией, о чем князь Меншиков имеет полную инструкцию от своего государя. Король отвечал на это: «Когда так, то хорошо, будем это дело делать вместе, пошлю от себя кого-нибудь к князю Меншикову; я царскому величеству всегда добрый друг и никаких противностей интересам его величества делать никогда не хочу, но желаю ему во всем, сколько можно, помогать. Мы друг другу никакого зла сделать не можем, наоборот, можем друг другу помогать».

После этой аудиенции Головкин увиделся с Бассевичем и прямо объявил ему, что знает, зачем он приехал в Берлин. Бассевич так удивился, что скоро не мог отвечать; потом, оправившись, начал говорить: «Вижу, что вы все знаете, и потому не хочу от вас ничего утаивать; действительно, по указу своего правительства стараюсь я у здешнего двора, чтоб король прусский взял в секвестр город Штетин, и делаем мы это дело с согласия вашего фельдмаршала князя Меншикова и саксонского фельдмаршала графа Флеминга». Тут Головкин в свою очередь должен был сильно удивиться, потому что не имел никакого известия о согласии Меншикова.

После разговора с Бассевичем Головкин имел разговор с прусским министром Ильгеном, который объявил, что король посылает к Меншикову генерала Борка. При этом Ильген сказал: «Надобно признаться, что у нас это дело уже почти было слажено с шведами; думаю, что на будущей неделе Штетин был бы в наших руках, для чего и войскам нашим уже велено приблизиться к границам Померании; но из дружбы к царскому величеству и по вашему предложению король решился войти по этому делу в соглашение с вами». Головкин спросил у Ильгена, будут ли теперь пруссаки помогать союзникам. Тот отвечал: «Если нам помогать вам войском, то это будет явное объявление войны шведам». «По крайней мере дадите ли нам свою артиллерию?» – спросил Головкин. Король еще подумает, отвечал Ильген, артиллерия дорого стоит, да и надобно справиться, есть ли в наших магазинах достаточно бомб и других принадлежностей, мы такого счастливого случая не пропустим и всеми силами будем стараться получить Померанию, чрез вас ли, чрез шведов ли». Спустя несколько времени Бассевич объявил Головкину о дальнейших голштинских замыслах. «Мы, – говорил он, – ведем переговоры с здешним двором о том, чтоб король прусский в случае смерти

короля шведского помог нашему герцогу получить наследство, т.е. шведскую корону, за что обещаем прусскому королю Штетин с окрестными землями в вечное владение. Надеемся, – прибавил Бассевич, – что и царское величество, за наше усердие, поможет голштинскому герцогу в получении шведской короны, а не позволит перейти ей к принцессе Ульрике, второй сестре Карла XII; для того то мы и стараемся о померанском секвестре, чтоб закрепить за нашим герцогом шведские провинции в Германии».

Голштинцы обещали уговорить штетинского шведского коменданта Мейерфельда к сдаче; но Мейерфельд не поддавался их внушениям, и голштинцы стали хлопотать, чтоб Меншиков осадил Штетин и таким образом напугал Мейерфельда; о том же хлопотало и прусское правительство, которое хотело приобрести Штетин без всякого со своей стороны пожертвования. Поэтому когда Меншиков в начале июля осадил Штетин, но осада затянулась и для ее ускорения требовалась прусская артиллерия, то Ильген и другой министр, Грумкау, убедили короля, что надобно покинуть мысль о секвестре, ибо послать прусскую артиллерию к Штетину – значит явно объявить войну шведскому королю, притом же для этого нужна большая сумма денег. В Берлине не хотели вступить в открытую войну со Швециею, но и не хотели также, чтоб эта держава сохранила прежнюю свою силу, помнили ее тесный союз с Франциею, союз, противный интересам Пруссии и всей Германии, помнили ее войну с великим курфюрстом. 10 августа был обед у короля Фридриха Вильгельма, где присутствовали посланники русский, шведский и голландский. Король предложил тост за здоровье русского государя, потом Голландских Штатов и забыл о шведском короле. Шведский посланник Фризендорф отказался пить за здоровье царя, вместо того выпил за добрый мир и при этом просил короля, чтоб он был посредником и доставил Карлу XII удовлетворение – возвратил ему Лифляндию и другие завоевания, ибо король прусский не может желать усиления царя. Король отвечал: «Удовлетворение следует царскому величеству, а не шведскому королю, и я не буду советовать русскому государю возвращать Ливонию, рассуждая по себе: если бы мне случилось от неприятеля что завоевать, то я бы не захотел назад возвратить; притом царское величество – добрый сосед и других не беспокоит; а что касается посредничества, то я в чужие дела мешаться не хочу». Фризендорф напомнил о дружбе, которая была всегда между Швециею и Пруссиею при покойном короле Фридрихе I; в ответ Фридрих-Вильгельм припомнил войну, которую вела Швеция с Пруссиею при деде его, припомнил тесный союз Швеции с Франциею. «Одного только недостает – чтоб французский герб был на шведских знаменах», – сказал между прочим король. Фризендорф начал уверять, что такого союза нет между Швециею и Франциею. «А хочешь расскажу, что ты мне говорил шесть недель тому назад?» – сказал король. Фризендорф испугался. «Я это говорил вашему величеству наедине, как отцу духовному», – сказал он и прибавил, что король все шутит. «Говорю, как думаю, – отвечал король, – и никого манить не хочу». В Берлине не хотели усиления Швеции, не хотели и усиления Дании и потому приняли предложение голштинцев, чтоб требовать от датского короля очищения Голштинии.

Все это – и отказ прусского короля взять в секвестр Штетин, и действия Пруссии против Дании в голштинском интересе – не могло нравиться Петру. 19 сентября он писал Меншикову: «Преизрядная б была польза, чтоб Штетин взять,

ибо чаем, король прусской для того отстал от секвестрации, что король шведской диплом прислал отдать оный ему, ежели в его интерес вступит; что же о голштинцах и дацких – правда, что хотя дацкие и неблагодарны явились, и зело слепо и недобро поступают, однако уже то подлинно есть, что неприятели шведам и нам, наипаче для моря, зело нужны, а на новых друзей, голштинцев, еще трудно надеяться: может бог из Савла Павла сделать, однакоже я в том еще фоминой веры; впрочем, все полагаю на ваше рассуждение по тамошним конъюнктурам, а наипаче того смотреть, чтоб армию, не разоря, проводить домой». Вслед за тем 21 сентября другое письмо в том же роде: «Чтоб, когда бог даст Штетин, отдать за секвестрацию прусскому, о том мое рассуждение, что то добро, ежели не будет противно королю польскому, ибо оному то обещано, а прусскому отдадим без всякой с их стороны к нам склонности; буде же королю польскому сие не будет противно, то для нас изрядно, а по-моему, лучше бы отдать не в секвестрацию, но вовсе, а за то б обязался (пруссский король) в Польшу шведов не пускать, также, буде возможно, хотя б четыре полка дал своих королю польскому, ежели турки на весну что начнут. Что же голштинцы к сему зело склонны, то для того, чтоб скорее оной город от пруссаков могли назад получить, неже от нас. Что же пишете, что голштинцы каковы были противны нам, таковы ныне склонны – дай боже, чтоб была правда, а я чаю, все для того, чтоб тем выжить датчан от себя, ибо еще ничего нам делом не показали, как шведам помогли Тонингом. Для бога осторожно с такими поступай; лучше держаться апостола, который к таким пишет: покажи мне веру свою от дел своих; а словам верить нечего, ибо хотя иные и хотят своего князя королем шведским (сделать) – то правда, да еще старый жив. Поступки датчан неладны, да что ж делать? а раздражать их не надобно для шведов, а наипаче на море; ежели б мы имели довольство на море, то б иное дело, а когда не имеем, нужда оным флатировать, хотя что и противное видею, чтоб не отогнать. Что же пишете о трудном своем деле, тому я верю, а что пишете, как вам поступать с голштинцами, на то ответственую, что и оных озлоблять не надлежит, но приводить к тому, чтоб они, когда ищут с нашей стороны себе приятельства ко вспоможению короны шведской князю их (т.е. чтоб герцог их, как племянник бездетного Карла XII, получил шведскую корону), то можно им обещать, только б они что-нибудь наперед делом показали, а пока дела в наш интерес не сделают, ничего им не надлежит открываться и верить, но содержать в ласке внешней, а не внутренней, прочее воистину не могу за очи резону дать, но полагаюсь в том на вас, ведая доброе сердце ваше».

Но когда писались эти предостерегательные письма, указывавшие на необходимость щадить Данию и не доверять голштинцам, естественным союзникам шведов, Меншиков действовал «по тамошним конъюнктурам». 18 августа, получив саксонскую артиллерию, он заключил с Флемингом договор, по которому обязался взять Штетин одними русскими войсками и отдать его в секвестр королю польскому вместе с администратором голштинским; а если король прусский пожелает взять его в секвестр вместе с голштинским администратором, то может это сделать, заплативши царю и королю польскому деньги за убытки, понесенные во время осады. Осада шла успешно, и, когда со стороны осаждающих «из мортир и пушек такой трактамент был Штетину учинен, что тотчас во многих местах в городе загорелось и превеликий пожар учинился», Мейерфельд, потерявши надежду долее защищать город, 19 сентября

при посредстве Бассевича согласился выйти из Штетина, отдавши его в секвестр королю прусскому и администратору голштинскому; Меншиков позволил, чтобы два шведских батальона остались в городе, принеся присягу на верность герцогу голштинскому. После этого Меншиков поехал в бранденбургский город Швет, где заключил с прусским королем окончательный договор не только о «секвестрации» Штетина, но также Рюгена, Штральзунда и Висмара. Покончив эти дела, светлейший князь двинулся к русским границам; в Померании осталось только 6000 русского войска. Прусский король был в восторге, что получил желаемое. «Донесите царскому величеству, – говорил он Головкину, – что я за такую услугу не только всем своим именем, но и кровию своею его царскому величеству и всем его наследникам служить буду и хотя бы мне теперь от шведской стороны не только всю Померанию, но корону шведскую обещали, чтоб я пошел против интересов царского величества, то никогда и не подумаю так сделать за такую царского величества к себе склонность».

Сколько радовались в Берлине, столько же печалились в Копенгагене.

Когда при датском дворе узнали о секвестрации, то поднялось сильное волнение. «Больше зла нельзя сделать нашему королю, как этою секвестрацией, – сказали датские министры Долгорукому. – Герцог голштейн-готторпский столько же желает добра королю шведскому, сколько желают ему и сами шведы; так можно ли было допускать его вмешиваться в дела Северного союза? Королю прусскому верить трудно, зная сношения его с Францией в пользу шведскую; сами прусские министры открыли, что их король обещал помогать герцогу голштейн-готторпскому против нашего короля. У нас уже начаты были приготовления, чтобы на будущее лето вступить в Шонию; но теперь нечего думать о войне, надобно искать мира; союзники отняли у нашего короля все способы к наступательной войне, а оборонительную войну вести только разоренье без всякой прибыли». Долгорукий успокаивал их как мог, спрашивал, на каких условиях желают они отдать померанские города в секвестр? «Отдать одному королю прусскому, чтоб о герцоге голштейн-готторпском и помину не было», – отвечали министры. Сердились не на Меншикова, а на Флеминга, которому приписывали все это злое дело, рассказывали, как Флеминг недавно еще грозился отомстить датскому двору за прежние неприятности. Раздражение против Голштинии было тем сильнее, что мирные переговоры между нею и Данией кончились тем, что Гёрц, не сказавшись никому, тайком уехал на крестьянской телеге окольными дорогами; Долгорукому объявили, что Гёрц предлагал отдельный мир между Даниею и Швециею; сам король сказал ему: «Вы пророк: что вы предсказывали о Гёрце, то и случилось; он предлагал такие дела, от которых был бы страшный вред Северному союзу».

Скоро пришли известия, которые оправдывали опасения датского короля и его министров: прусский король объявил, что Дания должна очистить владения герцога голштейн-готторпского, в противном случае Пруссия силою заставит ее это сделать. Петр получает письмо от датского короля. «Я думаю, – пишет Фридрих IV, – что все эти договоры о секвестрации заключены Меншиковым и Флемингом нарочно к моему вреду, и это уже не в первый раз оба они обнаруживают свою вражду против меня. Надеюсь, что, ваше величество, изволите взглянуть на это дело совершенно иначе и меня, как своего верного союзника, не оставить, изволите повторить иностранным дворам объявление о

необходимости прежних распоряжений в мою пользу относительно голштейн-готторпского дела и дать указ князю Меншикову, чтоб он со всеми русскими войсками, находящимися в Померании, готов был помогать мне при первом на меня нападении с какой бы то ни было стороны. Вашего величества высокое праводушие и понимание собственного интереса требуют зрелого обсуждения этого представления моего и не позволят допустить, чтобы необходимое между нами согласие прекращено было такими отдельными договорами. Ваше величество, по своей рассудительности не можете не усмотреть здесь враждебных намерений и не отвратить их заблаговременно».

«Трактат о секвестре Померании мы рассматривали, – отвечал Петр, – и нашли, что некоторые статьи противны нашему общему интересу. Статьи эти приняты князем Меншиковым по нужде, потому что прусский двор без них в секвестр вступить не хотел; нашим войскам нельзя было там долее оставаться по причине позднего времени и недостатка в продовольствии. Что касается до отдачи на секвестр Штральзунда и Висмара, то мы позволим отдать их только на таких условиях, на каких угодно будет вам и королевскому величеству польскому; касательно же Штетина нам нельзя отречься от ратификации, ибо договор заключен с согласия короля польского, которому город этот по разделу принадлежал; надеемся, что и вашему величеству договор противен быть не может, потому что при заключении его в Швеции находился и ваш генерал Девиц. Однако мы удержались и от посылки этой ратификации, узнав, что между королем прусским и домом готторпским заключен договор, в котором находятся вредные для вашего величества статьи. Мы приказали находящемуся при прусском дворе графу Александру Головкину требовать, чтоб эти статьи были исключены, и если наше требование будет исполнено, то и мы ратификуем договор о Штетине».

Представления графа Александра Головкина в Берлине, отказ Англии давать субсидии на датскую войну и неудовольствие Франции на то, что Пруссия захватила шведские владения и хочет их удержать за собою, заставили Пруссию отказаться от угрожающего положения относительно Дании; впоследствии со стороны Франции явилось предложение, что если прусский король хочет получить Штетин в вечное владение, то должен объявить войну России, чтобы заставить ее отказаться от всех своих завоеваний. Осторожный Фридрих-Вильгельм, хорошо знавший русского царя и его средства, с негодованием отверг это предложение; но в Дании не переставали беспокоиться и относительно Пруссии, и относительно того, что герцог голштинский был ближайший наследник шведского престола. Долгорукий писал, что король никак не хочет помириться с герцогом, если тот не отречется от прав своих на шведский престол или по крайней мере не обяжется, что, сделавшись шведским королем, не присоединит Голштинии и Шлезвига к Швеции. Царь велел Долгорукому объявить королю, что и он такого же мнения, да и другие государства не допустят, чтобы герцог владел Швециею и Голштиниею. Но хлопоты не ограничивались одною Данией. В феврале 1713 года английский посланник в Голландии лорд Страффорд говорил князю Куракину: «Натурально, что Англия никогда не хочет видеть в разорении и бессилии корону Шведскую. Намерение Англии – содержать все державы на севере в прежнем равновесии. Выгоды нашей торговли требуют, чтобы мы старались о прекращении Северной войны. Россию трудно помирить с Швецией: ваш государь хочет удержать все свои завоевания, а шведский король не хочет ничего уступить. По моему мнению,

Ливонии нельзя отнять у Швеции; надеюсь, что ваш государь удовольствуется Петербургом, о чем у нас есть уже известия; Нарва по своему положению одинаково нужна обеим державам». «Во всяком случае, – писал Куракин, – мы с своими союзниками никакой надежды иметь не можем: министры императорские, видя свое бессилие, очень щадят шведа; здешние Штаты хотя бы и намерены были что-нибудь для нас сделать, да бессильны, делают только то, что угодно Англии». Страффорд внушал влиятельным людям в Голландии, что если царь будет иметь гавани на Балтийском море, то вскоре может выставить свой флот, ко вреду не только соседям, но и отдаленным государствам. Английское купечество, торговавшее на Балтийском море, подало королеве проект, в котором говорилось, что если царь будет иметь свои гавани, то русские купцы станут торговать на своих кораблях со всеми странами, тогда как прежде ни во Францию, ни в Испанию, ни в Италию не ездили, а вся торговля была в руках англичан и голландцев; кроме того, усилится русская торговля с Данией и Любеком.

Эти враждебные заявления были остановлены угрозой Петра. Возвратился в Голландию бывший в Дании посланник Гоус и донес своему правительству о разговорах, бывших у него с царем. Петр объявил ему, что желает иметь посредниками цесаря и Голландские Штаты, ибо надеется на беспристрастие этих держав; не отвергает и посредничества Англии, только подозревает ее в некоторой враждебности к себе. «Я, – говорил Петр, – готов, с своей стороны, явить всякую умеренность и склонность к миру, но с условием, чтобы медиаторы поступили безо всяких угроз, с умеренностию; в противном случае я вот что сделаю: разорю всю Ливонию и другие завоеванные провинции, так что камня на камне не останется; тогда ни шведу, ни другим претензии будет иметь не к чему». Передавая эти слова, Гоус внушил, что с царем надобно поступать осторожно, что он очень желает мира, но враждебными действиями принудить его ни к чему нельзя. «Сие донесение, – писал Куракин, – нашим делам не малую пользу учинило».

В июне-месяце Страффорд начал требовать, чтобы Россия, Дания и Саксония приняли посредничество морских держав, Англии и Голландии, для заключения мира с Швециею. При этом датский и польский послы объявили Куракину, что имеют указы от дворов своих при нынешних нужных случаях приводить в интерес своих государей и обещать денежные дачи лорду Страффорду и некоторым из значительнейших сановников Голландской республики; датский посол объявил, что готов обещать Страффорду 20000 талеров; польский (саксонский) посланник объявил, что на все раздачи имеет 40000 талеров, и потому обещал Страффорду 20000; той особе, которая в пересылках будет с Страффордом, каждый обещал по 2000 червонных; требовали и от Куракина, чтоб и он обещал Страффорду 20000 талеров, но тот отвечал, что без указа сделать этого не может. Куракин обратился к самым влиятельным лицам в Голландской республике с вопросом: какая им нужда так спешить с своею медиацией? Какой их собственный интерес в этом заключается? «Все это мы делаем только для виду, – отвечали они, – нужно нам утешить Англию; а прямого намерения спешить с северными делами у нас нет; мы будем в этом деле сколько возможно тянуть и откладывать согласно с интересами царского величества; но вместе с тем было высказано мнение, что царскому величеству не надобно медлить мирными переговорами, потому что если Франция заключит мир с цесарем, то, имея

свободные руки, будет усердно помогать шведскому королю войском и деньгами, не пожалеет и миллионов, чтобы возвратить Швеции прежнюю силу; да небезопасно будет и со стороны Турции. Голландии нельзя отдаляться от Англии, потому что если Англия, озлобясь, бросит Голландию и вмешается в северные дела вместе с Франциею и Пруссией, то Голландия потерпит большой убыток в балтийской торговле, да и царскому величеству не будет никакой пользы, если Голландия будет исключена из переговоров о северных делах».

Когда Куракин дал знать обо всем этом своему двору, то получил ответ: от медиации морских держав, как возможно, отговариваться; но *добрые средства* (*bona officia*) принимать, чтобы по крайней мере в прелиминарные статьи внесено было как основание возвращение старых русских земель, уступленных по Столбовскому миру. Ливония уступается короне Польской с таким условием, чтобы никому другому не была отдана. Если же будут непременно требовать, чтобы Ливония была возвращена Швеции, то объявить, что царское величество согласен отдать и шведам, если король польский и Речь Посполитая позволят; но отдать шведам с непременным условием, чтобы крепости были разорены. Если местом мирных переговоров не захотят назначить Данциг, то предлагать Бреславль; если же и на это не согласятся, то Брауншвейг; а от Гаги и от других мест по дальности отговариваться. Если захотят заключить перемирие, то принять на 20 или по крайней мере на 15 лет, а принять на кратчайший срок – значит неприятелю только отдых дать; когда и в царствование Михаила Феодоровича война была со шведом, то перемирие заключено было на 30 лет. Спешить переговорами, если будет видно, что дела у цесаря с Францией, также и в Англии приходят к концу; если же этого не будет видно, то длить переговоры и дотянуть, если возможно, до будущей кампании. Если морские державы будут сильно держать шведскую сторону, то повторить слова царского величества, сказанные голландскому министру Гоусу, что прежде обратятся в пепел все завоеванные места, чем уступятся неприятелю в целости, ибо отдать крепости в руки неприятельские – значит опять самим себе змею пустить за пазуху. Лорду Страффорду обещать 20000 ефимков, если он к интересам царского величества покажет себя действительно склонным. В Англии уполномоченным для заключения северного мира назначили Витворта; кажется, он к северным союзникам доброжелателен, ибо хотя и ласкается к нынешнему торийскому министерству, но сердцем виг; обещать ему тайно 50000 ефимков, если он поможет заключению мира на желаемых условиях. Особе, которая будет в пересылке с лордом Страффордом, обещать 2000 червонных; на раздачу всем, кто будет помогать, царское величество назначил 100000 ефимков.

Съезд уполномоченных для переговоров о северном мире назначен был в Брауншвейге, но конгресс этот не повел ни к чему; дела шли по желанию царя, т.е. очень медленно; Англия была занята внутренними Делами; Голландии вовсе не хотелось ввязываться в северные дела; ее более всего беспокоила связь Англии с Франциею; кроме того, еще продолжалась война у Франции с императором. Петр спешил пользоваться обстоятельствами. Для того чтоб окончательно успокоить датское правительство и побудить его действовать наступательно против шведов в 1714 году, Петр отправил на помощь Долгорукому в Копенгаген человека, в котором заметил большие способности и вывел из денщиков в генерал-адъютанты, – Ягужинского.

Ягужинский получил наказ: приехав в Копенгаген, представлять: 1) королевскому величеству известно, что Швеция теперь оружием союзников почти к падению приведена; державы, от которых она ждала помощи, заняты собственными делами, как Англия, так и Франция; бранденбургский также обязался не только не поступать ко вреду союза, но и не допускать шведов в империю и Польшу; Штетин взят, и королевское величество и союзники его никакого другого неприятеля, кроме шведов, опасаться не могут – одним словом, бог дает нам в руки неприятеля, только бы мы с благодарностью приняли; неленостно и между собою прямым общим сердцем поступали, все, что кому возможно, делали без всяких претензий; для того мы просим у королевского величества совета, как удобнее эту войну выгодным миром окончить, и с своей стороны предлагаем следующий совет: 2) так как нынешнею кампанией финская земля вся у неприятеля отнята, корпус неприятельский в ней разорен и дошли мы до самого *синус Ботникус* (Ботнического залива), то далее нам сухим путем идти нельзя, а водою кораблей у нас мало, мелких судов хотя и довольно, однако на них через синус Ботникус перейти нельзя по причине неприятельской эскадры; так же и королевскому величеству в Померании вследствие заключенной секвестрации в будущую кампанию над Штральзундом действовать едва ли возможно; итак, остается одно морское действие. 3) Так как королевскому величеству другого места не остается для войны, как Шония, которую очень легко может получить, если изволит склониться на наш совет, и не только Шонию получит, но и мир по желанию вскоре заключить будет можно, то мы предлагаем 15000 человек на своих морских судах, на своих деньгах и хлебе, только бы они были под защитою датского флота. 4) Русскому флоту по соединении с датским идти к шведскому берегу, атаковать батареи на стокгольмском фарватере или высадиться на берег и идти прямо к Стокгольму. 5) Так как шведы вследствие вступления нашего в Финляндию ждут нападения и все свои силы сосредоточат у Стокгольма и идти к этому городу не без труда будет, то предлагается и такой способ: разгласивши, что идем к Стокгольму, идти к Карлскроне и стать флотом в таком месте, чтобы не выпустить кораблей из гавани, а *скампавеям* атаковать город; если бог поможет это сделать, то прибыльнее будет Стокгольма, потому что последняя шведская надежда состоит во флоте. 6) Когда эти действия начнутся, король датский может войти в Шонию без всякого опасения и делать там, что хочет. Неприятель тогда с трех сторон будет окружен; флот флотом заперт; сухопутные войска русские на одно из указанных выше мест устрелятся, а датские в Шонию войдут; тогда, думаю, не только захотят мириться, но и бланкет пришлют. 7) Так как мы тогда сами будем при войсках, то чтобы королевское величество изволил вручить нам команду над своим флотом. Если этих предложений не примут, то хотя бы эскадру от 7 до 10 кораблей прислали на половинном жалованьи и обнадежили бы, что шведский флот к нам не пропустят. Если же на последнее не согласятся, то и эскадры не надобно; от нее только убыток, если флот шведский не будет удержан, а лучше всякому воевать, как кто может, разве просить, чтобы дали от трех до пяти кораблей до окончания войны, а потом мы их отдадим, а что будет потеряно, вдвое отдадим; если корабль пропадет, новый поставим.

Ягужинский в январе 1714 года дал знать царю, что приезд его в Данию оказывается вреден. «Король ни во что один не вступает, – писал Ягужинский, – и никаким образом в разговор без министров не входит; случилось мне благодаря

некоторым приятелям быть позвану ужинать к метрессе, где и король сам был, и тут я улучил час с ним говорить и представлял ему всякие не оцененные в вечную их пользу способы; но он на все то одним словом отвечал, что прежде всего надобно получить письменное обнадеживание от прусского короля, а потом помочь Дании деньгами. „Без того, – сказал король, – не можем ничего начать; можно вам и самим рассудить, зная наше положение, что так сильно одни не можем действовать“. Ягужинский хотел было продолжать свои представления, но король, ничего не отвечая, ушел с метрессою во внутренние покои.

«С министрами, – писал Ягужинский, – дело идет так гнило, что и сказать нельзя, друг друга дрожат, боятся, а Выбей и говорить при людях с нами долго не хочет. Мой проезд сюда оказал более помешки, чем пользы, ибо никак не хотят верить, чтоб я был прислан без больших денег, и думают, что мы с князем Долгоруким крепимся и без крайней нужды денег им объявить не хотим». Ягужинский указывал две причины, почему датчане не хотели слушать от него никаких предложений относительно наступательной войны против шведов: во-первых, очень *влакомились* в Голштинию и выживать их оттуда трудно; много тратят на содержание там войска, и потому недостает у них денег на сооружение флота; во-вторых, задерживаются добыванием Тенин-гена, прежде взятия которого трудно добиться у них какого-нибудь решения. Когда Ягужинский и Долгорукий добивались, как, по мнению королевскому, царь должен действовать в будущую кампанию, то им отвечали, что царь уже все получил от неприятеля, войска его в Финляндии прошли до самого Ботнического залива и потому пусть теперь ведет одну оборонительную войну, а королю поможет деньгами на вооружение флота, потому что теперь нет другого способа воевать неприятеля, как морем; для этого нужен датский флот, а король не может вооружить флот за недостатком денег.

Царь получил от неприятеля все поблизости границ своих; и король спешил получить кое-что поблизости, спешил взять Тенинген, а между тем объявил на письме Ягужинскому и Долгорукому, что не может войск своих отозвать из герцогства Шлезвигского и Голштинского, пока не будет обеспечен с немецкой стороны, особенно от короля прусского. Вернейший способ для этого – ввести прусского короля в интересы северных союзников, и так как город Штетин с окольными землями ему очень нужен, то Дания вместе с Россиею будет согласна дать ему гарантию, но с условием, чтоб король прусский порвал все свои обязательства с князем голштинским, дал письменное удостоверение, что ничего в пользу его предпринимать не будет, и чтоб взаимно гарантировал Дании завоеванные ею княжества Бременское и Верденское. Если все это будет исполнено, то король согласен сделать высадку в Шонию, но не иначе как если царь поможет ему деньгами.

2 февраля 1714 года Тенинген сдался датчанам; но это событие не облегчило царских уполномоченных в ведении переговоров относительно субсидий: датские министры требовали 400000 кроме 150000 недоплаченных из прежних субсидий, потом уменьшили сумму до 200000 ефимков кроме недоплаченных и обещались за это соединить свой флот с русским для действия у Карлскроны, причем царь будет командовать обоими флотами; сухопутного же войска король не может вывести из Шлезвига и Голштинии, опасаясь короля прусского. С этим Ягужинский и отправился назад, в Россию.

Между тем к Петру, который находился в Риге, явился уже известный нам голштинский дипломат Бассевич хлопотать об интересах своего молодого герцога.

Перед отъездом из Берлина Бассевич сообщил графу Александру Головкину о цели своей поездки, высказал надежду, что посредством их, голштинцев, может быть заключен мир между Россией и Швецией, ибо король шведский видит и сам, что при теперешних обстоятельствах ему надобно что-нибудь уступить, кого-нибудь удовлетворить: или царя (с условием, чтоб он оставил своих союзников), или короля прусского; что король шведский охотнее удовлетворит царя, потому что надеется на его слово. Шведский посланник Фризендорф говорил Головкину в том же смысле: «Лучше нам удовлетворить сильнейшего из своих неприятелей и с ним помириться». Но Бассевич приехал в Россию не вовремя. Мы видели, что и прежде Петр подозрительно и неблагоклонно смотрел на голштинских дипломатов, на этих маленьких людей, стремящихся посредством интриг заправлять большими делами; а теперь этот взгляд еще более усилился, когда стачка Меншикова с ними относительно померанского секвестра наделала царю столько неприятностей в Дании. Поведение Меншикова в Померании усилило охлаждение к нему царя, и враги светлейшего могли действовать смелее. После, когда Пруссия уже приступила к союзу, Меншиков, разговаривая с голландским резидентом Деби, распространился о преследованиях, которым подвергался со времени возвращения своего из Померании за секвестр Штетина, и сказал: «Теперь они все молчат; этот секвестр должен был меня погубить, а теперь он причиною, что король прусский для охранения Штетина, столь ему дорогого, заключил новый союзный трактат с царским величеством. Так вот плоды моей дурной администрации! Что сделала Дания? Ничего, только обманула царское величество!» Но во время приезда Бассевича плоды померанской администрации еще не были видны с хорошей стороны, и сам Меншиков для оправдания себя должен был складывать всю вину на Флеминга, что дало повод врагам указывать на его неспособность к делам. Петр сказал Бассевичу: «Ваш двор, руководимый обширными замыслами Гёрца, похож на ладью с мачтою военного корабля; малейший боковой ветер должен потопить ее». Когда Бассевич вооружался против Дании, которая ведет себя слишком недобросовестно и своекорыстно, стремясь овладеть Тенингом, когда там уже нет более шведов, то царь отвечал, что администратор, впусивши шведов в Тенинген, нарушил свой нейтралитет и потому терпит справедливое наказание. Бассевич возразил: «Их действительно впустили, но в то же время и выдали».

«Нехорошо поступили, что впустили, – отвечал царь, – еще хуже сделали, что изменили им; государям надобно вести себя добросовестно». Бассевич и Меншиков работали целый день над составлением статей, которые, по их мнению, должны были понравиться царю.

Статьи были следующие: 1) чтоб царское величество поручился, что крепость Тенингенская не будет разорена; чтоб герцогскому голштинскому дому развязаны были руки действовать; чтоб Россия не вступалась за Данию. На это Петр отвечал: «О Тонинге, чтоб не был разорен, к королю датскому писано; а что гарантовать и за своего союзника не вступаться, того невозможно; ибо хотя б интерес не требовал, то данное обязательство надлежит хранить, понеже, кто кредит потеряет, все потеряет». 2) Когда шведский престол будет свободен, то царь не только не будет препятствовать молодому герцогу голштинскому занять его, но

еще будет помогать по возможности. *Ответ* : «В сем не отрицается и чаем, что и союзникам нашим сие противно не будет; только надлежит ведать намерение короля прусского в том, без которого ни во что вступать невозможно». 3) Если король шведский возвратится в свое государство и потом через посредство других держав последует общий мир, то его царское величество обещает усиленно стараться, чтоб завоеванные провинции, которые Россия не удержит и Швеция назад не получит, отданы были герцогу голштинскому. *Ответ* : «Будем стараться, чтоб Финляндию сему принцу получить; но чтоб и его светлость со своей стороны в том також обще помог». 4) Если король шведский останется без наследников, то царское величество обещает постоянно хлопотать за герцога голштинского и входит с герцогским домом в сношения насчет мер, какими должно доставить герцогу шведский престол. *Ответ* : «О восставлении молодого принца на престол шведской уже объявлено во втором пункте; а чтоб зарань о том, какой договор чинить, кажется неприлично, понеже король, ради молодости своей, еще от натуральной смерти далек». 5) Если герцог голштинский получит шведский престол, то царское величество обещает и наследственные его земли присоединить к Швеции и в этом деле не ставить никакого препятствия, чтобы со стороны герцога можно было Россию и другие заинтересованные державы скорее в другом удовольствоваться. *Ответ* : «Сей пункт есть зело деликатной (к тому ж и король шведской еще жив), и сенс оног зело на тонких ногах носит свое седалище». За эти услуги со стороны царского величества администратор голштинский за себя и за молодого герцога обещает: 1) заключается вечный союз между Голштиниею и Россиею и утверждается браком молодого герцога со старшею принцессою, дочерью царского величества. *Ответ*: «За первое благодарствуем; что же принадлежит о супружестве, и то до возраста отложить, ибо хотя я отец, однако же без воли ее того учинить невозможно». 2) Брак должен состояться во всяком случае; но если герцог не получит ни шведской короны, ни завоеванных провинций, то царское величество обязывается дать достаточное приданое, настоять на очищении голштинских владений, не помогать Дании. *Ответ* : «Что принадлежит между Даниею и Голштиниею, о том удобнее на Брауншвицком конгрессе определить, ибо сие дело не зело до нас касается, яко отдаленных; а чтобы королю датскому не помогать, то уже выше отказано, ибо лучше можем видеть, что мы от союзников оставлены будем, неже мы их оставим, ибо гонор пароя дражая всего есть». 3) С герцогской стороны обещается, если молодой герцог получит шведскую корону, то даст царскому величеству на выбор: либо Ингрию и Корелию от Выборга до Нарвы, либо Лифляндию и Эстляндию; то или другое непременно уступлено будет России. *Ответ* : «О Ингрии и Корелии, яко изначала российских провинций, упоминать не надлежит, которые никогда за шведами не были, пока генерал Делагардий оные вместо помочи против поляков, вшед дружески, в три года войною отобрал; к тому же сей пункт есть сеть: на что ни соизволить – зла не миновать, ибо ежели одна Ингрия останется, а неприятель получит Эстляндию и Финляндию, то ради узкости моря Финского и фортеций с обеих сторон – Ревеля и Гельсингфорса – в его воле будет наш фарватер, чрез что повелителем будет нам; буде же Лифляндию и Эстляндию удержать, а Ингрию отдать, то отрезаны будем от России». 4) Со стороны Голштинии обещается также: удовольствоваться прусского короля и склонить его к тому, чтоб помог молодому герцогу получить престол шведский; если герцог получит этот престол, то

уступить город Висмар герцогу мекленбургскому, за которого царское величество может выдать одну из своих племянниц; Бремен и Верден будут уступлены князю администратору голштинскому; таким образом, интерес соседей будет охранен, Швеция не усилится чрез присоединение к ней наследственных земель герцога голштинского, напротив, ослабнет вышеозначенными уступками, и царскому величеству нечего будет ее более опасаться. *Ответ* : «Здесь ясно явилось, чтоб мы не только там короля датского утеснили, что когда молодой князь будет королем шведским, то чтобы и княжество свое удержал (что, чаю, никто не допустит), но Бремен и Верден, которые датский король завоевал, у него из рук отнять и на весь свет показать, как мы своих союзников трактуем. Сею негоциациею хотят нас с датским двором разлучить, чтоб мы вечный интерес наш против всегдашнего неприятеля сами опровергнули». 5) Наконец, со стороны голштинской обещается царскому величеству позволить для большого обеспечения настоящих обязательств войска русские под каким-нибудь предлогом ввести в Тенинген и держать эту крепость под видом секвестра до совершеннолетия герцога. *Ответ* : «Сего учинить невозможно, понеже мы обязались все прогрессы в немецкой земле чинить с воли своих союзников».

Заподозрив в предложениях Бассевича намерение разорвать союз между Россиею и Даниею, Петр решился «все сие возратить паки в тое скрыну (ящик), отколе вынято». Царь сказал Бассевичу: «Если Швеция купит дружбу Дании уступкою Бременской области, дружбу Пруссии уступкою Штетина и после того все обратится против меня, да еще при посредстве вас, голштинских интриганов? Причины ваши хороши, но у меня есть свои, лучше: было бы недостойно меня притеснять союзника (датского короля), который вступает в переговоры для исправления своих ошибок». Эти слова царя объясняются тем, что еще в начале 1714 года в Петербурге было получено предостережение от князя Куракина из Гаги. Самая знатная и достоверная персона под великим секретом сообщила Куракину о целях посольства Бассевича, как именно она высказалась в его предложениях. Тайнственная персона прибавила, что предложения Бассевича заключают в себе коварство: голштинский двор не имеет прямого намерения привести предлагаемые дела к окончанию, а только хочет заставить царя покинуть датский союз; кроме того, этими фальшивыми переговорами голштинцы стараются озлобить против царя старое шведское дворянство, которое хочет мимо герцога голштинского передать престол младшей сестре Карла XII Ульрике Элеоноре. Та же тайнственная персона сообщила Куракину о новом трактате при дворе прусском и об интригах графа Флеминга. Прусский король обязывался дать Карлу XII в помощь 40000 войска, чтоб Швеция могла отобрать все свои владения у России и Дании и, сверх того, завоевать у последней Норвегию, а Карл XII за это должен уступить Пруссии Штетин с округом; Пруссия получит также Эльбинг и польскую Пруссию от короля Августа II, которого за это Карл XII признает польским королем. Бассевичу было объявлено, чтоб он выезжал из России, что тот и исполнил 20 апреля. Долгорукый должен был объявить об этом при датском дворе и прибавить, что царское величество ожидает подобных же поступков и со стороны короля в случае каких-нибудь неприязненных для союза предложений. Но этими ожиданиями ограничиться было нельзя, и через три дня по отъезде Бассевича Петр написал королю Фридриху IV, что согласен дать ему на вооружение флота 150000 рублей и, кроме того, помогать провиантом. Петр

уговаривал короля действовать всеми силами на шведских берегах, тем более что в прошлую кампанию датские войска находились в бездействии. Царь извещал, что он удерживает прусского короля от всяких неприязненных намерений; король Фридрих-Вильгельм дал письменное обнадеживание, что ничего не предпримет ко вреду Северного союза; однако он, царь, этим обнадеживанием не довольствуется именно потому, что в нем ничего не упомянуто о голштинском деле. Обещая стараться о дальнейших, более верных обеспечениях со стороны Пруссии, царь требовал, чтоб король датский действовал за это усиленно против Швеции, потому что шведы, не видя для себя опасности со стороны Дании, обращают теперь все свои силы против России. Письмо оканчивалось угрозой, что если датчане не сделают диверсии в Швецию, то и Россия не будет более сдерживать прусского короля.

«Денег 150000 рублей мало, и время уже позднее», – был ответ Долгорукому от короля и министров. «По всем здешним поступкам видится, что намерены нынешнюю кампанию пробыть без действия», – писал князь Василий Лукич к своему двору. Царь не давал денег, а посланник английский всеми способами старался внушить королю, как опасно для Дании усиление России на Балтийском море; те же внушения повторял и секретарь французского посольства. Россия может быть опасна на море, но все же она не так опасна, как Швеция, враг извечный, против которого Россия, естественная союзница. Этот взгляд сильно противодействовал внушениям со стороны Англии и Франции, а тут еще явились новые союзники.

В апреле 1714 года, когда князь Куракин приехал в Ганновер, здешний министр Бернсторф объявил ему следующее: «Курфюрсту давно уже известны намерения царского величества отнять у Швеции ее германские владения. Курфюрст очень к этому склонен; но так как дело не может быть окончено без согласия короля прусского, то берлинскому двору недавним временем внушено, что Пруссия сколько ни трудилась чрез Англию и Францию удержать за собою Штетин с округом, однако до сего времени получить желаемого не могла, много было дано ей обещаний, и ни одно не исполнено, и потому курфюрст советует прусскому королю войти в соглашение с северными союзниками и с Ганновером и склонить венский двор к тому, чтоб отнять у шведов все владения, находящиеся в империи, и поделить их между владельцами германскими. Прусский двор объявил свое согласие на это предложение, и в Ганновере составили следующий план дележа: король прусский возьмет Штетин с округом, курфюрст ганноверский – Бремен и Верден, король датский – Шлезвиг, а герцогу голштинскому за потерю Шлезвига дать земли, которые бы приносили до 100000 дохода. Если союз состоится, то короли прусский и датский станут добывать Штральзунд, а курфюрст ганноверский – Висмар; укрепления Висмара должны быть разорены, и самый город отдан герцогу мекленбургскому. В России это предложение чрезвычайно понравилось: Головкин писал к русским министрам за границу, чтоб везде помогали приведению его в исполнение. Русский посланник в Ганновере Шлейниц даже давал знать, что и в случае упорства датчан ганноверский двор согласен действовать вместе с Россией и Пруссией».

В конце июля Куракин, находясь в Гаге, получил новое неожиданное предложение: французский посол при Голландских Штатах маркиз Шатонёф приехал к нему и объявил, что король его и другие державы много трудились для

потушения Северной войны, но понапрасну вследствие препятствий с обеих враждующих сторон, особенно же со стороны шведского короля. Но теперь Карл XII решился заключить отдельный мир с Россией и обратился к французскому королю с просьбою помирить его с царем. Куракин, поблагодарив посла за доброе намерение, обещал донести своему двору о его предложении, заметил только, что если короли датский и польский будут исключены из мирных переговоров, то война не кончится и желание Людовика XIV успокоить всю Европу не исполнится. Шатонёф отвечал, что король шведский старается прежде всего помириться с царем, который в состоянии сделать ему и зло, и добро, а с другими королями легко можно найти средства помириться. По указу от своего двора Куракин отвечал Шатонёфу, что царскому величеству небезопасно принять предложение Людовика XIV, потому что министры его христианнейшего величества при Порте и во время переговоров с цесарем, и, наконец, при прусском дворе действовали постоянно в пользу Швеции. Царское величество никогда не отказывался от доброго и прибыточного мира с короною шведскою, только мир этот должен быть заключен сообща с союзниками. Для покинутия своих союзников и заключения отдельного мира причины важной нет; если же французскому двору известно, что союзники царского величества искали или ищут отдельного мира, то пусть посол объявит об этом, и тогда царское величество, смотря по обстоятельствам, может свое намерение объявить. Шатонёф сказал на это, что обо всем донесет своему двору; что же касается до действий французских министров в пользу Швеции, то, по всем вероятностям, они поступали без указа.

Смерть английской королевы Анны и вступление на английский престол ганноверского курфюрста Георга имели важное влияние на ход описываемых событий. Связь Англии с Франциею порвалась, и ганноверский план действия против шведов получил особенное значение вследствие нового положения, приобретенного ганноверским курфюрстом.

Для улажения дела по ганноверскому предложению отправился в Лондон князь Борис Иванович Куракин, хотя здесь был резидент барон Шак, сменивший фон дер Лита. По словам голландского резидента при петербургском дворе Деби, Шак был отстранен по причине ревности и ненависти русских к иностранцам; по той же причине и барон Левенвольд не был отправлен послом в Вену. Но иначе объясняет дело князь Куракин, который по приезде в Лондон писал Головкину: «Как господин Шлейниц (русский посланник в Ганновере), так и барон Шак ищут, чтоб быть при английском дворе, и потому каждый из них присылает доношения в самом обнадеживательном тоне, пишут то, чего я ни от кого не слышу; если их доношения окажутся верными, то прошу, чтоб они те дела и оканчивали; а если мне делать, то чтоб другие не вмешивались». В декабре Куракин писал: «Говорил мне барон Шак, что желает скоро уехать отсюда в Голштинию для своих частных дел, и требовал на то от меня согласия; я согласия не дал, а отдал на его волю, потому что незадолго перед тем уведомился я об его тайных происках при здешнем дворе, ищет он каким бы то ни было образом вмешаться в известные переговоры с датским двором и через это остаться здесь на своем прежнем poste; третьего дня ганноверский министр Роптам приезжал ко мне и говорил, что барон Шак переписывается с первым датским министром Выбеем и надеется через его посредство склонить датского короля к уступке Бремена королю английскому; для

этого-то Шак теперь и едет в Данию. Я отвечал, что барон Шак вступает в дело как частное лицо, а не как министр царского величества и в том его воля; но так как он еще не взял увольнения от службы, то следовало бы ему обо всем сноситься со мною; а при датском дворе находится посол князь Долгорукий, который пользуется большим уважением не только со стороны министров, но и самого короля, и я надеюсь, что он в состоянии уладить дело так же хорошо, как и барон Шак. Я не сомневаюсь, что лондонский двор будет предлагать царскому величеству оставить Шака здесь; но; я по своей должности доношу, что здесь лучше быть министру из русских и потому, что теперь к интересам царского величества присоединились дела имперские, причем иностранцы имеют собственные свои интересы; и потому, что здесь англичанам министр из русских приятнее, чем из немцев; наконец, важных дел здесь никогда не будет, если что и случится, то по-прежнему будет трактовано или в Гаге, или в Брауншвейге». Несмотря на эти представления, Шак возвратился из Копенгагена в Лондон с прежним значением и оставался здесь до половины 1716 года, когда был сменен Федором Веселовским.

Переговоры о приведении в действие ганноверского плана затянулись по упорству Дании, которая хотела все вознаграждение герцогу голштинскому сложить на счет Ганновера, также не соглашалась отдать Бремена и Вердена Ганноверу до общего мира; датчане боялись, что курфюрст ганноверский, выманив у них себе Бремен и Верден, войдет в соглашение с Швециею, чтоб та уступила ему эти города.

Таким образом, 1714 год прошел без военных действий со стороны Дании; о Саксонии и слуху не было: между правительствами саксонским и датским господствовало сильнейшее несогласие, оба упрекали друг друга в поступках, противных дружбе и союзу; об отношениях Саксонии и Польши к России мы уже знаем. Петр должен был один вести войну, театром которой была по-прежнему Финляндия. В феврале 1714 года князь Мих. Мих. Голицын поразил генерала Армфельда у Вазы; Выборгский губернатор полковник Шувалов покончил покорение Финляндии взятием крепости Нейшлота. Но самую большую радость доставила Петру победа, которую он сам одержал над шведским флотом при мысе Гангуте (Ганго-Удд), между Гельсингфорсом и Або, 25 июля; неприятельский контр-адмирал Эреншельд с фрегатом и десятью галерами попался в плен. Петр овладел островом Аландом, что навело ужас на Швецию, ибо Аланд находился только в 15 милях от Стокгольма. Царь с небывалым торжеством возвратился в парадиз и был в Сенате провозглашен вице-адмиралом. Не так счастлив был генерал-адмирал Апраксин, который с галерным флотом много потерпел осенью от бури; он сам рассказывал голландскому резиденту Деби, что более четырех недель испытывал постоянные бури и страдал от недостатка в съестных припасах, так что у него самого не было хлеба на столе, перед его глазами погибло много судов с людьми. «По крайней мере меня утешает то, – говорил Апраксин, – что эти бедствия ниспосланы были мне богом, а не потерпел я их от неприятелей царского величества». Всего потонуло 16 галер, а людей погибло около 300 человек.

Царь должен был торопиться решительными действиями, приобретением как можно более выгод пред неприятелем, ибо давно уже начали ходить слухи о возвращении Карла XII из Турции. Слухи оправдались в ноябре 1714 года: Карл

неожиданно явился в Штральзунде. Немедленно отправился туда голштинский администратор Христиан Август и представил Карлу своего знаменитого министра Гёрца. После долгого разговора Гёрц вышел из королевского кабинета министром и любимцем Карла XII. Для Гёрца, на которого дурно смотрели при всех дворах, единственным средством спасения оставалось овладеть доверенностью Карла; сделать это было нетрудно, ибо Карл возвратился с неодолимым желанием поднять свое падшее значение, а средств для этого при совершенном истощении Швеции не было; у Гёрца достало смелости и таланта представить ему, что средства есть, что можно повернуть политические отношения Европы в благоприятную для Швеции сторону, и Карл предался чародею. Но в то время, когда северным союзникам начало грозить не оружие Карла XII, а интрига Гёрца, что они делали для того, чтобы противодействовать ей большим скреплением своего союза?

Начало 1715 года застало союзников все еще в переговорах об «английском деле», т.е. о союзе с курфюрстом ганноверским, теперь королем английским Георгом I. Долгорукий в конференциях с датскими министрами истощал все средства увещания, чтоб склонить их к соглашению с королями английским и прусским, представлял всю пользу от союза, все опасности в случае, если он будет отвергнут. «С одними своими датскими войсками, – говорил Долгорукий, – вы не отвратите шведов от нападения на голштинские рубежи, особенно если у Карла XII будут союзники и если он высадит из Шонии войска в Зеландию. Если вы не примете предложения короля английского, то Карл XII уступит ему Бремен, прусскому королю отдаст Штетин и тем привлечет их на свою сторону против Северного союза». Министры отвечали, что король и они видят очень хорошо пользу от соглашения с английским королем; но дело в том, что эту пользу надобно купить убытком, падающим на одного короля датского, который должен отдать все свои завоевания, а награда за это в неверном будущем. Чтоб сделать министров склоннее к англо-прусскому союзу, Долгорукий обещал им деньги. Надобно было спешить делом, потому что Франция предложила свое посредничество для соглашения Пруссии и Швеции и Пруссия соглашалась принять это посредничество. Головкин в Берлине спрашивал Ильгена, для чего они так торопятся принятием французского посредничества, никакой крайности в том нет, лучше пообждать, пока окончатся переговоры об английском союзе, а между тем можно хорошенько рассмотреть дело, нет ли каких хитростей со стороны французского двора. Ильген отвечал, что, принявши посредничество, они будут медлить переговорами до окончания «английского» дела, и если это дело состоится, то они непременно объявят войну Швеции; если же не состоится, то они поневоле должны будут принять посредничество, ибо не могут стоять против такого сильного государя, как король французский. Французское посредничество, впрочем, не было принято Пруссией, потому что император выразил берлинскому двору свое неудовольствие по этому случаю. Уговаривая Данию к новому союзу, русский двор старался и об утверждении старого между Даниею и Саксонию; посланник короля Августа также хлопотал об этом в Копенгагене, – но король Фридрих (смотрел на это старание как на новое коварство со стороны саксонского двора, притом в Дании ни во что ставили саксонские войска и думали, что между королями польским и шведским заключен был тайный мир. В феврале 1715 года «английское дело» было наконец решено в Дании, которая согласилась уступить

королю Георгу Бремен и Верден. Но в марте датские министры забили тревогу, объявили Долгорукому, что король прусский не хочет вступить в союз, не хочет из-за Штетина воевать со шведами, что в таком случае Дания и Ганновер, если бы даже и вошли друг с другом в соглашение, одни не могут ничего сделать против шведов и потому скорая и деятельная помощь царя необходима для охранения датских границ; видя движение русских войск, и король прусский скорее склонится к союзу; то же самое повторил посланнику и сам король. Долгорукий, видя всеобщий страх, старался успокоить короля, представлял, что тут одно из двух: или прусский двор нарочно отговаривается от союза, желая вынудить себе еще что-нибудь, и потому надобно посмотреть, может быть, требование такое, что ему и удовлетворить можно; или король прусский через посредство Франции прекратит все несогласия с Швециею; но даже и в этом случае опасность еще не очень велика, ибо нельзя предполагать, чтоб Пруссия решилась заключить наступательный союз с Швециею, а при нейтралитете Пруссии, Дании с Ганновером легко можно принудить Швецию к миру. Король соглашался с этим, но твердил прежнее, что русская помощь необходима, и датские министры приступали к Долгорукому с требованием, чтоб русские войска поскорее входили в Померанию для действия в одно время и против Висмара, и против Штральзунда. Но у Долгорукого было свое предложение о необходимости соединить датский флот с русским, чтоб окончательно очистить Балтийское море от шведских кораблей, дать полную безопасность торговым судам, обезопасить Померанию и самые датские владения от высадки шведских войск. Министры отвечали, что соединение датского и русского флотов возможно только тогда, когда английский флот явится в Балтийское море и запрет шведский флот в Карлскроне. После этих разговоров приехал к Долгорукому от короля полковник Мейер и стал говорить как будто от себя, что царское величество обещал королю некоторую сумму денег, так нельзя ли написать, чтоб деньги были выданы: королю в них крайняя нужда, нечем будет содержать русских войск, которые придут в Померанию. «Мне нельзя об этом писать, – отвечал Долгорукий, – я знаю, что царскому величеству нужны деньги вследствие таких огромных убытков от войны; могу написать только в таком случае, если король согласится на соединение своего флота с русским». Долгорукий не говорил никому, что ему велено обещать деньги и домогаться о соединении флотов, чтоб «датчан тем не вздорожить». Датчане твердили прежнее, что до прибытия английского флота нельзя думать о соединении русского и датского флотов. Но Долгорукий, ясно понимая дело, не возлагал больших надежд на английский флот; он писал царю: «Хотя король английский и объявил войну, но только как курфюрст ганноверский, и флот английский идет для охранения своих купцов; если шведский флот пойдет против флота вашего величества, то нельзя думать, чтоб англичане вступили в бой со шведами, потому что Англия против Швеции войны не объявила. И то еще неизвестно, захочет ли английский народ, чтоб флот его каким бы то ни было способом участвовал во враждебных действиях против шведов, и не противно ль английскому народу видеть Швецию в крайнем разорении? Недавно англичане действовали усердно в пользу Швеции; положим, что новый король может отчасти удержать от этого свой народ, но заставить его явно действовать против Швеции – это королю английскому будет трудно, особенно когда он получил корону еще

недавно и внутри государства сильное несогласие. Из этого заключаю, что флот английский в явные действия против Швеции не вступит».

Между тем граф Александр Головкин хлопотал в Берлине, чтоб ввести Пруссию в Северный союз. Здешнее правительство было в крайне затруднительном положении: и сильно хотелось получить Штетин, и страшно было начать войну с Швециею, которой грозила помогать Франция; не хотелось также гарантировать Дании Шлезвиг, чего требовали Ганновер и Дания; не хотелось и давать продовольствия русскому войску, которое должно было действовать в Померании. Главным виновником нерешительности короля в приступлении к Северному союзу был министр Ильген. Головкин, видя, что король «на разговорах долгих скучает и мало выслушивает, а Ильген иногда в другом разуме королю доносит», и воспользовавшись известием из Вены, что император недоволен поступками шведского короля, отправил в апреле в Потсдам королю письмо. «Вашему величеству представляется теперь такой случай для приобретения вечной славы и для приращения ваших государств, какого, может быть, в продолжение многих веков не будет, – писал Головкин. – Ваше величество, помните, сколько труда предки ваши приложили для получения Штетина, а теперь, ваше величество, легко его получить можете, уже действительно им владея; удержать навеки его легко посредством обязательства с царским величеством, государем моим. Ваше величество рассудит, что когда великобританский король объявит войну Швеции, то Карл XII будет принужден вести оборонительную войну, не думая о наступательной. Хотя цесарь явно еще не объявляет себя в пользу Северного союза, однако в своих циркулярных грамотах признает непримиримый и *ссоролюбивый* нрав шведского короля, который, если не будет низложен оружием, никогда не даст покоя империи. С другой стороны, Франция так истощила свои силы, что не может ничего сделать в пользу Швеции; а имперские князья, дружные с Швециею, не посмеют тронуться, увидя к ней нерасположение императора. Итак, вашему величеству нет никакой опасности приступить к Северному союзу, чем приобретете вечную славу, превзойдете ею предков своих, заслужите уважение целого света и получите для потомства такую пользу, которая приведет ваши государства и подданных в совершенное благополучие. Следует рассудить и то, что так как ваше величество уже некоторую противность шведскому королю показали, то ничего другого от него ожидать не можете, кроме мщенья, которым он грозит своим неприятелям и ложным друзьям, как выражается. Поэтому ничего лучше не можете сделать, как при нынешнем удобном случае довершить то, чему положено доброе начало».

Письмо не осталось без действия. Прежде всего король объявил, что пойдет с войском в Померанию. Министры испугались такой безрассудной, по их мнению, решимости короля идти с войском, не условясь прежде с членами Северного союза. Сам Ильген начал теперь хлопотать в пользу соглашения с Даниею и Ганновером, рассуждая, что если это соглашение не состоится, а прусский король, находясь в Померании, как-нибудь столкнется со шведами, то вся тяжесть войны обрушится на одну Пруссию. В то же время Ильген объявил французскому посланнику, что так как посол шведский до сих пор не дал прусскому королю никакого объяснения на многие его требования и только старается провести прусского короля, то последний больше ждать не будет и примет свои меры. С другой стороны, английский посланник объявил прусским министрам, что, по

известиям из Франции, прусский посланник в Париже делает какие-то предложения французскому двору; но так как нельзя вести переговоры с обоими дворами вместе, то английский король спрашивает в последний раз, хочет ли прусский король вступить с ним в известное соглашение? Потому что английский король больше дожидаться не может. Наконец Карл XII покончил все колебания в Берлине, начавши неприятельские действия против пруссаков в Померании. «Я уже теперь больше молчать не могу, – сказал король Головкину, – и буду оплачивать тем же; а французы меня чуть-чуть не обманули; если бы я их послушал и только десять дней промедлил, то дался бы в обман; теперь ни на кого так не надеюсь, как на царское величество, а главное, питаю особенную любовь к персоне его царского величества». Эта любовь усиливалась враждою к королю шведскому, который не только начал вытеснять пруссаков из Померании, но и презрительно отозвался о прусском короле и прусском войске.

В половине мая союзный договор с Пруссией был наконец подписан. Согласились, что короли английский, датский и прусский пошлют отряды своих войск для осады Висмара, а между тем сами короли датский и прусский будут действовать в Померании. Но представления Долгорукого о соединении флотов по-прежнему не имели никакого действия: адмиралы объявили, что если послать флот три мили за Борнгольм, то это все равно что его сжечь и все Датское государство ввергнуть в крайнюю опасность. Английский флот явился в Балтийское море, но вместо того, чтоб запереть шведский флот в Карлскроне, как было обещано датскому правительству, отправился к Данцигу, Кенигсбергу, Риге и Ревели), намереваясь у всех этих мест оставить по два корабля для безопасности английскому купечеству. Видя, что нет никакой надежды на соединение флотов, Долгорукий требовал по крайней мере, чтоб датский флот запер шведский флот в Карлскроне; но ему отвечали, что это может быть исполнено только при помощи английского флота. Между тем настаивали на посылке русских войск в Померанию. Долгорукий давал знать в Петербург, что это будет напрасный труд и убытки, потому что короли датский и прусский имеют достаточно войска. Один из министров сказал Долгорукому: «Король очень печалится и сомневается, что царское величество не хочет сделать для него такой милости – прислать своих войск». Долгорукий засмеялся и сказал: «Царскому величеству еще печальнее и сомнительнее, что король не хочет послать ему своего флота, без которого царское величество никакой пользы союзу принести не может». На это министр заметил, что царь, имея до 27 линейных кораблей, может легко действовать против 9 кораблей шведских.

В июле короли датский и прусский осадили Штральзунд, который был защищаем самим Карлом XII. В лагере осаждающих находились и двое русских посланников: Долгорукий при короле датском, Александр Головкин при прусском. Союзники взяли остров Узедом, и по этому случаю была большая радость; Долгорукий писал 23 июля: «Третьего дня король датский смотрел прусскую кавалерию и обедал у короля прусского, где для радости о взятии Узедома гораздо повеселились, и оба короля около стола и без дам танцевали и прочие подобные дела делали, и табак король датский курил, хотя противу его природы. По сие время между обоими королями зело согласно; только король датский не вовсе еще королю прусскому верит, ежели, не соверша здешних дел, отсюда отступят, чтобы король прусский в будущую зиму не нашел с королем шведским способов к

примирению». Действительно, прусские министры Ильген и Грумкау внушали своему королю, что войною ничего не может получить, датчане не в состоянии сделать что-нибудь на море, а без этого сухопутные действия ни к чему не поведут, что через посредство Франции можно гораздо больше получить. Датский двор надеялся больше всего на прибытие русских войск; но их прибытие замедлялось тем, что в конференциях датских и прусских министров с Долгоруким и Головкиным шли сильные споры о том, как содержать русские войска: датчане, а особенно пруссаки давали слишком мало; Ильген говорил прямо датским министрам, что его королю русских войск не нужно, что к действиям нынешней кампании они не успеют, а к будущей король получит войско от некоторых имперских князей. Оказывалось, что прусский король имел в виду саксонские войска, которые обещал ему Август II: видя, что Дания не хочет иметь с ним никакого дела, Август хотел принять участие в войне посредством Пруссии, чтобы не лишиться совсем добычи. Но датскому королю противнее всего было участие саксонцев в войне, и потому он продолжал настаивать на принятии русских войск; прусский король уступал, но требовал, чтобы русские войска находились в полном его распоряжении, и когда Долгорукий с Головкиным не согласились на это требование, то Ильген прямо сказал, что король его возьмет саксонские войска, которые отдаются в полное его распоряжение, будут стоить гораздо дешевле русских и на зиму возвратятся в Саксонию, тогда как русским надобно готовить зимние квартиры. Тогда Долгорукий и Головкин заключили отдельный договор с датским королем, который обещал давать содержание и зимние квартиры 15 батальонам русской пехоты и тысяче человекам конницы. Как только прусский король узнал о заключении этого договора, так немедленно же постановил и от себя договор, по которому обязался содержать также русские войска 15 батальонов и пехоты и 1000 конницы. Но Долгорукий и Головкин при этом уведомили свое правительство, что короли берут русскую пехоту не для того, что имели мало своей, но для того, чтобы заменить свою пехоту русскою; уведомили также, что и зимние квартиры, которые дадутся русским, не будут самые покойные; притом русские войска будут отправлены в зимнее время осаждать Висмар, крепость сильную, под которою можно ожидать больших потерь. Впрочем, по мнению Долгорукого и Головкина, была и польза от пребывания русских войск под Штральзундом: король прусский утверждался в Северном союзе; король датский освобождался от опасностей; наконец, можно будет участвовать в военных советах союзников и побуждать их к скорейшему ведению дела. При заключении договора с прусским королем Ильген делал сильные возражения; и когда Долгорукий и Головкин оспаривали его, то он «озлобился» на них в присутствии короля; но Фридрих-Вильгельм сказал русским посланникам: «Между союзниками не надобно употреблять хитрости, особенно с таким союзником, как царское величество; надобно стараться, чтобы всякому равную тягость военную несть. Уверьте его царское величество, что союз с ним считаю самым драгоценным для себя и потому во всех переговорах и действиях я намерен поступать без всякой хитрости. Хотя царскому величеству и королю датскому и внушают противное, однако я пребуду всегда в твердом союзе с их величествами». Сказавши это, король велел написать договор во многих пунктах противно тому, как внушал Ильген, за что тот еще больше озлобился и продолжал вредить делу. Долгорукий и Головкин не могли настоять, чтобы русских войск не

разделяли между датчанами и пруссаками. «Если я, – говорил король, – несу убытки на их содержание, то имею право требовать, чтоб они стояли и всякую службу отправляли вместе с моими войсками; обещаюсь заботиться о ваших войсках точно так же, как и о своих собственных».

Но все эти хлопоты не повели ни к чему: русские войска не пришли под Штральзунд, остались в Польше, где, как мы видели, началось движение против саксонских войск; саксонские министры просили королей датского и прусского, чтобы не требовали у царя войск в Померанию; короли согласились, а 12 декабря Штральзунд сдался, и, таким образом, померанская кампания 1715 года кончилась без участия русских войск. Царь сильно сердился на это и срывал сердце на посланнике своем при польском дворе князе Григории Долгоруком, который требовал от фельдмаршала Шереметева, чтоб он остановился в Польше. Мы видели причины, заставлявшие князя Григория действовать таким образом, но царь считал померанские события важнее польских и писал Долгорукому: «Я зело удивляюсь, что вы на старости потеряли разум свой и дали себя завести всегдашним обманщикам и чрез то войска в Польше оставить. Ты ведаешь, что они (саксонцы) того всегда искали, каким бы образом нибудь сие дело помешать, в чем вам гораздо бы смотреть надобно». К Ягужинскому царь писал: «Что же о штуках Флеминговых, тому не дивлюсь, ибо то их плуг и коса; но удивляюсь князю Григорью, что он на старости дурак стал и дал себя за нос взять».

Между тем князь Куракин вел переговоры с английскими министрами об условиях мира с Швециею, насчет которых получил такой наказ: «О Лифляндии и Риге написать в общих выражениях, что царское величество с королем польским и Речью Посполитою согласится частным образом в претензиях и условиях насчет отдачи их Польше; а между тем королевским верным министрам, склонным к стороне царского величества, объявить за секрет, для чего этот пункт полагается: царское величество обороною Польши навлек на себя войну турецкую, в которой в противность договору был оставлен Польшею, вследствие чего принужден был отдать города, стоившие многих миллионов, и за это надобно получить от Польши вознаграждение. А когда увидит в министрах склонность, то должен предлагать в конфиденции, чтобы рассудили, какая польза будет королю великобританскому и обеим морским державам принуждать царское величество Ригу и Ливонию уступить польскому королю и Речи Посполитой? Потому что эта корона непостоянная и беспрестанным переменам подлежащая, легко может их опять потерять; да хотя бы за нею и остались, то от непостоянства поляков купечеству будет всякое утеснение и тягость; тогда как царское величество обяжется заключить с морскими державами торговый договор для всех областей своего государства, договор на таких выгодных условиях, каких никогда прежде не было. Должно склонять к тому министров и другими пристойными рациями по своему искусству и, смотря по обстоятельствам, обещать им дачу даже до 200000 ефимков, если они к тому короля, Англию и Голландию склонят».

На этот раз никакая «рация» не могла подействовать, потому что Англия и Голландия не имели средств принудить Карла XII к миру с требуемыми уступками.

Тем сильнее хотел действовать Петр в 1716 году. Желая как можно скорее окончить войну, он по-прежнему лучшим средством к тому считал высадку на шведский берег. Иначе думали в Копенгагене. «Если царское величество намерен

сильно действовать, – писал Долгорукий в январе, – то нужно начать кампанию ранее; в тайных советах здесь, как я слышал, начинают мыслить, чтобы для пользы датского короля сперва добыть Висмар, а потом уж, собравшись, перенести войну в Шонию. Король датский к добыванию Висмара очень склонен и надеется, что при этом большая часть русских войск будет употреблена». В феврале на вопрос Долгорукого, какое намерение его величества насчет будущей кампании, король отвечал, что если Висмар не сдастся, то надобно его добывать, а если сдастся, то другого места для действия не остается, кроме Шонии. Для действий в Шонии царь предлагал королю двадцать батальонов и тысячу драгун на королевском пропитании и, кроме того, еще отряд войска на собственном иждивении; русский флот должен был соединиться с датским. По поводу этих предложений происходили конференции между Долгоруким и датскими министрами, но решительного ничего не выходило из этих конференций: боялись за Норвегию, угрожаемую шведами, и не спускали глаз с Висмара, который должен был скоро сдаться, ибо терпел сильный недостаток в съестных припасах. После сдачи Висмара король хотел уговориться о дальнейших действиях при личном свидании с царем, и шли переговоры о месте этого свидания.

24 января Петр выехал из Петербурга вместе с царицею и 18 февраля прибыл в Данциг, где находилась главная квартира фельдмаршала Шереметева. Царь приехал не на радость Данцигу: прежде всего он положил штраф на его жителей, зачем торгуют со шведами, зачем в их гавани находились четыре шведских корабля; потом в устье Вислы явились двое русских офицеров для осмотра всех кораблей, для захватывания шведских; наконец, город обязан был построить четыре каперных судна для действий против неприятеля. А между тем жители Данцига были свидетелями приготовлений к брачным празднествам: Петр хотел в их городе сыграть свадьбу своей племянницы Екатерины Ивановны с мекленбургским герцогом Карлом-Леопольдом. Перенесение военных действий на южный берег Балтийского моря необходимо вело к сношениям с Мекленбургом. Еще в 1712 году Петр посылал к мекленбургскому двору барона Шлейница с просьбою, не согласится ли герцог доставлять для русских войск мясо, соль и овес. Тут же обнаружились отношения, которые впоследствии должны были играть важную роль. Во время пребывания Шлейница при мекленбургском дворе там же находился и ганноверский министр Бернсторф. Узнавши о домогательствах Шлейница, он начал ему представлять, что надобно оставить Мекленбург в покое как страну нейтральную, за которую вступятся цесарь и все имперские чины; потом Бернсторф начал пугать прусским королем, говоря, что он находится постоянно в дружеских отношениях к Швеции и если союзникам не посчастливится в Померании, то будет действовать против них с тыла. Поведение Бернсторфа объяснялось тем, что он был мекленбуржец и ему хотелось удалить сцену военных действий от родной страны, которая необходимо должна была от них терпеть. Но союзники продолжали действовать в Померании, причем мало обращали внимания на нейтралитет Мекленбурга: брали провиант у его жителей; на жалобы герцога отвечали, что во всем виноваты шведы, которых союзники имеют право преследовать и в мекленбургских землях, так пусть герцог требует от шведов вознаграждения за убытки. Несчастный Мекленбург страдал вдвойне: и от чужой войны, и от внутренней ссоры своего герцога с дворянством. Жалобы дворянства ставили герцога Карла-Леопольда в неприятные отношения к

императору и империи, и в таких затруднительных обстоятельствах ему, естественно, пришло желание искать покровительства у самого сильного из соседних государей – у царя русского. Чтоб упрочить себе это покровительство, Карл-Леопольд, разведшийся с первою женой, решился предложить свою руку племяннице Петра Екатерине Ивановне. Но легко понять, как должно было смотреть на это враждебное герцогу дворянство: герцог Карл-Леопольд, опираясь на могущественного дядю, задавит врагов своих! Отсюда естественное стремление мекленбургского дворянства действовать всеми силами против царя, выживать его войско из Мекленбурга, ссорить его с союзниками, пугать последних властолюбивыми замыслами царя, намерением его стать твердою ногой на немецкой почве. И мекленбургское дворянство могло успешно вести свои интриги благодаря представителям своим: мекленбуржец Бернсторф был министром в Ганновере и владел полною доверенностью курфюрста Георга, короля английского; двое других мекленбуржцев, Гольст и Девиц, находились в датской службе и также здесь пользовались важным значением, имели большое влияние на короля. Таким образом, вступивши на немецкую почву, вступивши в родственный союз с мекленбургским герцогом по соображению верных от него выгод, русский богатырь был опутан паутиною интриг; богатырь благодаря личным средствам своим и средствам России вырвался из этой паутины; но она заставила его провести много неприятных, беспокойных часов, что не могло не подействовать вредно на его уже и без того расстроенное здоровье.

Осенью 1714 года приехал в Петербург мекленбургский посланник барон Габихтсталь *концертовать* супружество своего государя с племянницею царского величества, обещая принцессе свободное отправление веры при дворе, предоставляя приданое соизволению царского величества, но требуя, чтоб при будущем северном мире Висмар был отдан герцогу под надежную гарантию и чтоб герцог по ходатайству царя получил вознаграждение за понесенные им от Северной войны убытки. Царь велел отвечать, что согласен на брак, если герцог представит верное доказательство своего развода с первою женою. В 1716 году дело возобновилось, и 22 Января заключен был в Петербурге брачный договор: герцог Карл-Леопольд обязался доставить своей супруге свободное отправление веры греческого исповедания, также и всем ее служителям и назначить место для построения *надворной капели* ; обязался ежегодно выплачивать ей по 6000 ефимков шкатульных денег и давать содержание придворными служителям; в случае вдовства герцогиня получит ежегодно по 25000 ефимков и замок для жительства. Царь обещается снабдить племянницу свою надлежащими *ювелиями* (бриллиантами), платьем, уборами и экипажем. Царь обязуется содействовать всеми силами, чтоб герцог получил Висмар со всеми принадлежностями, также Варнеминде; для этого царское величество обязуется послать к Висмару корпус своих войск; если же, паче чаяния, герцог Висмара не получит, то царь обязуется заплатить ему в приданое сумму от 200000 рублей.

Дело было окончено, и Куракин опоздал со своими советами из Гаги. Он писал 24 февраля: «Женитьба герцога мекленбургского и отдача ему Висмара противны двору английскому. Мой долг – донести, что никак недолжно спешить этою женитьбою, но прежде обстоятельно узнать о разводе герцога с его первою женою. Я от многих слышу, что при цесарском дворе еще идет процесс об этом разводе; цесарский министр мне говорил, что новый брак герцога не может

считаться законным и дети, от него рожденные, способными к наследству. Положим, что этого брака не желают от зависти, не желают, чтоб царское величество имел сообщение с империею посредством Балтийского моря, то и этого достаточно. Если все друзья царского величества завидуют или подозревают и чрез это нынешняя дружба может быть потеряна, дружба очень нужная при нынешних обстоятельствах, то не знаю, можем ли получить столько же пользы от герцога мекленбургского, сколько от тех, которых дружбу для него можем потерять». Опоздало и донесение Куракина о поездке его в Лондон, которую он предпринял по настоятельной просьбе Бернсторфа. Бернсторф предложил ему проект союза России с Англиею, причем Георг будет действовать против Швеции уже как английский король; Англия гарантирует царю все его завоевания у Швеции, царь гарантирует ганноверскому дому английский престол. Куракин не мог не заявить, что такое предложение будет приятно его государю. Но тут Бернсторф начал делать следующие внушения: «Царское величество имеет намерение, взявши Висмар, отдать его герцогу мекленбургскому, но мой король просит царское величество для любви к нему и для собственного интереса покинуть это намерение и предоставить Висмар в распоряжение князей Нижнесаксонского округа. Что касается брака герцога мекленбургского с племянницею царского величества, то король в это дело не мешается; но я от себя дружески вам объявляю, что едва ли этот брак может быть признан законным; притом если царское величество вникнет в характер герцога, то найдет его очень неприятным».

Все эти донесения получены были уже в Данциге. Здесь 8 апреля, в день, назначенный для бракосочетания, заключен был с женихом союзный договор, по которому царь обязывался доставить герцогу и его наследникам совершенную безопасность от всяких внутренних и внешних беспокойств, обещал для достижения этих целей помогать герцогу войском и военными принадлежностями, не требуя за то никакого награждения, на время настоящей войны обещал дать девять или десять полков, которые вступят в службу герцога, присягнут ему и останутся в распоряжении его одного с условием, однако, что царь имеет право заменять эти полки новыми; в нынешней распре герцога с его шляхетством царь помогает ему при цесарском дворе, и если шляхетство предпримет что-нибудь против герцога, то царь защищает его всею своею силою. Герцог обещает царским подданным для лучшего отправления торговли жить в своих землях и пристанях, иметь склады товаров и свою церковь, в которой службу божию по греческому исповеданию свободно отправлять. Герцог позволяет русским войскам всюду проходить через свои владения и сооружать магазины.

После подписания этого договора в 4-м часу пополудни совершено было бракосочетание в присутствии государя, царицы, короля польского и множества знатных лиц, русских и иностранных; вечером, разумеется, не обошлось без фейерверка.

Свадьба не мешала делам. Петр был очень недоволен, что все внимание датчан обращено на Висмар и об исполнении любимого плана его, о высадке в Шонию, не думают. 21 марта он написал Долгорукому: «Из письма вашего усмотрели мы с великим удивлением, коим образом у его величества короля датского никакие предуготовления не чинятся к десанту в Шканию, но что со

стороны его королевского величества токмо об осаде и добывании Висмара мыслят; но понеже недовольно будет хотя и город Висмар возмется, ибо тем война наша еще окончена не будет, но потребно суть, чтобы в самую Швецию вступить и там силою оружия неприятеля к миру принудить. Мы такожде в том намерении такое знатное число наилучших наших войск сюда привели, дабы купно с королем датским десант в Шканию учинить и неприятеля в середине своего государства атаковать, еже когда учинится и в том с надлежащею ревностию поступлено будет, то король шведский и забудет транспорт в Висмар учинить, но, оставя то намерение, принужден будет все свои мысли к собственной своей обороне обратить. И тогда Висмар, не имея более надежды к сукурсу, сам принужден будет сдаться; или можно и такие меры взять, чтоб и то и другое учинить: и Висмар добывать, и десант в Шканию в одно время делать. Того ради вы сие его королевскому величеству наилучшим образом представьте и домогайтесь, чтоб его королевское величество, не упустя времени, к помянутой десанте все потребные предуготовления заранее учинить указал, чтоб оной всеконечно к сей кампании с божиею помощью учинить быть мог. Вы его величеству объявите, что мы для пользы общего интересу и для вспоможения его королевскому величеству такие великие иждивения несем и наилучшим своим войскам в такие дальние край маршировать велели, и еще оные на своем жалованьи и часть оных на пропитании содержать хотим, и то все для того, чтоб его королевское величество датское в состоянии привести с желаемым сукцессом помянутой десант предвосприять. Но ежели сии наши труды, понесенные убытки и приложенные радения все будут и настоящую кампанию только добыванием Висмара препроводить, а десанту в Шканию учинить не хотят, то б его королевское величество не надеялся, чтоб мы в предбудущей год в состоянии были ему войсками нашими или иным чем вспомогать и вновь такие превеликие иждивения понести, умалчивая, что между тем времена отмениться могут таким образом, что уже тогда и поздно будет оный десант предвосприять».

Неудовольствие увеличивалось жалобами нового родственника, герцога мекленбургского, на разорение его земли датскими, прусскими и ганноверскими войсками, облежавшими Вис-мар; предъявлена была «неслыханная и непристойная претензия», чтоб Мекленбург платил солдатам, работавшим под Висмаром. 28 марта Шафиров по приказанию Петра написал Долгорукому из Данцига, чтоб он сделал по этому предмету представление датскому двору в «сильных терминах»: несправедливо вместо награды за содействие успехам союзников разорять земли герцога, и без того уже потерпевшие много убытка от войны; герцог, раздраженный такими поступками, может обратиться за помощью к цесарю и имперским князьям, которые и без того к северным союзникам не очень склонны; кроме родства царское величество имеет и ту причину заступаться за герцога, что русские войска уже пришли в Мекленбург и из него же должны получить пропитание; но если союзные войска будут таким образом разорять эту землю, то войскам царского величества придется голодать.

Русский царь уже заступает за герцога мекленбургского; взаимные обязательства дяди и племянника, пребывание русского войска в Мекленбурге в полной зависимости от герцога с целью служить ему при подавлении всех врагов его – все это было известно и приводило в отчаяние враждебную герцогу *шляхту* мекленбургскую, имевшую таких сильных представителей при дворах

ганноверском и датском. Понятно, что эти представители должны были употребить все усилия, чтоб выжить русские войска из Мекленбурга. Единственным средством к тому было возбуждение между союзниками подозрения насчет властолюбивых намерений Петра: вся эта тесная связь царя с герцогом мекленбургским, разглашали Бернсторф с товарищи, клонится к одному – чтоб русским стать твердою ногою на немецкой почве; царь хочет Висмара для герцога, но ясно, что тот сейчас же уступит этот город могущественному родственнику за какое-нибудь вознаграждение. Король Георг поверил всему, что внушал Бернсторф; датский король начинал колебаться, и мекленбуржцы его службы тем удобнее действовали. Мы видели, что царь обещал Карлу-Леопольду Висмар в *приданое* за племянницею; исполнить это обещание было очень важно для Петра, потому что бедная русская казна освобождалась этим от обязанности выплачивать большую сумму денег; князь Репнин получил приказание идти к Висмару с четырьмя пехотными полками и 500 драгун для помощи союзникам при осадных работах и взятии города. 1 апреля Репнин приблизился к Висмару и послал сказать датскому генералу Девицу и товарищам его, что прибыл по указу царского величества в помощь всем войскам союзным; но получил ответ, что командующие союзными войсками генералы не имеют от дворов своих никаких указов насчет русского войска, только прусский генерал предлагает, чтоб князь Репнин занял его посты и принял приготовленный провиант. Репнин, не имея указа сменить пруссаков у Висмара, отказался. 4 апреля приехали к Репнину все союзные генералы, и Девиц объявил, что Висмар сдается. «Хотя, – говорил Девиц, – я и не имею от двора своего и от союзников никакого относительно вас указа, однако я не желал скрыть от вас о капитуляции города». «Удивительно, – отвечал Репнин, – что вы не имеете относительно меня никакого указа, но ведь вы знаете, что я сюда с командою прислан от царского величества, северного сильного и твердого союзника; вы не должны оканчивать капитуляции, не объявляя мне; также когда союзные войска будут посланы для приема Висмара, то должно послать туда же и часть войск царского величества соответственно числу их». Девицу это требование очень не понравилось. «В трактатах о висмарской осаде, – говорил он, – ничего не упомянуто о русском войске, а только о датском, ганноверском и прусском, и теперь я без указа впустить русских в город не смею». «Если вы не распорядитесь, – отвечал Репнин, – то я и сам пошлю; если же моих людей не пустят в город, то вы будете отвечать».

Русские войска не были впущены в Висмар; дело чуть не дошло до драки, Репнин принужден был повернуться назад. Петр, имея в виду высадку в Шонию, что, по его мнению, должно было иметь решительное влияние на ход войны, не хотел ссориться с Даниею и ограничился сильными представлениями королю насчет поступка генерала Девица. 1 мая Петр выехал из Данцига в Штетин, где имел свидание с прусским королем, в Альтоне имел свидание с королем датским, и 23 числа окончательно уговорились насчет высадки русских войск в Шонию, с одной стороны, и на восточный берег Швеции – с другой, под прикрытием английской эскадры. Уладивши это важное дело, Петр поспешил в Пирмонт пользоваться тамошними водами: это пользование (*кур* или *питух*, по выражению Петра) было ему необходимо перед трудами кампании, потому что он выехал и из Петербурга нездоровый. В половине июня *кур* кончился, и царь поспешил в Росток к своей галерной эскадре, на которой находилась русская

пехота, назначенная к Копенгагену; Петр сам хотел перевезть ее туда, тогда как 5000 конницы шло из Мекленбурга через Голштинию, Шлезвиг и Фионию. Между тем мекленбургские друзья действовали: Долгорукий доносил, что датский король, разговаривая с ним 22 июня, сказал, что английский флот едва ли будет действовать против шведов; англичанам, продолжал король, противно, что войска царского величества вступят в Шонию. «Отчего же противно?» – спросил Долгорукий, «Оттого, – отвечал король, – что они подозревают царское величество, а причины подозрения: поступок царского величества с Данцигом (наложение контрибуции), вмешательство в мекленбургские дела, действия в пользу герцога мекленбургского, а теперь еще больше навело подозрения введение русского войска в Росток».

Петр послал Куракину указ стараться как можно скорее заключить, с Англиею договор, потому что без этого английский флот едва ли что сделает в пользу Северного союза, адмирал Норрис даже и в Балтийское море идти не хочет; транспорт, который должен идти от Ростка в Зеландию, замедлил, потому что прикрыть его нечем, и можно опасаться, что, кампания пройдет без действия. Надобно думать, что ганноверцы интригуют при датском дворе, Фабрициус, ганноверский министр, отвращал датского короля от высадки в Шонию, убеждал оставить это предприятие и возвратить русские войска. Куракин передал Бернсторфу о поведении Фабрициуса; тот отвечал, что сомневается в верности этого известия и может с клятвою засвидетельствовать, что двор его сильно желает высадки в Шонию и что английский адмирал Норрис прикроет Зунд для высадки. Заключение договора между Россиею и Англиею откладывалось; Бернсторф не хотел слышать ни о какой сделке по мекленбургскому делу. Куракин объявил ему, что если, он службу свою царскому величеству покажет, поможет герцогу мекленбургскому в получении Висмара то получит все, что потребует себе и своей фамилии в вознаграждение. Бернсторф отвечал, что он, как добрый патриот, старается об общих интересах всего мекленбургского дворянства и требует одного, чтоб герцог оставил дворянство при прежних привилегиях без всяких нападков, и тогда дворянство будет верно ему служить.

6 июля Петр был с галерною эскадрою у Копенгагена, откуда написал жене: «Дай знать, как сюда будете, дабы я вас мог встретить, понеже чины неописанные здесь, и я вчера в такой церемонии был, в какой более двадцати лет не бывал». Но скоро оказалось, что не одни церемонии будут брать дорогое время. «О здешнем объявляем, – писал Петр жене, – что болтаемся туне, ибо что молодые лошади в карете, так наши соединенные (союзники), а наипаче коренные: сволочь хотят, да коренные не думают». Июль, самая лучшая пора, проходил в болтании; царь беспрестанно побуждал датчан, чтоб транспортом и флотом не мешкали и чтоб войско свое собирали к Копенгагену. Ему отвечали, что до прибытия вице-адмирала Габеля из Норвегии нельзя ничего начинать; прежде уборки хлеба с полей нельзя идти войскам: лагерями повредят стоячему хлебу. 27 июля пришел Габель с эскадрою из Норвегии; царь начал снова торопить, представляя, что нет уже более отговорки Габелем; но движения не было; датские транспортные суда для перевозки русских войск из Ростка не отправлялись. «Болтание туне» соединенных флотов, русского, английского и датского, продолжалось. Английский адмирал Норрис предлагал крейсировать всеми флотами у Карлскроны; Петр согласился, но датский адмирал объявил, что он на то указа не

имеет. В половине августа сам Петр доплыл к Штральзунду для ускорения отправки транспортных судов. Возвратясь в Копенгаген, Петр поехал исследовать шонские берега, куда намерен был высадиться, и нашел, что шведы отлично воспользовались медленностью союзников и сильно укрепились; Петр был встречен огнем с батарей; шнава «Принцесса», на которой находился сам государь, была пробита ядром, другая шнава, «Лизета», также получила значительные повреждения. Получены были известия, что неприятель силен в Шонии, что у него там больше 20000 войска и берег укреплен редутами и батареями.

Нам известна постоянная осторожность Петра, которая должна была еще усилиться от жестокого наказания за прутскую неосторожность. К обычной осторожности присоединялась еще теперь подозрительность: зачем такая медленность, зачем пропущено самое благоприятное время, зачем дана неприятелю возможность укрепиться? Получались известия, что Бернсторф с товарищами ведет крамолу, что генерал кригс-комиссар Шультен подкуплен и потому нарочно медлил транспортом, чтоб заставить русских сделать высадку в осеннее, самое неудобное время, «ведая, по словам Петра, что когда в такое время без рассуждения пойдем, то или пропадем, или так отончаем, что по их музыке танцовать принуждены будем». 1 сентября государь созвал министров своих и генералов в «генеральный консилиум» и предложил вопрос: предпринимать ли высадку или нет, потому что время наступает позднее, а дивизия князя Репнина еще не перевезена и диверсия от Аланда не сделана по вине датчан? Все единогласно отвечали, что высадку надобно отложить до будущего лета. 4 числа пристал к берегу князь Репнин; но трех драгунских полков датчане, несмотря на письменное обязательство, не перевезли, отговариваясь, что у них нет столько судов. 5 сентября царь держал другой совет, чтоб спросить мнения и новоприбывших генералов; и те подтвердили решение первого совета. После этого весь сентябрь прошел в пересылках и конференциях между царем и королем датским, их генералами и министрами. С русской стороны представляли невозможность отваживаться на такое важное предприятие в такое позднее время, перевезти на неприятельские берега тайком такое большое войско; высадившись, надобно дать сражение, потом брать города Ландскрон и Мальме. С русской стороны спрашивали: где зимовать, если взять эти города не удастся? На это отвечали, что зимовать можно при Елсеноре в окопе, а людям поделать землянки. Но от такой зимовки людей должно было пропасть гораздо больше, чем в сражении. Петр велел объявить датскому двору решительно, что высадка невозможна, надобно отложить ее до будущей весны. Узнавши об этом объявлении, мекленбургские друзья закричали, что маска снята, царь нарочно сам медлил перевозкою своих войск и теперь под предлогом позднего времени не хочет высаживаться на шведские берега, потому что находится в сношениях с шведским правительством.

Но это еще не все: не мог он безо всякой цели привести в Данию такое большое войско, надобно опасаться его враждебных замыслов, надобно беречь Копенгаген! И в Копенгагене всполошились: поставили всю пехоту по валам и амбразуры на валах прорезали; к адмиралу Норрису прислан был указ напасть на русские корабли и транспортные суда, если царь не пойдет в Шонию). Норрис не мог исполнить приказание, потому что оно было прислано из ганноверской, а не

из английской канцелярии. Король Георг требовал, чтоб английский адмирал овладел русскими кораблями и самим царем и не отпускал Петра до тех пор, пока русское войско не очистит Дании и Германии; но английское министерство и сам принц вельский представили Георгу, что вследствие разрыва с царем в России будут схвачены английские купцы и корабли и пресечется необходимый для Англии подвоз корабельных материалов; лучше всего пусть король Георг частным образом и в глубочайшей тайне внушит датскому королю, что если тот приведет означенный план в исполнение, то он, король Георг, будет помогать Дании в имеющей произойти отсюда борьбе ее с Россией. Но датский король, разумеется, не поддастся этим внушениям, тем более что переполох скоро кончился, с русской стороны не обнаруживалось никакого враждебного намерения, и с октября царские войска начали обратно перевозиться из Дании к Ростку. Фельдмаршалу Шереметеву указано было с пехотой расположиться на зимних квартирах в Мекленбурге, из кавалерии же оставить здесь только один полк, а прочим идти на зимние квартиры к польским границам. 13 октября царь написал Сенату из Копенгагена: «Господа Сенат! Понеже господа датчане так опоздали в своих операциях, что в сентябре сюда наших перевели, и так за поздним временем действия остановились, а к будущей кампании факции разные не допускают: того для нет инова способу, только что от Аланта неприятеля утеснять, к чему всякое приготовление чините, только не усните так, как в нынешней кампании, что адмирал (Апраксин) принужден был повернуться».

16 октября сам Петр с царицею Екатериною, которая приехала к нему в Копенгаген, отправился из этого города в Мекленбург; в Шверине царица осталась, и Петр отправился один в Гавельсберг, где дожидался его король прусский. В то время, когда ганноверское правительство делало явные неприятности, когда правительство датское позволяло себе внимать его внушениям, один король прусский обнаруживал знаки неизменной верности русскому союзу. В сентябре граф Александр Головкин донес царю, что в Берлин приезжала депутация от мекленбургского дворянства с просьбою о помощи против герцога и царя: депутация уехала с отказом и прусские министры обнадежили Головкина, что король их не сделает ничего противного царскому величеству и для своего великого почитания к нему хочет благоприятствовать и герцогу мекленбургскому. Тут же Головкину было объявлено за великую тайну, что с английской стороны внушено было прусскому королю, будто царь намерен удержать за собою всю Померанию, Штральзунд и Штетин; но король не поверил этим внушениям. Английский король предлагал прусскому написать вместе грамоту к царю о выводе русских войск из Мекленбурга, и написать в сильных выражениях. Фридрих-Вильгельм отвечал: «Пусть пишут проект грамоты при английском дворе; но с прусской стороны жестоких выражений в грамоту не внесут, имея причины не раздражать царя, а угождать ему». Когда Петр дал знать берлинскому двору, что высадка в Шонию отложена, то здесь без возражения приняты были причины, представленные царем и вся вина сложена на датчан. Сам король объявил Головкину, что все внушения ганноверского двора считает ложными, происходящими от частной злобы Бернсторфа, и потому отклонил свидание с английским королем. Из Ганновера не переставали приходить в Берлин внушения, что царь хочет овладеть Гамбургом, Любеком, Висмаром и укорениться в империи; но Фридрих-Вильгельм не обращал на это никакого внимания и в

противность ганноверскому правительству внушал царю, чтоб он не выводил своих войск из Мекленбурга, потому что если шведский король нападет на Данию, то без русских войск ни Дании, ни Пруссии нельзя будет с ним успешно бороться, а король английский не поможет. В Гавельсберге при личном свидании государей был скреплен союз между Россией и Пруссией. Король Фридрих-Вильгельм обязался: в случае нападения на Россию с какой-либо стороны с целью отнять у нее завоеванные у шведов области, гарантированные Пруссией, последняя помогает России или прямо войском, или диверсией в земли нападчика. 17 ноября Петр выехал в Гамбург, направляя путь в Голландию. Отсюда еще в августе-месяце Куракин сообщил любопытные вести. Приезжал к нему генерал Ранг, родом швед, но находившийся в службе ландграфа гессен-кассельского. Ранг стал рассказывать, что происходило в Пирмонте во время пребывания там царя, к которому ландграф присылал своего обер-гофмаршала барона Кетлера с предложением помириться с Швецией; Петр отвечал: «Можно ли с шведским королем переговаривать о мире, когда он не имеет никакого желания мириться и называет меня и весь народ русский варварами?»

Передавая эти слова Петра, Ранг заметил Куракину, что царю несправедливо донесено об отзывах об нем Карла XII. «Я, – говорил Ранг, – был при шведском короле в Турции и в Штральзунде с полгода, и во все это время Карл XII отзывался о царском величестве с большим уважением: он считает его первым государем в целой Европе. Надобно всячески стараться уничтожить личное раздражение между государями, ибо этим проложится дорога к миру между государствами».

Куракин получил указ отвечать Рангу *от себя*, что царь всегда обнаруживал склонность к заключению мира и теперь заключить его на полезных условиях склонен; если шведский король подлинно намерен прекратить войну, то пусть прямо присылает к царю с этим предложением; а если явно прислать не хочет, то пусть пришлет кого-нибудь под видом переговоров о картеле или под именем посланного от ландграфа гессенского для испрошения паспорта в Швецию. Куракин должен был обнадежить Ранга, что царь допустит к себе этого посланника и велит его выслушать и что этим путем, обратясь к царю как главе Северного союза, шведский король скорее получит мир, чем другими способами; но Ранг должен был при этом поклясться, что никому ничего не объявит. Когда Куракин сообщил все это Рангу, то он отвечал, что шведский король ясно видит свою выгоду в заключении мира с царем, потому что вся Северная война ведется русскою силою, а не силою союзников, и когда мир заключен будет с Россией, то союзники также должны будут помириться: поэтому-то Карл XII дал полномочие ландграфу гессенкассельскому искать мира с Россией.

Кроме Ранга подобные же предложения были сделаны Куракину и посланником кассельским Дальвиком; с Гёрцем же Куракин не имел ни малейшего сообщения; несмотря на то, при ганноверском дворе трубили, что он сносился с Гёрцем об отдельном мире между Россией и Швецией и что уже прелиминарные статьи подписаны. 6 декабря въехал Петр в Амстердам, куда на другой день приехали за ним канцлер граф Головкин, подканцлер барон Шафиров, тайный советник Петр Толстой, генералы – князь Василий Владимирович Долгорукий, Иван Бутурлин, чрезвычайный посол при Голландских Штатах князь Куракин. Петр ждал и царицу, которая должна была ехать медленно по причине

своей беременности; в начале декабря он писал к ней: «Писал я к вам перед сим, что и ныне подтверждаю, дабы сею дорогою, которою я ехал, тебе не ездить, понеже неописанно худа. Также людей не много берите, понеже зело дорого станет житье в Голландии; также и певчих, буде не уехали, полно (достаточно) половины, а другую оставьте в Мекленбургии. Как я, так и все со мною здесь зело сожалеют о нынешней дороге вашей: и ежели ты можешь снести, лутче б там осталась, понеже не без опасения от худой дороги. Однакож будь в сем воля твоя и, для бога, не подумай, чтоб я не желал вашей езды сюды, чево сама знаешь, что желаю; и лутче ехать, нежели печалитца: только не мог удержатца, чтоб не написать; а ведаю, что не утерпишь». Екатерина должна была остановиться в Везеле, где 2 января 1717 года родила сына, царевича Павла. В ответ на радостную весть Петр писал жене: «Зело радостное твое писание вчера получил, в котором объявляешь, что господь бог нас так обрадовал, что и другога рекрута даровал, за что да будет выну хвала ему и незабвенное благодарение! Сия ведомость вдвое обрадовала: первое о новорожденном, а паче что вас господь бог свободил, от чего и мне стало полутче, ибо от самово Рождества Христова столь долго сидеть не мог, как вчерась. Как мочно будет – поеду к тебе немедленно». Но на другой день пришла печальная весть, что новорожденный царевич скончался и мать очень слаба. Дано было также знать, что причиною этих несчастий было пренебрежение, оказанное царице в ганноверских владениях. Вот как сам Петр говорит об этом: «Когда жена моя ехала в Голландию чрез Ганновер, тогда неслыханным образом ругана была, а еще чревата, а именно, что мужики, которые везли, сбили возницу, также всех людей отбили от кареты и посажали по телегам, как воров, а сами чрез день и всю ночь ехали, ниже спать, ниже отдохнуть ей не дали, от чего, приехав в Везел, безчастное рождение имела». Царь хотел ехать к больной жене, но сам занемог жестокою лихорадкою, которая продолжалась до 10 февраля; а царица тем временем оправилась и 2 февраля была уже в Амстердаме.

Между тем в Англии произошли любопытные события. 7 февраля царь получил от резидента своего в Лондоне Веселовского следующее донесение от 1 февраля: «Четвертого дня приключился здесь случай чрезвычайный и *очень полезный интересам вашего царского величества*, а именно: по королевскому указу шведский министр при здешнем дворе Гилленборг в доме своем арестован, вся переписка его забрана и отнесена в тайный совет; в тот же день арестованы три человека из партии тори, и отправлены чиновники для арестования многих других лиц по областям, также посланы указы во все гавани, чтоб не выпускать ничего без паспорта от государственного секретаря, а в адмиралтейство послан указ, чтоб немедленно были вооружены двадцать три корабля. Я уведомился, что шведский министр арестован за то, что по указу короля, своего вступил в заговор против короля Георга с партией претендента (Иакова III Стюарта); было положено, что в начале марта от 8 до 12000 шведского войска высадятся в Шотландии и соединятся с партией претендента». Петр отвечал на это: «Надлежит тебе, хотя бы пришлось употребить и некоторое иждивение, подлинно проведать и нам донести обстоятельно, имеет ли король английский подлинное намерение объявить войну Швеции и может ли склонить парламент, чтобы дал нужные субсидии, и, вооружа флот, куда намерены его употребить? Также показывает ли двор английский теперь к нам какую-нибудь склонность и как с тобою обращаются английские министры после открытия заговора в сравнении с

прежним? Тебе надобно часто у них бывать и выведывать об их намерениях удобным образом. Если будут тебе говорить и обнаруживать склонность к соглашению с нами, то можете им объявить, что мы дружбы короля английского желаем и в соглашение с ним вступить готовность всегда имели и имеем; что мы для показания истинного своего намерения и к его королевскому величеству нашей дружбы повелели уже фельдмаршалу нашему графу Шереметеву с двенадцатью батальонами войск наших из Мекленбурга выступить и идти в Польшу и в Мекленбурге осталось наших только двадцать батальонов, о которых с датским двором у нас продолжаются еще переговоры; и если с этим двором мы не уладимся, что обнаружится скоро, то и остальным войскам также велим выйти из Мекленбурга. Но все это ты им говори от себя, а не по указу. Можешь объявить по указу только то, что мы очень рады открытию злого заговора короля шведского, с чем королевское величество поздравляем, поступок его с шведским министром одобряем и что теперь неприятельская злоба короля шведского явна всему свету». Как был рад Петр этому случаю, видно из письма его к адмиралу Апраксину: «Ныне неправда ль моя, что всегда я за здоровье сего начинателя пил? ибо сего никакою ценою не купишь, что сам сделал».

Но Петр радовался понапрасну. Бернсторф, как доносил Веселовский, дал ему знать конфиденциально, что хотя при нынешних обстоятельствах нужно было бы войти в соглашение с северными союзниками, однако, пока русские войска не выйдут из империи, английский король ничего не постановит с северными союзниками; впрочем, король очень склонен содержать крепкую дружбу с царем, а что дела мекленбургские служат препятствием к соглашению, на то нельзя сердиться, ибо эти дела касаются интереса и обязанностей королевских.

Скоро Веселовский дал знать, что кроме мекленбургских дел явилось новое препятствие к соглашению: в найденных письмах у Гиллемборга упоминается о русском дворе, именно о царском медике Арескине, приверженце Стюартов. Веселовский просил наставления, как ему действовать, чтоб уничтожить всякое подозрение, хотя никто из министров еще не высказывал ему этого подозрения. Подозрение было возбуждено следующими строками в письме Гёрца к барону Шпарре из Гаги от 11 ноября 1716 года: «Для примирения с царем действовать посредством Франции нам неудобно, потому что Франция ласкается к Англии и не захочет ничего сделать без согласия с последнею. Другие каналы также неудобны по медленности. Думаю, что можно поддерживать доброе расположение царя посредством доверенного медика, если это расположение действительно таково, как об нем дано знать. В случае если царь приедет сюда и будет возможность переговорить с конфидентом, то мы далеко поведем дела, опять в предположении, как я сказал, что все написанное конфидентом основательно». Более подробное содержание сообщений *конфидента* находится в письме Густава Гиллемборга к графу Гиллемборгу из Гаги от 17 ноября 1716 года: «У милорда Мара есть родственник, по имени Ерскин, который служит медиком и тайным советником у царя. Этот конфидент пишет к Мару, что царь не предпримет ничего более против короля шведского, что он поссорился с своими союзниками, что он не может никогда сблизиться с королем Георгом, которого смертельно ненавидит, что он убежден в правах претендента, что он больше всего желает иметь случай восстановить его на английском престоле; что царь, будучи победителем, не может

первый сделать предложения королю шведскому; но если Карл XII согласится сделать хотя малейший шаг, то немедленно все будет улажено между ними».

Получив эти известия, Петр 5 марта послал указ Веселовскому подать английскому двору через государственного секретаря оправдательный мемориал и, если можно, напечатать его на французском и английском языках «для показания всему свету». Если напечатать не позволят, то рукописные списки раздать министрам и влиятельным членам парламента, «особливо дабы то в народе было явно»; выпросить конференцию у министров английских и ганноверских и засвидетельствовать перед ними от имени своего государя, что он относительно короля английского никогда не имел и не имеет противного намерения, всегда искал его дружбы и доброго согласия; и хотя со стороны королевской много показано недоброжелательств в Копенгагене во время приготовлений к высадке в Шонию, да и теперь благодаря министрам короля Георга датский двор не вступает ни в какое соглашение с Россию; хотя и при прочих дворах, цесарском, прусском, и на сейме регенсбургском министры короля Георга старались привести русского государя у всех в ненависть и поднимали всю империю, чтоб выбить русские войска, однако царь не имел против короля Георга никакого противного намерения и в доказательство отправил тайного советника Толстого для переговоров о действиях в будущую кампанию; но Толстой был встречен так холодно с английской стороны, что переговоры порвались без всякой причины. При проезде короля Георга через Голландию тот же Толстой и князь Куракин отправлены были к нему с нужными предложениями, но не были допущены на аудиенцию; сам царь хотел иметь личное свидание с королем, но тот не согласился. Несмотря на все это, царю и в мысли не приходило помогать претенденту, и все находящееся в письмах шведских министров о России – бессовестная ложь, и ни малейшего ни от кого предложения не было сделано русскому двору. Правда, что, когда были порваны переговоры с королем Георгом, со стороны претендента к царю была подсылка об отдельном мире между Россию и Швециею; однако царское величество и слышать об этом не хотел и людей, приехавших с предложением от претендента, к себе не допускал; о заговоре же в пользу претендента и о намерении шведского короля напасть на Англию небыло ничего сообщено. В оправдательном мемориале было сказано, что медик Арескин уже тринадцать лет находится в службе царской и всегда вел себя так, что нельзя поверить, чтоб он до такой степени забылся и вступил в непристойную переписку без всякого указа; притом он только лечит и ни к каким советам и государственным делам не употребляется. Царское величество, узнав, что некоторые из родственников его находятся в возмущении против короля Георга, тотчас же запретил ему иметь с ними переписку даже и о частных своих делах. И теперь, узнавши о переписке шведских министров, Арескин объявил под присягою, что никогда подобных писем ник лорду Мару, ни к кому другому не писал, и подвергает себя жесточайшему наказанию, если где-нибудь такое письмо его явится. Да и согласно ли с интересом царского величества благоприятствовать тому, чтоб претендент получил английский престол с помощью короля шведского, которому навсегда останется благодарен, ко вреду России. Арескин с своей стороны также переслал английскому правительству оправдательную записку.

На объяснения Веселовского государственный секретарь отвечал уверениями в дружественном расположении своего короля к царскому величеству; уверял, что

лживые внушения шведских министров не произвели никакого впечатления ни на короля, ни на тайный совет его и никакого подозрения на русское правительство нет: доказательством служит то, что Веселовскому не сделано никакого особенного против других министров сообщения. Что касается доктора Арескина, то для обвинения его нет до сих пор никакого прямого доказательства; надобно думать, что шведские министры через графа Мара старались втянуть его в свое предприятие и этим накинули на него тень подозрения, хотя, быть может, он и совершенно невинен; если же что против всякого чаяния откроется, чем можно будет его уличить, то царскому величеству будет донесено приличным образом. В публикации шведской переписки у английского правительства не было другого намерения, как обнаружить злые умыслы шведов, и не думает оно, чтоб этою публикациею могло кому-нибудь досадить, потому что шведские разглашения являются неосновательны и лживы. Король очень чувствителен к продолжению добрых намерений царского величества и постарается показать взаимные опыты своей дружбы. Окончил свои объяснения государственный секретарь обычным припевом, что когда русские войска будут выведены из Мекленбурга, то, без сомнения, Англия и Россия придут в прежнее доброе согласие. Тот же припев находился и в письменном ответе на мемориал Веселовского. Здесь, между прочим, король оправдывался, почему не имел свидания с царем и не выслушал Толстого и Куракина: «Королю было бы великое удовольствие иметь свидание с царем при проезде его в Голландию, но болезнь царского величества до этого не допустила. Его королевское величество с охотою увидал бы и выслушал господ Куракина и Толстого, если б они приехали не в ту минуту, когда его величество на яхту садился и не мог отложить отъезда, чтоб не пропустить убылой воды».

От ганноверских министров на все предложения Веселовского насчет общих действий против Швеции был также один ответ: нельзя вступать ни в какие соглашения до вывода русских войск из Мекленбурга. Петр, видя, что с этой стороны нельзя успеть ни в чем, решился испытать удачи со стороны Франции и 24 марта отправился туда из Голландии.

Мы видели, что до Петра и при Петре попытки сближения между Россиею и Франциею постоянно оканчивались неудачно и Петру приписывалось особенно личное нерасположение к Франции. Мы оставим в стороне это личное несочувствие Петра к Франции, потому что если оно и существовало, то не было сильно, не имело влияния на политические соображения: когда считалось нужным, Петр никогда не отказывался входить в сношения с Франциею. Сближению двух держав мешало не личное нерасположение царя, а совершенная разрозненность их интересов, особенно с того времени, когда «преславная виктория» обнаружила всю силу России и ее новое значение в европейской семье народов. Если мы взглянем на предшествовавшую политику Франции, то легко пойдем, почему она более других держав должна была встревожиться появлением на востоке Европы нового могущественного государства. Когда по окончании внутреннего процесса соборания французской земли, Франция, пользуясь своими обширными средствами, начала стремиться к первенству в Европе, то в этом стремлении встретила сильное сопротивление от габсбургского дома; отсюда ожесточенная борьба между нею и Габсбургами, отсюда господствующее направление французской политики к тому, чтобы всеми средствами вредить последним, отсюда союз ее с Турциею. В войну за наследство испанского

престола Австрия отомстила Франции за Тридцатилетнюю войну; обнаружилось, что с Австриею нужно еще вести долгие счеты; тем важнее становилось для Франции сохранить старых союзников своих – естественных врагов Австрии, сохранить союз с Турциею, поддержать это государство, упавшее в конце XVII века. В это самое время является на сцену сильная Россия; понятно, что Франция отнесется к ней сообразно со своими интересами, что для нее первым вопросом здесь будет: в каких отношениях должно быть новое государство к Австрии и Турции? Враждебность России к последней была очевидна; но при этой враждебности к Турции Россия должна быть естественною союзницею Австрии, которая также враждебна Турции; ясно, следовательно, что новое государство должно идти наперекор французским интересам: ненавистная Австрия приобретает в нем могущественного союзника, дружественная Турция – страшного врага. Но этого мало. Во время Тридцатилетней войны Франция отыскивала удобное орудие для нанесения тяжелых ударов Габсбургам: то была Швеция. С помощью Франции Швеция получила важное значение, утвердилась на германской почве; и Швеция исправно платила свой долг: в ней Франция имела верную союзницу против Австрии и Германии, посредством их распространяла свое влияние и на Восточную Европу. Но теперь является новое государство, которое схватывается с Швециею, наносит ей страшные удары, отнимает у нее значение первенствующей державы на северо-востоке Европы и берет это значение себе. Можно было бы помириться еще с этим явлением, если бы Россия могла перенять на себя роль Швеции в отношении к Франции; но она сильнее, самостоятельнее Швеции, она враждебна Турции и потому естественная союзница Австрии. Россия сильна, а подле нее все слабые государства – Турция, Швеция, Польша. Польша по своей конституции вследствие избирательности королей находилась всегда под чужим влиянием; Франция никогда не отказывалась от влияния в Польше, столь важного под боком у Австрии: однажды французский принц уже был на польском престоле; не удалось в другой раз, удастся в третий и четвертый. Но теперь подле слабой Польши могущественная Россия, которая не преминет утвердить свое влияние в Польше, царь уже распоряжается в ней, как у себя дома, но русское влияние в Польше, разумеется, будет противодействовать влиянию французскому, по отношениям к Австрии и Турции.

Вследствие этих соображений Франция, как мы видели, употребляла дипломатические усилия (других употребить не могла), чтоб остановить успехи преобразованной России, дать оправиться Швеции посредством турок и уничтожить русское влияние в Польше. Не успевши заставить султана возобновить войну с Россиею, Франция обратилась в Берлин, повела интригу здесь, чтоб заставить Пруссию заступиться за Швецию; но мы видели, что и здесь не было успеха.

Неуспех должен был повести к мысли: если нельзя поднять Швецию, если нельзя сломить Россию, то нельзя ли попытаться заменить союз со слабою Швециею союзом с сильною Россиею? Россия была не прочь: летом 1711 года, когда на Пруте так печально для Петра решалось дело, затеянное Франциею в Константинополе, секретарь Григорий Волков в Фонтенебло вел переговоры с министрами Людовика XIV о союзе между Россиею и Франциею и о посредничестве Людовика в примирении царя с Швециею и Турциею. Французские министры предложили следующие условия: 1) чтоб царь помог

венграм против Австрии; 2) чтоб принца австрийского дома не допустил до короны императорской, а помог получить эту корону королю польскому; 3) чтоб войска датские и саксонские были отозваны из службы держав, враждебных Франции. При таких условиях король обещался послать желаемые царем указы в Царьград. Донося об этих «высоких и невозможности касающихся предложений», Волков писал: «Явно, что здешний двор не перестал искать шведского интереса, и как ни скрытен министр иностранных дел Торси, однако в разговоре с ним о шведе в лице его и словах легко уловить некоторую внутреннюю к нему склонность. Один мой приятель, человек очень сведущий в делах, говорил мне, что Торси несправедливо с нашим двором поступает и хочет его только провесть, а народ здешний весь враждебен России, и которые добрые ведомости о нас бывают, тех и слышать не хотят, и в печать они не допускаются, почему выгодно было бы *курантельщика* (редактора газеты) чем-нибудь приласкать, чтоб принимал и печатал добрые о нас ведомости». Прутский мир прервал переговоры Волкова и показал всю верность его донесений о вражде Франции к России, вражде, которая не переставала высказываться во все остальное время царствования Людовика XIV. Но после его смерти отношения переменялись.

На французском престоле сидел ребенок – Людовик XV; регент, герцог Филипп Орлеанский, чувствуя слабость Франции и желая обеспечить свое положение, искал союза сильных, не заботясь о поддержании слабых. Из Берлина пошли к Петру внушения, что при настоящих обстоятельствах, при ослаблении Северного союза, было бы выгодно сблизиться с Францией, которая сама желает этого сближения. В начале декабря 1716 года Петр получил в Амстердаме от графа Александра Головкина следующее донесение: «Сказывал Ильген, что спрашивал его французский министр граф Ротембург, какую склонность имеет ваше царское величество к Франции, и потом он, Ротембург, свидетельствовал, что дук д'Орлеан охотно желает с вашим царским величеством в доброй дружбе пребыть, на что он, Ильген, ему сказал, что ваше царское величество не несклонен к тому, и Ротембург уже писал об этом к своему двору и думает вскоре получить ответ. Потом Ильген рассуждал, что не малая польза может произойти всему Северному союзу, если Франция в доброе согласие с северными союзниками вступит и не будет помогать общему неприятелю деньгами и другими способами, к чему, по его, Ильгенову, мнению, можно Францию склонить». 14 декабря получено новое донесение: французский посланник объявил прусскому королю, что Франция охотно желает вступить в доброе согласие с Россией и Пруссией, причем герцог Орлеанский не будет делать никаких предложений о северном мире и в других случаях не будет искать пользы Швеции, не будет ничем помогать ей, оставит ее совсем. Ильген упомянул Ротембургу, не нужно ли пригласить к союзу и короля польского. «По-моему, не нужно, – отвечал Ротембург, – потому что знаю непостоянство саксонского двора». Ильген внушал Головкину, что если б даже и не дошло до настоящего союза между Россией, Пруссией и Францией, то уже одни переговоры об нем будут полезны: император, узнавши об них, встревожится и станет приязненнее поступать с северными союзниками. Петр, получивши эти донесения, поручил Головкину разузнать, чего потребует Франция от России, на каких условиях хочет вступить с ней в соглашение. Ротембург отвечал, что Франция желает от России и Пруссии гарантии последних договоров ее с Англией и Австрией – Утрехтского и Баденского, желает также оборонительного

союза с Россией и Пруссией, и при этом заметил, что было бы желательно, если бы значительная часть русского войска оставалась в империи на всякий случай. Ротенбург наивно объяснял побуждения своего двора. «Франция, – говорил он, – всегда старалась склонять шведского короля к миру, но до сих пор никакого успеха в том не имеет; поэтому, видя упрямство короля шведского, бессилие Швеции и в делах ее неурядки, Франция хочет вместо нее получить помощь от России и Пруссии, поэтому и хочет, чтоб царь утвердился в империи, а за Швецией пусть и ничего здесь не остается».

Петр велел Головкину объявить королю, что он, царь, готов вступить в соглашение с Францией, сообщая с Пруссией; но надобно, чтоб Франция прямо объявила, что она в пользу новых своих союзников сделать намерена, и обо всем представила бы формальное предложение, также чтоб определено было место, где, и министр, через которого будут происходить переговоры. Головкин по царскому указу предлагал Голландию как самое удобное место для переговоров, на что соглашался и прусский король. Но, будучи готов войти в соглашение с Францией, чтоб отнять у шведов их постоянную союзницу, Петр не хотел служить Франции орудием для достижения ее целей, не хотел, чтоб она вовлекла его во вражду с императором, и потому Головкин объявил Фридриху-Вильгельму: «Если дойдет до заключения союза с Францией, то не постановлять ничего противного цесарю, дабы свободные руки иметь, потом заключить союз и с цесарем, если интересы России и Пруссии того потребуют». Головкин объявил также, что царь находит невозможным для себя утвердиться в Германии и держать в ней постоянно русское войско, как Франция этого желает. Король отвечал, что он одного мнения с царским величеством, и если соглашение с Францией состоится и будет надобность, то всегда можно русские войска ввести в империю: Пруссия всегда позволит им свободный проход, и поляки воспрепятствовать ему не в состоянии.

До берлинского двора дошли слухи, что в Голландии Гёрц делал предложение царю или его министрам об отдельном мире с Швецией. Петр поручил Головкину объявить прусскому королю, что во время пребывания его в Голландии Гёрца там не было, не было и таких предложений ни от него, ни от кого-либо другого ни самому царю, ни министрам его. Король отвечал, что он сам получил известие о давнем пребывании Гёрца во Франции и, будучи обнадежен дружбою царского величества, все эти слухи считает невероятными. Ильген сообщил Головкину по секрету известия, полученные от Ротенбурга, что Гёрц, находясь в Париже, старается всеми способами отдалить царя от других северных союзников, и особенно от короля прусского. В дальнейших разговорах с Головкиным Ильген начал внушать, что на королей английского, датского и польского мало надежды, ясно видно, что северные союзники друг с другом расходятся, только царь с королем прусским находятся в твердой дружбе; поэтому надобно им еще теснее соединиться и принять меры для упреждения всех противных замыслов, составить сообщая план о мирных условиях и стараться о заключении отдельного мира с Швецией. Ильген прямо признался, что до вступления своего короля в войну он отводил его от ней; но теперь, когда в войну уже вступили, то он находит главный интерес своего короля в тесном союзе с Россией и желает, чтоб царские войска оставались в Мекленбурге и чтоб даже число их увеличилось вдвое. «Мы почти со всеми перессорились, полагая всю надежду на царское величество, –

говорил Ильген, – и если царское величество нас оставит, то мы будем в большой опасности».

Если французский двор требовал от русского гарантии договоров Утрехтского и Баденского, то Петр первым условием союза своего с Францией поставил гарантию со стороны ее всех своих завоеваний, сделанных в Северную войну. Франция не хотела принять этого условия, тем более что она уже сблизилась с Англией, король которой был в явной вражде с русским царем. Таковы были отношения России к Франции, когда Петр решился сам ехать в Париж. Если мы примем в соображение сильное желание Петра прекратить как можно скорее войну, то мы поймем причины, заставившие его ехать в Париж: надобно было испробовать это последнее средство. Как сильно желал он мира, видно из письма его к фельдмаршалу Шереметеву: «Понеже десант (в Шонию) от вас и некоторых генералов удержан и оставлен, отчего какие худые следствия ныне происходят! Аглинский тот (король) не думает, а датчане ничего без него не смеют: и тако со стыдом домой пойдем. К тому ж, что, ежели б десант был, уже бы мир был; а ныне, как ты, так и прочие генералы (кои отговаривали десант), дайте совет, каким образом сию войну к концу приводить, только бы в тех письмах отнюдь не было *как изволишь*, и, собрав, пришли ко мне». У Петра могло быть и другое побуждение ехать самому во Францию: агент царский во Франции Конон Зотов 17 декабря 1716 года писал Петру: «Бонмазари говорил с Дэтре о женитьбе (вторичной) царевича Алексея на европейской принцессе и искусно спросил, не угодно ли будет двору французскому царевича женить на принцессе французской, именно на дочери дюка д'Орлеанса? На что маршал отвечал, что весьма рад слышать такую добрую мысль, и сказал, что царскому величеству ни в чем здесь не откажут. Маршал объявил обо всем дюку, который сказал: я-де бы рад был, чтобы сие сегодня учинилось». Эти уверения, что здесь ни в чем не откажут, могли внушить Петру мысль, которую он не покидал до конца жизни, – мысль о браке своей дочери Елисаветы с французским королем Людовиком XV.

Узнав о въезде Петра во французские границы, регент отправил к нему навстречу маршала Тессе, который и привез его в Париж 26 апреля в 9 часов вечера. Для него были приготовлены комнаты королевы в Лувре; но это помещение ему не понравилось по великолепию, и он потребовал, чтоб ему отвели квартиру в доме какого-нибудь частного человека; ему отвели отель де-Ледигьер подле арсенала. Но и здесь мебель показалась ему слишком великолепною; он велел вынуть из фургона свою походную постель и постлать ее в гардеробе. Французы-современники так описывают Петра: он был высокого роста, очень хорошо сложен, худощав, смугл, глаза у него большие и живые, взгляд пронизательный и иногда дикий, особенно когда на лице показывались конвульсивные движения. Когда он хотел сделать кому-нибудь хороший прием, то физиономия его прояснялась и становилась приятною, хотя всегда сохраняла немного сарматского величия. Его неправильные и порывистые движения обнаруживали стремительность характера и силу страстей. Никакие светские приличия не останавливали деятельность его духа; вид величия и смелости возвещал государя, который чувствует себя хозяином повсюду. Иногда, наскучив толпою посетителей, он удалял их одним словом, одним движением или просто выходил, чтоб отправиться, куда влекло его любопытство. Если при этом экипажи его не были готовы, то он садился в первую попавшуюся карету, даже наемную:

однажды он сел в карету жены маршала Матиньона, которая приехала к нему с визитом, и приказал вести себя в Булонь, маршал Тессе и гвардия, приставленная всюду сопровождать его, бегали тогда за ним как могли. Петр поражал французов и простотою своей одежды: он носил простое суконное платье, широкий пояс, на котором висела сабля, круглый парик без пудры, не спускавшийся далее шеи, рубашку без манжет. Он обедал в одиннадцать часов, ужинал в восемь.

На другой день после приезда, 27 апреля, регент приехал с визитом к царю. Петр вышел из кабинета, сделал несколько шагов навстречу герцогу и поцеловался с ним; потом, указавши рукою дверь кабинета, обернулся и вошел первый, за ним – регент и князь Куракин, служивший переводчиком. В кабинете хозяин и гость сели в креслах, Куракин остался на ногах. После получасового разговора Петр встал и, вышедши из кабинета, остановился на том самом месте, где принял регента; тот сделал ему низкий поклон, на который царь отвечал легким наклоном головы.

Несмотря на жгучее любопытство все поскорее осмотреть в знаменитом городе, Петр несколько дней не выходил из дому, дожидаясь визита королевского. «Объявляю вам, – писал он Екатерине 28 апреля, – что два или три дня принужден в доме быть для визит и прочей церемонии и для того еще ничего не видал здесь; а с завтра и после завтра начну все смотреть. А сколько дорогою видели, бедность в людях подлых великая».

На другой день после этого письма маленький король сделал визит гостю. Царь встретил его у кареты; дядька королевский герцог Вильруа сказал Петру приветствие вместо своего малолетнего воспитанника, после чего оба государя вошли рядом в дом, король – по правую руку. Посидевши с четверть часа, царь встал, взял короля на руки и поцеловал несколько раз, глядя на него с необыкновенною нежностью, после чего оба государя вышли с прежнею церемонией. Об этом королевском визите Петр так уведомил жену: «Объявляю вам, что в прошлый понедельник визитовал меня здешний королица, который пальца на два более Луки нашего (карло), дитя зело изрядная образом и станом и по возрасту своему довольно разумен, которому семь лет». На другой день царь отдал визит королю: увидевши, что маленький Людовик спешит к нему навстречу, к карете, Петр выскочил из нее, побежал к королю навстречу, взял на руки и внес по лестнице в залу. Церемония была такая же, как и накануне, с тем различием, что теперь король уступал правую руку царю.

Дождавшись королевского визита, Петр сейчас же пошел осматривать Париж, заходил в лавки, к ремесленникам, выпрашивая их через князя Куракина о подробностях их работы, причем обнаруживал обширные познания. Вещи только красивые, служившие к удовольствию, мало его занимали; но все, что имело целью пользу, что относилось к мореплаванию, торговле, к искусствам необходимым, возбуждало его любопытство, и здесь он приводил в изумление верностью, проницательностью взгляда, обнаруживал такую же быстроту в изучении, как и жадность в приобретении познаний. Он только мимоходом взглянул на королевские бриллианты, но долго рассматривал Гобелиновы произведения, долго оставался в Зоологическом саду (Jardin des plantes), в механических кабинетах. В опере он просидел только до четвертого акта, но в тот же день целое утро провел в галерее планов. Очень понравилось ему в Инвалидном доме, где он осмотрел все до мельчайших подробностей; в столовой

спросил солдатскую рюмку вина и выпил за здоровье инвалидов, называя их товарищами. Осмотрев загородные дворцы, Петр отправился в Сен-Сир, чтоб осмотреть знаменитую женскую школу, заведенную Ментенон: царь посетил все классы, заставил объяснить себе все упражнения пансионеров и потом навестил больную Ментенон. Сорбонские ученые предложили Петру соединение церквей; он передал это дело на обсуждение русского духовенства.

9 июня царь выехал из Парижа в Спа для пользования тамошними водами, которые употреблял до 15 июля, когда выехал из Спа в Амстердам. Здесь 4 августа канцлер Головкин, Шафиров и Куракин с русской стороны, французский посол в Голландии Шатонёф со стороны Людовика XV и барон Книпгаузен со стороны прусского короля заключили договор: русский царь и короли французский и прусский обязались поддерживать мир, восстановленный трактатами Утрехтским и Баденским, также охранять договоры, которые имеют прекратить Северную войну. Для утверждения союза между тремя державами подданные их пользуются взаимно всеми выгодами, какие имеют нации, наиболее покровительствуемые. Договаривающиеся государи представляют себе взаимное право сохранить все другие свои договоры и союзы, не противные настоящему союзу; особенно король французский выговаривает себе союз, заключенный им с Англиею и Голландиею. Договаривающиеся государи гарантируют договоры Утрехтский и Баденский, равно как те, которые прекратят Северную войну; если один из союзников подвергнется нападению, то другие обязаны сначала мирными средствами вытребовать ему удовлетворение от обидчика; но если эти средства не помогут, то по прошествии четырех месяцев союзники должны помогать войсками или деньгами. Царь всероссийский и король прусский обязуются принять медиацию короля французского для прекращения Северной войны, причем французский король не должен употреблять никакого понуждения ни против которой стороны; король французский обязуется также по истечении срока договору, существующему между его государством и Швециею (срок кончится в будущем апреле), не вступать ни в какое новое обязательство с Швециею.

В то же время Куракин вел переговоры о мире с Швециею. По приезде своем из Спа в Гагу, 19 июля, он переслался с известным приверженцем Карла XII генералом Понятовским и на другой день, 20 числа, имел с ним конференцию. Куракин начал разговор тем, что во время пребывания в Спа он, Понятовский, объявил ему о присланном от шведского короля полномочии секретарю шведского посольства Преесу, находящемуся в Гаге; Преесу велено вступить в переговоры с министрами царского величества; для начатия этого дела по соглашению с ним, Понятовским, он, Куракин, приехал в Гагу и теперь хочет знать, действительно ли Преес имеет полномочие? Понятовский отвечал, что Преес действительно получил полномочие и инструкцию, только в общих выражениях; по этой инструкции он не может привести к концу такого великого дела; притом в указе ему от короля сказано, что он будет подробно уведомлен о всех королевских намерениях через указы, данные генералу Рангу, но Ранг задержан в Англии. Так как Гёрц теперь отъезжает к королю в Швецию, то лучше всего объявить ему об условиях царского величества для передачи их Карлу XII. Куракин заметил на это, что условия царского величества давно объявлены и жаль, что Преес не может окончить дело, которое затянется, и драгоценное время будет упущено.

27 июля была другая конференция. Понятовский объявил, что виделся с Гёрцем, который предлагает такой способ переговоров: король шведский пошлет своих уполномоченных в Финляндию на съезд с царскими министрами, там будут вести переговоры о мире и покончат дело; что Карл XII сделает это без потери времени; в тех краях вести переговоры гораздо удобнее, потому что они будут содержаться в секрете. Когда договор будет заключен, то король сам пожелает видеться с царским величеством. Барон Гёрц просит царское величество явить к нему милость, приказать выдать ему свой паспорт, с которым он намерен отправиться в Ригу, а оттуда переехать в Швецию.

Третья конференция была 29 июля в Амстердаме. С Понятовским приехал к Куракину Преес и показал свое полномочие, написанное 30 апреля 1717 года; написано оно по всей форме, именно чтобы переговаривать с министрами царского величества. Куракин объявил им, что государь его согласен на предложение Гёрца отправить своих министров в Финляндию и желает, чтобы съезд был на острове Аланде и начался через два или три месяца; если в это время съезд не начнется, то царское величество останется при всех своих обязательствах с союзниками и будет искать вместе с ними общей пользы. На другой день, 30 июля, Куракин отдал Понятовскому и паспорт для Гёрца. 12 августа Куракин виделся с самим Гёрцем в Лоо, где подтвердили все то, что было условлено с Понятовским и Преесом. Гёрц спросил Куракина, как он думает: нужно ли допускать французского посла графа Деламарка вмешаться в эти переговоры? Куракин отвечал, что воюющие державы обыкновенно делают предложения через третью державу; но мы теперь, министры воюющих держав, нашли способ быть в конференции и без посредства третьей державы, согласились о съезде и о месте переговоров; умели начать одни, одни и кончим, а зачем впутывать в дело постороннюю державу? Особенно надобно быть осторожным относительно графа Дела-Марка; поручение, ему данное, довольно известно: ему велено стараться о примирении короля английского как курфюрста ганноверского с королем шведским. Гёрц согласился с этим мнением.

Таким образом, Гёрц успел убедить Карла XII в необходимости вступить в переговоры с царем, мир с которым предполагал большие пожертвования со стороны Швеции. Карл жил одною мыслью и не говорил ни о чем другом, как о войне, о возможности отомстить своим врагам. Гёрц писал к голштинскому министру Фондернату: «Если дело удалось, не беспокойтесь о средствах, употребленных для успеха; достаточно, если достигнута цель, которую назначил король. Он сам очень равнодушен к пути, какой ведет к цели, и обнаружил бы нетерпеливость, если б ему предложили много вопросов об этом. Если делаемое ему предложение ведет к исполнению собственных его желаний, то можно быть уверену в его согласии. С таким человеком можно обходиться только симпатическим образом. Сопротивляться ему бесполезно. Надобно наружным образом сообразоваться с его взглядами, чтобы потом мало-помалу склонить его к своим». Как же Гёрц приложил это правило к вопросу о русском мире? Он писал Карлу: «Сила государя состоит не в обширности его владений, а в войске. Слава государя заключается в том, чтобы не шадить своей жизни на войне, геройски идти против всяких опасностей; бессмертное имя оставит по себе тот государь, который в широких размерах изменит общие отношения государств, подобно Карлу Великому, Карлу V, Густаву-Адольфу и Людовику XIV. Этот последний

государь после блестящих успехов был одно время поражен такими несчастиями, что враги его надеялись торжествовать окончательно. Несмотря на то, он снова поднялся и выполнил свое великое дело, оторвал Испанию от Австрии и таким образом изменил 300 лет существовавшие отношения. Слава таких деяний продолжается, пока свет стоит. Вашему величеству представляется случай увековечить свое имя преобразованием отношений между государствами Севера; но для этого прежде всего нужно войско». Чтобы дать это войско Карлу, Гёрц истощил вконец шведское население, зная, что король будет молчать, не тронется никакими жалобами, ибо равнодушен к средствам для достижения желаемой цели. Притом Гёрц старался представлять королю положение Швеции вовсе не в таком печальном виде, как было на самом деле: по его словам, королевство было еще так сильно, что не имело надобности принимать предписанные неприятелями условия, король еще может раз выступить с достоинством на всемирную сцену и стяжать неувядаемую славу восстановлением короля Станислава на польском престоле. Пока счастье улыбалось Карлу, пока весь свет удивлялся ему и прославлял его, до тех пор он презирал льстивые внушения отдельных лиц и гнал от себя льстецов; но теперь, когда счастье отвернулось от него и послышались громкие порицания, лесть отдельных лиц принималась уже как желанное утешение. Представляя королю финансовое положение Швеции вовсе не отчаянным, скрывая, что долги возросли на 30 миллионов, Гёрц внушал, что Швеция не только поправится, но и процветет, если заключен будет мир с Россией или с Англией. В конце 1716 года и потом 1717 года Гёрц просил об увольнении; оба раза Карл уговаривал его остаться; Гёрц соглашался с условием, чтобы заключен был мир с одним из врагов. Избран был русский царь, как опаснейший по своим личным и государственным средствам; он мог оказать помощь Швеции против остальных врагов, тогда как на помощь последних против России рассчитывать было нельзя.

Петр сильно желал вступить в мирные переговоры с Швецией по своим отношениям к королям саксонскому и английскому; отношения к Дании могли только еще более усиливать это желание.

По отъезде царя из Дании, 20 октября, Долгорукий был у короля с «комплиментом от царского величества, благодарил от имени царя за удовольствия, испытанные последним в бытность его в Копенгагене, уверял в постоянной дружбе своего государя к Дании». Король со своей стороны очень жалел, что не мог доставить царскому величеству больших удовольствий, обнадеживал в продолжении дружбы своей к России; спросил, как скоро царь увидится с королем английским, и сказал, что датские министры, которые будут при этом свидании, получают инструкции о соглашении насчет будущей кампании. Долгорукий сказал на это, что о свидании своего государя с английским королем не слыхал, знает одно, что царь намерен был послать к английскому королю доверенную особу, которой будет наказано вместе с датскими министрами домогаться последнего решения короля Георга относительно будущей кампании. На это король заметил, что обыкновенно министры не могут сделать того, что сами государи при личном свидании; если царское величество обещает английскому королю вывести свои войска из Мекленбургии, то и он обещает выслать свой флот в Финляндию, в чем и Бернсторф поможет. «Если Бернсторф, – заметил Долгорукий, – станет что-нибудь советовать королю для частной своей

пользы, то может только испортить дело, ибо обыкновенно где покажется какой-нибудь частный министерский интерес, то советы министров мало принимаются и за важные не почитаются». Долгорукий доносил Петру, что ганноверский министр Ботмар просил у датского короля войска на помощь королю английскому, чтоб датское войско, соединясь с ганноверским, принудило русские войска выйти из Мекленбурга, но датский король отказался действовать враждебно против царя, в котором продолжал видеть союзника. Прусский посланник сказал Долгорукому, что и у его короля английский король просил войска для изгнания русских из Мекленбурга, но прусский король отказал ему в этом, желая продолжать дружбу с царем.

В Копенгагене уверяли в продолжении прежней дружбы и союза, а между тем обнаруживали сильную подозрительность. Для высадки в Шонию на будущий год царь предлагал все свое войско, находившееся в Мекленбурге; но король, министры его и генералы отговаривались всеми силами от этого предложения и требовали только двадцати батальонов. «Зачем, – спрашивал Долгорукий, – имея в близости такое сильное войско, оставить большую его часть и с малым отрядом пускаться на такое опасное предприятие, вступать во внутренность неприятельской земли, где враг готов к обороне со всеми своими силами?» «Шония, – отвечал генерал Девиц, – не может пропитать такого большого войска; притом царская армия может нанести чувствительный вред неприятелю, если перевезет свою армию из Финляндии на шведские берега, для чего король английский хочет прислать двадцать военных кораблей, требует только, чтобы русские войска были выведены из Мекленбурга». Король говорил то же самое и на все представления Долгорукого твердил одно: «Иначе невозможно!»

Среди этих бесплодных переговоров окончился 1716 год. 1717 год начался тем же, т.е. сильными тревогами в Копенгагене вследствие интриг мекленбургской партии. Со стороны ганноверского и саксонского дворов Петру сделаны были предложения двинуть свои войска из Мекленбурга в Готторпские земли и в передний Померанский дистрикт. Испуганный король датский обратился к Петру с представлениями по этому случаю; Петр отвечал ему 8 января: «Предложения об этом мне были действительно сделаны; но я сейчас же понял, что этим только старались произвести между мною и вашим величеством несогласие и подать повод к явному разрыву, и потому отверг эти предложения, имея одно постоянное намерение сохранять дружбу и союз с вашим величеством и избегать всех случаев, которые бы могли хотя в чем-нибудь их нарушить. Мое поведение в отношении к вам таково, что я никак не могу понять, как вы могли подумать, чтоб я захотел против вашей воли, без предварительного вашего согласия двинуть свои войска в ваши владения на зимние квартиры и таким образом захотел бы поссориться с своим надежнейшим союзником, которого интерес так тесно связан с моим собственным. Вспомните, что когда мои гвардейские и другие полки в Зеландии в осеннее время терпели великую нужду в дровах, то я не позволил им против вашей воли ни одного дерева срубить в лесу или где-нибудь взять, и потом наши войска долгое время принуждены были стоять на море во время противного ветра, но против воли вашей на берег выходить им я не велел; я сделал все, чтоб опровергнуть ложные и коварные внушения врагов наших. С великим прискорбием вижу из вашей грамоты, что ваше величество имеете ко мне так мало доверия, что, получив только известие, что мне сделаны предложения, и не зная

еще, приняты ли они мною, делаете мне, такую жестокую, нечаянную и незаслуженную декларацию. Не могу не представить вашему величеству дружелюбно, братски, чтобы вы вперед не изволили слушать никаких делаемых вам обо мне несправедливых внушений и верить им; будьте уверены, что эти внушения делаются людьми злонамеренными, из своих частных видов ищущими разрушить согласие между нами; будьте уверены, что я не сделаю ничего, что бы могло быть противно нашему союзу и вашему интересу. Ваше величество жалуетесь, что вы одни подвержены опасности от общего неприятеля; но вам и без моего напоминания известно, что я всегда и при всяком случае готов был, не щадя своей собственной персоны, всячески вам помогать; вы знаете, сколько я старался перед отъездом моим из Копенгагена прийти к соглашению насчет будущих действий против неприятеля, чтоб он всей своей силы против вашего величества обратить не мог; и тогда, и недавно чрез моего посла я делал многие предложения, к общей пользе и к частному интересу вашего величества касавшиеся, из чего можете усмотреть, что у меня вовсе нет намерения оставлять вас одного под ударами неприятельскими. Теперь я буду ждать скорейшей, последней и категорической резолюции вашего величества, дабы я заблаговременно мог приготовиться. Иначе если вы и теперь не окажете никакой склонности вступить со мною в соглашение, то я не только перед вами, но и перед богом и перед всем честным светом буду оправдан. Я не для чего иного до сих пор держал свои войска в Мекленбурге, как для того, чтобы быть готову помогать вам поблизости, и этим навел на себя негодование не только всей Германской империи, но и от вас, союзников своих, вместо благодарности принужден терпеть ненависть и непристойные нарекания; вместо помощи от ваших министров принужден терпеть всякие противности как при цесарском дворе, так в Регенсбурге и других местах».

Когда Долгорукий настаивал в Копенгагене на последней резолюции, то ему отвечали, что она уже дана: двадцать батальонов русских войск – не более – для соединенного действия с датскими в Шонии. Ганноверский посланник Ботмар говорил Долгорукому, что соглашение между царем и королем великобританским не состоялось по вине царя, а король английский был намерен непременно помочь царю осьмнадцатью линейными кораблями, если б царь велел своим войскам выйти из Мекленбурга. Долгорукий отвечал, что, по его сведениям, дело шло совершенно иначе: упорство оказалось со стороны короля английского, и в доказательство приводил проект Бернсторфа, где говорится только об обязательствах со стороны русской, а о помощи со стороны английского короля ни слова. Король английский, сказал на это Ботмар, не может обязаться письменно в присылке кораблей из опасения возбудить подозрение английского народа, а будет к тому склонять английских правителей; хотя король письменно и не обяжется прислать корабли, однако царское величество может верить и слову королевскому, только б русские войска из Мекленбурга выступили. В таких важных делах, отвечал Долгорукий, обыкновенно бывают письменные обязательства. Прусский посланник Гаппе объявил Долгорукому, что он говорил с датскими министрами о соглашении между царем и королем датским насчет будущей кампании и заметил из их слов, что здесь опасаются взять к себе много русского войска, ибо в таком случае датский король, будучи слабее, найдется в полной зависимости от русского государя: как тот захочет, так все и будет.

В начале февраля Долгорукий доносил, что насчет будущей кампании датский двор относится очень холодно, ни король, ни министры не упоминают о ней ни слова. Как видно, ганноверский двор не желает соглашения между Россией и Даниею, чтоб заставить последнюю более дорожить дружбою короля английского, а ганноверский двор имеет здесь большое влияние, потому что на его стороне самые сильные люди – Гольст и Девиц, а другие министры говорить противное не смеют, хотя и видят вред интересам датским. Сын Ботмара в откровенном разговоре с прусским посланником сказал, что королю английскому нет никакой нужды посылать столько кораблей на помощь Дании и России и тем возбуждать подозрение в английском народе, потому что король английский при заключении мира ничего не получит, а Бременское княжество и без того за собою удержит; итак, королю английскому в скорейшем заключении северного мира большой нужды нет. Сам Ботмар, *поднявши плеча*, говорил прусскому посланнику, что английский король так претерпел от царского величества, что страшно слышать. В мае Долгорукий проведал «через секретный способ», что Ботмар предложил датскому двору изыскать средства принудить русские войска выступить из Мекленбурга, внушая, что от этих войск больше всех подвергаются опасности короли английский и датский, и в случае согласия датского короля действовать заодно с английским, последний велит своим ганноверским войскам приблизиться к Эльбе. Вследствие этого предложения созван был совет, на котором король и министры приводили многие причины, почему они имеют право подозревать царя, а именно: отсрочку прошлого года высадки в Шонию, супружество царевны с герцогом голштинским, которое в Дании считалось делом решенным, поездку царя во Францию, вероятно, для того, чтобы посредством Франции заключить особый мир с Швециею; относительно войск русских, находившихся в Мекленбурге, рассуждали, что царь может приказать им добывать Висмар или действовать в пользу герцогов мекленбургского и голштинского; подозрение насчет русских войск усиливалось слухами, что войска эти около Ростка готовят лагерь на 40000 человек и русским войскам, которые в Польше, велено также двинуться в Мекленбург. В совете было положено ввиду этой опасности не уменьшать число датских войск, находящихся в Голштинии, и держать их в готовности.

Всею этой тревоге положен был конец, когда в июне Долгорукий объявил, что царское величество приказал русским войскам выйти из Мекленбурга. На это объявление король сказал: «Теперь уже все несогласия между царским величеством и королем английским кончились». Долгорукий отвечал: «Со стороны царского величества ни малейшей причины не подано к озлоблению английского короля, а со стороны короля английского многие явно показаны, при всех дворах министры его делали всевозможные противности интересам нашего государя». Король заметил, «что Георг I все это сделал для герцогства Мекленбургского, объявив себя его покровителем». «Король английский, – возразил Долгорукий, – для некоторых мекленбургских жителей такого вреда всему союзу делать бы не стал, верно, имел какую-нибудь причину поважнее; когда войска русские шли в Датское государство, тогда еще министры английского короля старались всячески этих войск не допустить, а потом когда русские войска перевезены были в Зеландию, то король английский дал указ адмиралу Норрису напасть на русские войска и флот». Король заметил: «Это правда, король

английский старался, чтоб армия и флот датские, соединясь с флотом английским, напали на русские войска; но ему в этом было отказано; только ни под каким видом об этом никому не рассказывайте. Но какую английский король может получить пользу, препятствуя общим делам всего союза?» Долгорукий отвечал: «Английский король безо всякого для себя убытку хочет быть господином Северной войны и мира; всячески старается он для этого не допустить ваши величества до соглашения, чтоб датские войска вместе с русскими никогда не были, между тем ищет отдельного мира, требуя у короля шведского уступки Бремена, за что обещает ему вознаграждение за счет северных союзников; если не будет в состоянии сделать этого добрыми средствами, то обещает королю шведскому военную помощь. Царское величество изволил рассудить, что не сходно с интересами его и всего Северного союза, понесши неисчетные убытки и неописанные труды, приведши эту войну к концу, отдать не только все дела военные, но и самый мир в волю одного короля английского. Тогда английский король, увидав, что царское величество проник его намерения, начал стараться всеми способами поссорить его с союзниками».

Король слушал со вниманием слова Долгорукого, но действия этих слов, хотя и весьма слабые, как увидим, оказались не ранее сентября, когда Петр написал Долгорукому: «Датский посланник Вестфален объявил нам самим и министрам нашим в величайшей тайне, каким образом король его уже начинает усматривать английские интриги, что он и своими министрами, особенно мекленбуржцами, обманут; Девица удалил от двора и намерен стараться вступить с нами в прежнее доброе согласие, для чего и вызывает к себе его, Вестфалена. Вам надлежит на все это обращение смотреть внимательно, и если вы найдете, что король датский подлинно, истинно намерен доброе согласие с нами восстановить, то можете объявить, что мы с своей стороны всегда себя склонными к тому покажем; можете также объявить в величайшей тайне королю самому или кому-нибудь из министров верному, который бы этого, кроме короля, никому не рассказал, что мы слышали, будто его королевское величество с королем прусским ведет переговоры о Штральзунде, чтоб этот город отдать королю прусскому на известных условиях; внушите, чтоб король датский не спешил этим делом, но прежде снесся с нами, дабы с общего совета в том деле так поступить, как сходно будет с интересом общим, и особенно с интересом датским. Если же усмотрите, что король датский в своем намерении к восстановлению доброго согласия с нами не очень ревностно и истинно поступает и это восстановление, по вашему мнению, не состоится, то удержитесь от этого сообщения, чтоб они не пронесли и тем бы дружбе нашей с королем прусским не повредили; во всяком случае вы должны так скрытно и осторожно поступать, чтоб отнюдь прусский двор об этом не сведал». Долгорукий отвечал дурными вестями: «Маршалок и тайный советник Гольст, сколько я мог приметить, в прежней у короля милости; противная датчанам сторона содержит себя твердо в милости королевской подарками и интригами, и если на одного кого-нибудь из них прогневаются, то другие стараются его восстановить или другого из их же партии на его место подставить. Из противной им стороны только двое, Выбей и Сегестет, имеют смелость с королем говорить, и из них Выбей – большой трус, а Сегестета, ваше величество, изволите знать; кроме них, нет ни одного датчанина, который бы имел доступ к королю; притом же при дворе из датчан очень мало дельных людей, а которые и есть, тех сам Выбей от короля

отдаляет, опасаясь, что они своими способностями опередят его. Датский король желает согласиться с вашим величеством насчет действий против неприятеля, но так, чтоб самое важное сделано было войсками русскими и чтоб в это соглашение был включен король английский, от тесной дружбы с которым датский король никак отказаться не хочет. Король датский желает притом, чтоб предложение о соглашении последовало с вашей стороны, надеясь в таком случае вытребовать для себя лучшие условия и показать, что ваше величество к нему обратилось. Не знаю наверное, но думаю, что если датский король предложения с вашей стороны не дождетя, то сам будет заискивать. Правда, что генерал Девиц в немилости у короля, но не за неверность и интриги, а вот по какому случаю: король, будучи в Голштинии, расписывал квартиры по деревням, где стоять новопривывшим конным полкам, и часть того дела приказал своему камердинеру, который хотел посоветоваться с Девицем как главным генералом; Девиц осердился и сказал ему, что камердинер должен заниматься париками и платьем королевским, а не в военные дела мешаться; камердинер донес об этом королю; тот призвал к себе Девица и при Выбее сказал ему с гневом, что он не имеет никакой власти над камердинером и не должен был читать ему наставлений, когда он, король, приказал ему распорядиться квартирами. С этих пор король обращается с Девицем уже не так милостиво и не позволяет ему приезжать ко двору».

Между тем Вестфален приехал в Копенгаген; ему поручено было составить проект соглашения России с Данией насчет будущих действий. Проект был написан; но тут пришли известия о переговорах царя с Гёрцем. Вестфален объявил Долгорукому, что король знает о переговорах князя Куракина с Гёрцем насчет отдельного мира; знает, что Гёрц приезжал к царю в Лоо, а впоследствии был за две мили от Берлина, где министры царские, а со стороны прусского короля – Ильген с ним виделись и разговаривали об отдельном мире; потом даны Гёрцу русские и прусские паспорта и позволено ему ехать в Швецию через Россию. Ботмар стал разглашать, что мир между Россией и Швецией уже заключен и подписан и у него есть копия с договора. Скоро и газеты начали говорить об этом мире. Долгорукий уверял Выбея, что все это пустые слухи, мир не заключен. «Хотя мир не заключен, – возражал Выбей, – но не иметь подозрения нельзя, ибо Гёрц, неприятельский министр, ведомый злодей Северному союзу и везде оглашенный за худого человека, допущен был ко двору царского величества и был с ним в конференции».

В половине ноября Долгорукий вместе с прусским посланником были приглашены на конференцию, где датские министры им объявили, что для окончания Северной войны король их намерен вторгнуться с войском из Норвегии внутрь Швеции, а царь в то же время должен приказать войскам своим вступить в Швецию из Финляндии; но так как для прикрытия этих действий нужны морские силы английского короля и нужнее они для России, чем для Дании, английский же король не хочет прислать их на помощь до тех пор, пока не кончится дело в Мекленбурге между герцогом и дворянством, то король датский предлагает следующий способ: объявить герцогу и противной ему стороне, чтоб они оставили все свои дела до окончания Северной войны в том состоянии, в каком они были при умершем герцоге мекленбургском, брате нынешнего герцога. Долгорукий выразил сильное сомнение, что государь его согласится на такую вредную для герцога мекленбургского сделку.

Мы видели, что при разрыве с королем английским, при охлаждении с королями датским и польским Петр старался по крайней мере сохранить дружбу с прусским. Когда в Берлине узнали о выезде царя во Францию, то Головкин должен был объявить Фридриху-Вильгельму, что «царское величество изволили сей путь воспринять для удовольствования своей куриезите», и доносил государю, что не слыхал он, чтобы прусский двор насчет царского путешествия имел «жалозию». В июне Ильген говорил Головкину: «Конечно, надобно иметь взаимно крайнюю конфиденцию для общего блага; у нас больше неприятелей, чем приятелей, и потому надобно действовать осторожно; английский двор больше других на нас досадует, точно так же как и на царское величество: кроме того, что нам несколько раз объявлял, что мы нарушили договор, не согласившись действовать заодно против России, французскому посланнику Обервилю, предлагавшему пригласить нашего короля к союзу, сам английский король объявил, что пока прусский король будет в согласии с царем, то он ни в какое дело с ним не вступит. Надобно нам спешить своими делами и составить план, в котором написать ультиматум, без чего России и Пруссии помириться с Швециею нельзя; надобно заботиться привести дело к концу; если же оно продлится, то другие прежде нас составят план и могут принудить нас к миру согласно с этим планом».

В начале сентября приехали в Берлин министры, сопровождавшие Петра; между ними и прусскими министрами начались конференции. Русские министры объявили, что для мира с Швециею царь уступает Финляндию. Прусские министры сказали на это: «Мы желаем, чтобы царское величество и все свои завоевания удержал, и от договоров своих, заключенных с вами, не отступим; но если неприятель потребует, чтобы царское величество и по сей стороне моря что-нибудь уступил, также чтобы Ревель разорить, то царскому величеству угодно ли будет на это согласиться? Нельзя ли вместо Ревеля другую гавань сыскать или нельзя ли Ревель вольным городом сделать? Надобно непременно предупредить англичан; если они вместе с датчанами помирятся с шведами, то нам тяжело будет. Сверх того, если цесарь с турками помирится и в наши дела вмешается, то нам придется дурно, особенно будет большая опасность королю прусскому, ибо цесарь может употребить и против него ганноверцев и саксонцев, к которым Все католические государи пристанут. Мы сделали цесарю много полезных предложений, но не только успеха, и ответа не получили; опасаемся, что если мир не будет заключен скоро, то не только завоеванного за собою неудержим, но и в великую опасность впадем, потому что не имеем ни одного союзника».

«Кроме Финляндии, нельзя ничего уступить, – отвечали русские министры, – ибо что касается Ревеля, то эта гавань необходима для русского флота, которому без того неоткуда будет выйти в море. А Лифляндию необходимо нам удержать даже и в интересах короля прусского, ибо иначе шведы отнимут все средства сообщения между Россиею и Пруссиею и не будем тогда в состоянии помогать друг другу. Кроме того, если Лифляндия останется за шведами, то они получают возможность иметь всегда в Польше сильную партию, ко вреду России и Пруссии. Да и нет нужды уступать так много неприятелю, лучше продолжать войну, чем соглашаться на такой опасный мир, ибо от шведского короля при мире, кроме бумаги, ничего не получим и только дадим ему средства к новому нападению. Что касается цесаря, то нельзя ожидать, чтоб он поступил так жестоко, ибо до сих пор умеренно поступал; и если б он захотел вмешаться в северные дела, к нашему

вреда, то может это сделать и по заключению северного мира; и если бы цесарь захотел что-нибудь предпринять против Пруссии, то царское величество обнадеживает короля своею помощью; прусский король, имея союзницами Россию и Францию, может не бояться цесаря, который не захочет начать войну с такими сильными государствами».

Прусские министры продолжали выставлять опасность положения и указывать на необходимость уступок со стороны России. Русские министры выразили удивление, что с прусской стороны настаивают на уступке Лифляндии шведам. «Нет никакой крайности, – говорили они, – делать такие большие уступки; кроме того, Лифляндию нельзя уступить и потому, что царская резиденция в Петербурге, которую надобно в совершенную безопасность привести и устроить достаточный барьер; и если Лифляндию шведам отдать, то неприятель будет от Петербурга в 30 милях и может всегда беспокоить царское величество в его резиденции». «Если царское величество так твердо стоять изволит, – говорили прусские министры, – то надобно готовиться к долгой войне, а между тем обстоятельства могут перемениться к нашему вреду; король шведский, увидев, что с нами заключить мира не может, помирится с королями английским и датским, и тогда мы одни останемся; также нельзя знать, не соединятся ли Англия и Дания с Швециею против нас».

Между тем приехал в Берлин сам царь, и по совещании с королем *учинен концерт* : гавельсбергский концерт и прежде заключенный союз между Россиею и Пруссиею возобновляются и утверждаются во всех пунктах таким образом, что если кто из северных союзников заключит отдельный мир с Швециею, по которому шведы останутся опять в Германии, или если кто-нибудь станет принуждать короля прусского к уступке Штетина с округом по реку Пену, то Россия и Пруссия препятствуют этому вооруженною силою, соединив свои войска. Так как царское величество теперь действительно сносится с Швециею о мире, то обязуется о всех этих сношениях немедленно и верно сообщать находящемуся при его дворе прусскому министру и даже допускать последнего к трактатам, когда он этого потребует.; охранять интерес прусского короля, как свой собственный, и не заключать ни мира, ни перемирия с Швециею без того, чтобы Пруссия не получила Штетин с округом до реки Пены. В конце 1717 года по настоянию Петра король прусский заключил союзный договор с герцогом мекленбургским; но при этом Ильген объявил Головкину, что король будет писать герцогу, что он договор заключить готов, но заранее напоминает его светлости, чтоб изволил при нынешних деликатных обстоятельствах поступать умеренно со своим дворянством, ибо хотя он, король, по обязательству своему будет везде держать сторону его светлости и о выгодах его по крайней возможности стараться и нарочно разглашать, что в нужном случае действительно поможет, однако если его светлость императора и империю против себя возбудит, то королю нельзя будет ему и помочь, ибо его светлость сам может легко рассудить, что королю против императора и империи стоять нельзя. Вместе с тем депутату от мекленбургского дворянства, находившемуся в Берлине, было объявлено, что король заключил с их герцогом договор, по которому обязан оказывать ему всякую помощь, и потому королевское величество им внушает, чтоб они прежние противности против своего герцога оставили и вновь ничего не начинали, в противном случае король прусский принужден будет за их герцога вступиться.

Англия не вступалась более в мекленбургские дела; она хлопотала о заключении выгодного торгового договора с Россией и для этого желала скорейшего окончания Северной войны. В июле 1717 года чрезвычайный посланник короля Георга адмирал Норрис и уполномоченный при Голландских Штатах министр Витворт в Амстердаме, в доме канцлера Головкина, имели конференцию с царскими министрами, причем Норрис объявил об искренней дружбе своего короля к царскому величеству, объявил, что ему поручено заключить торговый договор с Россией, и, наконец, объявил, что его королевское величество рассуждает о необходимости прекращения Северной войны для пользы общей и желает знать рассуждение его царского величества, каким бы образом получить общий мир. Норрису дан был ответ, что по известной несклонности короля шведского к миру и по положению его земель достижения общего мира и свободной торговли надеяться никогда нельзя, если король шведский не будет принужден к тому силою оружия; а для этого необходимо, чтоб английский король дал царскому величеству по меньшей мере 15 линейных кораблей, чтоб эта эскадра была под полным начальством царского величества и оставалась в море до тех пор, пока русский флот будет в нем оставаться. В таком случае царское величество обещает сделать высадку на шведский берег и действовать таким образом, чтобы принудить шведского короля к общему миру и к удовлетворению короля и народа английского. Но так как нельзя знать, можно ли в одну кампанию принудить неприятеля к такому миру, то король должен обязаться давать выговоренное число кораблей царскому величеству ежегодно, пока Северная война не кончится благополучным миром.

Норрис привез этот ответ в Лондон, и здесь в сентябре министры объявили Веселовскому, что условия, предложенные его правительством, очень тяжелы; король не может на них согласиться по ограниченности своей власти, не может отдать значительное число английских кораблей в полное распоряжение царя, ибо это противно правам, которыми пользуется английский флот, но, главное, здесь выскажется пристрастие короля, тогда как по настоящему состоянию северных дел английский народ находится в сомнении, следует ли королю способствовать сокрушению Швеции или нет; поэтому король должен поступать очень осторожно в делах северных, иначе должен дать ответ. Если бы царскому величеству было угодно сообразовать свои требования с формами английского правительства, то твердый и полезный союз между обоими государствами был бы возможен; Англия может помогать России и кораблями, только при других условиях. Петр считал бесполезным придумывать другие условия, и Веселовский, не получая никаких приказов от своего двора, находился в неловком положении. 1 октября он дал знать царю, что английский двор недоволен холодностью двора русского. «Смею представить, – писал Веселовский, – что было бы согласно с интересом вашего величества, чтоб я от времени до времени давал здешнему двору хотя наружные обнадеживания в дружбе, и что со стороны вашего величества нет никакого против него враждебного намерения, как здесь думают. Очевидно, что здешний двор пользуется большим влиянием на важнейшие дворы европейские и все их проекты знает. По всем поступкам французского посланника аббата Дюбуа видно, что французский двор с здешним вступил в полное соглашение и обо всех иностранных делах с ним откровенно пересылается».

Пребывание Дюбуа в Англии сильно беспокоило Веселовского. «Дюбуа, – писал он, – ведет переговоры чрезвычайно секретно, безотъездно живет при короле и беспрестанные имеет конференции с английскими и ганноверскими министрами. Я узнал чрез достоверных людей, что он привез с собою план северного мира, план вредный интересам вашего величества, ибо имеет в виду больше партикулярный, чем генеральный, мир, предложено королю Георгу помириться с Швециею с удержанием Бремена и Вердена для Ганновера».

Англия держалась в стороне; ее король, как курфюрст ганноверский, искал партикулярного мира; Дания была приведена в бездействие отстранением Англии и Ганновера; французское правительство из сознания своей слабости отказывалось от своего влияния на севере, покидало Швецию, но не сближалось и с Россиею, потому что личные виды правителя Франции заставили его искать опоры в Англии, в этом сильнейшем теперь государстве в Западной Европе; Пруссия, понимая, что на континенте нет теперь державы сильнее России, особенно по личным средствам ее царя, придерживалась, молодой могущественной державы, но откровенно высказывала свой страх, с беспокойством озиралась вокруг, трепеща за свои новые приобретения. Таково было положение дел в Европе, когда Россия решилась начать мирные переговоры с Карлом XII. Но в то время, когда происходила великая борьба на севере, когда первенствующее здесь значение Швеции после Полтавской битвы перешло к России, когда составилась союз с целью вытеснить шведов из Германии и когда союз этот рушился и союзники начали думать о партикулярных мирах, – как в это время вел себя государь, которому принадлежало первое место между государями Европы, который по титулу был верховным владыкою Германии, как действовал император, тогда единственный в Европе, император Священной Римской империи? Любопытно, что в то самое время, когда Франция после Полтавской битвы, испугавшись могущества новорожденной России, действовала враждебно против нее, как против естественной неприятельницы своих союзников, турок и шведов, и, следовательно, естественной союзницы своего главного врага на континенте – императора, в это самое время Австрия, как будто не понимая естественности этого союза с Россиею, вела себя в отношении к последней холодно и даже неприязненно. Причиною были все предшествовавшие отношения между обеими державами начиная с последних годов XVII века. Петр не мог быть доволен эгоистическим поведением Австрии при замирении с турками; потом в первые годы Северной войны царь испытывал только холодность и даже презрение со стороны венского кабинета. Это, разумеется, доставляло Петру полную свободу действия; при нужде он обращался к враждебной императору Франции с просьбою о посредничестве между ним и Карлом XII с обещанием вознаграждения за это; то обращался к бунтовавшему против Австрии Рагоци Венгерскому, предлагал ему польский престол, то звал на тот же престол необходимого для Австрии Евгения Савойского. После Полтавской победы венский двор должен был взглянуть на Россию другими глазами. К 1710 году относится любопытный акт, заключающий в себе неизвестно от кого идущие предложения союза России с Австриею посредством брачного союза между их государями: «1) если царское величество изволит сына своего, государя царевича, женить на принцессе чужеземной, то цесарское величество (Иосиф 1) выдаст сестру свою или дочь за государя царевича. Из того произойдет дружба и вечный

союз против шведского короля, турок и других неприятелей. 2) Для этого свойства цесарское величество может царское величество признать за цесаря империи Русской, и если царское величество пожелает Греческого государства, то цесарское величество уступит без сопротивления и всякую помощь окажет; англичане и голландцы для того же свойства спорить не будут; а если бы царское величество пожелал государства Греческого без союза с цесарским величеством, то будет сопротивление от цесаря, англичан и голландцев. 3) Если царское величество пожелает, то цесарь признает государя царевича „королем из империи Русской, казанским, или астраханским, или сибирским“, потому что цесарский сын бывает римским королем. 4) Если царское величество пожелает, чтобы были на Черном море кавалеры мальтийские, то для того же свойства Великий магистр сейчас пришлет из Мальты несколько кавалеров и с ними миллионы денег для поселения и строения кораблей; царскому величеству от этого не будет ни малейшего убытка, напротив, большая выгода и помощь против турок. 5) Если царское величество пожелает королевства Польского, то для того же свойства оно будет поделено с царским величеством пополам. 6) Если царское величество пожелает, чтоб была в Вене церковь греческая для народа венгерского (?!), то для того же свойства цесарь может это сделать. 7) В Вене приходил к цесарю русский посланник Урбих и доносил ясно, будто царское величество сына своего на цесарской сестре или дочери женить не будет, а хочет взять за царевича у герцога вольфенбительского дочь; и цесарское величество на это рассердился. 8) Принцесса вольфенбительская не принесет царскому величеству чести и выгоды; честь и выгода будут только герцогу вольфенбительскому. Герцог вольфенбительский – вечный союзник короля шведского, а Урбиху он обещал большие деньги. В Вене же носится слух, будто Урбих писал к царскому величеству, что цесарь не хочет иметь в свойстве царевича и если Урбих так писал, то ясно, что он производит ссору. 9) Королям прусскому и польскому не надобно верить относительно союза, потому что король прусский в свойстве с герцогом вольфенбительским, а король Август сватает цесарскую дочь за сына своего. В Вене же носится слух, что король Август сватает за царевича из Европы принцесс из страха, чтоб у царского величества с цесарем не было свойства и доброго союза и королям прусскому и польскому не было тесно между такими великими монархами. 10) У цесаря две дочери, а сыновей нет, и если царское величество пожелает взять за сына своего старшую дочь цесареву, то наследником и цесарем может быть царевич». Император Иосиф умер; ему наследовал брат его, Карл VI, до возвращения которого из Испании управляла вдовствующая императрица-мать; но неудовольствия не прекратились, и сердились именно на Урбиха.

В июле 1711 года между Урбихом и австрийским министром Зейлером были очень неприятные разговоры, вскрывшие характер отношений между обеими державами. Зейлер стал жаловаться, что в царских грамотах к императрице встречается странность, в иных дается титул величества, в других нет, и потому просил его, Урбиха, взять назад грамоту, в которой нет титула величества. Урбих отвечал: «Так как в некоторых грамотах этот титул находится, то ясно, что царское величество не думает лишать императрицу его, но если в некоторой грамоте титула нет, то этому может быть особая причина, именно: в одной грамоте, отправленной к царю венским кабинетом, титула величества также не дано».

Зейлер, услышавши это, побледнел от злобы. «Замолчите, – сказал он Урбиху, – не могу этого выслушивать; мы обманулись, мы думали, что это только канцелярская ошибка, и потому императрица тайно с великим уважением велела отдать назад грамоту; а теперь мы принуждены выслушивать, что такой непристойный поступок сделан нарочно, да еще толкуют, что имели право это сделать. Немецкая кровь никак этого снести не может; дело идет о славе Германии; вы сами немец и потому не способны участвовать в оскорблении, которое наносится немцам, лучше б вам было русскую службу оставить, чем решиться на это». Несмотря на все убеждения, Урбих решительно отказался взять грамоту назад. На другой день является к нему канцелярист от имени министров; Урбих догадался, что канцелярист принес грамоту, и велел сказать, что ему некогда – почтовый день. Тогда канцелярист положил грамоту в передней и хотел уйти. Урбих нашел себя принужденным выйти к нему и сделать окрик. «Зейлер, – сказал он, – трактует царское величество как австрийского мужика, а Вратислав (другой министр, родом чех) – как богемского мужика, возьмите грамоту и ступайте подумайте, что из этого может произойти. Видно, у вас еще мало неприятелей, хотите побольше!» Канцелярист извинился, что обязан делать, что приказано, и ушел, но потом прокрался в комнаты Урбиха и положил грамоту на стол. Урбих послал к обер-гофмейстеру с жалобой на обиду и бесчинство, какое позволил себе канцелярист, нарушив права посольской квартиры. Обер-гофмейстер Траутсон отвечал, что грамоты никак нельзя держать в императорской канцелярии, ибо в грамоте у императрицы отнято то, что она получила от бога и всего света и чего никакая держава отнять не может. Урбих поехал сам к обер-гофмейстеру для объяснений и выговорил, что австрийское правительство делает все, чтоб поссориться с царским величеством: всякому известно, что шведы, приезжающие из Бендер, находят пристанище в доме Вратислава, что Австрия старалась привести датского короля к партикулярному миру с Швециею; отвлечь Польшу от царского величества; помешать переговорам с Венециею; турецкого агу с великим обещанием назад отослали; обнаружили большую зависть к успехам оружия царского величества; наконец, теперь как поступлено с грамотою царскою! Из всего видно, что мира и добрых сношений с царем больше не хотят. «И потому я, – заключил Урбих, – желаю знать ваши намерения». Обер-гофмейстер оправдывался: шведский король действительно требовал помощи в примирении с Даниею, но австрийский двор никак на это не согласился; неосновательно и обвинение относительно Польши, можно доказать противное: шведам проезда нельзя запретить по нейтральности; чтоб Австрия мешала России в Венеции – этого доказать нельзя; молва о поведении австрийского резидента в Константинополе распущена Рагоци и другими подобными; возвращать грамоты, написанные с умалением титула, – дело обыкновенное, и этот поступок к войне вести не может. От оправданий обер-гофмейстер перешел к обвинениям: царь не только сносится с общим наследственным неприятелем, королем французским, и держит при своем дворе его посланника, но и австрийским бунтовщикам явно покровительствует; напротив того, с цесарскими посланниками плохо обходится: послу Вильчеку оказывается мало внимания, а резидент долго бегал, пока получил первую аудиенцию, и когда получил, то ему сказано, чтоб предложил дело покороче, и государь, не сказав ему ни слова, отошел прочь; предложение со стороны Австрии оборонительного и наступательного союза не было принято.

Особенно сердились в Вене за то, что Петр сносился с Рагоци как с независимым владельцем.

Стали приходить вести о прутском несчастье и мире; Урбих находился в неловком положении, потому что от своего двора не получал никаких известий. В августе был в Вене грек, ехавший из Вольфенбителя и пробиравшийся к царю через Венгрию, Трансильванию и Валахию; это был афинянин Либерио Коллетти, хотевший набрать несколько тысяч греков для действия против турок. Сильно испугался он, услышав в Вене о Прутском мире. «Теперь, – говорил он, – все греки, полагавшие всю надежду свою на царя, пропали». Что касается до австрийского правительства, то оно не имело причин радоваться торжеству турок, страх перед которыми еще не исчез в Вене и которых успехи были успехами Франции. Австрийские министры даже прямо объявили Урбиху, что в случае несчастья Австрия будет помогать России в войне с турками. Когда Петр после Прутской кампании приехал лечиться в Карлсбад, то здесь по распоряжениям из Вены оказано ему было большое внимание. Урбих писал, что в Вене дела идут лучше прежнего относительно России, и объяснял это приказанием нового императора Карла. Урбих ждал, устоит ли партия Вратислава, неблагоприятная России, и толковал об этом с венецианским послом, который желал заключения нового тройного союза между Россиею, Австриею и Венециею против турок. Посол очень жалел о несчастной Прутской кампании, жалел не об Азове, а о двух вещах: во-первых, об ущербе славы русского оружия; уже начали говорить, что русские еще не выучились военному искусству, и удивляются, почему после кампании увольняют из службы немецких офицеров. Во-вторых, жалел о греках, которые хотели все стать на стороне России, а теперь они обезоружены и не будут больше верить русским. Когда венецианский посол настаивал на необходимости оборонительного союза между Россиею, Австриею и Венециею, то Урбих отвечал, что царское величество дела не начнет, пусть Венеция делает предложения и побуждает к тому же и цесарский двор.

В конце 1711 года Урбих отправился во Франкфурт на коронацию нового императора Карла VI; 30 декабря он имел у него аудиенцию и в речи своей поставил на вид, что в венгерском деле вина не на русской стороне, что царь предлагал австрийскому двору союз и 20000 войска против недовольных венгров; теперь царское величество с сожалением слышит, что некоторые союзники Австрии намерены заключить партикулярный мир с Франциею. Царское величество желает, чтоб цесарю досталась вся Испанская монархия, на которую он имеет все права. Урбих объявил от себя, что если император желает продолжать войну с Франциею и заключить союз с Россиею, то царское величество будет готов показать свою истинную братскую склонность, пусть император предложит свои условия. Карл VI отвечал очень тихо, чем напомнил отца своего, Леопольда: «Покойный брат цесарь Иосиф говорил мне, чтоб вступить в тесный союз с царским величеством, особенно теперь, по близкому свойству (вследствие брака царевича Алексея на сестре императрицы)». Назначено было Урбиху иметь конференцию с государственным гофратом Консбрухом. 1 января 1712 года они съехались, и Консбрух объявил, что интерес обоих государей требует жить в согласии и согласие возможно, если с царской стороны будут отстранены мелкие столкновения и все прошлое будет предано забвению без разыскания, кто прав и кто виноват; но главное затруднение состоит

в том, как согласить союз между Россией и Австрией с покровительством, которое царь продолжает оказывать бунтующим австрийским подданным – венграм. Урбих стал объяснять причины этого покровительства, и первое объяснение вышло очень неудачно: он сказал, что царь вошел в сношения с Рагоци только для того, чтоб иметь через Венгрию свободную и безопасную корреспонденцию. Потом Урбих поправился и объявил причины поважнее: с одной стороны, царь старался отвлечь венгров от шведов и турок; с другой стороны, венский двор поступил враждебно против России, признавши польским королем Станислава Лещинского; притом договор царя с Рагоци не имел никаких последствий. Наконец, царское величество не раз объявлял, что готов оставить венгров и принудить их к верности императору, если последний заключит крепкий союз с Россией. Так как Урбих не имел никакой инструкции для заключения союзного договора, то конференция кончилась тем, что он обещался обратиться к своему двору за этою инструкциею.

Но в Вене не торопились заключением союзного договора: здешнее правительство с напряженным вниманием смотрело не на северо-восток, а на северо-запад, на Голландию, где решался важный вопрос: оканчивать или продолжать войну за испанское наследство? Когда Урбих торопил императорских министров покончить дело о русском союзе, то они прямо ему отвечали: «Подождите, пока в Гаге будет постановлено о продолжении войны». России важно было заключить союз с Австрией, она даже соглашалась помочь ей войском против Франции, ибо России выгодно было продлить войну за испанское наследство, которая отнимала у Франции, Англии, Голландии и у самого императора возможность вмешаться в Северную войну, тогда как вмешательство это не могло быть в пользу России; с другой стороны, для России важен был союз с Австрией, ибо сдерживал турок. Но Австрия признавала для себя невозможность продолжать войну без Англии и желала мира, который делал для нее ненужною русскую помощь; что же касается Турции, то гораздо вероятнее была новая война последней против России, а не против Австрии. Наконец, были люди, враждебные России, как граф Вратислав и другие, которые сильно восставали против русского союза; они представляли, что от русского вспомогательного войска не будет никакой пользы: где ему воевать с французами при страшном беспорядке, огромных багажах, слабой кавалерии, неискусстве воинском, ибо Полтавскую победу нельзя приписать искусству русских: с голодными и бессильными людьми дело имели, и счастье помогло. Взять русское войско в помощь – значит обучить его и показать ему дорогу в свои земли и усилить царя: полезно ли это? Царь соглашается на союз под условием, чтоб император гарантировал ему земли, завоеванные у шведов; но этою гарантиею Австрия только свяжет себе руки: теперь в год, много в два она добьется мира с Франциею, а тогда эта гарантия будет служить препятствием к Миру, мало того, может вовлечь в другую войну.

1712 год проходил в бесполезных стараниях Урбиха заключить оборонительный договор, нужда которого для России увеличилась с приходом неприятных вестей из Константинополя. В Россию доходили слухи, что препятствием к заключению союза может служить Урбих, которым недоволены в Вене. Поэтому туда был отправлен генерал-адъютант Нарышкин с наказом: «Быть ему вместе с Урбихом на конференциях с цесарскими министрами и смотреть

накрепко, чтоб барон Урбих трудился по данной ему инструкции привести дело к окончанию». Если увидит он со стороны цесаря затруднения, также если недовольны будут, что переговоры о союзе ведутся посредством Урбиха, то он должен донести цесарю, чтоб изволил кого-нибудь прислать с полномочием к царю в Померанию.

В октябре цесарский посланник при русском дворе граф Вильчек на вопрос графа Головкина, какой он имеет от своего двора наказ для заключения союзного договора, отвечал, что если ему будут сделаны предложения от русского двора, то он обязан их выслушать и писать к своему двору. Если царское величество желает вести об этом переговоры, то лучше пусть пошлет своего министра к цесарскому величеству, и лучше было бы, если бы договор был заключен не с одним австрийским домом, а со всею империєю; с Урбихом договариваться не будут, ибо хотя он цесарю и не противен, однако не согласен не только с австрийскими министрами, но и с министрами союзников царских. «Не думайте, – сказал на это Головкин, – что царское величество желает с вами оборонительного союза, опасаясь нового разрыва с Турциєю; он желает только укрепить дружбу с цесарским величеством, потому что от турок нарушения мира ожидать нельзя; если же, сверх чаяния, турки введут в Польшу шведского короля с своими сильными войсками, то в таком случае не будет ли опасности и цесарю?» «Конечно, будет опасность такая же, как и царскому величеству, – отвечал Вильчек, – поэтому-то цесарь и склонен к заключению союза с Россиєю, объявите только проект, на каких условиях его заключать». Через день после этого разговора Головкин объявил Вильчеку, что царское величество готов послать в Вену министра для переговоров о союзе, только теперь такого министра нет, и потому сообщается ему, Вильчеку, проект договора для отсылки к цесарю, и пусть цесарь пришлет к нему указ постановлять здесь, но не заключать, когда же будет здесь постановлено, тем временем государь отзовет министра от какого-нибудь двора и пошлет в Вену для заключения договора.

Урбих по причине или под предлогом болезни сам начал просить о годовом отпуске из Вены, куда был назначен из Гаги граф Матвеев. В начале декабря приехал Матвеев в Вену и отдал Урбиху отзывную грамоту, отпуск и царский портрет с алмазами. Матвеев приехал в Вену в то время, когда здесь получены были из Константинополя вести, что Турция разорвала мир с Россиєю и русские послы посажены в Семибашенный замок. Матвеев в этих известиях видел страшное препятствие делу, для которого приехал; несмотря на то, при представлении императору «предлагал в пространных изъяснениях», какое злополучие должно произойти из этой перемены, произведенной наговорами общих неприятелей, не только интересу царского величества, но и самой империи Римской, и просил, чтоб его величество, зрело обдумав, изволил ускорить мерами для сохранения общего мира. Карл VI отвечал уверениями в своей дружбе к царскому величеству и желании вступить с ним в тесный союз по настоящим обстоятельствам. Принц Евгений Савойский также уверял Матвеева в своем усердии к царским интересам; но при этом с великою досадою отозвался о бароне Урбихе. «Это человек коварный и злобный, – говорил Евгений, – все, что он ни писал ко двору царского величества о цесаре и его дворе, – все ложно, пристрастно, по злобе; своим поведением он мог произвести между императором и царским величеством непримиримую вражду, самый негодный человек!»

Матвеев не мог заступиться за Урбиха, ибо сам писал Головкину, что «ведает господина барона пронырливые тонкости». «Фавориты цесарские, – писал также Матвеев, – заговаривали мне о мехах лисьих и собольих для цесаря, что ему будет приятно, равно как и прочим вельможам. Рассмотря, извольте их удовольствовать и обязать к нашим пользам. Здесь взятки за стыд не ставят и без того криво глядят».

Новые печальные вести с севера: Штейнбок разбил датчан и саксонцев. «Ведомости эти, – писал Матвеев, – немалую в нашем настоящем деле причинили помешку у здешнего двора, очень торопкого и боящегося шведов; видя, что дела их с Франциею идут дурно и что в наших северных делах успеха мало, видя и турецкую склонность к войне, австрийцы сами не знают, куда приютиться. Из слов принца Евгения я могу видеть, что хотя они нам наотрез и не откажут, но будут проволакивать дело».

1713 год Матвеев начал очень неприятным донесением: «Немалое имею подозрение, что здешний двор старается помирить короля Августа с Швециею и этим облегчить примирение датского короля с Карлом XII; а когда эти партикулярные миры будут заключены, то думают здесь, что царское величество, видя себя всеми покинутого и видя с другой стороны войну турецкую, принужден будет с шведами помириться, и таким образом цесарский двор избавится от всех опасностей, которые могли бы ему грозить от Северной войны из Польши». На вопрос о союзе Матвееву прямо сказали, чтоб царское величество на этот раз извинил цесаря, потому что последний находится в тяжелых обстоятельствах: опасность со стороны Франции, Англии и от турок; не приведя к концу собственных дел, нельзя ничего начать; прибавили, что без сообщения всей империи император не может вступить ни с кем ни в какой союз; не может вступить с Россиею ни в какие письменные обязательства, пока русские войска не выступят из пределов империи. В феврале пришли в Вену известия о переменах в расположении султана относительно русской войны, о «трагедии Свейской», как называли ссору Карла XII с турками в Бендерах, и в начале марта Матвеев доносил: «Здешний двор в великом трепете, чтоб пламя войны по интригам французским и английским не вспыхнуло в империи, и по этому опасению отнюдь ничего в неугодность султану не сделает и в наши и в польские дела за безмерным страхом не вмешается». Принц Евгений прямо сказал Матвееву, что если император выскажется у Порты в пользу России, то это будет равносильно объявлению войны туркам; но такого невозможного и вредного австрийским интересам поступка царь не может требовать от императора. Что император мог сделать, то сделал: послан указ австрийскому министру при Порте, чтоб всячески отвращать султана от войны с Россиею. «Здешний двор, – писал Матвеев, – боится турецкой войны, потому что никогда еще принц Евгений не был со мною так учтив и откровенен».

Для избежания бесполезных столкновений Матвееву был дан указ не называть в своих мемориалах к венскому двору царя императором. Матвеев отвечал: «Указ исполнять буду, хотя относительно императорского титула спору быть не может: не только нынешняя королева великобританская, но и предшественник ее, король Вильгельм, всегда в грамотах своих писал нашего государя императорским величеством, и многие книги палатные в самой империи дают русскому царю первое место после императора и Великую Россию называют

империум безо всяких наших запросов и трудностей; нашедши, нам терять бесполезно, разве на время уклониться. Герцог Савойский сильно желает вступить в сношения с царским величеством и обещает давать ему титул по примеру королевы великобританской; мое мнение: хотя бы эти новые сношения с таким отдаленным от России государем и не были нужны, однако если сам герцог начнет пересылку и назовет царское величество императором, то это будет не без прибыли для будущего времени. Венецианская и Генуэзская республики, великий герцог Тосканский и другие мелкие владельцы итальянские могли бы последовать примеру такого сильного в Италии государя, как герцог Савойский; а с италианскими державами, особенно с Венецианскою республикою, для турецких дел и для торговли эту находку в титуле упускать не надобно».

Венецианская республика готова была теперь дать какой угодно титул русскому царю, потому что снова начала бояться турецкой войны. Когда приходили вести, что султан идет на Россию, то венецианский посол в Вене мало обращал внимания на Матвеева; но когда стали приходить известия другого рода, то он стал обходиться с ним чрезвычайно почтительно и сам проговорился о причине такой перемены. «Боюсь, – сказал он Матвееву, – чтоб и нашего посла турки не посадили в Семибашенный замок». Учтивость в отношении к Матвееву усиливалась и с венецианской, и с австрийской стороны; но русский посол считал себя вправе не быть довольным венскими обхождениями и писал Головкину: «Хотя цесарь и министерство его наружно по политике и показывают доброжелательство царскому величеству, но я замечаю, что природная зависть господствует в мыслях этого любочестивого и гордого двора; нежелательно видеть ему, что мир у России с Турциею благополучно и скоро заключается и царское величество, ставши свободен, принудит шведов к полезному для себя миру и, овладев Ливониею, при море Балтийском распространит свою державу. Нигде при дворах такой зависти и бессюзия между министрами я не видал, как здесь; коварные интриги между разными шайками господствуют при здешнем дворе, думают только о своих выгодах и вредят всеми способами силе своего государя. Сюда пришли подлинные известия, что в Утрехте французские министры предлагали нашему послу князю Куракину заключить между Россиею и Франциею договор о свободной торговле. Это предложение важно при нынешних обстоятельствах, ибо сближение с Франциею нам очень полезно. Морские державы кривым оком смотрят на распространение державы его царского величества у Балтийского моря, и нельзя надеяться, чтоб датский союз был постоянным. При союзе России с Франциею морские державы будут более почитать государства царского величества и датский король не посмеет вооружиться. Найдя в союзе с Россиею свои выгоды, Франция не станет заступаться за Швецию, и австрийский дом будет оказывать большее внимание к интересам царского величества и высоко станет почитать его дружбу не по любви, а из страха, видя, что Россия соединена с великою и могущественною державою – Франциею, равною по силе с Австриею; австрийский дом должен будет оставить свои прежние суетные мнения, будто он один только в нужных случаях был прибежищем царскому величеству. Если царское величество заключит мир с Портою, а цесарь свою войну с Франциею будет продолжать, тогда не будет никакой нужды царскому величеству искать чего-нибудь у этого гордого и о собственном своем интересе нерадивого двора. Без денег у цесаря плохой успех в

войне, и когда Франция станет его одолевать, то ему ничего больше не останется, как с покорностью искать помощи у царского величества, и готов будет вступить в какой угодно союз. Но тогда этот союз едва ли будет полезен России. Нельзя из-за одной любви к цесарю вступить в новые трудности и войны, особенно когда будем держать в памяти, что цесарь при наших затруднениях ничего для нас сделать не подумал». Матвеев спешил предостеречь свой двор и относительно Венеции: «На днях уведомился я подлинно, что венецианский Сенат, избегая грозящей ему войны с Турциею, деньгами возбуждает сановников Порты против царского величества. Посол венецианский в Константинополе действует заодно с послом французским против России; и здешний венецианский посол, хотя по природному своему пронырству и ласково со мною обходится, но в то же время вместе с папским нунцием всевозможными и тайными способами отвращает цесаря от союза с Россиею. Извольте и у себя равным же образом обращаться с римским духовенством и венецианами; пусть не думают, что их темные злобы нам не известны».

Мир между Россиею и Турциею был окончательно заключен, и Матвеев через фаворита императорского графа Стелли уразумел, что цесарь стал склонен к русскому союзу гораздо больше, чем прежде. Матвеев, успокоенный известием о мире, не находился более под влиянием прежнего раздражения, успел осмотреть дело с разных сторон и потому написал Головкину: «Хотя при настоящих обстоятельствах этот союз и не так нам нужен, но может быть очень полезен для будущего времени по враждебным отношениям нашим к Швеции и морским державам; этим союзом будут сдержаны члены империи, склонные к поданию помощи шведу, особенно Пруссия, наконец, будет сдержана Франция». Австрийские министры пугали Матвеева тем, что мир России с Турциею едва ли будет крепок, потому что султан готовится к походу против Польши, где хочет восстановить Станислава Лещинского. Но когда по получении указа от своего двора Матвеев осенью 1713 года начал с Стелли переговоры о союзе, императорские министры объявили ему с крайним неудовольствием, что цесарь прямо приятель и свойственник царскому величеству и потому прежде заключения договора с королем прусским и администратором герцогства Голштинского о секвестре Штетина надобно было бы не только для чести цесарской, но, главное, для собственной пользы царского величества согласиться с цесарем и прочими владетелями имперскими, с ганноверским и вольфенбительским домами. Но крайнее неудовольствие также не повело ни к чему, как и прежнее желание вступить в союз. «Вам известна, – писал Матвеев Головкину, – медленность здешнего двора во всех делах; эту медленностью он везде все теряет, не только в чужих, но и в своих собственных делах; притом непостоянство Порты в наших и польских делах и слухи о возникновении новой вражды в империи между королями прусским и датским по причине голштинского дела усиливают здешнюю медленность, потому что цесарский двор по обычной своей осторожности еще выжидает, чем кончатся все эти дела». В начале ноября Матвеев объявил графу Стелли решительно: «Если заключение союзного договора по-прежнему будет откладываться вдаль, то царское величество впредь ни по каким домогательствам цесарским и ни при какой тяжкой нужде в союз не вступит». Прошел ноябрь; Матвеев обратился к императрице (родной сестре жены царевича Алексея Петровича) с просьбою постараться об ускорении дела;

императрица отвечала, что она безотступно просит об этом императора, как по своему кровному свойству с царским величеством, так и по всегдашним к себе письмам деда, герцога вольфенбительского, матери и сестры, принцессы царевичевой, и что цесарь расположен вступить в союз с Россиею. Наконец 11 декабря Матвееву дано было знать, что император определил: вступить с Россиею в крепкую дружбу и оборонительный союз, причем должен быть заключен и торговый договор. 18 декабря начались у Матвеева конференции с австрийскими министрами, которые предложили заключить оборонительный союз на десять лет против всякого нападчика, но одни татарские набеги не должны считаться поводом к требованию помощи; этот союз не должен разрушать никакой другой союз, заключенный прежде Россиею или Австриею; также император сохраняет свое право быть посредником для прекращения Северной войны. Предложены были и тайные статьи: о немедленной помощи от России императору против Франции деньгами или другим чем; о домогательстве императора у папы, короля польского и республики Венецианской, чтоб царь был принят в священный союз против турок. Матвеев принял проект договора для донесения своему двору, но потом в разговоре наедине с вице-канцлером Шёнборном заметил неопределенность в выражениях: ни Швеция, ни Турция явно не обозначены. Вице-канцлер отвечал, что явно назвать шведа нельзя, потому что он тогда не примет посредничество императора для прекращения Северной войны; если же император в договоре явно объявит себя против турка, то Франция найдет здесь причину поднять Порту против Австрии, которая не будет в силах в одно время вести войну против таких двух сильных держав. Вице-канцлер прибавил, что царскому величеству должна быть известна невозможность для императора заключить с Россиею союз против кого-нибудь из князей имперских; император не может вступить в союз и против Польши, с которою у него издавна союз. Наконец, вице-канцлер объявил, что заключение договора должно быть отложено до окончания войны у императора с Франциею. На это Матвеев заметил, что союз этот едва ли будет полезен царскому величеству при таких изъятиях и условиях, когда император не обязывается помогать России ни против шведа, ни против турка – заклятых неприятелей царского величества.

В начале 1714 года Матвеев начал извещать о скором мире между императором и Франциею, а мир этот должен был иметь влияние и на отношения Австрии к России. «Когда цесарь, – писал Матвеев, – будет в согласии с Франциею, то шведа явно озлобить не захочет, должен будет действовать заодно с французским королем по смыслу Вестфальского договора; хотя цесарь и все его министерство по наружности доброхотствуют царскому величеству, но внутренно приращению державы его величества очень завидуют и на будущее время опасаются; большая часть здешних министров – добрые шведы».

В марте Матвеев возобновил представление о союзе, потому что из Петербурга получены были замечания на австрийский проект. Замечания состояли в том, что царь не согласен на заключение союза по окончании его войны со шведами, ибо такой союз не принесет ему никакой пользы; царь требует, чтобы союз заключен был немедленно против всех нападчиков, ибо при нынешней войне опасно, чтобы какой-нибудь новый неприятель, особенно турок, не напал либо на Россию, либо на Австрию; поэтому-то немедленный оборонительный союз и нужен, особенно по отношению к Польше, ибо России, а еще более Австрии

нужно стараться, чтобы не допустить турок разорить Польское королевство, потому что от этого может произойти беда для всей Германии. О набегах татарских упоминать в договоре не надобно, потому что татары – подданные султана турецкого и без его воли ничего не делают. Когда оборонительный союз заключится против всех нападачиков, то исключениям никаким быть не следует. Матвеев сильно сомневался, чтоб император согласился на эти требования, и писал к своему двору: «Придворные коварства и интриги неисповедимы, и хотя цесарь сам от себя никакого зла не делает, но если другим не возбранит, то другие державы много могут делам российским вреда причинить или короля датского от союза русского силою оторвать. Для того нужно цесаря себе на будущее время попрочить и держаться с ним согласно, хотя бы и с некоторою убавкой перед прежними запросами союз заключить и, удержав этим союзом цесаря при себе, другим принцам злонамеренным удила на зубы подать. Всегдашние победы царского величества над обессиленным неприятелем, особенно нынешнее торжество в Финляндии над генералом Армфельдом, великую зависть здесь и везде распространяют, и хотя, по-видимому, многие правительства нашим победам радуются, но в сердце у них другое чувство гнездится; поэтому нужно осторожно поступать, чтобы вдруг не подвигнуть на Россию великое число злосердых принцев». Ганноверский посланник дал знать Матвееву о своем разговоре с принцем Евгением и министрами по поводу русского союза; все согласно объявили ему, что по заключении мира с Францией цесарь не имеет нужды в русском вспомогательном войске, потому не может в настоящее время и от себя никакой помощи обещать царю и обязываться с ним оборонительным союзом, но на будущее время, т.е. по окончании Северной войны, готов заключить союз. Вице-канцлер Шёнборн объяснил самому Матвееву, что союза немедленно заключить нельзя, ибо если прямо назвать в договоре Шведа и Порту, то в сущности выйдет союз наступательный, а не оборонительный, потому что, назвавши прямо эти державы, цесарь возбудил бы их против себя, тем подвергся бы тяжкой ответственности перед всею империей и не мог бы уже более быть посредником при заключении северного мира. Наконец, был прислан на письме и решительный отказ вступить в союз на тех основаниях, какие желательны царю. Матвеев думал, что все же полезно заключить с цесарем союз и на будущее время после примирения с Швециею, потому что Карл XII теперь, видя упадок своих сил, склонится к миру, а потом, собравшись с новыми силами, при первом удобном случае разорвет, но оборонительный союз России с цесарем будет его сдерживать.

По царскому указу Матвеев не должен был отставать от дела и твердил императорским министрам, что Швед питает неукротимое отвращение к дому австрийскому и высказал уже свою враждебность во время своих успехов; какого же добра император может ожидать себе от него вперед? Притом известно, сколько в империи сильных государей протестантских, склонных к Шведу и враждебных императору; нужно заранее об этом подумать и принять свои меры. Но эти внушения русского дипломата не могли иметь силы, потому что австрийский двор должен был иначе смотреть на дело. Было время, когда действительно Швеция была опасна австрийскому дому, как представительница протестантизма, естественная защитница его в Германии, выдвинутая для этой роли Франциею против Габсбургов. Но теперь могущество Швеции было

сокрушено, и если бы даже Швеция успела скоро оправиться, то нашла бы себе поддержку в усиливавшейся России; а в Германии начали усиливаться протестантские государи, и это усиление грозило Австрии большою опасностью, так что теперь для нее было важно поддержать Швецию в Германии. Пруссия и Ганновер сильно хлопотали в Вене, чтоб император согласился на изгнание шведов из Германии, но этими хлопотами возбудили только подозрение при здешнем дворе: зачем они хотят выгнать шведов? Чтоб поделить их владения по себе, усилиться; но какая выгода Австрии усиливать князей протестантской Германии? Бранденбургский курфюрст и без того уже силен и опасен, он уже король прусский; курфюрст ганноверский будет и без того уже силен, как король английский. Знаменитый принц Евгений, первый авторитет между государственными людьми Австрии, сильно восстал против предложений Пруссии и Ганновера об изгнании шведов из империи; но так как это предложение согласовалось с выгодами России, которая в Пруссии и Ганновере приобретала новых союзников против Швеции, то австрийские министры сочли нужным сделать со своей стороны Матвееву внушение, что виды Пруссии и Ганновера не имеют ничего общего с пользами царского величества. «Короли прусский, датский и курфюрст ганноверский, – говорили они, – безотступно здесь домогаются, чтобы цесарь позволил выгнать Шведа из его имперских владений; ясно, что они стараются об одном: получа эти владения, поделить их между собою, отчего царскому величеству никакой выгоды не будет; с другой стороны, Август, король польский, очень недоволен таким намерением, и от этого между северными союзниками является великое бессоюзие. Цесарь известился, что король французский обнадежил царское величество, что шведский король уступит России Финляндию, Ингрию и некоторые города в Ливонии, с тем чтоб царское величество удержал за ним прежние шведские владения в империи. Вот почему цесарь не дает ответа королям датскому и прусскому и курфюрсту ганноверскому, желая прежде узнать намерение царского величества, чтобы не сделать чего-нибудь ему неугодного».

Царь в своем желании иметь как можно более союзников против Шведа и принудить его как можно скорее к выгодному для России миру не мог входить в виды австрийского двора, и Матвеев получил указ помогать всеми средствами прусскому посланнику. Матвеев ответил австрийским министрам, что если цесарь исполнит желание прусского короля, то этим покажет свою особенную склонность к интересам царского величества. Матвееву отвечали, что так как теперь это дело делается с общего согласия между царским величеством и королем прусским, то цесарь, зная это, станет и впредь так поступать; он думал только, что если король шведский будет лишен своих германских провинций, то, собравшись с силами, по соседству может больше повредить России. Но Матвеев писал к своему двору, что не верит сладким словам австрийских министров и особенно боится того, что принц Евгений сильно охладел к царским интересам и очень благоприятствует Шведу. Отношения к Франции также заставляли венский двор соблюдать осторожность по шведским делам. Когда Матвеев не переставал домогаться, чтоб император дал свое согласие на изгнание шведов из империи, то вице-канцлер Шёнборн объявил ему: «Император уже объявил себя посредником по северным делам и потому никак не может позволить на исключение Швеции из империи, в

противном случае он явился бы явным доброжелателем одной стороне и явным противником другой, вследствие чего потерял бы право на посредничество».

В конце 1714 года пришло известие о разрыве между турками и венецианами, что грозило войною и Австрии по союзу ее с Венециею. «Эта новая турецкая война, – писал Матвеев, – не бесполезна будет для войны Северной, когда турки разорвут мир и с цесарем. Тогда здешний гордый двор, оставя свои прежние прихоти и поманки Шведу, сам будет заискивать, чтоб вступить в союз с царским величеством. Принц Евгений, прощаясь с шведским канцлером Миллером, обошелся с ним холодно. Я в разговоре с принцем выразил ему свое удовольствие по этому случаю и обещал донести о его поступке царскому величеству, чем принц был доволен и обошелся со мною очень ласково, как видно проча себе царское величество по причине войны турецкой». Еще в половине года Матвееву дано было знать из Петербурга, что он отзывается из Вены и назначается в Польшу. После этого распоряжения царь получил донос на Матвеева из Вены на французском языке, вышедший, как можно полагать, из саксонского посольства в Вене, ибо Матвеев в своих донесениях не щадил короля Августа и его представителя при императорском дворе; вероятно, прослышав о новом назначении Матвеева, в Дрездене хотели избавиться от такого человека, очернив его перед царем, выставивши его неспособность. Безымянный доносчик говорит, что во время приезда Матвеева в Вену здешний двор был очень склонен ко вступлению в тесный союз с царем, но Матвеев своим поведением уничтожил это доброе расположение. Матвеев начал с того, что стал ссориться с иностранными министрами за ранг и титул превосходительства и вследствие других неосновательных придирок с его стороны, причем не пощадил и министров союзнических. Так, он спором о ранге оскорбил венецианского посла, любимого, уважаемого и имеющего большую силу при венском дворе. Лучших товарищей Матвееву подобрала любовница его, Шперлинг, дочь венского лакея, шведа по происхождению, который обокрал в Вене своего господина и ушел в Швецию; думают, что он ведет переписку с своею дочерью, которая вместе с матерью живет в доме Матвеева. Самый доверенный человек у Матвеева, знающий все интересы царские, – барон Фронвиль, который сам себя назвал бароном, тогда как он сын известного шарлатана, бывшего мошенником в Париже, потом лазутчиком французским при польском дворе. Этого-то барона Фронвиля Матвеев прочил на свое место, в министры при венском дворе, и слово уже ему дал. Фронвиль ввел в дом к Матвееву разных господ, которые называют себя близкими людьми графа Стеллы, любимца императорского, через которого они обещаются помогать успеху дел царских. Но граф Стелла никогда ничего ни для кого не сделал, и чем бы приводить дела к концу, только останавливает их. Матвеев просил императора, чтоб поручил ведение переговоров с ним графу Стелле; это сильно повредило интересам царским, потому что навлекло Матвееву неприязнь всего министерства. Надобно знать лично Матвеева и видеть, как он управляет своими делами, и тогда только можно понять, что человек, столько лет обращающийся на дипломатическом поприще, может быть так неопытен в делах европейских и в интересах придворных. Будучи при главном немецком дворе, Матвеев позволяет себе говорить бесчестные речи о народе немецком; и жена его в короткое время своего пребывания здесь вела себя достойно своего супруга. Принц Евгений говорит, что не хочет больше иметь с Матвеевым никакого дела, ибо Матвеев

дурно отзываясь о нем за то только, что он, принц, дал аудиенцию шведскому министру, как будто венский двор не нейтральный. Матвеев думает, что государственный вице-канцлер граф Шёнборн находится совершенно в его руках: это было бы желательно для службы царского величества, если бы господин Матвеев умел воспользоваться такими отношениями; но так как он слишком расслабил о дружбе своей с Шёнборном, то эта дружба может послужить только к тому, чтоб Матвеева сделать имперским графом, что, вероятно, и сделается, если Матвеев дорого заплатит за патент. Издержки Матвеева, экипаж не делают ему большой чести, потому что он всегда ездит на наемных лошадях. Правда, что получаемых им от своего двора денег недостаточно, потому что любовница стоит ему больше 12000 гульденов в год, и потому он обременен долгами.

Новый, 1715 год застал еще Матвеева в Вене, куда вместе с шведскими генералами, проезжавшими из Турции в Швецию вслед за королем своим, явился и Орлик, называвшийся гетманом Войска Запорожского. «По нижайшей и верной должности моего природного рабства, – писал Матвеев, – не мог я удержать себя в немом молчании и видеть пред глазами своими того вора, клятвопреступного изменника и супостата государству Российскому с его сообщниками и потому, нимало не медля, подал здешнему двору мемориал о выдаче его, изменника, в державу царского величества». Матвееву отвечали «гораздо студено», что едва ли его желание будет исполнено цесарем, который не может взять назад своего слова: он обещал безопасный проезд через свои владения шведскому королю со всеми находившимися при нем людьми. «Позволение дано шведам, – возражал Матвеев, – а не вора, изменникам царского величества». На это «гораздо неучтивый и неожиданный» был ответ: прежде сам царское величество цесарских бунтовщиков и начальников мятежа князя Рагоци и графа Берчени в Польше держал под своим покровительством, в службе своей их имел и к столу своему допускал, не обращая внимания на цесарскую дружбу, а царский министр, барон Урбих, находясь в Вене, не только явно сносился с венгерскими бунтовщиками, но под своею защитой их держал и явно в своей свите их возил. «Случай неровный, – возражал Матвеев, – когда цесарь требовал их выдачи, то царское величество не мог их выдать не из своего государства, из Польши, мог только сейчас же от себя их удалить, что и сделал; а если Урбих что делал по своей дерзости, не по указу, то дело частное, сюда нейдет. Услыхав о дурном поведении Урбиха, царское величество не только отозвал его отсюда, но и из службы своей уволил». На это ответа не было.

28 февраля Матвеев имел у цесаря отпускную аудиенцию. Император говорил с отъезжающим министром долго и милостиво, просил донести царскому величеству о своей великой и искренней и постоянной дружбе, которую со временем докажет на самом деле; если же этих доказательств он не мог дать теперь по обстоятельствам, то чтоб царское величество не принял этого за отмену дружбы, а он, цесарь, приложит со своей стороны всевозможный труд о заключении северного мира. Императрица просила передать свой низкий поклон царю и всему его высокодержавному дому, уверить в искренней своей дружбе и особенном уважении, говорила, что постоянно старалась охранять интересы царского величества и обещала исполнять это и в отсутствие Матвеева, прославляла отеческие милости Петра к сестре ее, кронпринцессе, о которых та извещала ее в своих письмах. Матвеев заметил на это, что хорошо было бы, если

бы и все члены вольфенбительского дома вели себя так же по отношению к русским интересам, ибо сверх чаяния, несмотря на родственный союз, видится противное: правительствующий герцог не следует примеру отца своего, недавно умершего Антона-Ульриха: имея 6000 войска и приказав набрать еще 3000 человек, сблизился с ландграфом гессен-кассельским, союзником шведского короля, и постоянно во всем обнаруживает сильную склонность к интересам шведским. «К сожалению, – сказала на это императрица, – не могу скрыть, что герцог имеет большую склонность к Швеции; но я сомневаюсь в верности ваших известий, потому что император недавно писал к герцогу, уговаривая его переменить образ действий, и в последних письмах, полученных мною от родителей, нет об этом ничего; теперь я сама напишу сильное письмо к герцогу, чтоб он не сблизался с Швециею». В заключение императрица приказала остававшемуся после Матвеева секретарю Ланчинскому доносить ей о всех делах царских и обещала охранять царские интересы наравне со своими. Матвеев отправился в Варшаву, но здесь получил указ возвратиться в Россию, где мы уже видели его деятельность как президента Юстиц-коллегии.

После Матвеева в Вену был назначен резидентом Абрам Веселовский, который начал свои донесения с конца августа 1715 года известиями о предстоящей войне у цесаря с турками. «По предложению принца Евгения, – писал Веселовский, – нас не хотят приглашать ко вступлению в союз против турок; положено начинать войну с одними своими силами. Венецианский посол сильно старался у здешнего двора, чтоб Россия приглашена была к союзу, но ему отказано без объяснения причин. Голландский посол думает, что цесарский двор надеется на свои большие войска и думает завоевать Царьград; поэтому и не хочет допускать русское войско, чтоб по взятии Константинополя царь не имел притязаний на титул восточного императора, ибо титул этот, по мнению здешнего двора, может принадлежать только римским государям». Скоро Веселовский нашел *канал*, как выражались тогдашние дипломаты: «Обергоф-канцлер граф Цинцендорф пользуется большою доверенностию цесаря; жена его, которую он чрезмерно любит, имеет сильную страсть к игре и проигрывает большие деньги. Получив доступ в их дом, я предложил графине, не согласится ли ее муж за известную пенсию оказывать добрые услуги царскому величеству. Через три недели графиня объявила мне, что с большим трудом успела уговорить мужа, и свела меня с ним. Мы уговорились, что о наших сношениях, кроме царского величества, не будет знать никто; пенсия будет состоять из 6000 ефимков, за что Цинцендорф обязался с полною откровенностию передавать о всех предложениях, которые будут делаться венскому двору со стороны союзников или короля шведского, также помогать во всех делах царских». Но в Петербурге не согласились на эти условия.

В 1716 году знаменитое мекленбургское дело возбудило и в Вене такие же подозрения, какие мекленбургские дворяне старались возбуждать при других дворах. Веселовский писал, что император, получив известия о вступлении русских войск в Мекленбургсию, созвал в тайный совет принца Евгения, князя Траутсона и графа Цинцендорфа, и все трое уверили Карла VI, что царь, удаляясь от вступления в союз с Австриею против Порты, непременно имеет намерение утвердиться в Германии; герцог мекленбургский дал к тому повод, обещая принять русские войска в Росток. Для предупреждения таких опасностей

разосланы были грамоты к курфюрсту ганноверскому и герцогу вольфенбительскому, чтоб они немедленно ввели свои войска в Росток, если герцог мекленбургский не оставит тамошний магистрат при прежних правах. Принц Евгений, Траутсон и Цинцендорф внушали императору, что если представится хотя малый способ к примирению с турками, то помириться и обратить внимание на Германию, потому что когда русские войска возвратятся назад из Германии, а цесарь в это время будет занят войною турецкою, то царь беспрепятственно может исполнить свое намерение. Это опасение, возбужденное царем, заставило даже принца Евгения отложить отъезд свой в Венгрию. Цесарскому министру при русском дворе наказано было предложить царю союз против турок, и Карл VI объявил, что будет ждать известия, как царь примет это предложение, и если не примет, то это будет служить знаком, что он хочет вмешаться в германские дела. Но потом передумали, решили, что нельзя упустить благоприятного времени для начатия войны с турками и дать им возможность овладеть Далмациею, после чего они будут очень опасны для Австрии. Принц Евгений отправился к войску. Несмотря на блистательные успехи его над турками, в Вене сильно желали поскорее прекратить войну по финансовым затруднениям и с беспокойством смотрели на север, откуда могло явиться препятствие успехам. Из Мекленбурга, из Ганновера, из Дании приходили к императору сильные жалобы на царя, что он разоряет Мекленбургию своими войсками, хватает тамошних дворян по наущению герцога. Представлений Веселовского не слушали, и цесарь, как глава империи, выдал декрет, чтоб директоры того имперского округа, к которому принадлежала Мекленбургия, озаботились вытеснением из нее русских войск. Когда осенью пришла весть, что высадка в Шонию не состоялась и что царь, недовольный союзниками, хочет заключить отдельный мир с Швециею, то это очень встревожило императора, который говорил своим министрам и приближенным: «В этом больше всего виноват ганноверский двор, особенно министр Бернсторф, который по своим частным видам склонил короля настаивать на вытеснении русских войск из Мекленбургии и нам не давал покоя, чтоб выдать против них декрет. Мы долго его не выдавали, наконец по императорской обязанности выдали, а теперь думаем, что ганноверский двор и сам этому не рад. Боюсь, чтобы король шведский, возвратясь в Германию и усилясь войсками протестантских князей, не обеспокоил нас во время войны нашей с турками, полагая нас на стороне северных союзников». Министры отвечали, что Бернсторф подлежит за это сильнейшему наказанию. С другой стороны, венский двор сильно раздражался тем, что, несмотря на все его представления, русские войска не выходили из Мекленбурга. В начале 1717 года, когда Веселовский уверял принца Евгения и других министров в дружбе и уважении, какие царь постоянно питает к цесарю, и просил не верить внушениям ганноверского двора, происходящим вследствие личных дел Бернсторфа и мекленбургской шляхты, то принц отвечал, что все это будет приятно слышать цесарю, только на словах одно, а на деле другое: Мекленбургия разорена вконец русскими войсками. Веселовский объявил, что как скоро позволит время года, то войска выступят из Мекленбургии, что он, принц, как искуснейший генерал в целом свете, может легко понять, что в настоящее время можно уничтожить войско походом. Принц возразил на это: «Если бы за все платили, то, может быть, такого вопля и не было бы; но каждую почту присылают по сту жалоб на ваши

войска, представляя такое бедствие, что крестьяне начали мереть от голода, не имея более и соломы, а шляхта отступает от имений своих». В апреле Веселовский объявил принцу Евгению о выступлении русских войск из Мекленбурга, вслед за чем снова началось дело о союзе: принц Евгений объявил, что цесарю очень приятно вступить в союз с царским величеством, но просил, чтоб шведских дел не мешать с другими, ибо в таком случае императору нельзя будет принять посредничество для заключения северного мира; но если царскому величеству угодно будет заключить наступательный союз против Турции, то со стороны императора показано будет всякое облегчение и взаимное обязательство, только цесарь просит не допускать к переговорам прусского короля.

Но переговоры о союзе должны были уступить место другим переговорам.

Глава вторая

Продолжение царствования Петра I Алексеевича

Дело царевича Алексея Петровича. – Объяснение отношений царевича к отцу из условий времени. – Вопрос о наследственности родовых свойств. – Характер царевича Алексея. – Отношения его к старому и новому. – Его воспитание и воспитатели. – Его окружающие. – Духовник Яков Игнатьев. – Царевич привыкает враждовать к отцу и делам его. – Отношения к вельможам. – Царевич-правитель. – Он продолжает учиться. – Поездка за границу. – Ученье в Дрездене. – Женильба царевича. – Разлука его с женою. – Отношения кронпринцессы к царю. – Приезд ее в Петербург. – Окончательное охлаждение отца к сыну. – Будущее царевича. – Столкновение этого будущего с будущим царя. – Семейная жизнь царевича. – Поездка Алексея в Карлсбад для лечения. – Рождение дочери у него. – Рождение сына и кончина кронпринцессы. – Письменное объяснение царя с сыном. – Царевич отказывается от наследства. – Петр требует пострижения. – Царевич соглашается и на это. – Петр медлит решением дела и дает срок сыну одуматься. – Требование Петра из-за границы, чтоб Алексей или постригся, или приезжал к нему. – Царевич, по-видимому, едет к отцу в Данию, но вместо того уезжает в Вену и просит убежища и покровительства у императора Карла VI. – Его укрывают сначала в замке Эренберг в Тироле и потом в Неаполе. – Царь узнает о местопребывании сына и требует его возвращения. – Царевич возвращается. – Розыск в Москве. – Розыск в Петербурге. – Приговор суда. – Кончина царевича и разные слухи об ней.

Время, нами описываемое, есть время тяжелой и кровавой борьбы, какая обыкновенно знаменует великие перевороты в жизни народов. Во время этих переворотов рушатся самые крепкие связи; борьба не ограничивается жизнью общественною, площадью, она проникает в заповедную внутренность домов, вносит вражду в семейства. Божественный основатель религии любви и мира объявил, что пришел не водворить мир на земле, но ввергнуть нож среди людей, внести разделение в семьи, поднять сына на отца и дочь на мать. Те же явления представляет нам и гражданская история: известна каждому по школьным

воспоминаниям смерть сыновей Брута, принесенных отцом в жертву новому порядку вещей. Не удивительно, что страшный переворот, который испытывала Россия в первую четверть XVIII века, внес разделение и вражду в семью преобразователя и повел к печальной судьбе, постигшей сына его, царевича Алексея Петровича. Наблюдая за наследственностью, за передачею качеств физических и нравственных от родителей детям, мы замечаем, что сумма этих качеств составляет родовое достояние, и притом достояние двух родов – отцовского и материнского. Известная часть качеств из этой суммы в той или другой степени передается ребенку под влиянием известных благоприятствующих условий, причем некоторые условия производят то, что качества, принесенные матерью из своего рода, берут верх над качествами отца или уступают им место. Ребенок рождается в отца или в мать; иногда качества того или другой перемешиваются и умеряют друг друга, иногда ребенок физически весь в отца, а нравственно весь в мать или наоборот; иногда в малолетстве похож на одного из родителей в том или другом отношении, а с развитием становится похож на другого. Иногда ребенок не похож ни на отца, ни на мать; но он похож на деда, на бабу, на какого-нибудь отдаленного родственника с отцовской или с материнской стороны, о котором едва помнят в родстве, ибо мы сказали, что сумма качеств есть общее родовое достояние и только известная часть их под влиянием известных условий обнаруживается в новом члене рода. Говорим: обнаруживается, ибо переходят все качества, но только часть их при известных благоприятных условиях развивается, становится видимою; другие же, сокрытые, как бы остаются в запасе; происходит новый брак, являются новые условия, благоприятные для развития этих сокрытых родовых качеств, и они развиваются, отстраняя, заглушая другие, но не уничтожая их, оставляя только под спудом до поры до времени, до благоприятных для них условий. Так, в известном браке мать отстраняет в ребенке качества отца, ребенок выходит вовсе не похож на отца, или отцовские качества благодаря условиям, принесенным матерью, развиты в нем в такой слабой степени, что сходство усмотреть трудно. Но отцовские качества ни в каком случае не уничтожаются: ребенок вырастает, мужает, вступает в брак, сокрытые в нем отцовские качества, найдя в природе жены благоприятные для своего развития условия, открываются, и ребенок, от этого брака происшедший, выходит похож не на отца, а на деда.

Эти явления, это несходство между родителями и детьми, сходство с одним из родителей и несходство с другим имеют важное значение в жизни семейств. Сильные столкновения часто происходят от этого между людьми, связанными таким крепким союзом, как родители и дети. Подобные столкновения в семьях владельческих ведут иногда к кровавым последствиям. Константин Великий казнил родного сына Криспа. Во времена новейшие прусский король Фридрих-Вильгельм I едва не казнил сына, знаменитого впоследствии Фридриха II. В семьях владельческих несходство между отцом и сыном уславливает несходство настоящего с будущим для многих людей, иногда для целого народа; недовольные настоящим живут надеждою лучшего для них будущего и потому обращаются к представителю этого будущего для народа, к наследнику престола, и стараются развить и укрепить в нем несходство с отцом, выставить это несходство в выгодном свете, освятить его общим благом и желанием народа. Другие, которые сочувствуют настоящему или находят его выгодным для себя,

стараятся удалить враждебное для них будущее, враждуют к наследнику и усиливают вражду к нему в отце. Всего обильнее последствиями подобные отношения бывают во времена сильных переворотов в народной жизни, когда одно начало сменяет в господстве другое. Царствование Петра было именно таким временем для России, и понятно, почему в это время вопрос, сын и наследник преобразователя похож ли на отца, был вопросом первой важности.

Мы видели, как переворот, преобразовательное движение, при котором родился и воспитался Петр, к которому приладилась его огненная, не знающая покоя, остановки натура, повредил его семейным отношениям в первом браке. Жена пришлась не по мужу, и царица Евдокия Федоровна очутилась в монастыре под именем старицы Елены; Петр женился на Екатерине Алексеевне Скавронской; но от первого брака остался сын и наследник царевич Алексей, родившийся 19 февраля 1690 года. Россия волнуется бурями преобразования, все истомлены и жаждут пристать к тому или другому берегу; для всех одинаково важен и страшен вопрос: сын похож ли на отца?

Из дошедших до нас источников мы не можем изучить в подробности характера Евдокии Федоровны и потому не считаем себя вправе решать вопрос, был ли похож на мать царевич Алексей. Но нам известен достаточно характер отца, известен и характер деда, и мы имеем полное право сказать, что царевич, не будучи похож на отца, был очень похож на деда – царя Алексея Михайловича. Царевич был умен: в этом мы можем положиться на свидетеля самого верного и беспристрастного, на самого Петра, который писал сыну: «Бог разума тебя не лишил». Царевич Алексей был охотник приобретать познания, если это не стоило большого труда, был охотник читать и пользоваться прочитанным; сознавал необходимость образования, необходимость для русского человека знать иностранные языки. Вообще, говоря о борьбе старого с новым в описываемое время, о людях, враждебных Петру и его делам, и включая в это число собственного сына его, должно соблюдать большую осторожность, иначе надобно будет поплатиться противоречием. Мы видели, что в России прежде Петра сознава была необходимость образования и преобразования, прежде Петра началась сильная борьба между старым и новым; явились люди, которые объявили греховною Всякую новизну, всякое сближение с Западом и его наукою. Но не одни эти люди, не одни раскольники боролись с Петром. До Петра были люди, которые обратились за наукою к западным соседям, учились и учили детей своих иностранным языкам, выписывали учителей из-за польской границы. Но мы видели, что это направление, обнаружившееся наверху русского общества при царе Алексее Михайловиче, царе Федоре Алексеевиче и правительнице Софье Алексеевне, это направление явилось недостаточным для Петра; с учеными монахами малороссийскими и белорусскими, с учителями из польских шляхтичей, которые могли выучить по-латыни и по-польски и внушить интерес к спорам о хлебопоклонной ереси, – с помощью этих людей нельзя было сделать Россию одною из главных держав Европы, победить шведа, добиться моря, создать войско и флот, вскрыть естественные богатства России, развить промышленность и торговлю; для этого нужны были другие люди, другие средства, для этого нужна была не одна школьная и кабинетная работа, для этого нужна была страшная, напряженная деятельность, незнание покоя; для этого Петр сам идет в плотники, шкипера и солдаты, для этого призывает всех русских людей

забыть на время выгоды, удобства, покоя и дружными усилиями вытянуть родную землю на новую необходимую дорогу. Многим этот призыв показался тяжким. К недовольным принадлежали не раскольники, которые оставались верны своему старому, основному взгляду, только сильнее убеждались в пришествии антихриста; к недовольным принадлежали не одни низшие рабочие классы, которые без ясного сознания цели вдруг увидели на себе тяжкие подати и повинности; к недовольным принадлежали люди образованные, которые сами учились и учили детей своих, которые были охотники побеседовать с знающим человеком, с духовным лицом, а побеседовав, попить и понапоить ученого собеседника, которые были охотники и книжку читать ученую или забавную, хотя бы даже на польском или латинском языке, употребить иждивение на собрание библиотеки, были не прочь поехать и за границу, полечиться на водах и посмотреть заморские диковины, закупить разных хороших вещей для украшения своих домов; одним словом, они были никак не прочь от сближения с Западной Европой, от пользования плодами ее цивилизации, но надобно было сохранять при этом приличное сану достоинство и спокойствие; зачем эта суетня и беготня, незнание покоя, покинутые старой столицы, старых удобных домов и поселение на краю света, в самом непригожем месте? Зачем эти наборы честных людей, отецких детей в неприличные их роду службы и работы? Зачем эта долголетняя война, от которой все пришли в конечное разорение? И царь Алексей Михайлович вел долгую и тяжелую войну, но зато православных черкас защитил от унии и Киев добыл; а теперь столько крови проливается и казны тратится все из-за этого погибельного болота.

Царевич Алексей Петрович по природе своей был именно представителем этих образованных русских людей, которым деятельность Петра так же не нравилась, как и раскольникам, но которые относительно нравственности побуждений своих уступали жителям Выгорецкого скита и Керженских лесов. Царевич Алексей Петрович был умен и любознателен, как был умен и любознателен дед его – царь Алексей Михайлович или дядя – царь Федор Алексеевич; но, подобно им, он был тяжел на подъем, не способен к напряженной деятельности, к движению без усталости, которыми отличался отец его; он был ленив физически и потому домосед, любивший узнавать любопытные вещи из книги, из разговора только; оттого ему так нравились русские образованные люди второй половины XVII века, оттого и он им так нравился. Россия в своем повороте, в своем движении к Западу шла очень быстро; в короткое время она изживала уже другое направление; царевич Алексей, похожий на деда и дядю, был образованным, передовым русским человеком XVII века, был представителем старого направления; Петр был передовой русский человек XVIII века, представитель иного направления: отец опередил сына! Сын по природе своей жаждал покоя и ненавидел все то, что требовало движения, выхода из привычного положения и окружения; отец, которому по природе его были более всего противны домоседство и лежебокость, во имя настоящего и будущего России требовал от сына внимания к тем средствам, которые могли обеспечить России приобретенное ею могущество, а для этого нужна была практическая деятельность, движение постоянное, необходимое по значению русского царя, по форме русского правления. Вследствие этих требований, с одной стороны, и естественного неодолимого отвращения к выполнению их – с другой, и возникали

изначала печальные отношения между отцом и сыном, отношения между мучителем и жертвою, ибо нет более сильного мучительства, как требование переменить свою природу, а этого именно и требовал Петр от сына.

От рождения до девяти лет царевич Алексей находился при матери. Повторяем, что по недостаточному знакомству с характером и взглядами Евдокии Федоровны мы не считаем себя вправе утверждать, что мать, «косневшая, – как говорят, – в предрассудках старины и ненавидевшая все, что нравилось Петру», могла внушить малютке предрассудки старины, приготовить в нем какого-то раскольника, каким Алексей никогда не был. Можем предполагать, что мать не умела и не хотела скрыть перед сыном своего раздражения против отца, который являлся в семье редким и невеселым гостем; если ребенок любил мать, то не мог получить сильной привязанности к отцу, который являлся тираном матери; с большею основательностью можем предположить, что жители Немецкой слободы, к которым принадлежала девица Монцова, не пользовались хорошою репутациею в комнатах царицы Евдокии, и маленький царевич не мог слышать об них хорошего слова; можем поэтому предположить, что в 1698 году стрельцы говорили правду, утверждая, что царевич немцев не любит.

Шести лет Алексея начали учить грамоте, для чего призван был Никифор Вяземский, могший заслужить славу отличного грамотея умением писать широковещательно, т.е. по-тогдашнему очень красноречиво. Вяземский оправдал свой выбор в письме к Петру о том, как начал преподавать азбуку царевичу: «Приступил к светлой твоей деннице, от тебя умна солнца изливающе свет благодати, благословенному и царских чресл твоих плоду, светло-порфирному великому государю царевичу, сотворих о безначальном альфы начало, что да будет, всегда во всем забрало благо».

Учитель остался при царевиче, когда мать была удалена в суздальский Покровский монастырь. Петр, который всю жизнь тужил о том, что не получил в молодости прочного образования, хлопотал о средствах дать его сыну; эти средства легко можно было найти за границею, и Петр хотел отправить сына в Дрезден, но Северная война, как видно, помешала исполнить это намерение. Между тем к царевичу приставили иностранного наставника Нейгебауера, который и должен был ехать с ним за границу. Мы видели, как честолюбивый и вспыльчивый немец враждебно столкнулся с окружавшими царевича *кавалерами* – Вяземским, Алексеем Ив. Нарышкиным – и был вследствие этого удален в 1702 году. Преемником ему был также уже известный нам барон Генрих Гюйссен (Гизен). По плану воспитания, составленному новым наставником, царевич прежде всего должен был приобрести необходимое средство образования, изучить французский язык, как самый легкий и наиболее употребительный, и, когда станет понимать французские книги, начать преподавание наук, истории и географии, как истинных оснований политики, потом математики и т.д. Но одним учением Петр не ограничивался и в 1703 году вызвал сына в поход, в котором тот участвовал в звании солдата бомбардирской роты. По возвращении из похода, в Москве, царь сказал Гюйссену: «Самое лучшее, что я мог сделать для себя и для своего государства, – это воспитать своего наследника. Сам я не могу наблюдать за ним; поручаю его вам». В следующем 1704 году царевич был в Нарве по взятии этого города. Здесь Петр высказал сыну свои отношения к нему, дал страшную программу, от которой не отступил: «Мы благодарим бога за победу. Победы от

него; но мы с своей стороны должны употреблять все силы для их получения. Я взял тебя в поход показать тебе, что я не боюсь ни труда, ни опасностей. Я сегодня или завтра могу умереть; но знай, что мало радости получишь, если не будешь следовать моему примеру. Ты должен любить все, что служит к благу и чести отечества, должен любить верных советников и слуг, будут ли они чужие или свои, и не щадить трудов для общего блага. Если советы мои разнесет ветер и ты не захочешь делать того, что я желаю, то я не признаю тебя своим сыном: я буду молить бога, чтоб он наказал тебя в этой и в будущей жизни». Царевич, целуя руки отца, клялся, что будет подражать ему. Неизвестно, по какому побуждению сказал Петр эти грозные слова, дали ли ему знать, или сам он заметил в четырнадцатилетнем сыне отвращение от физического труда, от подвигов. По крайней мере Гюйссен делал в это время самые лестные отзывы о занятиях царевича: Алексей прочел шесть раз Библию, пять раз по-славянски и один раз по-немецки, прочел всех греческих отцов церкви и все духовные и светские книги, которые когда-либо были переведены на славянский язык; по-немецки и по-французски говорил и писал хорошо. Гюйссен давал знать, что царевич разумен далеко выше возраста своего, тих, кроток, благочестив.

Гюйссен, как видно, был научен примером своего предшественника, не выставлялся вперед с претензиями, не искал места обер-гофмейстера, с которым была соединена большая ответственность (обер-гофмейстером был Меншиков), не сталкивался с русскими «кавалерами» и другими близкими к царевичу людьми, ограничивался одним преподаванием слесарного дела. В начале 1705 года он расстался с царевичем; мы видели, что он был отправлен за границу с дипломатическими и другими поручениями; а между тем молодой Алексей все более и более затягивался на тот путь, за который отец грозил не признавать его сыном своим.

Царь в постоянном отсутствии. В Москве управляют бояре, которым царь из разных отдаленных углов шлет понуждения к усиленной и самостоятельной деятельности, к какой они не привыкли. Военная и преобразовательная деятельность в разгаре; каждый день ждут чего-нибудь нового, трудного, необычайного, наборы людей и денежные поборы беспрестанные. Всем этим тягостям не предвидится конца в настоящее царствование; одна надежда на отдых в царствование будущее, и вот все люди, жаждущие отдыха, обращаются к наследнику. Надежда есть: царевич не склонен к делам отцовским, не охотник разъезжать без устали из одного конца России в другой, не любит моря, не любит войны, при нем будет мирно и спокойно. Царевич действительно таков от природы; но отец требует, чтоб он переломил свою природу; природа сына возмущается от такого противного ей требования отца; тяжело всем, от боярина до последнего бобыля, но тяжелее всех царевичу. Надобно делать насилье своей природе, отец требует, долг велит повиноваться отцу. «Повиноваться надобно, когда отец требует хорошего, – говорят вокруг, – а в дурном как повиноваться?» От этих слов становится легче; царевич чувствует себя правым в своем отвращении к той деятельности, какой требует от него отец, царевич стоит за общее дело, с ним народ угнетенный, жаждущий избавления от бедствий, полагающий всю надежду на царевича: легко и приятно следовать влечениям своей природы и в то же время знать, что этим самым приобретает народная любовь; что при других условиях явилось бы как нравственная слабость, рабство природным влечениям, теперь является как заслуга, нравственная твердость и

подвиг. Но правду ли говорят окружающие? Точно ли дела отцовские не правы и не следует подражать им? В этом не может быть сомнения: люди с авторитетом непререкаемым, пастыри церкви, вязатели и решители утверждают это, а царевич религиозен, для него интерес церковный на первом плане; духовенство больше других недоволено делами настоящего царствования, сильнее других требует, чтоб эти дела были отставлены, и с этими требованиями как требованиями божьими обращается к наследнику. Царевич не любит разъездов, походов и моря, не любит новых мест, любит жить на одном старом месте, в Москве; здесь старая обстановка жизни была бедна, новая обстановка слишком еще незначительна; тем резче выдавалась величественная обстановка церкви, поражала внимание, овладевала им, и царевич Алексей – такой же охотник до этой обстановки, как и предки его, находившиеся в подобных же условиях. Когда впоследствии, после женитьбы, у царевича спрашивали, склонна ли его жена к принятию православия, то он отвечал: «Я ее теперь не принуждаю к нашей православной вере; но, когда приедем с нею в Москву и она увидит нашу святую соборную и апостольскую церковь и церковное святыми иконами украшение, архиерейское, архимандричье и иерейское ризное облачение и украшение и всякое церковное благолепие и благочиние, тогда, думаю, и сама без принуждения потребует нашей православной веры и св. крещения, а теперь еще она ничего нашего церковного благолепия не видала и не слыхала, а что у нас ныне священник отпускает вечерни, утрени и часы в одной епитрахили, и того смотреть нечего. А у них, по их вере, никакого священнического украшения нет, и литургию их пастор служит в одной епанче; а когда увидит наше церковное благолепие и священно-архиерейское и иерейское одеяние, божественное человеческое, безорганное пение, думаю, сама радостью возрадуется и усердно возжелает соединиться с нашей православной Христовою церковью». Но недовольные жаловались, что и это благолепие и благочиние терпит ущерб; царь, всероссийский церковный староста, редко бывает в Москве, живет на границах или за границею, в Москве нет и патриарха всея Руси, церковные имения отобраны в Монастырский приказ, доходы и сбережения идут на государственные нужды, нет уже прежних средств к поддержанию церковного строения и благолепия. Печальное время! Когда же оно прекратится?

Патриарха нет в Москве; вместо него блюстителем Стефан Яворский из «иноземцев», как тогда называли малороссиян. И Стефан Яворский становится год от году все скучнее и недовольнее; ясно, что ему не нравятся новые порядки, что тяжел ему Монастырский приказ и боярин граф Мусин-Пушкин, ясно, что он думает одинаково с архиереями и иереями из русских и с надеждою смотрит на царевича; но Стефан-митрополит, человек необщительный, неоткровенный, прямо ничего не скажет, нынче так, а завтра иначе, смотрит на две стороны. С ним не может быть прямых и тесных общений у царевича. Непосредственное и сильнее влияние духовника Якова Игнатьева, протопопа Верхоспасского собора, которого отношения к царевичу Алексею напоминают первоначальные отношения Никона к царю Алексею Михайловичу; как Никон для царя Алексея был *собинный* приятель, так и внук царя писал протопопу Якову: «В сем житии иного такого друга не имею. подобно вашей святыни, в чем свидетель бог. Самим истинным богом засвидетельствуюся: не имею во всем Российском государстве такого друга и скорби о разлучении, кроме вас. Аще бы вам переселение от здешних к будущему случилось, то уж мне весьма в Российское государство нежелательно

возвращение; только всегда прошу господа бога и его богоматерь, дабы я сподобился Вас, прежде моего разлучения души грешной от тела, хотя на некоторое время видеть». С каким сознанием своего значения протопоп Яков приступил к исполнению своих обязанностей при царевиче, видно из следующих строк одного письма его к Алексею, который в минуту вспыльчивости написал ему жесткие слова: «Ты забыл страх божий и обещание свое пред богом и пред святыми его ангелами и архангелами, когда перед первою своею исповедью у меня, в спальне твоей, в Преображенском, я спросил тебя перед св. евангелием: будешь ли заповеди божии исполнять, предания апостольские и св. отец хранить, меня, отца своего духовного, почитать, за ангела божия и апостола иметь и за судию дел твоих и хочешь ли меня слушать во всем, веруешь ли, что я хотя и грешен, но такую же имею власть священства, от бога мне, недостойному, дарованную, и ею могу вязать и решить, какую власть даровал Христос апостолу Петру и прочим апостолам, и хочешь ли смирения моего священству и власти во всем повиноваться и покоряться? На эти вопросы ты отвечал перед евангелием: заповеди божии, предания апостольские и святых его все с радостию хочу творить и хранить и тебя, отца моего духовного, буду почитать за ангела божия, за апостола Христова и за судию дел своих иметь, священства твоего, власти слушать и покоряться во всем должен».

И этот энергический человек был представителем тех недовольных лиц в русском духовенстве, которые не допускали никаких сделок с поведением Петра и, видя во всем личный произвол одного человека, видели единственную возможность исправления зла в отстранении этого человека. Яков Игнатъев был настолько образован, что не мог видеть в Петре антихриста, но, считая его простым человеком, желал, чтоб существование его прекратилось обыкновенным человеческим путем, и решился даже одобрить это желание в родном сыне Петра. Однажды Алексей покаялся ему, что желает отцу своему смерти, и духовник отвечал: «Бог тебя простит; мы и все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много». Тот же духовник старался поддерживать в Алексее память о матери как невинной жертве отцовского беззакония; говорил ему, как любят его в народе и пьют про его здоровье, называя надеждою российскою.

Духовник по своей энергии и влиянию на царевича должен был занимать первое место между людьми, окружавшими Алексея, тем более что никто из этих «кавалеров» – Нарышкиных, Вяземского, Колычева и других – не представлял ему соперника по своим личным качествам. Все пели одну песню, которую запевал Яков Игнатъев, и молодой царевич воспитывался в бесплодной, раздражающей и вместе иссушающей нравственные силы тайной оппозиции отцовскому правительству. Царевич жил весело в «своей компании», привыкал пировать «по-русски», как он выражался, что не могло не вредить его здоровью, не очень крепкому и от природы. Ученье и при Гюйссене, как видно, было не очень серьезное, несмотря на блистательный аттестат наставника. Царевич был охотник читать и читал все, что было переведено на славянский язык, т.е. преимущественно церковные книги, что, разумеется, опять укрепляло его в одном направлении и делало для него необходимым разговор с духовными лицами. Мы можем поверить Гюйссену, что царевич прочел библию на немецком языке, что было ему легко с учителем и когда славянская библия была уже прочтена несколько раз; мы можем поверить, что царевич привык с большею или меньшею

правильностию объясняться по-французски и по-немецки; но грамматически эти языки не изучались, и другие предметы *проходились*, царевич страдательно выслушивал урок учителя, не привыкая к самостоятельности, к преодолению трудностей. Без Гюйсена дело пошло еще хуже: царевич получил более возможности заниматься, чем хотел, что было приятнее. Жилось спокойно, весело, и вдруг весть, что *высшие*, т.е. отец с своими приближенными, едут в Москву или царь вызывает сына к себе! Компании становится страшно; всех страшнее, всех тягостнее царевичу. Незаметно, бессознательно и безотчетно он поставил себя в такие отношения к отцу, позволил себе наслушаться и наговорить об нем столько дурного, что всякое нежное, родственное чувство и вместе чувство уважения исчезло, их заменили неприязнь и страх; Алексею было тяжело, невозможно посмотреть отцу прямо в глаза; если отец не знал, то он сам знал очень много за собою. Зачем приедет отец в Москву? Что прежде всего сделает при свидании с сыном? Потребуется отчета в том, чему научился: сделает экзамен. Сын знает, что на экзамен не готов, следовательно, надобно будет выслушивать упреки, придется вытерпеть и побои. А если как-нибудь отец узнает что-нибудь еще?.. Мучительное, адское состояние! Отсюда, разумеется, первое пламенное желание – освободиться из этого положения, хотя бы уйти куда-нибудь! А было бы хорошо, если бы навсегда можно было освободиться... Страшная, грешная мысль, надобно покаяться на духу. «Бог простит, мы все того же желаем», – отвечает духовник.

Высшие уехали; стало легко, и легко стало не одному царевичу, не одной его компании; легко стало многим в Москве, всем тем, для которых приезд царя был также соединен с экзаменом. Многие и по этому одному должны были сочувствовать царевичу. Но, кроме того, были и другие причины сочувствия. Сочувствовали царевичу старинные родовитые вельможи. Царь Петр не вынес из своей юности никакой неприязни к боярам, к старым родам; к борьбе между его матерью и сестрою не примешивалась нисколько борьба сословная. Когда началась преобразовательная деятельность, преобразователь не обошел никого из сколько-нибудь способных родовитых людей; но работы было слишком много, работников оказалось мало, и Петр кликнул клич по способным людям, в каких бы углах они ни скрывались; с необыкновенным искусством, столь важным в его деле, выдвигались наверх лучшие силы народа. Подле старых, родовитых людей наверху явилась толпа новых деятелей, выхваченных снизу. Такое товарищество не понравилось родовитым людям, особенно когда выше всех, главным любимцем царя стал человек новый, Меншиков, пред которым все люди родовитые должны были преклоняться. Это было тяжелее всего для них, и нареканиям, жалобам на Меншикова, насмешкам над ним не было конца, и более всего не прощали они Петру светлейшего князя. Царевич слышал чаще всего эти громкие жалобы, нарекания и насмешки и вследствие этого привыкал видеть в светлейшем князе главное зло отцовского царствования, зло, от которого он, царевич, прежде всего должен был освободить Россию. Тем легче предавался Алексей вражде к Меншикову, что здесь он не должен был испытывать никакой борьбы, никаких нравственных препятствий. Меншиков был человек чужой, не по мере своей занявший первенствующее положение, обманывавший царя, следовательно, враг ему, как представляли люди, окружавшие царевича. Представлялось и другое на вид: кто ближе к отцу-царю, как сын и наследник? Но выходит, что ближе сына и

наследника любимец, светлейший князь; тут уже дело прямо касалось Алексея, тут было соперничество. Соперничество, вражда усиливались еще тем, что этим чувствам можно было предаваться втихомолку; в Преображенском, среди своей компании, можно было делать всевозможные выходки против светлейшего князя; но, когда являлся отец и с ним Меншиков, последнему оказывалось всевозможное уважение. Когда человек энергичский стесняется в своих прирожденных стремлениях, то он дает простор своим чувствам и выходит на явную борьбу, в которой гибнет или торжествует; но когда стесняется в своих наклонностях и привычках человек без сильного характера, каким был Алексей, то он скрывает свои чувства, прибегая к орудиям слабого – хитростям и обманам – и против неприязненных для его природы требований выставляет страдательное упорство, всего более раздражающее.

Наконец, люди, которые не имели ничего против царя и его любимца, считали необходимым применяться ко взгляду царевича и окружавших его для обеспечения себя в будущем: царь не щадит себя, подвергается беспрестанным опасностям, несчастье может легко случиться. Этим желанием многих обеспечить себя в будущем объясняется важное значение дяди Алексеева по матери Абрама Федоровича Лопухина. Петру доносили на Лопухина: «Бояре твоего указа так не слушают, как Абрама Лопухина, в него веруют и боятся его; он всем завладел, кого велел обвинить, того обвинят, кого велит оправить, того оправят, кого велит от службы отставить, того отставят, и, кого захочет послать, того пошлют». Лопухин имел влияние и на страшного Ромодановского, что видно из следующего письма царевича к духовнику: «Слышал я от зятя вашего, что господин Ромодановский, будучи в Петербурге, доносил государю батюшке о нем, а как и для чего, он неизвестен, и просил меня, чтоб мне о сем осведомиться, и я прошу вас, изволь о сем осведомиться чрез господина Лопухина, а иначе, кроме его, невозможно, для того что он с ним умеет обходиться».

Опасения насчет будущего, могшего быть очень близким, должно было сдерживать и людей, которым не нравилось направление, господствовавшее в компании царевича; царь и Меншиков не знали об этом направлении; Петр не предполагал ни в ком из окружавших сына его враждебного для себя влияния; он боялся одного: связей с Суздалем, влияния матери, и в эту сторону обращены были все подозрения, все предосторожности. В 1708 году царевна Наталья Алексеевна дала знать брату, что царевич тайно виделся с матерью. Отец вызвал его в Жолкву и оттуда отправил в Смоленск для приготовления провианта и сбора рекрут; у царевича и при отце были приятели, как видно из письма его к духовнику: «Получил я письмо от батюшки из Тикотина, изволил писать, чтоб мне ехать к нему в Минск, и оттуда пишут ко мне друзья мои, чтоб ехать без всякого опасения». Гнев действительно прошел, и царевич осенью приехал в Москву с новым значением, значением правителя. Между прочим, молодой правитель должен был наблюдать за укреплениями Москвы на случай прихода шведов; но как он относился к этому отцовскому распоряжению, как считал его бесполезным, видно из письма его к духовнику, писанному еще до приезда в Москву: «Король шведский намерен идти к Москве, и от батюшки послан к вам Иван Мусин, чтоб город крепить для неприятеля, и будет, войска наши при батюшке сущия, его не удержат, вам нечем его удержать; сие изволь про себя держать и иным не объявлять до времени и изволь смотреть места, куда б выехать, когда сие будет».

Царевич – правитель; но известно, как царь был требователен к людям, занимавшим правительственные должности, особенно в такой страшный год, как 1708, в конце года грозное письмо от отца к сыну: «Оставив дело, ходишь за бездельем». Царевич в испуге обратился к заступничеству двух женщин, близких к Петру: «Катерина Алексеевна и Анисья Кирилловна, здравствуйте! Прошу вас, пожалуйста, осведомясь, опишите, за что на меня есть государя батюшки гнев: понеже изволит писать, что я, оставя дело, хожу за бездельем, отчего ныне я в великом сумнении и печали». Екатерина Алексеевна любила или считала для себя нужным заступаться у «хозяина» за всех, кто к ней обращался. Вслед за приведенным письмом два новых письма к ней от царевича: «За вашу ко мне явленную любовь всеусердно благодарствую и впредь прошу, пожалуй, не остави меня в каких прилучившихся случаях, в чем надеюсь на вашу милость». Другое: «Зело благодарствую за милость вашу к себе, что получил чрез ваше ходатайство милостивое писание государя батюшки».

Царевич – правитель; но царь видит, что он еще недостаточно подготовлен, и знает по собственному опыту, что учиться никогда не поздно. Никифор Вяземский доносил царю 14 января 1708 года: «Сын твой начал учиться немецкого языка чтением истории, писать и атласа росказанием, в котором владении знаменитые есть города и реки, и больше твердил в склонениях, которого рода и падежа. И учитель говорит: недели две будет твердить одного немецкого языка, чтоб склонениям в твердость было, и потом будет учить французского языка и арифметики. В канцелярию в положенные три дни в неделю ездит и по пунктам городское и прочие дела управляет; а учение бывает по все дни». Таким образом, на царевича наложена была двойная обязанность, не в уровень его нравственным и физическим силам: осьмнадцатилетний молодой человек вместе с правительственной деятельностью должен был твердить склонения, усиленно заниматься математикою, фортификациею, к чему, как видно, он не имел склонности по природе. Когда отец спрашивал у него, какую книгу прислать ему для перевода, то он отвечал: «Учиться фортификации по указу твоему зачал, также и лечиться. А что изволил писать о книжке, какую мне для переводу прислать, и я прошу о истории какой, а иной не чаю себе перевести».

Это было писано в мае 1709 года. Царевич учился фортификации и вместе лечился. Лечение было необходимо, потому что в январе 1709 года царевич, отводя новонабранные полки к отцу в Сумы, простудился и выдержал злую лихорадку. Вероятно, слабость царевича после болезни и лечения была причиною, что Алексей оставался в Москве во время Полтавской битвы. Но в конце лета царевич должен был выехать из Москвы, и надолго: отец отправлял его за границу с двойною целию: окончить хорошенько учение и жениться на какой-нибудь иностранной принцессе. Наказ от отца сыну заключался в следующем письме: «Зоон! объявляем вам, что по прибытии к вам господина князя Меншикова ехать в Дрезден, который вас туда отправит и кому с вами ехать прикажет. Между тем приказываем вам, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали больше учению, а именно языкам, которые уже учишь – немецкий и французский, так геометрии и фортификации, также отчасти и политических дел. А когда геометрию и фортификацию окончишь, опиши к нам. За сим управи бог путь ваш». Князь Меншиков приказал ехать с царевичем князю Юрию Юрьевичу Трубецкому и графу Александру Гавриловичу Головкину, одному из сыновей

канцлера, в которых видел, по его собственному выражению, «честных и обученных господ, способных хранить и исполнять все то, что относится к славе государственной и к особенному интересу его величества».

Поездкою царевича за границу была разорвана его компания: главный член ее духовник Яков Игнатъев остался в Москве, но царевич вел с ним постоянную переписку. Не надеясь скоро возвратиться в Россию, царевич поручил духовнику распорядиться продажей и раздачей оставшихся после него вещей, приказывая делать это как можно тайнее, чтоб *вышние*, будучи в Москве, не проведали. Так как внимание *вышних* было обращено к Суздалю, то царевич уговаривал духовника быть особенно осторожным в этом отношении. «В Володимир, мне мнится, – писал Алексей, – не надлежит вам ехать, понеже смотрельщиков за вами много, чтоб из сей твоей поездки и мне не случилось какое зло, понеже ныне многие ведают, в каком ты у меня состоянии и что все мое тебе вверено, а помнят, что нечто и туды повез. Для бога не езд, понеже уже с 30 лет там не был; и великое терпел, малого ли не стерпишь... Еще прошу для бога: берегися общения с Авраамом Федоровичем, и в дом его не езд, и к себе не пускай, понеже сам ты известен о сем, что сие нам и вам не польза, а наипаче вред, того ради надобно сего храниться весьма; только о сем не сомневайся; я так для опасения писал, понеже и прежде сего я вам о сем говаривал на Москве многожды, чего ради и в намеренный путь вам возбранил ехать, опасаясь впредь какого случая, а ныне о сем благодатию божиею ничего нет; только, пожалуй, хранись, понеже любовь между нами мнози видят, того ради подобает храниться». Зная, что отец после преславной виктории, укрепившей Петербург за Россию, хочет непременно перенести столицу из Москвы в «парадиз», царевич писал духовнику, чтоб он не строил (не поправлял) дворца его в Москве. Яков Игнатъев не мог ехать за границу, и это ставило царевича в большое затруднение: просить о присылке другого духовника с докладом отцу – могут прислать человека очень неудобного. Царевич для избежания этого неудобства решался на всякие другие: так, в Лейпциге он исповедался у греческого священника через толмача, который разговаривал со священником по-латыни. Наконец, Алексей написал такое письмо в Москву Якову Игнатъеву: «Священника мы при себе не имеем и взять негде, а без доклада писать явно в Москву не без опасения; прошу вашей святости, приищи священника (кому мочно тайну сию поверить) не старого и чтоб незнаемый был всеми. И изволь ему сие объявить, чтоб он поехал ко мне тайно, сложа священнические признаки, то есть обрил бороду и усы, такожде и гуменца заростить, или всю голову обрить и надеть волосы накладные, и, немецкое платье надев, отправь его ко мне курьером (такого сыщи, чтоб мог верховую нужду понести); и вели ему сказываться моим денщиком, а священником бы отнюдь не назывался, а хорошо б безженной, а у меня он будет за служителя, и, кроме меня и Никифора (Вяземского), сия тайны ведать никто не будет. А на Москве, как возможно, сие тайно держи; и не брал бы ничего с собою надлежащего иерею, ни требника, только б несколько частиц причастных, а книги я все имею. Пожалуй, пожалуй, яви милосердие к души моей, не даждь умереть без покаяния! Мне он не для чего иного, только для смертного случая, такожде и здоровому для исповеди тайной. А бритье бороды не сомневался бы он: лучше малое преступить, нежели души наши погубить без покаяния; а будет не благоволити сего сочинити, души наши бог взыщет на вас, аще без покаяния от жития сего отлучатся».

Царевич выполнял наказ отцовский, учился в Дрездене – как, мы не знаем; по крайней мере Трубецкой и Головкин писали Меншикову из Дрездена 30 декабря 1710 года: «Государь царевич обретается в добром здравии и в наказанных науках прилежно обращается, сверх тех геометрических частей (о которых 7 сего декабря мы доносили) выучил еще профондиметрию и стереометрию и так с божиею помощью геометрию всю окончил».

В то время, когда оканчивалась геометрия, приходило к концу дело о женитьбе царевича на принцессе Софии-Шарлотте бланкенбургской, внучке герцога брауншвейг-вольфенбительского, сестра которой, Елизавета, была замужем за австрийским эрцгерцогом Карлом, добывавшимся испанского престола и потом бывшим на императорском престоле под именем Карла VI. Известный нам Урбих был главным виновником дела. Мы видели, что в Вене сердились на него за это; извещая свой двор, что вдовствующая императрица сердится, зачем царевич Алексей женился не на эрцгерцогине, Урбих писал: «И мне от ее придворных дам выговаривано, потому что они в то же время очень надеялись ввести в Россию отправление католической веры». По совершении брака Урбих писал Головкину: «Поздравляю ваше превосходительство с этим событием, потому что вы в нем имеете участие, и я сам немало утешен, потому что первое основание делу положил я, немало трудов положил и докуч претерпел от вольфенбительской стороны. Я эту принцессу всегда считал благовоспитанною и разумною и нашел, что из чужестранных принцесс она более всех пригодна для этого брака». Что Урбих был прав и относительно своего участия в деле, и относительно докуч от вольфенбительской стороны, доказывает письмо к нему старого герцога Антона Ульриха, деда невесты, от 29 августа 1710 года: «Царевич очень встревожен свиданием, которое вы имели в Эйзенахе с Шлейницем (русский посланник при брауншвейгском дворе), думая, что вы, конечно, определили условия супружества по указу царского величества. Причина тревоги та, что народ (русский) никак не хочет этого супружества, видя, что не будет более входить в кровный союз с своим государем. Люди, имеющие влияние у принца, употребляют религиозные внушения, чтоб заставить его порвать дело или по крайней мере не допускать до заключения брака, протягивая время; они поддерживают в принце сильное отвращение ко всем нововведениям и внушают ему ненависть к иностранцам, которые, по их мнению, хотят овладеть его высочеством посредством этого брака. Принц начинает ласково обходиться с госпожою Фюрстенберг и с принцессою вейссенфельдскою не с тем, чтобы вступить с ними в обязательство, но только делая вид для царя, отца своего, и употребляя последний способ к отсрочке; он просит у отца позволения посмотреть еще других принцесс в надежде, что между тем представится случай уехать в Москву и тогда он уговорит царя, чтоб позволил ему взять жену из своего народа. Сильно ненавидят вас; думают, что выбор московской государыни – дело такой важности, что его нельзя поручить иностранцу. Царевич очень расположен к графу Головкину, сыну канцлера, который один может все дело опять привести в доброе состояние. Из всех находящихся при принце он самый благоразумный и честный; но мой корреспондент очень не доверяет князю Трубецкому. Госпожа Матвеева в проезде своем через Дрезден объявляла в разных разговорах, что царевич никогда не возьмет за себя иностранку, хотя Матвеева удовольствована была двором вольфенбительским». 2 сентября новое письмо с теми же докуками.

«О намерении царском не сомневаюсь, – писал герцог, – но может ли он принца принудить к такому супружеству и что будет с принцессою, если принц женится на ней против воли? Как бы об этом царю донести и его от таких людей остеречь?».

Царевич действительно мог употреблять разные средства, чтоб протянуть время, поджидая благоприятного случая возвратиться в Россию неженатым. Но случай не представлялся; воля отца, чтобы сын женился на иностранной принцессе, была непоколебима: Петр представлял сыну только выбор; Шарлотта бланкенбургская нравилась Алексею больше других, и 9 ноября ее мать герцогиня Христина-Луиза писала Урбиху радостное письмо: «Страхи, которым мы предавались, и быть может не без основания, вдруг рассеялись в такое время, когда всего менее можно было этого ожидать, рассеялись, как туча, скрывающая солнечные лучи, и наступает хорошая погода, когда ждали ненастья. Царевич объяснился с польскою королевою и потом с моею дочерью самым учтивым и приятным образом. Моя дочь Шарлотта уверяет меня, что принц очень переменился к своей выгоде, что он очень умен, что у него самые приятные манеры, что он честен, что она считает себя счастливою и очень польщена честью, какую принц и царь оказали ей своим выбором. Мне не остается желать ничего более, как заключения такого хорошего начала и чтоб дело не затянулось. Я уверена, что все сказанное мною доставит вам удовольствие, потому что вы сильно желали этого союза; а я и супруг мой, мы гордимся дочерью, удостоившеюся столь великой чести».

В начале 1711 года Алексей объявил отцу, что готов жениться на принцессе бланкенбургской. Вот что он писал об этом к духовнику: «Известую вашей святости, помянутый курьер приезжал с тем: есть здесь князь вольфенбительской, живет близ Саксонии, и у него есть дочь, девица, а сродник он польскому королю, который и Саксонию владеет, Август, и та девица живет здесь, в Саксонии, при королеве, аки у сродницы, и на той княжне давно уже меня сватали, однакож мне от батюшки не весьма было открыто, и я ее видел, и сие батюшке известно стало, и он писал ко мне ныне, как она мне показалась и есть ли моя воля с нею в супружество; а я уже известен, что он не хочет меня женить на русской, но на здешней, на какой я хочу. И я писал, что когда его воля есть, что мне быть на иноземке женатому, и я его воли согласую, чтоб меня женить на вышеписанной княжне, которую я уже видел, и мне показалось, что она человек добр и лучше ее здесь мне не сыскать. Прошу вас, пожалуй, помолись, буде есть воля божия, чтоб сие совершил, а буде нет, чтоб разрушил, понеже мое упование в нем, все, как он хочет, так и творит, и отпиши, как твое сердце чует о сем деле». Сердце духовника чуяло то, что княжна иностранная, иноверная, и он писал к Алексею, нельзя ли ее обратить в православие; царевич отвечал: «Против писания твоего о моем собственном деле понудить ту особу к восприятию нашей веры весьма невозможно, но разве после, когда она в наши края приедет и сама рассмотрит, может то и сочинити, а преж того весьма сему состояться невозможно».

Отправляясь в турецкий поход, Петр «для безвестного пути» устроил два семейных дела: дал *пароль* Екатерине Алексеевне и покончил дело о браке сына. В галицком местечке Яворове 19 апреля 1711 года Петр утвердил проект договора, по которому принцессе предоставлялось остаться при своем евангелическо-лютеранском исповедании; дети должны быть греческого закона;

принцесса получала ежегодно от царя по 50000 рублей, кроме того, должна была получить одновременно при совершении брака 25000 рублей. С этими статьями царевич сам отправился в Брауншвейг, где еще должен был иметь насчет их переговоры с родственниками невесты, не согласятся ли уменьшить количество ежегодной дачи принцессе. Об этих переговорах он писал отцу: «По указу, государь, твоему о деньгах повсегодной дачи невесте моей зело я домогался, чтоб было сорок тысяч, и они сего не соизволили и просили больше; только я как мог старался и не мог их на то привести, чтоб взяли меньше 50000, и я по указу твоему в том же письме, буде они не похотят сорока тысяч, позволил до пятидесяти, на сие их склонил с великою трудностью, чтоб взяли 50000, и о сем довольны, и сие число вписал я в порожнее место в трактате; а что по смерти моей будет она не похочет жить в государстве нашем, дать меньше дачу, на сие они весьма не похотели и просили, чтоб быть равной даче по смерти моей, как на Москве, так и в выезде из нашего государства, о чем я много старался, чтобы столько не просили, и, однакож, не мог сделать и по указу твоему (буде они за сие запрямятся, написать ровную дачу) и в трактате написал ровную дачу и, сие учиня, подписал я, тожде и они своими руками разменялись, и тако сие с помощью божию окончили. Перстня здесь не мог сыскать и для того послал в Дрезден и в иные места».

Печальное лето 1711 года царевич прожил у родных своей невесты. Мы видели, что по возвращении из прутского похода Петр отправился в Карлсбад на воды; здесь хотел он и отпраздновать свадьбу своего сына, но потом передумал и назначил для этого саксонский город Торгау. Брак был совершен 14 октября 1711 года, и Петр известил об этом Сенат в следующем письме: «Господа Сенат! Объявляем вам, что сегодня брак сына моего совершился здесь, в Торгау, в доме королевы польской, на котором браке довольно было знатных персон. Слава богу, что сие счастливо совершилось. Дом князей вольфенбительских, наших сватов, изрядной». На четвертый же день после свадьбы новобрачный царевич получил от отца наказ отправиться в польские владения, в Торн, и там заняться продовольствием русских войск. Царевич отправился в Торн недели через три после свадьбы; молодая жена приехала к нему туда только 19 декабря. Эта разлука новобрачных подала повод к разным слухам, которые достигли и Вены. Урбих писал отсюда Головкину: «Из Саксонии много нехороших вещей сюда писано, чем почти весь город наполнен, между прочим, что брак хотя и совершен, однако к великому неудовольствию обеих сторон: кронпринц кронпринцессу оставил, и, когда та требовала на два дня сроку, чтоб дорожную постель взять, кронпринц ей жестоко отвечал и уехал; все придворные служители отставлены. Но когда я в Вольфенбителе и Дрездене наведаясь, то мне отписали совершенно противное, именно что обе стороны довольны». В переписке царевича с отцом в это время мы находим только одно упоминание о кронпринцессе; 18 ноября царевич пишет: «Жена моя еще сюда не бывала; ожидаю вскоре и, как она будет, за людьми ее смотреть буду, чтоб они жили смирно и никакой обиды здешним людям не чинили». Этот надзор был нужен, ибо мы видели, какие охотники были немцы кормиться на счет Польши. В апреле 1712 года приехал в Торн Меншиков и привез царевичу указ отцовский ехать в Померанию. Светлейший нашел кронпринца и кронпринцессу в затруднительном положении относительно денег и писал царю: «Не мог оставить не донести о сыне вашем, что как он, так и

кронпринцесса в деньгах зело великую имеют нужду; понеже здесь живут все на своем коште, а порций и раций им не определено; а что с места здешнего и было, и то самое нужное, только на управление стола их высочеств; также ни у него, ни у кронпринцессы к походу ни лошадей и никакого экипажа нет и построить не на что. О определенных ей деньгах зело просит, понеже великую имеет нужду на содержание двора своего. Я, видя совершенную у них нужду, понеже ее высочество кронпринцесса едва не со слезами о деньгах просила, выдал ее высочеству ингерманландского полку из вычетных мундирных денег в заем 5000 рублей. А ежели б не так, то всеконечно отсюда подняться б ей нечем».

Кронпринцесса отправилась в Эльбинг дожидаться возвращения мужа из похода. Между тем в Москве любопытствовали, не имело ли пребывание молодых в Торне каких-нибудь следствий, и царевич писал духовнику: «О зачатии во чреве сопряженные мне хощеши ведети, радетель, и возвещаю, что весьма до отъезду моего подлинно познати было не можно еще и повелел я жене, аще будет возможно сие познати, чтоб до меня немедленно писала. И как о сем получу известие, есть ли что или нет, о том писанием не умедля вашей святыни возвещу».

Осенью 1712 года приехал в Эльбинг бригадир Балк и объявил Шарлотте волю царя, чтоб она выезжала из этого города, по всем вероятностям, в Россию, ибо в письме ее к царю от 28 октября не видно, куда именно она должна была выехать: «Вашего царского величества милостивейший указ, который мне чрез бригадира Балка объявить повелели, не оставила бы (как того моя должность и требует) исполнить, и я уже в готовности была отсюда отъехать, но понеже того без денег никоими мерами учинить не можно было, того ради прошу вашего царского величества всеподданнейше то замедление во гнев не принять, ибо коль скоро деньги придут, то и я, как и в прочем, окажу, что вашего царского величества указ от меня ненарушимо сохранен будет, я же семь со всяким подданнейшим респектом вашего царского величества всеподданнейшая и вернопокорнейшая невестка Шарлотта». Деньги не прибыли, как видно, потому, что царь переменял намерение и велел царице и царевичу, отправлявшимся вместе в Россию, заехать в Эльбинг и взять с собою Шарлотту. Но когда они приехали в декабре в Эльбинг, то ее там не застали: она уехала к родным в Брауншвейг. Этот поступок рассердил Петра, как видно из письма его к невестке в январе 1713 года: «Вашей любви к нам отправленное писание от 17 января получили мы здесь исправно, а из того усмотрели, что вас к нечаянному отъезду в Брауншви́г привело. Мы о объявленных вами причинах рассуждать не будем, токмо признаем, что сия ваша скорая и без нашего ведома взятая резолюция нас зело удивила, а наипаче понеже мы вашему желанию родителей ваших видеть никогда б не помешали, ежели б вы только наперед нас о том уведомили. Что же ваша любовь в прочем и о недостатке денежном объявляете, то не видим мы, чтоб и то вас к такой скорой резолюции привести могло. Сожительница наша с кронпринцем нашим уже пред некоторым временем путь свой назад в государство наше и в Петербург предвосприяла, куды, мы уповаем, и ваша любовь за оными следовать будете». Шарлотта писала новые оправдания, и Петр 11 февраля написал ей: «Дружечно любезная госпожа невестка! Вашей любви различные к нам отправленные писания исправно получили и из оных усмотрели, что вас к скорому отъезду из Эльбинга в Брауншви́г привело. Мы не сомневаемся, что вы оные 5000 червонных, которые к вам чрез сына барона Левенвольда отправлены,

ныне уж исправно получили, и при сем еще вексель на 25000 ефимков албертусовых на банкира Поппа в Гамбург прилагаем и уповаем, что ваша любовь ныне путь свой как наискорее в Ригу и далее в Петербург восприимите, куда и сожительница наша и кронпринц наш пред некоторым временем уже поехали, яко же и мы для ускорения вашего пути в наших землях потребное учреждение учинить укажем и в прочем о постоянной нашей отеческой склонности обнадеживаем, пребывая вашей любви дружески склонный отец».

Это письмо было написано уже в другом тоне, чем прежде; Шарлотте и ее родным хотелось, чтоб Петр заехал к ним в Брауншвейг для окончательного примирения. Не решаясь обратиться прямо к царю, Шарлотта обратилась к канцлеру графу Головкину и написала ему: «Я сочла лучше всего обратиться к вашему сиятельству с просьбою сделать так, чтоб его царское величество не проехал мимо нас: прямая дорога из Ганновера в Берлин идет через Брауншвейг; и герцог, и мой отец, и моя мать будут в отчаянии, узнавши, что его величество был так близко и они не имели чести видеть его здесь, а для меня это будет крайнее бедствие, ибо я с нетерпением ожидаю счастливой минуты, когда я могу облобызать руку его величества и услышать от него приказание ехать к принцу, моему дороговому супругу. Во всяком случае, если его величество не захочет быть здесь, надеюсь, что мне окажет милость, назначит место, где бы я могла с ним видеться». Петр виделся с нею в замке Зальцдалене, недалеко от Брауншвейга, после чего кронпринцесса отправилась в Россию.

Царевич находился с отцом в финляндском походе во время приезда жены своей. Прибыв в Нарву, Шарлотта дала знать о своем приезде царевне Наталии Алексеевне, которая отвечала ей: «Пресветлейшая принцесса! С особенным моим увеселением получила я благоприятнейшее и любительнейшее писание вашего высочества и о прибытии вашем в Нарву, и о намерении к скорому предприятию пути вашего до С.-Петербурга извещена есмь, от чего мне всеусердная причиняется радость, так что я не хотела нимало оставить ваше высочество о том чрез сие мое благосклонно поздравить и известить, что имеем в нашем общем сожалении о отбытии царского величества и его высочества государя царевича; елико в силах моих будет, не премину всяких изыскивать способов к увеселению вашему и уповаю, что возвращение его царского величества и его высочества вскоре нам общую подаст радость. Ожидаю с нетерпеливостию того моменту, чтоб мне при дружеском объятии особы вашей засвидетельствовать, коль я всеусердно есмь вашего высочества – Наталия». Канцлер Головкин писал кронпринцессе: «Светлейшая и высочайшая принцесса, моя государыня! С толикою радостию, колико я имею респекту и благоговения к особе вашего царского высочества, получил я уведомление чрез господина Нарышкина о счастливом прибытии вашего царского высочества в Нарву и о милостивом напоминании, которым ваше царское высочество изволили меня почтить в присутствии сего генерального офицера, и понеже я всегда профессовал жаркую ревность к вашему царскому высочеству, того ради я не мог, ниже должен был оставить, чтоб ваше царское высочество не известить чрез сие о нижайших моих респектах и чтоб не отдать должнейшего моего поздравления о прибытии вашего царского высочества, и такожде и не возблагодарить покорнейше за то, что ваше царское высочество благоволили меня высокодушно в напаметовании своем сохранить. Если бы я не удержан был всемерно здесь делами его царского

величества, от сего ж бы моменту предался бы я в должной моей покорности до вашего царского высочества, дабы мне все помянутое персонально вашему царскому высочеству подтвердить; но понеже невозможно мне удовольствоваться моей ревности, в том принужден я еще ближайшего прибытия сюда вашего царского высочества обождать и тогда не премину придатися ко двору вашего царского высочества воспринять честь еже засвидетельствовать вашему царскому высочеству, с коликим уважением и благоговением я есмь» и проч.

Торжественная встреча, сделанная кронпринцессе в Петербурге, радушный прием со стороны царицы и других лиц царского семейства произвели на Шарлотту и ее родных благоприятное впечатление, успокоили их. Летом 1713 года посол Матвеев писал из Вены к Головкину: «Из дому императрицы узнал я, что „государыня принцесса царевича“ 6 июня писала к ней частное письмо из Петербурга, отзываясь с великими похвалами о расположении к ней государыни царицы и государыни царевны и всех высоких особ русских и с какими почестями она, принцесса, была принята при своем приезде. Очень нужно, чтоб ваше превосходительство изволил ей, государыне принцессе, вручить интерес его царского величества и меня, дабы ее высочество изволила к императрице о том особое партикулярное письмо написать и чрез вас на меня прислать, что может принести много пользы интересам царского величества: императрица может сделать все, что захочет, а она ее высочество чрезвычайно любит. Таким образом государыня принцесса возбудит хорошее мнение о дворе царского величества, покажет, что она у царского величества находится в особой милости и любви, и этим уничтожатся противные слухи, распускаемые злонамеренными людьми, потому что здесь уже много раз подняты были плевелы, будто ее высочество находится в самом дурном состоянии и унижении от нашего народа, живет в нужде и запрещено ей переписываться с родственниками». В декабре того же года императрица пространно говорила Матвееву о милости царя, царевича и всего царского дома к ее сестре, чем она, императрица, и муж ее чрезвычайно довольны.

Царевича не было при встрече жены; он находился с отцом в финляндском походе. По возвращении оттуда в Петербург он опять скоро уехал в Старую Русу и Ладогу для распоряжения насчет постройки судов. Это было последнее известное нам поручение, возложенное отцом на Алексея.

Долговременное пребывание за границею для окончания учения, пребывание в Польше для распоряжения продовольствием войска, участие в померанском и финляндском походах царь считал необходимою школою для сына; вместе со школою здесь было испытание для царевича; испытание оказалось неудовлетворительным. Петр с ужасом заметил, что сын исполняет беспрекословно все его приказания, но что тут исключительным побуждением был страх; отвращение от деятельности, которую Петр считал необходимою для своего и последующего царствования, было очевидно в Алексее. Когда в 1713 году Алексей возвратился из-за границы, то отец принял его ласково и спрашивал, не забыл ли того, чему учился. Не забыл, отвечал царевич. Петр для испытания велел ему принести чертежи, им сделанные. Страх напал на Алексея: «Что, если отец заставит чертить при себе, а я не умею?» Как быть? Одно средство – испортить правую руку. Царевич взял в левую руку пистолет и выстрелил по правой ладони, чтоб пробить пулею; пуля миновала руку, только сильно опалило

порохом. В этом поступке весь человек. Алексей был похож на тех людей, которые увечат себя, чтоб не попасть в солдаты.

Петр сначала сердился, бранил, бил, потом утомился, перестал говорить с сыном – дурной признак для Алексея; лучше бы отец продолжал сердиться, бранить и бить, а холодность и невнимание, предоставление самому себе, молчание – это страшный признак ослабления родительского чувства, признак ожесточения. Что же сын? Заметив страшный признак, испугается этой холодности и бросится к отцу за примирением? Но сын давно уже охладил и ожесточился, давно в присутствии отца лежал на нем тяжкий гнет и только в отдалении от него дышалось свободно: «не токмо дела воинские и прочие отца его дела, но и самая его особа зело ему омерзела, и для того всегда желал от него быть в отлучении». Желание исполнилось: царевича не беспокоят, не посылают в поход или смотреть за постройкою этих проклятых судов. Когда его звали обедать к отцу или к Меншикову, когда звали на любимый отцовский праздник, на спуск корабля, то он говорил: «Лучше б я на каторге был или в лихорадке лежал, чем там быть». Отец сердится, не говорит, но что из этого? Будущее принадлежит не ему, а царевичу. Отец с сыном разошлись по отношению к самому важному вопросу – вопросу о будущем.

Царевичу будущее улыбается. Отец еще не стар, но часто и сильно припадает, долго не проживет, и с ним исчезнут все его дела. Что думал трезвый, в том проговаривался пьяный: «Близкие к отцу люди будут сидеть на кольях, и Толстая, и Арсеньева, свояченица Меншикова; Петербург не долго будет за нами». Когда его остерегали, что опасно так говорить: слова передадутся, и те люди будут в сомнении, перестанут к нему ездить, и так уже редко ездят, царевич отвечал: «Я плюю на всех; здорова бы была мне чернь». Но царевич знал хорошо, что не одна чернь за него. За него духовенство, и не одни русские архиереи, даже скрытный, осторожный иноземец Стефан Яворский и тот решается высказываться за него. Еще до женитьбы Петра на Екатерине Яворский говорил Алексею: «Надобно тебе себя беречь; если тебя не будет, отцу другой жены не дадут; разве мать твою из монастыря брать? Только тому не быть, а наследство надобно». Отцу другую жену дали; но это не успокоило Яворского, и он крикнул знаменитую проповедь 17 марта 1712 года. Алексей испугался неосторожности митрополита Рязанского и писал духовнику: «Что же пишешь, радеть, о Акулине родителе, отце Иосифе, чтоб его превести на место новопреставльшегося, и я бы рад воистину и буду, как возможно, промыслять через людей: а и вы там не плошится, через кого возможно делайте; понеже, чаю, там вам свободнее, нежели нам здесь, понеже рязанский у рождшего мя за некакие казания есть в ненавидении великом, и того ради мне писать к нему опасно, и говорят, что ему быть отлучену от сего управления, в нем же есть, и того ради вам легчая сие чрез кого-нибудь делать; а я советую, чтоб вам с сим человеком с опасностию обходиться не вкоротке, чтоб не причинился какой вред; однакож ведаю, что вам не можно с ним не обводиться, дондеже он не отлучен от правления сего; того ради пишу, чтоб с опасением больше и не в частое быванье». Яворский удержался на своем важном месте, и царевичу с разных сторон говорили: «Рязанский к тебе добр, твоей стороны, и весь он твой».

Между знатым духовенством был только один человек, вполне преданный Петру и делам его и потому державший себя вдалеке от Алексея; то был

известный уже нам Феодосий Яновский. За то царевич и его приближенные не щадили гневных выходок и насмешек над Феодосием. «Дивлюсь батюшке, за что любит архимандрита Невского? – говорил Алексей. – Разве за то, что вносит в народ лютерские обычаи и разрешает на все?» Выписали стих из церковной службы на день Полтавской битвы, начинавшийся словами: «Враг креста Христова», и на «подпитках» в компании царевича певали его, применяя к Феодосию, говорили, что этот стих хорошо петь, когда Феодосия будут посвящать в архиереи. Никифор Вяземский написал этот стих с нотами и говорил, что дал бы пять рублей певчим, чтоб пропели его, потому что Феодосии икон не почитает.

Архиереи за царевича, и много знатных вельмож за него же, именно самые знатные, которым тяжело было занимать второстепенные места, когда на первых местах были люди худородные, и на самом видном – Меншиков. Из старых княжеских родов в это время преимущественно выдавались два рода: Рюриковичи Долгорукие и Гедиминовичи Голицыны. Долгорукие вышли на вид только при новой династии, особенно при царе Алексее Михайловиче. При Петре эта фамилия была очень хорошо представлена: двое Долгоруких с честью занимали важнейшие дипломатические посты – Григорий Федорович и Василий Лукич; третий, Василий Владимирович, считался одним из лучших генералов; наконец, четвертый, знаменитый сенатор, энергический князь Яков Федорович Долгорукий, представитель фамилии. Чем лучше была обставлена Долгоруковская фамилия, чем более считала она за собою прав, тем тягостнее для нее было сносить преобладание Меншикова, а вскрывшиеся злоупотребления любимца и холодность к нему царя подавали надежду, что светлейший может потерять свое важное значение. Новая царица, связанная с Меншиковым прежними отношениями, естественная его покровительница, не могла нравиться Долгоруким, и тем приверженнее были они к законному наследнику. Царевич видел эту приверженность, несмотря на осторожность князя Якова Федоровича; когда Алексей говорил ему, что хочет приехать к нему в гости, то старик отвечал: «Пожалуй, ко мне не езд; за мною смотрят другие, кто ко мне ездит». Князь Василий Владимирович Долгорукий говорил царевичу: «Ты умнее отца; отец твой хотя и умен, только людей не знает, а ты умных людей знать будешь лучше». Смысл слов был ясен: отец умен, но людей не знает, потому что держит в приближении Меншикова, Головкина; ты людей будешь знать лучше, потому что будешь держать в приближении Долгоруких. Голицыны, у которых стремление к первенству составляло родовое предание со времен Ивана III, имели теперь своим представителем князя Дмитрия Михайловича. Человек, по жесткости характера своего не способный возбуждать к себе сильной привязанности, умный, образованный, но без особенных блестящих способностей, князь Дмитрий вступил на служебное поприще с сознанием своих прав родовых и личных, служил усердно и все оставался в тени, на местах второстепенных, он, представитель самой знатной фамилии, а между тем Меншиков с подобными ему занимают места высшие, находятся в приближении. Голицын по внушению оскорбленного самолюбия объясняет себе это явление исключительно тем, что эти худородные люди обязаны своим возвышением худым, низким средствам, к которым он, Голицын, не способен; он ненавидит и презирает; презрение дает ему право ненавидеть, и ненависть усиливает презрение как свое основание. Князь Дмитрий не может никак помириться с новым браком царя, браком унижительным,

незаконным в глазах Голицына; тем сильнее была его преданность сыну царскому, от законного, честного брака рожденному. Голицын Сочувствовал Алексею и потому, что оба они были люди старого образования, образования царя Федора Алексеевича; известные нам столкновения Голицына с Паткулем, отвортив его от иностранцев, как проводников нового преобразовательного направления, отвортили его и от последнего. «Князь Дмитрий, – говорил царевич, – мне был друг верный и говаривал, что я тебе всегда верный слуга. Он много книг мне из Киева приваживал по прошению моему и так, от себя; и я ему говаривал: „Где ты берешь?“ „У чернецов-де киевских: они-де очень к тебе ласковы и тебя любят“». Фамилия Голицыных была также хорошо обставлена; родной брат князя Дмитрия Михайла Михайлович был один из самых храбрых и искусных генералов Петра; кроме того, князь Михайла отличался необыкновенно привлекательным и рыцарским характером, который заставил и иностранцев с восторгом отзываться об нем, хотя Голицын, подобно брату, не любил иностранцев. Известен рассказ, что когда однажды Петр предложил Голицыну самому назначить себе награду, то Голицын сказал: «Прости, государь, князя Репнина», а Репнин был ему недруг. Можно, если угодно, не верить этому рассказу, но для нас важно то, что о человеке ходили подобные рассказы, что человека считали способным на подобные поступки. Несмотря на то что князь Михайла был виднее и любимее брата, он по старине имел князя Дмитрия, как старшего, «в отца место», не смел садиться перед ним и совершенно был в его воле, разделял его взгляды; поэтому царевич говорил: «Князь Михайла Михайлович был мне друг же». Третий Голицын, занимавший видное место рижского губернатора, князь Петр Алексеевич, не рознился в направлении с своими родичами и был также друг царевичу. Старый фельдмаршал граф Борис Петрович Шереметев, несмотря на свое значение и долгую, непрерывную тяжелую службу, не видел себя в приближении, оскорблялся, получая указы от других, испытывая бесцеремонное обращение от царя, с которым мальтийский рыцарь не сходился характером; Шереметеву поэтому также не нравилась придворная обстановка, не нравился Меншиков, и тем сильнее был он предан царевичу: «В главной армии Борис Петрович и прочие многие из офицеров мне друзья. Борис Петрович говорил мне, будучи в Польше, в Остроге, при людях немногих моих и своих: „Напрасно ты малого не держишь такого, чтоб znalся с теми, которые при дворе отцове: так бы ты все ведал“». Известный дипломат, князь Борис Куракин заявил также свою приверженность к царевичу; однажды в Померании он спросил у него: «Добра к тебе мачеха?» «Добра», – отвечал Алексей. Куракин заметил на это: «Покамест у ней сына нет, то к тебе добра; а как у ней сын будет, не такова будет» Одним словом, царевич мог считать своими друзьями почти всех родовитых людей, ибо они смотрели на него как на человека, при котором не будет Меншикова с товарищами. По ненависти к Меншикову, по злобе и на Петра за недавнюю опалу к доброжелателям царевича принадлежал Александр Кикин, тем более что Иван Васильевич Кикин был казначеем Алексея. Другие надеялись отдохнуть, когда Алексей будет царем, потому что не предвиделось покоя, возможности заняться своими делами при царе, который не понимал, как можно сидеть дома без дела. Семен Нарышкин говорил царевичу: «Горько нам! Говорит (царь): *что вы дама делаете? Я не знаю, как без дела дома быть.* Он наших нужд не знает; а будешь дом свой смотреть хорошенько, часу не найдешь без дела. Когда б ему

прилучилось придти домой, а иное дров нет, иное инова нет, так бы узнал, что мы дома делаем». Царевич вполне сочувствовал и людям, стремившимся от общественной деятельности, от службы домой, к домашним занятиям. Различие между отцом и сыном заключалось в том, что для отца был тесен дом, хотя его дом был дворец, ему было просторно, легко дышать, когда он разъезжал по России, по Европе, по безбрежному морю; сын не терпел этих разъездов, этой широты и стремился в дом, в тесный, домашний круг, где тихо, уютно и покойно. «У него везде все готово; то-то он наших нужд не знает», – отвечал царевич на жалобы Нарышкина. Наследник русского, Петровского престола становился совершенно на точку зрения частного человека, приравнивал себя к нему, говорил о «наших нуждах». Сын царя и героя-преобразователя имел скромную природу частного человека, заботящегося прежде всего о дровах. И действительно, Алексей был хороший хозяин, любил заниматься отчетами по управлению своими собственными имениями, делать замечания, писать резолюции.

Алексей уверен, что за него духовенство, родовитые вельможи, простой народ; он покоен насчет своего будущего, настоящее можно как-нибудь и перетерпеть, лишь бы пореже видеться с отцом и его любимцами. Но чем покойнее сын относительно своего будущего, тем беспокойнее отец относительно своего, и если для успокоения себя насчет будущего отец решится воспользоваться своим настоящим?.. Отец работал без усталости, видел уже, как зрели плоды им насажденного, но вместе чувствовал упадок физических сил и слышал зловещие голоса: «Умрет – и все погибнет с ним, Россия возвратится к прежнему варварству». Эти зловещие голоса не могли бы смутить его, если бы он оставлял по себе наследника, могшего продолжать его дело. Понятно, что Петр не мог позволить себе странного требования, чтоб сын его и наследник обладал всеми теми личными средствами, какими обладал он сам; но он считал совершенно законным для себя требование, чтоб сын и наследник имел охоту к продолжению его дела, имел убеждение в необходимости продолжать его именно в том самом направлении; недостаток сильных способностей восполнялся легкостью дела, ибо начальная, самая трудная его часть уже была совершена, дело было легко и потому, что преемнику приходилось работать в кругу хороших работников, приготовленных отцом; для успеха при таких условиях нужна была только охота, сочувствие к делу, нужно было сыну быть одним из птенцов отца, одним из его помощников, сотрудников. Но Петр при своей работе в сонме сотрудников не досчитывался одного – родного сына и наследника! При переключке русских людей, имевших право и обязанность непосредственно помогать преобразователю в его деле, царевич-наследник объявился в нетях! Единственное средство упрочить будущность своему делу – это отстранить человека, который должен быть главным препятствием этому, отстранить наследника от наследства. Эта мысль необходимо должна была явиться в голове Петра, как скоро он увидал в сыне отвращение к отцовскому делу. Мысль не могла не прийти в голову и другим, у Петра могла она вырваться в виде угрозы; чем более выказывалось отвращение царевича к отцовскому делу, чем менее оставалось надежды на перемену, тем более у отца должна была укрепляться мысль об его отстранении. Другим людям, которым выгодно было отстранение Алексея, было не нужно и опасно пытаться укреплять эту мысль, ибо укрепление шло необходимо, само собою, надобно было только оставить дело его

естественному течению; вмешательством можно было только повредить себе, ибо Петр по своей пронизательности мог сейчас увидеть, что другие делают тут свое дело. Если мачеха считала выгодным для себя отстранение пасынка, то она должна была всего более стараться скрывать свои чувства и желания перед мужем и другими; князь Василий Владимирович Долгорукий говорил царевичу: «Кабы на государев жестокий нрав-де не царица, нам бы жить нельзя, я бы первый изменил». Цель Екатерины Алексеевны состояла в том, чтоб заискать всеобщее расположение, стараясь услуживать всем, быть ко всем «доброю»; *добра* была она и к пасынку, которому не могла выставить соперника в собственном сыне. Если Екатерина и Меншиков не хотели или не могли поссорить отца с сыном к 1711 году, когда положение царевича упрочивалось браком его на иностранной принцессе, то бесполезно было хлопотать об этом впоследствии, когда ссора и без них стала необходимостью по возвращении Алексея из-за границы, при первом сопоставлении отца с сыном в правительственной деятельности; притом Меншикову нельзя было в это время действовать против Алексея, потому что он сам был в нравственной опале, прежних близких отношений его к Петру не было более.

Враждебные отношения между отцом и сыном вскрылись сами собою, без постороннего посредства; но не могла ли иметь влияния на вскрытие этих отношений семейная жизнь царевича, отношения его к жене? Впоследствии, в письме к императору Карлу VI и в публичном обвинении сына, Петр указывал и на дурное обращение его с женою; но эти памятники по своему значению, по своим целям не могут нас останавливать: для нас самое важное, решительное значение в этом случае имеет письмо Петра к сыну, где он выставляет, почему поведение Алексея не может ему нравиться, почему он считает своею обязанностью отстранить его от наследства; в этом письме о семейной жизни Алексея ни слова, как увидим. Изо всего можно усмотреть, что поведение кронпринцессы в России не могло возбудить в Петре, в его семействе и в окружавших его никакой привязанности. Как видно, Шарлотта, приехав в Россию, осталась *кронпринцессою* и не употребила никакого старания сделаться женою русского царевича, русскою великою княгинею. В оправдание ее можно сказать, что от нее этого не требовалось: ее оставили при прежнем лютеранском исповедании, жила она в новооснованном Петербурге, где ей трудно было познакомиться с Россиюю. Но не могла же она не видеть, как было важно для сближения с мужем принять его исповедание; не могло скрыться перед нею, что он и окружавшие его сильно этого желают; что же касается до петербургской обстановки, то, взглядевшись внимательно, мы видим, что двор не только царевича, но и самого царя был чисто русский. Кронпринцесса не сблизилась с этими дворами; она замкнула себя в своем дворе, который весь, за исключением одного русского имени, был составлен из иностранцев. Мы не станем возражать против отзыва царевича Алексея о кронпринцессе, что она была «человек добрый», но мы видим, что она отнеслась к России и ко всему русскому с немецким национальным узким взглядом, не хотела быть русскою, не хотела сблизаться с русскими, не хотела, не могла преодолеть труда, необходимого для иностранки при подобном сближении; гораздо легче, покойнее было оставаться при своем, с своими; но отчуждение так близко граничит с враждою; можно догадываться, что окружавшие кронпринцессу иностранцы не говорили с

уважением и любовью о России и русских, иначе кронпринцессе пришла бы охота сблизиться с страной и народом, достойными уважения и любви. Как у мужа не было охоты к отцовской деятельности, так у жены не было охоты стать русской и действовать в интересах России и царского семейства, употребляя свое влияние на мужа. Петру не могли нравиться это отчуждение невестки и недостаток влияния ее на мужа, тогда как на это влияние он должен был сильно рассчитывать. Он имел право надеяться, что сильная привязанность и сильная воля жены будут могущественно содействовать воспитанию еще молодого человека, отучению его от тех взглядов и привычек, которые отталкивали его от отцовской деятельности; он мог думать, что сын женится – переменится, и ошибся в своих расчетах; невестка отказалась помогать ему и России; муж и жена были похожи друг на друга косностью природы; энергия, наступательное движение против препятствий были чужды обоим; природа обоих требовала бежать, запирались от всякого труда, от всякого усилия, от всякой борьбы. Этого бегства друг от друга было достаточно для того, чтоб брак был нравственно бесплоден. Камердинер царевича рассказывал любопытный случай из семейной жизни Алексея: «Царевич был в гостях, приехал домой хмелен, ходил к кронпринцессе, а оттуда к себе пришел, взял меня в спальню, стал с сердцем говорить: „Вот-де Гаврило Иванович (Головкин) с детьми своими жену мне чертовку навязали; как-де к ней ни приду, все-де сердитует и не хочет со мною говорить; разве-де я умру, то ему (Головкину) не заплачу. А сыну его Александру – голове его быть на коле и Трубецкого: они-де к батюшке писали, чтоб на ней жениться“. Я ему молвил: „Царевич-государь, изволишь сердито говорить и кричать; кто услышит и пронесут им: будет им печально и к тебе ездить не станут и другие, не токмо они“. Он мне молвил: „Я плюну на них; здорова бы мне была чернь. Когда будет мне время без батюшки, тогда я шепну архиереям, архиереи – приходским священникам, а священники – прихожанам; тогда они, не хотя, меня владетелем учинят“. Я стою молчу. Он мне говорит: „Что ты молчишь и задумался?“ Я молвил: „Что мне, государь, говорить?“ Посмотрел на меня долго и пошел молиться в крестову. Я пошел к себе. Поутру призвал меня и стал мне говорить ласково и спрашивал: „Не досадил ли вчерась кому?“ Я сказал нет. „Ин не говорил ли я, пьяный, чего?“ Я ему сказал, что говорил, что писано выше. И он мне молвил: „Кто пьян не живет? У пьяного всегда много лишних слов. Я поистине себя очень зазираю, что я пьяный много сердитую и напрасных слов много говорю, а после о сем очень тужу. Я тебе говорю, чтоб этих слов напрасных не сказывать. А буде ты скажешь, ведь-де тебе не поверят; я запруся, а тебя станут пытаться. Сам говорил, а сам смеялся“. Кронпринцессе тем легче было удалиться от мужа и от всех русских, что с нею приехала в Россию ее родственница и друг принцесса Юлиана-Луиза остфрисландская, которая, как говорят, вместо того чтоб стараться о сближении между мужем и женою, только усиливала разлад. Подобные друзья бывают ревнивы, не любят, чтоб друг их имел кроме них еще другие привязанности; но нам не нужно предполагать положительных стремлений со стороны принцессы Юлианы; довольно того, что кронпринцесса имела привязанность, которая заменяла ей другие: имела в Юлиане человека, с которым могла отводить душу на чужбине; а принцесса остфрисландская со своей стороны не делала ничего, чтоб заставить Шарлотту подумать о своем положении, о своих обязанностях к новому отечеству. Кронпринцесса жаловалась, что нехорошо, и Юлиана вторила ей, что

нехорошо, и тем услаждали друг друга, а как сделать лучше, этого придумать не могли.

В 1714 году у царевича расстроилось здоровье; медики присоветовали ему ехать в Карлсбад; он написал об этом к отцу и получил позволение. Кикин думал, что царевичу надобно воспользоваться этим случаем и продлить пребывание за границею, даже остаться там для избежания столкновений с отцом. «Когда вылечишься, – говорил Кикин Алексею, – напиши к отцу, что еще на весну надобно тебе лечиться, а между тем поедешь в Голландию; а потом, после вешнего кура, можешь в Италии побывать и тем отлучение свое года два или три продолжить». Показавши отцовское письмо канцлеру Головкину, Алексей взял у него паспорт на имя офицера, едущего в Германию, и объявил, что отправляется немедленно. Канцлер представлял ему опасности как в дороге, так и во время пребывания в Карлсбаде и просил позволения написать прежде кому следует о безопасном проезде. Но он не только писать, никому и говорить не позволял, чтоб скрыть от иностранных министров, и на другой день уехал. Но царь писал Головкину, чтоб тот принял меры предосторожности, и канцлер написал русскому министру в Вену Матвееву, чтоб тот попросил императора послать в Карлсбад какого-нибудь верного человека, придавши ему для большей безопасности и солдат, также на возвратном пути дать провожатых до цесарских границ; написал и к сыну своему, Александру, в Берлин, чтоб прусский король дал конвой; подозрительную Саксонию царевич должен был объехать.

8 августа к графу Матвееву явился чешский канцлер граф Шлик и объявил, что император приказал сделать все нужные распоряжения для безопасности царевича и он, канцлер, вчера отправил курьера к чешскому правительству с великим подкреплением, чтоб выслана была в Карлсбад верная особа и караул. Канцлер прибавил, что слухи о прибытии царевича в Карлсбад стали ходить в обществе по частным письмам, а не из императорского дворца и чтобы царский двор не приписал их неосторожности какой-нибудь со стороны цесаря. «Я, – писал Матвеев, – усмотря то опасение и не желая для всяких случаев поверять перу, отправляю на почте с малолюдством жену мою отсюда в Карлсбад под предлогом ее собственной болезни, чтобы она его царскому высочеству подробно обо всем сама донесла, как следует ему от тех слухов всемерно опасаться. Я по сие время, к немалому удивлению, никаких писем, ни ведомости из Карлсбада от его высочества не получил, хотя под притворным именем с 31 июля по два раза в неделю посылал к его высочеству письма».

В Карлсбаде царевич читал церковные летописи Барония и делал из них выписки; некоторые из этих выписок любопытны, показывая, как он был занят своею скрытою борьбою с отцовскою деятельностью, например: «Не цесарское дело вольный язык унимать; не иерейское дело, что разумеют, не глаголати. Аркадий-цесарь повелел еретикам звать всех, которые хотя малым знаком от православия отлучаются. Валентиан-цесарь убит за повреждение уставов церковных и за прелюбодеяние. Максим-цесарь убит оттого, что поверил себя жене. Во Франции носили долгое платье, а короткое Карлус Великий заказывал, и похвала долгому, а короткому сопротивное. Хилперик, французский король, убит для отъему от церкви имения. Чудо великое Иоанна Милостивого, когда мед (в отбирании злата от Ираклия, царя греческого, от церкви) обратился в злато». Тут же видно, как царевич был внимателен к известиям о папских притязаниях, как

старался опровергать их и указывать на известия, свидетельствующие о неправде католических стремлений, например: «Патриарх цареградский Евфимий Геласия, папу, на суд звал. О верховности престола в Риме писание под именем Геласия, папы, до епископов Дардании противно вселенским соборам. Симмах, папа, сужден от своих архиереев на соборе, а без собору прияти престола не мог (где сие еже над собор папа?). Иустиниан будто писал к папе, что он глава всем (не весьма правда, а хотя б писал, то нам его письмо не подтверждение). Симония стара в Риме. Иоанн Постник, цареградский патриарх, похулен пристрастия ради, что равнялся римскому, что есть правда, понеже Христос святителей всех уравниал. Иоанн, папа, был жена, что сам Скарга (хотя не ясно) свидетельствует; а что он написал, что по слабому его сердцу звали женою, что все слабо делал, и то где, что непогрешим папа? Папа Иоанн Десятый и прочие пред ним и по нем худы были, что не иное есть, только что за отлучение от православных церкви благодать божия отъясая от римлян».

Приходило время возвращаться в Россию; царевич пишет к Кикину – как быть? Делать ли так, как говорено было с ним или нет? Кикин отвечает: «Тебе сие делать, не доложая отцу, не безопасно от гнева его; пиши к нему и проси позволения; а ты своего дела не забывай». Царевич решился ехать в Россию, но возвращался туда с мрачными мыслями; однажды, подпив, говорил он окружающим: «Быть мне пострижену, и буде я волею не постригусь, то неволею постригут же; и не то чтобы ныне от отца, и после его мне на себя того ж ждать, что Василья Шуйского, постригши, отдадут куда в полон. Мое житье худое!» По возвращении в Петербург, когда увиделся с Кикиным, тот спросил его: «Был ли кто у тебя от двора французского?» «Никто не был», – отвечал царевич. «Напрасно, – продолжал Кикин, – ты ни с кем не видался от французского двора и туды не уехал: король – человек великодушный; он и королей под своею протекциею держит; а тебя ему не великое дело продержать». Царевич спросил его, что значат в письме его слова: «А ты своего дела не забывай». «Я писал, – отвечает Кикин, – чтоб ты уехал во Францию; и явно мне писать нельзя; тебе б можно догадаться самому».

Отправляясь в Карлсбад, Алексей оставил жену свою беременною по осьмому месяцу. Царь, находившийся в отсутствии, хотел, чтобы в это важное время рождения первого ребенка у наследника при кронпринцессе были знатные особы из русских; но по собственному опыту знал, что иногда выдумывается неприязненными людьми насчет рождения царских детей, как его провозглашали подмененным сыном Лефорты; а теперь еще хуже: родит немка иноверная, окруженная только своими немцами; отсутствие его самого, царицы и царевича заставляло еще более брать предосторожности, и Петр написал невестке: «Я бы не хотел вас трудить; но отлучение супруга вашего, моего сына, принуждает меня к тому, дабы предварить лаятельство необузданных языков, которые обыкли истину превращать в ложь. И понеже уже везде прошел слух о чреватстве вашем вящше года, того ради, когда благоволит бог вам приспеть к рождению, дабы о том заранее некоторый анштальт учинить, о чем вам донесет г. канцлер граф Головкин, по которому извольте неотменно учинить, дабы тем всем, ложь любящим, уста заграждены были». *Анштальт* состоял в том, чтобы жена канцлера графиня Головкина, генеральша Брюс и Ржевская, носившая титул князь-игуменьи, находились безотлучно при кронпринцессе. Последняя не дала

себе труда вникнуть в смысл распоряжения, хотя это было и не очень трудно, потому что и у них, на образованном Западе, рождение царских детей было окружено большими, неприятными для родильницы предосторожностями. Кронпринцесса обиделась и написала царю письмо с упреками, в раздраженном и раздражающем тоне; в этом письме кронпринцесса показала себя одним из тех существ, с которыми приятно иметь как можно меньше дела, которые, встретив что-нибудь не по себе, безо всякого обсуждения дела, сейчас же начинают вопить о притеснениях, о страданиях: назначение трех русских женщин явилось в глазах Шарлотты незаслуженным и необычным поступком, который для нее чрезвычайно был *sensible*; в этом распоряжении она видела торжество *malice*, вследствие чего она должна страдать и наказываться за лжи безбожных людей, тогда как ее *conduite* и совесть будут ее свидетелями и судьями на страшном суде. Для чего эти предосторожности против злых языков? Царь столько раз обещал ей свою милость, отеческую любовь и заботливость; так, если кто осмелится оскорбить ее лжой и клеветой, тот должен быть наказан как великий преступник. Известно, что никакая ложь и клевета не могут запятнать ее, кронпринцессу; однако скорбит душа, что завистники и преследователи ее имеют такую силу, что могли подвести под нее такую интригу. Бог, ее единственное утешение и прибежище *на чужбине* (!!), услышит вздохи и сократит дни страдания существа, всеми покинутого. Головкин и генеральша Брюс предложили кронпринцессе повивальную бабку; это в глазах кронпринцессы было великою немилостию со стороны царя, нарушением брачного договора, в котором было предоставлено ей свободное избрание слугителей; если будет чужая бабка, то глаза кронпринцессы наполнятся слезами и сердце обольется кровью. Шарлотта просила, чтоб назначению трех русских дам был дан такой вид, как будто бы она сама требовала этого вследствие отсутствия царя и царевича. Просьба была исполнена. Уведомляя Петра о разрешении кронпринцессы дочерью Натальею (12 июля), Головкин писал: «О письме, государь, вашем никто у меня не ведает, и разглашено здесь, что то учинено по их прошению». Три дамы присутствовали при рождении царевны, и одна из них, Ржевская, так описывала Петру свое житье у кронпринцессы: «По указу вашему у ее высочества кронпринцессы я и Брюсова жена живем и ни на час не отступаем, и она к нам милостива. И я обещаюсь самим богом, ни на великие миллионы не прельщусь и рада вам служить от сердца моего, как умею. Только от великих куплиментов, и от приседания хвоста, и от немецких яств глаза смутились».

Узнав в Ревеле о разрешении кронпринцессы, и Петр, и Екатерина спешили поздравить ее. Екатерина писала: «Светлейшая кронпринцесса, дружбнолюбезная государыня невестка! Вашему высочеству и любви я зело обязана за дружбное ваше объявление о счастливом разрешении вашем и рождении принцессы-дочери. Я ваше высочество и любовь всеусердно о том поздравляю и желаю вам скорого возвращения совершенного вашего здравия и дабы новорожденная принцесса благополучно и счастливо взрость могла. Я ваше высочество и любовь обнадежить могу, что я зело радовалась, получа ведомость о вышепомянутом вашем счастливом разрешении; но зело сожалею, что я счастья не имела в том времени в Петербурге присутствовать. Однакож мы здесь не оставили публичного благодарения богу за счастливое ваше разрешение отдать. Я же не оставлю вашему высочеству и любви все желаемые опыты нашей склонности и к

вашей особе имеющей любви при всяком случае оказать, в чем, ваше высочество и любовь, прошу благоволите обнаджены быть, такожде, что я всегда пребуду вашего высочества и любви дружбноохотная мать Екатерина».

О тоне письма, присланного Петром, можно судить по ответу кронпринцессы, которая называет это письмо очень *облигантным*, наполненным такими милостивыми заявлениями, которые укрепили ее доверенность; принцесса пишет, что так как она на этот раз *манкировала* родить принца, то надеется в следующий раз быть счастливее.

В следующем, 1715 году кронпринцесса действительно произвела на свет сына, названного Петром; сначала все, казалось, было благополучно, но потом вследствие поспешности встать с постели (на четвертый день) и принимать поздравления она почувствовала себя нехорошо, и скоро оказались такие признаки, что врачи объявили ее безнадежною. Больная сама сознавала свое положение и потому, призвав барона Левенвольда, объявила ему свои желания. Они состояли в том, чтоб при детях ее вместо матери оставалась принцесса остфрисландская; если же государь на это не согласится, то пусть Левенвольд отвезет принцессу сам в Германию; просила написать к ее родным, что она была всегда довольна расположением к ней царя и царицы, все обещанное в контракте было исполнено и сверх того оказано много благодеяний. И теперь, несмотря на собственную болезнь, государь прислал к ней князя Меншикова и всех своих медиков. Левенвольд должен был просить мать умирающей и сестру-императрицу, чтоб она постаралась восстановить дружбу между царем и цесарем, потому что от этого союза будет много пользы ее детям.

Петр был действительно болен; несмотря на то, он посетил умирающую. Отсутствие царицы объяснялось тем, что она была на последних днях беременности. 22 октября кронпринцесса скончалась. Царевич был при ней до последней минуты, три раза падал в обморок от горя и был безутешен. В такие минуты сознание проясняется: кронпринцесса была «добрый человек»; если «сердитовала», отталкивала от себя, то не без причины: грехи были на душе у царевича, а он был также «добрый человек». Кронпринцесса скончалась; медики объяснили ход болезни. Но должны были явиться люди, которые не хотели ограничиться медицинскими объяснениями. Печаль свела кронпринцессу в могилу, говорили они. Так доносил своему двору австрийский резидент Плейер. Причины этой печали, по словам Плейера, заключались в том, что деньги, назначенные кронпринцессе на содержание, выплачивались неаккуратно, с большим трудом, никогда не выдавали ей более 500 или 600 рублей разом, так что она постоянно нуждалась и не могла платить своей прислуге; она и ее придворные задолжали у всех купцов. Кронпринцесса замечала также зависть при царском дворе по поводу рождения принца; она знала, что царица тайно старалась ее преследовать, и по всем этим причинам она была в постоянной печали. Что касается тайных преследований царицы, то они остались тайною для Плейера и для нас; как в 10 дней во время болезни кронпринцесса могла заметить зависть по поводу рождения принца – это также тайна, которую резидент нам не постарался вскрыть; единственною причиною смертельного горя, которую Плейер постарался особенно уяснить, остается неаккуратная доставка денег, доставка малыми суммами. Мы не можем приписать этой одной объясненной для нас причине печаль кронпринцессы, сведшую ее в могилу, хотя никак не станем утверждать,

что кронпринцесса была очень довольна и весела в России, что она находилась в наилучших отношениях к мужу, свекру и к мачехе мужа; но мы не можем быть удовлетворены причинами, приводимыми господином резидентом.

Царевич был очень печален, и не одна была у него печаль о потере жены. Он потом сам рассказывал, что его положение ухудшилось, когда пошли у него дети; мы видели, что на дороге из Карлсбада он уже говорил, что его постригут и не вследствие настоящего гнева отцовского: теперь родился и сын, значит, неспособного отца можно было отстранить от престола. В самом деле, в шестой день по смерти жены, в день ее похорон, царевич получил от отца следующее письмо, подписанное еще 11 октября.

«Объявление сыну моему. Понеже всем известно есть, что пред начинанием сея войны, как наш народ утеснен был от шведов, которые не только ограбили толь нужными отеческими пристаньми, но и разумным очам к нашему нелюбозрению добрый задернули завес и со всем светом коммуникацию пресекли. Но потом, когда сия война началась (которому делу един бог руководцем был и есть), о коль великое гонение от сих всегдашних неприятелей ради нашего неискусства в войне претерпели и с какою горестию и терпением сию школу прошли, дондеже достойной степени вышереченного руководителя помощью дошли! И тако сподобилися видеть, что оный неприятель, от которого трепетали, едва не вящшее от нас ныне трепещет. Что все, помогающе вышнему, моими бедными и прочих истинных сынов российских равноревностных трудами достигнуто. Егда же сию богом данную нашему отечеству радость рассматривая, обозрюся на линию наследства, едва не равная радости горесть меня снедает, видя тебя, наследника, весьма на правление дел государственных непотребного (ибо бог не есть виновен, ибо разума тебя не лишил, ниже крепость телесную весьма отнял: ибо хотя не весьма крепкой природы, обаче и не весьма слабой); паче же всего о воинском деле ниже слышать хочешь, чем мы от тьмы к свету вышли, и которых не знали в свете, ныне почитают. Я не научаю, чтоб охочь был воевать без законные причины, но любить сие дело и всею возможностью снабдевать и учить, ибо сия есть едина из двух необходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона. Не хочу многих примеров писать, но точию равноревностных нам греков: не от сего ли пропали, что оружие оставили и единым миролюбием побеждены и, желая жить в покое, всегда уступали неприятелю, который их покой в нескончаемую работу тиранам отдал? Аще кладешь в уме своем, что могут то генералы по повелению управлять; то сие воистину не есть резон, ибо всяк смотрит начальника, дабы его охоте последовать, что очевидно есть, ибо во дни владения брата моего, не все ли паче прочего любили платье и лошадей, а ныне оружие? Хотя кому до обоих дела нет; и до чего охотник начальствуй, до того и все, а от чего отвращается, от того все. И аще сии легкие забавы, которые только веселят человека, так скоро покидают, колми же паче сию зело тяжкую забаву (сиречь оружие) оставят! К тому же, не имея охоты, ни в чем обучаешься и так не знаешь дел воинских. Аще же не знаешь, то како повелевать оными можеш и как доброму доброе воздать и нерадивого наказать, не зная силы в их деле? Но принужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть. Слабостию ли здоровья отговариваешься, что воинских трудов понести не можеш? Но и сие не резон: ибо не трудов, но охоты желаю, которую никакая болезнь отлучить не может. Спроси всех, которые помнят вышепомянутого брата моего, который тебя несравненно болезненнее был и не

мог ездить на досужих лошадях, но, имея великую к ним охоту, непрестанно смотрел и перед очми имел, чего для никогда бывало, ниже ныне есть такая здесь конюшня. Видишь, не все трудами великими, но охотою. Думаешь ли, что многие не ходят сами на войну, а дела правятся! Правда, хотя не ходят, но охоту имеют, как и умерший король французский, который не много на войне сам бывал, но какую охоту великую имел к тому и какие славные дела показал в войне, что его войну театром и школою света называли, и не точию к одной войне, но и к прочим делам и мануфактурам, чем свое государство паче всех прославил. Сие все представляя, обращаю паки на первое, о тебе рассуждая: ибо я есмь человек и смерти подлежу, то кому вышеписанное с помощью вышнего насаждение и уже некоторое и возвращенное оставлю? Тому, иже уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю (сиречь все, что бог дал, бросил)! Еще ж и сие вспомяну, какова злого нрава и упрямого ты исполнен! Ибо, сколь много за сие тебя бранивал, и не точию бранил, но и бивал, к тому ж сколько лет, почитай, не говорю с тобою; но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б дома жить и им веселиться, хотя от другой половины и все противно идет. Однакож всего лучше, всего дороже! Безумный радуется своею бедою, не ведая, что может от того следовать (истину Павел-святой пишет: како той может церковь божию управить, иже о доме своем не радит) не точию тебе, но и всему государству. Что все я, с горестию размышляя и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо изобрел сей последний тестамент тебе написать и еще мало пождать, аще нелицемерно обратишься. Ежели же ни, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангранный, и не мни себе, что один ты у меня сын и что я сие только в устрастку пишу: воистину (богу извольшу) исполню, ибо за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя, непотребного, пожалеть? Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный».

Письмо было написано до рождения внука, а теперь, на другой день после отдачи письма, царица родила и сына – царевича Петра. Алексей должен был помнить слова Куракина: «Покамест у мачехи сына нет, то к тебе добра; и, как у ней сын будет, не такова будет». Близкие люди рассказывали, что когда царевич Петр родился, то Алексей много дней был печален; но они позабыли или не знали о полученном письме от отца, что совпало с рождением брата; причина печали могла быть двойная. Что отвечать отцу? Просить прощения в том, что заслужил гнев, обещать исправление – потребует не слов, а дела, опять начнет мучить, посылать к войску и бог знает куда, и как ему угодить, и для чего угождать! У мачехи сын, теперь будет недобра; лучше отказаться от наследства и жить в покое, а там что бог даст. Но царевич решился на это не без совета с близкими людьми. Такими были старый учитель Никифор Вяземский, Александр Кикин. И Вяземский, и Кикин советовали отказаться от наследства; Кикин говорил: «Тебе покой будет, как ты от всего отстанешь, лишь бы так сделали; я ведаю, что тебе не снести за слабостию своею; а напрасно ты не отъехал, да уж того взять негде». Вяземский говорил: «Волен бог да корона, лишь бы покой был». Решившись отвечать отцу в этом смысле, царевич поехал к графу Федору Матвеевичу Апраксину и к князю Василию Владимировичу Долгорукому с просьбою, чтоб в разговоре с Петром уговаривали его лишить старшего сына наследства и отпустить на жительство в деревню, где бы мог жизнь кончить. Эта поездка и просьба

показывают, что Алексей боялся чего-нибудь худшего; и Кикин опасался того же, говоря: «Лишь бы так сделали». Апраксин отвечал: «Если отец станет со мною говорить, я приговаривать готов». Князь Василий говорил то же, но прибавил: «Давай писем хоть тысячу, еще когда-то что будет! Старая пословица „улита едет, коли то будет“ – это не запись с неустойкою, как мы преж сего меж себя давывали».

Царевич через три дня подал отцу письмо: «Милостивейший государь батюшка! Сего октября, в 27 день 1715 года, по погребении жены моей, отданное мне от тебя, государя, вычел, на что иного донести не имею, только, буде изволишь, за мою непотребность меня наследия лишить короны российской, буди по воле вашей. О чем и я вас, государя, всенижайше прошу: понеже вижу себя к сему делу неудобна и непотребна, также памяти весьма лишен (без чего ничего возможно делать), и всеми силами, умными и телесными (от различных болезней), ослабел и непотребен стал к толикого народа правлению, где требует человека не такого гнилого, как я. Того ради наследия (дай боже вам многолетное здравие!) российского по вас (хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава богу, брат у меня есть, которому дай боже здоровье) не претендую и впредь претендовать не буду, в чем бога-свидетеля полагаю на душу мою и ради истинного свидетельства сие пишу своею рукою. Детей моих вручаю в волю вашу; себе же прошу до смерти пропитания. Сие все предав в ваше рассуждение и волю милостивую, всенижайший раб и сын Алексей».

После отдачи письма приехал к царевичу князь Василий Владимирович Долгорукий и царским именем потребовал, чтоб Алексей показал ему отцовское письмо; по прочтении письма князь Василий сказал: «Я с отцом твоим говорил о тебе; чаю, тебя лишит наследства и письмом твоим, кажется, доволен. Я тебя у отца с плахи снял. Теперь ты радуйся, дела тебе ни до чего не будет». Петр, по словам Долгорукого, был доволен письмом сына, и в то же время князь Василий хвалился, что снял Алексея с плахи. В действительности Петр был очень недоволен письмом сына. Царь своим письмом хотел решительно объясниться с сыном, высказать ему ясно, чего он от него хочет, показать, что его требования не заключают в себе ничего трудного, невозможного, хотел пригрозить отлучением от наследства, ждал раскаяния, объяснений со стороны сына, которые бы могли вести к новым объяснениям с его стороны, вести к улажению дела, и вместо того получает в коротких словах отказ от наследства. Надобно исполнить угрозу, лишит наследства – дело в высшей степени неприятное и трудное. Петр был очень раздражен и, как видно из слов Долгорукого, в сердцах делал сильные выходки против сына. «Я тебя у отца с плахи снял», – говорил князь Василий. Месяц не отвечал ничего Петр сыну, а через месяц опасно заболел. Как обыкновенно бывало, горе, раздражение приготавливали Петру болезненный припадок, а какая-нибудь неосторожность была поводом; так и настоящий болезненный припадок, вероятно, был приготовлен неудавшимся объяснением с сыном, а именинный пир у адмирала Апраксина – последнею каплею, переполнившюю сосуд. Болезнь была так опасна, что министры и сенаторы ночевали в царских покоях. 2 декабря Петр приобщился св. тайн, после чего стал поправляться. Во время этой болезни Кикин говорил царевичу: «Отец твой не болен тяжко, и он исповедывается и причащается нарочно, являя людям, что он гораздо болен, а все притвор; а что причащается, у него закон на свою статью».

Какой смысл этих странных слов? Зачем было Петру, по мнению Кикина, притворяться тяжело больным? Не думал ли Кикин, что Петр притворился тяжело больным с целью выведать расположение царевича, как он будет вести себя в такую важную минуту и выкажутся ли люди, расположенные к царевичу, как выскажется народ относительно престолонаследия?

В Рождество Христово Петр вышел в первый раз из дому в церковь; его нашли лучше, чем ожидали, но все же бледным, упалым. 19 января 1716 года Петр написал сыну другое письмо: «Последнее напоминание еще. Понеже за своею болезнию доселе не мог резолюции дать, ныне же на оное ответствую: письмо твое на первое письмо мое я вычел, в котором только о наследстве вспоминаешь и кладешь на волю мою то, что всегда и без того у меня. А для чего того не изъяснил ответу, как в моем письме? ибо там о вольной негодности и неохоте к делу написано много более, нежели о слабости телесной, которую ты только одну вспоминаешь. Также, что я за то несколько лет недоволен тобою, то все тут пренебрежено и не упомянуто, хотя и жестоко написано. Того ради рассуждаю, что не зело смотришь на отцово прощение, что подвигло меня сие остатнее писать; ибо когда ныне не боишься, то как по мне станешь завет хранить? Что же приносишь клятву, тому верить невозможно для вышеписанного жестокосердия. К тому ж и Давидово слово: всяк человек ложь. Також хотя б и истинно хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить большие бороды, которые ради тунеядства своего ныне не в авантаже обретаются, к которым ты и ныне склонен зело. К тому же чем воздаешь рождение отцу своему? Помогает ли в таких моих несносных печалях и трудах, достигши такого совершенного возраста? Ей, николи! Что всем известно есть, но паче ненавидишь дел моих, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю, и, конечно, по мне разорителем оных будешь. Того ради так остаться, как желаешь быть, ни рыбою, ни мясом, невозможно; но или отмени свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником, или будь монах: ибо без сего дух мой спокоен быть не может, а особливо что ныне мало здоров стал. На что по получении сего дай немедленно ответ или на письме, или самому мне на словах резолюцию. А буде того не учинишь, то я с тобой, как с злодеем, поступлю. Петр».

Царевич опять советуется с Кикиным и Вяземским. Кикин, придумывая разные средства, как бы скрыть Алексея от гнева отцовского, уже и прежде останавливался на монастыре как на безопасном убежище до поры до времени, а когда придет это время, можно и расстричься. Это Кикин выражал так: «Ведь клобук не прибит к голове гвоздем, можно его и снять». И теперь он советует, что надобно исполнить отцовское требование. «Теперь так хорошо, – говорит он, – а впредь что будет – кто ведает?» Вяземский говорил: «Когда иной дороги нет, то идти в монастырь; да пошли по отца духовного и скажи ему, что ты принужден идти в монастырь, чтоб он ведал; он может сказать и архиерею рязанскому о сем, чтобы про тебя не думали, что ты за какую вину пострижен». Совет Вяземского был исполнен относительно духовника, петербургского протопопа Георгия; но Стефану Яворскому сообщено не было.

На другой же день, 20 января, Петр получил ответ от сына: «Милостивейший государь батюшка! Письмо ваше я получил, на которое больше писать за болезнию своею не могу. Желая монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения. Раб ваш и непотребный сын Алексей».

И последнее средство не подействовало! И монастырь не испугал! Сын торжествовал над отцом. Петру оставалось или исполнить угрозу, постричь сына, чего ему вовсе не хотелось, или уступить, откладывать тяжкое дело. Петр, естественно, выбрал последнее. Сын готовился в монастырь. У него была любовница Афросинья Федорова, крепостная Никифора Вяземского. Царевич, будучи болен в это время, дал ей два письма: одно – к старому духовнику Якову, другое – к Ивану Кикину, говоря: «Когда я умру, отдай те письма: они тебе денег дадут». В письмах говорилось, что царевич идет в монастырь по принуждению и чтоб протопоп и Кикин дали вручительнице известную сумму из хранившихся у них царевичевых денег. Сын собирался в монастырь; отец собирался за границу в долгий поход. Перед отъездом Петр пришел к больному сыну проститься и спросил о резолюции на известное дело; царевич отвечал, что не может быть наследником по слабости и желает в монастырь. «Одумайся, не спеши, – говорил ему отец, – напиши мне потом, какую возьмешь резолюцию».

Слава богу, уехал без резолюции! Дело отложилось вдаль, а там что бог даст! Кикин едет в Карлсбад провожать царевну Марью Алексеевну и говорит царевичу: «Я тебе место какое-нибудь сыщу». Можно ждать, что напишет Кикин, какое сыщет место; отец живет за границею и не торопит. 18 июня 1716 года умерла тетка Алексея царевна Наталья Алексеевна, имевшая важное значение в жизни царевича; после заточения матери он перешел к ней на руки; ей приписывали и размолвку Петра с первой женою; она внимательно следила, чтоб Алексей не сносился с матерью, и доносила брату; разумеется, что Лопухины ненавидели ее за это. Когда царевна умерла, то один из приближенных к царевичу сказал ему: «Ведаешь ли ты, что все на тебя худое было от нее? Я слышал от Аврама (Лопухина)». Но из других углов были другие вести. Голландский резидент Деби доносил своему правительству: «Особы знатные и достойные веры говорили мне, что покойная великая княжна Наталия, умирая, сказала царевичу Алексею: „Пока я была жива, я удерживала брата от враждебных намерений против тебя; но теперь умираю, и время тебе самому о себе промыслить; лучше всего при первом случае отдайся под покровительство императора“».

И Кикин давно толковал о бегстве за границу; но как это сделать? Был случай во время поездки в Карлсбад, но пропущен; теперь под каким предлогом выехать из России?

Сам отец дает возможность выехать. 26 августа он пишет сыну из Копенгагена: «Мой сын! Письма твои два получил, в которых только о здоровье пишешь; чего для сим письмом вам напоминаю. Понеже когда прощался я с тобою и спрашивал тебя о резолюции твоей на известное дело, на что ты всегда одно говорил, что к наследству быть не можешь за слабостию своею и что в монастырь удобнее желаешь; но я тогда тебе говорил, чтоб еще ты подумал о том гораздо и писал ко мне, какую возьмешь резолюцию, чего ждал семь месяцев; но по сей поры ничего о том не пишешь. Того для ныне (понеже время довольно на размышление имел), по получении сего письма, немедленно резолюцию возьми: или первое, или другое. И буде первое возьмешь, то более недели не мешкай, поезжай сюда, ибо еще можешь к действиям поспеть. Буде же другое возьмешь, то отпиши, куды и в которое время и день (дабы я покой имел в моей совести, чего от тебя ожидать могу). А сего доносителя пришли с окончанием; буде по первому, то когда выедешь из Петербурга; буде же другое, то когда совершишь. О чем паки

подтверждаем, чтобы сие конечно учинено было, ибо я вижу, что только время проводишь в обыкновенном своем неплодии».

Медлить нельзя было более; сам отец отворил дорогу из России. Царевич был на своей мызе, когда получил отцовское письмо; он немедленно поехал в Петербург и объявил Меншикову о резолюции своей ехать в поход по указу государя и что поедет прежде данного срока. «Когда приду проститься с братцем и сестрицами, тогда тотчас и поеду», – говорил Алексей светлейшему князю Камердинеру своему, Ивану Большому Афанасьеву, царевич велел приготовляться в дорогу, как ездили прежде в немецкие края, а сам стал плакать. «Как мне оставить Афросинью и где ей быть? Не скажешь ли кому, что я буду говорить? – спросил царевич Афанасьева, и, когда тот обещался молчать, Алексей начал: – Я Афросинью с собою беру до Риги. Я не к батюшке поеду, поеду я к цесарю или в Рим». Афанасьев сказал на это: «Воля твоя, государь, только я тебе не советник». «Для чего?» – спросил царевич. «Того ради, – отвечал Афанасьев, – когда это тебе удастся, то хорошо; а когда не удастся, тогда ты же на меня будешь гневаться». «Однако ты молчи про это, никому не сказывай! – говорил царевич. – Только у меня про это ты знаешь да Кикин; он для меня в Вену проведывать поехал, где мне лучше быть. Жаль мне, что я с ним не увижусь; авось на дороге увижусь». Царевич проговорился и другому из своих домашних, Федору Дубровскому. «Едешь ли к отцу, поезжай для бога!» – говорил ему Дубровский. «Я поеду, бог знает, к нему или в другую сторону», – отвечал Алексей. Дубровский сказал на это: «Многие ваши братья бегством спасались; я чаю, тебя сродники не оставят». Тут Дубровский стал просить у царевича денег 500 рублей для отсылки матери в Суздаль, Алексей дал деньги. Дубровский вспомнил и о дяде царевича по матери Авраме Лопухине: «Чаю, отец Аврама, дядю твоего, распытает». Царевич сказал на это: «За что, когда он не ведает? Когда уже подлинно будете известны, что я отлучился, в то время можешь и Авраму сказать, буде хочешь; а ныне не сказывай никому!» Перед отъездом царевич заехал в Сенат, чтоб проститься с сенаторами; при этом он сказал на ухо князю Якову Долгорукому: «Пожалуй, меня не оставь!» «Всегда рад, – отвечал Долгорукий, – только больше не говори: другие смотрят на нас». Сенат выдал царевичу на дорогу 2000 рублей да князь Меншиков тысячу червонных.

26 сентября 1716 года Алексей выехал из Петербурга на Ригу; с ним были Афросинья, брат ее Иван Федоров и трое слуг. Царевичу было мало тех денег, какие он получил в Петербурге на дорогу в Копенгаген, и потому в Риге он занял у обер-комиссара Исаева 5000 червонных и 2000 мелкими деньгами.

Из Риги Алексей отправился на Либаву; не доезжая четырех миль до этого города, он встретил тетку свою царевну Марью Алексеевну, которая возвращалась с Карлсбадских вод. Царевич остановился, сел в карету к тетке и имел с нею любопытный разговор. «Еду к батюшке», – объявил царевич. «Хорошо, – отвечала царевна, – надобно отцу угождать, то и богу приятно; что б прибыли было, когда б ты в монастырь пошел?» «Уж не знаю, – сказал царевич, – буду угоден или нет; уж я себя чуть знаю от горести, я бы рад куды скрыться». При этих словах он заплакал. «Куды тебе от отца уйтить? Везде тебя найдут», – сказала тетка. Царевич остановился и не сказал ни слова о деле, которое лежало у него на сердце. Тут царевна начала говорить о своем деле, которое лежало у нее на сердце. Дочь Милославской, она осторожным поведением своим умела до сих пор

предохранить себя от братней опалы, умела скрывать свои чувства, но тут не считала нужным скрывать; она не могла переносить новой женитьбы брата, считала первый брак единственно честным и законным, стояла за Евдокию, как, наоборот, дочь Нарышкиной, царевна Наталья, была против Евдокии. Царевна Марья, естественно, была за Алексея; но ее оскорбляло в нем равнодушие к матери, эгоизм, постыдная трусость, какие он обнаруживал в этом случае; тетка была мужественнее племянника, она стала упрекать Алексея: «Забыл ты мать, не пишешь и не посылаешь к ней ничего. Послал ли ты после того, как чрез меня была посылка?» «Послал», – отвечал царевич, имея в виду 500 рублей, отданные Дубровскому. Царевна принудила племянника написать матери маленькое письмо. «Я писать опасаюсь», – говорил Алексей. «А что? – возражала царевна. – Хотя б тебе и пострадать, так бы нет ничего; ведь за мать, не за иного кого!» «Что в том прибыли, – говорил Алексей, – что мне беда будет, а ей пользы из того не будет ничего». В этих словах высказался весь человек, один из тех людей, которые способны приводить резоны, что ни для кого нет пользы от исполнения обязанности, тогда как другие, сильные нравственно люди исполняют обязанность не думая, считая бесчестным ставить вопрос: будет ли от этого какая кому польза? «Жива матушка или нет?» – спросил нежный сын. «Жива, – отвечала тетка, – и было откровение ей самой и иным, что отец твой возьмет ее к себе, и дети будут, а таким образом: отец твой будет болен, и во время болезни его будет некое смятение, и придет отец в Троицкий монастырь на Сергиеву память, и тут мать твоя будет же, и отец исцелет от болезни и возьмет ее к себе, и смятение утишится. И Петербург не устоит за нами: быть ему пусто, многие о сем говорят». От Евдокии разговор перешел, естественно, к Екатерине. «У нас, – говорила царевна, – осуждают отца твоего, что он мясо ест в посты; то нет ничего: то пуще, что он мать твою покинул. У нас архиереи – дураки: это ни во что ставят и поминают эту царицу особливо; Иов новгородский, труся, сие делает; иноземцы (т.е. малороссияне) знают лучше божественное писание: Дмитрий да Ефрем и рязанский, также и князь Федор Юрьевич (Ромодановский) при объявлении царицы (т.е. когда Екатерина была объявлена царицею) не благо сие приняли; к тебе они склонны». Когда и прежде царевич начинал хвалиться добрым расположением к себе царицы Екатерины, то царевна Марья возражала: «Что хвалишься? Ведь она не родная мать, где ей так тебе добра хотеть?»

«Повидайся с Кикиным; он желает тебя видеть», – сказала, между прочим, царевна племяннику. Это свидание было в Либаве. «Нашел ли ты мне место какое?» – спросил царевич Кикина. «Нашел, поезжай в Вену к цесарю: там не выдадут. Сказывал мне Веселовский, что его спрашивают при дворе, за что тебя лишают наследства? И я ему сказал: „Ведаешь ты сам, что его не любят, и, чаю, для того больше, и не для чего иного“. И как я уверился, что он, Веселовский, в отечество не намерен возвратиться, того ради стал я с ним говорить смелее и спросил его про тебя: „Как он сюда приедет, примут ли его?“ И он мне сказал: „Я поговорю с вице-канцлером Шёнборном, он ко мне добр“. И по несколько времени сказал, что он с Шёнборном говорил, и он цесаря спрашивал в разговоре, и цесарь говорил, что он примет его как своего сына и, чаю, даст тысячи по три гульденов на месяц». Царевич спросил Кикина: «Зачем ты в Вену ездил, для меня или для чего иного?» «Мне, – отвечал Кикин, – иного дела не было, кроме тебя. А спросился я у царевны Марьи Алексеевны побывать в Вене для своих нужд: и она

мне приказала уговаривать Прозоровского, чтоб возвратился. Если отец к тебе придет кого-нибудь уговаривать тебя, то не езд: он тебе голову отсечет публично». Царевич спросил: «Когда ко мне будут присланные в Гданск или Королевец, что мне делать?» Кикин отвечал: «Уйди ночью один пли возьми детину одного, а багаж и людей брось; а если два будут присланы, то притвори себе болезнь, и из тех одного пошли наперед, а от другого уйди». «Когда бы письма от батюшки не было, как бы мне уехать?» – говорил царевич. Кикин отвечал: «Я хотел таким образом сделать, чтоб ты сказал, что сам едешь к отцу, и так бы ушел. Отец тебя не пострижет ныне, хотя б ты хотел; ему князь Василий (Владимирович Долгорукий) приговорил, чтоб тебя при себе держать неотступно и с собою возить всюду, чтоб ты от волокиты умер, понеже ты труда не понесешь. И отец сказал: „Хорошо так“. И рассуждал ему князь Василий, что в чернечестве тебе покой будет и можешь ты долго жить. И по сему слову я дивлюсь, что давно тебя не взяли; и ныне тебя зовут для того, и тебе, кроме побегу, спастись ничем иным нельзя».

Царевич сказал Кикину о своем разговоре с камердинером Иваном Афанасьевым. Это очень обеспокоило Кикина, тем более что Афанасьев знал об его участии в деле. Чтоб не иметь такого опасного свидетеля в Петербурге, Кикин стал просить царевича написать Афанасьеву, чтоб ехал к нему. «Когда Ивана в Питербурхе не будет, – говорил он, – то неоткуда пронестися сему; кроме нас двоих, с ним никто не ведает; а меня в Питербурхе при тебе не было, то на меня и подозрения не будет; а если Иван в Питербурхе будет, то небезопасно, чтоб не промолвился с кем». «Думаю, что Иван не поедет», – сказал на это царевич. Тогда Кикин придумал другое средство: «Ты напиши другое письмо, будто у тебя с ним речей никаких о сем не было, а бежать ты вздумал в пути и чтоб он, взяв вещи алмазные, ехал; а я велю ему то письмо подать князю Меншикову, будто б он твою тайну открыл, то им розыскивать не будут». Царевич написал письмо: «Иван Афанасьевич! По получении сего письма поезжай ко мне, понеже я взял свое намерение, что где ни жить, а к вам не возвратиться (для немилости вышних наших), о которой еще к прежним в подтверждение в Риге получил письмо из Копенгагена. А что не взял я вас с собою, понеже нималого к сему намерения не имел. А ехать тебе надлежит в Гамбург и там отсведомиться о мне. Я вам истину пишу, что не имел намерения; когда б имел, то бы тебя взял силою; хотел взять и учителя, только он сам меня просил, чтоб остаться». Кикин уговорил царевича написать и другое письмо к князю Василию Владимировичу Долгорукому с благодарностью за любовь: «Если на меня суспет (подозрение) о твоём побеге будет, то я объявлю письмо твое, к князю Василью писанное, и скажу: „Знать, он с ним советовал, что его благодарит; я сие письмо перенял“». Мы видели, каким образом Кикин возбудил в царевиче раздражение против князя Василья, рассказавши, как Долгорукий советовал царю держать сына при себе, чтоб его уморить волокитою. Царевич написал письмо: «Князь Василий Владимирович! Благодарствую за все ваши ко мне благодеяния, за что при моем случае должен отслужить вам». Царевич рассказал Кикину о своем разговоре с Меншиковым при отъезде об Афросинье. Меншиков спрашивал его: «Где ты ее оставляешь?» «Возьму до Риги и потом отпущу в Петербург», – отвечал Алексей. «Возьми ее лучше с собою», – сказал светлейший. Этот рассказ возбудил в Кикине мысль: нельзя ли кинуть суспет и на Меншикова? «Напиши, – говорил он царевичу, –

письмо к Меншикову, чтоб Ивану Афанасьеву дал подвод и отправил бы его, да благодари, что присоветовал взять девку с собою: может быть, что князь покажет твое письмо отцу и он будет о нем иметь суспет».

Устроивши все таким образом, Алексей расстался с Кикиным. Кикин приехал в Петербург с жалобами на царевича: действительно ли он имел причину жаловаться или выдумал ее? По приезде в Петербург Кикин послал за Иваном Афанасьевым и начал разговор вопросом: «Есть ли у тебя с дороги от царевича письмо?» «Нет», – отвечал тот. «Я с ним виделся, – продолжал Кикин, – и на меня царевич что-то очень сердит: сказал, будто я с Долгоруковым его продаю, а каким образом – о том ничего не сказал. Поговорил немного со мною и скоро от меня поехал; только сказал, что к тебе писано, чтоб ты за ним поехал. Приказал же тебе сказать, чтоб ты то письмо с собою взял, которое к нему от отца пришло, и велел тебе ехать осторожно, чтобы ты не попался навстречу царскому величеству. Буде послышишь, что государь едет, в те поры отъезжай в сторону и ожидай, как проедет. Не слыхал ли ты, Иван, от царевича, за что он на меня сердит, что в дороге со мною сердито говорил? Сему я очень удивляюсь; или не слыхал ли каких обо мне разговоров?» «Не слыхал», – отвечал Афанасьев. Разумеется Кикин мог нарочно говорить Афанасьеву, что царевич сердит на него, Кикина; если Афанасьева возьмут и станут спрашивать, то показание о неприязненных отношениях между царевичем и Кикиным может быть полезно последнему; мы увидим, как впоследствии Кикин действительно настаивал на этих неприязненных отношениях для своего оправдания. Но с другой стороны, могли быть действительно причины неудовольствия, заключавшиеся кроме подозрительного поведения Кикина и в самом характере Алексея: он бежит из России за границу, чтоб не выбирать между монастырем и невыносимым для него положением при отце. Но бежать разве легкое дело? Как бежать, куда? если скоро узнают и поймают? если и не поймают, то как примут на чужой стороне чужие люди? как жить? Все эти вопросы должны были сильно тревожить и раздражать Алексея. Встречается человек, присоветовавший бегство, и Алексей срывает на нем свое сердце, тем более что Кикин, указывая, куда ехать, не сказал ничего верного: хорошо примут, не выдадут, будут давать деньги на содержание, но это все одни предположения Кикина и Веселовского; ничто не приготовлено, трудное и опасное дело ничем не облегчено, а труда, физического труда более всего боялся Алексей; ему говорят, что отец вызывает его к себе, чтобы заморить волокитою, а теперь впереди разве не волокита и где ей конец, что из всего этого будет?

Через несколько дней после разговора с Кикиным Афанасьев получил письмо от царевича, где тот писал, чтобы камердинер ехал за ним немедленно и нагонял в Данциге; Афанасьев объявил письмо Меншикову, и тот отпустил его, дав паспорт и подорожную.

Опасный человек уехал. Кикин мог спокойнее дожидаться развязки. Но Афанасьев скоро возвратился: он нигде не мог сыскать царевича.

Царевич внезапно уехал из Петербурга; говорили, что поехал к отцу; но вот уже прошло много времени, и не слышно, приехал ли он к царю и что при нем делает. Это сильно беспокоило близких людей. Московский духовник Яков Игнатьев писал письмо за письмом. «Молю тя, премилостивого моего, аще ли не подлежит тайне, и достоин ничтожность моя ведения, помилуй, уведоми мя, чесого ради скоропоятое от Питербурха отшествие твое, и все ли во здравии и во

благополучности, и не есть ли якова гневоизлияния на тя, и к какому делу определенность тебе, и в радости ли и в веселии, дабы и нам, ничтожным, сичевое слышав, яже о благородии твоём, по многу порадованным быти и веселитися».

В беспокойстве Яков Игнатьев говорит другому близкому человеку, ключарю Ивану Афанасьеву: «Царевич государь говаривал со мною: „Батюшка велел мне либо жениться, либо постричься, а мне постричься не хочется, также и жениться не хочется, потому что батюшка изволит меня женить паки на иноземке, и я не знаю, что делать? Не знаю, нищету воспринять, да с нищими скрытиса до времени, не знаю, отъйти куда в монастырь и быть со дьячками или отъехать в такое царство, где приходящих приемлют и никому не выдают“. И я, – продолжал духовник, – теперь не ведаю, где государь царевич обретается». В ноябре духовник получил странное письмо. На одной стороне рукою Никифора Вяземского было написано: «О нас если изволишь и о нашем бытии ведать, и мы при милости государя царевича, слава богу, живы и живем в Нарве, а ожидаем по вся дни самодержавнейшего государя нашего». На обороте письма написано было рукою царевича: «Батюшко, изволь сказать всем тем, к которым мои грамотки есть в пакете на твое имя, Ивану Афанасьевичу, чтобы ко мне больше не писали, и сам не изволь писать ко мне, для того что сам изволишь ведать; помолись, чтоб поскорее совершилось, а чаю, что не умедлится; пожалуй, сие письмо, кроме себя да ключаря, не изволь казать никому и ему прикажи, чтоб никому не сказывал, а иным изволь приказать словом в разговоре, а не указом, будто от себя гаданием, и чтоб сие было тайно».

Беспокоились в Москве; сильно беспокоились и за границей. 21 октября Петр получил от курьера известие, что царевич едет к нему, и после того никакого слуха. 4 декабря царица Екатерина писала Меншикову из Шверина: «О государе царевиче Алексее Петровиче никакой ведомости по се время не имеем, где его высочество ныне обретается, и о сем мы немало сожалеем». От 10 декабря другое письмо: «С немалым удивлением принуждена вашей светлости объявить, что о его высочестве государе царевиче Алексее Петровиче ни малой ведомости по се время не имеем, где его высочество ныне обретается, и о сем мы немало сожалеем». Екатерина жалела; Петр действовал: дал приказание стоявшему в Мекленбурге с войском генералу Вейде разыскивать; резиденту своему в Вене Абраму Веселовскому поручил тайно разведывать о месте пребывания царевича и дал об этом знать императору Карлу VI собственноручным письмом, прося, что если Алексей находится в императорских владениях, то приказать отправить его с Веселовским, придав для безопасности несколько офицеров, «дабы мы его отечески исправить для его благосостояния могли». Поручение, данное Веселовскому, и письмо к императору доказывают, что Петр догадывался, куда скрылся сын.

Распоряжения были сделаны в конце 1716 года; в начале 1717 начали приходить указания на следы беглеца; следы сходились к Вене и здесь исчезали.

По рассказу известного нам императорского вице-канцлера графа Шёнборна, царевич явился к нему поздно вечером 10 ноября 1716 года и стал говорить ему с сильными жестыкуляциями, с ужасом озираясь во все стороны и бегая из угла в угол: «Я прихожу сюда просить цесаря, своего свояка, о протекции, чтоб он спас мне жизнь: меня хотят погубить; хотят у меня и у моих бедных детей отнять корону. Цесарь должен спасти мою жизнь, обеспечить мне и моим детям

сукцессию; отец хочет отнять у меня жизнь и корону, а я ни в чем не виноват, ни в чем не прогневил отца, не делал ему зла; если я слабый человек, то Меншиков меня так воспитал, пьянством расстроили мое здоровье; теперь отец говорит, что я не гожусь ни к войне, ни к управлению, но у меня довольно ума для управления. Один бог – владыка и раздает наследства, а меня хотят постричь и в монастырь запрятать, чтобы лишить жизни и сукцессии; но я не хочу в монастырь, цесарь должен спасти мне жизнь». Тут Алексей в изнеможении бросился на стул и закричал: «Ведите меня к цесарю!» Потом спросил пива; ему дали мозельского вина, и между тем Шёнборн старался успокоить его, уверял, что он в совершенной безопасности и что немедленно представить его цесарю нельзя, поздно, да и прежде цесарь должен обстоятельно узнать, что понудило царевича решиться на такой поступок. Алексей начал опять: «Я ничего не сделал отцу, всегда был ему послушен, ни во что не вмешивался, я ослабел духом от преследования и потому, что меня хотели запоить до смерти; отец был добр ко мне; когда у меня пошли дети и жена умерла, то все пошло дурно, особенно когда явилась новая царица и родила сына; она с князем Меншиковым постоянно раздражала отца против меня, оба люди злые, безбожные, бессовестные; я против отца ни в чем не виноват, люблю и уважаю его по заповедям, но не хочу постричься и отнять права у бедных детей моих, а царица и Меншиков хотят меня уморить или в монастырь запрятать. Никогда у меня не было охоты к солдатству; но за несколько лет перед этим отец поручил мне управление, и все шло хорошо, отец был доволен; но когда пошли у меня дети, жена умерла, а у царицы сын родился, то захотели меня замучить до смерти или запоить; я спокойно сидел дома, но год тому назад принужден был отцом отказаться от наследства и жить приватно или в монастырь идти; напоследок приехал курьер с приказом или к отцу ехать, или немедленно постричься в монахи: исполнить первое – погубить себя разными мучениями и пьянством, второе – погубить и тело и душу; потом мне дали знать, чтоб я берегся отцовского гнева и что приверженцы царицы и Меншикова хотят отравить меня из страха, потому что отец становится слаб здоровьем. Поэтому я притворился, что еду к отцу, и добрые приятели присоветовали мне ехать к цесарю, который мне свояк и великий, великодушный государь, которого отец уважает; цесарь окажет мне покровительство; к французам и к шведам я не мог идти, потому что это враги моего отца, которого я не хотел гневить. Говорят, будто я дурно обходился с моею женой, сестрою императрицы; но богу известно, что не я дурно с нею обходился, а отец и царица, которые хотели заставить ее служить себе как простую горничную, но она по своей едукации к этому не привыкла и сильно печалилась; к тому же заставляли меня и ее терпеть недостаток и особенно стали дурно обходиться, когда у ней пошли дети. Хочу к цесарю, цесарь не оставит меня и моих детей, не выдаст меня отцу, потому что отец окружен злыми людьми и сам очень жесток, не ценит человеческой крови, думает, что, как бог, имеет право жизни и смерти; он уже много пролил невинной крови, часто сам налагал руку на несчастных обвиненных, он чрезвычайно гневлив и мстителен, не щадит никого, и если цесарь выдаст меня отцу, то это все равно что сам меня казнит; да если бы и отец меня пощадил, то мачеха и Меншиков не успокоятся до тех пор, пока не замучат до смерти или не отравят».

Алексей хотел непременно представиться императору и императрице; но Шёнборн внушал, что гораздо выгоднее для него скрыть свое пребывание в императорских владениях под глубокою тайной. Алексей согласился, и 12 ноября был перевезен из Вены в ближнее местечко – Вейербург. Сюда в начале декабря цесарь прислал одного из своих министров разузнать обстоятельнее, в чем дело, чтоб можно было действовать с уверенностью, узнать, не предпринимал ли чего-нибудь царевич против отца и в каком положении его дети. Царевич повторял то же, что уже прежде говорил графу Шёнборну; клялся, что не замышлял против отца никакого возмущения, хотя сделать это было легко, потому что русские любят его, царевича, и ненавидят царя за худородную царицу и злых любимцев, за то, что он отменил древние добрые обычаи и ввел дурные, за то, что не щадит их денег и крови, за то, что он тиран и враг своего народа; надобно опасаться, чтобы за все это подданные не умертвили его и бог его не наказал; царевич распространился в подробностях об отцовской армии, об его министрах и боярах, говоря, что большая часть их, особенно Меншиков и лейб-медик, – льстецы и злые люди, которые вовлекают царя во множество дурных поступков, чему служит примером мечта об императорском титуле, которая, кроме неприятности, не даст отцу ничего существенного; отец по природе добр и справедлив, но легко воспламеняется гневом и становится свиреп; но он, царевич, не хочет никогда ничего предпринимать против отца, любит его и уважает, только не хочет к нему возвращаться просит цесаря не выдавать его и надеется, что пощадят невинную кровь его и бедных детей его. Начав говорить о детях, царевич пришел в сильное волнение и заплакал; он объявил, что насчет детей не оставил никакого распоряжения, надеется на бога, на доброе сердце отца своего и на гувернантку мадам Рогэн, поручает их также цесарю и цесаревне.

В Вене решили укрывать царевича, пока не представится случай помирить его с отцом; но, чтоб удобнее укрыть, положили перевести его в тирольскую крепость Эренберг и держать его под видом государственного арестанта. Царевич был доволен обхождением эренбергского коменданта, но жаловался на недостаток нужных вещей, которые должно выписывать издалека, и требовал присылки греческого священника. Священника ему не прислали; но граф Шёнборн переслал ему любопытные известия из России, сообщенные в Вену царским резидентом при петербургском дворе Плейером. Тревога по случаю отъезда царевича была возбуждена, по словам Плейера, царевною Марьею Алексеевною, которая, приехав к детям Алексея, расплакалась и сказала: «Бедныя сироты! Нет у вас ни отца, ни матери! Жаль мне вас!» Знатные люди начали присылать к иностранцам, не получали ли те каких известий о царевиче? Пронесся слух, что Алексей схвачен близ Данцига царскими людьми и отвезен в дальний монастырь; другие говорили, что он ушел в цесарские владения и летом тайно приедет к матери; рассказывали, что в Мекленбурге гвардейские и другие полки сговорились царя убить, царицу и детей ее заключить в тот самый монастырь, где сидела прежняя царица, которую освободить и правление отдать Алексею, как настоящему наследнику. «Здесь все склонны к возмущению, – писал Плейер, – и знатные, и незнатные только и говорят о презрении, с каким царь обходится с ними, заставляя детей их быть матросами и корабельными плотниками, хотя они уже истратились за границую, изучая иностранные языки, что их имения разорены

вконец податями, поставкою рекрут и работников в гавани, крепости и на корабельное строение»

Царевич недолго утешался этими известиями. 19 марта 1717 года приехал в Вену капитан гвардии Александр Румянцев с тремя другими офицерами: им велено было схватить Алексея и отвести в Мекленбург; а между тем Веселовский уже узнал, что молодой знатный русский, приехавший в Вену под именем Коханского, отправлен в тирольскую крепость Эренберг. Румянцев отправился в Тироль для обстоятельного разузнания, где Алексей, а Веселовский начал действовать дипломатическим путем. Он добился свидания с принцем Евгением и объявил ему, что Коханский живет в Тироле под покровительством цесаря, а царское величество об этом ничего не знает, что может почесть знаком неприязни к себе. «Ничего не знаю, – отвечал Евгений, – но хотя бы цесарь и действительно дал ему убежище в своих землях для безопасности, то это будет только безопасность, а не протекция; совесть не допустит цесаря возбуждать сына против отца и приводить их на большую ссору; но, быть может, цесарь постарается утолить уже существующую злобу, в чем царское величество может быть твердо обнадежен». При другом свидании принц объявил Веселовскому, что цесарь ничего не знает о Коханском. В апреле возвратился Румянцев из Тироля с известием, что царевич там, в крепости Эренберг. Тогда Веселовский на приватной аудиенции подал цесарю царскую грамоту и объявил, что царскому величеству очень чувствительно будет слышать, как цесарские министры отвечали, что известной особы в цесарских владениях нет и цесарь об ней не знает, а теперь получено достоверное известие, что особа живет в Эренберге на цесарском содержании; так не угодно ли будет цесарю по своему праводушию исполнить требование царского величества. Император отвечал, что ему не донесено о пребывании в его землях известной персоны. Потом началась проволочка времени: цесарь обещал отвечать сам на царскую грамоту и под разными предлогами не отвечал.

Когда при венском дворе узнали, что местопребывание царевича открыто русскими, то в Эренберг отправлен был секретарь Кейль известить Алексея, в каком положении его дело, и предложить ему на выбор – или возвратиться к отцу, или переехать подальше, в Неаполь. Царевич с радостью согласился на последнее, умоляя только не выдавать отцу. В Вене предвидели это решение, предвидели следствия, опасность для Австрии со стороны раздраженного царя, и спешили обратиться за помощью к врагу Петра, Георгу английскому, предложить ему вопрос: намерен ли он, как курфюрст и как родственник брауншвейгского дома, защитить принца? При этом выставлялось бедственное положение доброго царевича, ясное и постоянное тиранство отца, не без подозрения яда и подобных русских *галантерей* .

Царевич немедленно выехал из Эренберга с секретарем Кейлем и Афросиньей, переодетой пажом. Но Румянцев снова был в Тироле и следил за царевичем до самого Неаполя, куда Алексей приехал 6 мая и через два дня был помещен в крепости Сен-Эльмо. Петру император послал оскорбительно уклончивый ответ; заявляя свою преданность царю и царскому дому, император писал, что будет стараться, чтоб Алексей не впал в неприятельские руки, но был наставлен сохранить отеческую милость и последовать стезям отцовским по праву своего рождения.

Видя, что в Вене решились укрывать Алексея и не выдавать, Петр отправил к императору тайного советника Петра Андреевича Толстого и того же капитана Румянцева, дав им 1 июля в Спа такой наказ: «1) ехать им в Вену и, приехав, просить у цесаря приватной аудиенции и при оной подать нашу грамоту и изустно предлагать, что мы подлинно известились через посланного нашего, капитана Румянцева, что сын наш Алексей, не хотя быть послушен воли нашей и быть в кампании военной с нами в прошлом году, проехал в Вену, и там принят под протекцию цесарскую, и отослан тайно ж в тирольской замок Эренберг, и там несколько месяцев задержан за крепким караулом. И хотя наш резидент от его цесарского величества и чрез министров его домогался о пребывании его ведать и потом и грамоту нашу самому ему подал, но на то никакого ответа не получил; но противно тому вместо удовольствия на наше чрез ту грамоту прошение отослан сын наш из того замка наскоро и за крепким караулом в город Неаполь и содержится там в замке же за караулом. И что нам чувственнее всего, то есть, что его цесарское величество на то наше прошение ни письменно, ни изустно никакого ответа явственно не учинил, но зело в темных терминах к нам чрез свою собственноручную грамоту токмо ответствовал, в которой не токмо иного чего, но ниже о его пребывании в своей области не объявил. И для чего так изволят цесарское величество с нами поступать неприятно, о том требовать декларации. 2) Ежели станет цесарь отречься неведением о пребывании сына нашего, и им говорить, что тому невозможно быть: ибо не токмо он, капитан, яко очевидец, но уже и вся Европа о том ведает, что он в его области и как принят и из одного места в другое перевезен, как выше объявлено, и может быть, что уже и из Неаполя куда вывезен в другое место, однакож ведаем, что то без его воли учиниться не может; и ежели в том он, цесарь, упорно стоять будет, что он не ведает, где он, то объявить, что мы из того уже самую его неприязнь к себе и некоторую противную интенцию видим и против того свои меры брать принуждены будем. И ежели иной резолюции от него не получают, то о том доносить нам, не отъезжая; а притом разведывать всякими образы сына нашего о пребывании и искать цесаря склонить к вышеписанному всякими образы и через министров его, показуя из того злыя следования, и прочая. 3) Буде же цесарь станет говорить, что сын наш отдался под его протекцию, и что не может его противно воли его выдать, и что он к тому не склонен, чтоб к нам возвратиться, и иныя отговорки и опасения затейныя будет объявлять, то представлять, что нам не может то иначе, как чувственно быть, что он хочет меня с сыном судить, чего у нас и с подданными чинить необычайно, но сыну надлежит повиноваться во всем воле отцовой; а мы, яко самодержавный государь, ничем ему, цесарю, не подчинены, и вступаться ему в то не надлежит, но надлежит его к нам отослать; а мы, яко отец и государь, по должности родительской его милостиво паки примем и тот его поступок простим и будем его наставлять, дабы, оставя свои прежние непотребные поступки, поступал в пути добродетели и последовал нашим намерениям, и так может привратить к себе паки наше отеческое сердце; и тем его цесарское величество покажет и над ним милость и заслужит себе и от бога воздаяние и от нас благодарение; а и от него, сына нашего, будет за то вечно возблагодарен, нежели за то, что он ныне содержится в его области, яко невольник или какой злодей, за крепким караулом и под именем некотораго бунтовщика, графа венгерского, к предосуждению нашей чести и имени. 4) Буде станет говорить о жалобах его, как от него сына моего или от

других внушено, будто было ему какое от нас принуждение, то объявлять, что то все самая ложь, а особливо ссылаться на письмо то, которое я ему из Копенгагена писал, что оное цесарь видел ли? и буде не видал, чтоб велел взять и сам выразумел, из чего явно усмотрит, что неволи не было; и ежели б неволею я хотел делать, то б на что так писать? и силою б мог сделать, и кроме письма. Но понеже мы желали, чтоб он, сын наш, последовал нашим стезям и обучался как воинским, так и политическим делам, и он не имел к тому никакого склонения и токмо склонен был к обхождению с худыми людьми, того ради мы его всякими образы, и добродетелью, и угрозами, трудились на путь добродетелей привести, что оный, приняв за противно и, может быть, от кого наговорен к самой своей гибели, такое намерение восприял; и что, чаю, его цесарскому величеству самому и цесареве его известно, как он с сестрою ее величества, супругою своею обходился, и потому могут и о других рассуждать. И наконец, стараться им всяким образом и домогаться, дабы его цесарь с ним к нам послал, и употреблять в том и ласку и угрозы, по состоянию дела смотря; а буде в том весьма откажут, то домогаться, чтоб по последней мере пустил их к сыну нашему, дабы они могли с ним видеться, объявляя, что они имеют от нас к нему и на письме, и на словах такие предложения, что, чаю, оному будут приятны и сам на то склонится и просить его цесарское величество будет, чтобы отпустил его к нам. 5) Но буде паче чаяния и в том под каким-нибудь претекстом и отговорками цесарь откажет и их весьма с сыном нашим видеться не допустит, то протестовать нашим именем и объявлять, что мы сие примем за явный разрыв и показанное нам неприятство и насилие и будем пред всем светом в том на него, цесаря, чинить жалобы и искать будем неслыханную и несносную нам и чести нашей учиненную обиду отметить. И домогаться о том от него на письме ответу ясного и чрез мемориалы, для чего он так чинит? Однако ж, не описавшись к нам и без указа, не отъезжать. 6) Буде позволит им с сыном нашим видеться, и им ехать, где он, сын наш, обретается, и подать ему наше письмо и изустно говорить ему то, что им приказано, тако ж и сие объявлять, какое он нам тем своим поступком бесславие, обиду и смертную печаль, а себе бедство и смертную беду нанес, и что он то учинил напрасно и безо всякой причины, ибо ему от нас никакого озлобления и неволи ни к чему не было, но все на его волю мы полагали и никогда б ни к чему, кроме того, что к пользе его потребно было, против воли его не принуждали, и чтоб он рассудил: что он учинил и как ему во весь свой век и в таком странствии и заключении быть? И того б ради послушал нашего родительского увещания, возвратился к нам; а мы ему тот поступок родительски простим, и примем его паки в милость нашу, и обещаем его содержать отечески во всякой свободе и милости и довольстве, безо всякого гнева и принуждения, употребляя, впрочем, удобь вымышленные к тому рации и аргументы. И ежели он к тому склонится, то требовать, чтоб он о том объявил цесарю чрез письмо и просил бы его об отпуске к нам, також и приставникам своим то свое намерение объявил. И, получа то письмо, ехать к цесарю и домогаться об отпуске его безотступно и трудиться, чтоб его привезть с собою к нам. 7) Буде же к тому весьма он, сын наш, не склонится, то объявить ему именем нашим, что мы за то его преслушание предадим его клятве отеческой, також и церковной и объявим во все государство наше и в прочие то его непокорство и чтоб он рассудил, какой ему живот будет? Ибо, кроме того, не думал бы он, чтоб мог быть безопасен: разве что вечно в заключении и за крепким

караулом захочет быть, и так и душе своей в будущем, и телу и в сем веке мучение заслужит. Инако же не оставим его мы всяким способом искать за то его непокорство наказать, и буде иного способа не найдем, то и вооруженною рукою цесаря к выдаче его принудим, и чтоб он рассудил, что ему из того потом последовать будет? И ежели он на то все не склонится, то его спрашивать о его намерении, когда он на то ни на что не склоняется, дабы он объявил для донесения нам. И что он объявит, о том писать и ожидать от нас указу».

К сыну Петр написал: «Понеже всем есть известно, какое ты непослушание и презрение воле моей делал и ни от слов, ни от наказания не последовал наставлению моему; но, наконец обольстя меня и заклинаясь богом при прощении со мною, потом что учинил? Ушел и отдался, яко изменник, под чужую протекцию! Что не слыхано не точию между наших детей, но ниже между нарочитых подданных. Чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил! Того ради посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чем тебе господин Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Буде же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаюсь богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей слушаешь и возвратишься. Буде же сего не учинишь, то, яко отец, данною мне от бога властью проклиная тебя вечно; а яко государь твой, за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцову, учинить, в чем бог мне поможет в моей истине. К тому помяни, что я все не насильством тебе делал; а когда б захотел, то почто на твою волю полагаться? Что б хотел, то б сделал».

Толстой и Румянцев приехали в Вену 26 июля и на третий день были у цесаря вместе с Веселовским на приватной аудиенции. Карл VI выразил сожаление, что грамота его показалась царю неясною, и обещал дать ответ, который удовлетворит царскому величеству. В это время в Вене жила герцогиня вольфенбительская, теща императора и царевича. Толстой отправился к ней, был принят ласково и показал ей в немецкой копии письмо государя к сыну. Герцогиня, прочтя письмо, сильно смутилась и обещала по близкому свойству искать всех способов, «чтоб сделать славное дело – такого великого монарха примирить с сыном его». Толстой отвечал, что примирения никакого тут быть не может, кроме того, чтоб цесарь отослал царевича с ним, Толстым, к отцу: в таком случае царь его простит, а иначе предаст проклятию. «Избави боже, чтоб до этого не дошло, – отвечала герцогиня, – потому что эта клятва падет и на внучат моих». Толстой написал царю: «Что герцогиня говорит, будто не ведают они, где ныне царевич обретается: сие, мнится мне, говорят для того, чтоб, не объявляя о пребывании его в землях цесарских, стараться примирить его с вами. А я по моей рабской должности доношу вашему величеству мое слабое мнение, что цесаря в посредстве такого примирения допускать небезопасно: понеже бог ведает, какие он кондиции предлагать будет! К тому ж между вашим величеством и сыном вашим какому быть посредству? Сие может называться больше насильством, а не посредством».

Император отдал трудное дело на рассмотрение троих министров – графа Цинцендорфа, графа Штаренберга и князя Траутсона. Министры, собравшись в тайной конференции, положили: 1) объявить Толстому, что царевича приняли, желая оказать услугу царю, чтоб Алексей не попался в неприятельские руки; обходятся с ним не как с арестантом, но как с принцем; отцовское письмо будет

сообщено царевичу, и если он не захочет возвратиться, то позволено будет Толстому ехать в Неаполь для переговоров с ним. В этих пересылках и переписках выиграется время, и, смотря по тому, как кончится нынешний поход царя, можно будет говорить с ним смелее или скромнее. 2) Это происшествие очень важно и опасно, потому что царь, не получив удовлетворительного ответа, может с многочисленными войсками, расположенными в Польше по силезской границе, вступить в Силезию и там остаться до выдачи ему сына; а по своему характеру может ворваться и в Богемию, где волнующаяся чернь легко к нему пристанет. 3) Необходимо как можно скорее найти средство к отпору, особенно заключением союза с королем английским. 4) Наконец, не надобно терять ни минуты в бездействии.

Император одобрил мнение конференции, и граф Цинцендорф объявил Толстому и Румянцеву, что цесарь отправит к царевичу курьера и будет своим письмом склонять его, чтоб возвратился к отцу, а неволею послать его будет предосудительно для цесарской власти, противно всесветным правам и будет знаком варварства. Толстой испугался мысли, что как скоро Алексей узнает, что убежище его открыто, то выедет из цесарских владений, и потому начал настаивать, чтоб курьера не посылали, а отправили его, Толстого, в Неаполь. Герцогиня вольфенбительская советовала Толстому ехать в Неаполь и обещала писать царевичу, уговаривать его возвратиться к отцу. «Я натуру царевичеву знаю, – говорила она, – и думаю, что царское величество изволит трудиться напрасно, принуждая его к военным делам, потому что он лучше желает иметь в руках своих четки, чем пистолеты; только горюю я сильно, чтоб немилость и клятва царского величества на внука моего не упала».

Толстому и Румянцеву позволено было отправиться в Неаполь. 24 сентября приехали они в этот город и 26 виделись с царевичем в доме вице-короля графа Дауна. «Мы нашли его в великом страхе, – доносит Толстой, – о чем, ежели подробно вашему величеству доносить, потребно будет много времени и много бумаги; но кратко доносим, что был он в том мнении, будто мы присланы его убить; а больше опасался капитана Румянцева, о чем нам сказывал вицерой; того ради в тот час не учинил нам ни какого ответа, кроме того, что уехал он без воли вашего величества под протекцию цесарскую, опасаясь вашего гнева, будто ваше величество, изволя отлучить его от наследства короны российской, изволил принуждать к пострижению, а о возвращении своем говорил: „Сего часа не могу о том ничего сказать, понеже надобно мыслить о том гораздо“». 28 числа было второе свидание: царевич объявил, что боится ехать к отцу, явиться пред его разгневанным лицом вскоре, а почему возвратиться не смеет, о том объявит протектору своему, цесарскому величеству. Толстой и Румянцев начали угрожать ему жестоко, объявили, что царь будет доставать его и вооруженною рукой. Царевич смутился, вызвал вице-короля в другую комнату и говорил с ним несколько времени; потом вышел и сказал, чтоб ему дали время на размышление. «Может быть, – сказал он, – напишу что-нибудь в ответ батюшке на его письмо и тогда уже дам окончательный ответ». «Сколько можем видеть, – доносил Толстой, – многими разговорами с нами только время продолжает, а ехать к вашему величеству не хочет, и не чаем, чтоб без крайнего принуждения поехал. Также доносим вашему величеству, что вицерой великое прилежание чинит, чтоб царевич к вашему величеству поехал, и сказал нам в конфиденции, что он получил

от цесаря саморучное письмо, дабы всеми мерами склонять царевича, чтоб поехал к вашему величеству, а по последней мере куды ни есть, только б из его области немедленно выехал: понеже цесарь весьма нехочет неприятства с вашим величеством. Понеже, государь, между царевичем и вицероем в пересылках один токмо вицероев секретарь употребляется, с которым мы уже имеем приятство и оному говорили, обещая ему награждение, дабы он царевичу, будто в конфиденцию, сказал, чтоб не имел крепкой надежды на протекцию цесарскую, понеже цесарь оружием его защищать не будет и не может при нынешних случаях, понеже война с турками не кончилась, а с гишпанцами начинается, что оный секретарь обещал учинить».

В то же время Толстой писал в Вену Авраму Веселовскому: «Мои дела в великом находятся затруднении: ежели не отчаится наше дитя протекции, под которою живет, никогда не помыслит ехать. Того ради надлежит вашей милости тамо во всех местах трудиться, чтоб ему явно показали, что его оружием защищать не будут, а он в том все свое упование полагает. Мы долженствуем благодарить усердие здешнего вицероя в нашу пользу, да не может преломить замерзлого упрямства. Сего часу не могу больше писать, понеже еду к нашему зверю, а почта отходит». «Замерзлое упрямство» было переломлено такими средствами: граф Даун по письму императора должен был употреблять все меры к тому, чтоб царевич согласился ехать к отцу. Но сначала все старания его оставались тщетными, потому что царевич опирался на обещание покровительства, данного императором. Вице-король обратился к Толстому за советом, что ему делать? Толстой отвечал: «Говорите ему, что цесарь оружием защищать его не будет, потому что причины не имеет: цесарь обещал ему покровительство, но уже исполнил свое обещание, покровительствовал ему до тех пор, пока царь обещал ему свое прощение, если он только с повинованием возвратится; теперь цесарь уже не имеет никакой обязанности держать его, ибо ясно, что он по упрямству только своему не хочет ехать к отцу; с какой стати цесарь будет из-за него вести несправедливую войну с царем, находясь и без того в войне с двух сторон? и ежели дойдет до войны, то принужден будет и против воли его выдать отцу». «Так сурово говорить ему не могу», – сказал Даун. Потом объявил Толстому: «Я намерен его постращать, будто хочу отнять у него женщину, которую он при себе держит (Афросинью)». Это сделать Даун мог по своим инструкциям, ибо в Вене воображали, что царь больше всего сердит на сына за Афросинью, удаление которой могло служить лучшим средством к примирению. Но Толстому это средство понравилось по другим причинам. «Я ему то делать советовал, – писал Толстой к одному из министров, – для того, чтоб царевич из того увидал, что цесарская протекция ему не надежна и поступают с ним против его воли. А потом увещал я секретаря вицероева, который во всех пересылках был употреблен и человек гораздо умен, чтоб он, будто за секрет, царевичу сказал все вышеписанные слова, которые я вицерою советовал царевичу объявить, и дал тому секретарю 160 золотых червонных, обещая ему наградить вперед, что оный секретарь и учинил. И, возвратясь от царевича, привез ко мне его письмо, прося меня, чтоб я к нему приехал один, что я немедленно и учинил. И, приехав, сказал ему, будто я получил от царского величества саморучное письмо, в котором будто изволил ко мне писать, что, конечно, доставать его намерен оружием, ежели вскоре добровольно не поедет, и что войска свои в Польше держит, чтоб их вскоре

поставить на зимовые квартиры в Силезию, и прочая, что мог вымыслить к его устрашению; а наипаче то, будто его величество немедленно изволит сам ехать в Италию. И сие слово ему толковал, будто сожалея о нем, что когда его величество сюда приедет, то кто может возбранить его видеть и чтоб он не мыслил, что сему нельзя сделаться, понеже нималого в том затруднения нет, кроме токмо изволения царского величества: а то ему и самому известно, что его величество давно в Италию ехать намерен, а ныне наипаче для сего случая всемерно вскоре изволит поехать. И так сие привело его в страх, что в том моменте мне сказал, еже всеконечно ехать к отцу отважится. И просил меня, чтоб я назавтра к нему приехал купно с капитаном Румянцевым: „Я-де уже завтра подлинный вам учиню ответ“. И с этим я от него поехал прямо к вицерою, которому объявил, что было потребно, прося его, чтоб немедленно послал к нему сказать, чтоб он девку от себя отлучил, что он, вицерой, и учинил: понеже выразумел я из слов его (царевича), что больше всего боится ехать к отцу, чтоб не отлучил от него той девки. И того ради просил я вицероя учинить предреченный поступок, дабы с трех сторон вдруг пришли к нему противные ведомости, т.е. что помянутый секретарь отнял у него надежду на протекцию цесарскую, а я ему объявил отцов к нему вскоре приезд и прочая, а вицерой – разлучение с девкою. И когда присланный от вицероя объявил ему разлучение с девкою, тотчас ему сказал, чтоб ему дали сроку до утра: „А завтра-де я присланным от отца моего объявлю, что я с ними к отцу моему поеду, пред-ложу им только две кондиции, которые я уже сего дня министру Толстому объявил“. А кондиции те: первая, чтоб ему отец позволил жить в его деревнях; а другая, чтоб у него помянутой девки не отнимать. И хотя сии государственные кондиции паче меры тягостны, однакож я и без указа осмелился на них позволить словесно. А когда мы назавтра к нему с капитаном Румянцевым приехали, он нам тотчас объявил, что без прекословия едет купно с нами, и притом нас просил, чтобы мы ему исходатайствовали у отца той милости, дабы повелел ему на оной девке жениться, не доезжая до С.-Петербурга. О сем я его величеству мое слабое мнение доношу: ежели нет в том какой противности, чтоб изволил ему на то позволить, для того что он тем весьма покажет себя во весь свет, еже не от какой обиды ушел, токмо для той девки; другое цесаря весьма огорчит, и уже никогда ему ни в чем верить не будет; третье, что уже отъимет опасность о его пристойной женитьбе к доброму свойству, отчего еще и здесь небезопасно. Мне мнится, что сие ничему предбудущему противно не будет, но и в своем государстве покажется, какого он состояния. А когда благоволит бог мне быть в С.-Петербурге, уже безопасно буду хвалить Италию и штрафу за то пить не буду; понеже не токмо действительный поход (царя), но и одно намерение быть в Италии добрый эффект их величествам и всему Российскому государству принесло».

3 октября Толстой известил Петра, что царевич согласился ехать в Россию; достигнув так неожиданно скоро своей цели, Толстой боялся, чтоб добыча как-нибудь не ушла из рук, и потому писал царю: «Благоволи, всемилостивейший государь, о возвращении к вам сына вашего содержать несколько времени секретно для того: когда это разгласится, то опасно, чтобы кто-нибудь, кому это противно, не написал к нему какого соблазна, отчего может, устрашась, переменить свое намерение». 4 октября царевич сам написал отцу в тревожном состоянии духа, что выразилось в письме: «Всемилоостивейший государь

батюшка! Письмо твое, государь милостивейший, через господ Толстого и Румянцева получил, из которого, также изустного, мне от них милостивое от тебя, государя, мне, всякие милости недостойному, в сем моем своевольном отъезде, будет я возвращуся, прощение, о чем со слезами благодаря и припадая к ногам милосердия вашего, слезно прошу о оставлении мне преступлений моих, мне, всяким казням достойному. И, надеясь на милостивое обещание ваше, полагаю себя в волю вашу и с присланными от тебя, государя, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в С.-Петербург. Всенижайший и непотребный раб и недостойный назваться сыном Алексей».

Но царевич не прямо отправился из Неаполя в Петербург; он потребовал, чтоб ему дали прежде съездить в Бари поклониться мощам св. Николая. Толстой и Румянцев поехали вместе с ним в Бари. Возвратясь оттуда в Неаполь, они 14 октября выехали из этого города по дороге в Рим. Толстой и Румянцев дали знать царю, что Алексей неотступно требует, чтоб они выпросили ему позволения обвенчаться на Афросинье до приезда в Петербург, и под предлогом, что хочет осматривать Рим, Венецию и другие города, будет медлить в дороге, дожидаясь на самом деле указа о женитьбе, чтоб поэтому принять свои меры. Царь 17 ноября из Петербурга отвечал сыну на его письмо из Неаполя от 4 октября: «Письмо твое я здесь получил, на которое отвечаю: что просишь прощения, которое уже вам пред сим чрез господ Толстова и Румянцева письменно и словесно обещано, что и ныне подтверждаю, в чем будь весьма надежен. Также о некоторых твоих желаниях писал к нам господин Толстой, которые также здесь вам позволят, о чем он вам объявит. Петр». Толстому и Румянцеву Петр писал: «Мои господа! Письмо ваше я получил, и что сын мой, поверя моему прощению, с вами действительно уже поехал, что меня зело обрадовало. Что же пишете, что желает жениться на той, которая при нем, и в том весьма ему позволит, когда в наши края приедет, хотя в Риге, или в своих городах, или хотя в Курляндии у племянницы в доме; а чтоб в чужих краях жениться, то больше стыда принесет. Буде же сомневается, что ему не позволят, и в том можем рассудить: когда я ему так великую вину отпустил, а сего малого дела для чего мне ему не позволить? О чем и наперед сего писал, и в том его обнадежил, что и ныне паки подтверждаю; также и жить где похочет в своих деревнях, в чем накрепко моим словом обнадежьте его».

Толстого очень беспокоил проезд через Вену; но царевич непременно хотел остановиться в этом городе, чтобы поблагодарить императора. Неизвестно, какими средствами дело было устроено так, что царевич согласился проехать Вену тайком, не выдавшись с императором. Карл VI заключил из этого, что Толстой и Румянцев нарочно не допустили царевича до свидания с ним, боясь, чтоб Алексей не переменил своего намерения ехать к отцу, заключил, что его везут неволею. Узнавши, что царевич поехал на Брюн, император послал секретное предписание моравскому генерал-губернатору задержать под каким-нибудь предлогом Алексея, видеться с ним наедине и допытаться, как его уговорили ехать к отцу, не было ли употреблено принуждения, точно ли устранены причины подозрения и страха, заставившие его отдаться под покровительство императора. Если царевич скажет, что не желает ехать дальше, то отвести ему удобное помещение и смотреть, чтоб люди его чего-нибудь с ним не сделали. Толстой не пустил генерал-губернатора к царевичу и требовал, чтоб их

отпустили немедленно; генерал-губернатор не отпускал и послал в Вену за инструкциями. Здесь решили, что всего лучше избавиться от царевича с сохранением приличия; надобно желать, чтоб он не изменил своего намерения возвратиться к отцу; император сделал все, что предписывали великодушие, честь, родство; царевич сам не захотел воспользоваться этим. Продолжать ему покровительствовать при непостоянстве его и угрожающей государству опасности от царя было бы безрассудно; у царевича нет настолько ума, чтоб можно было надеяться от него какой-нибудь пользы. Генерал-губернатор должен непременно видеть царевича и сказать ему приветствие, может употребить для этого даже и силу. Если царевич при этом опять будет просить покровительства, то объявить ему, что он свободен делать все, что ему угодно. Силу употреблять было не нужно: генерал-губернатор был допущен к царевичу и объявил, что императору было бы приятно видеться с его высочеством и он удивляется, почему царевич не захотел этого. Алексей извинял себя грязным видом после путешествия и неимением приличного экипажа и сказал, что поручил резиденту Веселовскому изъявить свою благодарность императору. Царевич сам не входил в дальнейшие изъяснения; говорить с ним наедине генерал-губернатору было невозможно: Толстой и Румянцев стояли близко и внимательно слушали разговор. После генерал-губернаторского комплимента путешественники немедленно отправились в путь и приехали в Россию без дальнейших приключений. 31 января 1718 года царевич уже был в Москве. Афросинья отстала от него еще за границу по причине беременности.

Отец приехал в Россию прежде сына. В другой раз возвращался Петр из продолжительного заграничного путешествия не на радость себе. В первый раз возвратился он, услышав, что семя Ивана Михайловича Милославского растет, и поднял страшный стрелецкий розыск. Казалось, вредное семя было вырвано: Софья умерла в монастыре, стрельцы исчезли, вместо них явилось новое войско – полтавское войско и гангутский флот; замыслы астраханских раскольников, донской голутьбы, гетмана Мазепы не удались. Прошло много лет, исполненных великих трудов, страшных бедствий и неожиданной славы. Новое семя, казалось, брошено было на плодоносную почву и обещало богатую жатву. Русский флаг победоносно развевался на Балтийском море; Рига, Ревель, Финляндия были покорены; царь добивал шведа на чужой земле, из Дании устраивал высадку в Швецию, сцена русского дипломатического действия охватила всю Европу, русские интересы переплелись с интересами Германии, Англии, Франции. Кто мог вообразить что-нибудь подобное лет восемь тому назад? И вдруг известие, что семя Ивана Михайловича Милославского выросло опять и теперь выросло в родном сыне царя. Царевич ушел из России, отдался под покровительство чужого государя, жалуясь на тиранство отца, позоря его дела, выставя в черном свете людей близких. До сих пор по Европе шла слава великого царя, теперь пошло бесславие, семейный недуг открылся перед всеми, сын позвал отца на суд перед Европою. Беглец возвращается; но трудное и страшное дело впереди: как поступить с ним? Об исправлении, перемене думать больше нечего; до бегства было только упрямство, неповиновение, теперь обнаружилась уже вражда, не допускающая примирения; оставить Алексея жить спокойно в деревнях его – значит оставить непримиримого врага своему дому, будущему России, жене и детям. Но это еще не все: мог ли Алексей при его характере решиться один на

исполненное им дело? Тут должны быть советники. Кто они? От домашних царевича дело идти не могло: не такие это люди! Должны быть другие. Кто они? Прежде всего мысленные взоры царя обращаются к монастырю, где живет невольная постриженница, инокиня Елена; там должны были знать; но должны были знать и другие, и ограничивался ли умысел одною Россией, не работали ли тут враги внешние? Алексей должен все открыть; должен быть сильный розыск!

Многим становилось страшно при мысли о розыске. Беспokoились, когда узнали, что царевич скрылся; обрадовались, когда узнали, что он у цесаря. Гофмейстерина при детях царевича мадам Рогэн говорила Афанасьеву: «Слава богу, и вы молитесь; как я слышу, царевич в хорошем охранении у цесаря обретается; пишут ко мне, что он отсюда светлейшим князем изгнан; только он ему после заплатит». Иван Нарышкин говорил: «Как сюда царевич приедет, ведь он там не вовсе будет, то он тогда уберет светлейшего князя с прочими; чаю, достанется и учителю (Вяземскому) с роднею, что он его, царевича, продавал князю». Другие разговоры пошли, когда узнали, что царевич возвращается в Россию. Иван Нарышкин говорил: «Иуда Петр Толстой обманул царевича, выманил; и ему не первого кушать». Говорили, что Толстой подпоил царевича. Князь Василий Владимирович Долгорукий говорил князю Богдану Гагарину: «Слышал ты, что дурак царевич сюда идет, потому что отец посулил женить его на Афросинье? Жолв ему не женитьба! Черт его несет! Все его обманывают нарочно». Кикин сильно встревожился, послал за Афанасьевым и начал ему говорить: «Знаешь ли, что царевич сюда едет?» «Не знаю, – отвечал Афанасьев, – только слышал от царицы; когда была у царевичевых детей, говорила, как царевич в Рим пришел и как встречали». «Я тебе подлинно сказываю, что едет, – продолжал Кикин, – только что он над собою сделал? От отца ему быть в беде, а другие будут напрасно страдать». «Буде до меня дойдет, я, что ведаю, скажу», – сказал Афанасьев. «Что ты это сделаешь? – возразил Кикин. – Ведь ты себя умертвишь. Я прошу тебя, и другим служителям, пожалуй, поговори, чтоб они сказали, что я у царевича давно не был. Куда-нибудь скрыться! Поехал бы ты навстречу к царевичу до Риги и сказал бы ему, что отец сердит, хочет суду предавать, того ради в Москве все архиереи собраны». Афанасьев отвечал, что ехать не смеет, боится князя Меншикова. Потом предложил послать брата своего, и Кикин выхлопотал ему подорожную за вице-губернаторскою подписью; но и брата Афанасьев не послал, чтобы в беду не попасть.

Таким образом, царевич не узнал, что ждет его в Москве. 3 февраля, в понедельник, в Кремлевский дворец собралось духовенство и светские вельможи; явился царь, и ввели царевича без шпаги. Отец обратился к нему с выговорами; тот бросился перед ним на колена, признал себя во всем виновным и со слезами просил помилования. Отец обещал ему милость при двух условиях: если откажется от наследства и откроет всех людей, которые присоветовали ему бегство. Царевич на все согласился и тут же написал повинную: «Понеже, узнав свое согрешение пред вами, яко родителем и государем своим, писал повинную и прислал оную из Неаполя, так и ныне оную приношу, что я, забыв должность сыновства и подданства, ушел и поддался под протекцию цесарскую и просил его о своем защищении. В чем прошу милостивого прощения и помилования». Потом царь вышел с сыном в другую комнату, где царевич открыл ему своих сообщников. После этого все пошли в Успенский собор, где царевич перед

евангелием отрекся от престола и подписал клятвенное обещание: «Я, нижепоименованный, обещаю пред св. евангелием, что понеже я за преступление мое пред родителем моим и государем, его величеством, изображенное в его грамоте и в повинной моей, лишен наследства российского престола, того ради признаваю то за вину мою и недостойнство заправедно и обещаюсь и клянусь всемогущим в троице славимым богом и судом его той воле родительской во всем повиноваться, и того наследства никогда ни в какое время не искать, и не желать, и не принимать его ни под каким предлогом. И признаваю за истинного наследника брата моего, царевича Петра Петровича. И на том целую св. крест и подписуюсь собственною моею рукою».

В тот же день был обнародован царский манифест, в котором, изложив меры, принятые для приличного воспитания Алексея и описав недостойное поведение последнего и бегство, Петр говорил: «Наши посланные употребляли все способы уговорить его к возвращению, как обнадеживаниями, так и угрозами, что мы его вооруженною рукою будем отыскивать и что цесарь из-за него с нами войны вести не захочет. Но он на все это не посмотрел и не захотел к нам ехать до тех пор, пока, видя его упорство, цесарский вице-король цесарским именем ему представил, чтоб он ехал, ибо цесарь ни по какому праву его удерживать не может и при нынешней с турками и испанцами войне с нами за него в ссору вступать не может. Тогда, опасаясь, чтоб нам не выдали его и против воли, согласился к нам ехать. И хотя он, сын наш, за такие противные поступки, особенно за это перед всем светом нанесенное нам бесчестие чрез побег свой и клеветы, на нас рассеянные, как злоречащий отца своего и сопротивляющийся государю своему, достоин был смерти, однако мы, соболезнуя о нем отеческим сердцем, прощаем его и от всякого наказания освобождаем. Однако в рассуждении его недостойнства не можем по совести своей оставить его после себя наследником престола российского, зная, что он своими непорядочными поступками всю полученную по божией милости и нашими неусыпными трудами славу народа нашего и пользу государственную утратит, которую с таким трудом мы получили и не только отторгнутые от государства нашего провинции возвратили, но и вновь многие знатные города и земли получили, также и народ свой во многих воинских и гражданских науках к пользе государственной и славе обучили – то всем известно. Итак, сожалея о государстве своем и верных подданных, дабы от такого властителя в худшее прежнего состояние не были приведены, мы властью отеческою, по которой по правам государства нашего и каждый подданный наш сына своего волен лишить наследства и другому сыну передать, и, как самодержавный государь, для пользы государственной лишаем сына своего Алексея за те вины и преступления наследства после нас престола нашего всероссийского, хотя б ни единой персоны нашей фамилии по нас не осталось. И определяем и объявляем по нас престола наследником другого сына нашего, Петра, хотя еще и малолетнего, ибо иного возрастного наследника не имеем, и заклиная сына нашего Алексея родительскою клятвою, дабы того наследства ни в какое время себе не претендовал и не искал. Желаем же от всех верных наших подданных духовного и мирского чина и всего народа всероссийского, дабы по сему нашему изволению и определению от нас назначенного в наследство сына нашего Петра за законного наследника признавали и почитали и обещанием пред св. алтарем, над св. евангелием и целованием креста утвердили. Всех же тех, кто

сему нашему изволению в которое-нибудь время противны будут и сына нашего Алексея отныне за наследника почитать и ему в том вспомогать станут и дерзнут, изменниками нам и отечеству объявляем».

На другой день, 4 февраля, царевичу были предложены письменные пункты о сообщниках: «Понеже вчерась прощение получил на том, дабы все обстоятельства донести своего побегу и прочего тому подобного; а ежели что утаено будет, то лишен будешь живота; на что о некоторых причинах сказал ты словесно, но лучше очистить письменно по пунктам. Все, что к сему делу касается, хотя что здесь и не написано, то объяви и очисти себя, как на сущей исповеди; а ежели что укроешь и потом явно будет, на меня не пеняй: понеже вчерась пред всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон».

Царевич показал о Кикине, Вяземском, Дубровском, царевне Марье Алексеевне, князе Василии Владимировиче Долгоруком, Афанасьеве, показал не все; показал, что в Неаполе секретарь Кейль принудил его написать в Россию письмо сенаторам и архиереям. «Есть известия, – говорил Кейль, – что вы умерли, по другим известиям, вы пойманы и сосланы в Сибирь, поэтому дайте знать о себе в Россию, а не напишете, то мы не станем вас держать». Царевич написал в Сенат и двоим архиереям, Ростовскому и Крутицкому, в таком смысле: «Думаю, вас и всех удивил мой безвестный отъезд, к которому меня принудило великое озлобление и непорядок, особенно когда в начале прошлого года едва меня не постригли в монахи; но бог дал случай мне уехать, и теперь нахожусь под охраною некоторого великого государя (который обещал меня не оставить и в нужный час помочь), пока господь не повелит возвратиться, при котором случае прошу, не забудьте меня. Если услышите от людей, желающих изгладить обо мне память, что меня в живых нет или случилось со мною какое-нибудь другое несчастье, то не извольте верить».

Кикин не успел скрыться: он был схвачен и приведен к врагу своему Меншикову. Увидавши князя, он спросил его: «Князь Василий Долгорукий взят ли?» «Не взят», – отвечал Меншиков. Тут Кикин сказал: «Нас истязуют, а Долгоруких царевич, пожалев фамилию, закрыл». Истязание началось немедленно, и Кикин признался, что к царевичу хаживал и про отъезд его знал, в Либаве виделся и советовал ехать к цесарю; будучи в Вене, ни о чем не хлопотал и с тамошними министрами ни о чем не говорил; советовал царевичу, если не удастся у цесаря, ехать к папе и в другие места. О пострижении говорил: «Лучше теперь постричься, а наследство ваше впредь благовременно не уйдет; но не говорил, что клобук негвоздем будет прибит. О побеге и чтоб царевичу остаться в чужих краях много раз и в разные времена советовал после смерти крон-принцессы. Когда царевич отъезжал в Карлсбад, то не помнится, советовал или нет прожить три года; и по возвращении из Карлсбада говорил: напрасно оттуда приехал: лучше б отъехать во Францию и там жить; говорил это на слова царевича: „Напрасно я сюда приехал; а когда бог изволит, что буду монархом, тогда вас честью и прочим удовольствием“. Советовал не возвращаться, если отец пришлет за царевичем.

Кикина привезли в Москву, и здесь другая попытка: после 25 ударов кнутом он отвечал на вопросы, зачем советовал именно к цесарю уехать. «Венский двор ему знаком, потому что он в Вене был, и ездил для того, чтобы царевичу путь показать». С Веселовским говорил: «Как будет царевич в Вене, не выдадут ли

его?» Тот отвечал: «Чаю, не выдадут». А подлинного намерения ему не сказывал. На вопрос: «В какую надежду долгое его б (царевича) тамошнее бытѣе (в Вене) было и что потом делать намерены были?» – отвечал: «В такую надежду, что царевич хотел его не оставить; а делать ничего не был намерен, только в Вене прожить». Через несколько дней Кикин попросил чернил и бумаги, чтоб все объявить на письме, и написал уже другое: «Когда поведено ехать царевичу в немецкие земли, тогда мне он говорил, что рад той посылке. Я спросил: „Для чего рад?“ Сказал, что будет жить там, как хочет. Я ему отвечивал: „Надобно смотреть, с чем назад приехать, понеже государь изволит на нем взыскивать дело, за чем он послан“. Сказал мне: „Сколько мочно, стану учиться“. А когда он приехал сюда, сказывал мне, что ему тамошние места полюбились. Я ему говорил, ежели бы он хотел, то бы и государь некоторое еще время велел быть, понеже то и ему было угодно, только б не даром жить. После того времени, увидя я, что приехал он оттуда с тем же, с чем поехал, начал от него отдаляться, и года за два до нынешнего его отъезда был я в его доме разве трижды или четырежды, в чем свидетельствуюсь дому его людьми; и в Карлсбад поехал я, с ним не простясь. А что я ему будто советовал, чтоб идти в то время во Францию, и то явная немилость. И если б то каким образом делано было, и я бы ему объявил; а то делал для него, но он бы о том не ведал, и тому статья нельзя. Да и ни единого случая нималого для знакомости мне двора французского нет и прежде сего не бывало, и не видал ничего тамошнего состояния, как бы мне его посылать и для чего было мне то делать? Понеже не настояло к тому ниже малой причины. А что там живет король английский (изгнанный Стюарт), то он, чаю, от многих сот людей слышал; а я о том с ним истинно не говаривал. Не упамятую, в которое время приехал ко мне царевич до свету; а я у него спросил, для чего так? Сказал мне, что он был у князя Василия Владимировича (Долгорукого) и Федора Матвеевича (Апраксина) для некоторого дела, и говорил мне, чтоб я к нему приехал. И как приехал, сказывал мне, что государь к нему изволил писать. Я ему на то отвечивал (истинно, как пред богом, ответ дам) сим образом, что отец ваш не хочет, чтоб вы были наследником одним именем, но самым делом. Он мне сказал: „Кто же тому виноват, что меня такого родили? Правда, природным умом я не дурак, только труда никакого понести не могу“. Я ему говорил: „Из сих двух дел одно, которое ни есть, сделать надобно“. И спрашивал меня, что ему лучше делать. Я ему отвечал, чтоб постричься, понеже он сам о себе говорит, что никаких дел понести не может. А что клобук гвоздем не прибит, истинно не говаривал. Когда встретился царевич в Либау, как он ехал из Петербурга, тогда пришел ко мне сам на квартиру и спрашивал меня, давно ли я государя видел и не слышал ли чего о нем. Я сказал, что государя видел в Гданску, едуци туды, а о нем ничего не слышал. Сказал мне: „Челом бью и на твоём жаловании“. Я спросил: „На чем?“ Сказал мне: „Правда или неправда, только я слышал“. Я сказал, что ничего не дельвал. И, выпив водки, пошел от меня, а мне приказал, чтоб я не ходил к нему на квартиру, и то, знатно, для своей девки сделал. А на другой день перед отъездом пришел я к нему на квартиру, и тут был у него капитан князь Шаховской и прочие офицеры, а кто не упомяну. И, вышед, отдал письмо капитану Шаховскому; и после того вскорости спросил у меня царевич: „Не посылает ли кого в Петербург нарочно государыня царевна?“ Я ему сказал, что сего дня или завтра поедет. Тогда, вынув письмо из пазухи в другой палате, отдал мне и

говорил, чтоб послать немедленно; и после того в другой раз говорил, что письмо нужное, а ежели Ивана Афанасьева не застанет, чтоб отдал брату его; и я то письмо взял, привез с собою в Петербург и Ивана Афанасьева застал в Петербурге и спрашивал у него: имеет ли он письмо от царевича? Сказал, что имеет, и велит ехать, догоняя за собою немедленно, и поедет вскоре. И как он сказал, что поедет, тогда я оное письмо удержал у себя и после его отъезду на третий день распечатал и, как увидел о таком его намерении, объявить опася, чтоб не привести себя в розыск, понеже явного свидетельства постороннего никакого нет, и хотел видеть, какой тому делу будет конец. А что царевич изволил говорить, будто я его послал в Вену, и то истинно напрасно, по немилости своей: знатно, увидав, что. я еще до отъезда государева в Копенгаген доносил государыне царице и после того в Гданску, когда еще здесь был царевич, доносил государю, и если б в то время, по тому моему доношению повелено было освидетельствовать, тогда ж бы намерение его, то и другое, было явно, понеже и ныне ему в том запереться невозможно, что говорил ему князь Василий Долгорукий, что будто он царевича у государя с плахи снял, и спрашивал у него (Долгорукий), ежели он в чем может царевичу впредь служить, то он рад, хотя б и живот ему свой за него положить. Понеже и князь Яков Федорович (Долгорукий), не знаю для чего, посылал брата моего к царевичу пред его отъездом, чтоб он к государю не ездил, а лучше чтобы постригся. На что брат ему мой отвечивал, что он с такими делами не поедет. И ежели бы я знал про побег в Вену, для чего бы мне Ивану Афанасьеву не сказать, чтоб он ехал за ним? А по возвращении своем из Шверина Иван Афанасьев сказывал мне, что царевич ко мне давно почал быть немилостив. А ежели бы мне готовить место царевичу в Вене, тогда бы я сделал при себе, мочно ли там жить или не примут. А не делав ничего, и посылать: „Поезжай в Вену!“ – сие было бы глупее всякого скота. И если бы я ему советовал ехать куда-нибудь, то надлежало быть между нами цифири и как содержать корреспонденцию. И сами, ваше царское величество, изволите милостиво, божески предусмотреть сего дела: понеже какую ему во мне для своего возвращения назад полагать надежду? А что ему на меня по немилости своей говорить, и тому есть явные причины: первая, что я от него за долгое время отстал; вторая – за доношение мое; и ежели б он мне был надобен, я бы на него и не доносил. И царевич о том известен, что ему ничего не будет; а что скажет, тому верят».

Эта записка, важная в том отношении, что обрисовывает характер писавшего ее, разумеется не могла несколько облегчить участи Кикина, а только могла произвести еще большее против него раздражение в царе. На двух новых пытках Кикин подтвердил прежние показания, а не те, которые подал в записке, и министры приговорили «учинить ему смертную казнь *жестокую* ». Ивана Афанасьева приговорили просто к смертной казни. К смертной же казни был приговорен дьяк Федор Воронов, на которого Афанасьев показал, что знал от него о побеге царевича, объявил готовность служить царевичу и дал Афанасьеву цифирь для ведения переписки.

Кикин напрасно боялся, что князь Василий Владимирович Долгорукий уйдет от беды: Долгорукого схватили в Петербурге и в оковах привезли в Москву. Страшный удар, страшное бесчестие готово было поразить знаменитый род, и старший князь Яков Федорович написал Петру: «Премилосердый государь! Впал я злым несчастием моим в ненавистное богу и человекам имя злодейского рода.

Утверждаюся сердцевицем создателем моим, что весь род мой всегда непоколебимо пребывал в верности. В начале царствования твоего, во время богомерзкого бунта, дядя и брат мой злую смерть приняли за истинную верность к державе вашего величества; потом я с троими братьями в Троицком монастыре и всегда противны злу были, не боясь, явно показывали себя в верной службе вашего величества, готовы были всегда умереть; и в том намерении прежде были и ныне пребываем и должны пребывать до смерти нашей. Недавно в поучении некоем явились непристойные слова; когда я их услышал, то, не устрашась и не рассуждая лица сильного, вменится ли то мне за благо, обличил и явно запретил, за что мне в воздаяние обещана, как и слышу, лютая на коле смерти. Вижу ныне сродников моих, впадших в некоторое погрешение, хотя дела их подлинно не ведаю, однако то ведаю, что никогда они ни в каких злохитрых умыслах не были, чему и причина есть: весь мой род обязан всем высокой милости вашего величества. Разве явилась вина их в каких дерзновенных словах? Известно вашему величеству оное дерзновенное состояние и слабость необузданного языка, который иногда с разумом не согласуется; иногда и то, может быть, необузданный язык произносил, чего никогда и в уме не имел человек. Ино есть дело злое, ино есть слово с умыслом и намерением злым, ино есть слово дерзновенное без умыслу и хотя не безвинное, однако не такой достойное мести, какой достойны злодеи, умыслом виновные. Пусть за такое слово будет тяжко одним виновным; а нас бы, безвинных, во время старости нашей те их вины не губили, ибо нам собою всенародного обычая переменить нельзя: порок одного злодея привязывается и к невинным сродникам. Того ради, падая, яко неключимые рабы, молим: помилуй, премилосердый государь, да не снидем в старости нашей во гроб с именем злодейского рода, которое может не только отнять доброе имя, но и безвременно вервь живота пресечь».

Министры (князь Иван Ромодановский, Шереметев, граф Головкин, Мусин-Пушкин, Стрешнев, адмирал Апраксин, князь Петр Прозоровский, Петр Шафиров, Алексей Салтыков, Василий Салтыков) приговорили: «Если бы на князя Василья показывал не царевич, а другой кто-нибудь, то следовал бы розыск; а поверить вполне словам царевича трудно: царевич сам показывал, что князь Василий относительно побега не был его советником и по совету Кикина написано было к князю Василью письмо для того, чтоб набросить на него подозрение. А за дерзкие слова князь Василий заслуживает быть сосланным с лишением чина и имения». Князь Василий подал объяснение: «Я говорил царевичу: письмо подай немедленно (отцу об отречении от престола) и бояться тебе нечего и по требованию отцову хотя б 10 или 20 писем давать надобно: это не такие письма, как между нашею братьею прежде бывали, с *сеазами* и с неустойкою, и опасаться этого нечего. А может быть, говорил: «Хотя и тысячу писем давай» – того не упомню. А говорил, чтоб его к тому привести, чтоб то письмо подал, конечно, видя, что царскому величеству и государственному интересу надобно». Долгорукий был сослан в Соликамск.

Учитель Никифор Вяземский в показании своем настаивал, что он уже давно в немилости у царевича: в 1711 году в Вольфенбителе, в герцоговом доме, царевич драл его за волосы, бил палкою и сбил с двора; в 1712 году он хотел его убить до смерти под Штетинном, о чем известно князю Меншикову, канцлеру Головкину и другим. Вяземский был сослан в Архангельск.

Одновременно с этим розыском шел другой. Капитан-поручик гвардии Григорий Скорняков-Писарев был отправлен 4 февраля в суздальский Покровский монастырь, где жила инокиня Елена, бывшая царица Евдокия Федоровна. Посланный застал инокиню в мирском платье и в церкви на жертвеннике нашел таблицу, по которой поминали вместе с царем Петром благочестивейшую и великую государыню Евдокию Федоровну. Скорняков-Писарев повез Евдокию в Москву и дал знать о необходимости схватить Абрама Лопухина, князя Семена Щербатого и суздальского протопопа Андрея Пустынного, которые могли показать «многое воровство». Видя беду, Евдокия написала еще с дороги повинную царю: «Всемилоостивейший государь! В прошлых годах, а в котором не упомню, по обещанию своему пострижена я была в суздальском Покровском монастыре в старицы и наречено мне был имя Елена. И по пострижению в иноческом платье ходила с полгода; и не восхотя быть инокою, оставя монашество и скинув платье, жила в том монастыре скрытно, под видом иночества, мирянкую. И то мое скрытие объявилось чрез Григорья Писарева. И ныне я надеюсь на человеколюбивые вашего величества щедроты. Припадая к ногам вашим, прошу милосердия, того моего преступления о прощении, чтоб мне безгодною смертию не умереть. А я обещаюся по-прежнему быти инокою и пребыть в иночестве до смерти своей и буду бога молить за тебя, государя. Вашего величества нижайшая раба, бывшая жена ваша Авдотья».

Монахини Покровского монастыря показали, что к бывшей царице ездил юродивый Михайла Босой, привозил от царевны Марьи Алексеевны деньги и подарки; он же привез ей известие об уходе царевича и пророчествовал, что Евдокия будет взята к Москве. Босой показал, что пророчествовал спроста, об уходе царевича узнал от царевны Марьи, которая говорила, что за границу ему будет лучше, проживет, как в раю, а здесь бы его постригли. Монахиня Маремьяна показала: «Мы не смели говорить царице, для чего она монашеское платье сняла? Она много раз говаривала: „Все наше, государево; и государь за мать свою что воздал стрельцам, ведь вы знаете, а и сын мой из пеленок вывалился“». Маремьяна показала на любовную связь Евдокии с присланным в Суздаль для солдатского набора Степаном Глебовым. Глебов показал: «Как я был в Суздале у набора солдатского, тому лет с восемь или с девять, в то время привел меня в келью к бывшей царице духовник ее Федор Пустынный, и подарков к ней чрез одного духовника прислал я и сшелся с нею в любовь. И после того, тому года с два, приезжал я к ней и видел ее: и я к ней письма посылал о здоровье, и она ко мне присылала ж». Евдокия написала собственною рукою: «Я с ним блудно жила в то время, как он был у рекрутского набора, в том и виновата». Сын Глебова показал, что отец был в дружбе с епископом Ростовским Досифеем, с ключарем Федором Пустынным и с ризничим Петром. Последний показал: «Когда царское величество изволил сочетаться законным браком, приходил к нему в Суздаль подьякон Иван Пустынный и, смеясь, говорил: „Вот бывшая царица все чаяла, что государь ее возьмет и будет она по-прежнему царицею с пророчества епископа Досифея; когда он был архимандритом (новоспасским в Москве), принес к ней две иконы и велел ей пред ними класть по несколько сот поклонов; а Досифей от тех икон будто видел видение, что она будет по-прежнему царицею, и от того она чуть не задушилась, поклоны кладучи“». Досифей показал, что после объявления брака царя с Екатериною Алексеевною приезжал к нему Глебов и говорил: «Для

чего вы, архиереи, за то не стоите, что государь от живой жены на другой женится?» Глебов, кроме любовной связи с Евдокией, ни в чем не признавался. С Досифея сняли епископский сан; на соборе перед архиереями он сказал: «Посмотрите, и у всех что на сердцах? Извольте пустить уши в народ, что в народе говорят; а на имя не скажу». На пытках Досифей, теперь уже расстрига Демид, признался, что поминал Евдокию царицею, как и другие, пророчествовал царице и царевне Марье Алексеевне, желал смерти Петра и воцарения сына его. Певчий царевны Марьи Алексеевны Журавский показал, что Досифей приезжал к царевне и рассказывал о своих видениях, будто государь скоро умрет и будет смущение, пророчествовал, что государь возьмет бывшую царицу и будут у них два детища. Журавский, уведомляя Лопухина о возвращении царевича из-за границы, прибавил о царевне Марье: «Точию снедает ее милостивое сердце от воздыханий всенародных печаль». Журавский показал, что слышал, как царевна говорила Абраму Лопухину о великих податях, о продолжительной войне, о разорении народном; как говорила о царевиче: «Хорошо сделал, что ушел; там ему жить лучше». Журавский оговорил известную нам княгиню Настасью Голицыну, что она переносила вести из государева дома и тужила о возвращении царевича. Абрам Лопухин признался, что желал смерти Петра и воцарения Алексея.

Глебов и Демид были приговорены к *жестокой* смертной казни (Глебов посажен на кол, Демид колесован); Пустынный и Журавский – к обыкновенной смертной казни; другие оговоренные наказаны телесно, не исключая и женщин, и сосланы; некоторые после наказания освобождены. Инокня Елена отправлена в Ладогу в тамошний женский монастырь.

Вместе с главными участниками в деле царевича и царицы был казнен в Москве никем из них не оговоренный подьячий Артиллерийского приказа Ларион Докукин. По фискальскому доношению Докукин в 1714 году был вызван из Москвы в Петербург с приходными и расходными книгами и вследствие такой беды пристал к толпе недовольных, стал жаловаться на гонение из града в град, на лишение домов, торгов, промыслов, на лишение благочестия от лестных учений, от изменения обычаев, платья и слов своего славянского языка, ругательного обещания *персон* своих брэдобритием; стал жаловаться на смешение с иноверными языки, на отнятие древес самых нужных, рыбных ловель, торговых и заводских промыслов, на несносные подати, на то, как пришельцев иноверных всеми благами наградили, а христиан бедных голодом поморили, святые церкви опустошили. В 1715 году в Петербурге на паперти Симеоновской церкви нашли подметное письмо; письмо сожгли, и автора не отыскали: автор был Докукин. Недовольный подьячий сблизился с недовольным царевичем, получил от него богатую милостыню и возвратился в Москву. Сюда в 1718 году привезли царевича, отрешили его от наследства, заставили присягать другому царевичу – Петру. Докукин подписал под присягою: «За неповинное отлучение и изгнание от всероссийского престола царского богом хранимого государя царевича Алексея Петровича христианскою совестью и судом Божиим и пресвятым евангелием не клянусь и на том животворящего креста Христова не целую и собственною своею рукою не подписуюсь; еще к тому и прилагаю малоизбранное от богословской книги Назианзина могущим вняти в свидетельство изрядное, хотя за то и царской гнев на мя произлиется, буди в том воля господя бога моего Иисуса Христа, по

воле его святой за истину аз, раб Христов Иларион Докукин, страдати готов. Аминь, аминь, аминь». Этот присяжный лист и малоизбранное от книги Назианзина Докукин подал самому Петру в церкви 2 марта, в Сборное воскресенье. В «Бедности» (так называлась тюрьма Преображенского приказа) Докукин объяснил: «На присяге подписал своеручно он, Ларион, соболезнуя об нем, царевиче, что он природный и от истинной жены; а наследника царевича Петра Петровича за истинного не признает, потому что хотя нынешняя государыня царица и христианка, но когда государя не будет, а царевич Петр Петрович будет царствовать, и в то время она, царица, сообщится с иноземцами и будет от них христианам спона (вред), потому что она не здешней породы; а то все выписывал и на присяге подписал он один, а пришел с тем явиться, чтоб пострадать за слово Христово». После тройного розыска Докукин был колесован.

Московский розыск кончился. Петр спешил в Петербург, потому что скоро должен был начаться поблизости Аландский конгресс. 11 марта царица Екатерина писала в Петербург Меншикову из Преображенского: «Прошу, прикажите очистить для царевича Алексея Петровича двор бывший Шелтингов, где стоял шведский шаутбейнахт, и, что испорчено, велите починить и полы вымыть и вычистить; также прикажите осмотреть двор и вычистить хоромы для царевны Марьи Алексеевны». Светлейший князь должен был сильно радоваться ходу дела в Москве: враги его – Кикин, Долгорукий – попались. Царь, раздраженный на врагов Меншикова, естественно, станет милостивее к нему. Одно беспокоило Меншикова: какое тяжкое впечатление произведет все это дело на царя, а известно было, как эти впечатления отражаются на расстроенном уже его здоровье. Меншиков писал Екатерине: «Хотя я твердо уповаю, что ваше величество его царское величество от приключившейся печали (которая по воле божией от злодеев, или от сынов дьявольских, наступила) отвлекать изволите, однакоже чрез сие все милостивейшую нашу мать государыню слезно умоляю, дабы от оной его царское величество отвращать, и нималого сокрушения, отчего, как сами, ваше величество, довольно изволите рассудить, что нималой пользы, кроме непотребного его величества здравия и тяжкого вреда, допускать изволили, також и себя о том и ниже какому сумнению отдавать, по превысокомудрым своим рассуждениям все оное уничтожить. Слава богу, что оный крыющийся огонь по его, сотворшего нас, к вашему величеству человеколюбивой милости ясно открылся, которой уже ныне с помощью божиею весьма искоренить и оное злое запаление погашением истребить возможно, о чем паки всенижайший, ваше величество, прошу, дабы как его величество, так и себя не точию какому сокрушению, ниже мнению отдавать изволили, но положить оное в его святую волю».

18 марта царь отправился в Петербург. Царевич был с ним, и ничто еще в это время не предвещало страшной развязки его дела: он жил одним желанием – увидеться с Афросиньей и жениться на ней, о чем в Светлый праздник умолял царицу, упав ей в ноги. В половине апреля Афросинья приехала в Петербург. Она была допрошена и показала, что царевич в Эренберге писал письма по-русски, писал к цесарю с жалобами на государя; говорил ей, что в войске русском бунт, об этом пишут в газетах; что около Москвы волнение – это из прямых писем. Слыша о смуте, царевич радовался, говорил: «Авось либо бог даст нам случай с радостью возвратиться». Из Неаполя также царевич часто писал цесарю жалобы на отца; а

перед приездом Толстого писал к архиерею письмо по-русски; а первые письма писал к двум архиереям не в крепости Эренберге, а еще на квартире. Прочтя в газетах, что меньшой царевич болен, говорил ей: «Вот видишь, что бог делает: батюшка делает свое, а бог свое!» Говорил, что ушел оттого, будто государь искал всячески, чтоб ему живу не быть; сказывал ему Кикин, будто он слышал, как о том говорил государю князь Василий Долгорукий. Говорил о сенатах. «Хотя батюшка и делает, что хочет, только как еще сенаты похотят, чаю, сенаты и не сделают, что хочет батюшка». Письмо к архиереям писал для того, что в Петербурге их подметывать, а иные и архиереям подавать. Говаривал: «Я старых всех переведу и изберу себе новых по своей воле: когда буду государем, буду жить в Москве, а Петербург оставлю простым городом; корабли держать не буду; войско стану держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хочу, буду довольствоваться старым владеньем, зиму буду жить в Москве, а лето в Ярославле». Читая в газетах о каких-нибудь видениях или известиях, что в Петербурге тихо и спокойно, говаривал, что видения и тишина недаром: «Может быть, отец мой умрет или бунт будет; отец мой не знаю за что меня не любит и хочет наследником сделать брата моего, а он еще младенец, и надеется отец мой, что жена его, моя мачеха, умна и когда, сделавши это, умрет, то будет бабье царство! И добра не будет, и будет смятение: иные станут за брата а иные за меня». Когда Толстой приехал в Неаполь, то царевич хотел из цесарской протекции уехать к папе римскому, но Афросинья его удержала. Когда уже решился ехать к отцу, отдал ей письма черные, которые писал к цесарю с жалобами на отца, и велел их сжечь; а когда еще те письма не были сожжены, приходил к царевичу секретарь вицероя неаполитанского, и царевич из тех писем сказывал ему некоторые слова по-немецки, и он, секретарь, записывал и написал один лист, а писем было всех листов с пять».

Эти показания дали другой оборот делу. Царевичу были выставлены неполнота и неправильность его прежних показаний. Алексей дал дополнительные показания, указал известные нам лица, к нему расположенные, на которых он надеялся. Петр спрашивал сына: «Когда слышал, будто бунт в Мекленбургии в войске, радовался и говорил: бог не так делает, как отец мой хочет; а когда радовался, то, чаю, не без намерения было: ежели б впрямь то было, то, чаю, и пристал бы к оным бунтовщикам и при мне?» Алексей отвечал: «Когда б действительно так было, бунт в Мекленбургии, и прислали бы по меня, то бы я с ними поехал; а без присылки поехал ли или нет, прямо не имел намерения; а паче и опасался без присылки ехать. А чаял быть присылке по смерти вашей для того, что писано, что хотели тебя убить, и, чтоб живого тебя, отлучили, не чаял. А хотя б и при живом прислали, когда б они сильны были, то б мог и поехать».

Все было сказано. Перед Петром не был сын неспособный и сознающий свою неспособность, бежавший от принуждения к деятельности и возвратившийся с тем, чтоб погребсти себя в деревне с женщиною, к которой пристрастился. Перед Петром был наследник престола, твердо опиравшийся на свои права и на сочувствие большинства русских людей, радостно прислушивавшийся к слухам о замыслах, имевших целью гибель отца, готовый воспользоваться возмущением, если бы даже отец и был еще жив, лишь бы возмутившиеся были сильны. Но этого мало: программа деятельности по занятии отцовского места уже начертана: близкие к отцу люди будут заменены другими,

все пойдет наоборот, все, что стоило отцу таких трудов, все, из-за чего подвергался он таким бедствиям и наконец получил силу и славу для себя и для государства, все это будет ниспровергнуто, причем, разумеется, не будет пощады второй жене и детям от нее. Надобно выбирать: или он, или они; или преобразованная Россия в руках человека, сочувствующего преобразованию, готового далее вести дело, или видеть эту Россию в руках человека, который с своими Досифеями будет с наслаждением истреблять память великой деятельности. Надобно выбирать; среднего быть не может, ибо заявлено, что клобук не гвоздем будет к голове прибит. Для блага общего надобно пожертвовать недостойным сыном; надобно одним ударом уничтожить все преступные надежды. Но казнить родного сына! Сначала Петр в Москве был склонен снисходительно смотреть на сына; в нем видно было желание оправдать Алексея через обвинение других. Царь говорил Толстому: «Когда б не монахиня, не монах и не Кикин, Алексей не дерзнул бы на такое неслыханное зло. Ой, бородачи! многому злу корень – старцы и попы; отец мой имел дело с одним бородачом, а я – с тысячами. Бог – сердцеведец и судья вероломцам. Я хотел ему блага, а он всегдашний мой противник». Толстой отвечал: «Кающемся и повинующемся милосердие, а старцам пора обрезать перья и поубавить пуха». «Не будут летать скоро, скоро!» – сказал на это Петр.

Но в Петербурге после показаний Афросиньи и новых признаний царевича расположение переменилось. Тяжко было положение Петра при страшном выборе: «Страдаю, а все за отечество, желая ему полезное; враги пакости мне деют демонские; труден разбор невинности моей тому, кому дело сие неведомо, бог зрит правду». Петр не решился на выбор, не решился быть судьей в собственном доме, особенно когда он дал сыну обещание простить его; он созвал знатнейшее духовенство, министров, сенаторов, генералитет и дал им 13 июня следующее объявление; духовенству: «Понеже вы ныне уже довольно слышали о малослыханном в свете преступлении сына моего против нас, яко отца и государя своего, и хотя я довольно власти над оным по божественным и гражданским правам имею, а особливо по правам российским (которые суд между отца и детей и у партикулярных людей весьма отменяют), учинить за преступление по воле моей, без совета других; однакож боюсь бога, дабы не погрешить: ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в их. Також и врачи: хотя б и всех искуснее который был, то не отважится свою болезнь сам лечить, но призывает других. Подобным образом и мы сию болезнь свою вручаем вам, прося лечения оной, боясь вечной смерти. Ежели б один сам оную лечил, иногда бы, не познав силы в своей болезни, а наипаче в том, что я с клятвою суда божия письменно обещал оному своему сыну прощение и потом словесно подтвердил, ежели истинно скажет. Но хотя он сие и нарушил утайкою наиважнейших дел, и особливо замыслу своего бунтовного против нас, яко родителя и государя своего; но, однакож, дабы не погрешить в том, и хотя его дело не духовного, но гражданского суда есть, которому мы оное на осуждение беспохлебное чрез особое объявление ныне же предали, однакож мы, желая всякого о сем известия и вспоминая слово божие, где увещевает в таких делах вопрошать и чина священного о законе божии, как написано во главе 17 второзакония, желаем и от вас, архиереев, и всего духовного чина, яко учителей слова божия, не издадите каковой о сем декрет, но да взыщете и покажете о сем от св. писания

нам истинное наставление и рассуждение, какого наказания сие богомерзкое и Авессалому прикладу уподобляющееся намерение сына нашего по божественным заповедям и прочим св. писания прикладам и по законам достойно. И то нам дать за подписанием рук своих на письме, дабы мы, из того усмотря, неотягченную совесть в сем деле имели. В чем мы на вас, яко по достоинству блюстителей божественных заповедей и верных пастырей Христова стада и доброжелательных отечествия, надеемся и судом Божиим и священством вашим заклиная, да без всякого лицемерства и пристрастия в том поступите». Объявление светским особам разнилось от приведенного только окончанием: «Прошу вас, дабы истинною сие дело вершили, чему достойно, не флатируя (или не похлебуя) мне и не опасаясь того, что ежели сие дело легкого наказания достойно, и, когда вы так учините осуждением, чтоб мне противно было, в чем вам клянуся самим Богом и судом его, что в том отнюдь не опасайтесь, також и не рассуждайте того, что тот суд ваш надлежит вам учинить на моего, яко государя вашего, сына; но, несмотря на лицо, сделайте правду и не погубите душ своих и моей, чтоб совести наши остались чисты в день страшного испытания и отечество наше безбедно!»

18 июня духовенство представило свое рассуждение: выписавши примеры и правила из Ветхого и Нового заветов относительно обязанности детей к родителям, оно заключило: «Вся же сия превысочайшему монаршескому рассуждению с должным покорением предлагаем, да сотворит господь, что есть благоугодно пред очима его: аще по делом и по мере вины восхоцет наказати падшего, имать образцы, яже от Ветхого завета выше приведохом; аще благоизволит помиловати, имать образ самого Христа, который блудного сына кающегося восприят; жену, в прелюбодеянии яту и камением побиения по закону достойную, свободну отпусти, милость паче жертвы превознесе. Милости, рече, хошу, а не жертвы. И усты апостола своего рече, милость хвалится на суде. Имаь образец и Давида, который гонителя своего сына Авессалома, хотяше пощадети, ибо вождям своим, хотящим на брань противу Авессалому изыти, глаголаше: пощадите ми отрока моего Авессалома. И отец убо пощадети хотяше, но само правосудие божие не пощадило есть того. Кратко рекше: сердце цареву в руке божии есть. Да изберет тую часть, а може, рука божия того преклоняет». Подписались: Стефан, митрополит Рязанский; епископы: Феофан псковской, Алексей сарский, Игнатий суздальский, Варлаам тверской, Аарон корельский; два греческих митрополита: ставропольский Иоанникий и фиваидский Арсений; четыре архимандрита, два иеромонаха. Было ясно, что духовенство указывало на прощение, выставляя тут пример наивысший, пример спасителя; но духовенство не заблагорассудило ничего сказать насчет обещания, данного царем сыну, тогда как на основании этого обещания царевич возвратился, и Петр именно указывал на обещание свое, требуя очищения совести.

Светские чины, приглашенные определить наказание, хотели уяснить для себя преступление. Им нужно было прежде всего удостовериться, действительно ли Алексей виновен в возмутительных замыслах против отца-государя. Для этого царевич 17 июня приведен был из крепости (где уже содержался с 14 июня) в Сенат. Здесь Алексей показал, что царский резидент Плейер писал к имперскому вице-канцлеру графу Шёнборну в Вену: призывал его, Плейера, Абрам Лопухин и спрашивал, где обретается ныне царевич и есть ли об нем

ведомость. Причем объявил: за царевича здесь стоят и заворачиваются уже кругом Москвы, потому что об нем разных ведомостей много. Плейерово письмо было приложено к письму графа Шёнборна к царевичу; Алексей, прочтя письмо, сжег его, и когда говорил Афросинье о вестях от Плейера, то об Абраме Лопухине промолчал. Потом царевич объявил, что надеялся на чернь, слыша от многих, что его в народе любят, именно от сибирского царевича, от Дубровского, Никифора Вяземского и от духовника Якова, который ему говаривал, что его в народе любят и пьют про его здоровье, называют его надеждою российскою. Потом, отведя в сторону князя Меншикова, Шафирова, Толстого и генерала Бутурлина, царевич сказал им: «Я имел надежду на тех людей, которые старину любят так, как Тихон Никитич (Стрешнев); я познавал их из разговоров, когда с ними говаривал, и они старину хваливали; а больше ему в том подали надежду слова князя Василья Долгорукого: „Давай отцу своему писем отрицательных от наследства, сколько он хочет“; к тому же говорил мне, что я умнее отца моего и что отец мой хотя и умен, только людей не знает, а я умных людей знать буду лучше. На архиерея рязанского надеялся по предике, видя его склонность к себе. А о Петербурге пьяный говаривал: „Когда зашли далеко в Копенгаген, то чтоб не потерять, как Азова“.

19 июня Алексея пытали: дано ему 25 ударов. Он объявил: на кого он в прежних своих повинных написал и пред сенаторами сказал, то все правда, ни на кого не затеял и никого не утаил. При этом дополнил, как был у него в Петербурге духовник его Яков Игнатъев и на исповеди он сказал ему, Якову: «Я желаю отцу своему смерти»; и духовник отвечал: «Бог тебя простит; мы и все желаем ему смерти». Также, будучи теперь в Москве, духовнику своему Варлааму на исповеди сказал, что отцу своему в повинных сказал не все и желал отцу своему смерти. Варлаам отвечал: «Бог тебя простит; а надобно тебе отцу своему правду сказать». Яков Игнатъев на пытке подтвердил слова царевича. Абрам Лопухин показал: «Сошедшись с Плейером на дороге, я спросил его, где теперь царевич, не у вас ли? Плейер отвечал: „В Цесарии, у нас“. Я сказал: „Чаю, царевича не оставят там; а у нас много тужат об нем, и не без замешания будет в народе“. И те слова сказал я со слов казанского ландрата Акинфиева, который говорил: „Может быть, что цесарь его не оставит; а в народе многие об нем сожалеют, и правда, у нас нанизу, в народе, будет не без замешания“. Сибирский царевич говорил мне: „По отъезде царевича отсюда в чужие края были здесь слезы превеликие: князь Яков Федорович Долгорукий так по нем плакал, что затрясся“. Когда я был в доме вице-адмирала Крейца и пришла ведомость, что царевич у цесаря, то вице-адмирал, пожав мне руку, сказал: „Там ему будет не худо“. Князь Иван Львов, бывши у меня в доме, радовался, что царевич отъехал к цесарю. „Там, – говорил Львов, – сыскал он место изрядное, и цесарь его не оставит; если б мне был случай отлучиться отсюда, я бы его там сыскал“. Князь Иван Львов показал: „В доме Абрама Лопухина был я по призыву пять или шесть раз, и о царевиче разговаривали, когда еще не было слуха об отъезде его к цесарю. Абрам говорил: „Поехал царевич к отцу, что отец с ним будет делать?“ Я отвечал: „Что с ним делать? Будет по-прежнему в полку поручиком“. „Не постригут ли его там?“ – спросил Абрам. Я рассмеялся: „Кому там его постригать? И монастырей там нет“. „Не убили б его; безлюдно едет“, – сказал Абрам. Я отвечал: „Там не только такой знатной персоне, но, когда и я ездил на почтах один, страху не было““.

22 июня Толстой получил записку от царя: «Сегодня после обеда съезди (в крепость) и спроси (у царевича) и запиши не для розыску, но для ведения: 1) что причина, что не слушал меня и нимало ни в чем не хотел делать того, что мне надобно, и ни в чем не хотел угодное делать; а ведал, что сие в людях не водится, также грех и стыд? 2) Отчего так бесстрашен был и не опасался за непослушание наказания? 3) Для чего иною дорогою, а не послушанием хотел наследства (как я говорил ему сам) и о прочем, что к сему подлежит, спроси».

Толстой спросил; царевич отвечал: 1) моего к отцу моему непослушания и что не хотел того делать, что ему угодно, хотя и ведал, что того в людях не водится и что то грех и стыд, причина та, что со младенчества моего несколько жил с мамою и с девками, где ничему иному не обучился, кроме избных забав, и больше научился ханжить, к чему я и от природы склонен; а потом, когда меня от мамы взяли, также с теми людьми, которые тамо при мне были, а именно Никифор Вяземский, Алексей да Василий Нарышкины; и отец мой, имея о мне попечение, чтоб я обучился тем делам, которые пристойны к царскому сыну, также велел мне учиться немецкому языку и другим наукам, что мне было зело противно, и чинил то с великою лепостию, только б чтобы время в том проходило, а охоты к тому не имел. А понеже отец мой часто тогда был в воинских походах, а от меня отлучался, того ради приказал ко мне иметь присмотр светлейшему князю Меншикову; и, когда я при нем бывал, тогда принужден был обучаться добру, а когда от него был отлучен, тогда вышеупомянутые Вяземский и Нарышкины, видя мою склонность ни к чему иному, только чтоб ханжить и конверсацию иметь с попами и чернцами и к ним часто ездить и подпивать, а в том мне не токмо претили, но и сами тож со мною охотно делали. А понеже они от младенчества моего при мне были, и я обykl их слушать и бояться и всегда им угодное делать, а они меня больше отводили от отца моего и утешали вышеупомянутыми забавами, и помалу не токмо дела воинские и прочие от отца моего дела, но и самая его особа зело мне омерзела, и для того всегда желал от него быть в отлучении. А когда уже было мне приказано в Москве государственное правление в отсутствие отца моего, тогда я, получа свою волю (хотя я и знал, что мне отец мой то правление вручил, приводя меня по себе к наследству), и в большие забавы с попами, и с чернцами, и с другими людьми впал. К тому ж моему непотребному обучению великий помощник был мне Александр Кикин, когда при мне случался. А потом отец мой, милосердуя о мне и хотя меня учинить достойна моего звания, послал меня в чужие края; но и тамо я, уже в возрасте будучи, обычая своего не пременил; и хотя мне бытность моя в чужих краях учинила некоторую пользу, однакож вкорененных во мне вышеписанных непотребств вовсе искоренить не могла. 2) А что я был бесстрашен и не боялся за непослушание от отца своего наказания, и то происходило ни от чего иного, токмо от моего злонравия (как сам истинно признаю): понеже хотя и имел я от отца моего страх, однакож не такой, как надлежит сыну иметь, но токмо чтоб от него отдалиться и волю его не исполнить. 3) А для чего я иною дорогою, а не послушанием хотел наследства, то может всяк легко рассудить, что я уже когда от прямой дороги вовсе отбился и не хотел ни в чем отцу моему последовать, то каким же было иным образом искать наследства, кроме того, как я делал и хотел оное получить чрез чужую помощь? И ежели б до того дошло и цесарь бы начал то производить в дело, как мне обещал, и вооруженною рукою доставать мне короны российской, то б я тогда, не желая

ничего, доступал наследства, а именно: ежели бы цесарь за то пожелал войск российских в помощь себе против какова-нибудь своего неприятеля или бы пожелал великой суммы денег, то б я все по его воле учинил, также и министрам его и генералам дал бы великие подарки. А войска его, которые бы мне он дал в помощь, чем бы доступать короны российской, взял бы я на свое иждивение и, одним словом сказать, ничего бы не жалел, только чтобы исполнить в том свою волю».

24 июня была вторая пытка: дано 15 ударов. Алексей сказал, что все объявленное им прежде справедливо, никого не поклепал и никого не утаил; прибавил: учитель Вяземский в разговорах с ним говаривал: «Степан Беляев с певчими при отце твоём поют: бог идеже хочет, побеждается естества чин, – и тому подобные стихи; а то все поют, маня отцу твоему; а ему то и любо, что его с богом равняют». А о рязанском (Стефане Яворском) от многих слышал, да и Федор Дубровский ему говорил, что рязанский к тебе добр и твоей стороны и весь он твой. К киевскому митрополиту он, царевич, письмо писал, чтоб там привести к возмущению тамошний народ; а дошло ль оно до его рук, не знает.

24 июня состоялся приговор суда: «Сенат и стану воинского и гражданского по неколикократном собрании, по здравому рассуждению и по христианской совести, не посягая и не похлебствуя и несмотря на лица, по предшествующим голосам единогласно и без всякого прекословия согласились и приговорили, что он, царевич Алексей, за все вины свои и преступления главные против государя и отца своего, яко сын и подданный его величества, достоин смерти: потому что хотя его царское величество ему, царевичу, в письме своем обещал прощение в побеге его, ежели добровольно возвратится; но как он и того себя тогда ж недостойна сочинил, о том довольно объявлено в выданном от царского величества прежнем манифесте, и именно, что он поехал недобровольно. И хотя его царское величество, милосердствуя о нем, сыне своем, родительски, при данной ему на приезде с повинною на Москве 3 числа февраля аудиенции обещал прощение и во всех его преступлениях, однакож то учинить изволил пред всеми с таким ясным выговором, что ежели он, царевич, все то, что он по то число противного против его величества делал или умышлял и о всех особах, которые ему в том были советниками и сообщниками или о том ведали, без всякой утайки объявит; а ежели что или кого-нибудь утаит, то обещанное прощение не будет ему в прощение; что он, по-видимому, тогда принял с благодарными слезами, обещал клятвенно все без утайки объявить, и то потом и крестным и св. евангелие целованием в соборной церкви утвердил. Но он, царевич, на то в ответном и повинном своем письме ответственвал весьма неправдиво, и не токмо многие особы, но и главнейшие дела и преступления, а особливо умысл свой бунтовный против отца и государя своего и намеренный из давних лет подыск и произыскивание к престолу отеческому и при животе его, чрез разные коварные вымыслы и притворы, и надежду на чернь, и желание отца и государя своего скорой кончины утаил; по которым его, царевичевым, всем поступкам и изустным и письменным объявлениям и по последнему от 22 июня сего году собственноручному письму явно, что он, царевич, не хотел с воли отца своего наследства прямою и от бога определенною дорогою и способы по кончине отца своего государя получить; но, чиня ему все в противность, намерен был против воли его величества по надежде своей не токмо чрез бунтовщиков, но и чрез

чужестранную цесарскую помощь и войска, которые он уповал себе получить, и с разорением всего государства и отлучением от оногo того, чего б от него за то ни пожелали, и при животе государя отца своего достигнуть. И явно по всему тому, что он для того весь свой умысл и многие ему в том согласующиеся особы таил до последнего розыску и явного обличения в намерении таком, чтоб и впредь то богомерзкое дело против государя отца своего и всего государства при первом способном случае в самое дело производить. И тем всем царевич себя весьма недостойна того милосердия и обещанного прощенья государя отца своего учинил, что и сам он как в прибытии отца своего государя, при всем вышеупомянутом всех чинов духовных и мирских и всенародном собрании признал, так и потом, при определенных от его величества нижеподписавшихся судьях, и изустно и письменно объявил. И так по вышеписанным божественным, церковным, гражданским и воинским правам, которые два последние, а именно гражданские и военные, не токмо за такое уже чрез письмо и действительные происки против отца и государя, но хотя б токмо против государя своего, за одно помышление бунтовное, убивственное или подыскание к государствованию казнь смертную без всякой пощады определяют, коль же паче сие, сверх бунтовного, малоприкладное в свете, богомерзкое двойное родителей убивственное намерение, а именно вначале на государя своего, яко отца отечества, и по естеству на родителя своего милостивейшего, таковую смертную казнь заслужил. Хотя сей приговор мы, яко раби и подданные, с сокрушением сердца и слез изливанием изрекаем, в рассуждении, что нам, яко самодержавной власти подданным, в такой высокий суд входить, а особливо на сына самодержавного всемилостивейшего царя и государя своего оный изрекать не достойно было; но, однако ж, по воле его то сим свое истинное мнение и осуждение объявляем с такую чистою и христианскою совестью, как уповаем, не постыдно в том предстать пред страшным, праведным и нелицемерным судом всемогущего бога, подвергая, впрочем, сей наш приговор и осуждение в самодержавную власть, волю и милосердное рассмотрение его царского величества всемилостивейшего монарха». Подписали: князь Мен-шиков, граф Апраксин (генерал-адмирал), граф Головкин (канцлер), князь Яков Долгорукий, граф Мусин-Пушкин, Тихон Стрешнев, граф Петр Апраксин (сенатор), Петр Шафиров, Петр Толстой, князь Дмитрий Голицын, генерал Адам Вейде, генерал Иван Бутурлин, граф Андрей Матвеев, князь Петр Голицын (сенатор), Михайла Самарин (сенатор), генерал Григорий Чернышов, генерал Иван Головин, генерал князь Петр Голицын, ближний стольник князь Иван Ромодановский, боярин Алексей Салтыков, князь Матвей Гагарин (сибирский губернатор), боярин Петр Бутурлин, Кирилла Нарышкин (московский губернатор) и еще сто три человека менее высоких чинов.

В «Записной книге С.-Петербургской гарнизонной канцелярии» читается: «26 июня пополуночи в 8-м часу начали собираться в гварнизон его величество, светлейший князь, князь Яков Федорович (Долгорукий), Гаврило Иванович (Головкин), Федор Матвеевич (Апраксин), Иван Алексеевич (Мусин-Пушкин), Тихон Никитич (Стрешнев), Петр Андреевич (Толстой), Петр Шафиров, генерал Бутурлин; и учинен был застенок, и потом, быв в гварнизоне до 11 часа, разъехались. Того же числа пополудни в 6-м часу, будучи под караулом в Трубецком раскате в гварнизоне, царевич Алексей Петрович преставился». 30

июня царевич был похоронен в Петропавловском соборе в одном месте с женой в присутствии царя и царицы.

Петр в рескриптах к заграничным министрам своим так велел описать кончину сына: после объявления сентенции суда царевичу «мы, яко отец, боримы были натуральным милосердия подвигом, с одной стороны, попечением же должным о целости и впредь будущей безопасности государства нашего – с другой, и не могли еще взять в сем зело многотрудном и важном деле своей резолюции. Но всемогущий бог, восхотев чрез собственную волю и праведным своим судом, по милости своей нас от такого сумнения, и дом наш, и государство от опасности и стыда свободити, пресек вчерашнего дня (писано июня 27) его, сына нашего Алексея, живот по приключившейся ему по объявлении оной сентенции и обличении его толь великих против нас и всего государства преступлений жестокой болезнью, которая вначале была подобна апоплексии. Но хотя потом он и паки в чистую память пришел и по должности христианской исповедался и причастился св. тайн и нас к себе просил, к которому мы, презрев все досады его, со всеми нашими зде сущими министры и сенаторы пришли, и он чистое исповедание и признание тех всех своих преступлений против нас со многими покаятельными слезами и раскаянием нам принес и от нас в том прощение просил, которое мы ему по христианской и родительской должности и дали; и тако он сего июня 26, около 6 часов пополудни, жизнь свою христиански скончал».

Но понятно, что при таких обстоятельствах дела официальным изложением его не довольствовались. До нас дошли два других подробных изложения его: одно иностранное, которое говорит, что царевич был отравлен; другое русское, утверждающее, что он был задушен подушками; в обоих авторы рассказа присутствовали при событии! Взглянем, как оно отразилось и в народе, что можем узнать из дел Преображенского приказа и Тайной канцелярии. В 1721 году поп Игнатий говорил: «Слышал он, что в С.-Петербурге государь собрал в Сенат архиереев и других многих людей и говорил, чтоб дать суд на царевича за непослушание, и тогда ж в ту палату вошел царевич, не снял шапки перед государем и сказал: „Что мне, государь батюшка, с тобою судиться? Я завсегда перед тобою виноват“, и пошел вон, а государь молвил: „Смотрите, отцы святии, так ли дети отцов почитают!“ И приехал государь в свой дом, царевича бил дубиною, и от тех побоев царевич и умер. Царя дважды хотели убить, да не убьют: сказывают ему про то нечистые духи». В одном из дел того же года записаны слова столяра Королька: «Пока государь здравствует, по то время и государыня царица жить будет; а ежели его, государя, не станет, тогда государыни царицы и светлейшего князя Меншикова и дух не помянется, того для что и ныне уже многие великому князю (Петру Алексеевичу) сказывают, что по ее, государыни царицы, наговору государь царевича своими руками забил кнутом до смерти; а наговорила она, государыня царица, государю так: как тебя не станет, а мне от твоего сына и житья не будет; и государь, послушав ее, бил его, царевича, своими руками кнутом, и оттого он, царевич, и умер». По словам Королька, старуха Кулбасова говорила: «Чаю, вестимо великому князю, что батюшки его не стало. Быть было царицею светлейшей княгине, да поспешила Екатерина Алексеевна, бог знает, какого она чина, мыла сорочки с чухонками; по ее наговору и царевич умер; подчас будто его жалеет, да не как родная мать. Она же государю

говорила: „Как царевич сядет на царство, и он возьмет свою мать, и в то время мне от твоего сына и житья не будет“. И по тем ее словам, государь пошел в застенки к царевичу, и был там розыск. Государь своими руками его, царевича, бил кнутом, а уже потом бог знает, что сделалось».

Православные по смерти царевича Петра Петровича, случившейся в 1719 году, видели законного наследника в великом князе Петре Алексеевиче и видели в нем мстителя за смерть отцовскую. Иначе относились к великому князю Петру раскольники. За Соликамском, по реке Тагиле, жили раскольники, старцы и старицы, бежавшие с Керженца; здесь говорилось: «Мы странствуем и скитаемся в лесах, гонимы от еретической веры; роды царские пошли неистовы: царевна Софья была блудница и жила блудно с боярами, да и другая царевна, сестра ее. И государь Петр Алексеевич такой же: сжился с простою шведкою, да ее за себя и взял, и мы за такого государя за здоровье бога не молим, молимся, чтоб он возвратился в истинную веру. От царевича Алексея Петровича родился царевич от шведки, с зубами, не прост человек. Царь – ненавистник истинной вере, швед обменный, образа пишут с шведских персон, платье возлюбил шведское, со шведами пьет и ест, из их королевства не выходит, и швед у него в набольших; извел русскую царицу, от себя сослал в монастырь, чтоб с нею царевичев не было, и царевича Алексея Петровича извел, своими руками убил для того, чтоб ему, царевичу, не царствовать, и взял за себя шведку, и та царица детей не родит, и он сделал указ, чтоб за предбудущего государя крест целовать, и крест целуют за шведа, одноконечно станет царствовать швед, либо его государев родственник, или царицы Екатерины брат; и великий князь Петр Алексеевич родился от шведки, с зубами, он антихрист».

Колодники говорили: «Захотели вы у государя милости: он и сыну своему, царевичу, своими руками голову отсек!» Другие говорили, что запытал.

Крестьяне, жалуясь на тягости, говорили, что царевич Алексей Петрович жив и идет с силою своею против царского войска под Киев.

В 1723 году явился в Пскове самозванец, который назывался царским братом, и раскольники толковали: явился брат, скоро явится и царевич Алексей Петрович! Самозванец был псковского Печерского монастыря монах Михайла Алексеев; оказалось, что он раскольник, крестился двумя перстами; рассказывал, что отец его, царь Алексей Михайлович, посадил его на царство в Грузинской земле, а потом служил в Преображенском полку генералом. Тогда же в Вологодской провинции явился самозванец – нищий Алексей Родионов – польского происхождения, назвался царевичем Алексеем. Окольные жители показали, что Родионов восемь лет уже как осумасбродил и в сумасбродстве сжег двор свой.

Прошел месяц после кончины царевича; Петр находился в Ревеле и оттуда 1 августа с корабля «Ингерманландия» написал жене: «Что приказывала с Макаровым, что покойник нечто открыл, – когда бог изволит вас видеть¹; я здесь услышал такую диковинку про него, что чуть не пуще всего, что явно явилось». Что такое он мог услышать про Алексея в Ревеле? Не о сношениях ли его с Швециею? Есть известие, что царевич обращался к Гёрцу с просьбою о шведской помощи и Гёрц уговорил Карла XII войти в сношение с Алексеем посредством Понятовского, пригласить его в Швецию и обещать помощь, и когда Алексей

¹ т.е. поговорим об этом, когда увидимся.

вскоре после того отдался Толстому и Румянцеву, то Гёрц жаловался, что из неуместного мягкосердечия упущен отличный случай получить выгодные условия мира. Но и после смерти царевича в Швеции не отказывались от надежды воспользоваться смутой в России, все ждали здесь народного восстания, как увидим в следующей главе.

Глава третья

Продолжение царствования Петра I Алексеевича

Аландский конгресс. – Смерть Карла XII и закрытие конгресса. – Военные действия против Швеции. – Отношения России к иностранным державам с 1718 по 1721 год. – Возобновление сношений с Швецией. – Ништадтские переговоры и мир. – Значение Северной войны. – Петр – император. – Отношения иностранных держав к России после Ништадтского мира. – Торжества в России.

Мы видели, что в августе 1717 года в Лоо между князем Куракиным и Гёрцем было положено начать мирные переговоры на Аландских островах, причем Гёрцу дан был паспорт для проезда через русские владения в Швецию. Правителям остзейских провинций, через которые лежал путь Гёрцу, велено было содержать дело «в высшем секрете, чтоб никто не ведал». 20 октября из Риги дали знать, что накануне Гёрц приехал в этот город, только *не секретно*. Сам Гёрц писал Шафирову с сожалением, что ему нигде не удастся с ним видеться, потому что подканцлер уже проехал в Петербург, а видеться было бы надобно, чтоб узнать подробнее о намерениях царского величества насчет мира и не привезти в Швецию одни общие заявления. Получивши об этом донесение от Шафирова, Петр написал ему: «Гёрц когда желает видеться, лучше ему позволить быть в Петербург явно (ибо в Ригу уже явно приехал), а чрез Ревель уже и без претекста поздно, ибо лучше удовольственна отпустить, неже с сумнением или зело холодно, а где с ним видеться, о том с вами сам переговорю».

По возвращении в Швецию Гёрц в конце ноября дал знать, что Карл XII вышлет своих уполномоченных, как скоро получит известие, что царские уполномоченные находятся в Або. Этими уполномоченными были назначены генерал-фельдцейхмейстер Брюс и канцелярии советник Остерман; с шведской стороны – Гёрц и Гиллемборг. 5 января 1718 года Петр писал к Брюсу из Москвы в Петербург: «Если вы из Петербурга еще не выехали, то надобно вам немедленно ехать и перед отъездом объявить министрам союзников наших, прусскому, польскому, ганноверскому и датскому, что так как мы прежде государям их сообщали все, что нам с неприятельской стороны было предложено, и обещали вперед то же делать, то приказали им и теперь объявить следующее: барон Гёрц писал к нашим министрам, что, приехав в Швецию, он объявил своему королю о склонности нашей к генеральному миру, о чем при свидании с ним наш посол Куракин объявил ему на словах, и что король его согласился отправить министров своих на конгресс, местом которого с прусской и польской сторон предложен

город Данциг. Но с нашей стороны Гёрцу объявлено, что мы, не определив наперед прелиминарных условий и не видя, будут ли с шведской стороны предложены нам выгодные условия, на публичный конгресс министров наших послать не можем; поэтому король шведский для показания склонности своей к миру намерен прислать некоторых своих министров в какое-нибудь место недалеко от Финляндии, чтоб они могли, съехавшись с нашими министрами, наперед об этом переговорить. Для выслушания их предложений мы велели ехать вам, потому что вам и без того надобно было ехать в Финляндию для приготовления к будущему воинскому походу. Объявите министрам, что вам велено только выслушать шведские предложения, не вступая ни в какие договоры; что мы эти предложения сообщим союзникам и без их согласия ни в какие прямые трактаты не вступим».

Письмо уже не застало Брюса и Остермана в Петербурге, они отправились в Або, откуда пересылались с Гёрцем. Последний требовал, чтоб с обеих сторон предварительно прислано было по человеку на Аланд для соглашения о том, как съезжаться. По этому случаю Брюс и Остерман 13 февраля писали царю: «Мы рассуждаем, что ежели при том съезде церемонии смотреть, то не только много времени потеряно будет, но и многие другие неудобства и остановки главному делу произойти могут; поэтому мы отвечали Гёрцу, чтоб при съездах никаким церемониям с обеих сторон не быть для скорейшего окончания дела». Царь отвечал: «Для избежания всяких церемоний предложите барону Гёрцу такой способ: зимою занять для конференций две камеры, одну подле другой, и среднюю между ними стену вырубить, так чтоб в обеих камерах можно было поставить один стол; с одной стороны будете входить вы и садиться, а с другой в то же время шведские уполномоченные; летом же можно поставить с обеих сторон по намету; таким образом, с обеих сторон будет равенство, всякий будет сидеть в своей камере или намете без всякого спора о председательстве; таким образом поступали при многих конгрессах, а именно при Карловицком. Надобно вам стараться, чтоб шведы согласились на это и съезд состоялся без потери времени, ибо уже время к воинскому походу приближается».

Чтоб скорее приступить к делу, старались отстранить все споры о церемониях; но природа выставила с своей стороны препятствие: в апреле лед мешал переехать на Аланд. Петр торопил своих уполномоченных; требовал, чтоб они торопили шведских. Условия, которые Брюс и Остерман должны были предложить шведам, состояли в следующем: 1) провинции Ингрия, Ливония, Эстляндия с городом Ревелем и Карелия со всеми их городами, островами, местами, дистриктами и подданными, также город Выборг должны быть уступлены царскому величеству в вечное владение. 2) Великое княжество Финляндское царское величество уступает королю шведскому, с тем чтоб границе быть от Выборга по реку Кюмень, оттуда до Нейшлота и так до старой русской границы, как удобнее. 3) Шеры возле финского берега должны быть свободны для проезда российского народа и прочим царским подданным со всякими судами; равно шведским подданным позволяется свободный проезд в области царского величества морем во всех местах; гаваней на финской стороне с обеих сторон вновь не укреплять; для защиты же своих земель вольно каждому, где хочет в своем владении по своему произволу, строить крепости. 4) Торговля между обоими государствами свободная. 5) Король Август II должен быть оставлен в

покойном владении престолом польским, признан от шведского короля, и между Швециею и Польшею должен быть заключен мир. 6) Королю прусскому должен быть уступлен город Штетин с дистриктом. 7) Если король датский захочет помириться с Швециею, возвратив все у нее завоеванное, то и он должен быть включен в этот трактат. 8) Если король английский, как курфюрст брауншвейгский, захочет помириться с Швециею на благоразумных условиях во время шести месяцев, то и ему предоставляется право приступить к трактату. Посылая инструкции, Петр писал уполномоченным: «Вы по инструкции исполняйте со всяким осмотрением, чтоб вам шведских уполномоченных глубже в негоциацию ввести и ее вскорости не порвать, ибо интерес наш ныне того требует, и весьма с ними ласково поступайте, и подавайте им надежду, что мы к миру с королем их истинное намерение имеем и рассуждаем, что со временем можем по заключении мира и в тесную дружбу и ближайшия обязательства с его величеством вступить. И если они на условия не согласятся, станут говорить, что король не может принять их за тягостию, то по последней мере можете объявить им секретно, что если они нас удовольствуют, то можем за то помочь им получить в другой стороне такие выгоды, что им тот убыток вознаградится; внушите им, что хотя бы они и помирились с ганноверским, датским или другим кем из наших союзников с уступкою им из своих владений, то они этим себе никакой пользы и облегчения в войне не получают, если с нами будут продолжать войну, ибо мы. и одни с теми союзниками, которые при нас останутся, в состоянии против них не только оборонительно, но и наступательно воевать и уже приготовились к тому. Хотя король английский и обещает им, как думаем, некоторые выгоды, однако всем известно, что он, как король английский, не может сдержать своих обещаний, ибо народ английский не захочет из-за его частного немецкого интереса потерять с нами дружбу и коммерцию. И прочие резоны объявляйте, показывая, что мы с ними миру желаем, но и войны не боимся. Если станут говорить, зачем мы за всех союзников стараемся, то отвечайте, что если нам о прусском и польском королях не постановить условий, то этот мир будет на слабом основании, ибо нам нельзя их оставить в войне, а по умеренности предложенных условий видят они наше к себе истинное расположение. Если они станут говорить, зачем не упомянуто то, что датский король должен возвратить голштинскому герцогу его земли, то объявите, что мы этих земель датскому королю не гарантировали, поэтому об них и не упоминаем и в том даем шведам свободу. Как важно условие, постановленное об английском короле, сами могут рассудить, и за него стоять не будем. Старайтесь по данной инструкции как можно скорее заключить договор, который, однако, должен быть содержан в тайне; что бы они предлагать вам ни стали, берите на доношение, а конгресс не разрывайте ни за что».

К Остерману Петр написал особое письмо: «Повелеваем вам особливо, чтоб вы частным образом трудились с бароном Гёрцем в дружбу и конфиденцию войти и старались с ним наедине разговаривать. При этих разговорах обнадежьте его в нашей к нему особенной склонности, что мы его доброжелательными и правдивыми поступками довольны и признаем, что этот конгресс состоялся его одного радением. Если усмотрите его склонность и рассудите за благо, то можете обещать ему в подарок хотя до ста тысяч рублей и вперед всякое награждение, только бы он трудился заключить мир по нашему желанию. Взявши с него честное слово соблюдать тайну, объявите ему, что мы желаем не только с Швециею мир

заклучить, но и обязаться дружбою. Когда между обеими державами прежняя вражда и зависть исчезнет, а вечная дружба установится, то не только можем себя от всех других обезопасить, но и баланс в Европе содержать и можем потом, кого сами заблагорассудим, к себе в ту приязнь принять, к чему много охотников будет. Мы знаем, что хотя бы мы чрез оружие свое и привели короля шведского к уступке всего нами завоеванного, то Швеция всегда будет искать удобного случая возвратить себе потерянное, и, таким образом, война не пресечется. Поэтому мы предлагаем следующий способ к искоренению всех ссор: если король уступит нам провинции, которые теперь за нами (кроме Финляндии), то мы обяжемся помочь ему вознаградить его потери в другом месте, где ему нужно. Если станет говорить, чтоб мы возвратили Лифляндию, то отвечайте, что чрез это возвращение мир не будет крепок: жалюзия еще более усилится по близости нашей резиденции теперь в Петербурге, всегда друг на друга неприятельскими и подозрительными глазами будем смотреть, а королю вместо выгоды один убыток, потому что принужден будет в лифляндских городах содержать сильные гарнизоны».

12 мая начались конференции. Шведские министры просили русских объявить мирные условия; те отвечали, что условия были объявлены князем Куракиным Гёрцу, который, конечно, донес об них королю, и король дал свое решение, о чем они и просят шведских министров объявить. Тогда Гёрц в длинной речи рассказал весь ход дела и объявил, что ни о каких условиях ни от кого никогда не слышал; князь Куракин говорил ему одно, что так как во время его, Гёрцева, ареста секретарю Прейсу прислано было недостаточное полномочие, то царское величество желает, чтоб прислан был кто-нибудь с достаточным полномочием и инструкциею для заключения мира, и притом его, Гёрца, обнадежил, что царское величество в таком случае, сверх их ожидания, заключит мир на резонабельных условиях, но о самих условиях не было сообщено ни слова. Русские министры, видя, что с шведской стороны никоим образом высказаться не хотели, сказали, что надобно, однако, положить начало делу, главный пункт которого состоит в том, чтоб знать королевское намерение насчет завоеванных провинций. Шведские министры отвечали, что король желает возвращения всего у него взятого; русские сказали на это, что царское величество желает удержать все им завоеванное и если с шведской стороны не объявится что-нибудь другое порезонабельнее, то согласиться будет трудно. Гёрц объявил, что мир не состоится, если предварительно не будет положено о возвращении королю Лифляндии и Эстляндии, чтоб потом об этих провинциях уже и не упоминать, и вести переговоры только об остальных. Русские отвечали, что мир не состоится, если предварительно не будет положено, что Лифляндия и Эстляндия остаются за Россию, после чего пойдут переговоры о Финляндии, ибо царское величество для прочности мира и безопасности своего государства не может допустить, чтоб в середине его земель оставалось какое-нибудь шведское владение. Шведы говорили, что в таком случае и Финляндия недолго останется за ними, ибо из Ревеля царское величество всегда будет в состоянии переходить через Финский залив и завоевывать Финляндию, и что королю не для чего заключать мира, который отдаст его на произвол соседям, притом Лифляндия и Эстляндия так разорены, что их и в 50 лет поправить нельзя, и до тех пор содержание их королю будет очень тяжело. Царское намерение ясно, продолжали шведы, он желает усилить свои связи с Германскою империею и установить свое купечество на

Балтийском море; но если Рига, Ревель и другие гавани будут за ним, то он в короткое время так усилится, что шведы и датчане будут вытеснены из Балтийского моря; друзья царские, англичане, всюду об этом внушают и возбуждают подозрение. Шведы толковали об убытках, которые причинила им Северная война, и на этом основании требовали в вознаграждение Лифляндию и Эстляндию; русские указывали, что Россия понесла не меньшие убытки, что царские мирные предложения были постоянно отвергаемы королем, который возбудил еще турок к войне; для прекращения этой войны нужно было отдать султану Азов и Таганрог, стоившие миллионов; за это надо получить вознаграждение от шведов. Королевские уполномоченные говорили, что Лифляндия и Эстляндия – бастионы королевства Шведского, что королю лучше потерять все в другом месте, чем уступить их России.

Остерман в особом письме писал: «Шведские министры ясно дают знать, что им с другой какой-то стороны, противной этому миру, делаются многие предложения, но что король больше склонен к миру с царским величеством. По поступкам Гёрца видно, что он не донес королю об условиях, а просто объявил, что надеется получить полезный отдельный мир с Россией. Между тем мы под рукою делаем шведским министрам внушения, которые могут быть полезны. Мы подлинно знаем, что дело это, мимо министров, ведется самим королем, для чего находится здесь генерал-адъютант барон Шпар, ведущий переписку прямо с королем. Мы стараемся его ласкать и делать ему всякие приличные внушения. Говорил мне партикулярно барон Гёрц, что у него нет в Швеции ни одного друга, что шведы подали королю пространную записку против мира с Россией, но он, Гёрц, опроверг ее, что король склонен к миру, но камнем преткновения служит Ревель, ибо, уступив его, шведы будут считать себя рабами, зависящими от произвола царского. Мне кажется, что они охотнее пожертвуют Лифляндиею, чем Ревелем, ибо и Гёрц и Гиллемборг редко говорят о Лифляндии. Гёрц часто упоминает слово *эквивалент*, это мне подает надежду, что если бы мы могли их обеспечить эквивалентом в другом месте, то можно было бы заключить с ними добрый мир; по моему мнению, это единственное для нас средство. Обстоятельства нам благоприятствуют: король хочет с нами мира, заключив который будет искать в другом месте себе вознаграждения; оба находящиеся здесь уполномоченные из собственных выгод будут делать все на свете, чтоб утвердить короля в таком намерении; оба питают злобу к Англии, все их намерения клонятся к тому, чтоб по заключении мира с Россией всеми силами напасть на короля английского».

Головкин и Шафиров на все эти донесения отвечали: «Вы хорошо делаете, что больше не упрекаете Гёрца в его заперательстве насчет сообщенных ему условий: не нужно его озлоблять. Объявите Гиллемборгу, что брат его, находящийся у нас в плену, освобождается без размена; старайтесь войти в дружбу и конфиденцию с Шпаром; дайте ему из отправленных к вам червонных, соболей и камок сколько заблагорассудите, дайте и Гиллемборгу; можете обещать знатные дачи, хотя такую же сумму, как и Гёрцу, обещаете: царское величество даст, только б мир заключен был по его желанию». Царь писал Остерману: «Гёрц упоминал об эквиваленте – можете от себя объявить, что у нас таких мест не обретаются, которые мы могли бы дать им в эквивалент; а если они разумеют другие страны, то пусть объявят ясно; приводите их к тому, чтоб они сами

объявили; если же нельзя, то можете завести речь от себя, что по озлоблению, которое король английский нанес обеим сторонам, всего лучше искать вознаграждения из его земель, сверх возвращения Бремена и Вердена, и что, по вашему мнению, мы не откажемся помочь им в этом. Если станут вам говорить что-нибудь явно о претенденте, требуя ему помощи, то можете сказать, что мы и в том, по вашему мнению, помочь им не откажемся, и можно будет внести в договор об этом особую статью». По поводу претендента Шафиров дал знать Остерману 9 июня: «На сих днях прибыл сюда нарочно от претендента некоторый человек, с которым я имел разговор у генерала Ягужинского. Объявил он мне, что был в Швеции, где имел долгие разговоры с бароном Гёрцем, который объявил ему, что они, шведы, в пользу претендента хотели сделать высадку в Англию прежде заключения мира с Россиею, но он, Гёрц, им это отсоветовал, представляя, что это гораздо удобнее сделать по заключении мира, в противном случае царь мог бы помешать предприятию какою-нибудь диверсиею в их земле; а по заключении мира, может быть, сам царь им в том поможет. Гёрц, разговаривая с ним об условиях мира с Россиею, объявил, что царю нельзя заключить мира без Ревеля и Ливонии, с чем согласен и он, Гёрц, который получил от короля инструкцию заключить мир во что бы то ни стало, хотя бы с уступкою всего, чтоб шведам можно было исполнить свое намерение в пользу претендента».

Между тем на конференции, бывшей 2 июня, Гёрц объявил, что Ревель не может остаться за Россиею и если царское величество на это согласится, то можно найти способы обеспечить с этой стороны безопасность России. «Какие это способы?» – спросили русские министры. «Мне нужно ехать к королю для получения его последнего решения», – отвечал Гёрц, причем дал слово, что возвратится в три недели, и просил, чтоб и русские министры в это время постарались получить от своего двора последние условия. На другой день Остерман послал царю особое письмо: «С самого начала конгресса я старался войти с бароном Гёрцем в конфиденцию и фамилиарную дружбу, в чем был не без успеха, применяясь к его нраву и великой амбиции. Барон истинную склонность имеет к заключению мира как для своих собственных выгод, так и по своей собственной злобе на других. Но в деле заключения мира он имеет против себя всех шведов вообще как потому, что шведы завидуют положению, полученному у них иностранцем, так и по другим побуждениям: они лучше хотят, чтоб король потерял все свои провинции в Германии, чем уступил что-нибудь России на здешней стороне; они рассуждают, что от германских провинций Швеция не получает никаких выгод, только тратит множество денег и должна быть всегда готова вступить из-за них в войну; тогда как из провинций, завоеванных теперь русскими, она получает большие доходы и безопасность со стороны России. Барон Гёрц мне несколько раз объявлял, что если, ваше величество, Ревель уступить не изволите, то очень трудно будет короля склонить к миру; и был он много дней очень печален и откровенно признался мне, что неуспех в заключении мира будет ему очень тяжек. Я ему представлял, что шведскому королю никогда нельзя будет возвратить войною потерянные провинции, а царское величество на других условиях мира не заключит, и если он, Гёрц, поможет заключению мира, то я обещаю стараться, чтоб царское величество не был против короля, когда тот станет вознаграждать себя в другой стороне. Барон Гёрц это предложение мое откинул далеко и сказал, что король за такие провинции никакого вознаграждения

получить не может, ибо это крепости королевства Шведского, и если их уступить, то Швеция всегда будет в воле царской. Я ему сказал на это, что провинции уже потеряны для Швеции, они за вашим величеством; королю остается одно: сделать так, чтоб дружба вашего величества послужила ему вместо этих так называемых крепостей. Потом мы имели с ним пространные разговоры о вознаграждении, которое может получить король в другом месте. Он меня спросил, может ли он по моему предложению начать дело у короля? И я, взявши с него честное слово, что об этом, кроме его и короля, никто не узнает, объявил, что может. Тогда Герц сказал мне, что чрез переписку этого дела вести нельзя, надобно ему самому ехать к королю. Будучи убежден, что ничто не может так способствовать делу, как пребывание самого Гёрца при короле, я не только его не отвращал, но и побуждал ехать; согласились, чтоб Гёрц ехал при первом попутном ветре, и, чтоб никто не мог узнать причины отъезду, уговорились на другой день иметь конференцию и в ней говорить то самое, что вашему величеству известно из общего нашего донесения. Гёрц говорил также о герцоге мекленбургском, чтоб его куда-нибудь перевести в другое владение, и дал знать, что имеет в виду Лифляндию; но я ему сказал, что этому невозможно статья и надобно им о чем-нибудь другом думать. Говорил о короле польском, будто хочет корону польскую сделать наследственной в своем доме, на что король шведский никак согласиться не может; Гёрц дал знать, что его король по смерти Августа хочет видеть Лещинского на польском престоле; я ему отвечал, что, сколько знаю интересы вашего величества, для России, да и для других держав не нужно, чтоб корона польская стала наследственной; о Лещинском же я смолчал, будто не понял Гёрцева намека. Перед отъездом Гёрц просил меня обнадежить ваше величество, что он будет делать все возможное, дабы заслужить милость вашего величества; а я ему сказал, что он может надеяться на самую лучшую соболью шубу, какая только есть в России, и что до ста тысяч ефимков будет к его услугам, если наши дела счастливо окончатся».

9 июля возвратился Гёрц и на конференции объявил, что король не иначе может согласиться на уступку Ревеля, как если получит *эквивалент*, на конференции русские министры никак не могли от него добиться, какой именно эквивалент хочет получить Карл XII; но потом в частном разговоре Гёрц дал явственно знать, что король хочет получить эквивалент из датских владений и желает, чтоб царь ему в том помог. Гёрц дал также понять, что король желает восстановления Станислава Лещинского на польском престоле и что это должно быть одним из главных условий мирного договора. Из Гёрцевых слов было видно, что Лифляндия и Эстляндия будут бесспорно уступлены России, но о Выборге будет еще спор. Брюс и Остерман прямо объявили шведским министрам, чтоб они и не думали о возвращении Выборга, потому что этот город от Петербурга в близком расстоянии и царское величество в своей резиденции никогда безопасен быть не может, если Выборг будет за Швецию. Вне конференции Гёрц сообщил Остерману следующую записку: «Если Швеция такими великими уступками со своей стороны будет способствовать приращению сил России, то и Швеция должна получить такие приращения, которые бы уравнили силы обеих держав. Для этого нужно, во-1), границы финляндские с сухопутной стороны так определить, чтоб Швеция с этой стороны была совершенно безопасна. 2) Надобно вести дело так, чтобы важнейшие державы в Европе не имели причин ему противиться, и потому относительно возвращения Бремена и Вердена король

шведский не будет требовать помощи царского величества; если же король английский кроме этого пункта будет противиться исполнению общего плана, то Россия и Швеция будут действовать против него сообща. 3) Швеция не может уступить Пруссии что-нибудь из своего, и потому надобно придумать, как бы доставить ей от Польши Эльбинг и Вармию; король прусский будет этим очень доволен, особенно когда увидит мир между Россиею и Швециею, увидит, что и Англия вышла из игры. 4) Что касается Польши, то по взгляду политическому шведский интерес требует удержать на польском престоле короля Августа и помочь ему утвердить наследственность в доме саксонском, ибо Швеция и Польша имеют одинакий интерес приводить себя в безопасность с русской стороны. По тому же самому политическому взгляду, наоборот, царское величество должен стараться восстановить на польском престоле Станислава Лещинского, человека не царской крови и потому не могущего найти помощь вне Польши; король же Август будет непременно стараться о том, чтоб его сын и наследник по курфюршеству был назначен и наследником короны польской. Но у шведского короля то, что честно, всегда берет верх над тем, что полезно, и потому он будет восстанавливать на польском престоле Станислава, причем царское величество не имеет никаких причин отказать ему в помощи. 5) Дания есть единственный неприятель, от которого Швеция может получить себе вознаграждение, и это вознаграждение должно быть получено соединенными силами России и Швеции. 6) По заключении мира с Россиею и королем английским у Швеции за морем останется одна Померания, что недостаточно и небезопасно, поэтому надобно подумать о переселении; герцогу мекленбургскому надобно отыскать такой эквивалент, который бы заставил его добровольно уступить свои мекленбургские земли Швеции: герцог согласится охотно на переселение по причине вражды с своим дворянством и ненависти, какую он навлек на себя этою враждою; положение его очень дурно; он подвергается большой опасности, как скоро царское величество лишит его своего покровительства. Исполнение плана должно состоять в следующих пунктах: 1) мир между Россиею и Швециею не должен быть объявлен и под рукою не давать об нем знать до тех пор, пока весь план не придет в исполнение. 2) Чтоб немедленно по заключении мира положенные возвращения и уступки с обеих сторон были сделаны. 3) Зимую кончить переговоры с прусским двором. 4) Весною, как можно ранее, русская осьмидесятитысячная армия должна двинуться в Польшу под предлогом восстановления всюду северного мира. 5) Король в это время велит перевести сорокатысячную армию в Мекленбург, чему царское величество способствует своими воинскими и транспортными судами. 6) Из осьмидесяти тысяч русского войска, имеющего вступить в Польшу, 20000 человек будут отправлены в Мекленбург для соединения с шведскою армиею, причем получают хлеб и фураж от короля; сверх того, царское величество склонит герцога мекленбургского присоединить и его войска. 7) Король с этою армиею пойдет в Голштинию, чтоб оттуда проникнуть в Данию; в то же время другая шведская армия в 40000 человек будет действовать против Норвегии. 8) В Польше царское величество не будет производить никаких неприятельских действий, только будет требовать от нее пропитания войскам, и во время действий против Дании у Швеции с королем Августом могут производиться мирные переговоры; а когда с Даниею дела окончатся, то останутся одни польские дела, которые легко будет

покончить: поляки, желающие видеть на престоле своем природного государя, будут рады избавиться от воинских тягостей и беспокойств; с другой стороны, король Август не захочет видеть в другой раз шведского короля в Саксонии с сильною армиею. 9) Тут же и интересы герцога мекленбургского могут быть определены. 10) Когда таким образом мир на севере восстановлен будет, тогда можно смотреть, как бы и другие державы в ту же систему привести. Больших затруднений тут не будет, ибо не скоро сыщется такая держава, которая б не согласилась быть в дружбе и союзе с двумя государствами, могущими выставить в поле 200000 войска.

15 июля Головкин и Шафиров получили от Остермана письмо: «Гёрц дал мне знать, что ему будет очень приятно, если я для получения скорейшего решения сам к вам поеду; нельзя на письме донести обо всем, что надобно знать царскому величеству и вам, дабы решить дело, от которого зависит все благополучие Российского государства; я намерен ехать, как скоро последнее шведское намерение заподлинно выведаю. Всепокорно прошу о заступлении пред царским величеством, чтоб мой проезд не был принят немилостиво».

Остерман поехал к царю, а Гёрц снова в Стокгольм. 31 июля Остерман был уже опять на Аландских островах; на другой день возвратился и Гёрц, смутный, печальный. Начались переговоры о финляндских границах. Гёрц требовал, чтоб Кексгольм остался за Швециею; Остерман не соглашался, показывал ему на карте, что это место великой важности для царя, чтоб не оставить шведов у себя с тылу и привести в безопасность свою резиденцию, тогда как для Швеции Кексгольм не имеет почти никакого значения. Видя упорство Гёрца, Остерман обратился за объяснениями к находящемуся при Гёрце голштинскому юстиц-рату Штамкену, и тот объяснил, что Гёрц обещал королю уступку Кексгольма и теперь боится знаменитого упрямства Карла XII и торжества врагов своих в случае несогласия с русской стороны. Сам Гёрц наконец сказал, что если дело не состоится, то он, чтоб не подвергнуться насмешкам и поруганию от всего народа, немедленно выйдет из службы короля шведского. Вторая трудность состояла в короле прусском, которого нельзя было склонить к возвращению Штетина в ожидании эквивалента в будущем. Гёрц написал новый проект, и опять Остерман отправился в Россию, а Гёрц в Швецию для переговоров с министром Миллером, который сначала был на его стороне, а теперь стал против и написал опровержение его плана: по мнению Миллера, этот план вовлекал Швецию в такую войну, которой конца предвидеть нельзя; притом шведский король должен тотчас уступить царю все им завоеванное, а царь, с своей стороны, обязывается содействовать намерениям короля только в будущем, и богу известно, будет ли в состоянии исполнить свои обязательства по каким-нибудь новым обстоятельствам; наконец, хотя теперь в России и нет возмущения, но по всем публичным и другим известиям видно, что возмущение вспыхнет непременно, отчего Швеция получит облегчение в мирных условиях.

4 сентября Остерман, возвратившийся на конгресс, доносил царю: «Трудился я всячески наши здешние дела глубже испытать и заподлинно уведомился, что не только барон Миллер, но и все шведы, отвращая короля от здешнего мира, такие ему злые внушения сделали о бароне Гёрце, злее которых быть не может, и дело зашло так далеко, что в Стокгольме разглашают на улицах публично, будто барон Гёрц вашему царскому величеству за великие деньги королевский интерес продал,

вашему величеству совет подал и дорогу показал, как вам нечаянно на Стокгольм напасть и им овладеть. Барон Гёрц, увидя против себя такие интриги, утвердился еще больше в прежней своей склонности к здешним делам и намерен так действовать у короля, чтоб у иных его неприятелей от того и шея засвербела. Из разговоров с графом Гиллемборгом я заметил, что и он стал колебаться и едва ли не перешел на противную сторону; но все его поступки можно уничтожить, потому что он у короля ни малейшего кредита не имеет и, как креатура барона Гёрца, всегда будет принужден поступать по его воле. По всем обстоятельствам дела и по нраву королевскому можно надеяться, что Гёрц своих неприятелей преодолет и с окончательным королевским решением сюда возвратится». Чрез несколько времени Гёрц дал знать Остерману из Швеции, что король опять склонился к заключению мира с Россиею по известному плану; но еще держат его в некотором сомнении слухи о волнениях в России: он боится, что если эти слухи основательны, то царь не будет в состоянии исполнить свои обязательства; по мнению Гёрца, эти сомнения лучше всего можно рассеять, освободив из плена фельдмаршала графа Реншельда, который может разуверить короля относительно этих слухов, и, как скоро фельдмаршал возвратится в Швецию, он, Гёрц, возвратится на Аландские острова. Петр соглашался на освобождение Реншельда с тем, чтоб взамен король освободил русских пленных, генерала Головина и князя Трубецкого.

С одной стороны, Карлу XII внушали, чтоб он не спешил заключением мира с царем, потому что в России возмущение; с другой – именно из Англии внушали, что между Россиею и Турциею готова вспыхнуть война, о чем стали уже писать и в газетах; князь Григорий Долгорукий доносил, что и в Польше стараются об этом разрыве России с Турциею. По этому случаю Остерман писал Головкину и Шафирову: «Думаю, что надобно и нам заранее постараться не только о том, чтоб Гродненский сейм был разорван как можно скорее, но также и о том, чтоб под рукою какую-нибудь новую конфедерацию против короля возбудить, причем не пожалеть ни трудов, ни денег. Такая конфедерация всегда интересам царского величества полезна будет, хотя б и здешний мир не состоялся, потому что, во-1), под тем предлогом может его величество всегда войска свои в Польше держать. 2) Конфедерациею король Август принужден будет с большею осторожностью и не так явно против нас поступать. 3) Пока войска наши в Польше будут, то и цесарь десять раз подумает, прежде чем предпринять что-нибудь против царского величества. 4) И король прусский тем легче в наших интересах удержан будет. 5) Через конфедерацию царское величество всегда силен будет в Польше, и обе стороны по его воле поступать принуждены будут. 6) Если же мир с Швециею состоится, то конфедерация может служить предлогом к исполнению известного намерения. Причин к конфедерации довольно: желание короля Августа передать польский престол сыну своему; стремление короля к самодержавию; старание его возбудить турок против царского величества, а следовательно, и против Польши, чтоб между тем исполнить намерение свое насчет сокрушения вольности Речи Посполитой; всего этого достаточно для возбуждения Польши против короля. Можно еще прибавить, что он туркам и цесарю обещал некоторые уступки из владений Речи Посполитой; и если к этому придут деньги и обещание под рукою покровительства царского, то, думаю, это дело будет не очень трудно. Во всех наших делах ни на кого нам не надобно обращать такого внимания, как на цесаря.

По одержании нынешней победы над испанцами, без сомнения, он еще больше возгордится и, по известной своей склонности, все возможное станет делать, чтобы весь свет возбудить против нас. Если нельзя с ним миновать разрыва и он уже теперь турок на нас возбуждает, то я думаю, что турки лучше захотят возвратить себе то, что теперь уступили цесарю, нежели воевать с нами, ибо по взятии Азова я не вижу, что им из областей царского величества еще угодно было бы взять; может быть, что турки, если будут обнадежены помощью, скорее против цесаря, чем против нас, поднимутся, и не худо было бы теперь заранее внушить Порте об этом, потому что всегда лучше предупредить, чем быть предупрежденным».

Между тем на Аландские острова приехал назначенный к размене фельдмаршал Реншельд. Остерман воспользовался этим случаем, чтоб надлежащим образом приготовить его и внушить ему такие мнения, какие могли бы способствовать к заключению мира. «Царское величество, – говорил Остерман, – при настоящей войне не имеет в виду завоеваний; он хочет одного – привести свое государство в совершенную безопасность от Швеции и потом вместе с королем шведским основать новую систему в Германии, чрез что держать в почтении те державы, которые хотят предписывать всем законы». «Если государь ваш вступит с нашим королем в известные обязательства, – отвечал Реншельд, – то душу свою сатане продаю, если король не заключит мира с Россиею». Остерман счел также нужным объяснить фельдмаршалу подробно ход дела о царевиче Алексее, чтоб он мог по приезде в Швецию опровергнуть все лживые разглашения.

Остерман воспользовался прекращением конференций вследствие отсутствия Гёрца и написал «Рассуждение о состоянии Аландской негоциации» и переслал его к государю как свое «партикулярное малоумное мнение», которое может состояться и не состояться. «Эта мирная негоциация, – говорит автор, – есть дело одного барона Гёрца. Гёрц так силен у короля, что по произволу управляет всем в Швеции. Король, как государь войнолюбивый, сам мало имеет попечения о своих интересах и единственное удовольствие находит в том, чтоб каждый день с кем-нибудь драться или, когда нет к тому удобного случая, верхом скакать. По всему надобно думать, что он находится не в совершенном разуме; а как он упрям, это видно из прежних его поступков. Барон Гёрц – человек умный, но притом чрезвычайно гордый и много о себе думающий, не знаю, отыщется ли еще другой человек, в этом отношении ему подобный; он ищет одного – прославиться и для достижения этой цели ни себя, ни трудов, ни имени своего не жалеет. Король поручил ему все управление финансами, хотя он до сих пор ему не присягал и в службу его не вступал. Гёрц, зная королевский нрав, зная, чем скорее всего может удержать себя в милости Карла XII, создал ему вновь войско, для чего не только почти все ремесленники, но и из крестьян один из двух взят в солдаты; Гёрц ввел медные деньги, а серебряные почти все взял в казну; жалованье войску и все другие государственные уплаты производятся медными деньгами, и, дабы офицеры и солдаты от медных денег убытка не понесли, для того почти каждой вещи цена определена, по какой офицерам и солдатам продавать, но другим подданным все вольною ценою продается; крестьяне не могут продавать никому съестных припасов, но обязаны поставлять их в королевские магазины. Этим Гёрц получил кредит у короля; но легко понять, в каком кредите находится Гёрц у всего

разоренного им народа! Всем знатным шведам противно, что они у короля не имеют никакого значения и чужестранец в их государстве по своей воле всем располагает; другие жалеют о себе и о разорении отечества своего; все для своего частного интереса внутренне желают, чтоб король лишился своих владений в Германии! Естественно, что Гёрц имеет мало друзей между шведами, что все шведы противны плану примирения, им начертанному; все ищут его низвержения. Его царское величество так несчастлив в своих союзниках, что не только почти все от него отстали, но и вместо должной благодарности за добро злом воздать ищут. От них ото всех есть партикулярные мирные предложения, разве от одного короля датского нет, потому что он себя и весь свой интерес вручил доброму человеку Бернсторфу и на него как на спасителя своего всю надежду положил. По такому состоянию Северного союза и по всем таким мерзким поступкам союзников царского величества, естественно, шведы смотрят, с которой стороны они большую пользу могут себе получить, особенно потому, что им ни с какой стороны теперь к миру сильного принуждения нет; вместо того, чтоб шведам за нами ходить, каждый за ними ходит и к себе приглашает. Поступки со стороны царского величества при здешнем конгрессе были следующие. Так как было усмотрено, что вся негоциация от одного барона Гёрца зависит, то признали необходимым всевозможными способами войти с ним в конфиденцию. Стали применяться к его честолюбивому нраву, безмерно почитать его, ласкать, все его дела хвалить и, сколько честь царского величества при таких случаях допускала, униженно с ним поступать; сверх того, при всех случаях его обнадеживали особым уважением и милостию царского величества; и не думаю, чтоб какой другой министр без всякого почти торгу на такую знатную уступку согласился, хотя бы на то и указ имел. С нашей стороны ни на что именем царского величества не согласились; но на которые статьи, по указам, согласиться было возможно, о тех Гёрцу объявлено, что о принятии их будут стараться. Противные внушения и ведомости, приходившие на конгресс к шведам и останавливавшие здешние дела, другими внушениями и нарочно сочиненными ведомостями старались опровергнуть. О цесаре им внушено, что заключенный им мир с турками некрепок, что турки охотно воспользуются всяким случаем возвратить потерянное в последней войне. И теперь пристойным образом внушено шведам, будто короли английский и датский хотят впустить царские войска в Штад и Шральзунд, внушено, какие следствия могут произойти для них от этого, будут ли они когда-нибудь в состоянии возвратить себе эти места. Насчет Франции подана им надежда, что и она по заключении мира к нам обратится. Относительно Англии доказано, как мало король Георг в состоянии исполнить свои обещания, и, наоборот, показано, что шведы никогда не могут возвратить своих провинций, завоеванных русскими. Всех прочих из шведской свиты фамилиарным и учтивым обхождением и подарками к себе склонили».

«Что касается до состояния Швеции, – продолжает Остерман, – то она сильно разорена, и народ ждет спасения от мира. Швеция долго содержать большого войска не может; король принужден будет с ним из Швеции куда-нибудь выступить, чтоб у чужого двора лошадей своих привязать, иначе прокормить его невозможно. В Норвегии, куда король хочет впасть, действовать трудно, без большого урона достичь своих намерений нельзя; а каким образом он этот урон потом восполнит? Разве Швецию совершенно обнажит от людей. При Стокгольме

и на здешних берегах во все лето был небольшой корпус, а теперь зимою еще меньше останется. Ничто так Швецию к заключению мира не может принудить, как впадение в нее русских войск и разорение всех мест до Стокгольма. Надобно и то принять в соображение, что король шведский по его отважным поступкам когда-нибудь или убит будет, или, скача верхом, шею сломит. Если это случится по заключении с нами мира, то смерть королевская освободит нас от дальнейшего исполнения обязательств, в которые входим. Но хотя бы и мир не состоялся, то такой случай нам к немалой пользе также может послужить, ибо тогда Швеция разделится на две большие партии, а именно: первая – наследного принца гессен-кассельского, в которой почти все военные находятся; вторая – герцога голштинского, к которой принадлежит духовенство и чужестранные державы. Кто бы из них наследство ни получил, для утверждения своего принужден будет больше всего искать мира с царским величеством, ибо ни тот, ни другой для своего интереса не захотят потерять немецкие провинции и в удержании их большую нужду имеют, нежели в Лифляндии или Эстляндии».

«Шведы прежде многие письма под чужим именем печатали и повсюду распространяли, внушая о великих и дальних царского величества намерениях. Думаю, что теперь было бы не бесполезно с нашей стороны в Голландии и Англии рассеять письма о важных намерениях короля английского к предосуждению народа; также и в Польше о намерениях короля Августа и цесаря. Материал к тому достаточный и притом не лживый, а правдивый; в тамошних краях можно людей сыскать, которые такие письма сочинить могут. Подобные внушения действуют на народ, особенно на английский и польский. Не дурно и туркам заранее внушить о намерениях короля Августа и что цесарь хочет ему помогать и потому и племянницу свою за сына его выдал».

В начале ноября возвратился Герц и объявил, что король согласен на заключение мира, если царь обяжется прямо помогать ему против Дании. Русские уполномоченные отказали ему в этом решительно и объявили, что если шведы не окончат дела на прежних условиях, то царское величество долго продолжать конгресс не позволит; в формальной декларации они объявили, что далее декабря-месяца конгресс продолжен не будет. Гёрц дал честное слово, что в четыре недели все кончится, и опять уехал в Швецию. За два дня до его отъезда Штамкен объявил Остерману, как будто в великой конфиденции, что когда он с фельдмаршалом Реншельдом поехал с Аландских островов в Стокгольм, то фельдмаршал открыл ему, что желал бы между одною из царских дочерей и молодым герцогом голштинским заключить брачный союз. Штамкен спросил об этом Гёрца, и тот отвечал, что дело очень хорошее, но одна в нем большая трудность – различие веры, потому что герцог голштинский считается наследником короны шведской, а народ шведский королеву-нелютеранку иметь не пожелает. Остерман отвечал Штамкёну, что, когда мир состоится, тогда будет время подумать и о способах еще больше укрепить этот мир. «Хотя, – писал Остерман царю, – Штамкен говорил мне это как будто от себя, однако легко можно рассудишь, что от себя он бы сделать этого, не посмел, если бы не имел приказания от Гёрца».

Назначенные четыре недели прошли. Гёрц не возвращался. 14 декабря приехал на Аландские острова камердинер барона Шпара и привез какое-то известие, от которого все шведы пришли в сильное смущение. На другой день

пришел к русским уполномоченным Штамкен и, прося покровительства царского величества, объявил странные вести: 7 числа прискакал в Стокгольм курьер из Норвегии, и вслед за тем молодой герцог голштинский, барон Гёрц и все голштинцы были внезапно арестованы, все находившиеся у Стокгольма корабли задержаны и вся заграничная корреспонденция запрещена. С 14 по 23 числа не было из Швеции никакого известия; 23 числа, когда шведские уполномоченные обедали у русских, им пришли сказать, что на остров приехал шведский капитан. При этой вести Гиллемборг сильно переполошился и сейчас же пошел на свою квартиру, а Штамкен остался в русской квартире; много раз присылали с шведской стороны звать его домой, но он не пошел, а остался ночевать у русских. На другой день открылось, что король убит в Норвегии при осаде Фридрихсгаля, все голштинские министры арестованы и капитан приехал затем, чтоб взять Штамкена. Но капитан уехал назад без Штамкена, который остался у русских уполномоченных.

Смерть Карла XII поднимала вопрос: кому быть его преемником на престоле шведском? Ближайшим наследником был сын старшей сестры короля, Карл Фридрих, герцог голштинский, находившийся в войске при дяде во время смерти последнего. Но старинная вражда шведов к голштинскому дому чрезвычайно усилилась в последние три года, когда в голштинцах, Гёрце с товарищи, видели виновников разорения Швеции. Вследствие этого образовалась сильная партия, которая желала видеть на престоле младшую сестру Карла XII, Ульрику-Элеонору, муж которой, Фридрих, наследный принц гессенский, нравился своею приятною наружностью, общительностью, благоразумием; принц высказывал мирные наклонности, что вполне согласовалось с общею потребностью и тем более имело цены, что он был известен своей храбростью, тогда как молодой герцог голштинский не мог обратить на себя внимания ни одним сильно выдающимся достоинством. Карл XII оказывал одинаковое расположение к племяннику и к сестре и приводил в отчаяние их приверженцев своим равнодушием к вопросу о престолонаследии. Когда ему представляли необходимость назначить наследника, то он отвечал: «Всегда сыщется голова, которой придется впору шведская корона. Довольно с меня держать в повиновении народ, пока я жив; могу ли я надеяться, что он будет мне послушен и после моей смерти?» Но подле голштинской и гессенской партий все сильнее и сильнее становилась партия либеральная. Бесцеремонное обращение Карла и Гёрца с имуществом и жизнью шведов заставило не только дворянство, но и всех сколько-нибудь образованных людей желать ограничения королевской власти. Либералам нравилось соперничество между голштинским и гессенским домами: для получения короны соперники должны будут пожертвовать самодержавием.

Либералы не ошиблись в своих расчетах. В то время как герцог голштинский по нерешительности своей не воспользовался первыми минутами по смерти дяди, чтоб привлечь на свою сторону войско и заставить его провозгласить себя королем, тетка его, Ульрика-Элеонора, спеша перехватить корону, купила ее у Сената ценою самодержавия. Она была *избрана* королевою на условиях ограничения власти и коронована в марте 1719 года; герцог голштинский, преследуемый ненавистью тетки, оставил Швецию. Либеральная партия ознаменовала свое торжество казнью Гёрца. В своей ненависти к этому министру могла ли она продолжать и докончить его дело, заключить мир с Россией на

условиях, требуемых царем? Понятно, что должно было осилить мнение, по которому следовало поступить вопреки Гёрцеву плану, пожертвовать германскими владениями как бесполезными для Швеции, помириться на этих условиях со всеми своими врагами и продолжать войну с одною Россиею для возвращения Лифляндии и Эстляндии. Но сначала надеялись выиграть время, надеялись, что царь будет уступчивее при перемене обстоятельств.

После известий о смерти Карла XII Остерман уехал с конгресса в Петербург; на Аландских островах остался один Брюс, которому в феврале 1719 года Гиллемборг вручил грамоту королевы Элеоноры для отправления к царю, причем объявил, что королева надеется на восстановление прежней дружбы между Россиею и Швециею, желает продолжения конгресса и вместо барона Гёрца отправляет на Аландские острова барона Лилиенштета. Брюс, имея царский указ, обратился к Гиллемборгу с вопросом, как шведское правительство намерено окончить дело, потому что интерес царского величества требует получения немедленно об этом сведения. Гиллемборг отвечал, что не может объявить ничего определенного, потому что правительство занято внутренними делами: еще покойный король не похоронен, королева не коронована, сейм еще не кончился. При этом Гиллемборг заговаривал, что теперь русским уполномоченным надобно поступать в условиях своих снисходительнее, что шведы сильно будут домогаться Лифляндии и Эстляндии; что все северные союзники у нынешней королевы домогаются мира и французский министр при шведском дворе граф Деламарк для этого отправился в Копенгаген; что королева скорее помирится с союзниками, чем покойный король. Брюс доносил своему двору, что Лилиенштет скоро не придет, Гиллемборг один отказывается вступить в переговоры и по всему видно, что шведы хотят только протянуть время.

II марта в Петербурге Остерман подал царю *Всеподданнейшее генеральное рассуждение, касающееся до учинения мира с Швециею* : «По всем известиям, партия принцессы преодолела. Королева для приобретения народной любви тотчас отреклась от неограниченной власти, и достоверно, что шведы самовластного короля больше иметь не захотят, на нынешнем сейме правительство шведское в древнее состояние приведут и примут такие меры, чтоб никогда никакой король самодержавия в Швеции получить не мог. Шведское государство, впрочем, в такое состояние пришло, что всеми силами будет стараться о заключении со всеми мира, и какая бы партия ни одолела, принуждена искать мира. Интерес Швеции состоит в том, чтоб привести дело к общему съезду и на нем договариваться о мире со всеми своими неприятелями. Царское величество – опаснейший и сильнейший неприятель короны Шведской, и ненадобно сомневаться, что шведы всеми силами будут искать мира с его величеством. На Аланде шведам доказано, что хотя бы они с другими мир и заключили и, понадеясь на чью-нибудь помощь, продолжали войну с Россиею, то этим продолжением войны Швеция придет только в конечное разорение; и сверх того, сами они могут рассудить, что им на чужую помощь мало можно надеяться, ибо никто для Швеции не станет вести долгую войну с таким сильным и отдаленным государем, как царское величество; Англия для возвращения Лифляндии Швеции не захочет погубить свою торговлю в России, и во всяком случае царское величество еще 30 лет может продолжать войну не только оборонительную, но и наступательную. Шведы это понимают; но все же надобно

предполагать, что они будут хлопотать о каком-нибудь смягчении условий. За немецкие провинции шведы стоять не будут, но будут стараться, чтоб за них получить какое-нибудь облегчение с здешней стороны, в чем король английский и другие недоброжелательные России государства на общем съезде всячески будут Швеции помогать. О людях, которые теперь имеют сильнейшее влияние на принцессу Ульрику-Элеонору, о графе Гильденштерне, Таубе и Миллере (из них два последние – лифляндцы), известно, что они не склонны к уступкам России. При таких обстоятельствах если б можно было с королем английским и другими союзниками возобновить прежнее согласие, то этот путь, без сомнения, был бы лучший; но по всему видно, что это невозможно. Швеция пришла в совершенную нищету, нет ни денег, ни людей; и если бы царское величество первым вешним временем нанес Швеции сильное разорение, то этим не только покончил бы войну, но предупредил и все другие вредные замыслы; если во время этого разорения в Швеции будет происходить борьба партий, то какая-нибудь партия пристанет к России; если же и не будет борьбы партий, то народ, видя конечную свою гибель, будет требовать немедленного мира с Россиею».

На другой день, 12 марта, Брюсу было отправлено приказание побуждать Гиллемборга всевозможными способами, чтоб назначенный ему в товарищи барон Лилиенштет приезжал скорее на Аландские острова; если же нельзя, то пусть Гиллемборг получит указ возобновить переговоры и без товарища, ибо интерес царского величества не позволяет быть в долгом безвестии относительно шведских намерений; при этом Брюс должен был объявить, что Россия без Пруссии не может вести переговоров и потому прусский уполномоченный Мардефельд поехал на Аландские острова вместе с Остерманом. Остерман отправился с такими инструкциями: царское величество заключит мир, не иначе как получив в вечное владение Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию со всеми городами, островами, берегами и дистриктами, город Выборг и надлежащую границу с финляндской стороны, также часть Карелии со включением Кексгольма. Если получить это будет нельзя без всякого взаимного обязательства, в таком случае царское величество обяжется помогать Швеции в получении ей выгод с другой стороны, но чтоб шведы объявили им, какой помощи требуют. Или вместо того царское величество за уступку Лифляндии обещает в два года и в четыре срока заплатить миллион рублей деньгами или нужными для Швеции вещами.

В Стокгольм отправлен был бригадир Лефорт, который, «пришед к королеве, должен был учинить оной от его царского величества комплимент сожальный в пристойных терминах о смерти брата ее, а потом поздравить королеву о вступлении оной на престол, еже его царскому величеству зело приятно, и благодарить притом ей, королеве, за учиненную о всем оном его царскому величеству чрез присланную грамоту нотификацию, что его царское величество изволил принять за особливый знак склонности ее к его величеству и что его царское величество, с своей стороны, повелел засвидетельствовать, что он истинную склонность имеет – настоящую между обоими государствами от многих лет продолжающуюся войну и кровопролитие благополучным и к пользе обеих стран подданных постоянным миром прекратить». От министров Лефорт должен был требовать, чтоб Лилиенштет отправлен был немедленно на Аланд; если же со стороны шведской будет промедление, то царское величество принужден будет

принять свои меры, каких требуют настоящие обстоятельства, «и того ради дабы они о том его царскому величеству немедленную и категорическую резолюцию учинили».

На представлении королеве Лефорт начал говорить комплимент по-французски; но Ульрика-Элеонора просила его говорить по-немецки и отвечала, что она очень благодарна царскому величеству за его грамоту, что мир ни состоялся не по ее вине и что она последнее свое решение объявит министрам своим, находящимся на Аланде. Потом королева сняла «рукавицы», дала Лефорту поцеловать руку и ушла в свой апартамент. Лефорт пошел к мужу королевы, наследному принцу кассельскому, к которому было также письмо от царя. Принц сказал, что он царскому величеству очень обязан за честь, ему оказанную, и просил Лефорта бывать у него. Министры объявили Лефорту, что они охотно желают мира с Россией, но мира сносного; и если добрых условий получить нельзя, то чины государственные скорее намерены все потерять, чем учинить мир непристойный и бесчестный.

Между тем 4 апреля приехал Остерман на конгресс, и 6-го оба уполномоченные донесли: «По всем шведским поступкам довольно видно, что они надеются получить с вашим величеством мир на легчайших условиях и продолжают конгресс, во-первых, для того, чтоб не дать России прийти в прежнее согласие с союзниками, во-вторых, чтоб удержать ее от воинских действий против Швеции». Гиллемборг требовал, чтоб со стороны русских уполномоченных предложены были вновь мирные условия, ибо на старых условиях заключить мира нельзя: все в Швеции того мнения, что лучше с Россией остаться в войне, чем уступить такие провинции, которые шведскому королевству служат хлебными амбарами, что лучше для получения мира с другими неприятелями потерять немецкие провинции, от которых нет никакой выгоды, и продолжать с Россией оборонительную войну, дожидаясь благоприятнейших обстоятельств. По мнению Брюса и Остермана, царь для получения мира должен был предпринять какое-нибудь *«сильное действие»*, а между тем продолжать переговоры на Аланде, чтоб они не остерегались и не спешили заключением мира с другими, и так как в Швеции большая нужда во всем, особенно в съестных припасах, и голландцы с англичанами при первой возможности повезут туда хлеб, то необходимо запретить вывоз хлеба хотя на один год из русских и прусских гаваней, также препятствовать, чтоб его не вывозили из Данцига. Уполномоченные замечали, что, по всем вероятностям, шведы стараются развести царя с королем прусским и с каждым вести особые переговоры; для этого отказывают в допущении Мардефельда на конгресс, и Мардефельд получил письмо от наследного принца гессен-кассельского с приглашением приехать на свидание. Так как при настоящей форме правительства в Швеции не только принц, но и сама королева имеют очень мало силы, то невероятно, чтоб принц сделал это приглашение без ведома государственного совета; вероятно, письмо написано для того, чтобы сделать Мардефельду некоторые внушения или испытать его, не склонится ли король прусский к особливим переговорам. Уполномоченные писали, что если шведы решатся пожертвовать своими провинциями в Германии, то прусский король, получивши желаемые земли, не останется на русской стороне».

Это замечание было очень важно для петербургского двора. В Берлине граф Александр Головкин уверял барона Ильгена честным словом, что царь без включения Пруссии не подпишет мирного договора с Швецией, как бы он ни был выгоден для России, чтоб король был благонадежен и, с своей стороны, поступал бы таким же образом. Ильген отвечал, что король нисколько в этом не сомневается, только по ходу дела на Аланде опасно, чтоб другие не предупредили своим миром, от чего общим интересам может произойти большой вред, особенно прусский король останется в большой опасности по положению своих земель в империи, ибо цесарь может легко вмешаться в штетинское дело и прусскому королю трудно будет противиться. Головкин уверял в сильной помощи царской, представлял, что если Швеция обнаруживает мало склонности к миру, то надобно ее принудить, для чего царь намерен употребить оружие и запретил выпускать хлеб из своих гаваней в продолжение года, что должен сделать у себя и прусский король и Данциг принудить к тому же. Ильген отвечал, что такое запрещение не поможет, потому что шведы могут получить хлеб из Германии, Фландрии, Англии и других стран, которым будет выгода, а прусским подданным убыток.

В половине мая царь отправил на Аланд третьего уполномоченного, генерал-майора Павла Ягужинского, с прибавкою к остермановской инструкции еще следующего пункта: «Если бы на всех тех условиях Швеция не захотела уступить Лифляндию в вечное владение, то при последней крайности царское величество соизволит, чтоб Лифляндия оставлена была в русском владении от тридцати до двадцати лет, и по окончании этого срока она будет возвращена Швеции».

27 мая приехал на Аландские острова и другой шведский уполномоченный, Лилиенштет. Начались конференции. Русские уполномоченные прежде всего объявили, что не войдут в переговоры без участия Мардефельда; шведские отвечали, что не могут допустить этого участия, потому что с Пруссией дело пойдет об имперских землях, к чему нельзя приступить без предварительного согласия цесаря как главы империи. «Мы вас хорошо понимаем, – сказали на это русские уполномоченные, – ваши поступки клонятся к одному – чтоб разлучить нас с Пруссией, но это вам не удастся». Шведы объявили, что скоро должны получить указ о Мардефельде, и приступили к главному делу. Лилиенштет внушал, что в Швеции многие были того мнения, чтоб прежде помириться с другою стороною, однако превозмогло решение заключить мир с Россией; но если благоразумного мира с Россией получить не могут, то принуждены будут помириться и с другою стороною. Русские уполномоченные отвечали, что им неприлично рассуждать о том, что при нынешних обстоятельствах полезно шведским интересам, ибо каждый умный человек сам это легко может рассудить, и потому просят не грозить примирением с другими: эта угроза только дело испортит, ибо царское величество не имеет причины бояться Швеции и всех ее помощников. Но Лилиенштет продолжал стращать, спрашивал, известно ли царю, что против него ведутся большие интриги, что недавно и союз против него заключен. «Царское величество знает своих друзей и недругов, – отвечали русские уполномоченные, – вы намекаете на союз, недавно заключенный между цесарем и королями английским и польским, но время покажет вам, против кого заключен этот союз; цесарь и король английский всеми средствами ищут восстановить прежнее согласие с царским величеством».

Царь по согласию с прусским королем писал к своим уполномоченным, чтоб они в ожидании решения вопроса о Мардефельде в Стокгольме договаривались без него со шведами вместе о своем и прусском деле, для чего Мардефельд через них пусть делает предложения; если шведы будут требовать, чтоб прежде кончить дело о русских требованиях, то согласиться и на это, только объявить, что хотя бы между Россией и Швециею и было все улажено, но после тут же, на Аландских островах, шведы с прусским уполномоченным не уладятся, то и трактат с Россией будет вменен ни во что. «Предаем то дело в ваше управление, а мы, с своей стороны, намерены между тем воинские операции чинить и тем их к миру принудить».

Между тем граф Александр Головкин узнал в Берлине, что здесь ганноверская партия сильно интригует, чтоб отвлечь короля Фридриха-Вильгельма от России и заставить его вступить в соглашение с королем Георгом английским. Фридриху-Вильгельму представлен уже был и проект этого соглашения: английский король гарантировал Пруссии Штетин с дистриктом по реку Пину и с островами Узедомом и Волином; прусский король гарантировал Ганноверу княжества Бременское и Верденское; король польский включался в трактат: он гарантировал Пруссии и Ганноверу их приобретения, за что Швеция должна признать его на польском престоле; короли прусский и английский будут стараться, чтобы Швеция послала своих министров на Брауншвейгский конгресс для мирного постановления. Головкин представил королю, какие будут вредные следствия этого соглашения: отлучивши его от России, будут потом с ним делать что захотят; помощь короля английского по прежним примерам известна. «Я, конечно, так глубоко с англичанами в обязательство не вступлю, чтоб моя добрая дружба с царским величеством могла быть повреждена», – отвечал король. «Вашему величеству, – говорил Головкин, – известны вредные для Пруссии намерения польского короля, и я не знаю, для чего бы вам из угождения королю английскому собственным интересам вред наносить?» «Я этого предложения о короле польском не приму», – отвечал король. Головкин указал потом на Брауншвейгский конгресс как на коварное средство, употребленное королем Георгом для того, чтоб отвести Пруссию от Аландского конгресса. «Я и сам вижу, – отвечал король, – что мало пользы на Брауншвейгском конгрессе будет для общих наших интересов, и всячески от него уклоняться буду; однако если цесарь вступится и, как глава империи, потребует, чтоб князья имперские, участвующие в Северной войне, послали министров своих на этот конгресс, то в таком случае и мне нельзя будет не послать своего министра, для чего надобно спешить аландскими переговорами. Английский король желает подлинно знать, не имею ли я с царским величеством каких трактатов против империи и чтоб я вперед в подобные трактаты не вступал: мне легко было дать в этом обнадеживание, потому что и действительно у меня с царским величеством наступательных союзов нет; но если цесарь станет на нас нападать, в таком случае естественно всякому себя оборонять и свои меры принимать. Я непременно в доброй дружбе и твердом соединении с царским величеством пребуду, я в царском величестве имею единого истинного и прямого друга себе».

Узнав, что король призывал к себе министров, Головкин поехал к Ильгену и спрашивал, в каком смысле составлен ответ на английские предложения. Ильген

показал ему три пункта, написанные королевскою рукою, из которых один какой-нибудь должен быть внесен в трактат вместо пункта о короле польском:

1) короли английский и прусский не будут мириться без включения и удовольствования царя, королей датского и польского. 2) Если министры английские не согласятся, то написать, что короли английский и прусский не заключат такого мира с Швециею, который был бы предосудителен прочим северным союзникам и противен существующим между ними договорам. 3) Если английские министры непременно будут требовать внесения пункта о польском короле, то прусский король требует: а) чтоб король польский и Речь Посполитая отказались от притязаний своих на бранденбургскую Пруссию; б) чтоб король польский взял назад грамоту свою, в которой говорил, что имеет довольно причин вмешиваться в прусские дела; в) чтоб Речь Посполитая признала за прусскими королями королевский титул; г) чтоб король польский и Речь Посполитая гарантировали Штетин с дистриктом. Ильген заметил при этом, что благодаря таким условиям едва ли английский король согласится заключить договор; если же согласится, то царскому величеству будет выгодно, и берлинский двор тем удобнее может содействовать к примирению царя с королем английским. «Это так, – отвечал Головкин, – но зачем остался пункт о Брауншвейгском конгрессе: когда цесарь в то дело вступится, то, получа силу, захочет, чтоб все по его воле делалось». Ожидания Ильгена сбылись, английский посланник при берлинском дворе Витворт объявил, что по инструкциям своим он не может согласиться на включение в договор пунктов, требуемых прусским королем.

Между тем шведские уполномоченные на Аланде явно длили время: то говорили, что день со дня ждут из Швеции указа насчет переговоров о прусском мире, то вдруг объявили, что Гиллемборгу необходимо самому ехать в Стокгольм по какому-то непредвиденному обстоятельству. Русские уполномоченные отвечали на это объявление: «Мы хорошо понимаем, куда все эти ваши поступки клонятся; но время, быть может, вам покажет, что вы сами себя обманываете». Царь хотел показать это следующим образом: в июле-месяце русский флот из 30 военных кораблей, 130 галер и 100 малых судов отплыл к шведским берегам. Генерал-майор Ласси направился к Стокгольму, пристал у местечка Грина, и окрестная страна запылала; 135 деревень, 40 мельниц, 16 магазинов, два города – Остгаммер и Орегрунд, 9 железных заводов были выжжены; огромное количество железа, людских и конских кормов, чего ратные люди не могли взять с собою, было брошено в море. Адмирал Апраксин пристал к Ваксгольму только в семи милях от Стокгольма и также опустошил окрестную страну. Добыча, полученная русскими, оценивалась более чем в миллион талеров, и вред, причиненный Швеции, – в 12 миллионов. Козаки были в полутора милях от Стокгольма. В надежде на впечатление, какое будет произведено походом, Петр отправил в Швецию Остермана за решительным ответом. 10 июля Остерман отправился в Стокгольм под белым флагом и возвратился с грамотой, в которой королева предлагала царю Нарву, Ревель и Эстляндию, но требовала возвращения Финляндии и Лифляндии. Два неприязненные к России сенатора, Таубе и Делагарди, в очень недружеских и непристойных выражениях выговаривали Остерману, что царь присылает своего министра с мирными предложениями, а войска его жгут шведские области; сенаторы чрезмерно хвалились своими сильными войсками и говорили, что никогда не дадут приневолить себя к миру.

Остерман Отвечал, что такие недружеские разговоры никак не могут содействовать к ускорению мира; что царское величество никогда не сомневался, чтоб у них не было войска, и что если мир не состоится, то будет много случаев с обеих сторон показать свою храбрость. Принца кассельского Остерман нашел весьма несклонным к миру с Россиею; он и сама королева в «жестоких терминах» выговаривали ему, что в то время, как он является с мирными предложениями, русские жгут деревни и дома вблизи Стокгольма, и хотя бы у них склонность к миру и была, то по таким поступкам вся она пропадает, ибо они не позволят принуждать себя к миру. «Заключите со мною прелиминарный трактат, и неприятельские действия сейчас же прекратятся», – отвечал Остерман. Принц кассельский и президент Сената граф Кронгельм говорили, что они ничего бы так не желали, как если бы русские войска высадились на шведские берега, что они сами очистили бы им место, чтоб сражением окончить дело. Остерман отвечал, что русским войскам известны верность и любовь к отечеству шведского народа. Граф Гиллемборг объявил Остерману по секрету, что большая часть сенаторов противится миру с Россиею и теперь они еще больше озлоблены сожжением своих имений от русских войск, а между тем английский посол делает великие обещания и подкупает, кого может, великими деньгами. Граф Кронгельм говорил Остерману: «Я сам вижу вредные следствия для Швеции от продолжения войны; но теперь и те, которые прежде были склонны к миру, так озлоблены разорениями, претерпенными от русских войск, что хотят лучше совсем пропасть, чем согласиться на такой мир». Остерман сказал ему на это: «Вы, граф, сами убеждены, что при продолжении войны настоящая форма правления у вас не долго простоит и дело кончится народным восстанием». «Народ очень противен миру», – возразил Кронгельм. «Народ, – отвечал Остерман, – непостоянен в своих мнениях: которые сегодня не желают мира, завтра с жаром будут его требовать».

21 августа Петр дал уполномоченным своим указ: «Повелеваем вам по получении сего быть на том конгрессе еще одну неделю для ожидания туда из Швеции прибытия назначенных от королевского величества министров или присылки нового к барону Лилиенштету о вступлении с вами в мирную негоциацию указу; а когда те шведские министры из Швеции на Аланд и придут или вместо того указ к барону Лилиенштету новый пришлется, но ежели шведские министры станут предлагать о мире с нами прежние свои взмирительные кондиции и несогласные с основанием наших последних кондиций, то вам, не продолжая о том с ними негоциацию более двух недель, по прошествии той вышеупомянутой недели тот конгресс разорвать и ехать с Аланда к двору нашему; но при отъезде своем оттуда отдать вам шведским полномочным министрам грамоту к королевскому величеству шведской в ответ на присланную от нее к нам с тобою нашим канцелярии советником и притом им, полномочным, объявить, что ежели ее королевское величество, усмотря наши благонамеренные к миротворению поступки (и по разорвании оногo конгресса), восхоцет иногда с нами мир на основании вышеозначенных предложенных ей последних кондиций чинить, то мы от того не отрицаемся, и дабы ее королевское величество в таком случае немедленно паки на Аланд или прямо к двору нашему с полною мочью и с довольными инструкциями прислала из министров, кого изволит». Брюс с товарищами объявил об этом указе Лилиенштету, и тот дал знать об нем в Стокгольм. 6 сентября Лилиенштет объявил русским уполномоченным, что

получил указ из Стокгольма: королева объявляет, что в последних условиях своих довольно показала свое желание к миру, ибо хотела сделать знатные, чрезвычайно для нее чувствительные уступки; но царское величество принять их не хочет и велел объявить, что если в три недели предложенный им ультиматум принят не будет, то его уполномоченные имеют указ ехать с Аландских островов; поэтому и королева приказывает своему уполномоченному барону Лилиенштету ехать с островов и порвать конгресс. Русские уполномоченные отвечали, что им ничего более не остается, как готовиться к отъезду.

Так кончился Аландский конгресс. С 1716 года дипломатическая война велась между русским царем и английским королем, и Швеции надобно было выбирать между ними. Под влиянием Гёрца Карл XII склонялся к миру и союзу с Россией; по смерти Карла новое правительство, естественно, склонилось на сторону Англии. Летом 1719 года посланники короля Георга, английский и ганноверский, заключили мир с Швециею, которая уступила Ганноверу Бремен и Верден. Следствием этого мира было порвание Аландского конгресса. Но Швеция одна была не в состоянии воевать с Россией, ей нужно было помочь; Георг не мог оказать деятельной, непосредственной помощи, потому что не мог заставить Англию объявить войну России; ему оставалось поднимать против царя другие государства, вследствие чего дипломатическая борьба загорелась с новою силой и далеко оставила за собой борьбу военную. Сильно велась она в Вене, где была удобная почва. Дело царевича Алексея произвело снова охлаждение между царем и цесарем; а с другой стороны, покушения Испании возвратить себе прежние владения в Италии заставляли императора сближаться с Англиею, заискивать у ее короля. В январе 1718 года Абрам Веселовский дал знать из Вены, что цесарь велел президенту рейхсгофрата графу Виндишгрецу тайно внушить ганноверскому посланнику, какую услугу король Георг окажет императору и всей империи, если заключит отдельный мир с Швециею. Император сильно опасается отдельного мира России с Швециею, потому что тогда произойдет большое смятение в империи и герцог мекленбургский прислужится своими войсками шведскому королю. В марте Веселовский объявил императору о лишении царевича Алексея наследства и о назначении наследником царевича Петра Петровича; император отвечал: «Мы царю, вашему государю, за сообщение нового определения очень обязаны и надеемся, что он сам всего лучше может знать, кто полезнее ему и государству его быть может». Неприятности только начинались. В апреле Веселовский явился к императору с жалобою на резидента при русском дворе Плейера, который сообщил своему двору ложные известия, оскорбительные для особы царя. Веселовский просил, чтоб Плейер был немедленно отозван и на его место был прислан другой. Через несколько времени опять является Веселовский к императору и рассказывает, как в бытность царевича в Неаполе присылал к нему вице-канцлер граф Шёнборн своего секретаря с требованием, чтоб царевич написал письмо к сенаторам и архиереям, что он и сделал против воли, и письма эти находятся у вице-канцлера, так чтоб цесарское величество по всегдашней дружбе и склонности к царскому величеству приказал эти письма отдать ему, Веселовскому. Император отвечал с удивлением, что он никогда не приказывал вице-канцлеру требовать от царевича подобных писем и без указа он этого сделать не мог. Веселовский отправился к принцу Евгению, к графу Цинцендорфу – те повторяли слова императора; Веселовский

возражал, что царевичу не для чего затевать басней. Обещали по этому и Плейерову делу иметь особую министерскую конференцию и начали тянуть время. Веселовский жаловался принцу Евгению, что так долго не хотят решить такого перед всем светом праведного дела. Принц отвечал: «Как может царское величество ставить в вину резиденту Плейеру, что он доносил своему государю слышанные им от людей известия? Народное право тут не нарушено, и не видно, чтоб Плейер имел какие сношения с подданными царского величества». «Из донесения видно, – говорил Веселовский, – что либо он все это выдумал для ослабления дружбы царского величества с императором, либо имел сообщение с преступными подданными царского величества, которые ему сообщили такие ведомости в ущерб славе и интересу государя своего». Видя, что принц Евгений продолжает защищать Плейера, Веселовский объявил, что если император не отзовет Плейера, то царь принужден будет сам выслать его из России. Евгений с немалым *фукованием* (раздражением) сказал, что донесет об этом императору.

Это доношение оставалось без последствий, несмотря на сильное старание резидента получить скорейшее решение. Он объявил министрам, что в такой медленности царь увидит знак нерасположения императора к себе. «Император, – отвечали министры, – всегда желал сохранять дружбу с царским величеством; а как царское величество с нами поступает, мы это узнали под рукою». «Скажите, что такое вы узнали?» – спросил Веселовский; но министры уклонились от ответа. Между тем резидент проведал о сношениях польского короля с венским двором. Представлены были два мемуара: в первом Август II жаловался, что Польша постоянно подвергается насилиям и обидам со стороны царя и, не будучи в состоянии противиться собственными войсками (а саксонских в Польшу впускать не хотят), прибегает к императору с просьбою, чтоб он принял меры к отвращению этого зла. Он, король Август, получил известие, что царь намерен выдать племянницу свою, овдовевшую герцогиню курляндскую, за претендента (Стюарта) и доставить ему польский престол по смерти его, Августа; а какой произойдет вред цесарю и другим соседним державам, когда Польша почти что соединена будет с Россиею, о том сам цесарь может рассудить. Во втором мемуаре Август объявляет, что царь ведет переговоры об отдельном мире с Швециею и хотя обнадеживает его. Августа, что без общего согласия мира не заключит, но он ему не верит и просит императора убедить английского короля, чтоб тот, когда будет заключать отдельный мир с Швециею, включил в свой договор и польского короля. Император послал об этом указ к посланнику своему в Лондон, и английский король обещал исполнить желание императора.

Наконец в мае-месяце принц Евгений объявил Веселовскому, что император из присланной копии Плейерова донесения не может усмотреть ничего, что было бы противно международному праву или чтоб его резидент имел сообщение с царскими подданными, но что он доносил все слышанное, исполняя свою обязанность; поэтому император не должен его отзывать и не хочет допустить, чтоб иностранная держава принуждала его переменять своих министров, ибо одна держава не может предписывать закона другой. Что же касается трех писем царевича Алексея, то вице-канцлер был спрошен перед всеми министрами, и обнаружилось, что царевич сам эти письма прислал к вице-канцлеру для отсылки в Польшу; но письма не отправлены, оставлены здесь, из чего можно видеть доброе расположение императора к царскому величеству. Тут принц Евгений

показал Веселовскому издали три запечатанные письма. Веселовский заметил, что такой ответ императора будет очень неприятен царю, который не может вперед с полною откровенностью сноситься с Плейером, и доброе согласие между двумя дворами не может быть поддержано таким лицом. Принц отвечал, что другого решения со стороны императора не будет. Веселовский просил, чтоб отдали ему письма царевича, и в том получил отказ. Шёнборн именем императора объяснил Веселовскому, что Плейер не будет отозван, а если будет выслан силою, в таком случае император уже знает, что делать. Сам император сказал резиденту: «Мы надеемся, что об отозвании Плейера министры наши вам уже нашу резолюцию объявили, и о трех письмах прикажем вам дать ответ вскоре». Потом Шёнборн показал Веселовскому одно письмо царевича и, когда тот спросил, почему показано одно письмо, а не все три, отвечал со смехом: «Я о других не знаю».

Поведение венского двора объяснялось известиями Веселовского в июле-месяце, что с турками у Австрии заключен выгодный мир и что император отправляет в Польшу чрезвычайного посла возбуждать Речь Посполитую против пребывания русских войск в Польше; что император уговорился с королем Августом не только вытеснить русские войска из Польши, но добиться того, чтоб вперед они ни под каким предлогом туда не входили без позволения цесарского и Речи Посполитой. Для этого и для северных дел положено отправить 25000 войска в Силезию и Богемию на границы и, смотря по состоянию дел, прибавить еще 10000. Главное намерение венского двора состоит в том, чтоб поддержать возложенное на Ганновер поручение заставить герцога мекленбургского выслать русские войска из своих владений; помирить герцога с дворянством его на условиях, требуемых последним как правым, и город Росток привести в прежние отношения к герцогу. Кроме того, венский двор опасается короля прусского, зная, что он очень склонен к России; боятся, что если состоится мир между Россией и Швециею, то прусский король соединит свои войска с шведскими; уверены, что Карл XII по заключении мира с Россией высадится у Данцига, вступит в Германию и будет война за веру протестантскую, потому что после несчастья шведского короля под Полтавою в австрийских владениях начали притеснять протестантов и теперь представления шведского резидента на этот счет отстранены. В Вене боятся также русских войск, которые стоят в Польше; боятся, что если три тысячи русских войск, стоящие в Мекленбурге, будут оттуда вытеснены, то царь отомстит за это и за неприятности по делу царевича впадением в Силезию. Когда датский посланник заметил одному австрийскому министру: «Чего вам бояться вторжения русских войск в Силезию? Теперь у вас мир с турками, и вы можете сейчас же отправить значительный корпус войска и вытеснить русских», то австриец отвечал: «Правда, только пока цесарские войска туда отправятся, русские между тем сделают то же в Силезии, что делали в Польше и Мекленбурге: побравши все с собою, уйдут и усы оботрут: где потом искать удовлетворения? Россия с нами не граничит, а начинать войну с нашим интересом несходно». Наконец, с австрийской стороны сделан был запрос Порте, для чего она терпит пребывание русских войск в Польше, когда это запрещено последним договором ее с Россией.

В начале августа приехал в Вену генерал-адъютант барон Левенвольд, которому в Петербурге дан был наказ представить венскому двору постоянное желание царя заключить с ним союз, но все предложения об этом с русской

стороны до сих пор остаются напрасными; видя это, царь заключил союзный договор с Франциею, но и тут когда французское правительство требовало, чтоб Россия при нарушении Утрехтского и Баденского договоров обязалась помогать Франции войском за субсидию, то царь не согласился вступить в это обязательство, не желая сделать что-нибудь противное цесарю. Царь надеется, что цесарь, усмотря такие его доброжелательные поступки, перестанет верить ложным и неосновательным внушениям насчет России. Царь не имел никогда никакого намерения вмешиваться в имперские дела и приобрести владения в империи, как разглашают недоброжелательные люди; это ясно из того, что, имея в руках Штетин, отдал его в посессию королю прусскому; легко мог получить Висмар и Штральзунд, но никогда их не домогался. Вступился за герцога мекленбургского, зная, что его преследуют по письмам барона Бернсторфа, мекленбургского дворянина, который извлекает для себя большие выгоды из ссор между герцогом и его дворянством. Все ложные против России внушения происходят от ганноверского двора. Цесарь недоволен манифестом царским о царевиче Алексее, где сказано, что цесарь склонил царевича к выезду из своих земель; но, во-первых, это правда, во-вторых, манифест издан только для подданных царского величества, а потом напечатан на иностранных языках иноземными министрами, в чем русское правительство не виновато. С польской стороны делаются внушения, будто царь выдает племянницу свою за претендента; но это явная ложь: по просьбам польского короля царь сговорил было эту племянницу свою за герцога вейсенфельского, но так как это дело от них разными штуками промедлено, то царь заблагорассудил сговорить племянницу за родственника короля прусского, старшего сына маркграфа Филиппа. Русские войска не выходят из польских владений потому, что жители Данцига обещали пресечь всякие сношения с шведами и действовать против них, что должен был им приказать сделать государь их, король польский, но он до сих пор не сделал на этот счет никакого распоряжения, и потому царь приказал князю Репнину с его дивизиею оставаться в Польше до тех пор, пока жители Данцига исполнят свое обещание, тем более что из многих мест получают ведомости о намерении короля шведского высадиться у Данцига. Левенвольд должен поступать, смотря по тамошним делам, по совету Веселовского, но должен остерегаться, чтоб не показать со стороны царского величества боязни или унижения, а стараться только об искоренении враждебных внушений и добиться отозвания Плейера.

На первой аудиенции император сказал Левенвольду: «Мы его любви, царю, вашему государю, за обнадеживание в дружбе очень благодарны, чего и с нашей стороны себе надеяться может; что же касается резидента нашего Плейера, то мы, рассмотря его поведение и поступок, удовольствуем в том его любовь, царя». Прошел август, сентябрь – удовольствования не было, ждали верных известий о ходе Аландского конгресса; а между тем прусский король, испугавшись, что Австрия с торжеством вышла из турецкой войны, прислал в Вену министра своего, Книпгаузена, поздравить цесаря с блестящим миром и внушить, что король его собирает большое войско только для собственной защиты, к пользе империи и на службу цесарского величества; обнадежить, что при аландских переговорах не заключит мира со шведами, а в мекленбургском деле исполнит поручение цесаря относительно примирения герцога с его дворянством, и если герцог цесарского приказания ослушается, то поступит с ним по имперской

конституции. «Знатно, – писал Веселовский, – что прусский двор по обыкновенной своей политике, сомневаясь в благоприятном исходе аландских переговоров, хочет про запас прислужиться у цесаря своими внушениями». Проходил и октябрь – удовольствования не было; но Левенвольд и Веселовский получили рескрипт, в котором царь изъявлял готовность содействовать мирному решению мекленбургского дела. Тон императорских министров тотчас переменялся, когда Веселовский объявил им об этом; они стали обнадеживать резидента, что по собственному почтению к царскому величеству цесарь покажет всевозможную склонность к герцогу и сделает так, что герцог получит над своим дворянством такие же права, какие имели его предшественники, только бы царское величество уговорил герцога не оказывать императору дальнейшего сопротивления; а цесарь простил ему все прежнее для царского величества. Царское величество обнадеживает, что в имперские дела мешаться не хочет: так изволил бы вывести из Мекленбурга свои четыре батальона. С этим Левенвольд и отправился назад, в Петербург. Цель его посольства была достигнута в том отношении, что Плейер был отозван. Между тем с польской стороны продолжалась работа: Флеминг вместе с английским посланником хлопотал о заключении с императором оборонительного союза, которого главная цель – вытеснение русских войск из Польши. Но венский двор откладывал дело, выжидая, чем кончится Аландский конгресс. В декабре Веселовский узнал, что проект оборонительного союза между Австриею и Польшею уже подан императору; резидент отправился к министрам с протестом; министры отвечали ему, что союз еще не заключен, да и нет в нем ничего предосудительного интересам царского величества: дело естественное и никому не противное, что император и король Август хотят обязаться взаимною обороною земель своих, особенно при нынешних обстоятельствах, когда видят постоянное пребывание русских войск в Мекленбурге и в Польше и переговоры на острове Аланде с королем шведским, не имея никаких сведений об этих переговорах – быть может, там заключаются какие-нибудь вредные для цесаря договоры. Веселовский отвечал, что если император обнадежит царя своим словом, что герцогу мекленбургскому обиды перед дворянством сделано не будет, то четыре русских батальона будут немедленно выведены; также русские войска выйдут и из Польши, когда исчезнет опасение насчет высадки шведов у Данцига; касательно же аландских переговоров он, резидент, обнадеживает царским именем, что ничего вредного для цесаря там не становится; но заключение союза между императором и королем польским, разумеется, заставит и царя принять меры для своей безопасности. Прусский резидент также протестовал против союза; и ему отвечали, что союз оборонительный и потому никому вреден быть не может; прусскому королю тревожиться нечего, и если он захочет приступить к союзу, то его примут; а союз необходим, потому что русские войска стоят в Польше. «Они стоят потому, что грозит высадка шведов к Данцигу», – говорил резидент. «Предлог пустой, – отвечали министры, – шведский король в Норвегии и не думает о высадке; мы видим русское намерение, чтоб только на чужих проторях жить и разорять Польшу, но против этого мы должны принять меры». Веселовский сообщил своему двору известие о плане императора, переданное верным человеком: когда будет заключен оборонительный союз с королем польским, то предложить на Регенсбургском сейме всем князьям империи, не

хочет ли кто из них приступить к этому союзу, и таким образом ввести в него всю империю; цель союза будет – выслать русские войска из Мекленбурга и Польши и принять меры, чтоб никогда они в Германию и Польшу не вступали; таким образом, король прусский будет оторван от России и принужден вступить в союз империи с Польшею. При этом если даже будет заключен мир между Россиею и Швециею Карл XII вторгнется в Германию, то он будет уже неприятелем всей империи.

Веселовскому дали знать, что император сердится, зачем в Петербурге не допустили Плейера откланяться царю перед отъездом; министры повторяли, что резидент не сделал никакого жестокого преступления, а исполнял только свои обязанности. Веселовский объявил, что русским войскам уже велено отодвинуться от Данцига к своим границам, причем опять восставал против союза цесаря с Польшею. Император велел отвечать, что благодарит царя за это и надеется, что будут выведены и те четыре батальона, которые находятся в Мекленбурге; что же касается до союза с Польшею, то как царь волен заключать союзы с кем угодно, не сообщая об этом цесарю, так точно и последний волен делать то же, не давая знать царю, тем более что и царь не сообщает в Вену ничего об Аландском конгрессе; впрочем, император накрепко обнадеживает царя, что в союзном договоре его с Польшею не содержится ничего предосудительного ни русским, ни прусским интересам.

31 декабря Веселовский донес о полученном в Вене известии, что шведский король убит; это известие произвело при дворе величайшую радость. Император был уверен, что кто бы ни занял шведский престол, а его непременно пригласят в посредники для решения северных дел. Флеминг, услышав о смерти Карла XII, сейчас же начал хлопотать, чтоб к союзному договору между императором и королем польским прибавлена была статья о Лифляндии, которая должна принадлежать польскому королю в силу договора его с царем. Флеминг говорил, что для включения этой статьи в договор он готов раздать 200000 цесарским министрам; заключение оборонительного договора стоило ему 100000 гульденов. Перед Веселовским Флеминг клялся, что он не сделал венскому двору никаких предосудительных для России внушений; просил, чтоб царь не верил злым внушениям прусского двора, который употребил все средства поссорить польского короля с царем; интригами прусского двора расстроен брак курляндской герцогини с герцогом вейсенфельским, и герцогиня сговорена за маркграфа бранденбургского; но польский интерес не может допустить, чтоб кто-нибудь из принцев бранденбургских получил Курляндию. Поэтому он, Флеминг, предлагает именем королевским, что если царь уничтожит договор о браке своей племянницы с маркграфом бранденбургским и выдаст ее за герцога вейсенфельского или даже за другого какого-нибудь принца, то он, Флеминг, обещает настоять у Республики Польской, чтоб муж герцогини был избран в герцоги курляндские; в противном случае как король, так и Речь Посполитая не допустят, чтоб маркграф бранденбургский получил Курляндию. Наконец, если царь вознаградит некоторым образом короля Августа за Лифляндию, то король гарантирует России завоеванные у шведов области; в чем должно состоять вознаграждение, Флеминг не сказал, но требовал, чтоб для этого был прислан к королю один из знатнейших министров царских. Между тем в Вене с нетерпением ждали, чем кончится вопрос о наследстве шведского престола; радовались, когда

слышали, что корона достанется Ульрике-Элеоноре, ибо думали что герцог голштинский такой же дикой природы, как и покойный Карл XII, и потому пойдет по следам дяди. Неблагоприятная для России, для Аландского конгресса перемена в Швеции не замедлила отразиться на отношениях венского двора к петербургскому.

4 февраля 1719 года вице-канцлер граф Шёнборн присылает к Веселовскому с просьбою, чтоб тот приехал к нему немедленно. Веселовский приезжает, и ему объявляют императорский указ: так как резиденту Плейеру запрещен был проезд ко двору, из чего ясно, что резидент там не нужен, поэтому и цесарское величество заблагорассудил запретить царскому резиденту проезд к своему двору, и означенный резидент в восемь дней без отпускной аудиенции должен выехать из Вены и в самом скорейшем времени оставить наследственные императорские земли. Веселовский протестовал, но понапрасну. Ему объявили, что обида, нанесенная Плейеру, нанесена не ему, но самому императору, дважды ему был запрещен проезд ко двору, отпускной аудиенции ему не дали, не дали и обыкновенного подарка. Веселовский доносил своему двору, что из достоверного источника узнал он о причине злобы: принцесса Ульрика-Элеонора поручила своему резиденту в Вене тайно обнадежить цесаря, что она желает его дружбы и полагает на него большую надежду, также для показания своего доброжелательства и откровенности обещает переслать все вредные для империи предложения, сделанные царем покойному шведскому королю. Веселовскому сообщено было также, что венский двор узнал о соглашении, существующем будто между Россиею и враждебною императору Испаниею, будто в Петербурге находится испанский эмиссар именем Сен-Илер, а в Испании также русский агент, и правительство испанское назначило царю субсидии. Наконец, Веселовскому сообщили известие, за достоверность которого он, впрочем, не ручался, что в Кроации вспыхнуло восстание; жители напали на кавалерийский полк и побили много солдат; некоторые из заводчиков смуты пойманы и объявили, что восстали по наущению царя.

Торговый агент русский Бузи был также выслан из Вены. Петр в отмщение велел выслать иезуитов из Москвы, но известные нам обстоятельства, явившиеся к осени 1719 года, побудили царя возобновить сношения с императором. Притом через прусский двор было узнано, что император готов прекратить ссору и если будет прислан в Вену кто-нибудь из царских министров, то будет принят приятно. Чтоб испробовать почву, в октябре был отправлен в Вену генерал-лейтенант Вейсбах под предлогом своих частных дел. Ему было наказано объяснить с принцем Евгением, что все известия о враждебных для императора сношениях царя с Швециею, Испаниею и Турциею вымышлены: все это интриги королей английского и польского, которые для своих частных целей хотели ссорить императора с царем.

В начале 1720 года Вейсбах приехал в Вену и начал действовать посредством надворного военного советника фон дер Клея. Тот дал ему знать, что об успешном окончании дела сомневаться не следует, но он должен приготовиться отвечать на следующий упрек со стороны венского двора: сын царевича Алексея и принцессы вольфенбительской нарочно лишен всякого мужского воспитания и отдан в женские руки, дабы с малолетства внушить ему женскую покорность, потому что царь твердо намерен выдать одну из дочерей своих за немецкого принца и сделать

его наследником, а внука лишить наследства. Вейсбах отвечал, что все это – чистейшая ложь: воспитание принца поручено искусным мужчинам, дано ему несколько солдат, которыми он уже сам командует, также дана малая артиллерия для забавы, как о том каждому в Петербурге известно; всем известно, какую любовь царь и царица питают к своему внуку, хранят его как зеницу ока, царь сам часто ночью встает и навещает принца.

Скоро явился к Вейсбаху любопытный гость, тайный советник герцога голштинского Бассевич, и объявил, что хочет предложить царскому величеству дело великой важности: так как известно, что цесарь и другие державы никогда не допустят, чтоб Лифляндия осталась за Россию, то вместо того, чтоб возвращать ее Польше или Швеции, царю гораздо полезнее уступить ее герцогу голштинскому, выдав за него одну из своих дочерей; герцог имеет неоспоримые права на шведский престол, и если царь поможет ему получить этот престол, то он в благодарность уступит тогда Лифляндию России. Конечно, герцог может получить Лифляндию и с помощью цесаря, но тогда ему придется вступить в брак с одною из императрицыных племянниц, чего ему не хочется, а желает он именно жениться на одной из царских дочерей. Вейсбах отвечал, что он не может дать на это предложение никакого ответа, может только на письме переслать его в Петербург. Но Бассевич не хотел дать своего предложения на письме и обещал сам ехать в Петербург.

22 января Вейсбах имел конференцию с вице-канцлером Шёнборном, который объявил, что император заблагорассудил вступить с царским величеством в доброе согласие и допустить его, Вейсбаха, на аудиенцию. Известие об этом решении сильно встревожило английского посланника, который начал доказывать, что император без ведома своих союзников, короля английского и польского, не может вступить ни в какие трактаты с царем; на это возразили, что оборонительный союз между императором и королями английским и польским не заключен именно против царя. Вейсбах был принят императором, который сказал ему: «Нам приятно слышать, что наш друг и брат, великий царь, склонен прежнюю дружбу с нами возобновить; мы с нашей стороны все потребное к тому приложить хотим, о чем вы вашему государю донести и в нашей дружбе обнадежить можете». Шёнборн объявил, что если царь хочет возобновляемую дружбу совершенно утвердить, то чтоб сильно аккредитованный министр поспешил своим приездом в Вену.

Когда об этом узнали в Петербурге, то немедленно отправили в Вену действительного камергера, тайного советника, генерал-майора и гвардии капитана Павла Ягужинского с такою инструкцией: «Когда он будет обнадежен в дружбе цесаря к царскому величеству, в возобновлении доброго согласия и корреспонденции и в забвении всего прошлого, то должен просить себе отпуска и объявить, что царское величество в знак своей дружбы изволит прислать к цесарю резидента, а цесарь изволил бы прислать своего резидента, такую особу, которая бы могла содержать добрую корреспонденцию и дружбу между обоими государями и обреталась бы у цесаря в некотором кредите, чтоб и царское величество мог иметь к ней доверенность». Ягужинский должен крепко противиться, чтоб не был послан резидентом снова Плейер.

В конце апреля Ягужинский приехал в Вену и был очень ласково принят всеми министрами, начиная от принца Евгения; духовник императора, иезуит,

держал длинную речь о том, что он, кроме царского величества, не видит в целой Европе другого государя, которого дружба была бы полезнее и приличнее для императора; хотя англичане и помогают цесарю против Испании, однако все делают в торговых видах и в других своих интересах и особенно хотят обязывать цесаря действовать против претендента (Стюарта), но это противно интересу и правосудию цесаря. Такая речь была очень понятна в устах иезуита, который должен был считать нечестивым союз императора с протестантскою династиею в Англии в ущерб династии католической и который должен был сочувственно смотреть на царя, готового всегда принять сторону Стюартов по вражде к Ганноверской династии. Кроме того, по случаю столкновений католиков с протестантами в самой империи английский король, как курфюрст ганноверский, принял сторону протестантов, тогда как император должен был принять сторону католиков; таким образом, католическая ревность Габсбургов подрывала союз их с Англиею; наконец, сильное влияние короля Георга в протестантской Германии, повелительный тон английских министров, память о недавней измене Англии, оставившей своего союзника, императора, и заключившей отдельный мир с Франциею, а потом тесно сблизившейся с последнею, – все это сильно раздражало венский двор и заставляло его жаловаться на наглость англичан, которые дорого продавали императору свою помощь в новой войне испанской. Император на первой аудиенции объявил Ягужинскому, что его присылка ему приятна и что он никогда не преминет оказывать всякую дружбу, усердие и любовь к царскому величеству. Но и Ягужинский должен был жаловаться на медленность венского двора. Граф Шёнборн сказал ему, чтоб он подал письменно свои предложения; Ягужинский отвечал, что он прислан для возобновления дружбы и так как венский двор объявил склонность ко вступлению в ближайший союз с царским величеством, то он, Ягужинский, имеет указ объявить о готовности своего государя ко вступлению в этот союз; пусть венский двор отправит своего министра с полномочием в Петербург для переговоров, чтоб время не проходило в переписках, и ему, Ягужинскому, пусть сообщат проект, на каком основании должен быть заключен союз. Шёнборн отвечал, что цесарь ко всему готов, но надобно, чтоб предложения были сделаны с русской стороны.

В это время приехал в Вену герцог мекленбургский, и с женою Екатериною Ивановною, несмотря на то что Ягужинский писал ей, чтоб не ездила. «Герцог, – доносил Ягужинский в июне, – имел на сих днях аудиенцию у цесаря, который изволил принять его ласково и обещал помогать ему в скорейшем окончании его дел; кажется, герцог при здешнем дворе будет не без приятелей, если станет поступать по здешнему обхождению, а старый свой нрав оставит». Кроме этого герцога-родственника в Вене жил другой герцог, который добивался быть родственником царскому величеству – герцог голштинский. По доношениям Ягужинского, посланники английский и шведский старались всеми силами удержать герцога, чтоб не искал царского покровительства, но герцог не поддавался; министры его поступали «очень откровенно» с Ягужинским и являли радение к интересам царским.

Наконец австрийские министры удосужились и вступили с Ягужинским в конференции, о результате которых он доносил так: «Все дело в том состоит, что здешний двор со стороны вашего величества предложений о ближайшем сообязательстве ожидает, а сами того отнюдь учинить и первыми быть не хотят.

Английский посланник всеми средствами старается доброму намерению двора здешнего с вашим величеством помешать; но до сих пор никакого успеха не имеет и внушает теперь между прочими лжами и ту, будто ваше величество с турками союз намерены заключить. Герцог голштинский с нетерпением ожидает решений вашего величества на его предложения и беспрестанно меня об этом спрашивает. По своим молодым летам он постоянного состояния и немалого ума». Герцог уехал из Вены в Венгрию, объяснивши Ягужинскому причину отъезда таким образом, что он находится в Вене в затруднительном положении: из Петербурга нет никаких известий, а между тем английский посланник не дает ему покоя с своими предложениями. По отъезде его явились к Ягужинскому двое голштинских министров с просьбою донести царю: если он не может согласиться на все предложения герцога, то они будут и тем довольны, если Россия будет помогать герцогу в восстановлении его в наследственных землях. От этого восстановления русская торговля получит немалую пользу, потому что герцог при помощи царской может легко и скоро провести канал от Екернфорда в реку Эйдер и таким образом, минуя Зунд, купеческие суда могли бы гораздо ближе ходить из Балтийского моря в Голландию и Англию. Потом Бассевич сообщил Ягужинскому «в крайней конфиденции», что, по донесению их министра из Парижа, регент герцог Орлеанский желает вместе с царем помочь герцогу голштинскому в возвращении его земель и чтоб в Шлезвиге провести новый канал для удобства торговых сношений между Россиею и Франциею; герцог Орлеанский так расположен к их герцогу, что подарил ему 300000 ливров. Бассевич домогался, чтоб царь: во-1), выдал дочь свою, царевну Анну Петровну, за герцога; 2) гарантировал его наследственные земли, ибо Россия, как морская держава, не может допустить Данию усилиться; 3) обещал как у шведского народа домогаться, так и с расположенными к герцогу государями войти в соглашение насчет обеспечения герцогу наследства шведской короны; 4) если царь захочет что-нибудь уступить из завоеванного у Швеции, то чтоб уступил герцогу голштинскому, причем может быть постановлено секретное условие владеть герцогу уступленным участком в звании генерал-губернатора, а когда сделается королем шведским, то возвратить эти земли России в вечное владение. Сам герцог объявил Ягужинскому, что если царское величество удостоит его высокой чести принятия в кровный союз, то он, безусловно, предаст себя во всем в высокую его волю, надеясь, что тогда царское величество изволит поступить с ним милостивейше, как с сыном; герцог прибавил, что если б он получил покровительство царя, то шведы, узнав об этом, могли бы поднять явный мятеж, ибо у него в Швеции довольно друзей, которые потому только не смеют обнаружить своей приверженности к нему, что видят его в беспомощном состоянии. О герцоге мекленбургском Ягужинский писал в июле: «Герцогу мекленбургскому я предложил мою службу в его делах; однако он себя содержит очень скрытно и, может быть, не хочет объявить канала, которым проходит, опасаясь, чтоб тем делу своему не повредить; а я, не зная, куда обратиться, боюсь, чтоб не разбиться и вместо услуги не помешать; герцог, кажется, не безнадежен насчет доброго успеха; между тем государыня царевна Екатерина Ивановна изволит здесь пребывать весьма инкогнито».

Кроме этих дел Ягужинский хлопотал еще в Вене о том, чтоб узнать о местопребывании бывшего здесь резидента царского Абрама Веселовского,

который, будучи отослан от императорского двора, не возвратился в Россию. Ягужинский доносил, что открытию местопребывания Веселовского и выдаче денег, оставленных им в Вене, больше всего препятствует граф Шёнборн, «ведая за собою интриги, которые он с ним, Веселовским, во время царевичева дела имел». «Я пытался, – писал Ягужинский, – через домашних Шёнборновых и секретарей его, чтоб уступкою многого числа денег или его, Шёнборна, склонить, или чтоб сказали, где деньги, но те не только что отвечать, и слышать о том не хотели».

В августе Ягужинский донес, что со стороны австрийских министров обнаружена к нему холодность: причиною – вести, что царь принял англо-французское посредничество и вступил в переговоры с Швециею. Императору хотелось быть самому единственным посредником при заключении Северного мира, для чего он пригласил всех участников войне прислать уполномоченных на Брауншвейгский конгресс. Царь согласился, но в проекте договора, присланном к Ягужинскому, было сказано, что царь принимает посредничество с тем условием, если цесарь обещает и обязуется свою медиацию произвести и действо только добрыми средствами (*bonis officiis*), не употребляя никакого понуждения, и во всем прочем поступать так, как весьма бесстрастному и импарциальному медиатору принадлежит. Это условие очень не понравилось в Вене: австрийские министры толковали слово «бесстрастный» так, что царь подозревает в императоре недоброжелательство к России, хотя император своими действиями постоянно доказывает, что совершенно равнодушен к Северной войне, от которой ему нет ни пользы, ни убытка, и только по христианскому чувству хочет мира и тишины между народами. Условие беспристрастия было, впрочем, принято, ноне в тех выражениях, как в русском проекте, причем австрийские министры настаивали, чтоб царь как можно скорее высылал своих уполномоченных в Брауншвейг, дабы отнять у других держав предлог уклоняться от конгресса. Ответ на другие статьи русского проекта, именно об оборонительном союзе, откладывался, и в конце октября Ягужинскому объявили, что о договоре будет наказано отправляемому к царскому двору чешскому штатгалтеру графу Кинскому, причем давали знать, что император, не видя, как пойдет дело на Брауншвейгском конгрессе, не может вступать ни в какие обязательства, ибо это было бы противно его значению посредника. Ягужинский спрашивал министров, как относится цесарь к делу герцога голштинского. Ему отвечали, что цесарь очень жалеет о несчастьи герцога и так горячо принял его сторону, что король датский принужден был немедленно же возвратить ему Голштинию; что же касается Шлезвига и других претензий герцога, то цесарь хочет ему помогать, только один ничего сделать не может, и дело откладывается до конгресса. Конгресс не сходил с языка австрийских министров: по их словам, стоило только царю отправить своих уполномоченных на конгресс, злонамеренные державы уймутся от своих интриг; король английский добивался, чтоб император дал ему инвеституру на Бремен и Верден; но император не согласился: из этого царь может видеть ясно, как император к нему склонен; король английский – главный противник царя, он все откладывает конгресс и других к тому же побуждает; уже по этому одному царь должен поспешать присылкою своих уполномоченных на конгресс, чтоб сделать неприятность своему врагу, и, кроме того, может сыскать приятелей на конгрессе.

В этих переговорах прошел 1720 год и два первые месяца 1721. В марте при венском дворе узнали неприятную новость, что Россия для примирения с Швециею не нуждается в посредничестве цесаря и в Брауншвейгском конгрессе. Этим оканчивалась дипломатическая борьба в Вене. Мы видели, что император и английский король считали необходимым сближение с Польшею, ибо только через нее можно было непосредственно действовать против России. Русской дипломатии поэтому нужнее всего было не уступать здесь неприятелю.

Нам уже известно, в каких отношениях находилась Россия к Польше и ее королю в 1717 году; союз, впрочем, считался продолжающимся, и в начале 1718 года князь Григорий Фед. Долгорукий, находясь в Дрездене, объявил Августу II, что у России с Швециею должны начаться мирные переговоры, но что Брюсу велено только выслушать шведские предложения и взять их на доношение царю, который ни в какие прямые трактаты без согласия с его польским величеством не вступит. Король благодарил и говорил, что он в этом не сомневается по крепкой дружбе и союзу с царским величеством. Но, несмотря на «крепкую дружбу и союз», настоящие враждебные отношения высказывались при каждом удобном случае. Так, когда Петр потребовал, чтоб польское правительство подтвердило конвенцию его с жителями Данцига, которые обязались пресечь все сношения с Швециею и вооружить против нее каперов, то Флеминг отвечал Долгорукому: «Теперь на короле польских дел никогда не взыскивайте, потому что конфедерация, за вашим покровительством, отняла у него всю силу». Чины Речи Посполитой жаловались, что русское войско все еще не оставляет Польши. «Утвердите Данцигскую конвенцию, и оно уйдет», – отвечал Долгорукий. Но кроме Данцигской конвенции было еще другое польское дело, которое царь взыскивал на короле: в январе 1718 года он получил просьбу: «Бьют челом богомольцы твои от всех благочестивых монастырей литовских и белорусских, мужских и девичьих, о благочестии святом, которое поляки всеконечно хотят во всем государстве своем Польском и Великом княжестве Литовском искоренить и на сейме варшавском унию везде конституциею укрепить, потому что в государстве Польском ни один монастырь или приходская церковь в благочестии обретаются, но все нуждою и насилием обращены в унию; а в Великом княжестве Литовском только вышеписанные монастыри великое и нестерпимое гонение день ото дня и час от часу все больше терпят, православие святое с великою борьбою и прением о вере восточной сохраняют, прочие же премногие монастыри уже принуждены к унию, и если в нынешнее нужное гонительное время от вашего царского величества, единого нам по боге упования, вскоре не получим помощи, и в Великом княжестве Литовском искони насажденное благочестие вконец искоренится и всегдашнее о здравии вашего величества богомолит перестанет, монастыри превращены будут в костелы, и нам нужно будет разбежаться в разные страны от насилия и податей, которыми убогие обители вконец разоряются; Миорский монастырь, приписной к Кутеинскому, силою отняли на плебанию, также и Лукомский силою взяли на унию, двоим иеромонахам головы и бороды дочиста обрили, самих нещадно били и, как мертвых, за ноги из монастыря вытащили, один из них, Варлаам, оттого и умер». Вследствие этой просьбы Петр написал Долгорукому: «Повелеваем вам королю и чинам Речи Посполитой надлежащие представления учинить и накрепко домогаться, чтоб благочестивым монастырям по мирному договору никакого отягощения и принуждения к

принятию унии не было, от чрезвычайных налогов и поборов были бы они освобождены и сравнены с другими польскими жителями; которые епископы по причине благочестия изгнаны, снова были бы возвращены в свои епархии. Вы должны на будущем сейме прилагать старание, чтоб в конституцию внесено и подтверждено было о свободном отправлении веры православной; можете самому королю, примасу и другим польским сенаторам и министрам нашим именем объявить, что мы более не можем терпеть, чтоб в противность договора православие в Польше гонимо и до всеконечного искоренения приведено было, о чем и наша грамота к королю и Речи Посполитой отправлена; мы заблагорассудили иметь особого человека для охранения благочестия в Польше, для того отправим нашего нарочного и повелим ему жить в Могилеве при епископе и охранять благочестивые епархии, монастыри и церкви, за них у чинов Речи Посполитой заступаться, и если удовлетворения не получит, то будет к вам обстоятельно писать».

Было еще третье неприятное дело с польским королем. Мы видели, что старшая племянница царя, Анна Ивановна, была выдана замуж за герцога курляндского; но вскорости после брака молодой герцог умер, и ему наследовал старый, неспособный и нелюбимый дядя его Фердинанд, последний из Кетлеров. Молодая вдова, обеспеченная брачным договором в Курляндии и оставшаяся здесь, племянница могущественного царя, не могла остаться долго без женихов, тем более что с ее рукою был тесно связан вопрос о курляндском наследстве. Король Август предложил Петру выдать ее за принца саксенвейсенфельского с обещанием хлопотать у Речи Посполитой, чтоб она согласилась на отстранение Фердинанда от курляндского престола, который займет принц вейсенфельский. Петр согласился, и было положено, что король в восемь недель пришлет ратификацию брачного договора. Но прошло шесть месяцев, а ратификация не присылалась, и царю дали знать об интригах Августа при венском дворе. Между тем прусский король предложил Петру выдать Анну за своего двоюродного брата, маркграфа Филиппа бранденбург-шведского. Видя в сближении с бранденбургским домом гораздо более выгоды, чем с саксонским, опасаясь, чтоб Август не провел и тем «не учинил афронту племяннице», и зная, что прусский король имеет многие, и справедливые, претензии на герцогские имения в Курляндии и многие из них у него в залоге, Петр принял предложение и не хотел переменить своего намерения и тогда, когда министр короля Августа в Петербурге барон Лос объявил, что ратификация его государя получена им. Август II оскорбился, тем более что ему было очень тяжело передать Курляндию во враждебный бранденбургский дом. Когда Лос стал делать выговоры царским министрам, то ему отвечали, что «царское величество волен в своем домашнем деле сделать по своей воле» и что о курляндском наследстве в договоре с прусским двором ничего не постановлено.

Долгорукий доносил, что в Польше становится трудно. Король Август сближается с Австриею, сватает сына своего за эрцгерцогиню; цесарь, заключив мир с турками, хочет вытеснить русские войска из Мекленбурга и принуждать царя к северному миру, хочет поджигать польский сейм против России и вообще всякой противности во всех сторонах царю ищет; поляки страшно озлоблены на Россию за частые переходы ее войск через их земли и ведут частые сношения с турками и татарами. Французский посланник Безанваль говорил Долгорукому, что

надобно остерегаться цесаря, который, конечно, старается поднять турок и поляков против России; из желанья служить царскому величеству Безанваль советовал обходиться с поляками поласковее, чтоб не оттолкнуть их к Австрии. Княгиня Рагоци рассказывала Долгорукому, что поляки часто советуется, как бы начать сопротивление против русских войск. «Подтверждаю, – писал Долгорукий, – что теперь в поляках к вашему величеству есть великая перемена: и доброжелательные удаляются». Коронный канцлер Шембек, уверяя в своей преданности царю, говорил Долгорукому, что царь всю прежнюю дружбу, труды и разорения короля и Речи Посполитой забыл, положился во всем на новых бесполезных друзей, Францию и короля прусского; прусский король и так ни за что получил Померанию. Эта дружба цесарю и всем другим державам внушает подозрение, а Речь Посполитая все более и более разоряется русскими войсками, которые через земли короля прусского проходят на своем пропитании и этим обогащают его подданных, а в Польше все даром берут; и теперь генерал князь Репнин уже от своей границы повернул назад и подошел к Данцигу, а король и Речь Посполитая нимало не виноваты в том, что не могут, по правам, без сейма утвердить Данцигской конвенции; трактат курляндский с принцем вейсенфельским отвергнут, чем король на весь свет опозорен, а Речь Посполитая, всегда боявшаяся Пруссии со стороны курляндской, думает, что этим способом царское величество желает оторвать Курляндию от Польши и передать Пруссии; маркграфу бранденбургскому стать герцогом курляндским Речь Посполитая никогда не позволит, а принца Вейсенфельса не только курляндцы желают, но и все поляки его любят. Безанваль внушал, что двор саксонский хлопочет у двора цесарского о передаче польского престола сыну Августа II; оба двора хотят ссорить поляков с царем и хотят разделить Польшу между собою; что при нынешнем мирном трактате у цесаря с турками цесарские министры возбуждали Порту против России, о чем и теперь стараются; король Август за тем же отправил от себя в Константинополь француза Ламака; шведскому королю дворы венский, английский и голландцы предлагают, чтоб не заключал мира с Россиюю, обещая помочь ему возвратить все завоевания царя. Долгорукий не нашел другого способа противодействовать враждебным движениям, как разглашать под рукою, что русские войска присланы в Польшу не для одного исполнения Данцигской конвенции, но больше для пользы Речи Посполитой, потому что король Август посредством венского двора хочет сделать сына преемником своим в Польше. Долгорукий просил царя прислать подарков, «понеже в таком случае без того быть невозможно».

«Внушайте полякам, – писал царь Долгорукому, что мы о противных намерениях короля их и цесаря хорошо известны: наш общий с Речью Посполитою интерес не может допустить их до исполнения своих намерений; для этого мы и держим в Польше репинский корпус, и если увидим умножение опасности, то будем принуждены и еще знатное число войск наших в Польшу ввести и уже велели им приблизиться к польским границам. Обнадежьте всех, что мы с королем шведским без включения Речи Посполитой мира не заключим; был бы допущен и королевский полномочный министр на конгресс, если бы был поляк, а не саксонец и имел свое полномочие от Речи Посполитой. Примите заранее свои меры, чтоб будущий сейм разорвался, чтоб на нем ничего не было постановлено ко вреду нашему и по желанию королевскому и цесарскому

подушению. Соболей и камок на раздачу вам пришлем на две тысячи рублей. О курляндском деле внушайте, что я отстранил брак принца вейсенфельского именно потому, что узнал о вредных замыслах короля Августа насчет наследственности саксонской династии в Польше, а принц вейсенфельский королю свой; относительно же бранденбургского брака договорено, чтоб Курляндии быть всегда беспрекословно под протекциею короля и Речи Посполитой под правительством особенного герцога. Для собственного *вашего* сведения объявляем, что мы держим войска в Польше для предостережений замыслов короля Августа и цесаря против нас и короля прусского, особенно чтоб король прусский, испугавшись войск цесарских, не отстал от нас; и так крайняя нужда требует, чтоб наши войска еще несколько времени в Польше постояли, пока мы увидим, чем кончатся переговоры на Аланде. Мы отовсюду получаем известия, что король Август на нас очень злобен за то, что мы никак не вошли в его план раздела Польши или установления в ней самодержавия, даже не согласились признать наследственность саксонской династии в Польше, о чем его министры нам беспрестанные предложения делали; еще недавно барон Лос предлагал нам выдать племянницу или дочь нашу за сына королевского».

В начале октября начался сейм в Гродне, куда за королем отправился и Долгорукий. Дело началось дурно; поднялись страшные крики против русских войск, грозили посполитым рушеньем. Долгорукий писал царю: «Если бы при нынешнем случае не было в Прусах наших войск, то я в поляках никогда бы не сомневался; не только цесарь или Порта, но и король не мог бы ничего сделать. и навеки были бы поляки наши приятели; а теперь очень сомнительно, не было бы посполитого рушенья и не приняли бы поляки какой-нибудь протекции, враждебной нам, потому что нет ни одного человека, кому бы не были противны наши войска, что королевскому интересу великая помощь. Зная о всех внушениях полякам, король изволит на меня смотреть немилосердным оком, приватной аудиенции мне не дал, велел сказать, что при нынешнем случае со мною секретно говорить не может; если у меня есть какое дело, чтоб я говорил публично при всей Речи Посполитой. Разорвать сейм очень трудно, потому что ни к каким другим делам не хотят приступить, пока наши войска не будут выведены; все наши доброжелатели и гетманы опасаются со мною секретно говорить и ко мне с визитом боятся ездить, ибо послы сеймовые кричат, что они виноваты в присутствии русских войск в Польше и что за это берут от царя пенсии. Когда я бываю при дворе, то за мною ходят шпионы, все подслушивают и не допускают поляков говорить со мною секретно; а когда к кому-нибудь приеду, то непременно в то же время приедет и кто-нибудь с королевской стороны». Подать представление насчет гонения на православных Долгорукий не имел возможности.

На сейме решили отправить царю письмо с просьбою, чтоб велел вывести свои войска из Польши. Король добивался, чтоб определено было заранее посполитое рушенье и когда прищется неудовлетворительный ответ от царя, то король имел бы право немедленно же назначить время и место для сбора; но встретил сопротивление, особенно со стороны Литвы и Волыни, которые требовали ждать царского ответа, и если придет ответ благоприятный, то и посполитое рушенье не нужно; если же неблагоприятный, то пусть король соберет экстраординарную конную раду, на которой и определено будет посполитое

рушенье. Приближался срок сейму, 3 ноября. Долгорукий подкупил посла. Ошмянского повета Корбута, который накануне срока прокричал свое «не позволяю» и скрылся в монастыре; король и его приверженцы деньгами и обещаниями уговорили Корбута, и 3 ноября, в последний день, привезли в карете на сейм. Здесь король, не вставая, сидел день и ночь и половину другого дня, заперши ставни у окон, без свеч и таким образом из двух дней и ночи сделали один день, многие послы спали, многие ушли. Решили сейм отложить, но срок и место отдали в королевскую волю; также дали ему право, смотря по обстоятельствам, созвать посполитое рушенье. «Я никогда в Польше короля таким сильным и владетельным не видал, как на нынешнем сейме, – писал Долгорукий, – точно самодержец! Но если изволите милостиво на прошение о выводе войск отвечать, то, думаю, не только посполитого рушенья, и сейма не будет, и не вижу, чтоб мог король против вашего величества что в Польше сделать».

Самодержавие Августа II в Польше скоро оказалось. Тайно ночью приехал к Долгорукому гетман польный литовский Денгоф, который именем всех своих товарищей гетманов объявил, что они давно сами хотели с ним видеться, только король запретил бывать у него в продолжение сейма; видят они многие королевские поступки, противные их вольности и правам, видят, что он старается сделать сына своим наследником посредством австрийского двора и что теперь не только другие, но и они, гетманы, стали бессильны; поэтому просят они высокой протекции царского величества, ибо если они вперед более того усмотрят, то хотят составить конфедерацию, на которую согласны и другие знатные фамилии – Потоцкие, Сапегы, чтоб царское величество изволил начертать план действия. Для проверки слов Денгофа Долгорукий виделся с гетманом Потеем, и тот подтвердил ему то же самое, прося убедительно, чтоб государь велел вывести войска свои из Польши, ибо тогда ни один поляк не станет на стороне королевской против России.

В декабре царь прислал ответ на прошение сейма, что велел князю Репнину вывести свой корпус из Польши. «Король, – писал Долгорукий, – всем показывает довольное лицо по поводу этого ответа; но внутри у него другое». Король жалел, что не удалось ему поднять посполитое рушение. Но рушение поднималось в другом смысле: к царю обращалось за покровительством православное духовенство, притесняемое католиками, к нему обращались гетманы, которые жаловались, что стали бессильны; к нему обратились и лютеране, притесняемые в отправлении своей веры; знаменитый диссидентский вопрос, имевший такое значение в истории падения Польши, начинался уже теперь. В сентябре 1718 года польские протестанты обратились к царю с просьбою защитить их от гонений; они писали: «Не только мы, но и вся старая Русь подразумевается под именем диссидентов и вместе с нами подвергается гонению: так, много церквей, епископов, монастырей отпало, и почти вся шляхта русская от своего закона отступила, не имея доступа к должностям по причине своего благочестия. Так как теперь дошли до того, что и самого короля духовенство не слушает, и на грамоты его не смотрят, то никто нас не осудит, что мы прибегаем к вашему царскому величеству, ибо вы посредник между королем и Речью Посполитою и виновник общего мира, и тем, которые терпят насилие, не имеют покоя, которых права и

привилегии уничтожаются, не только вольно, но и должно прибегать к вашему царскому величеству».

Гетманы и диссиденты обращались в Петербург; король Август с своим Флемингом обращались в Вену хлопотать о заключении тройного союза между императором и королями английским и польским. Доброжелательствующий России стражник коронный Потоцкий сообщил Долгорукому, что король, заключив этот союз, будет стараться вовлечь в него и Речь Посполитую, надеется, что и король прусский будет скоро членом союза, говорит, что союз этот угоден будет всем в Европе, когда увидят, что. посредством его царь будет отодвинут от берегов Балтийского моря и в европейские дела так далеко вмешиваться не будет. Долгорукий доносил: «Я, как возможно, все противные замыслы королевские полякам объявляю, что он с цесарем и английским королем союз заключил, чтоб сына своего сделать наследником в Польше, а потом быть „абсолютом“, и если Речь Посполитая не будет иметь покровительства вашего величества, то, конечно, король всю свою волю исполнит, отчего не только принципалы польские, но и многие из шляхты в великом размышлении. Извольте, государь, как возможно, двор берлинский удерживать, потому что здешний король и его креатуры ищут всеми мерами оторвать его от вашего величества; также извольте кого-нибудь в Порте, забегая, послать, чтоб постоянно содержала мир с вашим величеством. Извольте, государь, ныне в интересах наших бодро смотреть и всего нужнее поляков при своей стороне держать; думаю, не худо бы чрез какова корреспондента и в Испании о союзе отозваться; а я о том здесь за секрет корреспондентам кардинала Алберони говорил писать, чтоб с цесарем скоро не мирились и с вашим величеством искали союза; они мне обещали писать и думают, что король испанский не только будет искать союза с Россиею, но и большими субсидиями на войска станет ссужать». Флеминг, устроивший в Вене тройной союз, говорил по возвращении своем Долгорукому: «При дворе царского величества я вымалеван, как Мурин (негр), напрасно, потому что всегда служил царскому величеству верно, как своему королю, и теперь в предосуждение царскому величеству ничего не делал; по делам своим я светел, а не темен, и король с царским величеством всегда желает содержать прежнюю дружбу, только равную, братскую, а не повелительную». «Царское величество, – отвечал Долгорукий, – всегда имел и теперь желает иметь с королем братскую равную дружбу, а повелителем никогда не был и теперь того желать не изволит; а ваши дела как будут светлы пред царским величеством, это скоро покажет время».

Доказательства не замедлили. Польские министры объявили Долгорукому, что король и Речь Посполитая не могут никого по смерти герцога Фердинанда допустить на курляндский престол и непременно намерены разделить Курляндию на воеводства и слить с Польшею, на что имеют полное право, и воспрепятствовать в этом никто им не может. Примас объявил, что если царь не будет отдавать Курляндию маркграфу бранденбург-шведскому за дружбу прусского короля, то Речь Посполитая всегда будет в союзе с Россиею, а царское величество будет иметь протектором, потому что прусский двор более всех опасен Польше, особенно теперь, когда у него так много войска. Между тем король вел контрмину против Долгорукого, разглашая, что царь нарочно возбуждает всеми мерами Речь Посполитую против него, Августа, чтоб можно было ему всегда свои войска на польском хлебе содержать. Долгорукий в свою очередь разглашал, что

самое пламенное желание короля – посорить Речь Посполитую с Россией, чтоб под этим предлогом ввести в Польшу войска свои и чужие и мало-помалу утвердить наследственное и неограниченное правление. Последние внушения сильно действовали: Потоцкий (епископ варминский), Любомирский (подкоморий коронный), Сапега (писарь литовский) и другие паны допытывались у Долгорукого, какого рода отношения между Россией и Пруссией. Можно ли им надеяться на помощь последней, если их король и цесарь что-нибудь начнут в Польше? Долгорукий отвечал, чтоб были благонадежны, ждали помощи от обоих дворов и не боялись какого-либо ущерба для себя: царь ручается, что ни сам ничего не возьмет из польских владений, ни другому не даст. «Король, – доносил Долгорукий, – великими деньгами и раздачею вакантных мест многих к своей стороне приводит, а нам так прежде времени делать убыточно; довольно было бы, если б я мог сблизиться с ними, бывать в компании и чаще к себе звать; но мне из жалованья своего такую фигуру иметь трудно: изволите сами ведать, какие они расходы на одном венгерском вине употребляют».

В августе-месяце тайно ночью явился к Долгорукому гость: тот самый Грудзинский староста равский, который в Великой Польше разбил киевский полк по оплошности полковника Гордона. Грудзинский объявил, что прислан своим принципалом Сапегою, старостою бобруйским, который желает быть в службе под протекциею царского величества, как прежде служил королю шведскому. Причиною было то, что австрийское правительство «по природной гордости немецкой и ненасытной хищности», как выражался Сапега, отобрало пограничные земли, ему принадлежавшие.

Между тем король Август отпраздновал свадьбу сына своего на эрцгерцогине, племяннице императора, и бывшим у него в Дрездене панам стал внушать, как выгодно будет Польше с целью охранить себя от властолюбивых замыслов России войти в оборонительный союз с императором и королем английским, заключенный им, Августом, в Вене; но паны отмолчались и между собою толковали, что союз и дружба немецкая им подозрительны и что нельзя допускать короля до разрыва с Россией. Из панов Долгорукий особенно дорожил Потоцким, стражником коронным, которому и дал 2000 червонных; Потоцкий принял деньги за великую милость, но боялся тратить их, потому что червонцы были русские. Разнесся слух, что царь прислал деньги и жене стражника коронного; тогда гетманша Синявская приступила к Долгорукому, чтоб и ей возобновлена была прежняя ежегодная дача по семи тысяч рублей.

В Петербурге беспокоило молчание сильнейших людей в Речи Посполитой, гетманов, после того как литовский польный гетман Денгоф так сильно высказался против короля Долгорукому. В Польшу отправлен был полковник Дмитрий Еропкин с целью выведать расположение гетманов и указать на враждебные замыслы короля. Еропкин прежде всего свиделся тайком с Денгофом в деревне недалеко от Вильны. Гетман объявил, что он неотменно остается при намерении, объявленном князю Долгорукому, но еще нет повода к начатию дела, да и нельзя начать без сейма. Флеминг публично объявил пред многими сенаторами, что он заключил союз с цесарем и королем английским только от одной Саксонии, а не от короля польского и Речи Посполитой. Если бы король с своими союзниками и хотел начать войну с Россией, то Корона и Литва этого никак не позволят, и чуть что-нибудь обнаружится, то немедленно будет прислана

от них к царю просьба о покровительстве; а теперь прежде времени ничего начинать не следует. О гетмане великом коронном Синявском Денгоф по секрету объявил Еропкину, что жена его склонна к королю; о гетмане великом литовском Потее сказал, что он совершенно при королевской стороне и ездить к нему не надобно или по крайней мере говорить не очень откровенно. «Но пусть царское величество будет благонадежен, – говорил Денгоф, – воевать мы с Россиею не станем. Если царское величество имел от короля прежде какие проекты, клонящиеся к повреждению Речи Посполитой, то приказал бы их публиковать, чтоб этим привести короля в большую ненависть и скорее устроить конфедерацию; русские войска должны быть на границах, чтоб быть готовыми в случае надобности». В заключение Денгоф жаловался, что все письма к ним с почты приходят распечатанные. Еропкин предложил ему 2000 червонных; гетман отказался; тогда Еропкин отдал их духовнику его для передачи гетману, и при другом свидании Денгоф благодарил царское величество за милость и уверял в своей верной службе.

Потей Еропкин нашел в имении его недалеко от Люблина. И великий гетман объявил, что они не допустят короля ни до войны с Россиею, ни до наследственности; обнадеживал, что гетман Синявский находится неотменно при стороне царского величества, а польный коронный гетман Ржевуский подозрителен, потому что очень дружен с канцлером коронным. В местечке Любомле виделся Еропкин с Ржевуским и получил от него те же самые заявления. К Синявскому во Львов Ржевуский ездить не советовал, потому что там большое стечение народа и приезд русского агента может повредить всем гетманам, за которыми зорко смотрят; Ржевуский объявил, что если Еропкин поедет к Синявскому, то он, Ржевуский, принужден будет писать к двору королевскому, с чем он был к нему прислан, ибо не хочет преждевременно возбудить против себя ненависть в короле, а Синявский, по склонности своей к королю, непременно напишет. Еропкин не поехал во Львов. Сейм, бывший в начале 1720 года, разорвался на вопросе об отобрании у фельдмаршала Флеминга регулярных польских войск и о поручении их по-прежнему гетманам. «Думаю, – писал Долгорукий, – что на будущем сейме войска у Флеминга отберут, хотя король и особенно Флеминг сильно ухаживают за гетманами, однако последние не думают им уступать, и все четверо находятся между собою в большом небывалом согласии; я их вашего величества милостию и покровительством накрепко обнадежил, так что они короля не боятся, и вся Речь Посполитая, довольная согласием гетманов, также короля не боится». Но король должен был приготовиться к борьбе на будущем сейме, и Долгорукий писал царю: «Король хочет послать секретно от себя на сеймики великие деньги, дабы прежних послов, доброжелательных вашему величеству, на будущий сейм не выбирали, а выбирали бы его приверженцев. Говорят, что на будущий сейм из Англии и от других дворов будут присланы большие деньги, которыми интерес вашего величества хотят ниспровергнуть; и хотя наши доброжелатели и обнадеживают меня, однако сомнительно, чтоб деньги не подействовали, сами извольте знать, как поляки к взяткам склонны и какое в них постоянство. В такое нужное время надобно, чтоб и я здесь был не без силы: известно вашему величеству, какая сумма ко мне к прошлому сейму прислана; но из тех 10000 червонных еще перед сеймом дал стражнику Потоцкому 2000 и тем все королевские противные дела на сейме

опроверг и вашего величества интерес удержал. Не изволите ли что в запас прислать, также и для подарков из нарочитых китайских вещей?»

Но король Август старался подкапывать русское влияние не одними деньгами: по всей Польше было разглашено, что царь принял медиацию короля английского для мира с Швециею, и положено Ревель уступить последней, за что России хотят отдать какую-нибудь польскую провинцию. «Король, – писал Долгорукий, – где меня увидит, не может смотреть, отворачивается, публично свой гнев являет: от многих слышу, будто на сейме хочет усиленно стараться, чтоб меня от двора отослать; но я больше всего боюсь, чтоб внезапно не побрал у меня писем, которые могут великий вред сделать». Между тем Долгорукий делал вред королю, перебивая из его службы в русскую Миниха. «Говорил я, – доносил Долгорукий, – генерал-майору Миниху, командующему коронными регулярными войсками, чтоб принял службу вашего величества, понеже он человек изрядный и зело неглупый, войско не токмо рекрутовал, но и мундиром убирал и учил, и в инженерном деле лучше его в королевской службе нет, также и архитектор изрядный, которого я видел в практике, как делал дом маршалка коронного, который новой моды и между лучшими в Варшаве. Миних мне отвечал, что принимает для себя за великое счастье быть в службе вашего величества, а в здешней службе ему своих наук практиковать невозможно, может все забыть и на милость королевскую не может надеяться, потому что Флеминг является ему главным неприятелем».

Между тем король Август отправил в Петербург полномочного посла Хоментовского, воеводу мазовецкого, одного из своих приверженцев. В то время, когда король Август, как курфюрст саксонский, уже заключил прелиминарный мирный договор с Швецией, посол его явился в Петербург с требованием выговоренных по прежним договорам субсидий и с требованием Ливонии. На первое требование ему отвечали, что субсидии царь обязался давать на действующие против общего неприятеля войска, а где войска королевские действуют против шведов? Относительно Ливонии отвечали: царское величество действительно обещал уступить Лифляндию королю и Речи Посполитой и от этого обещания никогда не отрекался и теперь не отрекается и отдал бы Ригу немедленно, если б при нынешних обстоятельствах мог это сделать безопасно. Но всему свету известно, каким образом прочие северные союзники отступили от союза с царским величеством и не только с короною Шведскою заключили партикулярный мир с исключением России, но король великобританский обязался помогать Швеции в возвращении ей завоеванных царским величеством провинций; также известно, как с неприятельской стороны делаются приготовления, чтоб заставить Россию возвратить Ливонию Швеции. Но этого мало: король польский вопреки договорам и обнадеживаниям заключил прелиминарный трактат с Швецией, в котором выговорено, что Оливский мирный трактат подтверждается во всех его статьях, а по Оливскому трактату Рига и Ливония должны оставаться за Швецией. Кроме того, в своем прелиминарном договоре польский король обязался вместе с Швециею употребить все способы для прекращения северных несогласий: это обязательство могло быть заключено только против России, которая одна осталась в войне с Швецией. Ясно, что король, требуя Ливонию от царского величества, не может иметь другого намерения, как возвратить ее Швеции в исполнение подтверждаемого Оливского

договора; но царское величество никак не может на это согласиться, имея в виду как безопасность собственных владений, так и безопасность союзной Речи Посполитой. Возражение, что прелиминарный договор заключен королем только как курфюрстом саксонским и Ливония должна быть отдана Польше, не имеет значения, потому что в договоре говорится об Оливском трактате, который до Саксонии нисколько не касается, ибо заключен между Польшею и Швецией. Царское величество никогда не отречется от своего обязательства уступить Ливонию Речи Посполитой, если последняя твердо и нерушимо пребудет в союзе с Россией.

Ответив на требования Хоментовского, царские министры представили ему свои требования: «Известно, каким образом по договорам надлежит содержать находящихся в Польше и Литве людей греческого исповедания и как их содержат теперь, какое им там великое притеснение, гонение и принуждение к унии. Епископ луцкий Кирилл Шумлянский, когда после посвящения в Киеве прибыл на свою епархию, то подвергся жестокому гонению и принужден был возвратиться в Киев; король, несмотря на то что подтвердил его избрание своим универсалом, выдал новый универсал, запрещающий признавать Кирилла луцким епископом на том основании, что он поставлен в Киеве. В 1712 году отправлена была к королю грамота, в которой царское величество просил о восстановлении Шумлянского, согласно с договорами; но на эту грамоту до сих пор не было ответа. Шумлянский живет в Киеве и получает пропитание от царского величества, потому что в Польше отняты у него и отцовские маенности. Гонение на людей греческого исповедания продолжается и в других местах. Вместо определенных по договорам четырех епископий греческого исповедания остался один епископ в Могилеве – белорусский князь Четвертинский, да и в этом белорусском епископстве церкви насилиями обращаются к унии. За 25 лет пред сим приписной к оршанскому Кутеинскому монастырю Миорский монастырь окольною шляхтою обращен насильно в унию. В 1714 году в Мстиславском воеводстве, в селе Шамове, шляхтич Шпилевский, угрожая священнику жестокими побоями и отнятием имени, обратил в унию церковь Петропавловскую. В 1715 году в Оршанском повете князь лукомский, приехав в Лукомский же монастырь, схватил игумена Варлаама и другого иеромонаха, обрил им головы, бороды и усы и после жестоких побоев велел вытащить за ноги из монастыря, отчего игумен и умер, а монастырь отдан был униатам. С 1715 по 1720 год обращено было в унию в местечках Невле, Себеже и Копосе сорок церквей; в экономии могилевской – пять церквей; в маенностях каштеляна витебского Огинского – пять церквей; в повете Оршанском – двадцать церквей; замковая гомельская церковь Св. Николая обращена в униатскую мачехою старосты гомельского Красинского, и протопоп греческого исповедания выгнан. Недавно, в феврале нынешнего, 1720 года, в Мстиславле ксендзы и шляхта ворвались в замковую Николаевскую церковь, сбросили с престола сосуды с запасными дарами и стали устраивать по-своему, но когда народ греческого исповедания сбежался к церкви, то ксендзы после сильного сопротивления должны были оставить церковь. По воеводствам литовским разъезжает униатский митрополит Кишка и принуждает к унии духовенство греческого исповедания. В Польше и Литве духовенству греческого исповедания запрещено созывать соборы; епископы не допускаются в Сенат; шляхта не только не допускается в Сенат, но и на сеймы в послах и ни в какие другие комиссии, а

мещане – в магистратские и другие должности. Царское величество требует, чтоб означенные епархии, монастыри и церкви были возвращены людям греческого исповедания, которым должно быть также позволено строить новые монастыри и церкви; чтоб возвращены были и те епископии, монастыри и церкви, которых начальное духовенство самовольно приняло унию; и впредь если кто-нибудь из начальных духовных лиц или священников обратится в унию или католицизм, то их епархии, монастыри и церкви по этому случаю не отнимаются у людей греческого исповедания, потому что епархии, монастыри и церкви не принадлежат этим лицам в собственность. Кто силою обращен в унию и захочет принадлежать снова греческому исповеданию, тот может перейти беспрепятственно. Кто станет вперед делать препятствие при отправлении *греко-российского* богослужения, тот подвергается суду и наказанию по законам. Должны быть позволены соборы духовные и мирские, для интересов греческого исповедания созываемые; чтоб позволено было епископам греческого исповедания заседать в Сенате; чтоб шляхта и мещане допускались ко всем должностям наравне с католиками и униатами; чтоб имения архиерейские, монастырские и церковные не подвергались лишним налогам; чтоб тяжбы духовных лиц греческого исповедания судились пред обыкновенными судами; чтоб все означенное в этих требованиях внесено было в конституцию на будущем сейме, а для лучшего освидетельствования помянутых обид и возвращения отнятых насилуем епископств, монастырей и церквей назначена была немедленно комиссия, в которой должен быть член и от стороны царского величества».

Осенью 1720 года в Варшаве собрался сейм; но собравшиеся не хотели ничего начинать прежде, чем король отберет команду над коронными войсками у Флеминга; король не соглашался. Между тем английский посланник Шкот, шведский генерал-лейтенант Траутфеттер и саксонские министры ездили по всем польским магнатам, приглашали к себе послов поветовых (сеймовых депутатов) и уговаривали их к войне против России, обещая большие выгоды, возвращение Киева и Смоленска и представляя, какую опасностью Польше грозит увеличивающаяся сила царя, представляя, что союзные войска в своих движениях против России будут проходить преимущественно чрез Пруссию и немного захватят Литвы, причем провиант и фураж будут покупать за деньги. Паны, приезжая к Долгорукому, рассказывали ему об этих предложениях и получили в ответ объявление, что теперь русских регулярных войск на их границе около ста тысяч и если какие-нибудь чужие войска войдут в Польшу, то немедленно вступят в нее и русские, не спрашивая о дороге; за регулярными войсками вступят и разные нерегулярные народы – татары, калмыки и другие, которые за провиант и фураж платить не будут. В то же время Долгорукий доносил царю, что Миних не хочет заключать контракта, но во всем полагается на высокую милость и волю царскую; Долгорукий прибавлял, что если Миних перейдет в русскую службу, то польская пехота вся разойдется, никто не будет содержать ее в таком порядке.

Долгорукий старался всеми силами, чтобы сейм разошелся в положенный срок (шесть недель) без заседаний. «Думаю, – писал он, – что для интересов вашего величества будет полезно, если сейма не будет; посол Хоментовский не донесет сейму о своем неуспешном посольстве в Петербург, и ответ, ему данный, не будет прочтен до будущего сейма; таким образом, король, его приверженцы и министры иностранные лишатся хорошего средства действовать против России.

Король говорит, что я в прошлый сейм роздал 90000 и сейм разорвал, а теперь будто обещал раздать 100000, чтоб не допустить сейму начаться. Но у меня канцеляристы одиннадцать месяцев живут без жалованья, в великой нужде; что прислано ко мне из дому для моего пропитания, и то трачу для поддержания интереса вашего величества и всего государства. Кроме того, занимаю деньги. Во всю мою бытность в Польше редко когда мне было так трудно, как теперь, потому что саксонские и других дворов министры рассыпают большие деньги на сейме; однако за помощью божиею надеюсь, что ничего важного не сделают и на этих днях сейм без заседаний *расползется* ».

Сейм действительно расползся 25 октября. Гетманы, многие сенаторы и поветовые послы просили Долгорукого, чтобы при общем мире царское величество не оставил Речи Посполитой, которая ни от кого никакого предложения о мире принимать не будет, надеясь во всем на покровительство царского величества. Долгорукий с торжеством доносил, что врагам царского величества не удалось поднять Польшу, единственную страну, через которую можно было действовать против России, ибо через море действовать трудно.

Король Август, видя неуспех, стал думать о сближении с старым приятелем своим, царем. Долгорукий в декабре послал просьбу царю позволить приехать ему в Петербург; король, прощаясь с ним перед отъездом своим из Варшавы, просил отправить в Петербург сына, Сергея Григорьевича, с поручением от него, короля, к царскому величеству. Поручение состояло в том, чтоб восстановить прежнюю дружбу между двумя государями; но так как прерванная дружба может быть прочно восстановлена только чрез объяснение причин неудовольствия, то Долгорукий должен был объяснить Петру, что союз короля с императором, на который так жалуется царь, есть союз чисто оборонительный, вынужденный отстранением короля от участия в Аландском конгрессе; что с Швециею король не заключил никакого договора, ибо не имел к тому никаких побуждений; правда, что Швеция предложила прелиминарный договор, и, может быть, царю сообщен этот проект, но большая разница между проектом договора и заключенным уже договором; а король прямо объявил шведскому двору, что предложенный договор еще не может быть заключен. Таким образом, царь не имеет причин жаловаться на короля, а король имеет много причин: отстранение от участия в Аландском конгрессе, дело принца вейсенфельского, сношения с Портою Оттоманскою и Станиславом Лещинским, данцигское дело; но король нигде ни на что не жаловался и ничего не предпринимал против царя, будучи уверен, что рано или поздно царское величество признает ложность внушений, сделанных ему против короля. Для большого успеха своего объяснения король счел нужным прибавить угрозу: «Царь помнит договор, заключенный им с королем и Речью Посполитою; так надобно, чтоб он сообщил королю свои намерения относительно Ливонии. Интерес царя требует, чтоб он как можно скорее объяснил королю свои виды; королю надобно их знать для предупреждения событий, которые могут случиться мимо его воли. Что, если театр войны перенесется в Польшу? Король не может остаться один; он должен принять ту или другую сторону. Он, естественно, больше всего желает жить в дружбе с соседями; но если соседи не хотят жить в дружбе, хотят обращаться как с врагами или с покоренными, то поневоле надобно искать других, которые бы вели дело иначе. Мы предлагаем дружбу за дружбу. Иностранные государства знают очень хорошо, как важно для них, чтоб никто в

Польше не разыгрывал роль хозяина; они хорошо также знают сильную и слабую сторону царя и потому могут воспрепятствовать ему хозяйничать в Польше».

Князь Сергей Долгорукий отправился с этим поручением в Петербург и в 1721 году возвратился с ответом: «Предлагая о возобновлении дружбы, не следовало возобновлять дел, напоминание о которых может быть только противно царскому величеству. О мирных переговорах у России с Швециею король не только знал, но и побуждал к тому чрез министров своих еще в Голландии, чрез барона Лоса, и потом в Берлине чрез графа Мантейфеля и того же Лоса, а в допущении королевского министра на Аландский конгресс царское величество никаких препятствий не делал, напротив, велел домогаться об этом у шведских министров. Король не имел никакой причины для своей безопасности, как он говорит, заключить известный Венский договор, потому что его величеству ниоткуда никакой опасности не было; а с какою целью этот договор заключен – это всему свету известно. Касательно прелиминарного договора с Швециею царскому величеству известно, что он подписан графом Флемингом и шведским генералом Траутфеттером и потом в Швеции ратификован. В деле принца вейсенфельского виноват король, зачем так долго не присылал ратификацию договора. В Константинополе ничего ко вреду королевскому не предлагалось. На предложение Станислава Лещинского царское величество всегда отвечал отказом. Королю хорошо известно, какой был вред общим интересам от жителей Данцига; от короля и Речи Посполитой требовали удовлетворения, не получили и принуждены были добыть его сами. Царское величество показал королю столько дружбы и благодеяний, сколько возможно ему было без потери собственного интереса, и если в чем не мог его королевскому величеству услужить, так это потому, что встретил препятствие в собственном интересе, который имеет много общего с интересом Речи Посполитой. Относительно угрозы, что театр войны перенесется в Польшу, которая должна будет принять ту или другую сторону, царское величество спокоен и безопасен, потому что он ничего не ищет в Польше, кроме сохранения тамошних прав и вольностей; он не думает, чтобы кто-нибудь из соседей питал против него за это злобу или зависть, кроме врагов и тех, кому это неприятно. Впрочем, опыт показал, что царское величество, в надежде на правоту своего дела, не привык позволять кому бы то ни было пугать себя угрозами».

Царь был спокоен и безопасен относительно Польши и потому мог не обращать внимания на угрозы польского короля. Русское влияние победило в Польше влияние английское, австрийское и влияние польского короля; тройной союз не повел ни к чему в Польше. Но посмотрим, какое впечатление произвел он на Пруссию, эту хищную и робкую державу, трепетавшую за свои новые приобретения. Как изворачивалась она между Россиею и тройным союзом, когда перемены в Швеции по смерти Карла XII поставили царя в затруднительное положение?

В январе 1719 года граф Александр Головкин именем царским просил у короля Фридриха-Вильгельма откровенного мнения и совета, как поступать в шведских делах, какой стороны выгоднее держаться: стороны ли герцога голштинского или принца гессенского? «Теперь объявлять себя еще не время, – отвечал король, – если по верным ведомостям окажется, что партия герцога голштинского будет сильнее, то я не только его сторону принять, но и дочь мою за

него замуж выдать готов; если же партия гессенского принца возьмет верх, то и с ним сладить можно. Теперь ничего другого делать нельзя, только надобно нам больше прежнего вместе держаться и ждать верных ведомостей из Швеции». Когда Головкин стал говорить об ожидаемом в Берлине приезде принца Евгения, то король сказал: «Я вас паролем моим обнадеживаю, что против царского величества ни во что не вступлю и о всех предложениях откровенно сообщу, ибо одного только в свете имею друга, его царское величество, на которого впрямь надеяться могу, и взаимно его величество на меня твердо надеяться может, и в том, верно, пока жив, стоять буду; только и с другой стороны, смотря по положению земель моих, принужден я наружную дружбу соблюдать и остерегаться, чтоб ни цесарю, ни цесарству не подать причины к вражде, а саксонцы, несмотря на то что они великие интриганы, ничего мне не сделают, когда я с царским величеством буду в крепком союзе».

Из Швеции начали приходиться вести, что английский двор берет там верх, и в Берлине стали очень беспокоиться. Ильген толковал Головкину: «России и Пруссии непременно нужно спешить заключением мира с Швециею, чтоб другие не предупредили: тогда будет поздно, особенно нам». Головкин отвечал: «Мы стараемся о мире, но не для чего заключать его с уроном, ибо нечего бояться, если Россия и Пруссия будут в твердом союзе». В начале апреля король сообщил Головкину по секрету: «Английский король говорил моему резиденту, что если я хочу непременно удержать за собою Штетин, то входил бы с ним в теснейшую связь, и он будет стараться доставить Штетин Пруссии, и при этом советовал, чтоб я порвал союз с царским величеством; но так как я на Бернсторфа сердит, то он, король, хочет переговаривать об этом деле чрез английских министров и прислал в Берлин Витворта». «Английский король, – отвечал Головкин, – теперь ласкает только для того, чтоб разлучить Пруссию от России, но из прежних примеров видно, что от Англии надеяться нечего: когда склонили ваше величество к Штральзундской кампании, то король английский обещал и войско, и флот и ничего не дал». Головкин просил не слушать английских предложений; король повторил уверения, что останется в тесной дружбе и союзе с царским величеством и будет откровенно сообщать все предложения Витворта. Шведские дела, от хода которых зависело сохранение Штетина, не могли поглотить все внимание прусского правительства: оно не спускало глаз с Польши, чтоб не дать Саксонии усилиться здесь, и Фридрих-Вильгельм говорил Головкину: «Цесарь желает помириться с вашим государем, и царскому величеству надобно это сделать, обещать ему не вмешиваться в имперские дела, но с тем, чтоб цесарь не вмешивался в польские; интересам России и Пруссии будет очень вредно, если наследный принц саксонский получит польскую корону; этого никак нельзя допустить, и если будет нужно, то я все свои войска употреблю». Прусские министры объявили Головкину, что они разослали по Польше своих агентов склонять поляков на прусскую сторону и внушать им, что король Август добивается самодержавия в Польше и наследственности для своего дома.

Витворт приехал с предложением оборонительного союза между Пруссиею и Ганновером. Король объявил Головкину, что английский посланник не предлагает ничего против России. «Надеюсь, – отвечал Головкин, – что ваше величество без согласия царского величества ни во что с королем английским вступить не изволите, так как и царское величество без сообщения с вашим величеством

ничего не делает; а если вашему величеству угодно примириться с английским королем, то это необходимо сделать с общего согласия с царским величеством, который, как известно, всегда обнаруживал готовность к примирению». «Конечно, не вступлю ни во что, что бы могло быть против интересов царского величества, – сказал король, – пусть царское величество будет благонадежен, что я его ни на короля английского, ни на кого другого не променяю. Я англичанам в обман не дам, и так довольно меня провели». Но при этих уверениях Фридрих-Вильгельм настаивал, чтоб царь отказался от Лифляндии и этим ускорил мир с Швециею. «Я желаю, – говорил король, – чтоб все за царским величеством осталось, особенно Лифляндия, чтоб иметь сообщение с царским величеством и в случае нужды скорее получить от него помощь; но хотя Швеция сама и не в состоянии теперь продолжать войны, однако другие, помирясь с нею, могут ей помогать, и тогда, какой вред общим интересам может произойти – царское величество изволит легко сам рассудить». Головкин отвечал: «Когда свое получают, то за чужое немного стоять будут, не захотят подвергать себя опасности». «Правда, – сказал король, – в чужих делах не так ревностно будут поступать, как в своих, только шведы едва ли прямое намерение к миру имеют». Головкин отвечал: «Если они добровольно не помирятся, то надобно их принудить: царское величество употребит для этого и оружие и запретит вывоз съестных припасов из своего государства; просит и ваше величество, чтоб хотя на нынешний год запрещен был вывоз хлеба из Пруссии, ибо чрез это получите мир по своему желанию». «Не могу, – сказал король, – разорять свои земли, на таких условиях шведский мир мне очень дорого обойдется».

В Петербурге нашли, что ввиду опасности от предложений Витворта надобно действовать решительнее в Берлине, и потому туда отправился человек, более способный к энергическим действиям, чем Александр Головкин, – Петр Андреевич Толстой. На первой аудиенции Толстой так объявил королю о причинах своего приезда: «Я прислан затем, чтобы, ваше величество по ближайшим обязательствам с царским величеством и по письменным и устным обещаниям своим не изволил бы никакого трактата заключать с королем английским без включения России, и я имею полномочие договариваться о таком совокупном договоре». Король отвечал: «Я не сделаю ничего противного царскому величеству, которому предложенный Англиею трактат не может быть предосудителен». Министрам прусским Толстой объявил: «Если вы заключите договор с Англиею без включения России, то может ли дружба вашего короля с царским величеством оставаться в прежней силе? Хотя бы вы сами и желали поддержания этой дружбы, то интриги ганноверского двора вам помешают. Если вы вопреки моим представлениям договор с Англиею заключите, то я, не вступая больше ни во что, отсюда уеду, и царское величество в поступке вашего двора не только увидит противность, но и будет считать себя освобожденным от всех обязательств с прусским двором». В таком же смысле была написана царская грамота к королю. Прусские министры жаловались Толстому, что грамота написана в «жестоких экспрессиях», будто к подданному: разве король прусский не волен вступать в договор, с кем хочет, без позволения царского? Толстой отвечал: «В царской грамоте нет угроз, а только выставлены на вид вредные последствия договора между Пруссией и Англиею без включения России, тем более что царское величество меня сюда прислал с полномочием для заключения

общего договора; царское величество соглашается на все двору английскому приятные условия, и потому для чего вам исключать Россию из договора?» «Наш двор, – говорили министры, – желает заключить договор с двором английским только для того, чтоб у него войти в кредит и тем скорее соединить с ним и двор русский; кроме того, нам предлагаются очень полезные условия, а именно: Георг, как король английский, а не как курфюрст ганноверский только, хочет гарантировать нам Штетин с дистриктом, а чтоб мы гарантировали ему Бремен и Верден и корону Английскую для его династии, по пресечении которой английский престол может перейти и к прусскому дому. Хотя бы король наш и охотно желал включить в договор царское величество, но английский король никак этого не хочет, потому что питает против царского величества большое неудовольствие; Витворт говорил, что из России в Испанию отправлено двое англичан-бунтовщиков и царское величество ведет переписку с претендентом».

Положение Пруссии было затруднительно: с одной стороны, английский король предлагает выгодный договор с исключением России, с другой – царь требует включения и рассердить его отказом опасно. Через день после первого разговора Ильген является к Толстому и говорит, что английский король не отвергает решительно включения России в договор, но откладывает; король прусский всячески старался и впредь будет стараться об этом включении, но если не успеет, то не думает, чтоб царское величество пожелал лишиться его великих выгод, предлагаемых с английской стороны; Ильген просил не останавливать заключения договора, который может быть только полезен России, потому что прусский двор, сблизившись с английским, может ослабить силу Бернсторфа. Толстой отвечал: «Напрасно трудитесь нам доказывать, что заключаемый вами договор безвреден для России; здешнему двору надобно зрело размыслить и выбрать – русскую или английскую дружбу; решайте только дело скорее, чтоб мне можно было возвратиться в Россию; если вы предпочтете Англию, то мне здесь больше делать нечего». Слова Толстого сильно обеспокоили Ильгена. Созвали совет и придумали средство. Король призвал к себе графа Головкина и объявил, что хочет дать царскому величеству письменное удостоверение в безвредности для России договора, заключаемого им с Англиею, и в том, что без России не помирится с Швециею. Головкин отвечал, что таким поступком все обязательства между Россиею и Пруссиею пресекаются. Тогда явились к Толстому два министра, Ильген и Книппгаузен, и с прискорбным видом предложили другое средство: были они у Витворта и требовали, чтоб английский король чрез формальную декларацию принял прусского короля медиатором в переговорах своих с русским двором; Витворт не нашел в этом трудности, не потребовал, чтоб король прусский принял английского короля медиатором к примирению своему с польским королем; когда это делается, то обещает король прусский вместе с английским всячески трудиться, чтоб король польский оставлен был в спокойном владении Польшею, а Речь Посполитая осталась при своих вольностях и привилегиях и чтоб Польша, равно как и империя, не были никем беспокоимы.

Толстой, увидав, что дело сходится к оборонительному союзу, заключенному в Вене, отвечал, что донесет своему государю о предложении прусского двора, который до получения ответа из Петербурга (ответ придет в 30 дней) должен удержаться от заключения договора с Англиею. Тридцатидневный срок встревожил прусских министров; все свои речи оканчивали они припевом, что им

таких великих выгод от английского договора пропустить нельзя. Король призвал Толстого и Головкина и стал им говорить: «Если бы меня английский двор один к этому делу понуждал, то я бы легко мог уклониться; но договор этот с такими полезными условиями предложен мне нарочно, с согласия цесаря и Франции, чтоб меня испытать, подлинно ли я с царским величеством против цесаря обязался, как о том слухи были; и если я этот полезный мне договор откину, то утвердятся в этом мнении, что я против цесаря с царским величеством обязался, и если я это дело пропущу, то меня император, Англия и Франция разорить могут; неужели царское величество пожелает мне беды?» Толстой потребовал отпуска, но король не отпустил его. Ильген уверял царских министров, что хотя прусский двор и заключает договор с королем английским, но дружба эта будет только по наружности, чтоб в кредит войти, а с царским величеством дружба будет всегда усердная, все будет делаться в пользу России, обо всем будет откровенно сообщаться.

В начале августа Толстой и Головкин усмотрели прусских министров в сильном смущении: пришли вести из Стокгольма, что там готов мирный договор между Англиею и Швециею, будет возобновлен и старый оборонительный союз между этими державами. Ильген с печальным лицом рассуждал, как вредно будет для Пруссии заключение договора между Швециею и Англиею, и опять просил, чтоб Россия не мешала заключению договора между Пруссиею и Англиею. Узнав, что договор этот уже подписан, Толстой и Головкин прямо обратились к королю с вопросом: правда ли это? Король отвечал: «Скажу вам правду, что договор министрами подписан, но еще не ратификован, и подписан условно, что если Штетина не получу, то договор не будет иметь никакой силы; в договоре не только ничего противного царскому величеству нет, но я сделал письменную протестацию, что ни во что против царского величества не вступлю, и надеюсь, что царское величество по своему правосудию и высокой склонности, которую ко мне всегда обнаруживать изволил, не поставит мне в нарушение дружбы и обязательств, когда я получу себе выгоды без вреда его интересам. Не поступлю я с царским величеством так, как английский король, который теперь уже явно с Швециею против России соединился; я, пока жив, царскому величеству истинный друг и ничего противного ему не предприму, разве царское величество меня в том упредит, чего, однако, не думаю, ибо имею честь знать его великодушное сердце. Меня цесарский и английский двор обещанием великих выгод покушались против царского величества возбудить, однако я ни на что не посмотрел; а саксонцы внушают мне, будто они с царским величеством согласились, чтоб меня лишить королевского достоинства и эльбингской претензии, но я ничему не верю, ибо царское великодушное сердце знаю». Иным тоном говорил Ильген: «С вашей стороны мы видим только жестокие поступки к себе, нималого авантажа себе искать нам не позволяете, а с другой стороны, король английский делает нам всякую угодность; предки наши гораздо бессильнее нас были, однако себя безобидно содержали, а король мой имеет 60 тысяч войска и не без друзей». Толстой отвечал на это: «Если ваш двор таких полезных новых друзей себе нашел, а старых отвергает, то я, будучи прислан трудиться о сохранении старой дружбы, больше не нахожу себе здесь никакого дела, и потому дайте мне отпуск, чтоб я поскорее возвратился к своему государю и донес ему о здешних делах». Тут Ильген спустил тон и начал говорить, что пребывание Толстого в Берлине нужно,

ибо Витворт объявил, что готов вступить с ним в переговоры по заключении договора с Пруссией и при посредничестве прусского короля. Толстой отвечал: «Я прислан сюда договариваться с английским двором сообща с вами, а не порознь; но так как здешний двор свой договор с королем английским уже заключил, то мне царский указ велит отсюда уезжать». Тут Ильген объявил, что его двор для показания своего доброго намерения желает заключить с Россией новую конвенцию о северных делах, а именно: так как король польский старается на будущем сейме ввести Речь Посполитую в союз венский, то Россия и Пруссия должны всеми силами этому препятствовать, стараться всеми способами и деньгами, чтоб сейм был разорван; король на эти издержки определил ежегодно 100000 талеров. Стараться, чтоб наследный принц саксонский ни при отце, ни после отца не вступил на польский престол, но чтоб по смерти короля Августа поляки выбрали короля из своего народа. Стараться, чтоб Флеминг лишен был командования регулярным войском в Польше.

В октябре Толстой выехал из Берлина. После его отъезда Головкин был встревожен намерением короля ехать в Ганновер для свидания с королем Георгом, который хотя был ему тесть, однако до последнего времени особенно нежных родственных отношений между ними не замечалось. Головкин написал Ильгену, что поедет за королем; тот показал ему собственноручный ответ королевский: «Ильген! Уверь графа Головкина, что не сделается ничего противу царя ни прямо, ни непрямо, что я еду не за делами, но только видеться с тестем, а иначе я взял бы министров; а граф Головкин худо делает, что при мне ехать хочет, лучше ему оставаться, ибо ему там не будет без противности». Головкин остался в Берлине.

Пруссия сблизилась с английским королем: английский король был нужен, потому что через него Пруссия получила Штетин от шведов; но нельзя было разрывать и с Россией: Россия была нужна в Польше, с которой прусский король не спускал глаз, чтоб не дать усилиться здесь Саксонии и Австрии. Фридрих-Вильгельм говорил Головкину в начале 1720 года: «Мне нельзя с саксонцами глубоко вступать, потому что вредно моим интересам, если наследный принц саксонский взойдет на престол польский; а еще того вреднее будет, когда этим способом цесарь поляков в свою волю получит и в такую силу придет, что, может быть, захочет в империи монархию установить; тогда не только для светской власти, но и для веры протестантской очень опасно будет. Скажу вам по секрету: король английский отправил в Польшу посланника Шкота и дал ему 60000 ефимков для возбуждения поляков против царского величества; и Франция такую же сумму денег на тот предмет определила. А я к царскому величеству особенное почтение имею; когда я принужден был к английской партии пристать, то от великой перемены в болезнь впал, потому что против своей воли и склонности принужден был необходимо это сделать и дружбу царского величества к себе некоторым образом потерять». Головкин сказал на это, что хотя царскому величеству сначала это было и очень чувствительно, однако он не уменьшил своего доброго расположения к королевскому величеству. Фридрих-Вильгельм отвечал: «Не думаю, чтоб со стороны царского величества дружба и откровенная пересылка была по-прежнему, и я подал тому причину приступлением к английской партии, хотя и против моей воли и склонности; а персонально непременною дружбу и особое почтение к его царскому величеству имею и всегда буду радоваться, если какую счастливую ведомость о нем получу. Я вижу,

что неприятели царского величества не в состоянии ему ничего сделать без меня, а я ни во что противное ему не вступлю и, накажи меня бог, если это сделаю; только как верный друг советую царскому величеству, чтоб изволил стараться о мире с Швециею, хотя бы с некоторою малою и уступкою теперь, а после, со временем, можно будет и опять взять». Но когда Головкин настаивал, чтоб все эти устные уверения в дружбе и нежелании делать что-нибудь противное получили более определенную форму в новом союзном договоре между Пруссиею и Россиею, то король отвечал: «Не могу, подождите; при нынешних деликатных конъюнктурах нельзя мне заключить договора с царским величеством». «Отчего же нельзя? – возражал Головкин. – Как я слышу, переговоры вашего величества с Швециею приходят к окончанию». Король отвечал: «Этого недовольно, что заключен будет мир у меня с Швециею; надобны на уступку мне Штетина согласие и инвестира императорские, без чего штетинское владение непрочно; а для получения императорского согласия и инвеститур необходимы мне английское влияние и помощь; притом английская дружба мне нужна и для веры протестантской, за которую может возгореться война по столкновениям в курфюршестве Пфальцеком. По этим причинам мне никак нельзя заключить договора с царским величеством; но чтобы государь ваш не изволил иметь обо мне никакого сомнения, то я дам декларацию о моей постоянной и нерушимой дружбе, что я ни с кем не обязался ко вреду царскому величеству и впредь не обяжусь и против него ни прямо, ни посредственно не поступлю, но буду сохранять строгий нейтралитет». Головкин требовал, чтоб заключен был договор, в котором прямо было бы сказано, что король не позволит войскам других государств проходить через свои земли и учреждать магазины. «Велю внести в декларацию, – отвечал король, – что в Пруссии этого не позволю, о германских же провинциях обещать не могу, потому что по нашей конституции вольно имперским князьям проводить свои войска по всей империи. Объявляю вам по секрету, что шведский генерал Траутфеттер будет ездить по всем имперским князьям и склонять их подать помощь Швеции; только я не думаю, чтоб из этого какой успех был. Я сердечно желаю, чтоб Лифляндия осталась за царским величеством, в чем состоит мой собственный интерес, потому что шведы исстари моим предкам неприятели, а мне и подавно не могут быть приятелями за Штетин, и если они Штральзунд и Лифляндию опять получают, то с двух сторон будут меня беспокоить». Передавая Головкину свое собственноручное письмо к царю, король говорил: «Я к перу не гораздо заобычен, и царское величество не изволил бы меня в том зазрить, что письмо мое простое, только сердце мое к его царскому величеству истинное».

Прусский король заключил мир с Швециею, получил в вечное владение Штетин за известную сумму денег; но этим пожертвованием Швеция не приобрела себе союзника: Фридрих-Вильгельм сдержал свое обещание царю, остался вполне нейтральным, потому что сдержать это обещание было ему выгодно. Английский двор должен был убедиться, что прусский король не пожертвует ни одним солдатом для Швеции. Тщетно в 1721 году приверженцы английского короля представляли Фридриху-Вильгельму, как опасно будет для Пруссии, если царь удержит Ливонию; король отвечал, что он нисколько не опасается, потому что уверен в личной дружбе к себе царя. Ему представляли, что если для него Россия не опасна по личным отношениям к нему царя, то будет опасна для его наследников. «Наследники сами о себе должны заботиться», –

отвечал король. Ильген писал к французскому посланнику, что никакими способами нельзя отвратить Фридриха-Вильгельма от горячей привязанности к царю, точно так, как нельзя уничтожить в нем страсти к высоким гренадерам. Петр удовлетворял этой страсти своего друга, присылал к нему из России великанов; но нельзя думать, чтоб Фридрих-Вильгельм решился пожертвовать хотя одним высоким гренадером своей горячей привязанности к царю.

Ни в Вене, ни в Варшаве, ни в Берлине английскому двору не удалось сделать ничего в пользу Швеции, ничего, что бы заставило царя смягчить условия мира и удержаться от нападений на истощенную, не могшую обороняться Швецию. Оставался Копенгаген.

В 1718 году из северных союзников труднее всех приходилось датскому королю, потому что на его Норвегию направлены были удары все еще страшного Карла XII. Легко понять поэтому, какую радость произвело в Копенгагене известие о смерти шведского короля. Князь Василий Лукич Долгорукий писал к своему двору в начале 1719 года: «По смерти короля шведского здешний двор очень стал горд, надеется без всяких действий полезный мир получить и для того, кроме короля английского, всех союзников презирает». Датское правительство с торжеством дало знать союзным дворам, что Норвегия очищена от шведов. Долгорукий, поздравив короля с этим счастливым событием, предложил уговориться, как действовать вперед. В конференции, бывшей по этому случаю в марте-месяце; датские министры говорили Долгорукому: «Если теперь начинать только переписку о том, как действовать, то в переписке все время пройдет, а между тем Аландский конгресс будет продолжаться, и будут там хлопотать дело к концу привести». «Что соглашение между Россией и Даниею не последовало ранее, в том виноват король датский, – отвечал Долгорукий, – ибо от царского величества предлагалось много раз, но с королевской стороны ни малейшего знака склонности не показано». Датские министры возражали: «Король не хотел входить ни в какое соглашение, видя, что на Аланде начаты мирные переговоры». «Предложения были деланы прежде Аландского конгресса, – отвечал Долгорукий, – да и во время Аландского конгресса было объявлено, что царское величество порвет конгресс, если король войдет в соглашение; царское величество сделает это и теперь, если увидит, что датское величество возобновит прежнюю дружбу и войдет в соглашение о действиях против неприятеля». Но министры продолжали делать выходки против Аландского конгресса: «Зачем было таким способом конгресс начинать?» Долгорукий отвечал: «Прежде начатия конгресса об нем было вам сообщено и предложено, чтоб отправлен был на него датский уполномоченный; но король не захотел этого; о ходе переговоров вам сообщалось». «А зачем вы нам не помогли, когда шведский король воевал Норвегию? – продолжали министры. – Вы обещали помочь весною, но до весны вся Норвегия могла бы пропасть». «Всякий может рассудить, – отвечал Долгорукий, – что в то время нельзя было ничего сделать: все равно, если б Зунд и Каттегат покрылись льдом, то, хотя бы все войска датские в Норвегии с голоду померли и вся Норвегия пропала, король датский не мог бы послать туда помощи. При первом возможном случае помощь была обещана; чего же вы еще больше требуете?» Этими перекурами, разумеется, нельзя было подвинуть дела. Долгорукий доносил, что в Дании хотят длить время, пытаются заключить мир с Швециею, если же увидят безуспешность попыток, тогда обратятся к России;

продолжать войну королю датскому очень трудно по недостатку денег, и никаких приготовлений к войне здесь не делают в надежде на мир.

Но в Петербурге не хотели длить время и в апреле прислали в Копенгаген графа Платона Мусина-Пушкина узнать окончательное решение датского правительства. Царь предлагал соединить русский флот с датским и овладеть островом Готландом, который будет принадлежать датскому королю, а сухопутные войска будут действовать русские от Финляндии, а датские в Шонии или по крайней мере в Норвегии. Датское правительство не согласилось на удаление своего флота от своих берегов; тогда Долгорукий и Мусин-Пушкин предложили во время действия сухопутных войск в означенных местах запереть датским флотом шведский в Карлскроне. Король отвечал, что о заключении шведского флота в Карлскроне надобно говорить с английским адмиралом, потому что одним датским флотом запереть Карлскронскую гавань нельзя, Дания должна оберегать своим флотом два моря – Немецкое и Балтийское. Долгорукий и Мусин-Пушкин спрашивали: если царское величество начнет сухопутные действия, то датский король где начнет свои сухопутные действия? Долго добивались ответа и не получили никакого. Долгорукий доносил: «Но всем поступкам здешнего двора видно, что король датский хочет для своего облегчения, чтоб войска русские действовали против шведов в одно время с датскими и принудили шведов к скорейшему миру, но не хочет письменного уговора, чтоб не войти в новые с Россиею обязательства и тем не рассердить короля английского, также и при будущем заключении мира иметь свободные руки; надеются, что король английский при этом заключении мира много им поможет, особенно в удержании Шлезвига».

В конце лета 1719 года порвание Аландского конгресса и сближение Швеции с Англиею заставили царя послать указ Долгорукому опять попытаться предложить датскому королю войти в соглашение и накрепчайшее обязательство с Россиею насчет действий против общего неприятеля. Выслушав это предложение, король сказал: «Лучше пусть каждый из нас без всяких соглашений действует со своей стороны». В ноябре, узнав, что между Даниею и Швециею уже заключено перемирие, Долгорукий подал мемориал, в котором говорил, что это перемирие есть нарушение обязательств, существующих между Россиею и Даниею. Ему отвечали, что король заключил перемирие по необходимости, что положение Дании не позволяет поступить иначе и по настоящим обстоятельствам король имеет причины не раздражать своих соседей и союзников. Когда Долгорукий просил короля, чтоб не заключал мира с Швециею без царя, тот отвечал: «Я не виноват, что неприятель не хочет уступить того, что царское величество хочет удержать из своих завоеваний».

Наступил 1720 год, прошло четыре месяца; мира не было заключено между Швециею и Даниею, но правительство последней не думало и о войне. В мае Долгорукий доносил: «Указом вашего величества повелено мне сей двор склонять к продолжению войны; вашему количеству из прежних моих донесений известно, что я пристойными способами королю самому о том говорил, представляя все резоны и внушая, что к получению полезного мира немного надобно труда и времени. Но все те мои слова неприлежно изволил слушать, и ни малейшего знака склонности по сие время мне не показано, и по всем доказательствам нимало о продолжении войны не мыслят». Несмотря на то, что князь Василий Лукич не

упускал случая исполнять царский указ. Узнав, что Швеция предлагает Дании очень невыгодные для последней условия мира, Долгорукий опять приступил к королю с предложением русской помощи для получения выгодного мира. «Действительно, – сказал король, – шведы ведут себя очень гордо в мирных переговорах и за уступку всей Померании только 500000 ефимков обещают; также и в других условиях от согласия еще очень далеко; надобно весь смысл потерять, чтоб на таких условиях заключить мир». Долгорукий заметил на это: «Если при нынешних обстоятельствах, когда государство Шведское в такой слабости находится, ваше величество ничего от Швеции не получите, то после во многие века такого удобного случая не будет». «До мира еще далеко, – сказал король, – а перемирие я еще продлил на шесть недель по крайней нужде: денег нет, военных действий начинать нечем». «Царское величество, – отвечал Долгорукий, – и не требует, чтоб вы немедленно начали военные действия, только не заключайте мира. Царское величество желает знать одно – что вы не поспешите миром». «Только б англичане не принудили», – отвечал король и с этими словами отошел от Долгорукого. Датские министры наконец высказались: «Если царь даст денег, то они возобновят войну». Но Долгорукий отклонил это условие.

Англичане принудили. В конце июня мирный договор между Швециею и Даниею был подписан: датский король возвращал Швеции все свои завоевания в Померании и Норвегии за 600000 ефимков и за уступку зундской пошлыны; Англия и Франция гарантировали Дании обладание Шлезвигом. После этого князь Долгорукий был переведен на более важный пост в Париж, а на его место в Копенгаген был назначен знаменитый впоследствии Алексей Петрович Бестужев-Рюмин.

Так шла дипломатическая борьба между Россиею и Англиею при дворах Средней и Северной Европы. Перейдем далее на запад. Здесь на важном центральном дипломатическом посту, в Гаге, находился князь Борис Иванович Куракин, следил за отношениями западных государств – отношениями, к которым Россия никак не могла быть теперь равнодушна. Движение здесь, на западе, исходило из Испании, которая хотела поднять свое значение, вернуть свои итальянские владения, отнятые у нее во время войны за наследство ее престола, и для этого должна была вступить в войну с императором, получившим эти владения. Англия, озабоченная более всего быстрым развитием морских сил Испании, совершившимся благодаря деятельности знаменитого министра ее, кардинала Алберони, Англия спешила подать руку императору; Испания, с своей стороны, должна была действовать враждебно против ганноверской династии и хлопотать в пользу претендента Стюарта. Политика Франции превратилась в личную политику правителя ее, герцога Филиппа Орлеанского, который, боясь притязаний испанского короля Филиппа V на регентство и престолонаследие во Франции (в случае смерти Людовика XV), тесно сблизился с Георгом английским по одинаковости враждебных отношений к Испании. Так образовался союз между императором, Англиею и Франциею против Испании, но союзники хотели сделать свой союз четверным, присоединив Голландию. Понятно, что Испания старалась не допустить Голландию приступить к союзу, и князь Куракин по отношениям России к Англии и императору должен был сблизиться с испанским посланником и действовать с ним заодно. 2 августа 1718 года Куракин донес, что был у него испанский посол маркиз Беретти и объявил, что его государь желает дружбы и

союза с царским величеством, видя в том общий интерес обеих монархий; что король его обещает выставить тридцать военных кораблей и тридцать тысяч войска, которые должны соединиться с флотом и войсками русскими для действия против общих неприятелей. Куракин писал, что двор испанский надеется на вмешательство России и Пруссии в имперские дела по заключении мира с Швециею и что это вмешательство будет в интересах Швеции и Испании. Беретти рассуждал, что если ни одно из северных государств не заступится за Испанию, то королю его одному против Франции, Англии и цесаря трудно будет вести войну. Беретти объявил при этом Куракину, что шведский король просил у них денег и до сих пор просит, но кардинал Алберони ничего не дал и вперед не даст, если Швеция не вступит с их двором в союз и не обяжется помогать прямо или диверсию сделать; да и при заключении союза с Швециею будут они смотреть, будет ли Карл XII в состоянии исполнить свои обязательства, но главное – будет ли у него мир с Россиею, ибо если мира не будет, то дать ему деньги все равно что потерять.

Царь велел отвечать Беретти, что ему было очень приятно услышать о королевском желании вступить с ним в дружбу и союз; только из предложения, сделанного в таких общих выражениях, нельзя узнать, против кого будет заключен союз, где войскам и кораблям соединяться, какие предпринимать действия и против кого. Беретти объявил, что союз должен быть заключен против цесаря и Англии; на другие же вопросы он отвечать не в состоянии без указа от двора своего. Между тем известие о поражении испанского флота английским произвело беспокойство в Петербурге, и 19 сентября царь велел написать к Куракину: «Может быть, король испанский при таком несчастье захочет помириться с цесарем; так вы под величайшим секретом сообщите испанскому послу наше мнение, чтоб король его не заключал скоро мира с цесарем, но тянул бы переговоры как можно долее, потому что цесарь и король английский уже не могут нанести ему большого вреда, внутри Испании действовать им нельзя. Пусть испанский король старается протянуть время до тех пор, пока у нас будет заключен мир с Швециею, а может быть, и союз. Мы об этом стараемся и имеем надежду на успех; но пусть и с испанской стороны действуют в Швеции в нашу пользу. А когда между Россиею и Швециею будет заключен мир, то испанский король может надеяться себе пользы как от нас, так и от Швеции». На это объявление Беретти отвечал, что король его не заключит мира, имея деньги, полученные от конфискации имущества английских подданных в Испании; Беретти обещал писать своему правительству, чтоб немедленно отправлен был в Швецию агент хлопотать о скорейшем заключении мира между царем и Карлом XII, причем распространился о том, как счастлив его король, что такой великий монарх ищет его дружбы и печется о его интересах, и что король будет стараться отслуживать за это царскому величеству при всех случаях. Куракин ждал от Беретти еще другого предложения, что видно из письма его царю: «Я при многих случаях желал ведать, ежели посол гишпанский имеет указы предлагать мне о всем том, как их резидент в Венеции то учинил Савве Рагузинскому, а именно, что король гишпанский намерен свататься (т.е. сватать сына) за дочь вашего величества, а вместо приданого желает шесть кораблей, а за то обещает сумму на год два миллиона, и в последней конференции с ним, послом, усмотрел я, что он

указов не имеет или, и имев, не предлагает, ожидая заключения мира вашего величества с Швециею».

В то время как послы русский и испанский вели переговоры о союзе, обязывая друг друга величайшим секретом, английский посланник явно говорил правительству Штатов, что если оно не приступит к четверному союзу немедленно, то английский король вышлет в испанские моря эскадру и велит хватать все голландские торговые суда, идущие в Испанию, и тогда будет видно, кто больше убытку понесет.

9 ноября Беретти сообщил Куракину ответ на царские вопросы, присланный из Мадрида: 40000 испанского войска будет употреблено в Италии против австрийцев; 20 кораблей испанских соединятся с эскадрами русскою и шведскою для изгнания короля Георга из Англии, и когда эта цель будет достигнута, то Испания, не издерживая более денег на флот, даст субсидии царскому величеству. Куракин нашел, что и эти предложения так же общи, как и прежние, и потому поставил новые вопросы: 1) 20 кораблей испанских все ли военные, или между ними несколько фрегатов? Беретти отвечал: 20 кораблей все военные, фрегаты особо. 2) В каком месте и в какое время испанский флот должен соединиться с эскадрами северных держав? *Ответ* : в море английском против Шотландии, о времени же должно последовать соглашение впредь. 3) Какие способы для изгнания из Англии короля Георга? *Ответ* : из письма кардинала Алберони видно, что он имеет там надежную партию; царское величество и король шведский должны приготовить по семи тысяч человек войска для высадки в Шотландию; соединись с приверженцами Стюарта, эти войска легко могут выгнать короля Георга; король испанский не может выслать своих войск для этой высадки, потому что они ему нужны в Италии и на границах французских. 4) По изгнании короля Георга обещаются субсидии: на сколько лет и по скольку на год? *Ответ* : по скольку на год – этого в указе не объявлено, известно одно, что дана будет сумма немалая; но дана она будет с тем, чтоб царское величество и король шведский, вступая в империю, напали на ганноверские владения Георга, также на императора и продолжали войну до получения честного, прибыточного и постоянного мира. Куракин заметил, что обязанности не уравнены: Россия и Швеция должны будут высадить свои войска в Шотландию и выгонять короля Георга безо всякого вознаграждения, потому что субсидии назначаются только по его изгнании за новые действия в империи. Беретти обещал донести об этом замечании своему двору и чрез несколько времени объявил, что испанский агент ирландец Лолес уже проехал в Швецию с поручением стараться о примирении Карла XII с царем и чтоб шведский король сделал высадку в Шотландию в будущем апреле или по крайней мере в мае-месяце, за что получит 200000 голландских ефимков субсидии; все эти деньги уже в Амстердаме у банкиров, только не будут выданы Карлу XII прежде завоевания Норвегии, потому что транспорт в Шотландию без этого состояться не может. Агент действительно поехал, но понапрасну: Карла XII не было более в живых.

Смерть Карла XII уничтожила в самом зародыше сближение России с Испаниею. В 1719 году, после разрыва Аландского конгресса, когда мир, а потом и оборонительный союз между Швециею и Англиею поставили Россию в затруднительное положение, Куракин переслал в Петербург свое мнение о положении дел: «С первого взгляда кажется, что Швеция миром и союзом с

Англиею приобрела великие выгоды; но кто посмотрит вдаль, иначе рассуждать будет. Короли английский и прусский дали шведам довольно денег для исправления разоренного; шведы будут получать также субсидии от Англии и Франции, что даст им средство к обороне; флот английский будет их защищать от нападения русских войск и флота. Таким образом, Швеция будет в безопасности. Но этим она и должна ограничиться, потому что английских и французских субсидий недостаточно для войны наступательной. Швеция продала свои германские провинции Ганноверу и Пруссии и этим лишилась своего прежнего значения в Европе, благодаря которому многим законы предписывала, но взамен не приобрела ничего, потому что деньги будут в один год истрачены. Вся надежда Швеции на дружбу Англии, но в чем будет состоять английская помощь? Разве Англия согласится объявить войну России, помогая Швеции в наступательном против нее движении? Прямо напасть на русские области нет никакой возможности для Швеции. Остается одно средство – ввести свои войска в Польшу; но где высадиться? В Штральзунде? Но Штральзунд еще за датским королем. Потом, позволит ли прусский король пройти шведским войскам в Польшу? Для него вовсе не выгодно видеть войну в своем соседстве, допустить Швецию прийти в силу и вступить в союз с королем польским, притом неизвестно, заключит ли Дания мир с Швециею. С русской стороны надобно стараться не допускать до этого мира, и хотя большой выгоды от этого не будет, ибо Дания по своей слабости и недостатку в деньгах не согласится действовать вместе с нами против шведов, однако довольно того, что у Швеции и Англии руки будут связаны, довольно им будет хлопотать около датского короля, стращать его и к миру принуждать. Король польский может заключить мир с Швециею и наступательный союз против России. Лично он был бы к этому и склонен, да сила в нем невелика, все зависит от Речи Посполитой, которая войны с Россиею не начнет: неспособность ее к этому известна при дворе царском и повсюду. Надежда польского короля на помощь от двора цесарского останется тщетною: явным образом этот двор никогда не выступит против России, разве под рукою будет одними словами помогать врагам ее, но ни войска, ни денег не даст; первого по многим причинам, а вторых – потому что нет их. Как же теперь должно поступать России, какие предпринимать предосторожности? Во-первых, надобно стараться держать при себе Речь Посполитую Польскую. Во-вторых, несмотря на то, что король прусский мир заключил с Швециею, надобно продолжать быть в добром согласии с берлинским двором, потому что он, заключив мир, не вошел ни в какие обязательства с Англиею и Швециею против царского величества и собственный интерес его требует жить в добром согласии с Россиею. Правда, он поступил малодушно, заключив отдельный мир с Швециею, но этот мир служит к ослаблению Швеции, а не к усилению; если же скажут, что Россия лишилась союзника, то от Пруссии такая же была бы польза, если б она и не заключила мира с Швециею, все равно вела бы себя нейтрально. С Англиею надобно избегать решительного разрыва, и кораблей английских подданных не захватывать; пусть с их стороны начнутся неприятельские действия, чтоб можно было парламенту и народу показать справедливость России и неправоту короля и министерства. Нам надобно сблизиться с главами партии тори и чрез них препятствовать в парламенте проведению предложений от двора; побуждать английское купечество, заинтересованное в русской торговле, делать свои представления парламенту в

форме писем от одного к другому, безмянно печатать в Англии для народного ведения о том, какие дальние виды министерство, получа Бремен и Верден, имеет к предосуждению английской свободы, какой вред произойдет для балтийской торговли и проч. С Голландиею надобно жить в дружбе и стараться об усилении торговли с нею, для чего ввести в наших гаванях добрые порядки, чтоб не было столкновений с голландскими купцами. На французский двор я мало возлагал надежды и вперед не возлагаю: несмотря на все обещания, данные нам герцогом Орлеанским, он обязался платить субсидию Швеции без всякой выгоды для Франции, только в угоду королю английскому. Общность интересов между Россиею и Испаниею побуждает их к союзу; но чрез разорение флота Испания потеряла главную свою силу, осталась телом без рук, нет у нее того, чем вдали доставать может; и так теперь обязываться с нею трудно; но прежде можно было бы что-нибудь сделать для взаимной пользы. Остается теперь самый трудный вопрос: что лучше – мириться или продолжать войну? Разумеется, надобно всячески стараться о мире. Главное затруднение с шведской стороны составляет уступка Ливонии, Ревеля, Выборга. Ревель, Кексгольм и Выборг нам возвратить нельзя по их положению; а Ливонию Швеция не уступит переговорами, надобно принудить ее к этому оружием. Но успех оружия зависит от перемены в отношениях между европейскими государствами. Окончание испанской войны должно разрушить четверной или пятерной (если считать герцога савойского) союз; Франция долго не вынесет рабства, в каком она находится теперь у Англии, в колониях уже начались между ними столкновения. С другой стороны, Франция завидует великой силе цесаря, и если теперь герцог Орлеанский для личного своего интереса находится в дружбе с австрийским двором, то по окончании испанской войны будет поступать иначе, и прежде всего Франция поднимет турок против цесаря. Голландия, оскорбленная гордыми поступками Англии, охотно вступит в союз с Франциею. Оканчиваю итальянскою пословицею: *Chi guadagna il tempo, guadagna la vita* (кто выигрывает время, выигрывает жизнь)».

Испания кончила тем, что для удовлетворения императора, Англии и Франции пожертвовала кардиналом Алберони; с его удалением рушились обширные замыслы, в которых Юго-запад Европы соединялся с северо-востоком. В начале 1720 года Куракин доносил царю: «По disgrации, учиненной кардиналу Алберони, я с послом гишпанским коммуникацию пресек, убегая всякого подозрения». В это время Куракин хлопотал о том, чтоб не состоялся в Голландии шведский заем по шести процентов с порукою Штатов. «Время пришло деликатное, – писал Куракин, – и должность каждого из верных подданных – свое мнение с чистою совестью объявлять. Интерес вашего величества ныне весьма требует, чтоб торговля в Балтийском море с русской стороны оставлена была совершенно свободною и спокойною, потому что Англия и Швеция на море будут очень сильны и запретить вывоз хлеба и прочего в Швецию будет невозможно; притом восстановление свободной торговли уничтожит неудовольствие здесь и в других странах; и я остаюсь при прежнем мнении, что Голландскую республику содержать нейтральною, с цесарем дружбу восстановить, особенно же прусского короля и Польшу в неотменной дружбе содержать. Считаю своею обязанностию доносить, как усиливается здесь неудовольствие вследствие запрещения с русской стороны вольной торговли на Балтийском море, арестования кораблей в Данциге и конфискации груза; неудовольствие распространяется и между теми, которые

были склонны к интересам вашего величества». Петр признал справедливость мнения Куракина и объявил вольную торговлю в Балтийском море с возвращением прежде конфискованных товаров, что произвело очень благоприятное впечатление в Голландии.

Здесь Куракин легко уладил дело, подобное которому так трудно было уладить в Вене. Одинаковой участи с Плейером подвергся голландский резидент Деби, которого неприятные для русского двора донесения были перехвачены. Деби писал своему правительству, что боится бунта в России, что здоровье царя непрочное, а наследник, царевич Петр, чрезвычайно слабого здоровья, не ходит и не говорит и постоянно болен; что царевич Алексей умер не своею смертью, что ему открыты были жилы; что Гёрц в частном разговоре с Брюсом на острове Аланде предложил проект брака между герцогом голштинским и царевною Анною; Деби писал, что царица будет поддерживать этот проект, чтоб обеспечить себе убежище в случае нужды. Дом Деби был окружен стражею, все у него было опечатано. Жалобы правительства Штатов на такое нарушение народного права Куракин отстранил замечанием, что само голландское правительство недавно поступило точно так же, арестовав Гёрца по требованию английского правительства, когда открыты были замыслы Гёрца и Гиллемборга в пользу претендента. Отозванного из Петербурга Деби Штаты отправили в Стокгольм: Куракин протестовал против этого, но понапрасну.

Программа Куракина выполнялась: Голландия оставалась нейтральною; с цесарем сношения были возобновлены; с прусским королем и Польшею находились в особенной дружбе; наконец, не разрывали и с Англиею. Здесь можно было действовать точно так же, как и в Польше, потому что и здесь интерес короля был отделен от интереса народа: в своем собственном ганноверском интересе, чтоб закрепить Бремен и Верден за Ганновером, король Георг заключил мир и оборонительный союз с Швециею; но захочет ли английский народ из-за ганноверского интереса тратить на бесплодную оборону Швеции, потому что одною этою обороною нельзя принудить Россию отказаться от своих требований? Благоразумие требовало от России отделить в Англии народ от короля и, враждуя с последним, оставаться в мире с первым. Летом 1719 года, в то время как в Стокгольме велись деятельные переговоры для сближения Англии с Швециею ко вреду России, русский резидент в Лондоне Федор Веселовский внушал англичанам, что ганноверские министры из своих частных видов употребляют всевозможные коварства, чтобы ссорить Россию и Пруссию с Англиею, и произвели такую смуту, что Англия кажется двором ганноверским, потому что управляется его интересами и политикою, и те, которые не согласуются с страстями этого двора, принуждены быть в несогласии и с Англиею. Веселовский доносил своему двору, что внушения его производят большое впечатление, что между англичанами начинается ропот на силу ганноверских министров и говорят, что надобно положить конец этой силе.

С такими ж внушениями Веселовский обратился и к английскому государственному секретарю Стенгопу. «Царские войска, – говорил резидент, – выведены из Мекленбурга; несмотря на то, ганноверские министры не перестают клеветать на царское величество, приписывая ему враждебные намерения против цесаря. империи, Польши, чтоб прикрасить этим свой договор, заключенный в Вене, и особенно чтоб поссорить Россию с Англиею. Но их коварства

опровергнуты перед целым светом великодушным поступком нашего государя, который оставил интересы своего ближнего свойственника, герцога мекленбургского, для сохранения спокойствия в Германии. С Англиею царское величество поступает всегда доброжелательно и надеется, что она не пойдет против его интересов. Но если он обманется в своей надежде, если Англия заключит хотя оборонительный союз с Швециею, то он будет смотреть на это как на объявление войны России». «Мы имеем причины опасаться, – отвечал Стенгоп, – что у царского величества нет доброжелательных намерений относительно Англии; мы основываем свои опасения не на лживых внушениях ганноверских министров, но на подлинных известиях, что эмиссары претендента (Стюарта) не только живут постоянно при дворе царском, но трактуют с министрами об интересах претендента; как же после того Англия может иметь мнение о добрых намерениях царского величества? Видим и другие доказательства нерасположения царского величества к Англии: нашим купцам запрещен свободный торг с Швециею; и если с русской стороны продолжится намерение лишать торговли своих приятелей, то мы наконец принуждены будем принять свои меры». По словам Веселовского, ему легко было опровергнуть «слабые резоны» Стенгопа; он отвечал, что сильно сомневается в справедливости известий о претендентовых эмиссарах в Петербурге; но если бы даже это была и правда, то почему Англия до сих пор не вошла на этот счет в соглашение с Россию, как то сделала с другими державами? Что же касается до запрещения торговать с Швециею, то это сделано потому, что Швеция запретила торговлю с Россию; пусть все державы настоят, чтоб Швеция уничтожила это запрещение, тогда и Россия позволит свободную торговлю с Швециею. Стенгоп сказал на это: «Англия по общности торговых выгод и по услугам, которые она оказала царскому величеству в настоящей Северной войне, может требовать со стороны России внимания к своим интересам; а заключать конвенцию насчет претендента неприлично, потому что Англия и без того надеется на доброе расположение царского величества». «Какие услуги Англия оказала России в настоящей войне?» – спросил Веселовский. «Англия, – отвечал Стенгоп, – допустила царя сделать большие завоевания и утвердиться на Балтийском море; кроме того, посылала свой флот и помогала предприятиям царским». «Англия, – сказал Веселовский, – допустила царское величество делать завоевания, потому что у нее небыло средств помешать этому, не имела и желания благоприятствовать успехам России, но по обстоятельствам должна была оставаться нейтральною флот свой посылала в Балтийское море для защиты своей торговли и для обороны короля датского в силу заключенного с ним обязательства».

Узнав, что Англия снаряжает сильный флот в Балтийское море, царь велел Веселовскому спросить у Стенгопа, каким намерением этот флот будет отправлен? Стенгоп отвечал, что флот отправляется к датскому королю по примеру прошлого года, причем Англия, кроме охранения своей торговли, не имеет никакой другой цели. «Не знаю, – сказал Стенгоп, – какую причину имеет царское величество сомневаться насчет Англии; но мы имеем важную причину опасаться России, потому что эмиссары претендента при дворе царском договариваются о низвержении короля Георга». «Я весьма опасаюсь, – писал Веселовский царю, – нет ли между якобитами (приверженцами Иакова Стюарта), находящимися в России, какого-нибудь лживого человека, который или будучи подкуплен, или из

недоброжелательства сообщает здешнему двору и то, что, может быть, его товарищи и не делают; но верно то, что английское министерство принимает это дело за высшую себе обиду, которою оправдывает все враждебные действия ганноверского двора против вашего величества. Также весь народ, по разглашениям якобитов, убежден, что ваше величество находитесь в согласии с Испаниею и при удобном случае намерены вместе с нею сделать высадку в Англию».

К Веселовскому явились члены русской торговой компании и рассказывали, как они были у Стенгопа с вопросом, могут ли отправлять свои корабли в русские гавани, ибо слух есть, что между королем их и царем происходит несогласие, и Стенгоп отвечал им, что могут отправлять свои корабли в Россию безопасно, король намерен сохранить доброе согласие с царем. «Это скрытое коварство! – сказал Веселовский купцам. – Английские министры хотят принудить царское величество к разрыву с Англиею, но до сих пор не могли еще преодолеть умеренность нашего государя; но если бы им удалось вывести его из терпения и принудить к какому-нибудь враждебному действию, то они объявят в народе, что Россия напала на Англию без всякой причины, что они, министры, и не думали о войне с нею – доказательство: они объявили членам русской компании, что могут безопасно отправить корабли свои в русские гавани. А между тем они работают всюду против интересов царского величества, причем интерес английского народа приносится в жертву страстям Бернсторфа, для удовлетворения этим страстям раболопное министерство английское положило разорвать с Россиею, что доказывают переговоры с Швециею, посылка Витворта к прусскому двору с целию отвлечь его от России. В интересе отечества своего приложите сильные старания для предупреждения разрыва между Англиею и Россиею, подайте письменные представления самому королю». Купцы, по словам Веселовского, согласились с его мнением и обещали уговаривать старшин компании подать представление королю. Но в совете компании, держанном по этому случаю, большинством голосов было решено, что должно успокоиться на заявлении Стенгопа и не делать новых представлений правительству.

В июне английский флот под начальством адмирала Норриса явился в Балтийское море. Царь отправил к адмиралу письмо, в котором требовал объяснения, зачем он прислан, ибо прежде при подобных отправлениях флота ему, царю, всегда давали знать об этом заранее; и если теперь адмирал, не объяснив письменно цели своего поручения, приблизится к русскому флоту или к русским берегам, то с царской стороны это молчание будет почтено за знак злоумышления и будут приняты надлежащие меры для безопасности. В конце письма царь заявлял, что он против короля и короны Великобританской, ни против какого другого государства, кроме Швеции, враждебных намерений не имеет. Норрис отвечал из Копенгагена: «Перед отъездом моим я говорил с г. Веселовским о походе моем сюда, сказал ему, что надеюсь на сохранение доброго согласия между нашими государями. Потому с крайнею покорностию приемлю смелость засвидетельствовать вашему величеству удивление мое насчет опасения, выраженного в письме вашем». Но в сентябре, когда еще царские уполномоченные Брюс и Остерман находились на Аландских островах, получают они на царское имя следующее письмо из Стокгольма от английского посланника при тамошнем дворе Картерета: «Король великобританский, государь мой,

повелел мне донести вашему царскому величеству, что королева шведская приняла его посредничество для заключения мира между вашим величеством и короною Шведскою. Королева шведская приняла посредничество Великобритании потому, что эта держава никогда не принимала участия в Северной войне; уповается, что это рассуждение принято будет и вашим величеством, что ваше величество соизволите повелеть пресечь все неприятельские действия в знак принятия посредничества и склонности к миру. Я прошу позволения донести вашему величеству, что король, государь мой, повелел кавалеру Норрису прийти с флотом к здешним берегам как для защиты торговли его подданных, так и для поддержания его медиации и что его величество вместе с королем французским и другими своими союзниками (между которыми находится и Швеция) принял меры, чтоб его медиация получила ожидаемый успех и чтобы в скором времени прекращена была война, которая так долго тревожила Север». Вместе с письмом от Картерета получено было и письмо от Норриса в тех же самых выражениях; кроме того, адмирал предлагал свои услуги для начатия мирных переговоров между Россию, Швециею и Англиею. Брюс и Остерман, «усмотря весьма необыкновенный и гордый поступок английских посла и адмирала», отвечали Картерету, что они не могут препроводить подобных писем к царскому величеству и надеются, что король великобританский свои мнения и чувства в деле столь великой важности не оставит объявить царскому величеству или сам! чрез грамоту, или чрез своего министра, находящегося в Петербурге, а такие чрезвычайные способы и пути непотребны.

В ноябре открылся парламент. В тронной речи о северных, делах, о вспоможении, оказанном Швеции, было сказано глухо: «Одно протестантское государство получило своевременно нашу помощь, и нашими последними договорами положено такое основание союза между великими протестантскими державами, что безопасность нашей святой религии может считаться крепко обеспеченною». Между прочим, в тронной речи находилось следующее; место: «Наши домашние несогласия, преувеличенные за границую, внушили некоторым иностранным державам ложное мнение о наших силах, и они вздумали обходиться с нами таким образом какого корона Великобритании никогда не стерпит, пока я ее ношу». Веселовский, пересылая тронную речь в Петербург и указывая на последнее место в ней, замечает: «Здесь скрытым, но хитрым изображением дано знать о письме вашего величества к адмиралу Норрису, которое выставлено как оскорбление, нанесенное короне Английской. От таких хитростей и подлогов, от пенсий, чинов и подарков, раздаваемых членам парламента, чего другого можно ожидать, кроме всякого снисхождения и одобрения всему, чего двор желает. Противная партия хотя предлагала верные резоны, но все понапрасну, потому что не достоинство мнений, но число голосов преодолевает. Так как я вижу, что министры прилежно за мною смотрят и о всех разговорах наведываются, то я с осторожностью и в умеренных выражениях внушаю все, что потребно к интересам вашего величества». В конце года Веселовский доносил о неблагоприятном расположении английской публики к России: «Вообще сожалеют о бедственном состоянии Швеции, а к силе вашего величества такую зависть питают, что никаких резонов не принимают; опасаются, что ваше величество намерены стать повелителем на Балтийском море, и если Швецию оставить без помощи, то кто может поручиться, что вы ее не завоюете?

Да хотя бы этого и не случилось, то какое будет равновесие между северными державами? Эти рассуждения слышал я от членов парламента, доброжелательных вашему величеству и обещавших мне постоянно действовать в интересе вашего величества».

Хотелось защитить Швецию и восстановить равновесие на севере, но не хотелось и разрывать с Россиею, вступать в войну, не обещавшую скорых и верных успехов и выгод. В начале 1720 года друзья уверяли Веселовского, что в обеих партиях, вигов и тори, из десяти человек непременно восемь разрыв с Россиею считают противным английскому интересу; министры очень хорошо это знают, и если желают разрыва с Россиею, то никак не откроют этого желания нынешнему парламенту, но будут раздражать русский двор до тех пор, пока разрыв естественно последует. В январе приехал курьер из Стокгольма, и разнесся слух по всему городу, что царь принимает посредничество короля Георга и есть надежда на скорое заключение мира между Россиею и Швециею. «Откуда это разглашение произошло и на каком основании, знать подлинно не могу, – писал Веселовский, – только примечаю, что все этому рады, и не могу довольно изобразить, как сильно и придворные, и члены парламента желают доброго согласия между обоими дворами и как неприятна им мысль о разрыве с вашим величеством».

Слух оказался ложным; царь не принимал посредничества Англии; мемориал, поданный Веселовским, и ответ на него со стороны короля Георга, заключающие взаимные обвинения, не могли вести к сближению. И в 1720 году снарядили флот, который адмирал Норрис должен был вести опять в Балтийское море для защиты Швеции. 6 апреля Стенгоп, увидавши Веселовского при дворе, подошел к нему и сказал: «Чтоб вы никакой причины к жалобам против нас не имели, мы сообщим вам список с договора нашего с Швециею и с инструкции, которую мы даем адмиралу Норрису. Он отправляется, по силе этого договора, только на помощь Швеции, и в вашей воле заключить мир или нет и нас признать за приятелей или неприятелей, и, как вы поступите в отношении к нам, так и мы поступим в отношении к вам». Сказавши это, Стенгоп сейчас же отошел от Веселовского. «Это причитаю себе за авантаж, – писал резидент, – ибо если бы я хотя несколько слов сказал не по нем, то без противности не разошлись бы, потому что зело запальчивый человек». На другой день вместо обещанных копий с договора и инструкции Стенгоп прислал Веселовскому следующее письмо: «Король, мой государь, приказал своему адмиралу, кавалеру Норрису, отплыть как можно скорее в Балтийское море с эскадрою военных кораблей, которые должны, в силу договора с Швециею, соединиться с морскими силами этой державы для прикрытия ее областей и для содействия заключению выгодного для обеих сторон мира между Россиею и Швециею. Мне приказано сообщить вам об этих распоряжениях и повторить вам от имени королевского предложения его посредничества и добрых услуг для ускорения миром, который так необходим обеим воюющим сторонам и так выгоден всем народам, участвующим в торговле северных морей».

8 мая царь, будучи в коллегии Иностранных дел, велел отправить указы к генерал-адмиралу графу Апраксину и к рижскому генерал-губернатору князю Репнину: когда будут от адмирала английского Норриса, или посла Картерета, или от другого какого-нибудь командира или министра английского присланы письма

на имя царского величества, то их не принимать, а сказать присланному и письменно отвечать, что письма приняты быть не могут, ибо всему свету известно, что адмирал Норрис послан на помощь к Швеции; если же имеется к царскому величеству от короля грамота, то велено ее принять и переслать к государю; также если адмирал будет писать к русским министрам, к адмиралу и генералам, то письма его принимать.

30 мая, находясь близ Наргена, Норрис отправил следующее письмо к главнокомандующему в Ревеле генералу фон Делдену: «Король, государь мой, велел мне идти с эскадрою в это море для получения справедливого и умеренного мира между Россиею и Швециею для пользы подданных его величества и дружественных с ним народов. Король истинно желает, чтоб это христианнейшее дело счастливо и как можно скорее было приведено к окончанию; для этого он велел мне возобновить предложение посредничества и дал полномочие министру своему при стокгольмском дворе и мне посредствовать между обеими коронами». При этом прислано было и письмо на имя царя, которое фон Делден отослал назад по указу. Генерал-адмирал Апраксин отправил Норрису письмо от себя: «Так как его царское величество, мой все милостивейший государь, истинное желание имеет всегда существовавшую дружбу между ним и королевским величеством и короною Великобританскою постоянно продолжать, избегая всех случаев, которые могут подать причину к неприязни, то ваше высокоблагородие не можете принять за противное, что я при нынешнем вашем приближении с флотом великобританским к здешним местам служебно к вам отзываюсь и вас достойным образом прошу мне сообщить, в каком намерении вы приближаетесь с флотом к здешним местам? В ожидании ответа я надеюсь, что ваше высокоблагородие от здешних мест и крепостей их будете держать в пристойном отдалении, ибо министры королевские объявили резиденту царского величества в Лондоне, что вы отправлены на помощь неприязненной нам короне Шведской, и приближение ваше к укреплениям здешних мест может быть принято нами за явный знак неприязни, и мы принуждены будем употребить надлежащие меры предосторожности».

Норрис отвечал, что он явился предложить посредничество короля своего к доброму миру и когда царское величество изволит принять это посредничество, то он, Норрис, готов будет к его услугам. На это Апраксин написал по царскому повелению, что если королевское величество великобританское заблагорассудит его царскому величеству о каких делах предлагать, то изволил бы прислать, по обычаю, своего министра или его, Норриса, с кредитивом и полномочием: царское величество изволит присланного принять дружелюбно, его предложение выслушать и вступить по возможности в переговоры.

Попытка испугать Россию не удалась: посредничество в угрожающей форме было отстранено, и в то самое время, когда Норрис грозил, русские войска опустошали шведские берега; отряд под начальством бригадира фон Менгдена углубился на 5 миль внутрь страны, не встречая никакого сопротивления, сжег два города и 41 деревню с 1026 крестьянскими дворами. Петр писал Ягужинскому: «Партия наша под командою бригадира фон Менгдена в Швецию впала и паки счастливо чрез море перешла к своим берегам. Правда, хотя не гораздо великий неприятелю убыток учинен, только слава богу, что сделано пред глазами помощников их и чему препятствовать ничего не могли».

В Англии оппозиция сильно смеялась над министерством, сильно смеялась над подвигами королевского флота, посланного на защиту Швеции и не помешавшего русским опустошать ее берега. Англия не возобновляла более попыток к посредничеству. За это дело принялась Франция.

Мы видели, что Франция по смерти Людовика XIV, в правление герцога Орлеанского, сблизилась с Россиею, и были важные основания, почему Франция, истощенная, потерявшая свое первенствующее на Западе значение, дорожила этим сближением. Но в то же время личный интерес регента заставлял его сближаться с Англиею, король которой Георг I был в сильной вражде с царем. Интересы России в Париже защищал в это время барон Шлейниц, переведенный царем к французскому двору от ганноверского. «Англия, – писал Шлейниц из Парижа в 1718 году, – и здесь старается всеми силами уничтожить действие тройного союза, заключенного между Россиею, Франциею и Пруссиею. Сверх того, я имею подлинные ведомости из Вены, что английский двор велел обнадежить цесаря, чтоб он нисколько не опасался этого союза. Английский посланник при французском дворе Стерс старается уговорить регента, чтоб он способствовал заключению партикулярного мира между королем английским и Швециею и сам вступил в оборонительный союз с Англиею и Швециею для противодействия планам вашего величества, грозящим спокойствию всей Европы. Стерс имеет большой кредит у регента; почти не проходит дня, чтоб не сидели они часа по два запершись; правда, что эти тайные конференции касаются испанских и итальянских дел; но я знаю наверное, что и северные дела тут не бывают забыты». Когда Шлейниц объявил регенту об отрешении от наследства царевича Алексея, тот отвечал: «Поздравляю царское величество от всего сердца с окончанием такого важного и нужного дела, от которого зависят спокойствие и согласие в семействе царском, благополучие всей Российской монархии и всех подданных, твердость и безопасность союзов, с Россиею заключенных. Царское величество в бытность свою во Франции открыл мне по секрету о своем намерении; признаюсь, тогда я боялся, не опасно ли это дело; но теперь мне остается только удивляться искусству царского величества, с каким он поступил в этом деле». Потом регент распространился о своих отношениях к России: «Мое истинное намерение – сблизиться как можно теснее с царским величеством и королем прусским. Я стараюсь всеми силами о примирении Испании с цесарем; но этим самым примирением я сделаю Испанию и Австрию сильными и опасными для Франции. Для избежания этой опасности мне нужно иметь контрбаланс, который всего лучше я могу найти в союзе с Россиею и Пруссиею и, если можно, с Швециею. Нужно образовать сильную партию в Германии, что всего лучше сделать чрез Пруссию; но я не хочу впасть в ту же ошибку, какую здесь сделали в начале войны за испанское наследство, ибо Франция, заключая союзы в империи, начала с ног, а голову забыла; но я теперь начну с головы, т.е. с царского величества».

Одно было на словах, другое – на деле. На словах был интерес Франции, верно понимаемый; на деле был интерес герцога Орлеанского, который нужно было обеспечить от притязаний короля испанского, а чтоб с успехом противодействовать Испании, нужно было сблизиться с императором и с Англиею. И вот Франция входит в четверной союз (с Англиею, императором и Голландиею) против Испании. Мы видели, что угрожаемая с четырех сторон

Испания обращалась к далекой России, имевшей с нею одинаковый интерес по неприязненным отношениям к Англии и императору. И в Париже испанский посланник Челламаре объявил Шлейницу, что король велел ему быть с ним в дружбе и хочет быть с царским величеством в тесной дружбе и конфиденции. Между тем регент продолжал уверять Шлейница в своем дружеском расположении к России, объявил, что четверной союз не имеет никакого отношения к северным делам, не заключает в себе ничего вредного для России; велел поздравить царя с очевидною помощью божиюю, оказанною ему в смерти царевича Алексея; велел объявить царю, что по заключении мира и, как надобно полагать, союза между Россиею и Швёциею он, регент, вступит в ближайшие обязательства с обеими державами. «Я знаю, – говорил регент, – что король испанский хочет заключить союз с царским величеством. Я ничего не имею против этого союза и надеюсь, что царское величество при заключении его не войдет ни в какое обязательство, противное интересу Франции, короля ее или моему собственному, точно так как я, входя в обязательства с Англиею, не позволил и никогда не позволю внести какое-нибудь условие, вредное для России; у меня одна цель – во время малолетства королевского не дать Франции вмешаться в какую-нибудь войну».

Но Шлейниц узнал, что в договоре между Франциею и Англиею находится секретная статья, по которой союзники и по достижении своей цели относительно Испании остаются в обязательстве взаимного вспоможения до прекращения Северной войны. Шлейниц узнал также, что Англия и император втягивают регента в северные дела посредством всемогущего министра его, прежнего наставника и развратителя, аббата Дюбуа, которому император обещал выхлопотать кардинальство, а лондонский двор за союзный договор с Франциею заплатил сто тысяч ефимков и назначил на все время союза пенсию в тридцать, а по другим – в пятьдесят тысяч ефимков. Люди влиятельные, члены совета регентства, имена которых Шлейниц опасался предать письму, говорили ему, что в совете регентства герцог Орлеанский предлагал уже принять немедленное участие в северных делах, но, кроме некоторых креатур его, все другие члены совета отвечали, что это участие вовсе не в интересе Франции и что по крайней мере надобно подождать окончания дел испанских. Некоторые «конфиденты» присоветовали Шлейницу попросить у регента объяснения, почему его слова не соответствуют делу? Застигнутый врасплох вопросом Шлейница, герцог отвечал, что его подлинное намерение и интерес короны Французской заключаются в том, чтоб поддерживать равновесие на севере. Шлейниц нашел, что этот ответ «состоит на винтах». Конфиденты говорили ему, что, по верному известию, ими полученному, цесарь чрез графа Фирмонда предлагал Речи Посполитой Польской оборонительный и наступательный союз, обещая освобождение от русских войск; сильно стараются о том, чтоб поднять султана против России, и в этом деле более других участвует король польский, бунтуют и казаков на Украине. Шлейниц сам видел, в какой тесной дружбе был английский посланник в Париже Стерс с польским (саксонским) министром Сумом, а прусский посланник Книпгаузен вдруг прекратил с Шлейницем всякое сообщение; только испанский посол именем короля своего настаивал на скорейшем заключении оборонительного и наступательного союза между Россиею и Испаниею, говорил, что надобно возбудить в Англии внутреннее волнение, для чего надобно согласиться с

Швециею насчет возобновления прежнего плана Гёрца, сделать высадку в пользу претендента; надобно также, чтоб царь, вступив в тесный союз с Испаниею, сильно действовал против императора в Польше и Германии; надобно, чтоб герцог Орлеанский переменял свой образ действия, в противном случае надобно с помощью Испании произвести переворот во Франции и уничтожить для истинного интереса этой державы вредные союзы ее с императором и Англиею. Шлейниц заметил, что последнее очень трудно: недавно открыты были сношения с Испаниею герцога де Мэна (побочного сына Людовика XIV), за что он пострадал вместе с другими своими сообщниками, теперь регент настороже и силен. На это Челламаре отвечал: «Регент скоро увидит, что обманулся, удалив герцога де Мэна, ибо найдет место последнего занятым снова согласно с истинным интересом Франции».

Аббат Дюбуа имел обстоятельные сведения о замыслах Испании, т.е. кардинала Алберони: он знал, что испанский двор предлагает Карлу XII через Гёрца высадку в Шотландию, для чего необходим союз с Россиею. Дюбуа, как министр иностранных дел, имел по этому поводу длинный разговор с Шлейницем, представлял, что «выгоды, которые может получить Россия от испанского союза, нельзя уравнивать с неприятностями, которые могут произойти от озлобления большей части, и притом сильнейших, держав Европы и собственных союзников России. Царь намерен утвердиться на Балтийском море и установить свою торговлю, но для этого можно найти способы повернее испанского союза. Регент готов помочь ему в отыскании этих способов. Усиление императора и тесный союз его с Англиею, разумеется, не могут нравиться России, но они одинаково не нравятся и Франции. Но прежде всего Испания должна помириться с императором, должна быть прекращена война, которую она ведет в Италии, а потом Испания может быть присоединена к союзу между Россиею, Швециею, Франциею и Пруссиею. Царя нельзя осуждать за то, что он выслушивает испанские предложения: ему приятно видеть, как державы, самые отдаленные, нуждаются в его дружбе. Не худо было бы, если б царь, с одной стороны, не отталкивал от себя Испанию, а с другой-принял предложенный мною план, и, когда возгорится решительная война между императором, Англиею и Испаниею, Россия может предложить свое посредничество, что доставит ей славу и пользу. Если мирные переговоры у России и Пруссии с Швециею еще продолжаются, то регент готов всеми силами помогать скорейшему заключению мира, лишь бы только в договорах не заключалось условий о вторжении в Англию и о возбуждении войны в Германии. Если переговоры прерваны, то пусть северные союзники составят общий план примирения; тогда Франция, Англия и цесарь вынудят у Швеции мир по этому плану. Регент объявляет царю в высшей конфиденции, что от него, регента, зависит заключение мира между Швециею и курфюрстом ганноверским: недавно король шведский прислал ему свой оригинальный проект этого мира и отдал его в его руки; регент уверен, что английский король примет предлагаемые Швециею условия, но он дает царю честное слово, что проект не выйдет из его рук и не будет сообщен Англии, пока регент не узнает, что или мир заключен между Россиею и Швециею, или переговоры прерваны. Неотменное намерение регента состоит в том, чтоб по заключении мира между Испаниею и цесарем вступить в тесный союз с Россиею, Швециею, Пруссиею и Испаниею для поддержания европейского равновесия; не

нужно доказывать, что этот союз необходим вследствие усиления императора и тесной связи его с Англиею. Равновесие на Балтийском море может быть потеряно, когда Швеция лишится своих провинций, лежащих в Германии, но это для Франции уравнивается союзом с Россией и Пруссиею». Дюбуа несколько раз бросался обнимать Шлейница, прося его, чтоб это важное дело велось со всевозможным старанием и величайшею тайною.

Несмотря на подозрительное поведение регента, на союз его с Англиею, в Петербурге всячески старались «менажировать» Францию, как тогда выражались, если не для настоящего, то для будущего. У царя родилась дочь Наталья, и Шлейниц получил указ просить короля Людовика XV быть восприемником новорожденной царевны. Воспитатель короля маршал Вилльруа говорил Шлейницу по этому случаю о любви и высоком уважении молодого короля к царю, как Людовик часто спрашивает, где теперь царь, чем занимается; Вилльруа жалел, что принцесса, к которой король призван в крестные отцы, очень молода и король не может так долго дожидаться, хотя бы и желательно было видеть ее французскою королевою. Дюбуа прибавил при этом, что как ни изумительна мудрость царского величества, однако при назначении короля восприемником к царевне он позабыл, что по католическому правилу король жениться на ней не может, впрочем, можно надеяться, что папа окажет учтивость и даст разрешение.

1 декабря 1718 года Шлейниц донес своему двору о важном по обстоятельствам для России происшествии: испанский посол князь Челламаре был арестован в своем доме, к нему приставили 50 человек мушкетеров, все письма его захватили; вместе с тем посажено в Бастилию несколько знатных французов; были перехвачены письма Челламаре к Алберони о заговоре в Париже в пользу испанского короля Филиппа V, который должен был вступить с войском во Францию. В конце месяца пришло известие о смерти Карла XII; французское правительство обрадовалось в надежде, что сношения Испании с Швециею о союзе порвутся.

Шлейниц понял трудность своего положения при таких новых «конъюнктурах». «При жизни короля шведского, – писал он в начале 1719 года, – как в Лондоне, так и здесь все бы сделали, чтоб только удержать ваше величество от союзных действий с Швециею и Испаниею против английского короля и цесаря. Но сначала объявление короля прусского, что он не будет мешаться в испанские дела и не примет никаких мер, вредных для четверного союза, а потом смерть короля шведского привели английского короля и регента в совершенную безопасность; они не боятся теперь ни завоевания Норвегии шведами, ни продолжения Аландского конгресса и знают, что, кто бы ни вступил на шведский престол, ничего не может предпринять при страшном истощении Швеции; впрочем, Англия как здесь, так и в Гаге явно объявила себя за принцессу Ульрику». Шлейниц опасался, что теперь может составиться сильный союз против России, который станет предписывать ей условия мира, как то сделал четверной союз с Испаниею.

Регент, которому про запас нужен был союз с Россией и Пруссиею, хотел воспользоваться смертью Карла XII для скорейшего заключения северного мира; он предложил свое посредничество, Россия и Англия приняли его; но сейчас же оказалось, что Англия при этом хотела выиграть только время, занять Россию и покончить переговоры о своем партикулярном мире с Швециею. Регент

продолжал поступать дружелюбно в отношении к России: он дал предписание посланнику своему в Стокгольме графу Деламарку, чтоб склонять шведскую королеву к продолжению Аландского конгресса, в чем тот и успел; за это английский посол в Париже жаловался на Деламарка, обвиняя его в пристрастии к России; Шлейницу шептали на ухо, чтоб царь не тратил времени, заключил мир с Швециею на умеренных условиях, имея в виду выгоды, которые должны произойти от союза между Россиею, Швециею, Пруссиею, Франциею и Испаниею. Польский и австрийский министры хлопотали, чтоб регент приступил к тройному оборонительному союзу, заключенному в Вене между императором, Англиею и Польшею для противодействия России; когда Шлейниц осведомился об этом у Дюбуа, тот отвечал: «Не опасайтесь, регент не даст себе связать руки в северных делах вступлением в этот союз».

Пришла весть, что английский король заключил мир и оборонительный союз с Швециею. Шлейниц, уверенный, что Англия будет притягивать Францию и Голландию к этому союзу, отправился к Дюбуа с представлениями, что Англия и в северных делах хочет поступить, как в испанских: составить союз, принудить Россию к миру, забрать в свои руки балтийскую торговлю и получить первенство в Европе; неужели это согласно с интересами Франции? Дюбуа отвечал, что у регента никогда не было в мыслях, чтоб король английский навеки присоединил Бремен и Верден к Ганноверу; регент в северных делах руки себе связать не даст и в англо-шведский союз не вступит; этот союз заключен не только без содействия, даже без ведома Франции. Через несколько времени Дюбуа объявил Шлейницу, что король английский предложит царю свое посредничество. «Как царское величество может принять это посредничество, когда пристрастие Англии к Швеции и зависть ее к морскому могуществу России так очевидны? – возразил Шлейниц. – Регент даст ответ перед потомством, если вступит в англо-шведский союз и не воспрепятствует отторжению Пруссии от русского союза». Дюбуа отвечал: «Если вы меня спрашиваете, женюсь ли я, то я ничего не могу сказать вам, кроме того, что я не женился».

Скоро пришло известие и о женитьбе. Прусский король сказал русским министрам Толстому и Головкину, что если б он имел дело с одним английским королем, то не заключил бы с ним договора; но французский посланник граф Ротембург вместе с посланником императорским принуждал его к заключению этого договора и грозил. Шлейниц поехал объяснить по этому поводу с самим регентом. Герцог сначала отвечал, что не давал никаких подобных инструкций Ротембургу; но когда Шлейниц потребовал, чтоб регент выразил свое неодобрение Ротембургу за самовольный поступок, то герцог объявил, что Ротембург оказал только содействие к соглашению между двумя курфюрстами, бранденбургским и ганноверским, которых вражда была противна французским интересам; но Ротембург действовал так вследствие данного королем прусским заявления, что в договор его с английским королем не будет внесено ничего вредного для России. Дюбуа объявил, что мир Швеции и с Англиею и с Пруссиею очень неприятен для Франции, которая не могла желать, чтоб Швеция лишилась своих владений в Германии. Но что же делать! Франция тут ни в чем не виновата, виновата Россия, которая своим впадением в Швецию заставила шведскую королеву отдаться в руки английского короля. Франция теперь ничем не может помочь, ибо не может идти против Англии и императора, с которыми у нее один интерес в испанских

делах. «Когда Россия увидела, – сказал на это Шлейниц, – что Швеция на Аланде только проводит время и переговаривает с английским королем об отдельном мире, когда увидела, что оставлена своими союзниками, то ей не оставалось ничего более, как прибегнуть к оружию; царское величество все свои завоевания сделал без союзников и удержит их без союзников, для чего способ покажет бог и время, при нынешних больших приготовлениях царских водою и сухим путем». Дюбуа отвечал: «У меня правило, от которого не отступлю никогда: если державы, с которыми имею дело, сами не входят со мною в объяснения насчет своих предприятий, то я их никогда первый не спрашиваю, пусть делают, что хотят, а потом принимаю свои меры и никаких выговоров, тем менее угроз не делаю, потому что это делу не помогает, а может сильно повредить. Увидим, что окажется в северных делах, и будем поступать согласно с интересом короля, Франции и регента и с неизменною преданностию к царскому величеству». Донося об этом разговоре, Шлейниц писал: «По моему мнению, не много пользы отсюда ожидать можно, пока продолжается размолвка у вашего величества с Англиею; однако не должно ссориться с регентом, и на будущее время надобно удержать для себя отворенные двери».

6 октября 1717 года Дюбуа формально предложил Шлейницу посредничество французского короля к примирению России с Швециею. По этому поводу в начале декабря у Шлейница с Дюбуа было любопытное объяснение. Шлейниц выразил надежду, что регент покажет полное беспристрастие при посредничестве, точно так, как царь поступал до сих пор в испанских делах. На это Дюбуа отвечал: «Регент ни в какие новые и ближайшие обязательства не вступил; но о беспристрастии царского величества в испанских делах лучше не упоминайте: регенту и особенно мне известны все сношения между Россиею и Испаниею, известны во всех подробностях, известно, что ирландец Лолес был у царя в Ревеле до нападения русских войск на Швецию и вице-канцлер Шафиров имел с ним тайные конференции; потом Лолеса несколько времени держали в Данциге тайно и во время военных действий имели с ним постоянную переписку, и хотя переговоры с ним не повели ни к чему решительному, потому что он делал предложения общие и широкие, и Лолес уехал ни с чем, однако царское величество возобновил сношения прямо с Алберони через другой канал и соглашался за известные субсидии заключить оборонительный и наступательный союз. Этот союз царскому величеству бесполезен за отдалением, бесполезен и потому, что кардинал Алберони не в состоянии будет выплатить обещанные субсидии, а между тем этот союз заставит членов четверного союза объявить себя в северных делах против России; с другой стороны, сношения с царским величеством дают только кардиналу Алберони возможность отвращать испанского короля от заключения мира». Шлейниц отвечал, что все сказанное Дюбуа большею частью справедливо, но что ему, Шлейницу, неизвестно о возобновлении сношений с Алберони. «Я это знаю, – сказал Дюбуа, – от человека, который не только слышал из уст Алберони, но и на письме видел. Впрочем, это не будет иметь никакого влияния на расположение регента действовать в пользу царского величества». Тут Дюбуа взял Шлейница за руку и сказал: «Запомните хорошенько нынешний день: через шесть месяцев я вам об нем напомню, когда вы будете благодарить регента за услуги, оказанные им России, несмотря на секретные сношения царского величества с Испаниею и несмотря на

затруднительное положение, в каком теперь находится регент относительно Англии и императора». «Если царское величество будет иметь причину благодарить регента, то я передам эту благодарность с величайшим удовольствием», – сказал Шлейниц. Дюбуа, хитро улыбаясь, продолжал: «Я знаю, что последние сношения с Испаниею происходили не чрез вас; но все же вы принимали некоторое участие в испанских делах». Шлейниц знал, что об его участии в испанских делах известно Дюбуа из бумаг, захваченных у Челламаре, и потому сказал: «Я знаю хорошо, что вы хотите сказать; но вы помните, что я тогда же принес вам покаяние и получил прощение». «Теперь еще не время объясняться об этом, – отвечал Дюбуа, – подождем, когда кончатся испанские дела, и тогда посмеемся насчет прошлого».

17 декабря Шлейниц получил царский рескрипт, подписанный 16 ноября. На основании этого рескрипта Шлейниц подал регенту следующий мемориал: «Нижеподписавшийся полномочный министр его величества царя всея России имеет указ объявить вашему королевскому высочеству именем царя, своего государя, что его величество принимает охотно предложение христианнейшего величества насчет посредничества о мире между его царским величеством и королевою и короною Шведскою; если его христианнейшее величество изволит ему дать декларацию на письме за рукою вашего королевского высочества, что его христианнейшее величество не имеет никакого обязательства ни прямым, ни посторонним образом с королевою и короною Шведскою, ниже с каким иным союзником ее, или с какою иною державой, кто бы они ни были, противного силе и смыслу договора, заключенного с его царским величеством и подписанного в Амстердаме 4-го числа августа по старому стилю 1717 года. Причины, заставляющие его величество царя требовать этой декларации, суть повторительные известия, которые его величество получил от министров своих, пребывающих при других иностранных дворах, что министры его христианнейшего величества по согласию с министрами его британского величества действуют почти при всех европейских дворах в пользу королевы и короны Шведской. Царь мой, государь, знает еще, что министр его христианнейшего величества при короле прусском усиленно старался привести его, прусское величество, к заключению последних договоров с английским королем, которые довели до отдельного мира между Пруссиею и Швециею, с исключением царского величества. Подлинно известно также, что его христианнейшее величество велел заплатить недавно значительные суммы отчасти в самом Стокгольме прямо шведской королеве, отчасти ландграфу гессен-кассельскому. Но больше всего удивило его царское величество содержание писем британского министра лорда Картерета и адмирала Норриса, написанных неупотребительным между великими государями слогом: в обоих говорится, что король английский вместе с христианнейшим королем и прочими своими союзниками, между которыми находится и Швеция, принял меры для скорейшего окончания Северной войны. Нижеподписавшийся просит всепокорно ваше королевское высочество дать ему письменный скорый ответ на этот мемориал, потому что в таком важном деле дорога каждая минута, и царь, государь его, будет поступать по содержанию вашего ответа: или начнет мирные переговоры, или будет продолжать войну против Швеции».

В начале 1720 года регент отвечал, что союзный договор 1717 года он свято исполнял и всегда исполнять будет, но требуемую письменную декларацию дать не может, потому что это противно его чести. Если царь поверит его обнадеживаниям и примет посредничество, то увидит, что он, регент, будет поступать с совершенным беспристрастием: впрочем, если с русской стороны питается хотя малейшее недоверие к этому посредничеству, то ему, регенту, во всяком случае будет приятно, когда царское величество заключит мир с Швециею прямо или при посредничестве какой-нибудь другой державы.

Прошло три месяца. В апреле является к Шлейницу граф Деламарк, бывший французским послом в Стокгольме, с тайными предложениями от регента. «С Испаниею, – начал Деламарк, – заключен теперь мир, и это обстоятельство заставляет регента без потери времени думать о союзе с некоторыми державами, а именно о союзе между Россиею, Франциею, Испаниею, Швециею, Пруссиею и некоторыми более значительными имперскими князьями протестантского исповедания, между которыми находится ландграф гессен-кассельский. Приступить к этому союзу надобно немедленно; но так как этого сделать нельзя прежде мира между Россиею и Швециею, то регент берется хлопотать об этом мире и велел Дюбуа объявить вам, что он ни прямо с Швециею и ни с какою другою державой не находится в таком обязательстве, какое могло бы быть противно союзному договору его с Россиею 1717 года или могло бы поколебать беспристрастие его как посредника. Мало того, регент обязывается и впредь не вступать в подобные обязательства. Император, Англия, Польша сильно настаивали, чтоб регент вошел в такие обязательства, но он решительно отказался, и здесь заключается настоящая, хотя и тайная, причина несогласия с королем английским. Регент надеется, что такое поведение его заслужит доверенность царского величества и посредничество его примется безо всяких письменных деклараций. Английский король велел пригрозить шведской королеве, Сенату и государственным чинам, что он флота в Балтийское море не пошлет или назад отзовет, как скоро королева шведская без его ведома покусится вступить в переговоры с царем. Английский король как в испанских, так и в северных делах употреблял имя регента совершенно произвольно, безо всякого соглашения с ним, как, например, в письмах лорда Картерета и адмирала Норриса, отправленных к царскому величеству. Английские министры французского министра в Стокгольме Кампредона принудили к тайному договору между Англиею, Франциею и Швециею. Регент не одобрил этот поступок Кампредона, поступившего без полномочия; но так как до сих пор Франция должна избегать всего, что может возбудить в Англии преждевременное подозрение и недоверие в Швеции, то регент мог удержать ратификацию договора только под тем предлогом, что в проекте договора дело недостаточно уяснено. Для предупреждения подобных поступков со стороны Англии регент послал указ всем своим министрам при иностранных дворах, чтоб они по северным делам без инструкции ни в какие соглашения не вступали. Если предполагаемый союз состоится, то все европейские дела будут от него зависеть: это тот самый союз, о котором царское величество в бытность свою в Париже предлагал регенту. Регент для этих секретных изъяснений потому назначил меня, что английские министры, находящиеся здесь, зорко смотрят на его поступки и он не мог решиться призвать вас в свой кабинет; кроме того, Дюбуа не должен об этом ничего знать. Регент

знает, что царское величество находится в сношениях с герцогом голштинским, который намерен отправиться в Петербург, чтоб вступить там в брак с старшею царевною. Это дело очень важно: смотря по тому, как его поведут, можно или всю Европу вовлечь в долгую войну, или способствовать заключению общего северного мира. Если герцог в злобе своей на королеву шведскую успеет склонить царское величество вести дело до крайности для доставления ему шведского престола, то в случае дурного успеха он лишится своих наследственных земель и всякой надежды быть когда-нибудь королем шведским, и обязательства в отношении к нему царского величества будут противны предлагаемому регентом союзу. Но если царское величество отдаст герцогу за дочь в приданое завоеванные у Швеции провинции и потребует, чтоб герцог был признан наследником шведского престола после тетки его и её мужа, если у них детей не будет, то регент готов помогать этому всеми своими силами». Донося об этих изъяснениях Деламарка, Шлейниц писал: «Я верю, что регент поступает искренно; ему союз с императором и Англиею уже наскучил: лорд Стерс поступал с ним как с рабом и сильно огорчал его своими гордыми поступками. Регент видит, как он своею помощью в Делах испанских усилил австрийский дом, и теперь не находит другого средства поправить дело, кроме союза, предлагаемого им вашему величеству. Что же касается наследства французской короны в случае бездетной смерти короля, то для обеспечения его себе регент не нуждается в помощи императора и Англии, ибо благодаря распоряжениям генерал-контролера Лау наличные деньги всего народа в руках у регента, у народа только одни бумаги; никакой король французский, даже покойный Людовик XIV, не был так самовластен и силен внутри государства, как герцог Орлеанский, хотя он только регент, а не король». В то же время воспитатель короля маршал Вилльруа свел у себя Шлейница с шведским сенатором Шпаром, чтоб они вступили в мирные соглашения прямо, безо всякого посредничества. Наступил май-месяц. Ветер подул из Вены; узнали, что там ведутся переговоры о сближении России с Австриею, которая также хочет быть посредницею в северных делах. Деламарк опять приезжает к Шлейницу с тайными изъяснениями: «Регент увидал, что император в своих сношениях с царским величеством более имеет в виду втянуть Россию в дальнейшую войну, а не привести к заключению мира, и для этого венский двор употребляет герцога голштинского. В империи идет теперь вражда между католиками и протестантами; император, разумеется, доброхотствует католикам, но, с другой стороны, боится соединения Англии, Швеции и Пруссии, к которым пристанут и все другие протестантские владельцы Германии. Силою противиться этому союзу для императора не пришло еще время, и потому он хочет отдалить опасность продолжением шведской войны». При этом Деламарк сообщил Шлейницу коллективное письмо, присланное регенту от имперских князей — гессен-кассельского, гессен-дармштадского, саксен-готского и вольфенбительского; князья пишут, что они готовы выставить армию от 30 до 40000 человек для обеспечения империи от замыслов иностранных государств, для сохранения Вестфальского мира и для спасения Швеции от гибели; армия будет выставлена, если регент даст субсидии. Регент, по словам Деламарка, сейчас же догадался, где эта машина сочинена, догадался, что она главным образом направлена против России, и отвечал, что, по его мнению, империя вовсе не нуждается в армии, потому что ни одна чужая держава ей не угрожает, да и

Швеция заключила мир с курфюрстом ганноверским, с Пруссией, мир с Даниею скоро будет заключен; надобно ожидать, что не замедлит и примирение с Россией.

3 июня в Екатерингофе Петр подписал составленную в коллегии Иностранных дел инструкцию поручику гвардии графу Платону Мусину-Пушкину: «Ехать ему в Париж наскоро на экстраординарной почте, объявляя в нашей земле, что послан в Голландию для некоторых партикулярных комиссий, а за границею объявлять, что едет на воды; ехать прямым путем, не заезжая в Голландию. Приехав в Париж, стать на особой квартире, потом быть у барона Шлейница и объявить ему, что прислан с ответом к нему на его реляции, и вручить ему рескрипт; объявить при этом, что посланы с ним к регенту две грамоты: одна – о том же деле, а другая – кредитив для отправления партикулярного комплимента и чтоб он, Шлейниц, представил его регенту на приватной аудиенции. Потом как можно скорее домогаться ему быть у регента на приватной аудиенции одному, домогаться секретно, чтоб Шлейниц о том проведать скоро не мог; объявить регенту наедине, что так как дело, о котором мы писали к нему, великой важности, то угодно ли его высочеству вести его чрез барона Шлейница, как человека немецкой нации, и приятна ли ему его персоне? Если регент объявит, что персоне Шлейница ему приятна, то отдать последнему нужные бумаги; если же объявит, что неуютно, то бумаги удержать и объявить регенту, что мы не только переговоры поручим другому министру российской нации, именно князю Куракину, но и велим отозвать Шлейница совсем от двора французского; объявить, что если персоне Шлейница регенту и непротивна, то все мы желаем, чтоб он вел переговоры не один, а вместе с князем Куракиным». В грамоте к регенту были объявлены условия, на которых царь соглашался заключить мир с Швециею при французском посредничестве.

13 июня Мусин-Пушкин приехал в Париж, 19-го был у регента на приватной аудиенции вместе с Шлейницем, и только 4 августа удалось ему быть одному. На вопрос Мусина-Пушкина, верит ли он Шлейницу, регент отвечал: «Без сомнения, лучше верится природному, чем чужестранному» – и послал за Дюбуа, которому поручил переговорить о подробностях с Мусиным-Пушкиным, причем сказал: «Шлейниц – немец, оттого я ему мало верю». Дело с Дюбуа шло медленно, ибо внутренние дела поглощали все внимание регента: финансовая система Лау рушилась! 21 августа Дюбуа объявил Мусину-Пушкину, будто регент сказал: «Надобно нам прежде об этом подумать». Потом Дюбуа сказал: «О котором деле мы с Шлейницем говорили – все, от слова до слова, в Ганновере, в Швеции и Вене известно. Кроме Шлейница, некому этого разгласить. Хотя это разглашение не может в нашем деле никакого препятствия сделать, однако надобно принять другие меры, а князю Куракину сюда приехать нельзя, потому что нельзя будет утаить его приезда». Как скоро в Петербурге получили донесение Мусина-Пушкина об этом разговоре Дюбуа, то Шлейниц был отозван, и на его место назначен князь Василий Лукич Долгорукий; но еще прежде царь велел Мусину-Пушкину предложить регенту прислать в Петербург аккредитованного министра, с которым можно было бы обо всем откровенно объясниться и который, с другой стороны, доносил бы своему правительству верные известия.

И отрицательные результаты, добытые из сношений с Франциею, отсутствие враждебности были важны. Особенно были важны они по отношению к Турции, где французское влияние считалось всегда преобладающим. С разных сторон

приходили в Петербург известия, что враги России стараются снова поднять против нее султана. Турецкая война поставила бы в это время Россию в крайне затруднительное положение, и для ее отвращения отправлен был посланником в Константинополь известный уже нам Алексей Дашков. В начале 1719 года приехал он в Константинополь и в июле доносил, что представление его султану все откладывается: наговаривает английский посланник, чтоб аудиенции ему не давать прежде приезда в Константинополь императорского посла; по словам английского посланника, Дашков приехал склонять Порту к возобновлению войны против императора, и если императорский посланник на дороге узнает, что султану делаются такие предложения, то возвратится назад. Узнав об этом, Дашков дал знать рейс-еффенди и визирю (Ибрагим-паше), что он очень недоволен: не видя от него никаких противностей, слушают фальшивые наущения английского министра в цесарских интересах; не зная еще, кто будет крепче содержать дружбу с Портою, царь или цесарь, уже начинают делать неприятности царю, тогда как он, Дашков, приехал вовсе не за тем, чтоб поднимать султана против императора, но укреплять дружбу царя с султаном, отстраняя всякие противности. Аудиенция дана была немедленно со всякою подобающею честью. «Султан (Ахмет) сам являл себя гораздо веселым и часто посматривал на меня когда я говорил перед ним орацию», – доносил Дашков. «И то, – продолжает посланник, – обратилось к немалому посрамлению английского министра, который тотчас же объявил себя моим не приятелем публично: я после аудиенции послал к нему, также к министрам французскому и голландскому с объявлением о моем приезде; французский и голландский посланники прислали на другой день первых своих переводчиков с поздравлением, но английский не прислал и теперь днем и ночью старается, чтоб какое-нибудь повреждение сделать интересам вашего величества и меня отбить от здешнего двора. Видя, что его труды не остаются без действия, выпросил я у визиря самую приватную аудиенцию. чтоб никто при ней не был». По совету с преданным России переводчиком голландского посольства Тейльсом Дашков написал для визиря следующие пункты: 1) царь желает содержать договоры с Портою во всякой целости; 2) царь прислал своего посланника для уничтожения враждебных внушений, которые делаются с целию поссорить Порту с Россиею; 3) царь с своей стороны не слушает никаких враждебных Порте внушений и доказал это тем, что не принял от императора и Венеции предложения вступить с ними в союз против Порты; за это цесарь озлобился и старается всеми средствами, сам и через других, поссорить Порту с Россиею; помогают ему в этом короли английский и польский, как немцы, члены империи, один курфюрст ганноверский, а другой саксонский, кроме того, для свойства и для интересов: король английский по испанским делам, чтоб мог что-нибудь в союзе с цесарем у Испании оторвать, а король польский, чтоб с помощью цесаря Польшу в *абсолютство* привести, что соседним государствам со временем очень вредно будет; 4) царское величество имеет средства отомстить врагам своим, имеет войско и флот, к тому же не без друзей и в самой Германии; 5) известно ли Порте, что крымский хан имеет частые пересылки с королем польским, а за несколько месяцев публично присылал посла в Варшаву с предложением 60000 войска против России?

Визирь, выслушав пункты, сказал: «Правда, что много на вас Порте наносят, однако Порта не слушает, особенно когда ты теперь здесь». Когда прочли

четвертый пункт, визирь обрадовался, что царь не боится императора. Пункт присоветовал написать Тейльс. «Порта, – говорил он, – получила такие известия, что цесарь хочет войну начать с Россиею, а царь не в состоянии дать отпора и очень боится цесаря; и если туркам не объявить, что такого страха нет, то интерес царя будет у Порты в презрении и посланник русский в утеснении». Дашков выхлопотал письменные ответы на свои пункты: 1) Порта сохраняет мир с Россиею и ложным внушениям верить не будет; 2) хану послан указ, чтоб возвратил русских пленных, взятых разбойниками-татарами без его ведома; 3) те, которые предлагали царю союз против Порты, на мирном конгрессе предлагали Порте союз против России, но Порта ложным внушениям верить не будет; 4) насчет предложений хана Польше царь получил ложные известия: хан не мог этого предлагать без воли султана.

Дашков писал, что с ним обходятся очень хорошо, как и с министрами других держав, дали летний приморский дом в Буюкдере, хотя английский посол и много хлопотал, чтоб его не выпускали из Константинополя. «Разве вы не знаете, как греческий народ склонен к русскому?» – внушал англичанин визирю. Визирь смутился, призвал караульного, стоявшего у русского посланника, и спрашивал: часто ли ходят греки к Дашкову? Караульный отвечал, что посланник, как только приехал в Константинополь, так заказал караульному не пускать к себе греков и людям своим запретил с ними знаться. Визирь успокоился и велел пускать всех свободно к Дашкову. Этим воспользовался князь Рагоци, нашедший убежище в Турции, и отдал визит посланнику; Дашков был у него первый, потому что визирь сказал ему о Рагоци: «Он наш приятель, говорит, что и ваш великий приятель; можно вам у него быть». Чтоб войти в доверенность визиря и тем успешнее противодействовать внушениям со стороны Англии и Австрии, Дашков не ездил ни к кому, не спросившись прежде у визиря. С Рагоци Дашков должен был сблизиться и советоваться в важных делах, потому что прежних приятелей уже не было. «Которых мы имели здесь приятелей, те все нам теперь для цесаря недоброхотны, и говорить мне здесь теперь не с кем ни о каких делах, потому что и голландский посол беспрестанно с цесарским и пьет и ест вместе и дружба великая; сколько я ни старался чрез старого Тейльса, чтоб мне тайно видеться с голландским послом, но он со мною не видался; да и Тейльс-старый бездельничает для сына своего Николая, который при цесарском после; Тейльс только манит здесь мне для своей бедности, чтоб брать от вашего величества деньги, а сделать ничего не умеет и не может, во-первых, оглох совсем, да и глуп стал и к Порте не ходит; что б я с ним ни говорил, сейчас жене скажет и меньшому сыну, и все это очутится в ушах у цесарского посла. Последний старается всеми способами ссорить Порту с вашим величеством и теперь пропустил слухи по всему Константинополю, что визирь обещал ему посадить меня в Семибашенный замок и объявить войну вашему величеству.

Я испугался и стал просить у визиря приватной аудиенции; цесарский посол с другими послами начал стараться, чтоб аудиенции мне не дали; только о французском после (маркизе де Бонаке) не слышу, чтоб мешался в цесарские дела. Но приватной аудиенции я добился и сейчас же увидал, что в уши визирю уже надули. Спросил меня: «Есть ли ваши войска в Польше?» Я отвечал, что есть. «Вы говорите на цесаря, а сами что делаете?» – сказал визирь, только не с сердцем. Я ему объяснил, что войска не для завоевания Польши, а для того, чтоб король

Август чего не сделал над польскою вольностию. Визирь развеселился. Я стал ему говорить о противных поступках цесаря, который вступил в великую гордость приобретением себе завоеванных земель от Турции, и спросил, его мнения: не противно ли будет Порте, если ваше величество с другими союзниками объявят войну цесарю и королю польскому, и сама Порта не поднимется ли на него в такое удобное время для отмщения ему его неправых поступков? Визирь очень обрадовался этим речам и отвечал: «Если царское величество имеет от цесаря такие противности, то может воевать, помоги ему бог; и Порта его не оставила бы, если б это случилось перед заключением нашего мира с ним». Я сказал ему: «Нужда и закон ломает, не только мирный договор; вы не из доброй воли с ним помирились?» «Увидим, – сказал визирь, – как вы начнете: все может стать». Есть при мне пристав, ага, великий мне приятель, и живет в Цареграде, точно мой стряпчий: всякий день ходит к Порте и, что там услышит, все мне пересказывает; я ему своих денег даю по 30 левков на месяц; а от христиан нечего надеяться: все на цесаревой стороне. Турки думают, что будет непременно война между Россиею и императором, и для того про запас стали готовиться: если ваше величество одолеет цесаря, то они пойдут на последнего; если же цесарь одолеет нас, то они против вашего величества пойдут от страха перед цесарем и чтоб приобрести что-нибудь от нас в награду потерянного. Для этого немедленно надобно заключить с ними вечный мир. Я не видал злейшего неприятеля вашему величеству, как английский король: министр его старается, чтоб каждый день сделать мне какую-нибудь неприятность. Был у визиря, настаивал, чтоб меня здесь не было; говорил, что в Польше русские войска вопреки договорам, прославлял победы цесаря над Испаниею».

В декабре императорский посол явился к визирю с предложением оборонительного и наступательного союза против России.

Визирь отвечал: «Быть тому нельзя, папа проклянет императора за союз с басурманами; император при коронации присягает не дружить с ними». «Правда, – сказал посол, – но не сомневайтесь, мы это сделаем другим способом». «Каким?» – спросил визирь. «Увидите на деле, – отвечал посол, – только прежде всего вышлите русского посланника, чтоб он не мешал нам». Явился и английский посол с тем же требованием. «Если вы, – говорил он, – русского посланника не вышлете и этим подозрения у императорского двора не уничтожите, то всех христианских государей против себя вооружите; царь вам тогда не поможет, потому что занят шведскою войною, лучший его приятель, король прусский, и тот от него отступил». Внушения подействовали, и Порта решила выслать Дашкова; прислано уже было ему приказание выехать, потому что дел с ним нет никаких. Дашков послал подарки к визиреву кегае и к рейс-эффенди с просьбою о помощи. Рейс-эффенди с переводчиком Порты принялись хлопотать и склонили визиря к тому, что велел Дашкову прислать мемориал, в котором посланник написал, что государь его готов заключить вечный мир с Портою и потому надобно узнать, на каких условиях Порта желает заключить его. Дашков просил, чтоб ему позволено было остаться до отъезда императорского посла или до возвращения его, посланникова, курьера из Петербурга. Остаться позволили, но с условием, чтоб Дашков жил на свой счет. Дело было ведено с величайшею тайною, иначе австрийский и английский послы перекупили бы кегаю и рейс-эффенди. Дашков доносил, что из всех иностранных министров оказывает к нему расположение

один французский посол, который говорил ему: «Больше всего старайтесь сохранить мир с Портою, тогда и шведскую войну счастливо окончите». Князь Рагоци давал знать, что французский посол внушает с другой стороны визирю, чтоб Порта не разрывала с Россиею. «Несмотря на то, – писал Дашков, – я еще осторожно обхожусь с французским послом, потому что всегда бывает вместе с послом цесарским и Франция в союзе с императором. Хотя меня переводчик Порты и уверял, что посол – притворный друг цесарский, однако не могу с ним откровенно поступать, пока не получу явного знака его приязни. А у Порты он имеет добрый кредит, и я всячески склоняю его к интересам вашего величества и склоняю буду: дал ему мех соболий и переводчика его в службу вашего величества склонил за 600 левков пенсии. А если б французский посол говорил Порте за цесаря, то она сейчас бы склонилась на его слова, и никто не мог бы нам столько зла сделать, как он, потому что силен он у Порты и нейтрален, потому Порта ему и верит. Не угодно ли будет вашему величеству назначить ему пенсию, потому что голландскому послу давать пенсии теперь не за что: весь на цесарской стороне и кредита у Порты никакого не имеет».

В январе 1720 года переводчик Порты рассказал Дашкову, что императорский посол был у визиря, подал грамоту от шведской королевы, в которой, благодаря за помощь, оказанную брату ее Карлу XII, Ульрика-Элеонора просила не оставить Швецию в настоящих ее нуждах; потом посол говорил визирю, что в Константинополе чернь очень недовольна последним миром с Австриею и всего безопаснее султану выехать в Адрианополь, тем более что оттуда ближе будет наблюдать за движениями русских войск, которые стягиваются на Украину, готовясь к войне с Портою; последней надобно поэтому объявить войну заблаговременно и высылать свои войска, чтоб русские не предупредили. Визирь промолчал. Видя, что Порта не поддается, австрийский и английский послы придумали новое средство: предложили именем своих государей, чтоб Порта приняла посредничество между Россиею и Швециею и принудила царя возвратить Швеции свои завоевания, потому что если Россия удержит все завоеванное, то и туркам будет не безопасно от такого сильного соседа. Визирь призвал в тайную конференцию французского посла и спрашивал его как друга и нейтрала, чтоб дал совет, что тут делать. Французский посол отвечал, что не должно принимать посредничества, которое поведет только к бесполезной и убыточной ссоре с Россиею, а от Швеции за то какого ждать награждения? «Сами рассудите, – говорил посол, – что царь всего завоеванного возвратить не может и ваше предложение отвергнет, следствием будет война между ним и вами, и в этой войне царь будет прав пред всем светом, потому что не он ее начал». «Что же нам делать?» – спрашивал визирь. «Завтра же призовите царского министра, – отвечал посол, – объявите ему прямо, кто вам что доносит, что предлагает, из чего окажется ваша правдивая дружба; потом говорите ему, чтоб он просил царя о присылке полномочия для заключения вечного мира, ибо мир с Россиею вам всего выгоднее». «Как ты нам сказал, так и будет», – отвечал визирь, послал за Дашковым и объявил ему все, как советовал французский посол. Последний прислал сказать Дашкову, что если царское величество хочет заключить выгодный мир с Турциею, то спешил бы этим делом при нынешнем визире и нынешних министрах, потому что визирь – человек миролюбивый, а министры все – большие взяточники, сами просят бесстыдно, и с такими лучше дело иметь, чем с

бескорыстными. Дашков доносил, что французский посол действительно трудится в интересах царских, но что он человек корыстолюбивый., уже осведомлялся, какая шла пенсия от русского двора голландскому послу; также и жена его любит подарки и давала знать Дашкову, что ей нужно соболей на шапку, за которых она обещает отслужить. Дашков послал ей две пары соболей и мех горностаевый.

Полномочие было получено из Петербурга, и 30 мая Дашков вступил в переговоры с рейс-эффенди. «Турки, – доносил он царю, – спрашивают у меня великих подарков, и принужден я всем давать вдвое: султану подарил я мех соболий в 1600 левков и семь других мехов немалой цены да шесть пар соболей, но эти подарки были ему неприятны, требовал от меня черного лисьего меха. Визирю принужден был я в другой раз давать; не знаю, обойдусь ли я 4000 червонных, присланных со мною, потому что из этих денег я уже дал французскому послу 1000 червонных да переводчику Порты – 500». Дело сначала шло успешно и вдруг остановилось благодаря Франции, хотя со стороны последней не было никакого умысла помешать ему. Порты все жаловалась французскому правительству, что в последней войне с Австриею оно оставило ее без помощи, выдало императору, тогда как прежде никогда не бывало, чтоб Франция допустила Австрию таким образом стеснить Турцию. Чтоб прекратить жалобы, из Франции отвечали, что причиною всему было малолетство королевское и недостаток денег в казне, но теперь французский двор твердо обнадеживает Порты, что если император опять захочет объявить войну Турции, то французы готовы против него действовать; если даже турки сами объявят войну императору, то Франция не будет против этого. Французское правительство обещало даже дать письменное удостоверение в этом, и турецкий посол отправился за ним в Париж. Когда турки получили обнадеживание, что Франция их не оставит, то у них отпала охота заключать договор с Россиею, потому что главным побуждением к сближению с Россиею был страх пред императором, надеялись повести дело к заключению оборонительного и наступательного союза с царем. Тут опять явился на сцену английский посол, чтоб не допустить до заключения вечного мира между Россиею и Турциею, тогда как де Бонак продолжал сильно помогать Дашкову; австрийский резидент вследствие возобновления приятных сношений своего двора с петербургским явно не мешал делу, но при случае говаривал турецким министрам: «Зачем вы заключаете вечный мир с царем? У вас есть мир, а потом обстоятельства могут перемениться». Вследствие всех этих враждебных внушений и препятствий только 5 ноября 1720 года Дашкову удалось превратить Адрианопольский договор 1713 года в договор вечного мира между Россиею и Портою.

В то время, когда Россия обеспечила себя со стороны Турции, когда старания английского короля поднять султана против царя и тем заставить последнего умерить свои требования относительно Швеции остались тщетными, когда, таким образом, исчезла последняя надежда связать руки царю, – в это самое время произошло прекращение дипломатических сношений между Георгом и Петром. В это время русским резидентом в Лондоне был уже не Федор Веселовский. Бегство брата его Абрама и предполагаемое укрывательство в Англии побудили царя сменить Федора Веселовского, и на место его был назначен Михайла Петрович Бестужев-Рюмин, родной брат русского министра в Копенгагене. Мы видели, что уже давно между царем и королем английским происходила борьба мемориалами,

которые, будучи обнародованы, имели целию изложением неправд короля и его министерства склонять на сторону России общественное мнение в Англии и Европе. Так как со стороны короля Георга был обнародован ответ на мемориал, поданный Веселовским, то в октябре 1720 года Бестужев в опровержение этого ответа подал новый мемориал или предложение. Мы не будем приводить содержания этого длинного акта; укажем только на любопытнейшие места, относящиеся к последним поступкам Георга: «Предлагать медиацию и тогда же делать угрозы суть вещи противоречительные и несовместные между собою; предлагать медиацию для примирения государя с его неприятелем и тогда же объявить, что сделали союз с сим неприятелем, – сие ясно показывает, что медиация не с тем предлагается, чтоб достигнуть до сего примирения, но что ищут причин ко вражде и разрыву. Заключение ответа великобританских министров довольно показывает, что ваше величество не посредником, но судиею хотите быть и давать законы и что министры вашего величества мнят, что его царское величество должен без противоречия покориться законам, каковые они рассудят ему предписать. Оставляется неучастной публике рассуждать, что такое мнение великобританских министров и их изъяснения благопристойны ли и справедливы ли. Его царское величество не рассудил за благо немалого о сем внимания учинить, ибо он зависит токмо от бога, от коего единого имеет свое священное достоинство, власть и силу... Оставить своих союзников, соединиться с неприятелем такого союзника, с коим многие веки в постоянной и непрерывной дружбе пребывали, помощью которого получили толь многие пользы и толь великие прибитки, и ввести их между собою в открытый разрыв – сие есть неизвинительно пред богом и пред человеки. Министры вашего величества предлагают, якобы Великая Британия никогда не брала участия в нынешней Северной войне и сия самая корона не имеет никакой пользы в Бремене и Вердене. Сии провинции по Вестфальскому трактату должны были остаться за Швециею, который Великобританскою короною гарантирован. Великая Британия не имеет никакой причины завидовать счастью его царского величества, и, напротив того, для обоих народов взаимственно полезно, чтоб доброе согласие и дружба навсегда между двух монархий пребывали. Никакой не может пользы произойти Великобританской короне от разрыва с Россиею, а, напротив того, может великих убытков ожидать. Умалчивают, что поступки вашего величества доведут вас до лишения справедливых требований должного Швециею возмездия за несколько сот кораблей с их грузами, взятых шведами у англичан, и чрез сие ваше величество лишитесь справедливого удовольствия, которого бы по праву и по справедливости могли требовать. Если все сие делается токмо в намерении получить уступление и сохранение Бремена и Вердена в пользу курфюрстского брауншвейг-люнебургского дома, то является, что более сделали, нежели надлежит; понеже что касается до сего, то уже ваше величество достигли до сего предмета чрез учиненные ему гарантии сих двух провинций его царским величеством и королями польским, датским и прусским. И если бы ваше величество заблагорассудили пребыть тверды в союзах с его царским величеством, то бы Швеция принуждена была согласиться на общий мир, чем бы намерения северных союзников исполнены были и давно бы уже общее спокойствие восстановлено. И так не нужно для утверждения Бремена и Вердена брауншвейг-люнебургскому курфюрстскому дому приводить Великобританскую

корону в обязательства, клонящиеся прервать древние узы дружбы между ею и Россиею и довести до разрыва. Добрая дружба и согласие между Россиею и Великобританиею были всегда для торговли великобританской нации источник великих польз и прибытков; разрыв же не может ей неубыточен быть. Его царское величество не подал никакой причины прервать толь твердо установленную и толь полезную обеим нациям дружбу. Для показания искреннего своего благоволения к великобританской нации хотел дать ей коммерческим трактатом многие выгоды. Его царское величество еще и ныне склонен сохранять сию дружбу, и учиненное им объявление английским купцам о позволении им свободной торговли во всех своих областях есть ясное тому доказательство, и тем более, что сие он учинил в то время, когда ваше величество и ваши министры неприятельски с его царским величеством поступали, посылая флот против его на помощь его неприятелю и возбуждая против его величества все державы, не исключая и турков».

Явная цель мемориала – выставить перед английским народом, что его интересы приносятся в жертву желанию упрочить Бремен и Верден за Ганновером, выставить вместе неуменье вести дело, потому что Бремен и Верден были крепки и без того Ганноверу; нужно было только сохранять Северный союз и не увлекаться внушениями мекленбургских господ, Бернсторфа с товарищами, – все это должно было в высшей степени раздражить короля Георга и его министерство. Бестужеву было объявлено, чтоб он выехал из Англии в восемь дней. Но Петр остался до конца верен своей политике: повестив англичанам, находившимся в России, о прекращении дипломатических сношений с королем их, он объявил им, что не разрывает с Англиею и они могут спокойно оставаться и торговать в России.

Это событие не произвело никакой перемены в ходе дел. Король Георг не получил больше средств действовать против России, в пользу Швеции, и Швеция давно уже увидала, что жестоко обманулась в своих расчетах, переменяв Гёрцев план: уступки Ганноверу, Пруссии и Дании были сделаны понапрасну; Россию нельзя было заставить ни на сколько уменьшить свои требования, Англия защищала плохо, и никто не поднимался против России в угоду королю Георгу.

В мае 1720 года приезжал в Петербург шведский генерал-адъютант фон Виртенберг с объявлением о возведении на престол мужа королевы Ульрики-Элеоноры принца Фридриха и возвратился с ответом, что царское величество склонен к восстановлению мира и древней дружбы между Россиею и Швециею. Но мы видели, что в то же самое время, несмотря на присутствие в Балтийском море английской эскадры, русские войска опустошили шведские берега, а в конце июля князь Мих. Мих. Голицын разбил шведскую эскадру при острове Гренгаме; Петр по этому случаю писал Меншикову: «Правда, не малая виктория может почестся, потому что при очах господ англичан, которые ровно Шведов оборонили, как их земли, так и флот». В августе отправился в Стокгольм поздравить нового короля с восшествием на престол генерал-адъютант Александр Румянцев и был принят там с большою ласкою: король выразил ему свое искреннее желание как можно скорее покончить войну и предложил начать мирные переговоры в Финляндии, именно в Або. Когда Румянцев, возвратившись, Донес об этом государю, тот велел ему написать шведскому государственному секретарю Гепкену, что русские министры будут отправлены в Финляндию, только не в Або, где находится генералитет и все магазины для русского войска, и потому

съезду быть там непристойно и по великой тесноте невозможно. В этих пересылках окончился 1720 год.

Местом конгресса был выбран город Ништадт, министрами назначены те же лица, которые вели аландские переговоры, – Брюс и Остерман, последний выпросил себе титул барона и тайного советника канцелярии; с шведской стороны были назначены граф Лилиенштет и барон Штремфельд. Между тем в феврале 1721 года приехал в Петербург полномочный французский министр Кампредон, прежде бывший в Стокгольме; приехал скрепить дружбу между Россией и Францией и содействовать примирению России с Швецией. В конференции, бывшей 21 февраля, русские министры объявили Кампредону, что царское величество уже объявил регенту о своих условиях, убавить из них ничего не может, и если у него, Кампредона, есть указ трактовать на этих условиях, то государь укажет вступить в переговоры. «Если эти условия составляют ультиматум, – отвечал Кампредон, – то посредничество невозможно; посредничество состоит в том, чтоб сближать обе стороны взаимными уступками». Русские министры сказали на это, что царское величество уступает Швеции целое Великое княжество Финляндское, другого же уступить нельзя и не для чего, потому что царское величество в прежнем благополучии, а шведам надежды иметь, кажется, не на что и перед прежним их состоянием не лучше стало. 28 февраля Кампредон был на партикулярной аудиенции у царя и просил позволения ехать в Швецию, чтоб склонять короля к миру представлением о силах России, о невозможности для Швеции бороться с нею; просил также позволения объявить шведам, в утешение им, что за уступленные земли царь согласен дать им некоторое вознаграждение; наконец, просил позволения объявить, что уступленные Швецией провинции останутся за Россией, не будут переданы никому другому (конечно, разумея здесь герцога голштинского). Царь согласился, и Кампредон отправился в Швецию. Русские министры приехали в Ништадт 28 апреля 1721 года и застали уже там шведских уполномоченных. Последние начали дело требованием, чтоб им сообщены были условия, на каких царь желает заключить мир. Им отвечали, что условия были объявлены на Аландском конгрессе и потом сообщены шведскому правительству французским посланником Кампредоном. «Об Аландских условиях теперь нечего думать, – сказали шведы, – в то время Швеция имела четверых неприятелей, из которых с датским и прусским королем мир заключила, с польским, надобно надеяться, также скоро помирится, а король английский, как всем известно, теперь союзник Швеции, на помощь которого она всегда надеется; теперь эту помощь для наступательной войны Швеция не приняла, желая скорейшего заключения мира». Брюс отвечал: «Царское величество, когда был в союзе с упомянутыми королями, почти никакой от них помощи не имел; от англичан Швеция никакой помощи не получит, как видно из примера прошлого года, и царское величество всегда в состоянии против врагов своих одну войну вести». «Мы думаем, – сказали шведы, – что царское величество желает удержать за собою Лифляндию и Выборг; но если они останутся за Россией, то мы все в Швеции должны будем в отчаянии и безо всякого довольства помереть и скорее согласимся дать обрубить себе руки, чем подписать такой мирный договор». «Без Лифляндии и Выборга царское величество мира не заключит, а Швеции будет довольно получить опять Финляндию», – отвечал Брюс. «На Аландском конгрессе было предложено

оставить Лифляндию за Россию только на время», – заметили шведы. «Это предложение было сделано тогда, чтоб помешать заключению мира у Швеции с Англиею», – отвечал Брюс.

Английский флот опять явился в Балтийском море и опять не помешал генералу Ласси с 5000 войска высадиться на шведские берега и опустошить их, сжечь три городка, 19 приходов, 79 мыз, 506 деревень с 4159 крестьянскими дворами. В Ништадте шведские уполномоченные становились все сговорчивее. Они сильно стояли только за Выборг, а из Лифляндии требовали хотя Пернау и острова Эзеля. «Выкиньте это из головы, – отвечал им Брюс, – Пернау принадлежит к Лифляндии, где нам соседа иметь вовсе не нужно, а Выборга отдать вам нельзя». «Мы уступим всю Лифляндию, – продолжали шведы, – только на двух условиях: чтоб царское величество заплатил нам за нее секретно известную сумму денег да чтоб не вмешивался в дело герцога голштинского: мы сами и многие другие у нас к его стороне склонны; но теперь, вследствие присяги всего государства, ничего в пользу его сделать нельзя. После нынешнего короля герцог имеет несомненное право на шведскую корону и получить может, потому что, кроме него, нет никого на линии; только он может получить корону по воле государственных чинов, а не насилием. Да просим, чтоб царское величество не посылал теперь войск своих в Швецию для ее разорения, потому что от этого будет большое препятствие здешнему нашему делу; и Аландский конгресс прекратился от того же». «Если царское величество, – отвечал Брюс, – пошлет свое войско в Швецию, то от этого здешнему делу никакого препятствия не будет, а еще скорее мир будет заключен».

Соглашаясь на уступки Лифляндии, шведы продолжали стоять за Выборг. «Этот город – ключ Финляндии, – говорили они, – если он останется за Россию, то вся Финляндия всегда будет в воле царского величества. Мы готовы дать всякое ручательство в безопасности России со стороны Выборга, обяжемся не держать более 400 человек гарнизона, выхлопочем гарантии других держав, но города уступить не можем». Наконец шведы уступили и Выборг, спорили только об округе его.

Шведы уступали Лифляндию под условием, чтоб царь не вмешивался в дело герцога голштинского. Мы видели старания герцога и его министров в Вене сблизиться с русским двором и заставить царя принять к сердцу интерес герцога предложением брачного союза между ним и царевною Анною. На донесения Ягужинского об этом деле Петр писал: «На предложение сего герцога о супружестве с старшею, царевною ответственность не могу ныне двух ради причин: первое, еще не знаем, что в нынешних непрестанных отменах последовать может; другое, что его самого не знаем, а надобно, чтобы он сам ко двору моему приехал, а сие для него полезно будет и потому, понеже ныне в Швеции его партия паки стала усиливаться». В другом письме к Ягужинскому Петр имел неосторожность написать, что не заключит мира с Швециею, пока не сделает герцога наследником, в чем готов и письменно обязаться. В Петербурге об интересах герцога хлопотал известный нам Штамкен в звании посланника голштинского, но на все свои представления получал неопределенные ответы в таком роде: «Царское величество радостного отменения в делах герцога и постоянного благоповедения охотно желает, и, что его царскому величеству зело приятно будет, когда он добрыми своими официями при являющихся случаях к споспешествованию его

королевского высочества блага и интереса способствовать может, его царское величество от господина посланника милостиво желает, дабы он, его королевское высочество, о сем и о имеющей к нему его царского величества доброй дружбе и склонности наилучшим образом обнадежил». В конце сентября 1720 года Штамкен подал промеморию: «Его королевское высочество желает и царское величество в служебной преданности просит, чтоб в предбудущий мир между Россию и Швециею его королевское высочество таким образом включен был, чтоб наследие Шведского государства ему и его потомству определено и в своей силе содержано было». Шафиров отвечал: «Царское величество сомнения не имел его королевского высочества благоосновательное право к шведской короне данным уже титулом *королевского* высочества признать; также из праволюбия весьма склонен его королевскому высочеству в том, как то только учинено быть может, более помогать и объявить велел, что он не только при учинении мира с Швециею сколько возможно за его королевское высочество интересоваться будет, но и в продолжение войны (так как мир еще далеко отстоит) изволит все учинить к его королевского высочества пользе; пусть его высочество только объявит, как при будущих военных операциях наилучшим образом ему может быть услужено».

12 декабря 1720 года призван был к царскому величеству в зимний старый дом голштинский посланник Штамкен, и подканцлер объявил ему о сообщении генерала Кришпина князю Василью Лукичу Долгорукому в Копенгагене, что он, Кришпин, имеет поручение от некоторых знатнейших шведских сенаторов заехать к герцогу голштинскому в Бреславль, объявить ему о их склонности к нему, о неудовольствии их на короля, и пусть он, герцог, старается об усилении своей партии в Швеции. Штамкен отвечал, что и он получил от своего двора известие, что в Швеции хотят заставить короля объявить наследником герцога голштинского; англичане же и датчане всеми способами стараются отводить герцога от царского величества. Царь объявил ему на это, что все датские и английские интриги и ласкательства клонятся к одному – отвести герцога от России и потом провесть; никто не имеет таких средств и таких причин помогать герцогу, как Россия: ибо как может ему помочь датский король против Швеции, с которою он только что получил мир и с обидою герцога выговорил себе у Швеции и Англии Шлезвиг, и какая сила одного датского короля против Швеции? А ганноверцы стараются только о своем интересе, чтоб удержать за собою Бремен и Верден. «Я, – говорил царь, – герцогу к получению в Швеции сукцессии, также и в прочем всеми силами помогать буду, и если герцог сюда, в Петербург, приехать изволит, то мне будет легче показать это на самом деле, потому что я с Швециею в войне и сильно вооружаюсь к будущей весне; так герцогову интересу очень может помочь, когда в Швеции узнают, что он имеет такую сильную помощь».

Как только подул попутный ветер, Штамкен выплыл с рассуждением: заключению мира между Россию и Швециею главным препятствием служат Лифляндия и Эстляндия. Шведы думают, что они без этих провинций и Ревельской гавани пробыть не могут, а царское величество не хочет уступить этих провинций, чтоб быть спокойным в новом утверждении своем на Балтийском море, и для того предается в рассуждение, не может ли царскому величеству приятный способ быть, когда герцог голштинский приведен будет в посредство. Этому государю в Швеции хотя и неправда учинена, что на его наследственное право не обращено внимания, однако право, на время приостановленное

насилием, не уничтожается. Дабы его царское величество мог иметь совершенное доверие к герцогу, для этого за основание постановляется супружество между герцогом и старшею дочерью царского величества. Для вспоможения такому супружескому союзу царскому величеству не трудно будет Лифляндию и Эстляндию уступить зятю своему герцогу в *суверенную* и наследственную собственность. Никто этому не может прекословить, потому что провинции уступаются законному наследнику Шведского государства, и эта уступка будет приписана особенной умеренности царского величества. Известно, что герцог имеет в Швеции друзей и приверженцев, хотя они до сего времени лица показать не смеют; когда же герцог сделается владельцем Лифляндии и Эстляндии, то, может быть, мнение в Швеции изменится и друзья герцога громче говорить и явственнее показываться станут. У чужих держав отнимется предлог противиться возрастающей силе России на Балтийском море. Когда герцог вступит на шведский престол, Россия и Швеция соединятся самым крепким союзом, следствием которого будет почтение Европы. Выгодное положение герцоговых Готторпских земель не может быть оставлено без внимания в отношении торговом.

16 января 1721 года царь написал герцогу: «Светлейший герцог, дружбнолюбезнейший племянник! Мы как чрез вашего министра, при вас пребывающего Штамкена, так и чрез нашего в Вене обретающегося действительного камергера Ягужинского о нашем к вашему высочеству и любви имеющем истинном и благосклонном намерении вас обстоятельно уже уведомили и притом и то объявить велели, что вашего высочества и любви скорейший приезд сюды не токмо нам весьма приятен, но и к споспешествованию собственных ваших интересов весьма потребен будет. Мы вашему высочеству и любви чрез сие паки о том засвидетельствовать и притом вас обнадежить восхотели, что мы к вам и вашим интересам благосклонное намерение имеем, и ежели вашему высочеству и любви угодно нам удовольствие показать вас здесь у нас видеть, то мы случай иметь будем вам вящие опыты в том подать и с вашим величеством и любовью все то концертовать, что к вашим интересам и к общему обеих сторон благу полезно быть может, понеже то чрез пространные негоциации и чрез многие переписки учинено быть не может и токмо много времени всеу препровождает».

Герцог принял предложение и 27 июня, в день празднования преславной виктории, въехал в Петербург. О приеме, ему сделанном, приведем слова Бассевича, не отвечая за их достоверность: «Как ни дружествен и ни великолепен был прием, сделанный герцогу царем, но для него прием этот получил еще особенную цену по тому расположению, которое высказала ему царица. Вполне уверенная в своем величии, она, не боясь уронить себя, в присутствии герцогини курляндской сказала угнетенному принцу, что, одушевленная сознанием долга, внушаемого ей высокою положением, она принимает живое участие в интересах герцога и что для нее, супруги величайшего из смертных, небо прибавило бы еще славы, даруя ей в зятя того, которого она была бы подданною, если б счастье не изменило Швеции и если б Швеция не нарушила присяги, данной ею дому великого Густава. Слова эти заставили проливать слезы всех присутствовавших: так трогательно умела говорить эта государыня. Если б дело зависело от нее, ничто не было бы упущено, чтоб без промедления восстановить Карла-Фридриха в его правах. Но хотя влияние ее на душу великого царя могло сделать много,

однако не все. Она была его второю страстью, государство – первую, и потому всегда благоразумно уступала место тому, что должно было предшествовать ей».

Оказывалось, что интерес государства, главной страсти Петра, требовал не вмешивать голштинского дела в мирные переговоры со Швециею.

Брюс и Остерман прислали свое рассуждение о шведском состоянии: «Шведское государство как по внешнему, так и по внутреннему состоянию своему принуждено искать мира с царским величеством. Единственная надежда для Швеции была на помощь английскую да на субсидии ганноверские и французские; но у этих держав, кроме шведских, своих домашних дел довольно. В Швеции находятся три партии: 1) королевская; 2) тех, которые хотят поддерживать нынешнее правительство; 3) партия герцога голштинского; но при этом должно заметить, что люди, склонные к герцогу голштинскому, хотят свою вольность и нынешнюю конституцию сохранить. Король хочет престолонаследие перенести в кассельский дом; шведские уполномоченные прямо нам объявляют, что они знают об этом намерении короля, но никогда до его исполнения не допустят: королевскому намерению никто так не мешает, как герцог голштинский, и король спешит заключением мира с Россиею, чтоб царское величество не вступил с герцогом голштинским в обязательство. Приверженцы нынешнего правительства не меньше короля желают мира, боясь, чтоб король во время войны не нашел средств осуществить свое намерение и чтоб государство не подверглось большому несчастью, если Россия вступится за герцога голштинского. Партия голштинская с ними во всем согласна. Итак, можно сказать, что пребывание герцога голштинского при дворе царского величества служит для шведов немалым побуждением к миру; но при его заключении все хотят постановить, чтоб царское величество не вступался в домашнее дело Швеции, и не думаем, чтоб от этого условия отстали: это фундамент мирного договора. Другой главный пункт состоит в том, чтоб имения в уступленных областях были возвращены прежним владельцам, потому что в числе шведского дворянства очень много лифляндцев и эстляндцев, которым в Швеции нечем кормиться и хотят получить насущный хлеб чрез возвращение своих имений посредством мира».

Уже наступил июль-месяц. Шведские уполномоченные предложили заключить сперва прелиминарный трактат с обозначением главных условий, а потом рассуждать о подробностях в продолжение шести недель. Когда Брюс и Остерман дали об этом знать в Петербург, то Петр отвечал: «На то соизволить нам невозможно, ибо не можем иной причины в том признать, кроме того, чтоб им время, а потом, по конъюнктурам смотря, главный трактат разными затруднениями и кондициями вымышленными вдаль проволочь и проискывать из того какой себе пользы. Но если они истинное намерение имеют, то могут и без того во время двух или трех недель и главный трактат с нами заключить, понеже уже в сем трактате, который ныне прелиминарным хотят учинить, все главные дела определяются, и в другом, кроме некоторых церемоний и гарантий, не знаем, чтоб могло присовокуплено быть. И тако вам на том стоять, чтоб главный трактат ныне заключить, к чему можете им две или три недели сроку дать. Но ежели они будут требовать того для опасности от наших воинских действий и ради спасаемого некоторого обязательства с герцогом голштинским, то можете разве вместо прелиминарного трактата на то позволить, чтоб главные пункты написаны были и от вас с обеих сторон состоявшиеся подписаны и разменены с

заклЮчением таким, что на сии главные пункты с обеих сторон соизволено и соглашено, и что оным таким образом быть внесенным в главный трактат беспрекословно, и что и прочие пункты главного трактата имеют быть окончены и весь трактат постановлен в определенный срок, а именно в две или три недели, а по высшей мере и в месяц; и когда тако сии пункты между вами разменены будут, то притом можете им обещать и постановить, что все воинские действия с обеих сторон престать имеют и до совершения главного мирного трактата сей армистициум содержан быть имеет, и в таком случае имеете писать к генералам нашим, которые указ иметь будут от всяких воинских действий тогда удержаться; а ежели с шведской стороны будут требовать больше к тому времени, то можно будет признать, что они то чинят, дабы провеств сию кампанию без действия, на что нам позволить невозможно».

Шведы согласились оставить прелиминарный договор, но дело тянулось за спорами о финляндских границах, о герцоге голштинском, о включении в договор короля английского как курфюрста ганноверского, чего требовали шведы и чего не хотели русские, о включении в договор короля и Речи Посполитой Польской, чего требовали русские и на что не соглашались шведы. О герцоге голштинском Петр написал своим уполномоченным: «Понеже герцог голштинской нас просил и министры его, быв с нашими министры в конференции, то прошение подтвердили, чтоб о его интересе еще покрепче говорить, объявляя из Швеции от своих склонных (приверженцев) письма, что ежели на том стоять будем, то будто на то позволят, и они в то дело крепко вступить повод иметь будут: того ради можете еще о том приложить старание и показать все резоны о сукцессии его, герцоговой, о которых голштинские министры нашим министрам объявили; но буде весьма на то не склонятся, то по соглашении о всех прочих наших кондициях можете напоследок от того отступить, дабы сие дело нашему делу не могло *шкoды* (вреда) нанести. Однакож понеже король (шведский) сам декларовал, что и он не может о сукцессии прежде времени и вакансии трона упоминать, то потрудитесь тот пункт в таком случае тако изобразить, дабы и ему тем ко исканию дому своему сукцессии путь был пресечен».

Пока тянутся переговоры в Ништадте, посмотрим, что делалось в других странах, при других дворах, наиболее заинтересованных ходом этих переговоров. Еще в апреле князь Куракин из Гаги сообщил царю известие о письме короля английского к шведскому. Георг писал, что флот английский, по обещанию, готов выступить в Балтийское море, но просил шведского короля взять в соображение положение дел в Европе и каким бы то ни было образом заключить мир с Россией, потому что Англия более не может тратить так много денег на высылку эскадр; нынешнее отправление эскадры стоило 600000 фунтов, и адмирал Норрис по состоянию своего флота может только прикрыть Швецию от неприятельского нападения. В королевском совете только одним голосом взяло верх мнение тех, которые настаивали на необходимости отправления Норриса, чтоб не подвергнуть Швецию крайнему разорению от русских войск. В июле Куракин дал знать, что английский посланник при прусском дворе Витворт проездом из Берлина был у него и уведомил, что прелиминарный мирный договор скоро должен быть заключен между Россией и Швецией и правительство последней решилось во что бы то ни стало кончить войну. При этом Витворт говорил, что миром с Швецией должны прекратиться и все несогласия царского величества с английским двором;

что он, Витворт, помня все милости царя к себе, ничего так не желает, как видеть доброе согласие между царем и королем Георгом, потому что первое основание дружбы между Россией и Великобританиею положено им, Витвортом, в бытность его при дворе царском; и теперь желает он приложить все свои старания к восстановлению доброго согласия между обеими державами, чтоб с обеих сторон преданы были забвению все бывшие неудовольствия, которые не так сильны, чтоб вести к вечной или продолжительной вражде. Война Северная почти уже кончилась, и взаимный интерес обеих держав требует восстановления дружественных отношений как для торговли, так и для других дел. Витворт просил о всех этих добрых намерениях донести царскому величеству. Куракин спросил, говорил ли он все это по указу от двора своего или сам собою. Витворт отвечал, что хотя указа у него и нет, но он знает, что двору его это будет приятно; теперь он едет в Спа на воды и между тем будет хлопотать чрез своих приятелей при дворе о сближении Англии с Россией.

В Вене в марте 1721 года Ягужинский объявил графу Шёнборну, что французский двор предложил свое посредничество в примирении России с Швециею и царь принял предложение. Шёнборн отвечал, что цесарь теперь с Франциею в мире и доброй дружбе и ему не будет противно, если царь при его посредничестве примет и французское, только необходимо отправить уполномоченных на Брауншвейгский конгресс. Но удар был впереди: «Ягужинский объявил, что уже положено съехаться русским уполномоченным с шведскими в Финляндии. „Мы очень благодарны за это сообщение, – отвечал Шёнборн, – естественно всякому государю желать мира и принимать всякие предложения, которые к тому клонятся; мы просим об одном: если на съезде дело станет улаживаться, то царское величество изволил бы сообщить об этом заранее здешнему двору, чтобы императорские министры понапрасну в Брауншвейге не ждали, от чего цесарю было бы не без стыда“. Потом Шёнборн распространялся о склонности цесаря к дружбе с царем и об особенном великом уважении к его особе; доказательством служит то, что сколько враги царские ни трудились возбудить цесаря против России, все старания их остались напрасными, ибо цесарь принял себе за правило, что с царским величеством ему делить нечего и враждовать не за что. Потом Шёнборн стал превозносить выгоды, которые произтекут для обоих государств от усиленной торговли между их подданными; наконец сказал: если между их величествами утвердится дружба, то многих чрез это можно будет держать в респекте и гордость их укротить: ибо кто тогда осмелится напасть на оба союзных высочайших дома?

С этим Ягужинский и уехал из Вены, где остался резидент камер-юнкер Людовик Ланчинский. 29 марта Ланчинский писал: «Теперь здесь страстная неделя, все молятся, кроме английских министров, которые никогда не празднуют, а все лживые вымыслы рассеивают, стараются пускать слухи, которые хотя бы на два или на три дня произвели неприятное в отношении к России впечатление. Не удалось уверить, что турки хотят начинать войну: теперь поднимают старое, будто Ягужинский приезжал только для вида, без прямого намерения утвердить дружбу с цесарем, но для отведения его от соглашения с английским королем, что царское величество и не думает мириться с Швециею чрез медиацию цесарскую и что финляндские переговоры приходят уже к окончанию». Но при этом резидент доносил, что английская партия упала в Вене, из министров ее держится только

один граф Цинцендорф. По отзыву влиятельных лиц, приезд Ягужинского был полезен императорскому правительству в двух отношениях: во-первых, английский посланник удержался от наглых поступков и принужден был отправиться из Вены с одними праздными обещаниями инвеститур для своего короля на Бремен и Верден и злобу свою при этом выказать побоялся, чтоб не ускорить сближения Австрии с Россией; когда протестантам сообщен был сильный и неприятный для них рескрипт императорский, то они объявили, что будут дожидаться спокойно обещанной им управы именно в том предположении, что цесарский двор употребил в рескрипте высокий цесарский стиль, надеясь на дружбу с царем.

Английский посланник продолжал пугать австрийских министров известиями о замыслах царя, о высадке русских войск в шведскую Померанию. Между тем царь, узнав о неудовольствии императора на Англию и не предвидя еще скорого и благоприятного конца ништадтских переговоров, велел Ланчинскому объявить в Вене, что граф Александр Головкин отправляется уполномоченным на Брауншвейгский конгресс. Тогда английский и ганноверский посланники стали внушать, что Головкин отправляется в Брауншвейг только для виду и будет там только излегка трактовать, что царь возобновил сношение с Испаниею и непременно двинет свои войска в империю, причем на Пруссию надеяться нечего. Внушения действовали; австрийские министры были в большом раздумье; беспокоило их и то, что на Брауншвейгский конгресс отправляется с русской стороны один только уполномоченный граф Головкин, тогда как прежде говорилось и о князе Куракине: в Брауншвейг едет один, а в Ништадте двое! От 31 мая Ланчинский доносил: «Отправление графа Головкина в Брауншвейг не произвело здесь сильного впечатления: ждали этого с великим нетерпением, а когда сделалось, то относятся очень равнодушно. Недавно еще о делах вашего величества рассуждали, как о собственных, с доброжелательством, о пользах русского союза с радостью разговор вели, как на английскую партию нападали, а теперь на вопрос коротким словом отрывисто отвечают. Один министр недавно сказал: „На русскую дружбу надеяться нельзя, потому что есть у них какое-нибудь скрытное намерение“. Ланчинский начал доискиваться причины охлаждения и узнал: из Стокгольма получено письмо, что у России с Швециею заключены прелиминарные статьи на основании Кампредоновых предложений. Ланчинский поехал для объяснений к графу Шёнборну, и тот говорил ему с жаром: „Пусть двор царского величества рассмотрит дружбу к себе и поступки других государств и сравнит наше поведение, которое всегда основанием имеет честность; из-за этой честности австрийский дом часто терпел вред, но никогда от нее не отступает. Мирные переговоры у вас во многих местах начинались, но нигде не удалось мира заключить; поэтому попробуйте и у нас хотя однажды в Брауншвейге и посмотрите, доброжелательно ли будем к вам поступать. Если недоброжелательно, то принимайте всякие меры к вашей пользе“.

Пришло известие, что граф Головкин, оскорбленный неучтивостию шведского уполномоченного, выехал из Брауншвейга. Пошли новые толки. Австрийские министры говорили Ланчинскому: «Трудно понять, чтоб граф Головкин сам собою, без указа оставил конгресс; скорее он прислан в Брауншвейг для соблюдения формы, имея указ искать предлога для скорейшего отъезда; но нельзя надивиться, как двор царского величества, оставя цесарское прямодушие,

может иметь доверенность к лукавым и враждебным предложениям самого злого врага царского, короля английского? Кто устроил Ништадский конгресс? Регент французский; а регент кто? Вассал английский. В том и затаено лукавство ваших врагов, что вдруг решили во всем исполнить желания царского величества. Но надолго ли этот бумажный мир станет? И кто его будет гарантировать? Может ли царское величество положиться на гарантию английского короля, который, если б можно, весь свет поднял бы против царя, нам самим предлагал субсидии на 40000 войска, чтоб только заставить нас действовать против России? Может быть, французская гарантия обещается? Но можно ли поверить, чтоб Франция, особенно теперь, когда приближается совершеннолетие молодого короля, покинула искони союзную и основными интересами с собою связанную Швецию? Прочие сообщники Англии не по ее ли нотам поют? Не великая штука получить; но надобно укрепить на будущее время! Все те державы, которые вам мнимые выгоды доставляют, в то же время уже в запас здесь нам о многих противных намерениях ваших внушают. А когда у вас мир с Швециею состоится, то те же англичане и их сообщники нам станут говорить: разве не справедливы были наши внушения, что царь не намерен вести переговоры в Брауншвейге и на другие каналы надеется? Наш двор увидит, как вы без всякой нужды домогались от нас беспристрастного посредничества и конгресс наш продолжен на посмешище! Потом англичане по степеням будут трудиться и то доказать, что присылки Вейсбаха и Ягужинского были только для вида, чтоб позабавить нас, и что царь с цесарем в доброй дружбе быть не желает; наконец, отыскав какой-нибудь предлог, будут стараться привести вас с собою в соглашение, если восстановленный ваш кредит снова поврежден будет. Надолго ли шведы хотят с вами мириться – это легко вам подвергнуть поверке: предложите им необходимое условие (*conditio sine qua* поп), чтоб мирный договор был подтвержден генеральным трактатом в Брауншвейге и был гарантирован цесарем; увидите, как шведские министры будут переминаясь и ни за что на это не согласятся. Английский посланник недавно здесь перед своею шайкою хвалился, что он еще прошлого года послал королю своему проект, что надобно царю на время все уступить, „дабы спасти Швецию от крайнего разорения, и что это единственный способ скоро все возратить, лишь бы умеючи поступить“. Слухи о больших уступках, делаемых Швециею России, тревожили австрийский двор; это делается не даром: хотят с помощью России, утвердить гессенскую династию на шведском престоле, а гессенский дом противен Австрии по его зависимости от Франции. Потому в Вене пред Ланчинским начали изъявлять сожаление, что герцог голштинский без нужды оставлен; если б царь велел объявить необходимым условием признание герцога наследником, то Швеция, будучи в крайнем упадке, не порвала бы от этого переговоров, и Сенат мог бы принудить короля оставить свои частные интересы; Сенат не весь французскими деньгами закуплен, и из тех, которые эти деньги брали, есть приверженцы герцога голштинского; партия гессенская взяла силу не от чего иного, как от успеха в переговорах, а король Фридрих народом нелюбим, ибо только наружно лютеранин, а в сердце кальвинист. По крайней мере надобно было внести условие, что интересы герцога голштинского в целости отлагаются до Брауншвейгского конгресса.

Чем сильнее становились слухи о скором и выгодном для России окончании ништадтских переговоров, тем сильнее со стороны австрийских министров

становились заявления о желании дружбы и союза с царским величеством. Ланчинский доносил: «Видя, что ништадтское дело разрушить трудно, объявляют, что и без конгресса друзьями быть могут, и к союзу готовы, дабы, озлобя англичан, вместе не потерять и дружбы вашего величества; но при этом все сомневаются, нет ли сверх партикулярного мира какой другой мистерии в Ништадтском трактате?» Шёнборн говорил Ланчинскому: «Никакие государи такого доброго дела устроить не могут, как царь и цесарь, к пользе и тишине всего христианства. Когда эти два монарха соединятся, то никто на них не посягнет, и будет в Европе напрасных войн поменьше. Интересы обоих сходны, особенно против турок. Хотя было мнение, будто мы королю польскому хотим помогать в получении неограниченной власти, но оно не имело никакого основания, ибо как царскому, так и цесарскому величествам одинаково нужно, чтоб Польша оставалась в прежнем своем положении и вольности, а курфюрстов в королях и так довольно; если наша эрцгерцогиня вышла за саксонского принца, то из этого не следует, чтоб мы намерены были помогать ее мужу против собственных австрийских интересов. Но подозрение уже исчезло, и я не знаю, что бы могло теперь помешать нашему союзу?».

Мы видели, что к польскому королю в Дрезден возвратился с ответом на его предложение князь Сергей Григорьевич Долгорукий (старик отец его уехал в Петербург и здесь остался). Август принял князя Сергея очень милостиво и показал вид, что доволен царским ответом. Причина такого приема сейчас же объяснилась; король начал говорить: «Здесь носятся слухи, что царское величество заключил мир с Швециею, но я не верю этим слухам, ибо я царским величеством обладаю, что меня не изволит оставить». Долгорукий уверил его, что без включения Польши мир не будет заключен. Между тем произошло любопытное происшествие. В Берлин к прусскому королю явились два жида, факторы короля Августа Леман и Мейер, с словесным предложением о разделе Польши, а именно: король прусский должен помочь королю польскому получить самодержавие в Польше, за что получит в вечное владение польскую Пруссию и Вармию; прусский король должен склонять к этому и русского царя, который получит за это всю Литву; когда польский король узнает, что царь согласен, то будет склонять к тому и цесаря, который за согласие также получит значительную часть польских земель, пограничных с Венгриею и Силезиею. Прусский король, не давая жидам определенного ответа, уведомил об этом царя; царь отвечал дружеским советом, чтоб король Фридрих-Вильгельм не вступал в эти планы польского короля, ибо они противны богу, совести и верности и надобно опасаться от них дурных последствий, и что касается до него, царя, то он не только никогда не вступит в подобные планы, но и будет помогать Речи Посполитой против всех, кто войдет в виды короля Августа. Леман повторил прусскому королю предложение чрез берлинского жида Гуммерта, давая знать, что о намерениях короля Августа уже сообщено тайным образом и венскому двору. Фридрих-Вильгельм велел отвечать жидам, чтоб они наперед известили его, как предложение будет принято цесарем. Петр счел нужным дать знать об этом епископу варминскому, позволив ему под глубочайшею тайною сообщить и некоторым другим польским вельможам, кому заблагорассудит, пусть разведывают об этом хорошенько другими путями и себя остерегут.

Возвратимся на север.

Наступил сентябрь. Петр отправился в Выборг. 3 числа царь был на Лисьем носу, когда приехавший из Ништадта курьер подал ему бумаги; он распечатывает...

«Всемиловитейший государь! При сем к вашему царскому величеству всеподданнейше посылаем подлинный трактат мирный, который сего часу с шведскими министрами заключили, подписали и разменялись. Мы оный перевесть не успели, понеже на то время потребно было, и мы опасались, дабы между тем ведомость о заключении мира не пронеслась. Токмо вашему царскому величеству всеподданнейше доносим, что оный в главных делах во всем против указов вашего величества написан, и для лучшего известия при сем прилагаем из всех артикулов краткий экстракт. Мы, ваше царское величество, тем по рабской нашей должности всеподданнейше поздравляем и молим бога, дабы оный вашу дражайшую особу в непрременном святом своем сохранении имел и ваше царское величество чрез единые ваши труды и высокоумное управление сим полученным вечно славным миром пользоваться, и все прочие свои намерения к собственно желаемому счастливому окончанию привести могли, еже от всего своего сердца желаем, вашего царского величества всенижайшие рабы – Яков Брюс, Андрей Остерман. Августа 30 дня, в четвертом часу пополудни».

Договор состоял из следующих статей: 1) вечный, истинный и неразрывный мир между царским величеством и его преемниками и его королевским величеством шведским и его преемниками. 2) С обеих сторон общая амнистия; из нее исключаются русские козаки-изменники, которые последовали за шведским войском. 3) Все неприятельские действия в четырнадцать дней по подписании договора, а если можно и прежде, прекращаются. 4) С шведской стороны уступаются царскому величеству и его преемникам в полное, неотрицаемое, вечное владение и собственность завоеванные царского величества оружием провинции: Лифляндия, Эстляндия, Ингрия, часть Карелии с дистриктом Выборгского лена, со всеми аппартиненциями и депенденциями, юрисдикциею, правами и доходами. Оные в вечные времена к Российскому государству присовокуплены быть и остаться имеют. При этом пункте Брюс и Остерман заметили: «Понеже шведские министры отнюдь допустить не хотели, чтоб прежнее обязательство, дабы сии провинции никому иному не уступить, в сем артикуле осталось, того ради мы вместо того внесли, что сии провинции вечно к Российскому государству присовокуплены остаться имеют, в чем и то разумеется, что оные иному никому уступить невозможно; и хотя шведские министры на нашу экспрессию долго не позволяли, однакож мы напоследок их к тому склонили». Эта *экспрессия* нужна была против польских притязаний на Лифляндию. 5) Царское величество возвращает Швеции Великое княжество Финляндское, кроме той части, которая в разграничении выговорена. Сверх того, царское величество обещает королевскому величеству и государству Шведскому заплатить два миллиона ефимков. 6) Королевское величество имеет право в вечные времена свободно закупать хлеб в Риге, Ревеле и Аренсбурге ежегодно на 50000 рублей, беспошлинно, кроме тех чрезвычайных случаев, когда вывоз хлеба из России будет запрещен всем народам. 7) Его царское величество накрепчайше обещает, что он в домашние дела королевства Шведского, яко в форму правительства, и в акт наследства, от чинов государства единогласно соизволенные и присягою укрепленные, мешаться не будет, никому, кто б ни был, в том ни прямо, ни

посторонне, каким ни есть образом не вспоможет, но паче к показанию истинной соседственной дружбы всему, что тому противно вознамеряется и его царскому величеству известно учинится, всяким образом мешать и упредить искомому изволит.

8) Определяются границы. 9) Жители уступленных России провинций пользуются правами, какие они имели под шведским владычеством. 10) Жителям этих провинций не будет никакого принуждения в совести; евангелическая вера, церкви и школы будут содержаны, как прежде были под шведским владением; однако греческая вера впредь свободно и без помешания в оных также отправлена быть может. 11) Царское величество обещает, что каждый, хотя оный в земле или вне оной обретается, который справедливую претензию на маенности в Лифляндии, Эстляндии и на Эзеле имеет и оную надлежащим образом засвидетельствовать и доказать может, своим правом беспрекословно пользоваться и чрез немедленной розыск и изъяснение таких претензии до владения ему праведно принадлежащей маенности паки достичь имеет. 12) В Лифляндии, Эстляндии, на Эзеле, в Нарве и Выборге возвращаются прежним собственникам конфискованные во время войны земли и дома, также аренды, другим отданные, которых срок еще не прошел; но эти владельцы обязаны при вступлении во владение присягнуть на подданство царскому величеству; которые же не захотят присягнуть, тем дается трехгодичный срок для продажи своих имений. 13) Военнопленные освобождаются без выкупа, кроме желающих добровольно остаться и принявших в России греческую веру. То же разумеется о всех вывезенных во время войны людях. 14) Король и Речь Посполитая Польские, как союзники царского величества, именно в сей мир включаются; и так как на здешнем мирном конгрессе уполномоченных от них нег, то шведский король обещает, что он немедленно отправит своих уполномоченных в то место, о котором будет условлено с королем и Речью Посполитою Польскою, и под медиациею царского величества с ними вечный мир заключить изволит, однако так, чтоб в договоре ничего не было такого, что бы настоящему с Россиею заключенному миру было противно. 15) Свободная торговля между подданными обоих государств. 16) Послы будут сами себя содержать. 17) От стороны шведской король великобританский включается в сей мирный трактат, однако с предоставлением того, в чем его царское величество от его королевского величества великобританского себя иногда обижена находит, о чем прямо между его царским величеством и королем великобританским дружески трактовано и соглашено быть имеет: также могут другие державы, которые оба высокодоговаривающиеся во время трех месяцев, по воследовании ратификаций именовать будут, сему мирному трактату с общего соизволения приступить. В сепаратном артикуле было постановлено, что обещанные Россиею два миллиона ефимков выплачиваются по 500000 ефимков на четыре срока, последний в сентябре 1724 года. Брюс и Остерман писали царю: «Герцога голштинского мы наилучшим образом рекомендовали, и здесь пребывающие министры обнадеживают, что, когда случай придет, кроме него, никто иной выбран не будет, и с великими клятвами уверяют, что они, со всею своею фамилиею, никому иному, кроме него, не дадут голоса».

«Высокоблагородный и благородный, нам любезно верные! – писал Петр Брюсу и Остерману 10 сентября. – Отправленный от вас нашей гвардии капрал Обрезков в бытность нашу у Котлина-острова к нам прибыл с заключенным

мирным трактатом, с которою всерадостною ведомостью мы сами в 4-й день сего месяца сюда прибыли и воздали всевышнему благодарение за такой благополучный мир, и тот от вас присланный трактат немедленно перевести велели, и коего часу оный на российский язык могли успеть перевести, то того же времени мы оный весь и присланную от вас образцовую ратификацию с великим нашим удовольствием и увеселением слушали, и все пункты, в том трактате содержанные и чрез ваши труды постановленные, мы всемилостивейше апробовали».

От того же числа сохранилась засвидетельствованная Брюсом копия другого письма царского к уполномоченным: «Господа полномочные! Я намерен был ехать к Выборху для границ, но, приезжая к Дубкам, получил от вас уже подписанный и разменный трактат, которая нечаямая так скорая ведомость нас и всех зело обрадовала и что сия *трехвременная* жестокая школа такой благой конец получила, понеже трактат так вашими трудами сделан – хотя написав нам и только для подписи послать шведам – более бы того учинить нечего, за что вам зело благодарствуем, и что славное в свете сие дело ваше никогда забвению предатися не может, а особливо что николи наша Россия такого полезного мира не получила; правда, долго ждали, да дождались, еже всегда будет богу, всех благ виновному выну, хвала». Здесь выражение «трехвременная жестокая школа» объясняется письмом Петра к князю Василию Лукичу Долгорукому в Париж: «Все ученики науки в семь лет оканчивают обыкновенно; но наша школа троекратное время была (21 год), однакож, слава богу, так хорошо окончилась, как лучше быть невозможно».

Петр одинаково благодарил обоих уполномоченных, Брюса и Остермана. Во время ништадтских переговоров мы не замечаем, чтобы последний так резко выдавался на первый план, как это было во время Аландского конгресса. Брюс, как видно, принимал свои меры, чтоб товарищ не играл главную роль в Ништадте. Остерман должен был писать Макарову: «Вам известно о противных на меня доношениях господина генерала-фельдцейхмейстера Брюса без всякой моей вины и заслужения. Я воистинно доброй и честной человек и не хочу и не пожелаю с ним в каком несогласии быть и истинным богом засвидетельствую, что, кроме услужения всякого и паче и больше, может быть, как надлежало, никакого случая к таким противностям от меня не подано. Пожалуйте, извольте к нему партикулярно от себя написать, чтоб он жил со мною согласно и, ежели он чает причину иметь к жалобам не меня, чтоб он мне самому лучше о том наперед объявил, ибо все то лучше как для него, так и для меня, нежели без основания жаловаться и государю докучать».

Но это несогласие между уполномоченными не помешало делу. Великая Северная война прекратилась! Взглянем на ее значение. Как для развития отдельного человека необходимо, чтоб он покинул одиночество, узкую сферу и приобретал познания различными путями посредством учения, чтения, бесед с живыми людьми, путешествия, так и для целых народов необходимое условие развития состоит в покинутии одиночества, в расширении сферы умственной и практической деятельности посредством знакомства с новыми странами и народами, в общей жизни с ними, и, чем более стран и народов входит в эту общую жизнь, тем развитие их многообразнее и сильнее, богаче результатами. Вот почему в жизни человечества имеют великое значение те эпохи, когда для народов

происходит расширение круга их деятельности, когда многие страны и народы каким бы то ни было способом соединяются для общей деятельности, для взаимного влияния друг на друга. Так, в древнем мире, когда народы обыкновенно соединялись только путем насилия, завоевания, великое значение имеет деятельность Александра Македонского, соединившая западную и восточную цивилизацию; деятельность Рима, приведшая под одну державу народы древнего исторического мира. Древняя история оканчивается появлением на сцену новых стран, новых народов, бывших до тех пор за оградой исторического мира. В так называемой средней истории важнейшее по своим результатам явление есть знакомство западного мира с Востоком посредством крестовых походов. Так называемая новая история начинается расширением сферы деятельности европейского человека чрез открытие Нового Света и новых путей в отдаленные части Старого. Через два века после этого новое великое, богатое результатами явление – восточная часть Европы, до сих пор мало известная, жившая одиноко, является на сцену, входит в общую жизнь Европы; европейская земля собирается (кроме Балканского полуострова). Это новое расширение исторической сцены гораздо важнее, чем то, которое произошло в конце XV века и которым начинается новая история. Тогда европейский человек познакомился с новыми странами и народами, которые страдательно подчинились его влиянию; теперь же вошло в общую жизнь сильное европейско-христианское государство, представитель многочисленного европейского, исторического племени славянского, бывшего до сих пор под спудом. Если, входя в общую жизнь, Россия необходимо подчиняется влиянию других европейских народов, то, с другой стороны, при условиях своей силы, она обнаруживает сильное влияние на судьбу других народов, на общую жизнь Европы. Это влияние высказалось впервые в Северной войне.

Чтоб понять роль России в этой войне, влияние, которое она оказала, и влияние, которое приняла (ибо одно нераздельно с другим при общей жизни и деятельности), надобно обратить внимание на то, в каком положении находилась тогда Европа. В начале новой истории мы видим в Европе сильное религиозное движение, религиозную борьбу вследствие раскола, происшедшего в западной церкви; все явления более или менее примыкают к этой борьбе. С Вестфальского мира вероисповедный вопрос теряет свое прежнее первостепенное значение. На первый план выступают отношения чисто политические; движения, борьбы происходят оттого, что некоторые государства стремятся усилить себя на счет соседей, приобрести наибольшее влияние на дела Европы и встречают сопротивление в других; стремлениям к преобладанию, к гегемонии противопоставляется система политического равновесия. Важнейшие деятели этой эпохи, продолжающейся от Вестфальского мира до французской революции (1789 г.), суть четыре государя: Людовик XIV, Петр Великий, Фридрих II и Екатерина II. Значение России видно уже из того, что из четверых она дала двоих, и величайших, деятелей. Франция вышла из средней истории в новую самым сильным, наиболее выгодно поставленным государством континентальной Европы и по характеру своего народонаселения устремилась немедленно воспользоваться своими выгодами, усилиться на счет Италии и Германии, получить гегемонию в Европе; в этих стремлениях она встречается с габсбургским домом, встречается с ним в Испании и Нидерландах, в Германии, Италии, встречается, вступает в борьбу, сдерживается. Новую политическую

историю Западной, а потом и Восточной, всей Европы можно рассматривать как историю борьбы против преобладания Франции. Только внутренние смуты Франции дают передышку Европе; как только эти внутренние смуты прекращаются, Европа должна готовиться к борьбе. Усобицы при последних Валуа, смуты в малолетство Людовика XI и Людовика XIV были этими передышками для Европы; при Генрихе IV, в правление Ришелье, и, наконец, при Людовике XIV Франция следует своему исконному стремлению к гегемонии. Это стремление обнаруживается сильнее прежнего при Людовике XIV благодаря выгоде его положения среди истощенной Испании, занятой внутренними делами Англии, раздробленных, слабых Италии и Германии, стесненной турками Австрии. Дело оканчивается, однако, сильной коалицией против Франции, и великий король умирает с увянувшими лаврами. Деятельность Людовика XIV была последним блестящим проявлением старой монархической, королевской Франции; с 1715 по 1789 год Франция в верхних слоях своих уже не та; Европа безопасна от ее стремлений к преобладанию; опасность придет, и самая страшная, небывалая, но уже от новой, революционной, императорской Франции, и в борьбе Европы с этой новой Францией главное участие примет новое государство Восточной Европы – Россия.

В то время, когда великий король Франции вступил в свою последнюю войну, войну за испанское наследство, в Европе Северо-Восточной загорается также страшная война. Как на западе против Франции образуется союз из императора, Англии и Голландии, так на северо-востоке образуется союз из России, Дании и польского короля (курфюрста саксонского) против Швеции, которая в последнее время играла на севере ту же роль, какую Франция играла на западе, так же стремилась здесь к преобладанию, обрывая соседей. Против опасного союза Швеция выставила короля-героя, победами которого приобрела новую славу, новое значение. Но как Людовик XIV был самый блестящий из воинственных, истых королей Франции и вместе последний из них, так и Карл XII был последний из шведских королей-героев, утвердивших за Швецией важное значение на севере. Против Людовика XIV судьба дала союзникам великих полководцев – принца Евгения, герцога Марльборо; против Карла XII северные союзники не могли выставить никого вроде Евгения и Марльборо; но Россия выставила против него своего царя Петра, которого деятельность представляет противоположность с деятельностью и Людовика XIV, и Карла XII. И французский и шведский короли воспользовались прежде них бывшими, приготовленными для них средствами и вконец истощили их в своей блестящей деятельности. Для гениального царя ничего не было приготовлено, кроме убеждения в невозможности оставаться при старом, кроме робких попыток ошупью пробраться к новому; Петр создал новые, могучие средства своею небывалою в истории деятельностью и вызовом сил народных к многообразной и напряженной деятельности. Петр не был вовсе воинственный государь; его задача, необыкновенно ясно им сознаваемая, состояла в преобразовании, т.е. в приобретении новых, необходимых средств исторической жизни для своего народа; война была предпринята с тою же целью – с целью дать России место у северного Средиземного исторического моря, потому что Балтийское и Немецкое моря должно рассматривать как одно северное Средиземное море, соответствующее по важности своего значения для Северной Европы южному

Средиземному морю. Ясно сознавая положение своего народа в семье других европейских народов, Петр смотрел на свою внутреннюю и внешнюю деятельность как на школу, которую должен был пройти народ для занятия достойного места. Спокойно смотрел он на первые робкие шаги ученика в военной школе, какую была для русских Северная война; не смущался поражениями, потому что нехорошо, если постоянный успех избалует ученика; терпеливо рассчитывал на постепенность, медленность учения: сперва русские выучатся побеждать неприятеля малочисленного, имея на своей стороне превосходство числа, потом выучатся побеждать с равными, а наконец, и с меньшими силами. Такая скромность взгляда на свои средства, соединенная с неутомимой деятельностью для их увеличения, с железною волею, непоколебимым решением не оканчивать войны без приобретения морского берега, разумеется, должна была повести к успеху: средства России, несмотря на всю затруднительность, тяжесть положения и ропот на это, невидимо росли день ото дня; средства Швеции уменьшались день ото дня, и через 20 лет восточное Балтийское поморье находилось в русских руках; степной, восточный период русской истории кончился – морской, западный период начался. Впервые славяне после обычного отступления своего пред германским племенем на восток, к степям, повернули на запад и заставили немцев отдать себе часть берегов северного Средиземного моря, которое стало – было – Немецким озером.

Таково было главное следствие Северной войны: Швеция потеряла свое первенствующее положение на северо-востоке, которое заняла Россия; но этим не ограничивалось значение великого события. Занявшая место Швеции держава была держава новая, не участвовавшая прежде в общей европейской жизни, держава, приносящая европейской истории целый новый мир отношений, держава громаднейшая, которой границы простирались до Восточного океана и сходились с границами Срединной империи, держава славянская, держава, принадлежащая к восточной церкви, естественная представительница племен славянских, естественная защитница народов греческого исповедания. Давно история не видала явления, более обильного последствиями.

Петр в борьбе с Карлом XII имел союзников: сначала королей датского и польского (курфюрста саксонского), потом прусского и английского (курфюрста ганноверского). Для уяснения следствий этого союза мы должны обратить внимание на отношения мира германского к миру славянскому вообще. Уже было сказано, что до XVIII века славяне постоянно отступали перед натиском германского племени, оттеснявшего их все более и более на восток. Одни из славянских племен не только подчинились немцам, но и онемечились; другие, после долгой борьбы, подчинились немцам с сохранением своей народности. Из двух отраслей славянского племени, восточной и западной, двум самым сильным народам, русскому и польскому, история вначале предоставила две борьбы для охраны славянства: русскому – борьбу с восточными азиатскими хищниками, польскому – с немцами. Русский народ после многовековой страшной борьбы уничтожил господство азиатцев на Великой Восточной равнине Европы и занял Северную Азию. Но польский народ не выполнил своей задачи, не поддержал своих западных собратий в борьбе с германским племенем, дал последнему онемечить польские земли – Померанию, Силезию; не сладив с пруссами, призвал на помощь немцев, которые сладили с ними и онемечили их. Но, отступая перед

немцами на западе, поляки двигались на восток и стремились здесь вознаградить себя на счет своих же славян, на счет русского народа, заставляя его ополячиваться посредством католицизма. Уступая немцам целые области польские, поляки захватили русский Галич и чрез соединение с Литвою притянули к себе западные русские княжества. Но когда Восточная Россия, собравшись около Москвы и покончивши с торжеством борьбу на востоке, естественно и необходимо поворачивала на запад для соединения с Россией Западною и для приобретения средств к дальнейшей исторической жизни, то в этом стремлении своем должна была столкнуться с Польшею, стремившеюся с запада на восток и старавшеюся отнять у западнорусского народонаселения его национальность. Это столкновение вело к продолжительной и сильной борьбе, в которой к концу XVII века обозначилось явное преимущество России над полумертвотою от страшной внутренней болезни Польшею.

Но труп собирал около себя орлов. Западные соседи Польши, немцы, видели в ней легкую добычу и стали хлопотать, как бы усилиться на ее счет, захватить всю, и если нельзя, то поделить добычу. Германия не достигла государственного единства посредством усиления одной из своих частей на счет всех других. Сильнейшее из германских владений, которое долго боролось за действительное господство над Германиею и у государей которого осталось первенство номинальное, соединенное с императорским титулом, – австрийское владение Габсбургов распространилось не на германской почве, но на счет Венгрии, Италии и преимущественно стран славянских. Пример Австрии не остался без подражания для других немецких владений по исконному стремлению немцев распространяться на восток на счет славян. Любопытно, что, как поляки, не выдерживая натиска немцев на западе, обратились к востоку, чтоб распространиться там на счет России, так немцы не выдерживают натиска французов на западе, уступают Франции немецкие области и стремятся на восток, желая распространиться там на счет славян. Обессилевшая Польша представляла теперь немцам возможность распространяться на восток. Курфюрст саксонский посредством избрания становится королем польским. Но титул польского короля с тем ничтожным, пожизненным пользованием властью, какое предоставлялось королю в Польше, не мог удовлетворить саксонского курфюрста: он хочет усилиться на счет Польши, сделаться наследственным ее королем, самовластным, и для достижения этой цели не прочь поделиться польскими владениями с соседями. В этих стремлениях сначала мешает ему Швеция, потом Россия; он бросается к Австрии и Англии; но эти державы могли помочь ему только словами, а не делом; он выходит из Северной войны безо всякого приобретения, должен удовольствоваться тем, что остается королем польским: быть может, после удастся передать этот титул и сыну своему.

Итак, один из германских курфюрстов становится королем благодаря Польше. Но подле курфюрста саксонского – короля польского есть еще другой немецкий курфюрст, бранденбургский, который усилился на счет Польши, на ее счет стал королем, Курфюрсты бранденбургские были вассалами Польши по герцогству Прусскому, воспользовались бедою, слабостию Польши, освободились от вассальной зависимости и приняли королевский титул по Пруссии, не принадлежавшей к Германии, в которой они оставались курфюрстами. Таким образом, Польша двух князей немецких сделала королями на свой счет. Оба эти

князя – естественные соперники друг другу, потому что оба хотят усиливаться на счет Польши. Прусский король не спускает глаз с нее и никак не хочет допустить, чтоб курфюрст саксонский сделался в ней наследственным и самовластным королем; тут он крепко держится России по единству интересов.

В то время как немцы стараются усилить себя на востоке на счет полумертвой Польши, Россия с своим Петром решительно поворачивает на запад, к морю. Но чтоб добиться его, ей нужно вступить в борьбу с Швециею; соседи пользуются этим случаем и вступают в союз с царем, одни – чтоб усиливаться на счет Швеции, другие – чтоб положить предел завоевательным стремлениям этой державы, третьи – чтоб вытеснить шведов с германской почвы и поделить между собою их владения здесь. Не все союзники получили желаемое. Паткуль, считавший Ливонию немецкою страной, предложил ее саксонскому курфюрсту Августу, который, как польский король, должен был воспользоваться претензиями Польши на Ливонию, отнятую у нее шведами; но план Паткуля, не хотевшего уступать России даже и Нарвы, не удался: Ливония досталась России, а не Саксонии. Август вышел из Северной войны ни с чем. Дания имела удовольствие видеть низложение своей страшной соперницы – Швеции, но не могла возвратить от нее своих старых провинций, удовольствовалась Шлезвигом, за который, однако, должна была заплатить полувекowym мучительным беспокойством вследствие связи голштинского дома с могущественною Россиею. После других вошли в союз два курфюрста – бранденбургский и ганноверский, меньше других понесли военных тягостей и получили хорошую добычу. Не бросаться в предприятия, сколько-нибудь опасные или требующие значительных пожертвований, выжидать времени и продать свою помощь как можно дороже, получить хорошую добычу с наименьшими жертвами – вот политика курфюрста бранденбургского, короля прусского, политика, увенчавшаяся полным успехом. Курфюрст ганноверский, также без жертвований с своей стороны, выхватил из-под рук датского короля Бремен и Верден. Оба курфюрста были немецкие патриоты: они имели в виду вытеснить чужих, шведов, с немецкой почвы. Бранденбургский не шел дальше, не заглядывал слишком далеко вперед; но ганноверскому мекленбургская шляхта указала новую страшную опасность для Германии: русские займут место шведов на ее почве, и ганноверский забил тревогу. Он силен, он король английский, Англия же, после войны за испанское наследство, заняла место Франции на Западе, стала первенствующею здесь державою, стала тем на Западе, чем Россия стала на Востоке, и Европа приготовлялась быть зрительницею борьбы между этими двумя первенствующими державами. Но сейчас же оказалось, что Англия, как держава островная, морская, торговая, при односторонности своих средств, при отсутствии больших сухопутных сил, при односторонности, узкости своих интересов не может для континентальной Европы занять место Франции. Англии было неприятно развитие новорожденных морских сил России, Англии хотелось бы поддержать Швецию и этим поддержать равновесие на севере; но ей хотелось, чтобы это сделалось посредством других, она не могла для этого пожертвовать своими непосредственными торговыми выгодами; заглядывать далеко в будущее, тревожиться отдаленными опасностями для практической Англии было так же неблагоприятно, как и оставаться спокойною при виде явной опасности; опасность от России была слишком далека: Россия не Испания, не

приатлантическая держава. Поэтому Англия не могла дать своему королю, курфюрсту ганноверскому, той помощи, какой бы ему хотелось в борьбе его за континентальные интересы, заставила его ограничиться дипломатическими средствами, заставила его в отношении взятой им под свое покровительство Швеции играть самую жалкую и постыдную роль: он обобрал ее в Германии ввиду вознаграждения для нее на восточном берегу Балтийского моря и этого вознаграждения не доставил; только новые трехлетние военные бедствия выиграла Швеция от английского союза. Три германских курфюрста были в это время королями: саксонский по Польше, бранденбургский по Пруссии, ганноверский по Англии. В их руках, по-видимому, была будущность Германии; но саксонский и ганноверский по отношениям к своим королевствам, по конституциям и положению последних не могли усилиться на их счет; прочнее и выгоднее было положение бранденбургского, хотя менее блистательно; сюда присоединялась личность Фридриха-Вильгельма I, скопидома, немецкого Калиты, приготовившего для Пруссии материальные средства стать первоклассною державою при знаменитом сыне его.

Отдавая должную справедливость гению Петра, необыкновенной ясности взгляда, выдержливости и уменью пользоваться обстоятельствами, мы не должны, однако, забывать, что обстоятельства сильно помогали ему. В начале войны, после нарвского поражения, Карл XII уходит во владения короля Августа и дает Петру возможность собираться с средствами и учить свое войско, своих солдат, офицеров, генералов и фельдмаршалов, постепенно проходить с ними военную школу. На востоке важно было то, что бунт астраханский не соединился с бунтом донских казаков; на юге Турция, истомленная войною, бывшею в конце XVII века, оставалась равнодушною зрительницею борьбы до самой Полтавской битвы. На западе одновременно с Северною войною шла война за испанское наследство, не дававшая западным державам возможности вмешиваться в дела северо-восточные; и после Утрехтского мира движения Испании отвлекали их внимание от этих дел. Но важнее всего было то, что война за испанское наследство истощила главную из западных держав, Францию, отняв у нее прежние средства и влияние – влияние, которое не могло быть благоприятно для России по отношениям Франции к Швеции и Турции; Англия, выдвинувшаяся на первый план, не могла действовать так, как могла действовать Франция, когда была на первом плане; ослабевшая Франция, чтоб подняться сколько-нибудь, должна прислоняться к другим державам: она поневоле в союзе с своими извечными врагами, Англиею и Австриею, и, чтоб избавиться от влияния последних, обращает взоры на восток, хочет там составить союз и опираться на него, осторожно и ласково обходиться с Россиею, видя в ней главу будущего нужного ей союза, и в Константинополе французский посланник помогает русскому. Австрия, по-видимому, вышла со славою и с прибылью из войны за испанское наследство и из войны с Турциею; но она своими успехами здесь была обязана таланту иностранца – принца Евгения Савойского; внутри была она слаба по своему пестрому составу, притом ее сильно беспокоили явления, происходившие в империи; тяжело ей было видеть, что здесь три курфюрста сделались королями, получили важное значение и самостоятельность; самый слабый из них искал ее помощи и союза – саксонский; она готова была с ним сблизиться и помогать ему, тем более что он для Польской Короны был католик; с

большою подозрительностью и страхом смотрела она на бранденбургского и ганноверского – представителей протестантской Германии; ганноверский, как английский король, был с нею в союзе по делам испанским, но этот союз был тяжел для нее, оскорблял ее гордость, оскорблял ее католическую ревность. При таких отношениях Австрия не могла быть опасна для России, могла вредить ей только словом, а не делом.

Но какие бы благоприятные обстоятельства ни присоединялись к средствам царя и народа русского в Северной войне, война эта, окончившись таким блистательным миром для России, изменяла положение Европы: подле Западной Европы для общей деятельности с нею явилась новая Европа, Восточная, что сейчас же отразилось в европейском организме, отозвалось всюду – от Швеции до Испании. Легко понять, какое чувство при известии о мире должно было овладеть русскими людьми, которые прошли «троевременную школу, так кровавую и жестокою и весьма опасною, и ныне такой мир получили не заслуженною от бога милостию». Чрез знакомство с европейскою цивилизациею, чрез сильное и быстрое расширение своей сферы, до тех пор столь узкой, они сознавали себя людьми новыми, живущими новою, настоящею жизнью; но при этом народное чувство их было вполне удовлетворено тем великим значением, какое они получили в этой гордой и недоступной им прежде Европе; не покорными только учениками явились они здесь, но самостоятельными и сильными участниками в общей деятельности, заняли почетное место, заставили относиться к себе с уважением. Напряженные усилия, тяжкие пожертвования были вознаграждены небывалою славою, неожиданными выгодами. Труд не пропал даром и был так блистательно оправдан. Так блистательно был оправдан великий человек, руководивший народ свой, знаменитый корабельный плотник, знаменитый шкипер, так искусно проводивший корабль свой чрез опасные места.

4 сентября в Петербурге сильное волнение: царь неожиданно возвратился из своей поездки, плывет и каждую минуту стреляет из трех пушек на своей бригантине; трубач трубит: что это значит? ...Мир!

Толпы собираются у Троицкой пристани; съезжается знать духовная и светская. Встреченный торжественными кликами, Петр едет в Троицкий собор к молебну. Приближенные знают, чем подарить его: генерал-адмирал, флагманы, министры просят принять чин адмирала от красного флага. А между тем на Троицкой площади уже приготовлены кадки с вином и пивом, устроено возвышенное место. На него всходит царь и говорит окружающему народу: «Здравствуйте и благодарите бога, православные, что толикую долговременную войну, которая продолжалась 21 год, всеильный бог прекратил и даровал нам со Швециею счастливый вечный мир». Сказавши это, Петр берет ковш с вином и пьет за здоровье народа, который плачет и кричит: «Да здравствует государь!» С крепости раздаются пушечные выстрелы; постановленные на площади полки стреляют из ружей. По городу с известиями о мире ездят 12 драгун с белыми чрез плечо перевязями, с знаменами и лавровыми ветвями, перед ними по два трубача. 10 числа начался большой маскарад из 1000 масок и продолжался целую неделю. Петр веселился, как ребенок, плясал по столам и пел песни.

Вторичное церковное торжество было назначено на 22 октября. За день, 20 числа, Петр приехал в Сенат и объявил, что в знак благодарности за божью милость дает прощение всем осужденным преступникам, освобождает

государственных должников, слагает недоимки, накопившиеся с начала войны по 1718 год. В тот же день Сенат решает поднести Петру титул Отца Отечества, Императора и Великого.

22 октября царь со всеми вельможами у обедни в Троицком соборе. После обедни читается мирный договор; Феофан Прокопович говорит проповедь, в которой описывает все знаменитые дела царя, за которые он достоин называться Отцом Отечества, Императором и Великим. Тут подходят к Петру сенаторы, и канцлер граф Головкин говорит речь: «Вашего царского величества славные и мужественные воинские и политические дела, чрез которые токмо единыя вашими неусыпными трудами и руководством мы, ваши верные подданные, из тьмы неведения на театр славы всего света и, тако рещи, из небытия в бытие произведены и в общество политичных народов присовокуплены: и того ради како мы возможем за то и за настоящее исходотайствование толь славного и полезного мира по достоинству возблагодарити? Однакож, да не явимся тщи в зазор всему свету, дерзаем мы именем всего Всероссийского государства подданных вашего величества всех чинов народа всеподданнейше молити, да благоволите от нас в знак малого нашего признания толиких отеческих нам и всему нашему отечеству показанных благодеяний титул Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского принять. Виват, виват, виват Петр Великий, Отец Отечества, Император Всероссийский!» Сенаторы три раза прокричали «виват», за ними повторил этот крик весь народ, стоявший внутри и вне церкви; раздался колокольный звон, звуки труб, литавр и барабанов, пушечная и ружейная стрельба.

Петр отвечал, что «желает весьма народу российскому узнать истинное действие божие к пользе нашей в прошедшей войне и в заключении настоящего мира; должно всеми силами благодарить бога, но, надеясь на мир, не ослабевать в военном деле, дабы не иметь жребия монархии Греческой; надлежит стараться о пользе общей, являемой богом нам очевидно внутри и вне, отчего народ получит облегчение».

Не раз предшественникам Петра и ему самому указывали на титул императора восточного; но Петр отвергнул эту ветхость и принял титул императора всероссийского; родная страна не была отлучена от славы царя своего, впервые оказано было уважение к народности.

Как же эта новизна, принесенная Восточною Европою, принята была в Европе Западной? Пруссия и Голландия признали немедленно новый титул русского царя. Другие медлили.

В Вене на объявление Ланчинского о заключении мира император отвечал: «Равно как мы всегда охотно принимаем участие во всем, что к удовольствию и пользе царя, вашего государя, происходит, так и в нынешнем случае сорадуемся о сем счастливом сукцессе и впредь желаем от сердца царю, вашему государю, продолжения всяких благополучий». Тут все это было сказано внятно. Но иное произошло на другой аудиенции, когда Ланчинский уведомил Карла VI, что Петр принял императорский титул. «Я, – пишет резидент, – вшел в камору аудиенции и учиня три обыкновенные поклона, начал речь, преднаписанную мне в указе, и оную отправил гораздо вслух от слова до слова, примечая тем же временем, какую мину его величество показать изволит; но ничего переменного не усмотрел, и его величество, по своему обычаю, изволил стоять при столе неподвижно, и мою речь

спокойно выслушал, и потом изволил мне ответствовать, но толь невнятно и толь скоро, что я ни слов, ни в какую силу не выразумел; но не мог я требовать у его величества экспликации, для того что многие примеры есть, что когда в чем не изволит себя изъяснить, то и повторне невнятно же ответствовать обык, и в таковых случаях чужестранные себя адресуют к имперскому вице-канцлеру». Вице-канцлер все извинялся, что не имел времени говорить с цесарем; другие министры отмалчивались; между ними была рознь; одни говорили, что лучше заранее признать титул и тем одолжить царя, нежели со временем последовать примеру других, что первенство между императорами все же останется за цесарем Священной Римской империи. Другие говорили, что если признать императорский титул царя, то и король английский потребует того же под предлогом, что англичане издавна свою корону зовут императорскою (the imperial crown), а потом и другие короли, у которых несколько королевств, будут искать того же; таким образом императорское отличие уничтожится. Придворный поэт Невен (Newen) подвергся преследованию и насмешкам за то, что по поводу Ништадтского мира написал стихи в честь Петра, которого назвал августейшим. В конце 1721 года отправлены были от цесаря две грамоты к новому императору, и обе с старым титулом. Решение дела было отложено.

Из Дрездена князь Сергей Долгорукий доносил, что саксонские министры хотя и рады, что король их включен в Ништадтский договор, однако можно было заметить, как сильно завидовали они выгодным для России условиям мира. Флеминг рассказывал Долгорукому подробно историю предложения о разделе Польши: по его словам, в марте месяце 1721 года приехал в Дрезден жид Леман и от имени прусского короля предлагал королю Августу разделить Польшу; король велел говорить с жидом Флемингу, который сказал ему, что дело состояться не может и чтоб он не смел больше об нем говорить. Между тем из Дрездена дали знать саксонскому министру при прусском дворе, чтоб осведомился у самого короля, приказывал ли он жиду Леману сделать подобное предложение. Фридрих-Вильгельм отвечал, что удивляется, почему предложение жида принято так странно в Дрездене, и желает повидаться с Флемингом. Тот отправился в Берлин. Король сам ничего с ним не говорил, но Ильген спросил: не саксонское ли правительство поручило жиду Леману предложить прусскому королю раздел Польши? Флеминг отвечал, что нет, но что жид приезжал с этим предложением в Дрезден от имени прусского короля. Ильген спросил: а что думает Флеминг о проекте деления Польши, который Леман подал цесарскому двору чрез посредство герцога бланкенбургского? Флеминг отвечал, что ничего не знает о проекте; тогда Ильген прочел ему копию проекта и сказал, что об нем сообщено ими царю, который отвечал, что дело состояться не может; император отвечал то же самое. Призвали жида Лемана, который вошел с трепетом и со слезами; пригласили русского посланника графа Головкина, и Ильген спросил жида: откуда пришла ему мысль предлагать раздел Польши? Жид отвечал: «Господь бог послал мне ее на разум, и я вознамерился наказать поляков, как самых дурных людей в целом свете».

Но в Петербурге не хотели довольствоваться этим объяснением. «Сами вы высокопросвещенно рассудить извольте, – писал Петр королю Августу, – что никто этого не может почесть за вымысел таких бездельных людей, которые, кроме торгу, ничего не привыкли предпринимать. Никто этому не поверит и

потому еще, что, к великому нашему удивлению, жида в столь важном деле не только не спрошены насчет подробностей, не арестованы и розыску не подвергнуты, но, как слышим, Леману вся вина отпущена без малейшего наказания. Мы, ваше королевское величество, дружески просим, дабы вы помянутых жидов Лемана и Мейера повелели взять за арест и учинить им в присутствии князя Сергея Долгорукого инквизицию и по исследовании сего дела нам над оными преступниками и над их наставниками надлежащую сатисфакцию дать, дабы, на то смотря, другие впредь в такие важные дела без указа вступать и нас с соседственными государствами, особенно же с Речью Посполитою, ссорить и великими государями так играть не отваживались».

Жида были арестованы, подвергнуты допросу и показали, что никто им такого поручения не давал, а придумали они сами потому, что Леман имеет много должников в Польше и надеялся, что посредством раздела ее легче получит свои деньги.

Между тем русские министры при иностранных дворах давали великолепные пиры и праздники по поводу мира. Приготовлялась праздновать и старая Москва, куда к концу года отправился двор: 18 декабря новый император торжественно вступил в древнюю столицу царей и в Успенском соборе благодарил бога за мир, который дал России море и обезопасил новую приморскую столицу; маскарады, фейерверки, иллюминации, езда по улицам в великолепно украшенных морских судах, поставленных на сани, ознаменовали московские празднества. Но Петр недаром отвечал Сенату в Троицком соборе, что, надеясь на мир, не надлежит ослабевать в воинском деле: среди праздников шли приготовления к походу – на восток, к Каспийскому морю.

Приложения

I. В 1717 году между английским духовенством обнаружилось движение для соединения англиканской церкви с восточною православною. При этом движении, разумеется, не могла быть обойдена православная Россия с ее великим царем, и двое епископов, Иеремия Колльер и Архибальд Кампбелл, обратились к Петру с следующим письмом из Лондона (8 октября 1717 г.):

Serenissima Majestas,

Nuper per Archimandritam Archiepiscopi Thebaidos Londini comitem, nobis innotuit, Majestatem Tuam pro summa benignitate res nostras propius aspexisse, et conatui nostro Ecclesiis Graecis et Britannicis coalescendis, favisse, ultroque in se recepisse, Articulos ex utraque parte concessos, ad quatuor Patriarchas Orientales perferendos, curaturam. Nos tali honore ex insperato dignati, officii nostri esse duximus, Majestati Tuae gratias quam maximas humillime agere: Et cum tanto Principi cordi est dissidiis sopiendis, et concordiae inter Ecclesias revocandae, operam navare, speramus rem ad felicem exitum perductum iri. Fatemur quidem, mutationes quasdam tam Religionem quam Rempublicam spectantes, partes nostras ad paucos redegissemus: sed non latet Majestatem Tuam Jus Fasque non semper pluribus adesse, nec suffrages colligenda. Coepta Majestatis Tuae tam pietate insignia, prospero rerum cursu rependantur: Diu laetus terris intersis, Tibi ipsi et subditis felix; ac tandem, Gloriam et dierum satur, ad fastigium altius evehendus.

Hoc animitus in votis habent Majestatis Tuæ maximo cuitu deditissimi Jeremias Collierius Episc.

Archibaldus Gampbell Episcopus.

Канцлер Головкин получил следующее письмо:

Mon Seigneur,

J'ay l'honneur de vous écrire a présent sur la recommandation du reverend pere Gennadius Archimandrite de l'Eglise d'Alexandrie mon tres cher ami, qui depuis son retour d'Hollande m'a informé qu'il avoit communiqué non seulement a votre Excellence, mais aussi a sa Majesté Csarienne mon desir d'entrer en communion avec l'Eglise Grecque, et d'avoir mes Ordres Sacrés confirmés par une autorité Catholique et Apostolique. Il est vray, Mon Seigneur, que je demandais cette grâce au reverendissime Arsenius Archeveque et Metropolitte de Thebais, qui pour son humilité, piété et autorité dans l'Eglise Catholique j'avois en grande veneration. Votre Excellence me permettra de vous donner les raisons qui m'y ont porté. Il me paroît que l'Eglise Anglicane n'ëtoit ni virtuellement, ni actuellement en communion avec aucune part de l'Eglise Catholique, ni avec aucune Eglise qui a une succession reguliere des Evêques et des Pretres derivée des Apôtres, ou par la Participation de la S. S. Eucharistie, ou par des lettres communicatives selon l'usage de l'Eglise Ancienne; et ayant de plus examiné et considéré l'autorité des Evêques et Prêtres de cette Eglise, elle me paroissoit plutôt humaine et politique, que vraiment Ecclesiastique, Apostolique et Divine. Ce qui me fit ardemment désirer que s'il y avoit quelque défaut ou manquement dans les ordres Sacrés que j'avois reçus, il pouvoit être suppléé et rectifié par une autorité Catholique et Apostolique, et que je pourrois être reçu en Communion avec l'Eglise Grecque comme étant plus Catholique que celle des Latins, et plus exempte des innovations que l'Eglise Latine a fait dans la religion Chretienne: c'est pourquoi je demandais cette grace du reverendissime Arsenius, ce qu'il m'aurait accordé s'il n'avait été empêché par des accidens dont il n'est pas necessaire d'incommoder Votre Excellence. J'ay toujours pourtant le même desir de rentrer dans l'union de l'Eglise Catholique, pourvu que cela se pourrait faire sur des principes et conditions vraiment catholiques, et par des moyens propres et regulieres selon la pratique de l'Eglise Catholique et Ancienne en de telles occasions, et j'ay raison de croire qu'il y a bien des autres icy, qui souhaitent la même chose avec moi. Et je prend la liberté de représenter a Votre Excellence cette affaire sur le rapport qu'on m'a fait de votre grande bonté et zèle pour l'Eglise Catholique et le bien des vmes, dont vous avez donné les marques par les bons offices que vous avez rendu au reverend Pere Gennadius. Ce m'ëtoit aussi un grand plaisir d'entendre que Sa Majesté Csarienne avoit pris les souffrances de l'Eglise Grecque tant à coeur, et qu'il avoit envoyé le reverendissime Arsenius en Moscovie avec tant de marques de sa faveur et protection royale; et que de son affection paternelle pour le bien spirituel de ses sujets qui sont icy, il avoit donné ordre de pourvoir une maison ou chapelle, où le reverend Gennadius pourrait célébrer les offices divines a leur profit et consolation spirituelle. Et comme les actions grandes et glorieuses que Sa Majesté a fait et les travaux infatigables qu'il a pris de faire cultiver a son peuple tous les arts liberaux et mechaniques, et de planter en son pays la politesse, ont rendu son nom illustre dans tout le monde, et le font mériter le nom de Grand et de Héros beaucoup plus que ne faisait Alexandre ou les autres héros de l'antiquité; aussi je supplie très humblement le Grand Dieu de le faire encore plus grand et glorieux en l'inspirant un zèle véritable et chretienne pour le bien de l'Eglise Catholique. Et assurément un prince si grand et

magnanime peut faire beaucoup pour l'honneur de notre Seigneur Jesus Christ, pour l'interkt de son Eglise (qui est son royaume sur la terre) pour faire agrïer les diffïrences qui ont depuis si longtemps dechirï et divisï l'Eglise, et pour restorer cette union qui doit etre entre tous les membres de Jesus Christ. Votre Excellence me permettra encore de l'informer que j'ay dïja commencï avec une petite et pauvre congregation de celebrer (quoique d'une maniere secrete) l'Eucharistie sacrï par une liturgie plus catholique et plus conforme aux anciennes, que celle dont on use a prïsent dans l'Eglise icy, et de faire revivre l'ancienne discipline de l'Eglise tout a fait negligïe parmi nous, et que je tache de composer une liturgie encore plus parfoite selon les plus anciennes liturgies Grecques, mais pour accomplir un tel oeuvre il me faudrait d'assistance et aussi d'appuy pour en pouvoir user en publique. Mais je me confie dans la protection de Dieu Tout puissant, qu'il suscitera des fauteurs et fournira les moyens necessaires pour me mettre en ïtat de finir avec son aide l'ouvrage qu'il m'a donnï a faire a la gloire de son saint nom, le bien de cette Eglise et l'avancement de l'union catholique. C'est a ce bon Dieu et a son protection et benediction celeste que je recommande Votre Excellence, ïtant avec beaucoup de respect.

Mon Seigneur

Votre tris humble et tris obïssant serviteur en notre Seigneur

Jesus Crist Patrice Cockburn. Londres le 9 d'Octobre 1717.

Эти духовные, которые называли себя «остатками древнего православия в Британии», отправили на Восток несколько предложений, прося на них согласия у тамошнего духовенства. На эти предложения составлены были ответы «соборным восточные церкви судом и присудом, при собрании и со известнейшим рассмотрением всесвятейшего вселенского патриарха константинопольского нового Рима, господина Иеремии, и при случившихся блаженнейших и святейших патриархах, александрийского, господина Самуила, и иерусалимского, господина Хрисанфа, вкупе с сошедшимся множеством преосвященных митрополитов и прехвального Клироса Христовы великие церкви, в Константинополе в лето 1718, в месяце апреле, индиктиона 11».

Британское духовенство требовало, чтоб иерусалимская церковь признана была за начало всего церковного единения и всех других церквей матерью, вследствие чего иерусалимский епископ должен иметь председательство пред всеми другими христианскими епископами. Константинопольскому епископу должна принадлежать одинакая честь с римским епископом. Останки британских церквей, принявшие евангелие от пришельцев из Иерусалима, прежде подчинения своего римской церкви и ее епископу, исповедующие католическую веру, от апостолов переданную и на древнейших соборах, Никейском и Константинопольском, в символ сложенную, да считаются частью католической церкви, общность имеющею с апостолами и святыми отцами соборов. Восточное духовенство отвергло это требование, как несогласное с древним чином, установленным древними православными царями и утвержденным на соборах: «Британское духовенство хочет явиться мудрее богоносных отцов, как будто от неразумия определивших порядок патриарших престолов! Притом это дело вовсе не касается догматов веры; если же британское духовенство, признавая, что получило свет истинной веры из Иерусалима, хочет быть непременно под властью иерусалимского патриарха, то это ему позволяется».

Английское духовенство обещало снова ввести древнейшую англиканскую литургию и отвергнуть новую, как несогласную с восточной православной литургией. На это восточное духовенство отвечало, что православная церковь признает одну литургию, которая должна быть введена и в Англии, англиканская же литургия ему неизвестна и подозрительна, не внесено ли в нее еретиками что-нибудь противное благочестию, надобно прежде с нею ознакомиться.

Английское духовенство требовало, чтоб главою церкви признавался один только Христос, чтоб это достоинство не присваивалось никому из людей, а особенно из мирских. *Ответ* . «Господь наш Иисус Христос есть единственный глава церкви земной и небесной; но так как он сам поставил над своим зданием апостолов и архиереев, дав им власть вязать и решить, то и всякий у нас архиерей есть глава, подчиненный общей главе; настоятели церквей, называемые главами, принимают имя это от истинного главы, совершают дела главы и к нему возводят совершаемое, а не к себе самим».

Английское духовенство принимало исхождение св. духа от отца, принимало причащение под обоими видами, отвергало чистилище. Восточное духовенство отозвалось с похвалою об этом согласии с православной церковью, но не согласилось с предложением не равнять авторитета соборов с авторитетом св. писания и признать возможность изменять постановления соборов; восточное духовенство отвечало, что изменение возможно только в вещах второстепенных, относящихся к обычаям, например северным жителям можно позволить есть рыбу в Великий пост, потому что у них нет плодов и овощей, и то опять по соборному же приговору, и никто из членов церкви не имеет права делать, что ему вздумается; в божественных же догматах не может быть никакого изменения против соборных решений.

Английское духовенство требовало, чтоб в почитании богородицы слава божия не отдавалась твари, святая дева не восхвалялась больше самого бога. На это восточное духовенство отвечало словами пророка Давида: «Убояшася страха, идеже не бе страх». В православной церкви никогда не отдается слава божия ни богородице, ни какому другому сотворенному существу; поклонение жертвоприносительное или служебное воздаем единому богу, а рабственное – святым, почитая их как рабов верных и истинных друзей божиих; преклоняемся и пред земными царями, но за это нельзя называть нас челоуекослужителями и говорить, что мы служим твари более, чем создавшему. Христос ходатай есть примирения нашего с богом и отцом. Он примирил с ним нас, бывших врагами вследствие преступления Адамова; ни ангел, ни человек, но сам господь спас нас, и спасены мы благодатию. А святые и богородица ходатайствуют о грехах наших, после крещения сделанных; ходатайствуют о покаянии нашем, о избавлении от бед и напастей.

О таинстве евхаристии английское духовенство предлагало принимать таинство, *привидя* самого Христа, поклоняться ему духом, как истинно присутствующему, не поклоняясь святым присутствия его символам. Восточное духовенство отвергло это предложение как хульное, ибо после пресуществления чрез наитие св. духа хлеб и вино не суть символы только, но истинное тело и кровь Христовы; нельзя поправлять слова господя; не сказал он: *в сем* , или *под сим* , или *с сим* есть тело мое, а сказал прямо: «Сие есть тело мое».

Об иконах английское духовенство предлагало: почитая святых, не считаем незаконным иметь их изображения, но опасаемся соблазна для иудеев и магометан; боимся также, чтоб простые люди из нашего народа не прельстились и не предались нечестивому идолослужению; поэтому просим, чтоб девятое правило второго Никейского собора о иконах истолковано было таким образом, чтоб всякое погрешение предупреждено и всякий соблазн был отнят. На это восточное духовенство отвечало: святых, богородицу и самого Христа почитать в иконах у нас древнее обыкновение, любовно принимаемое и благочестиво совершаемое. Взирая на изображения святых и подвигов их, христианин возбуждается к подражанию, ибо живопись есть молчаливая история, так как история есть вещающая живопись. Бойтесь соблазнить иудеев, магометан и некоторых называемых у нас иконоборцами; но о разрешении субботы многие жиды соблазнялись, однако господь и апостолы не обращали внимания на этот соблазн и продолжали разрешать субботу; жиды и магометане соблазняются нашими священнодейственными таинствами; так что же, мы должны перестать совершать их? Наши и неграмотные до сих пор иконам поклоняются, но в вере нисколько не повредились и в идолослужении не уклонились, умеют отвечать, что честь иконы к изображенному восходит; девятое правило второго Никейского собора, как установленное сонмом святых мужей под наитием св. духа, отклонить нельзя, как вы просите.

II. От господина канцлера (Головкина) к Михаилу Кантакузину:

Славнейший и благороднейший господине и приятелю! Понеже царское величество, мой всемилостивейший государь, чрез доношение племянника вашего, г. графа Фому Кантакузина, и других довольно известен о вашей христианской ревности и о непременной к его величеству верной службе, того ради повелел мне вашей милости за сие возблагодарить и обнадежить высокою своею милостию и достойным награждением, не токмо персоне вашей, но и прочим вашим родственникам, в верности к его царскому величеству сущим. Что же, ваша милость, объявляете о горячести сердец православного народа, сущих под властью турецкою и цесарскою против общего неприятеля салтана турецкого, особливо же что полковник сербский Вулин до 20000 в готовности войска имеет, и тот полковник Вулин и другой с ним, Тукелин, и Хаджи прислали ныне от себя и к царскому величеству нарочно поручика с объявлением готовых себя к службе его царского величества с 10000 человек войска и просят о сем известия и соизволения от его царского величества. А понеже враг всего христианства салтан турецкой весьма намерен злобу свою на православных христиан изнести и, несмотря на мирное прошлое лета постановление и на исполнение всего по договору со стороны царского величества, хочет вероломный разрыв мира учинить и против его, благочестивого монарха нашего, войну паки всчать и не токмо что публично оную объявить повелел, но и указы о сборе войска к границам нашим разослал и сам в тот поход готовится; того ради царское величество, оное салтана турецкого вероломство и несправедливо начатую от турков войну праведному суду всевышнего вруча, принужден паки справедливое свое оружие воспрять, уповая на всемилостивейшее в правде божие вспоможение. И тако всемилостивейше повелел мне к милости вашей писать, дабы вы, по христианской

своей ревности и знаемой к его величеству верности, к помянутым полковникам сербским Тукелину, Вулину и Хаджи писали и по известному вашему искусству к тому их действительно привели, чтоб они с тем войском, как они сами объявляют, с 1000 человек или хотя и вяще добрых, конных и добровоороуженных людей на службу его царского величества против общего всего христианства неприятеля пришли, и как возможно скоро к границам российским в совокупление с войски российскими поспешили, и против того общего неприятеля оружие свое с войски царского величества соединили, за что им давано будет его царского величества жалованье. А когда они, полковники, пойдут в поход и в коликом числе войск, о том дали б знать наперед чрез вас и чрез нарочных своих, посланных племяннику вашему, генерал-майору Фоме, который ныне в войске при Киеве, ибо то дело по указу царского величества вручено ему; а в тамошние края, кроме вашей милости, ни к кому о сем отсюда не писано, и когда они в тот поход пойдут, то б они, идучи, трудились, каким способом учрежденные турецкие магазейны сжечь. Также изволите и иных христиан, под властью турецкою сущих, к тому побуждать и склонять принять оружие против того общего неприятеля, обещая им за службу их его царского величества милостию и награждением, и что будет о сем чиниться, также и о тамошних поведениях, и о неприятельских намерениях, поелику возможно, наведаясь, изволите к нам писать. Когда же те войска будут в собрании, и можете уведомить достоверно, что они на службу государеву придут и марш свой воспримут, и ежели будут иметь нужду в деньгах, прежде нежели придут к нашим границам, то изволь, ваша милость, или из своей казны, или у них кого сыскав, им дать по ефимку на каждого человека, что милости вашей заплачено будет с награждением, извольте в то поверить; а когда они придут в совокупление с войском ц. в., то им дано будет полное жалованье, а полководцам – особливая милость и награждение. При сем пребываю неизменный ваш друг Г. Головкин. Из Санкт-Петербурга 25 марта 1712; послано с сербянином Дмитрием Семеновым. Марта в 21 сие письмо изволил царское величество слушать у господина канцлера, и при том был господин Рагузинской. (Московск. архив министер. иностр. дел).

III. Перевод (современный) с перехваченного донесения голландского резидента Деби от 8 июля нов. стилия 1718 года: Хотя царевич Алексей Петрович чаял, что чрез полученное прощение и для того опубликованный манифест о своем животе уверен был (понеже его царское величество сам его более за проведенного, нежели проводителя и главу того замысла, почитал), однако же об нем весьма инако оказывается. Метресса царевича случай подала на открытие наивящих тайностей. Она есть низкой породы, из Финляндии, пленная и к блуду с принцем Алексеем обнаженным ножом и угрозением смерти принужденная особа. Многие чают, что она, по принятии греческой веры и первому рождению чрез греческого священника и духовного отца того принца, который такожде посажен, в пути действительно венчана с царевичем, и видится, что сие некоторым образом основательно есть, понеже, когда помянутая метресса от царя совершенное прощение получила, некоторые драгоценные вещи оной назад отданы и ей при том сказано было, что когда она замуж выйдет, то предбудущему ее мужу хорошее приданое из казны выдано будет, она на это ответствовала: к первому блуду я

принуждена была, и после того принца никто при моем боку лежать не будет, о которых слова разные сумнения учинены были, которые более к тому клонятся, что она еще вовсе надежду не потеряла, в которое время нибудь корону на себе видеть. Хотя она чрез глубочайшую покорность и объявление того, что она ведаёт, себя при сих опасных временах ищет в полученную милость от царя утвердить, однако ж она чрез изустное свое объявление много тягости как несчастливому принцу, так и участникам его причинила, также чрез письма, которые они к нему писали и у нее найдены. Довольно удивиться не можно о дальних намерениях, которые он, принц, имел к разорению и смерти всех царских министров, служителей и всех чужестранных, такожде о злых намерениях, которые он против своего государя и отца имел: он токмо доброго случая ожидал оные в действо произвести, и тогда б пророчества в Москве казенного архиерея ростовского по человеческому рассуждению правдивые были, когда б божия милость сего священного (т.е. царя) не сохранила. Весь свет не мог рассудить, для чего его царское величество в желанном от дацкого десанте на Сканию не хотел вспомоществовать; но главнейшая причина, которая царя от того удержала, было кровопролитие, которое его величеству уже тогда здесь, в государстве, приуготовляли, и, пока б своими верными войсками их кровь пролил, тогда б его ко владению желающий сын время и случай получил, дабы Россию паки в прежний хаос и безобразие привести. Его царское величество уже тогда в Копенгагене о тайных проектах и некоторых недовольных подданных отчасти уведомлен был, и от верных его служителей ему советовано было, дабы лучшими своими войсками гораздо не отдаляться и чрез то случай не подать, чтоб домашний огонь распалиться мог.

От 30 июня Деби писал, что царь перед смертию царевича в продолжение восьми дней каждый день молился на коленях с горькими слезами, прося бога внушить ему мысли, согласные с его честью и с благом народа и государства.

IV. Урбих канцлеру Головкину (в 1712 году): «О врученной мне комиссии о начале славянского народа и о их языке я старался и разным особам ученым в Праге комиссии дал все те книги, которые о том писаны, приискать и ко мне прислать; но никто больше в том служить не может, как тайный советник Лейбниц в Ганновере; я его о том просил, который мне еще перед отъездом моим записку вручил; я уповаю, что то описание царскому величеству угодно будет». В записке Лейбница сарматы и гунны причислены к славянам; народы, действительно принадлежащие к славянскому племени, перечислены верно; славянское происхождение болгар доказывается названием ереси *богомиллов* .

V. Граф Александр Головкин к отцу из Берлина (1712 года): «Господин Ильген просит, чтоб госпоже Монсовой, жене покойного Кейзерлинга, позволено было из Москвы выехать в Прусы для своих нужд».

VI. Меншиков князю Вас. Лукичу Долгорукому в Копенгаген (1713 года): «Во всех курантах печатают государство наше Московским, а не Российским, и того

ради извольте у себя сие простеречь, чтоб печатали Российским, о чем и к прочим ко всем дворам писано».

Восемнадцатый том

Глава первая

Царствование императора Петра Великого

Дела восточные. – Сношения с Китаем; посольства Избранта, Измайлова. – Поход полковника Бухгольца к Эркети. – Он оттеснен калмыками. – Основание Омска. – Поход в Хиву князя Александра Бековича-Черкасского. – Его гибель там. – Хивинский посланник умирает в Петербургской крепости. – Дела калмыцкие. – Усобица между калмыками. – Смерть хана Аюки. – Деятельность астраханского губернатора Волынского при избрании ему преемника. – Отношения к Кубанской Орде и Кабарде. – Столкновение здесь у России с Турциею. – Сношения с Персиею; посольство туда Волынского. – Бедственное положение Персии. – Настаивание Волынского, что должно действовать в Персии и на Кавказе вооруженною рукою. – Персидские бунтовщики берут Шемаху и наносят большой урон русской торговле. – Петр по окончании Северной войны решается на поход в Персию. – Волынский описывает состояние горских князей. – Петр отправляется в Астрахань по Оке и Волге. – Плавание по Каспийскому морю. – Высадка в Аграханском заливе. – Занятие Дербента. – Возвращение от Дербента. – Основание крепости Св. Креста. – Переговоры с персидским правительством. – Полковник Шипов занимает город Ряц; генерал Матюшкин занимает Баку. – Мирный договор с Персиею. – Распоряжения Петра в новоприобретенном крае. – Сношения с армянами. – Столкновения с Турциею по поводу дел персидских. – Мирное окончание этих столкновений. – Отношения к Грузии.

До сих пор мы видели Петра преимущественно на западных границах его государства, видели, как он добивался моря и на его берегах построил новую столицу. Здесь была главная опасность, здесь была великая цель, достижение которой было завещано великому человеку предками. Но и здесь деятельность Петра не была одностороння: он не спускал глаз с Востока, зная хорошо его значение для России, зная, что материальное благосостояние России поднимется, когда она станет посредницею в торговом отношении между Европою и Азиею. Употребляя все усилия, чтоб утвердиться на берегах Балтийского моря, Петр рыл каналы для соединения его с Каспийским морем. Страны Востока, от Китая до Турции, одинаково обращали на себя внимание Петра. Мы видели, как при встрече русских владений с китайскими вследствие деятельности открывателей и покорителей новых земель определились границы между двумя государствами в правление Софьи. В 1692 году отправился в Китай датчанин Елизарий Избрант с государевою грамотою к богдыхану Шинг-Дсу, известному более под именем

Кганг-Ги (Всеобщий Покой), прославленному иезуитами за покровительство, их ордену оказанное, выставленному ими за образец государя (царствовал от 1662 до 1722 года). Когда Избрант приехал в царствующий град Пежин (Пекин), то его теснотою заставили нарушить обычай, по которому царская грамота отдавалась непосредственно государю, заставили передать ее ближним богдыхановым людям. Когда грамота была переведена, то Избранту объявили выговор от богдыхана за то, что в грамоте царское имя и титул написаны прежде, а богдыхановы после; грамота и подарки отданы были назад. Избрант не хотел их брать, но ему объявили, что в случае его упорства царская грамота будет брошена, а он будет выбит из царства с бесчестием; Избрант взял грамоту и подарки, и тогда ближние люди объявили ему, что богдыхан из-за грамоты с великими государями ссориться не будет и отправит к ним свою грамоту, только титул напишет иначе, чем он написан в русской грамоте, напишет просто: «Белым царям». На это Избрант не согласился; несмотря на то, он был допущен к богдыхану, причем кланялся ему по китайскому обычаю, становясь на колена. Богдыхан был «обличием мунгальским, усы немалые, борода небольшая, черная». Богдыхан жаловал Избранта из своих рук чрез ближнего человека горячим вином и спрашивал у него чрез иезуитов: «Из Московского государства до Французской, Италийской и Польской земель как скоро можно поспеть сухим и водяным путем?» Избрант отвечал, что во Францию можно поспеть недель в десять, в Италию – в двенадцать и в Польшу – в две недели. Избранту было наказано требовать от китайского правительства, чтоб выданы были изменники из сибирских инородцев, освобождены были русские пленники; чтоб богдыхан приказал высылать в Москву серебра доброго пуд по тысяче и больше с своими купчинами, которые покупали бы всякие русские и немецкие товары, какие будут им годны; чтоб приказал высылать дорогие камни, пряные зелья и всякие коренья, которые в Китайском государстве водятся; приказал своим китайцам приезжать в Российское государство со всякими товарами; приказал в Китайском государстве дать место под церковь, которая будет выстроена царскою казною. Кроме того, Избранту было наказано разведать о разных делах, и он, заплатив большие деньги, разведал от иезуита-француза, что богдыхан желает сохранять мир с Россиею; но желает ли пересылаться послами и посланниками и отправлять купчин с своим серебром и товарами, также простых купцов, об этом самом важном для русского правительства деле разузнать ничего не мог, хотя по наказу и разглашал между китайскими купцами о вольной торговле, какую ведут в России иноземцы, и о дорогих русских товарах. В 1719 году Петр отправил к богдыхану лейб-гвардии Преображенского полка капитана Льва Измайлова в чине чрезвычайного посланника. Измайлов торжественно, с большою пышностью въехал в Пекин и объявил богдыхановым ближним людям, что приехал от его императорского величества с любительною грамотою для подтверждения и возобновления прежней дружбы; что для избежания всяких споров в грамоте находится один богдыханов титул, а императорское величество изволил только подписать высокое имя свое без титулов. Ближние люди уговаривали Измайлова, чтоб он, когда будет у богдыхана, поступал учтиво, потому что когда был у богдыхана русский посланник Николай Спафари и богдыхан спросил его, учился ли он астрономии, то он отвечал, что учился; когда же богдыхан спросил об одной звезде, которая называется Золотой Гвоздь, то Спафари отвечал очень грубо: «Я на небе не бывал и имен звездам не знаю».

Грамоты не требовали сначала к ближним людям, удовольствовались латинским списком, потому что посланник был человек знатный и умный. Измайлов объявил иезуитам, что если они будут радеть императорскому величеству, то государь отблагодарит за это их общество: позволено им будет посылать письма через Сибирь посредством русских людей и другие многие вольности получат. Иезуиты объявили готовность служить посланнику. На аудиенции богдыхан сказал во всеуслышание, что он хотя имел и имеет древние законы, запрещающие принимать грамоты у чужестранных послов, однако теперь, почитая императора российского как своего равного друга и соседа, оставляет прежние законы и принимает грамоту из рук посланника. Но от коленопреклонения Измайлов освобожден не был. Богдыхан объявил ему, что из дружбы к императорскому величеству он устроил нарочно для него, посланника, пир, на котором присутствуют все знатные люди; спрашивал, знает ли он астрономию или другие какие художества и есть ли при нем люди, умеющие играть на инструментах. Измайлов отвечал, что он астрономии не учился, а музыканты у него есть, которые играют на трубах и на скрипках. Потом богдыхан спрашивал у посланника, какие науки в России, Измайлов отвечал, что есть в России всякие науки и ученые: математики, астрономы, инженеры, архитекторы и другие разные художники и музыканты. Богдыхан спрашивал, не противно ли посланнику, что иезуиты помещены выше его. «Я их держу не чиновными людьми, – говорил богдыхан, – они живут в государстве моем более двухсот лет и никакого другого дела не имеют, кроме религиозного, в чем я им не препятствую; притом это люди ученые и много людей в моем государстве научили разным наукам, и сам я у них математике и астрономии выучился». Спрашивал, не противно ли посланнику, что он разговаривает с ним чрез иезуитов, и передали ли иезуиты, что он оказывает к императорскому величеству любовь. Измайлов отвечал, что довольно слышал от иезуитов о дружбе его к императорскому величеству, что его, богдыханова, милость является ко всем, а особенно к ученым людям, о чем и в Европе известно.

Потом Измайлов был позван в другой раз во дворец, и богдыхан сказал ему: «Прежде ты был на аудиенции по нашему обыкновению, а теперь поступай по-своему, ешь и веселись запросто». Принесли стол и поставили кушанье, очень хорошо изготовленное. Когда посланник кончил обед и поклонился по-европейски, богдыхан начал говорить: «Скажу я тебе два слова, ты на них ничего не отвечай, только держи в памяти, чтоб донести своему государю: царское величество – такой великий и славный монарх, владение имеет большое, и слышал я, что изволит ходить против неприятеля своего на кораблях, а море – махина великая, и бывают на том море волны огромные, и оттого бывает страх немалый; так чтоб изволил свое здоровье хранить, потому что есть у него добрые воины и верные слуги, и изволил бы их посылать, а сам был бы в покое, ибо я желаю быть с его величеством в великой дружбе; не в указ говорю, чтоб неприятелям своим не противился, но жалея об особе его величества. Хотя из России уходят в нашу сторону человек по 20 и по 30, также из моих владений в Россию, но от таких бездельников дружба наша никогда не повредится. Из-за чего нам ссориться? Россия – государство холодное и дальнее: если б я послал свои войска, то все померзли бы, и хотя бы чем-нибудь и завладели, то какая в том прибыль? А наша сторона жаркая, и если императорское величество пошлет против меня свои войска, то могут напрасно помереть, потому что к жару

непривычны, и хотя бы и завладели чем-нибудь – невеликая прибыль, потому что в обоих государствах земли множество».

В конференции с министрами Измайлов начал хлопотать о свободной и беспошлинной торговле, требовал, чтобы русские купцы могли иметь свою церковь, чтоб в Китае был русский генеральный консул и вице-консулы по разным городам с правами, какие они имеют во всем свете; такие же права должны получить и китайские подданные в русских владениях. Китайцы отвечали: «У нашего государя торгов никаких нет, а вы купечество свое высоко ставите; мы купеческими делами пренебрегаем, у нас ими занимаются самые убогие люди и слуги, и пользы нам от вашей торговли никакой нет, товаров русских у нас много, хотя бы ваши люди и не возили, и в провожании ваших купцов нам убыток». Измайлов настаивал. К счастью для китайцев, пришло известие, что 700 человек монголов перебежало за русскую границу. Этому случаю обрадовались и объявили Измайлову, что до тех пор не дадут ответа на его предложения, пока не кончится дело о беглецах. С этим Измайлов и должен был выехать из Пекина. Он оставил было там агента Ланга; но и его китайцы поспешили выпроводить, притесняли русских купцов, не слушая представлений Ланга и повторяя, что у них торговля считается делом ничтожным и для нее не стоит русскому агенту жить в Пекине; не пустили и епископа Иннокентия Кульчицкого, назначенного для построения русской церкви и утверждения миссии в Пекине, делали и захваты на русской земле, все жалуясь на невыдачу монгольских перебежчиков.

С Китаем не ладилось. Но приходили известия о металлических богатствах Средней Азии, и Петр, сильно нуждаясь в деньгах, не оставил без внимания эти известия. Сибирский губернатор князь Гагарин донес, что в Сибири, близ калмыцкого городка Эркети на реке Дарье, добывают песочное золото. В 1714 году отправили туда подполковника Бухгольца, велели ему идти на Ямышь-озеро, где построить крепость на зимовье, а по весне идти к Эркети, овладеть ею и проводить об устье Дарьи-реки. В начале 1716 года Бухголец дал знать, что крепость построена, но к Эркети идти за малолюдством небезопасно и что солдаты от него бегут, ибо в сибирских городах всяких гулящих людей принимают и вольно им там жить. По отправлении этого известия к крепости, где сидел Бухголец, пришло калмыков более 10000 человек; русские бились с ними 12 часов, отбили, но неприятель стал кругом, пресек сообщение и прислал следующее письмо: «Черен-Дондук господину полковнику послал письмо. Наперед сего контайши с великим государем жили в совете, и торговали, и пословались, и прежде русские люди езжали, а города не страивали. Война стала, что указу государева о строении города нет и город построен ложными словами, и если война будет, то я буду жить кругом города, и людей твоих никуда не пущу, и из города никого не выпущу, запасы твои все издержатся, и будете голодны, и город возьму; и если ты не хочешь войны, то съезжай с места, и, как прежде жили, так будем и теперь жить и торговать, станем жить в совете и любви». В гарнизоне обнаружилась болезнь, солдаты начали мереть, и Бухголец 28 апреля, разорив крепость, ушел на дощениках вниз по Иртышу и на устье реки Оми построил другую крепость, где и оставил свое войско. В 1719 году Лихарев, посланный, как мы видели, в Сибирь для разыскивания о поведении князя Матвея Гагарина, между прочим, получил наказ: трудиться всеми мерами, разузнать о золоте еркецком, подлинно ли оно есть, и, от кого Гагарин узнал, тех людей отыскать,

также и других знающих людей, и ехать с ними до тех крепостей, где посажены наши люди, и, там разведав, стараться сколько возможно, чтоб дойти до Зайсана-озера, и если туда дойти возможно и там берега такие, что есть леса и прочие потребности для жилья, то построить у Зайсана крепость и посадить людей; потом проведывать о пути от Зайсана-озера к Эркети, как далеко и возможно ли дойти? Также нет ли вершин каких рек, которые подались к Зайсану, а впали в Дарью-реку или в Аральское море? Все это делать сколько возможно и в газард не входить, чтоб даром людей не потерять и убытку не причинить; также розыскать о подполковнике Бухгольце, каким образом у него Ямышевскую крепость контайшинцы взяли, также и о прочих его худых поступках.

Это увещание «не входить в газард» было нужно после несчастного исхода другой экспедиции, имевшей целью ту же соблазнительную Эркетъ, только с другого конца. В мае 1714 года Петр дал указ Сенату: «Послать в Хиву (к хану) с поздравлением на ханство, а оттоль ехать в Бухары к хану, сыскав какое дело торговое, а дело настоящее, чтоб проведать про город Эркетъ, сколько далеко оный от Каспийского моря? и нет ли каких рек оттоль или хотя не от самого того места, однако ж в близости в Каспийское море?» В начале 1716 года для этого проведывания отправлен был князь Александр Бекович-Черкасский, бывший уже прежде на Каспийском море и описавший часть его берегов. Петр дал следующий наказ: «1) надлежит над гаванью, где бывало устье Аму-Дарьи реки, построить крепость человек на тысячу, о чем просил и посол хивинский. 2) Ехать к хану хивинскому послом, а путь держать подле той реки и осмотреть прилежно течение ее, также и плотины, если возможно эту воду опять обратить в старое ложе, а прочие устья запереть, которые идут в Аральское море. 3) Осмотреть место близ плотины или где удобно на настоящей Аму-Дарье реке для строения же крепости тайным образом, и если возможно будет, то и тут другой город сделать. 4) Хана хивинского склонить к верности и подданству, обещая ему наследственное владение, для чего предложить ему гвардию, чтоб он за то радел в наших интересах. 5) Если он охотно это примет и станет просить гвардии и без нее не будет ничего делать, опасаясь своих людей, то дать ему гвардию сколько пристойно, но чтоб была на его жалованьи; если же станет говорить, что содержать ее ему нечем, то на год оставить ее на своем жалованьи, а потом чтоб он платил. 6) Если таким или другим образом хан склонится на нашу сторону, то просить его, чтоб послал своих людей, при которых и наших два человека было бы, водою по Сыр-Дарье реке вверх до Эркети-городка для осмотра золота. 7) Также просить у него судов и на них отпустить кунчину по Аму-Дарье реке в Индию, наказав, чтоб изъехал ее, пока суда могут идти, и потом продолжал бы путь в Индию, примечая реки и озера и описывая водяной и сухой путь, особенно водяной, и возвратиться из Индии тем же путем; если же в Индии услышит о лучшем пути к Каспийскому морю, то возвратиться тем путем и описать его. 8) Будучи у хивинского хана, проведать и о бухарском, нельзя ли его хотя не в подданство, то в дружбу привести таким же образом, ибо и там также ханы бедствуют от подданных. 9) Для всего этого надобно дать регулярных 4000 человек, судов сколько нужно, грамоты к обоим ханам, также купчине к ханам и к Моголу. 10) Из морских офицеров поручика Кожина и навигаторов человек пять или больше послать, которых употребить б обе посылки: в первую – под видом купчины, в другую – к Эркети. 11) Инженеров дать двух человек. 12) Нарядить

козаков яицких полторы тысячи, гребенских – 500 да сто человек драгун с добрым командиром, которым идти под видом провожания каравана из Астрахани и для строения города; и когда они придут к плотине, тут велеть им стать и по реке прислать к морю для провожания князя Черкасского, сколько человек пристойно. Командиру смотреть накрепко, чтоб с жителями обходились ласково и без тягости. 13) Поручику Кожину приказать, чтоб он там разведал о пряных зельях и о других товарах, и как для этого дела, так и для отпуска товаров придать ему двух человек добрых людей из купечества, чтоб не были стары». Из переписки с Черкасским до нас дошло письмо к нему Петра от 13 мая 1716 года: «Письмо это и пробу золота и камня, из чего зело дорогую краску делают, получил я и за оное вам благодарствуем, что же о посылке до Иркутки и буде вам можно будет, пошли, буде нельзя – оставить можно. О после бухарском писал ты в Сенат, чтоб вам сообщили, с чем оный приехал; бухарцев и хивинцев свободить ныне нельзя, понеже они в переписках с турки явились для отдания Астрахани; но ежели ханы их об них станут просить, то можешь обещать их отпустить при своем возвращении, ежели ханы будут доброе намерение к нам иметь. Что же пишешь – ежели хан хивинский не склонится, и я не могу знать в чем, только велено вам, чтоб в дружбе были и чтоб купчину послать водою в Индию и ежели надобна им гвардия; только о гвардии не похотят, и то в их воле, а в дружбе, чаю, не откажут, также и купчину удержать им нельзя, а буде паче чаяния купчину водою не пропустят и в дружбе откажут, то более нечего делать, только что те два города делай, и плотину разори, и по реке вверх, сколько время допустит, и смотри току ее, и впрочем трудись неотложно по крайней мере исполнить по данным вам пунктам, а ко мне не описывайся для указов, понеже, как и сам пишешь, что невозможно из такой дальности указы получать».

Сенат сделал все нужные распоряжения для отправления экспедиции, и осенью 1716 года Черкасский выехал в Каспийское море из устьев Волги и пристал к урочищу Тюк-Караган, где велел строить крепость в месте, по показанию Кожина чрезвычайно неудобном: не было тут ни земли, ни леса, ни воды свежей, только один песок, нанесенный морем. От Тюк-Карагана Черкасский поехал далее морем и в начале ноября пристал к урочищу Красные Воды, где велел строить другую крепость, также, по отзывам Кожина, на дурном месте, не имеющем ни леса, ни воды, ни травы, при глухом заливе, где морская вода стоячая и гнилая. С Красных Вод Черкасский возвратился к Тюк-Карагану, где в оставленном для строения крепости отряде было больных солдат и матросов с 700 человек да умерло со 120 человек. 20 февраля 1717 года Черкасский возвратился в Астрахань, куда с разных сторон приходили дурные вести; находившийся в русском подданстве калмыцкий хан Аюка писал: «Служилые люди идут в Хиву, и нам слышно, что тамошние бухарцы, кайсаки, каракалпаки, хивинцы собираются вместе, хотят на служилых людей идти боем; а я слышал, там воды нет и сена нет государевым служилым людям: как бы худо не было?» Посланные Черкасским в Хиву люди также давали знать о неприятельских сборах, боясь, что Черкасский придет не в качестве посла, а возьмет Хиву обманом; посланцам Черкасского говорили: «Для чего вы города строите на чужой земле?» Взявши в Астрахани 600 человек драгун, яицких и гребенских козаков, астраханских дворян, татар, черкес, хивинцев, бухарцев и других народов, тысячи с три человек, Черкасский пошел

весною в Хиву сухим путем, и чрез несколько времени разнеслась весть, что он погиб в этом походе со всем отрядом.

В октябре 1717 года яицкий козак татарин Ахметев, бывший в этом отряде, рассказывал, что 15 августа поутру Черкасский пришел к озерам реки Дарьи, дней за шесть пути от Хивы; и в тот самый день и ночью войско сделало себе крепость, обрылось землею, и ров с трех сторон, а с четвертой – озеро. На другой же день утром явилось хивинское войско, конное и пешее, и стало бить из пищалей и пускать стрелы, и в три дня побило козаков человек с десять; Черкасский отбивался из крепости, стреляя из пушек и ружей. На четвертый день хан прислал к Черкасскому с мирными предложениями, и знатные хивинцы целовали коран, что над государевыми войсками зла никакого не сделают и будут соблюдать мирное постановление. После этого Черкасский ездил к хану с подарками. Хан стал ему говорить, что всего русского войска в Хиве прокормить нельзя, надобно расставить его отрядами в пяти городах. Черкасский согласился, и отряд яицких козаков из 240 человек, в котором находился Ахметев, отправился в назначенное ему место в сопровождении тысячи человек конных хивинцев. Отряд ночевал в степи спокойно, но на другой день утром провожатые стали разбирать козаков по рукам и перевязали, оружие, лошадей и пожитки взяли себе; козаков повезли дальше под караулом, но Ахметева отпустили с дороги. Он пришел в Хиву на гостинный двор, где нашел двух яицких козаков, которые рассказали ему, что хан стал собирать войско после того, как приехали к нему посланники от калмыцкого хана Аюки; накануне прихода Ахметева возвратился в Хиву хан из похода и велел выставить на виселице две головы; хивинцы говорили, что это головы князя Черкасского и бывшего при нем астраханского дворянина князя Михайлы Заманова. Ахметев видел в Хиве и живых русских людей, бывших в войске Черкасского: ходят порознь за караулами, говорить друг с другом не могут. Ахметев уехал из Хивы тайком в караване, отправлявшемся в Астрахань. По рассказу калмыка Бакши, бывшего в походе с русскими, хивинский хан договорился с Черкасским, что последний будет принят в Хиве как обыкновенный посланник; Черкасский с своим отрядом пошел к Хиве, и хан шел с ним вместе, вместе ели и пили; но за день пути до города хивинцы разобрали русских без бою и привели в Хиву. На другой день хан рассказывал Бакше, что он князей Черкасского и Заманова казнил, отсек им головы и, снявши кожу, велел набить травую и поставить у ворот. Бакша видел головы, но не мог признать, действительно ли это головы Черкасского и Заманова, потому что кожа снята и набита травую.

Прошло почти три года. В мае 1720 года приехал в Астрахань хивинский посол Вейс-Мамбетъ и прислал список с ханской грамоты к царю. «Прежде, – писал хан, – имели мы с вами дружелюбие, которое и теперь иметь желаем; но между вами и нами произошла ссора от того: пришла к нам ведомость, что едет к нам послом Девлет-Гирей (?); мы обрадовались, но потом услышали, что Девлет-Гирей между наших улусов хочет строить города; мы ему это запретили, но он не послушался и город построил; потом прислал к нам своего посланца с тем, чтоб чрез большую Дарью-реку мост мостить, что он чрез ту реку будет переправляться с войском, так мы бы прислали к нему лошадей. Мы отправили к нему переговорить обо всем посланника; над этим посланником нашим у Девлет-Гирея ругались, хотели его связать и убить до смерти; посланник ушел и

объявил нам, что Девлет-Гирей приехал не для посольства, но для строения города. Мы опять послали к нему еще слуг своих, но он, не допусти их до себя, начал в них стрелять из пушек, произошел бой, и в то время многих наших людей побили, и наши люди многих русских людей побили, и Девлет-Гирея привезли со всякими русскими людьми ко мне, и которые русские люди взяты живые, и тех удержали мы у себя на случай, если вы, великий государь, у нас их спросите, а у нас с вами войну вести и в уме нет». Только в конце августа из коллегии Иностранных дел послан был указ астраханскому губернатору: хивинского посла прислать в Петербург, дав ему подводы и кормовые деньги не как послу, но как арестанту, чем только ему с людьми его можно быть сыту, отправить с ним офицера с пристойным числом солдат, который должен смотреть, чтоб посол как-нибудь не ушел, однако должен обходиться с ним политично и ласково; впрочем, объявить ему, что он отправляется за арестом, потому что его хан поступил неприятельски с князем Черкасским, отправленным в характере посольском.

В начале 1721 года посланника привезли в Петербург. Его привели в Иностранную коллегия и поставили перед министрами. «Какой у тебя словесный приказ от хана?» – спросили его министры; посланник отвечал: «Приказал мне хан донести царскому величеству, что из давних лет между российскими и хивинскими народами бывала любовь и торговля, но по некоторому случаю эта любовь и торговля пресеклись, и потому просит хан, чтоб прежняя любовь установилась и торговля умножилась». «Мы думаем, – сказали министры, – что в целом свете и ни в каком законе нет того, чтоб послов убивать; для чего вы посла царского величества князя Черкасского безвинно убили?» «Правда, что это сделано, – отвечал посланник, – однако он к нам приезжал не как посол, но как неприятель, построил город и в нем оставил с 8000 человек войска; потом к нам приехал и, не доезжая до Хивы за 15 дней, убит нашими войсками на бою, а остальные люди и до сих пор в Хивинской земле, и хан их всех желает отдать». «Хан твой, – говорили министры, – сам прежде присылал к царскому величеству с просьбою построить город для умножения торговли, а потом такому великому монарху сделал такую обиду, посла его невинно убил! Может быть, хан твой на тебя сердит и прислал тебя на жертву, чтоб здесь тебя повесили за князя Черкасского?» «Воля ваша, – отвечал посланник, – только хан прислал меня с объявлением, что желает быть в любви и отдать всех пленных».

Посланника заключили в крепость, где он скоро и умер. С одним из приехавших с ним хивинцев отправлена была к хану грамота за подписью канцлера и подканцлера с уведомлением о смерти посланника и с требованием отпустить всех пленных. В январе 1722 года вышел из Хивы пленный яицкий козак и рассказывал, что когда хану подана была грамота, то он топтал ее ногами и отдал играть молодым ребятам.

Говорили, что калмыцкий хан Аюка сносился с Хивою ко вреду России, которой власть он признавал. Казанскому губернатору было много дела с калмыками, этими последними представителями движения среднеазиатских кочевых орд на запад, в европейские пределы. Калмыки запоздали, натолкнулись на сильную Россию и волею-неволею должны были подчиниться ей. Подчиненность была шаткая. Казанский губернатор не раз съезжался в степи с Аюкою-ханом и со всеми его тайшами для постановления условий этой

подчиненности. Аюка обещался служить верно великому государю и не откочевывать никуда от реки Волги; в случае неприятельского прихода к Астрахани, Тереку, Казани и Уфе по письму от губернатора посылать своих ратных людей с детьми своими, внучатами и другими тайшами и служить заодно с русскими людьми; не пускать своих калмыков на нагорную сторону Волги и ослушников отсылать в русские города головою. Царицынская линия – ров, охраняемый войсками между Волгой и Доном, – мешала калмыкам перебраться к Крыму и соединиться с татарами против России.

В 1715 году Аюка писал великому государю, что башкирцы, крымцы, кубанцы и каракалпаки ему неприятели и без помощи русских войск нельзя ему кочевать между Волгою и Яиком. Вследствие этого письма велено было постоянно находиться при Аюке стольнику Дмитрию Бахметеву с отрядом из 600 человек, из которых 300 регулярных и 300 иррегулярных (Козаков). Скоро калмыкам не понравилось присутствие Бахметева, и Аюка просил государя перевести его комендантом в Саратов с обязанностью охранять калмыков. Просьба была исполнена. Бахметев должен был, с одной стороны, охранять Аюку, а с другой – смотреть, чтоб хан и калмыки его с турецкими подданными не ссорились и без указа государева не входили с ними в мирные договоры, пересылок тайных и письменных не имели. Второе поручение выполнять было очень трудно: между кубанскими татарами и кабардинцами происходили войны, в которые втягивались и калмыки, особенно сын Аюки. Бахметев писал, что сам хан – «человек умный и рассудительный, а сын его, Чапдержап, другого состояния, но улусом и детьми люден». В этих войнах принимал участие известный уже нам товарищ Булавина Игошка Некрасов, бежавший на Кубань; в 1717 году некрасовцы и кубанцы были разбиты кабардинцами и калмыками, Некрасов был взят в плен, но чрез три дня отпущен. Аюка жаловался Бахметеву, что над сыном своим Чапдержапом и другими тайшами не имеет воли: они бы и еще больше своевольничали, если б не знали, что царское величество к нему, хану, милостив и для его охранения прислал своих служилых людей. Чапдержап говорил посланцу Бахметева: «Бахметев не велит ходить на кубанцев, а кубанцы русских людей и калмыков разоряют, а мне русских людей и калмыков жаль и хочу кубанцев разорить без остатка; турецкого султана и крымского хана они мало и слушают; я рад хотя с собакою идти на кубанцев, а Бахметева и других никого слушать не буду, буду слушать указу царского величества, каков будет прислан за государевою подписью и печатью с денщиком, который бы мог между мною и кубанцами рассудить, за дело ли я с ними ссорюсь или нет».

Осенью 1723 года между калмыками произошла усобица. Чапдержап умер, оставивши несколько сыновей, из которых старший, Досанг, поссорился с младшим, Дундук-Даши, за то, что Досанг не хотел отпустить от себя младшего брата, хотел, чтоб тот кочевал при нем; Дундук-Даши уехал к деду Аюке с жалобой, но улусов его Досанг не отпустил от себя.

В это время у хана Аюки находился капитан. Беклемишев, заступивший место Бахметева. Аюка прислал сказать Беклемишеву, что Досанг, приехавший к нему, Аюке, для мирной, не дожидаясь суда ханского, поехал в свой улус, а сын его, Аюки, Черен-Дундук и внучата Дундук-Омбо и Дундук-Датли идут с войском воевать Досанга. Беклемишев велел отвечать, чтоб Аюка не допускал своих сыновей и внучат до войны, иначе навлечет на себя гнев императорского

величества; пусть хан рассудит, что Досанг кочует близ Красного Яра и если переберется с улусами своими чрез Бузан к Астрахани, то императорские войска из этого города будут его охранять и воевать без императорского указа не допустят, потому что Досанг послал просить суда у его императорского величества, и всем им надобно просить суда у его же величества, а не самим друг с другом управляться. Этот ответ не понравился Аюке, и он прислал к Беклемишеву с выговором: «По указу его императорского величества велено тебе быть при мне, и охранять меня, и моих улусных людей в обиду никому не давать; а ты мне ни в чем не помогаешь, и я буду жаловаться на тебя его императорскому величеству». Беклемишев отвечал: «Я при тебе для донесения императорскому величеству о службе и верности твоей; если ты мне объявляешь о обидах твоим улусным людям от русских людей, то я пишу в города к командирам, которые дают суд и оборону; объяви, в чем мое неохрание и какие улусным людям твоим обиды?» «Не помогаешь ты мне в ссоре внучат моих, – велел сказать хан, – не требуешь из городов войск, которые прежде были при мне; и если б они теперь были с тобою при мне, то внучата мои, боясь их, волю мою исполняли бы». «Войска, назначенные для твоего охранения, – отвечал Беклемишев, – находятся в Астраханском гарнизоне, о чем к тебе писано в грамоте императорской, и если тебе надобны будут войска, то ты должен писать к астраханскому губернатору, причем и я писать буду; только теперь ниоткуда на тебя нападения нет, а если хочешь войск на внука своего Досанга, то послать их без указа императорского величества никто не может». После этого Аюка призвал к себе Беклемишева и говорил ему: «Требую вашего совета, что мне делать со внучатами?» «Надобно их удерживать от войны», – отвечал Беклемишев. «Они меня не послушаются», – сказал хан. «Если они вас не слушаются, – отвечал Беклемишев, – то надобно вам писать императорскому величеству, чтоб велел их развести, и в Астрахань писать, чтоб императорские войска до указа не допускали их биться». «Благодарен за совет, – сказал Аюка, – только я не надеюсь, чтоб астраханский губернатор пожелал мне добра, он держит сторону Досангову, потому что взял с него сто лошадей». Аюка написал, однако, в Астрахань, послал и к сыну своему, чтоб не ходил войною на Досанга, а к последнему просил съездить Беклемишева. Тот поехал и услышал от Досанга: «Я без императорского указа сам не нападу, а если на меня нападут, то противиться буду». Беклемишев писал Головкину: «Ссора Досанга с братом непременно окончилась бы, но хан Аюка не желает, чтоб внучата его, Чандержаповы дети, жили вместе, хочет он их развести и этим обессилить Досанга, а сделать сильнее всех сына своего Черен-Дундука; и хотя он мне объявлял, что желает примирения, но делает это лукавством. По моему мнению, никак не надобно допускать Досанга до крайнего разорения; если его оставить и этим усилить Черен-Дундука, то последний будет в воле ханского внука Дундука-Омбо, который императорскому величеству очень неверен и весь крымской партии; и если мы Досанга в таком злом случае оставим, то уже никто из владельцев не будет иметь надежды на охранение от его величества».

В том же смысле писал императрице Екатерине и астраханский губернатор, известный Волынский: «Между Досангом и Дундук-Даши в медиацию вступил хан Аюка и по многим пересылкам и съездам так их помирил, что один другого ищут смерти, и уже оторвал от Досанга шестерых законных его братьев, тут же и Бату, которого силою к тому принудили, и все идут войною против Досанга, а он

остался только с тремя братьями; против его ж, Досанга, идут и дети ханские, оба с ханскими войсками, с ними ж и внук ханский Дундук-Омбо с своими войсками. И так хан, сплетчи сие, прислал ко мне с объявлением о сей ссоре и что он сколько мог трудился и мирил, но не мог смирить их, что он за несчастье себе причитает, что его никто будто не слушает, а он опасен в том гневу его императорского величества и для того просит меня, чтоб я вступил между внучат его в медиацию и до войны б не допустил их, буде же кто меня не послушает и будет начинать войну, чтоб я с тем поступал, как с неприятелем; но сие, видится мне, только одна политика, и может быть, что хочет ведать, как с моей стороны к Досангу поступлено будет; а с другой стороны, говорил про меня хан, будто за секрет, с Васильем Беклемишевым, что я держу партию Досангову и взял с него себе сто лошадей, что, ежели правда, изволил бы его императорское величество приказать меня самого на сто частей рассечь; а не только брать, истинно о том и не слыхал, только в прошлом году Досанг прислал ко мне две лошади, и то истинно такие, что обе не стоят больше 10 рублей, из которых одна и теперь жива, на которой воду возят. Я чаю, что редкий так несчастлив, как я, и от своих, и от чужих за то, что не делаю по их волям; а хан Аюка, может быть, за то сердится, что я не плутую с ним вместе, и хотя ныне есть на меня гнев его императорского величества, однакож уповаю на бога, что со временем изволит его величество сам милостивейше усмотреть мою невинность; и хотя оный плевел и сеет на меня хан, однакож я, несмотря на сие, ведая мою чистую совесть, буду всеми мерами трудиться, чтоб Досанга до разорения не допустить, а для того ныне послал к нему по прошению его пять пуд пороху и пять пуд свинцу (и то сделал тайно от хана, о чем, чаю, и не проведают), понеже я смотрю на то, чтоб между ханом и Досангом баланс был, а ежели тот или другой из них придет в силу, тогда трудно иного будет по смерти Аюкиной учинить ханом. Итак, я принужден ныне ехать за Красный Яр в степь, где соединились Досанговы улусы, а для устрашения им взял 200 человек солдат да 50 человек драгун и 100 человек козаков донских».

В 50 верстах от Астрахани, на реке Берекете, калмыки Аюкины напали на Досанга: огненный и лучной бой продолжался с утра до третьего часа пополудни, когда на место битвы приехал Волынский и развел сражающихся. «В этой игрушке, – писал Волынский Головкину, – думаю, что с обеих сторон пропало около ста человек, а раненых и больше, в плен взяли Досанговы калмыки 14 человек, но у Досанга будет недочету около 6000 кибиток с лошадьми и скотом; я еще захватил кибиток с 2000 с женами и переправил через две реки к Красному Яру, а то бы и те совсем пропали – одним словом сказать, если б не ускорили наши несколькими часами, то здешних (калмыков) и духу небыло бы. Я думал, что эта ссора будет вредить нашему интересу, однако надеюсь, что по этому случаю многие сделаются христианами; у меня об этом уже говорено, и надеюсь убедить кого-нибудь из Чапдержаповых детей, а дела их можно поправить со временем без всякого труда». В феврале 1724 года умер Аюка, и в мае Петр послал приказание Волынскому ехать в калмыцкие улусы и на место Аюки определить в ханы из калмыцких владельцев Доржу Назарова, у которого в 1722 году взят реверс, что когда он будет определен в ханы, то даст в аманаты сына своего; чтоб этот реверс теперь Доржа подтвердил и сына своего в аманаты отдал; если же калмыцкие владельцы не захотят выбрать его, Доржу. в ханы, то склонять их к тому ласкою и подарками; если же и это не поможет, то действовать против

них войском, как против неприятелей. Волынский отправился в Саратов, откуда в конце июля писал Остерману: «Дело мое зело непорядочно идет, и по се время нималого основания не могу сделать, понеже калмыки все в разноте и великая ныне между ними конфузия, так что сами не знают, что делают, и что день, то новое, но ни на чем утвердиться невозможно, и верить никому нельзя, кроме главного их Шахур-ламы да Ямана, которые, видится, в своем обещании в верности постоянны, только перед другими малолюдны; и затем и на лучшего Доржу Назарова, как вижу по всем его поступкам, худая надежда, и по се время не мог его видеть: всегда отговаривается каракалпаками, что ему будто оставить улусов нельзя, а мне к нему ехать невозможно затем, что прочие все и паче подозрительны будут. Сего моменту Шахур-лама и Яман прислали ко мне с тем, что ханская жена сына своего Черен-Дундука склонила в партию к Дундук-Омбе, и Дундук-Омбо намерен разорять улусы их и, соединяся с ханскою женою, итить сильно чрез линию, хотя в том войска наши и препятствовать будут; и уже Шахур-лама и Яман идут с улусами своими для охранения сюда, к Саратову. И хотя может быть, что чрез линию бригадир Шамардин и не перепустит, но когда легкие будут маячить против линии, а прочие станут перебираться Волгу, то как возможно и кем удержать их? Посланы от меня к Дундук-Омбе и к Дундук-Даши астраханский дворянин, а к ханской жене и Черен-Дундуку – саратовский, через которых, как мог, обнадеживал, а что сделается – не знаю. Дай боже, чтоб сие их намерение отменилось, как уже много того было; но ежели не склонятся ныне, а будет время приближаться к зиме, то что им будет иное делать, кроме того, что куда-нибудь будут способны искать, а Волга им всего легче! Того ради, государь мой, прошу вас показать ко мне милость, чтоб повелено было несколькими полкам драгунским из команды князя Михайла Михайловича (Голицына) стать на Дону, а бригадир Шамардин чтоб содержал линию, также и по Волге занял пасы; и хотя, государь мой, и уничтожено известное мое доношение о пехотных батальонах, а под нынешний случай если б было здесь близко, то б великая была из того польза, понеже такую дикую бестию, кроме страха и силы, ничем успокоить невозможно. Сколько дел, государь мой, Я не имел, но такого бешеного еще не видал, отчего в великой печали; покорно прошу вас, государя моего, милостиво меня не оставить в такой моей напасти по твоему обещанию, как я по древней вашей, государя моего, дружбе вашею ко мне милостию обнадежен».

В урочище Узени Доржа Назаров разбил наголову напавших на него каракалпаков, киргизов и башкирцев и в знак своей победы прислал Волынскому в подарок 415 ушей человеческих. Между тем у дикой бести продолжалась прежняя конфузия: Черен-Дундук надеялся быть ханом, но имел против себя родную мать Дарма-Балу, которая сильно интриговала, манила и Держу Назарова, и Досанга, и больше всего внука мужа своего, Аюки, Дундука-Омбо. Последний мучил всеми улусами и заставил всех присягнуть в послушании ханской жене. Черен-Дундук долго противился присяге, представляя, что она ему мать, которую он и без присяги должен почитать и слушать, наконец присягнул на таком условии, что будет исполнять приказания своей матери, если они не будут противны воле императора. Волынскому давали знать из улусов, что Дундук-Омбо с другими владельцами-родичами уговаривались бежать и отдаться под покровительство крымского хана, но, узнав, что на Дону переправы заняты русскими войсками, приняли намерение прорваться через линию, надеясь, что

русские войска не в состоянии растянуться по ней; для этого приготовили на каждого человека по лопатке и хотят, пришедши к линии, биться с русскими войсками, а между тем жены их и дети будут бросать кибиточные войлоки в ров и засыпать землею с вала. Если и это не удастся, то намерены пересылками с Волынским тянуть время, пока Дон замерзнет, и тогда они убегут в Крым. Дарма-Бала, Черен-Дундук и Дундук-Омбо с другими владельцами присягнули друг другу жить и умереть вместе и отправили на Кубань к Бахты-Гирею султану послов с просьбою, чтоб приходил с кубанскими войсками на линию к ним на помощь. Дундук-Омбо прислал сказать начальствующему на линии бригадиру Шамардину: «Если теперь нам за линию или за Волгу идти не позволишь, то разве нам, калмыкам, и скотине нашей помереть, потому что заперты в такой тесноте, что ни хлеба и ничего другого нет». Волынский писал Остерману: «Покорно вас прошу по милости своей меня охранить, что я не часто пишу, понеже опасен, не разведав подлинно, доносить, а вскоре разведать и узнать ложь с правдою зело трудно, понеже сия бестия бродят в рознице все. И так не хочется в дураках остаться; да то б еще и ничто, только боюсь, чтоб не прияли в иной образ и не подумали, что я стращаю; а ныне я всякого дурака счастливее почитаю, понеже они легче могут ответ дать. Также покорно прошу и в том меня охранить, что я намерен объявить наместничество ханскому сыну Черен-Дундуку, если того крайняя нужда требовать будет, а чаю, без того и обойтись нельзя; понеже и без того над здешними власть ханская худая будет; а еще либо и то случится, что одним другого при случае и потравить можно».

1 сентября 1724 года Волынский съехался с Доржею Назаровым на луговой стороне и спросил его, хочет ли он быть ханом, как ему обещано в 1722 году: Доржа отвечал: «Кто б не желал себе такого великого счастья, и я воле его величества не противен; но как это сделается – не знаю и не надеюсь, потому что по смерти хана Аюки по линии должно быть ханом сыну его Черен-Дундуку или ближним их фамилий, Дундуку-Омбо или Досангу, а я хотя и той же фамилии, но дальше их: итак, если я буду ханом, то они мне послушны не будут, а когда не будут слушать, то какой я хан буду? Если кто из них сделает какую неприятность, то императорское величество изволит на мне взыскивать, а мне их удержать нельзя, потому что перед ними всеми я бессилен». *Волынский* : «Будь только верен, а в том не сомневайся, что на тебе будут взыскивать всякие неприятности, сделанные против твоей воли; слушаться тебя будут, потому что когда объявлен будешь ханом, то все владельцы должны будут тебе присягать, а кто станет противиться, того можно и войсками принудить; императорским указом тебя велено оборонять». *Доржа* : «Все это хорошо, и я очень благодарен за такую высокую милость; но знай, что владельцы нагорной стороны все этому противны; для виду они признают меня ханом, но только все разбегутся кто куда знает да еще мои улусы разорят и самого меня убьют; известно, какой своевольный и бесстрашный народ калмыки». *Волынский* : «Уйти им нельзя, войска наши заступили все дороги; до разорения твоих улусов мы их не допустим». *Доржа*: «Пока ты будешь, – может быть, они меня и не обидят; но тебе не всегда со мною быть». *Волынский* : «Нарочно для тебя буду зимовать в Царицыне и буду держать при тебе донских козаков тысячи две, пока все успокоится; лучше тебе прикочевать поближе к Царицыну, чтоб удобнее тебя защищать; но скажи, в ком ты больше всего сомневаешься?» *Доржа* : «Поближе к Царицыну можно

прикочевать; но и пятью тысячами козаков всех улусов не закрыть, и войска ваши пропадут, и я пропаду, а сомневаюсь я во всех равно». *Волынский* : «Ты опасешься Черен-Дундука и его матери Дарма-Балы; нельзя ли так сделать: Черен-Дундука объявить наместником ханским, чтоб все владельцы нагорной стороны были ему послушны, а он тебе, а на матери его ты женись». Доржа согласился, хотя сначала отговаривался от женитьбы, представляя старость ханши, которую он почитает, как мать. Волынский думал, что дело улажено, потребовал, чтоб Доржа по прежнему обещанию отдал сына своего в аманаты; калмык отвечал: «Лучше тогда мне сына своего отдать, когда ханом сделан буду; а теперь прежде времени, ничего не выдав, как можно мне сына своего отдать? Сына лишусь, а ханом быть не допустят другие владельцы, и хотя буду назван ханом, а никто слушаться не будет, то что в моем ханстве?» *Волынский* : «Пока не возьму от тебя сына, ханом тебя объявлять не буду; не теряй напрасно времени, говори прямо: дашь или не дашь?» *Доржа* : «Один не могу отдать; буду советоваться с женою и с большим сыном». С этим и расстались. И через несколько дней Доржа дал знать, что сына не отдаст и ханом быть не хочет, после чего откочевал в степь к Яику.

Приехал Шахур-лама, и Волынский стал с ним советоваться насчет Черен-Дундука. Лама говорил: «По нынешним поступкам Черен-Дундука можно надеяться, что и впредь императорскому величеству будет верен и никуда не уйдет; простые калмыки с Волгою, Яиком и Доном ни за что расстаться не хотят и всякого владельца, который бы захотел уйти, конечно, одного оставят; а если Черен-Дундук задумает что-нибудь недоброе, то я донесу, тогда его и переменить можно будет». После этого разговора Волынский поехал к ханше и объявил, что император повелел до указа объявить сына ее Черен-Дундука ханским наместником; он должен принести присягу и дать реверс за своею подписью. Ханша рассмеялась и, обратясь к своим, сказала: «Ничего не видя, уже велят подписываться!» «А где императорская грамота?» – спросила она, обратясь к Волынскому. Тот отвечал: «Грамота отдана будет после; я приехал теперь только изъяснить вам свое почтение». «Пришли ко мне грамоту императорскую, – сказала ханша, – что нам можно сделать, в том мы послушаемся, а чего нельзя и почему нельзя, о том будем писать императору, и получа указ, будем по нему поступать, а без того детей своих приводить к присяге не стану. Кто из нас, ты или я, честнее и к кому государь и государыня милостивее?» «Я прислан его величеством не честью считаться, а об ваших делах говорить», – отвечал Волынский и, возвратясь домой, сочинил требуемую грамоту и отослал к ханше.

«Я ныне принужден, – писал Волынский Остерману, – объявлять наместничество впредь до указа Аюкину сыну Черен-Дундуку, понеже необходимая нужда того требует для того, что Дундук-Омбо всячески трудится, чтоб никому ханом не быть, и ханскую жену так наострил, что она не только иного, ни сына своего допустить не хочет, причитая себе и то за обиду, и если наместничеством Черен-Дундука от него Дундук-Омбы не оторвать, то от них и впредь, кроме противности, никакой пользы надеяться невозможно. Хотя знатные калмыки доброжелательные равно почитают его и Досанга, что и самая правда, понеже они оба и глупы и пьяны, а Черен-Дундук видится еще поглупее, он же и с эпилепсиею; однако улусами своими мало не вдвое сильнее Досанга, а к тому ж много при нем и людей умных и добрых, в том числе и Шахур-лама, который к его

императорскому величеству является зело усерден и многие в том прямые пробы показал, а в калмыцком народе он сильнее всякого хана, и все его так содержат, как бы уже святого; и другие есть такие, кому можно поверить и с ними все делать, понеже у них знатные Зайсанги в народе больше имеют силу, нежели их владельцы, а владельцы без общего согласия ни один, кроме Дундук-Омбы, собою ничего делать не может, что никогда и Аюка не делывал, а что хотел, то все делывал через своих креатур, которые как надувают народу в пустые головы, так и делается; а в Досанговых улусах дельный один Билютка, и тот только на свой интерес, а впрочем, трудно поверить, и если его императорское величество изволит пожаловать Досанга главным, то, конечно, наделает Билютка между ими столько пакостей, что потом трудно и разобрать будет».

16 сентября приехал к Волынскому Черен-Дундук с родственниками и знатными калмыками. Губернатор объявил ему, что если он желает быть наместником ханским, то должен присягнуть: 1) служить императорскому величеству верно и все чинить по его указам; 2) противности никакой не чинить и прочих владельцев к тому не допускать, а за кем какое зло уведает, о том заблаговременно доносить; 3) с неприятелями императорского величества никакого дружелюбия не иметь и с чужестранными без указа пересылок не иметь; 4) суд и справедливость чинить надлежащую, никого до разорения не допускать, кражи и воровства всеми мерами искоренять и в том никого не жалеть; 5) татар никаких в своих улусах не держать и прочих владельцев до того не допускать. Черен-Дундук начал говорить: «Если императорское величество будет жаловать так, как и отца моего хана Аюку, то я без присяги буду служить ему верно». «Так с гсударем договариваться нельзя, – отвечал Волынский, – надобно тебе служить верно, и когда его величество изволит увидеть твою верность и службы, тогда в высокой его милости оставлен не будешь». Калмыки всего сильнее стояли против пункта, запрещавшего им ссориться с чужими народами без позволения русского правительства, наконец согласились, и 19 числа Черен-Дундук присягнул, а на другой день последовало торжественное объявление его ханским наместником. Тут же Досанг помирился с родственниками и на радостях пил вместе с Черен-Дундуком целые сутки.

Черен-Дундук был доволен; но не была довольна его мать. Дарма-Бала приехала к сыну и стала ему выговаривать, для чего он бежал от ее стороны, держит сторону Досанга и слушается Волынского; расплакалась, драла себе лицо и волосы и, выдрав несколько волос, бросила их на Черен-Дундука, приговаривая, что эти выдранные волосы по смерти взыщутся на нем. Волынскому дали знать, что Дарма-Бала, Дундук-Омбо, Доржа Назаров и другие калмыцкие владельцы намерены весною будущего, 1725 года откочевать к независимым от России калмыкам; Дарма-Бала уговаривает к тому же и Черен-Дундука, но он не соглашается. Шахур-лама жаловался Волынскому, что он был миротворцем между Досангом и его родственниками, но вместо благодарности обе стороны на него сердятся. «Теперь, – говорил лама, – все владельцы у нас люди молодые, не знают над собою страха и уклонились в непостоянство; станешь их успокаивать, а они за это сердятся; если ты их не уймешь, то будешь виноват в послаблении». Волынский отвечал: «Ты у них главная духовная персона; если ты их не успокоишь, то мне как это сделать? Тут нечего делать, когда ваши владельцы любят воровство и ложь; кто вор и разбойник, того называют добрым человеком и

воином, а лжеца умным; при этом как вашему народу быть спокойну?» «Сущая правда, – сказал Шахур-лама, – теперь в нашем народе завелся кабардинский обычай, и со временем калмыки будут такие же кровомстителю, как и настоящие кабардинцы, и для этого калмыкам надобно заблаговременно просить императора, чтоб велел их привести в доброй порядок и возмутителей смирить; но об этом мне, как монаху, просить неприлично». Нуждаясь в помощи Шахур-ламы, Волынский боялся сильно действовать для распространения христианства между калмыками, как от него требовал Сенат. Сенат приказывал объявить Досангу, что ему не отдадут взятых у него родственниками улусов до тех пор, пока он не примет христианства. Волынский отвечал: «Хотя буду трудиться и склонять его, но если он не захочет, то никакими мерами нельзя его улусов удержать». Об этом доложили в Сенате самому государю и Петр, подписал «отдать каждому свое». Сенат прибавил: что если Досанг захочет креститься, то его крестить, а если не захочет, то не принуждать и улусы отдать без задержания, к крещению же склонять его ласкою, а не принуждением.

Такие хлопоты доставляла Средняя, степная Азия новой империи в лице своих представителей, калмыков, которым нравились привольные кочевья между Волгой, Яиком и Доном, но не нравилось то, что за эти приволья они должны были платить свободою: европейское государство наложило на них свою руку, и, чтоб высвободиться из-под этой руки, калмыцкие владельцы рвались к своим или на восток, к независимым от России калмыкам, или на запад, к Крыму. Важное значение для них в этом отношении имела Кубанская Орда, и русское правительство должно было зорко смотреть на нее: отсюда ждали помощи недовольные калмыки, сюда бежали с Дону козаки, которым не удалось отстоять свою волю от Москвы. Во время Турецкой войны 1711 года нужно было сдержать кубанцев, и в их землю предпринимал удачный поход казанский и астраханский губернатор Петр Матвеевич Апраксин: он опустошил страну и разбил татар, возвращавшихся с большим полоном из Саратовского и Пензенского уездов: 2000 русских людей получили свободу. Мир с Турциею, строго соблюдаемый с русской стороны, не сдерживал кубанцев – номинальных подданных султана. В 1717 году кубанский владелец Бахты-Гирей напал на Пензенский уезд и побрал в плен несколько тысяч народа. Отношения к Кубани, важные для безопасности юго-восточной украины, заставляли обращать внимание на Кабарду, народонаселение которой находилось в постоянной вражде с кубанцами. Мы видели, что еще с XVI века, когда русские границы достигли устьев Волги через покорение Астрахани, Россия волею-неволею должна была вмешиваться в дела кавказских народов. Интересы трех больших государств – России, Турции и Персии – сталкивались на перешейке между Черным и Каспийским морями среди варварского, раздробленного, порозненного в вере народонаселения, части которого находились в постоянной борьбе друг с другом. Россия, призываемая на помощь христианским народонаселением, не могла позволить усилиться здесь магометанскому влиянию, особенно турецкому; а теперь, в эпоху преобразования, имевшую целью развитие промышленных сил народа, к интересам религиозным и политическим присоединился интерес торговый, стремление обеспечить русскую торговлю в стране, издавна обогащавшей купцов московских.

Турецкая война 1711 года и после постоянный страх перед ее возобновлением должны были обращать внимание Петра на Кавказский перешеек. Кубанской Орде

хотели противопоставить Кбарду, и с этою целью в 1711 году отправился туда князь Александр Бекович-Черкасский, который уведомил Петра, что черкесские владельцы, прочтя царскую грамоту, изъявили готовность служить великому государю всею Кабардой. «По этому уверению, – писал Черкасский, – я их к присяге привел по их вере». Турки действовали с своей стороны. В 1714 году тот же Черкасский дал знать, что посланцы крымского хана склоняют в турецкое подданство вольных князей, владеющих близ гор между Черным и Каспийским морями, обещая им ежегодное жалованье. В Большой Кабарде ханские посланцы не имели успеха, но князья кумыцкие прельстились их обещаниями, вследствие чего встало волнение в стране. Черкасский писал, что турки намерены соединить под своею властью все кавказские народы вплоть до персидской границы: «И ежели оное турецкое намерение исполнится, то, когда война случится, могут немалую силу показать, понеже оный народ лучший в войне, кроме регулярного войска. Ежели ваше величество соизволите, чтоб оный народ не допустить под руку турецкую, но паче привести под область свою, то надлежит, не пропуская времени, о том стараться; а когда уже турки их под себя утвердят, тогда уже будет поздно и весьма невозможно того чинить. А опасности никакой в превращении их не будет, понеже народ там вольный есть и никому иному не присутствует, но паче вам есть причиненный: наперед сего из тех кумыцких владельцев шевкалов в подданство для верности вашему величеству и детей своих в аманаты давывали; токмо незнанием или неискусством воевод ваших сей интерес государственный по се время оставлен. И ежели, ваше величество, соизволите приклонить тех народов пригорных под свою область, немалый страх будет в Персиде во всей, и могут во всем вашей воли последовать».

Черкасский отправился в Хиву, и мы видели печальный конец его там. В сношениях с народами Кавказского перешейка явился другой, более искусный и счастливый деятель – Артемий Петрович Волинский.

В 1715 году Волинский отправлен был посланником в Персию, чтоб быть при шахе впредь до указа на резиденции. Он получил инструкцию: едучи по владениям шаха персидского как морем, так и сухим путем, все места, пристани, города и прочие поселения и положения мест, и какие где в море Каспийское реки большие впадают, *и до которых мест по оным рекам мочно ехать от моря, и нет ли какой реки из Индии, которая б впала в сие море,* и есть ли на том море и в пристанях у шаха суды военные или купеческие, також какие крепости и фортеции – присматривать прилежно и искусно проведывать о том, *а особливо про Гилян и какие горы и непроходимые места, кроме одного нужного пути (как сказывают), отделили Гилян и прочие провинции по Каспийскому морю, лежащие от Персиды,* однакож так, чтобы того не признали персияне, и делать о том секретно журнал повседневный, описывая все подлинно. Будучи ему в Персии, присматривать и разведывать, сколько у шаха крепостей и войска и в каком порядке и не вводят ли европейских обычаев в войну? Какое шах обхождение имеет с турками, и нет ли у персов намерения начать войну с турками, и не желают ли против них с кем в союз вступить? Внушать, что турки – главные неприятели Персидскому государству и народу и самые опасные соседи всем и царское величество желает содержать с шахом добрую соседскую приязнь. Смотреть, каким способом в тех краях купечество российских подданных размножить и нельзя ли через Персию учинить купечество в Индию. Склонять

шаха, чтоб повелено было армянам весь свой торг шелком-сырцом обратить проездом в Российское государство, предъявляя удобство водяного пути до самого С.-Петербурга, вместо того что они принуждены возить свои товары в турецкие области на верблюдах, и *буде невозможно то словами и домогательством сделать, то нельзя ли дачею шаховым ближним людям; буде и сим нельзя будет учинить, не мочно ль препятствия какова учинить Смирнскому и Аленскому торгам, где и как?* Разведывать об армянском народе, много ли его и в которых местах живет, и есть ли из них какие знатные люди из шляхетства или из купцов, и каковы они к стороне царского величества, обходиться с ними ласково и склонять к приязни; также осведомиться, нет ли каких иных в тех странах христианских или иноверных с персами народов и, ежели есть, каковы оные состоянием?»

В марте 1717 года Волынский приехал в Испагань, претерпевши на дороге большие трудности и неприятности. «Уже меня редкая беда миновала», – писал он канцлеру. В Испагани сначала он был принят не дурно, но через несколько дней, не объявляя ничего, заперли его в доме, приставили такой крепкий караул, что пресекли всякое сообщение, и это продолжалось полтора месяца, а когда узнали о прошлогоднем приходе князя Черкасского на восточный берег Каспийского моря и о строении крепостей, то заперли еще крепче; пошли слухи, что несколько тысяч русского войска впало в Гилян и что множество калмыков находится около Терека. Три раза Волынский был у шаха Гуссейна, имел несколько конференций с визирем; с персидской стороны соглашались на все предложения посланника и вдруг позвали его на последнюю аудиенцию и объявили отпуск. Все представления Волынского остались тщетными; он возражал, что не может ехать, не окончив дел; ему отвечали, что дела будут кончены по его желанию, только бы теперь взял шахову грамоту к царю. «Этому трудно верить, – писал Волынский, – ибо здесь такая ныне глава, что он не над подданными, но у своих подданных подданный, и, чаю, редко такого дурачка можно сыскать и между простых, не токмо коронованных; того ради сам ни в какие дела вступать не изволит, но во всем положился на своего наместника Ехтма-Девлета, который всякого скота глупее, однако у него такой фаворит, что шах у него изо рта смотрит и что велит, то делает. Того ради здесь мало поминается и имя шахово, только его, прочие же все, которые при шахе ни были поумнее, тех всех изогнал, и ныне, кроме его, почти никого нет, и так делает, что хочет, и такой дурак, что ни дачею, ни дружбою, ни рассуждением подойти невозможно, как уже я пробовал всякими способами, однако же не помогло ничто. Как я слышал, они так в консилие положили, что меня здесь долго не держать того ради, чтоб не узнал я состояния их государства; но хотя б еще и десять лет жить, больше уже не о чем проведывать, и смотреть нечего, и дел никаких не сделать, ибо они не знают, что такое дела и как их делать, притом ленивы, о деле же ни одного часа не хотят говорить; и не только посторонние, но и свои дела идут у них беспутно, как попало на ум, так и делают безо всякого рассуждения; от этого так свое государство разорили, что, думаю, и Александр Великий в бытность свою не мог войною так разорить. Думаю, что сия корона к последнему разорению приходит, если не обновится другим шахом; не только от неприятелей, и от своих бунтовщиков оборониться не могут, и уже мало мест осталось, где бы не было бунта; один от другого все пропадают, а тут и я с ними не знаю за что пропадаю;

не пьянством, не излишеством, но самую нищетою нажил на себя по сие время четырнадцать тысяч долгу. Думаю, меня бог определил на погибель, потому что и сюда с великим страхом ехал, а отсюда еще будет труднее по здешнему бесстрашию. Поеду через Гилян, хотя там теперь и моровое поветрие, поеду, чтоб тот край видеть. Другого моим слабым разумом я не рассудил, кроме того, что бог ведет к падению сию корону, на что своим безумством они нас влекут сами; не дивлюсь, видя их глупость, думаю, что это божия воля к счастью царскому величеству; хотя настоящая война наша (шведская) нам и возбраняла б, однако, как я здешнюю слабость вижу, нам без всякого опасения начать можно, ибо не только целою армиею, но и малым корпусом великую часть к России присовокупить без труда можно, к чему удобнее нынешнего времени не будет, ибо если впредь сие государство обновится другим шахом, то, может быть, и порядок другой будет».

Волынский выехал из Испагани 1 сентября 1717 года, заключив перед отъездом договор, по которому русские купцы получили право свободной торговли по всей Персии, право покупать шелк-сырец повсюду, где захотят и сколько захотят. Посланник зимовал в Шемахе и здесь имел досуг еще лучше изучить состояние Персидского государства и характер его народонаселения. Сознание своей слабости наводило сильный страх перед могущественною Россиею, ждали неминуемой войны и верили всяким слухам о сосредоточении русских войск на границах. В начале 1718 года в Шемахе с ужасом рассказывали друг другу, что в Астрахань царь прислал 10 бояр с 80000 регулярного войска, что при Тереке зимует несколько сот кораблей. Шемахинский хан пользовался этими слухами, чтоб не выходить с войском на помощь шаху, и когда Волынский замечал, что хан может поплатиться за это, то ему отвечали: «Хану ничего не будет, у нас никому наказанья нет, и потому всякий делает, что хочет: когда нет страха, чего бояться?» В Шемаху приехал к Волынскому грузинец Форседан-бек, с которым посланник видался и в Испагани. Этот Форседан-бек служил у грузинского князя Вахтанга Леоновича, который по принятии магометанства сделан был главным начальником персидских войск. Вахтанг прислал Форседан-бека с просьбою к Волынскому, чтоб тот благодарил царя за милости, оказанные в России его родственникам, и просил, чтоб православная церковь не предала его, Вахтанга, проклятию за отступничество: он отвергся Христа не для славы мира сего, не для богатства тленного, но только для того, чтоб освободить семейство свое из заключения, и хотя он принял мерзкий закон магометанский, но в сердце останется всегда христианином и надеется опять обратиться в христианство с помощью царского величества. «Пора, – говорил Форседан, – государственные дела делать, пиши через меня к Вахтангу, как ему поступать с персиянами, а если ты пробудешь здесь, в Шемахе, до осени, то Вахтанг к этому времени совсем управится». Форседан говорил так, как будто Волынский прислан воевать с персиянами. Посланник заметил ему: «Я прислан не для войны, а для мира; я был бы совершенно сумасбродный человек, если б стал воевать, имея при себе один свой двор». «В Персии не так думают, – отвечал Форседан, – говорят, что ты и город здесь, в Шемахе, себе строишь». В это время в Шемахе узнали, что отправленный Волынским в Россию для доставления государю слона дворянин Лопухин едва спасся от напавших на него лезгинцев, и Форседан говорил по этому случаю Волынскому: «Конечно, царское величество не оставит отомстить

горским владетелям за такую пакость; надобно покончить с этими бездельниками, пора христианам побеждать басурман и искоренить их». Форседан говорил, что шах своим войскам денег не платит, отчего они служить не будут, а узбекскому хану послал в подарок 20000 рублей на русские деньги за то, что узбеки или хивинцы убили князя Александра Бековича-Черкасского. Волынский взял письмо от Вахтанга для доставления тетке его, царице имеретийской, жившей в России, но сам остерегался войти в письменные сношения с главнокомандующим персидскою армиею.

Как видно, были люди, выставлявшие на вид неуспешность действия Волынского в Персии; по возвращении в Россию в начале 1719 года Артемий Петрович счел нужным написать, известное уже нам письмо к Макарову с просьбою донести государю и государыне о его разорении, десперации, одинокости и пустоте, злой ненависти и брани к нему от многих. Брань многих не имела, однако, следствий, и в том же году Волынский был сделан астраханским губернатором. 22 марта 1720 года новому губернатору Петр дал наказ в следующих пунктах: 1) чтоб принца грузинского искать, склонить, так чтоб он в потребное время был надежен нам, и для сей посылки взять из грузинцев дому Арчилова. 2) Архиерея для всяких там случаев, чтоб посвятить донского архимандрита. 3) Офицера выбрать, чтоб, или туды, или назад едучи сухим путем от Шемахи, верно осмотрел путь, удобен ли. Также живучи в Шемахе, будто для торговых дел (как положено с персы), всего присматривать. 4) Чтоб неудобный путь из Терека до Учи сыскать, как миновать, и буде нельзя землю, чтоб морем, для чего там надобно при море сделать крепость и помалу строить магазейны, амбары и прочее, дабы в удобном случае за тем не было остановки. 5) Суды наскоро делать, прямые, морские, и прочее все, что надлежит к тому, помалу под рукою готовить, дабы в случае ни за чем остановки не было, однакож все в великом секрете держать. В сентябре того же года отправлен был в Персию капитан Алексей Баскаков с наказом: «Ехать в Астрахань и оттуда в Персию, под каким видом будет удобнее, и поступать таким образом: 1) ехать от Терека сухим путем до Шемахи для осматривания пути: удобен ли для прохода войска водами, кормами конскими и прочим? 2) От Шемахи до Апшерона и оттуда до Гиляни смотреть того же, осведомиться также и о реке Куре. 3) О состоянии тамошнем и о прочих обстоятельствах насматриваться и наведываться и все это делать в высшем секрете».

В 1721 году Волынский ездил в Петербург; неизвестно, был ли он вызван или сам приехал, узнавши о возможности прекращения Северной войны и, следовательно, о возможности начать войну персидскую. Как видно, он возвратился из Петербурга в ожидании скорой южной войны и приезда царского в Астрахань, потому что 23 июня писал царице Екатерине: «Вашему величеству всепокорно доношу. В Астрахань я прибыл, которую вижу пусту и совсем разорену поистине так, что хотя бы и нарочно разорять, то б больше сего невозможно. Первое, крепость здешняя во многих местах развалилась и худа вся; в полках здешних, в пяти, ружья только с 2000 фузей с небольшим годных, а прочее никуда не годится; а мундиру как на драгунах, так и на солдатах, кроме одного полку, ни на одном нет, и ходят иные в балахонах, которых не давано лет более десяти, а вычтено у них на мундир с 34000 рублей, которые в Казани и пропали; а провианту нашел я только с 300 четвертей. Итак, всемилостивейшая

государыня, одним словом донести, и знаку того нет, как надлежит быть пограничным крепостям, и, на что ни смотрю, за все видимая беда мне, которой и миновать невозможно, ибо ни в три года нельзя привести в добрый порядок; а куда о чем отсюда написано, ниоткуда никакой резолюции нет, и уже поистине, всемилостивая мать, не знаю, что и делать, понеже вижу, что все останутся в стороне, а мне одному, бедному, ответственность будет. Не прогневайся, всемилостивейшая государыня, на меня, раба вашего, что я умедлил присылкою к вашему величеству арапа с арапкою и с арапчонкою, понеже арапка беременна, которая, чаю, по двум или по трем неделях родит, того ради боялся послать, чтоб в дороге не повредилась, а когда освободится от бремени и от болезни, немедленно со всем заводом отправим к вашему величеству».

Обезопасив себя этим письмом насчет могущих быть упреков в дурном состоянии вверенного ему города, Волынский продолжал писать Петру о необходимости действовать в Персии и на Кавказе вооруженною рукою, а не политикою. Как видно, в Петербурге внушено было Волынскому, что до окончания шведской войны трудно начать непосредственно войну персидскую, но что он может ускорить распадение Персии поднятием зависевших от нее народов кавказских; 15 августа Волынский писал царю: «Грузинский принц (Вахтанг) прислал ко мне и к сестре своей с тем, чтоб мы обще просили о нем ваше величество, дабы вы изволили учинить с ним милость для избавления общего их христианства, и показывает к тому способ: 1) чтоб ваше величество изволили к нему прямо в Грузию ввести войск своих тысяч пять или шесть и повелели засесть в его гарнизоны, объявляя, что он видит в Грузии несогласие между шляхетством; а ежели войска ваши введены будут в Грузию, то уже и поневоле принуждены будут многие его партию взять. 2) Чтоб для лучшего ему уверения изволили сделать десант в Персию тысячах в десяти или больше, чтоб отобрать у них Дербент или. Шемаху, а без того вступить в войну опасен. 3) Просил, чтоб изволили сделать крепость на реке Тереке между Кабарды и гребенских козаков и посадить русский гарнизон для свободной с Грузиею коммуникации и для его охранения. И как видится, государь, по моему слабому мнению, все его предполагаемые резоны не бессильны. Вахтанг представляет о слабом нынешнем состоянии персидском, и какая будет вам собственная из оной войны польза, и как персияне оружию вашему противиться не могут; ежели вы изволите против шаха в войну вступить, он, Вахтанг, может поставить в поле своих войск от 30 до 40000 и обещается пройти до самой Гиспагани, ибо он персиян бабами называет».

Считая резоны одного грузинского принца небессильными, Волынский не советовал сближаться с владельцами других иноверных народов Кавказа и указывал на оружие как на единственное средство держать их в страхе и подчинении русским интересам. О владельце тарковском шевкале Алдигирее Волынский писал Петру: «На него невозможно никакой надежды иметь вам, ибо весьма в стороне шаховой; вижу по всем делам его, что он плут, и потому зело опасно ему ваше намерение открывать, чтоб он прежде времени не дал о том знать двору шахову, и для того я не намерен иметь с ним конгресс, как ваше величество мне повелели. И мне мнится, здешние народы привлечь политикою к стороне вашей невозможно, ежели в руках оружия не будет, ибо хотя и являются склонны, но только для одних денег, которых (народов), по моему слабому мнению, надобно бы так содержать, чтоб без причины только их не озлоблять, а верить никому

невозможно. Также кажется мне, и Дауд-бек (лезгинский владелец) ни к чему не потребен, он отвечает мне, что, конечно, желает служить вашему величеству, однакож чтоб вы изволили прислать к нему свои войска и довольное число пушек, а он отберет города у персиян, и которые ему удобны, то себе оставит (а именно Дербент и Шемаху), а прочие уступает вашему величеству, кои по той стороне Куры-реки до самой Испагани, чего в руках его никогда не будет, и тако хочет, чтоб ваш был труд, а его польза».

Прежде местность Ендери, слывшая у русских под именем Андреевой деревни, и Аксай принадлежали Таркам; но один из шевкалов тарковских поделил их между своими сыновьями, и в описываемое время в Андреевой деревне было семь владельцев, отличавшихся разбойничьим характером; народонаселение состояло из помеси разных соседних народцев, в том числе были и русские козаки, бежавшие сюда после неудачи Булавинского бунта. «Мне мнится, – писал Волынский, – весьма бы надобно учинить отмщение андреевским владельцам, отчего великая польза: 1) они не будут иметь посмеяния над нами и впредь смирнее жить будут; 2) оная причина принудит многих искать протекции вашей, и все тамошние народы будут оружия вашего трепетать и за тем страхом вернее будут. Однакож, видится, ныне к тому уже прошло время, идти туда не с кем и не с чем. Надеялся я на Аюкая-хана (калмыцкого), однако ж от него ничего нет, ибо, как вижу, худа его зело стала власть. Також многократно писал я к яицким и к донским козакам, но яицкие не пошли, а донские хотя и были, токмо иного ничего не сделали, кроме пакости оставя прямых неприятелей, андреевских владельцев, разбили улус ногайского владельца султана Махмута, зело вашему величеству потребного, которого весьма озлобили; потом пошли в Кабарду по призыву Араслан-бека и князей Александровых братьев (Александра Бековича-Черкасского), понеже у них две партии, и тако у противной разбили несколько деревень, также и скот отогнали, чем больше привели их между собою в ссору, и, в том их оставя, а себя не богаты, возвратились на Дон». Волынский по обыкновению своему не пропускал случая писать и к царице Екатерине, все выставляя свою неутомимую деятельность, свое трудное, беспомощное положение. Так, писал он к ней от 15 августа: «Всепопданнейше прошу ваше величество показать ко мне, рабу вашему, высокую милость предстательством всемилостивейшему государю, дабы мне повелено было по возвращении моем из Терека быть в будущей зиме ко двору вашего величества, а поистине к тому не так влечет меня собственная нужда, как дела ваши того требуют, ибо надобно везде самому быть, а без того, вижу, ничто не делается; если же впредь ко взысканию, то, чаю, одному мне оставаться будет. Ношу честь паче меры и достоинства моего, однакож клянусь богом, что со слезами здесь бедную жизнь мою продолжаю, так что иногда животу моему не рад, понеже, что ни есть здесь, все разорено и опущено, а исправить невозможно, ибо в руках ничего нет, к тому ж насрал на меня бог таких диких соседей, которых дела и поступки не человеческие, но самые зверские, и рвут у меня во все стороны; я не чаю, чтоб которая подобна губерния делами была здешнему пропастному месту, понеже, кроме губернских дел, война здесь непрестанная, а людей у меня зело мало, и те наги и не вооружены. Также в прочих губерниях определены губернаторам в помощь камериры, рентмейстеры и земские судьи, а у меня никого нет, и во всех делах принужден сам трудиться, так что истинно перо из рук моих не выходит. Еще его

величество изволил показать милость, что пожаловал мне Кикина, от которого в канцелярских делах хотя уже мне некоторая помощь, а то б я мог уже и последнего ума лишиться, ибо всего отвсюды на мне на одном взыскивают, а о чем куда ни пишу, ниоткуда резолюции нет; сверх того, чужестранные дела я должен отправлять и мучить живот свой с такими дикими варварами; также здешнего порта флот, и вся коммерция, и притом рыбные и соляные дела, моего ж труда требуют; и тако ежели, ваше величество, не сотворите надо мною бедным милость, то я поистине или пропаду, или остатнего ума лишен буду; я подпишуся в том на смерть, что не токмо моему такому слабому и малолетнему уму, но, кто б какой остроты ни был, один всех дел управить не может, хотя бы как ни трудился. Однакож не знаю, как и мне больше того трудиться, понеже и так застал уже достаточным чернецом и богомольцем и такую регулу держу, что из двора никуды не выхожу, кроме канцелярии, да изредка в церковь».

В сентябре Волынский получил известие, которое, по его мнению, должно было непременно побудить царя к начатию войны. Распадение Персии началось и с севера и сопровождалось страшным уроном для русской торговли, в пользу которой Петр хлопотал и дипломатическим путем, в пользу которой единственно готов был и воевать. Мы видели, что лезгинский владелец Дауд-бек хотел подняться на шаха с помощью России. Но так как Волынский не подал ему никакой надежды на эту помощь, то он решился не упускать благоприятного времени и начать действия в союзе с казы-кумыцким владельцем Суркаем. 21 июля Дауд-бек и Суркай явились у Шемахи, 7 августа взяли город и стали жечь и грабить знатные дома. Русские купцы оставались покойны, обнадеженные завоевателями, что их грабить не будут; но вечером 4000 вооруженных лезгин и кумыков напали на русские лавки в гостином дворе, приказчиков прогнали саблями, некоторых побили, а товары все разграбили ценою на 500000 рублей; один Матвей Григорьев Евреинов потерял на 170000, вследствие чего этот богатейший в России купец вконец разорился. От Волынского пошло немедленно письмо к царю: «Мое слабое мнение доношу по намерению вашему к начинанию, законнее сего уже нельзя и быть причины: первое, что изволите вступить за свое; второе не против персиян, но против неприятелей их и своих; к тому ж и персиянам можно предлагать (ежели они бы стали протестовать), что ежели они заплатят ваши убытки, то ваше величество паки их отдать можете (т.е. завоеванное), и так можно пред всем светом показать, что вы изволите иметь истинную к тому причину. Также мнится мне, что ранее изволите начать, то лучше и труда будет меньше, а пользы больше, понеже ныне оная бестия еще вне состояния и силы; паче всего опасаясь и чаю, что они, конечно, будут искать протекции турецкой, что им и сделать, по моему мнению, прямой резон есть; что если учинят, тогда вашему величеству уже будет трудно не токмо чужого искать, но и свое отбирать: того ради, государь, можно начать и на предбудущее лето, понеже не великих войск сия война требует, ибо ваше величество уже изволите и сами видеть, что не люди, скоты воюют и разоряют; инфантерии больше десяти полков я бы не желал, да к тому кавалерии четыре полка, и тысячи три нарочитых козаков, с которыми войску можно идти без великого страха, только б была исправная амуниция и довольное число провианта».

Северная война прекратилась, и новому императору ничто не мешало обеспечить русскую торговлю на берегах Каспийского моря. В декабре Петр

отвечал Волынскому: «Письмо твое получил, в котором пишете о деле Дауд-бека и что ныне самый случай о том, что вам приказано предуготовлять. На оное ваше мнение отвечаю, что сего случая не пропустить зело то изрядно, и мы уже довольную часть войска к Волге маршировать велели на квартиры, отколь весною пойдут в Астрахань. Что же пишете о принце грузинском, оного и прочих христиан, ежели кто к сему делу желателен будет, обнадеживайте, но чтоб до прибытия наших войск ничего не зачинали (по обыкновенной дерзости тех народов), а тогда поступали бы с совету». Макаров писал Волынскому: «Здесь о взятии Шемахи согласно с вашим мнением все рассуждают ибо есть присловица крестьянская: когда завладел кто лычком, принужден будет платить ремешком, а надеюсь, что все вскоре сбудется так, как вы писали; а между тем буду стараться о указе, укажет ли вам его величество быть к Москве. Шафранное коренье изволил его величество смотреть, и отдано оное садовникам в оранжерею, и указал к вам отписать, чтоб вы приложили свой труд о разводе хлопчатой бумаги».

В это время Волынского занимали дела в Кабарде, где беспрестанно ссорившиеся друг с другом князьки требовали посредничества астраханского губернатора. От 5 декабря он писал царю: «Я сюда, в козачьи верхние гребенские городки, прибыл, куда некоторые кабардинские князья еще до меня прибыли, затягивая меня к себе, чтоб противную партию им через меня искоренить или по последней мере противных князей выгнать вон, а им в Кабарде остаться одним; однако я им отказал, и что я неволю мирить не буду, и призывал противную им партию ласкою, и так сделалось, что приехал и дядя их, с кем у них ссора, а оный первенство во всей Кабарде имеет, которого с великим трудом из Кабарды я выманил, ибо он зело боялся оттого, что крымскую партию Держал; также при нем приехали мало не все лучшие уздени; и хотя я сначала им довольно выговаривал, для чего они, оставя протекцию вашего величества, приводили в Кабарду крымцев, однакож напоследок-то отпустил им и по-прежнему милостию вашего величества обнадежил и потом помирил их, однакож с присягою, чтоб им быть под протекциею вашею и притом и со взятием верных аманатов. И тако вся Кабарда ныне видится под рукою вашего величества; токмо не знаю, будет ли им из моей медиации впредь польза, понеже между ими и вовеки миру не бывать, ибо житье их самое зверское, и не токмо посторонние, но и родные друг друга за безделицу режут, и, я чаю, такого удивительного дела мало бывало или и никогда; понеже по исследовании дела не сыскался виноватый ни один и правого никого нет, а за что первая началась ссора, то уже из памяти вышло, итак, за что дерутся и режутся, истинно ни один не знает, только уж вошло у них то в обычай, что и переменить невозможно. Еще ж приводит их к тому нищета, понеже так нищи, что некоторые князья ко мне затем не едут, что не имеют платья, а в овчинных шубах ехать стыдно, а купить и негде, и не на что, понеже у них монеты никакой нет: лучшее было богатство скот, но и то все крымцы обобрали, а ныне князей кормят уздени, и всего их мерзкого житья и описать невозможно; только одно могу похвалить, что все такие воины, каких в здешних странах не обретається, ибо что татар или кумыков тысяча, тут черкесов довольно двухсот».

В начале 1722 года, когда двор находился в Москве, получено было известие от русского консула в Персии Семена Аврамова, что афганцы, восставшие против шаха Гуссейна под начальством Махмуда, сына Мирвеизова, 18 февраля стояли уже только в 15 верстах от Испагани. Шах выслал против них войско, но оно было

поражено, и первый побежал любимец шаха главный визирь Эхтимат-девлет; победитель 7 марта подошел к Испагани и расположился в предместьях. Гуссейн по требованию народа назначил наместником старшего сына своего, но персияне обнаружили неудовольствие, и шах назначил второго сына; когда и этот не понравился, то назначен был третий сын, Тохмас-Мирза. Но эти распоряжения не поправили дела; после второй проигранной битвы персияне совершенно потеряли дух, а жулжинские армяне, называвшиеся так по имени предместья, где жили, все передалась на сторону победителя. Потом из Константинополя было получено известие, что афганцы овладели Испаганью.

При таких известиях медлить было нельзя, тем более что турки прежде всего могли воспользоваться падением Персии и утвердиться на берегах Каспийского моря, которое Петр считал необходимым для Балтийского моря. В апреле Петр писал из Москвы к генерал-майору Матюшкину, заведовавшему приготовлением судов на Верхней Волге: «Уведомьте нас, что лодки мая к пятому числу поспеют ли, также и ластовых судов к тому времени сколько может поспеть? И достальные ластовые суда сколько к которому времени могут поспеть, о том чаще к нам пишите и в деле поспешайте». Матюшкин должен был доставить суда в Нижний к 20 мая, причем обещал и недоделанные суда взять с собою и доделывать дорогою. Часть гвардии отправилась из Москвы 3 мая на судах вниз по Москве-реке. 13 мая выехал сам император сухим путем в Коломну, где соединились с ним генерал-адмирал граф Апраксин, Петр Андреевич Толстой, которого Петр брал с собою для переписки, и другие вельможи; в Коломну же приехала и императрица Екатерина Алексеевна, отправлявшаяся вместе с мужем в поход. Из Коломны Петр со всеми своими спутниками отправился Окою в Нижний, куда приехал 26 мая и пробыл до 30, дня своего рождения. День этот Петр праздновал таким образом: рано приехал он с своей галеры на берег и пошел к Апраксину в его квартиру; побыв здесь несколько времени, поехал верхом в соборную церковь к литургии; после обедни вместе с императрицею пошел пешком к архиерею при колокольном звоне, продолжавшемся полчаса; после звона началась стрельба в городе из тринадцати пушек, после городской стрельбы стреляли у Строганова на дворе из нескольких пушек. Затем началась пушечная стрельба с судов. Стрельба кончилась ружейным залпом, причем полки были расставлены на луговой стороне по берегу. От архиерея император и императрица поехали в дом Строганова, где обедали вместе с прочими господами; после обеда, в 6-м часу, отправились к купцу Пушникову, а оттуда Петр переехал на свою галеру и в 9-м часу отправился далее Волгою к Астрахани.

18 июля Петр с пехотными полками отплыл из Астрахани и на другой день вышел в море; конница шла сухим путем по направлению к Дербенту. Пехоты считали 22000, конницы – 9000; 20000 козаков, столько же калмыков, 30000 татар и 5000 матросов. 27 июля, в день Гангутской победы, войска высадились на берег в Аграханском заливе; Петр ступил на землю первый: его принесли на доске четыре гребца, потому что за мелководьем шлюпки не могли пристать к берегу. На месте высадки немедленно устроили ретраншемент. В тот же день было получено неприятное известие, что бригадир Ветерани, отправленный для занятия Андреевой деревни, был в ущелье осыпан стрелами и пулями неприятельскими; растерявшись, Ветерани, вместо того чтоб как можно скорее выбираться из ущелья, остановился и вздумал отстреливаться, тогда как неприятель, скрытый в

лесу на горах, был невидим; вследствие этого потеряно было 80 человек; тогда полковник Наумов, видя ошибку бригадира, согласился с остальными офицерами, бросился на Андрееву деревню, овладел ею и превратил в пепел. В Аграханском заливе Петр имел любопытный разговор с молодым офицером Соймоновым, которого расторопность и знание дела император тотчас заметил. Соймонов распространился перед Петром, что западные европейцы ездят далеко в Восточную Индию, а русским от Камчатки близко. Государь слушал внимательно, но когда молодой человек кончил, сказал ему: «Слушай, я то все знаю, да не ныне, да то далеко; был ты в Астрабатском заливе? Знаешь ли, что от Астрабата до Балха в Бухарин и до Водокшана и на верблюдах только 12 дней ходу, а там во всей Бухарин середина всех восточных коммерций, и видишь ты, горы и берег подле оных до самого Астрабата простираются, и тому пути никто помешать не может».

Дождавшись кавалерии, которая много натерпелась в степном походе, и разославши манифесты к окрестным народам с требованием мирного подчинения, Петр 5 августа выступил в поход к Таркам, и на другой день ему был представлен владелец тарковский Адильгирей. Император принял его, стоя перед гвардиею; Адильгирей объявил, что до сих пор служил русскому государю верно, а теперь будет особенно верно служить. Когда бывший господарь князь Кантемир перевел эти слова, Петр отвечал: «За службу трою будешь ты содержан в моей милости». В тот же день были представлены государю султан Махмуд аксайский с двумя другими владельцами; увидавши императора, они пали на колена и объявили, что желают быть под покровительством его величества; Петр обнадежил их своею милостию и покровительством. 12 августа войско приблизилось к Таркам с распущенными знаменами, барабанным боем и музыкою и стало лагерем под городом. За пять верст до города встретил государя Адиль-гирей, когда Петр ехал перед гвардиею в строевом платье: Шевкал сошел с лошади, низко поклонился императору и поздравил с приездом. Государь снова обнадежил его своею милостию и уверил, что подданным его не будет никакой обиды от русского войска. Потом шевкал подошел к карете императрицы, поклонился низко и поцеловал землю. На другой день Петр ездил для гулянья в Тарковские горы в сопровождении трех драгунских рот, осматривал старинную башню, откуда по просьбе Адильгирея отправился к нему в дом; сначала гости были в двух больших комнатах с каменными фонтанами, потом хозяин повел их в комнату, где живут жены, убранную коврами и зеркалами; вошли две жены шевкала в сопровождении других знатных женщин, поклонились в землю и целовали правую ногу императора, а после по их просьбе допущены и к руке. Принесли скатерть, поставили разные кушанья и фрукты; шевкал налил в чашки горячего вина и поднес государю. Петр сейчас же обратил внимание на множество ценной посуды в доме шевкала и спросил, откуда ее берут; Адильгирей отвечал, что ее делают в персидском городе Мешете. На прощанье хозяин подарил гостю серого аргамака в золотой сбруе. 14 августа обе жены шевкала были у императрицы, целовали ногу и руку и поднесли шесть лотков винограду. 15 августа, в Успенев день, государь и государыня слушали всенощную и обедню в церкви Преображенского полка; по окончании обедни Петр сам измерил около того места, где стояла церковь, и положил камень, то же сделала императрица и все

присутствовавшие, и таким образом быстро набросан был курган в память русской обедни перед Тарками.

16 августа войско выступило в поход к Дербенту. Султан Махмуд утемишский не отзывался; к нему посланы были три донских козака с письмом; посланные были умерщвлены, и султан напал на русское войско, но был поражен, и столица его, местечко Утемишь, состоявшее из 500 домов, обращена в пепел. При этом победители были поражены способом ведения войны, какой употреблял неприятель: «Зело удивительно сии варвары бились: в обществе нимало не держались, но побежали, а партикулярно десператно бились, так что, покинув ружье, якобы отдаваясь в полон, кинжалами резались, и один во фронт с саблею бросился, которого драгуны наши приняли на штыки». Дербент не сопротивлялся: 23 августа император был встречен наибом дербентским за версту от города; наибо пал на колена и поднес Петру два серебряных ключа от городских ворот. Император так описал свой поход в письме к Сенату: «Мы от Астрахани шли морем до Терека, а от Терека до Аграхани, отколь послали универсалы, а там, выбрався на землю, дожидались долго кавалерии, которая несказанный труд в своем марше имела от безводицы и худых переправ, а особливо тот корпус, который от Астрахани шел с генерал-майором Кропотовым. К бригадиру Ветеранию послан был указ, чтоб он шел к Андреевой деревне и оную разорил, ежели не укреплена, как слух носился, и когда оный еще с прямой дороги к ним и не поворотил, но стал прямою дорогою приближаться, то от оных атакован был; потом с помощью божию неприятель побит, и деревню их, в которой, сказывают, с три тысячи дворов было, разорили и выжгли без остатка, и пришли к нам, а потом и Кропотов от Астрахани, и, как обоих дождались, пошли до сего места (Дербента), дорогою все вели смирно и от владельцев горских приниманы приятно лицом (а сия приятность их была в такой их воле, как проповедь о божестве Христово, реченная: что нам и тебе, Иисусе, сыне бога живаго). Только как вошли во владение салтана Махмута утемишевского, оный ничем к нам не отозвался, того ради послали к нему с письмом трех человек донских козаков августа 19 поутру, и того же дня в 3 часа пополудни изволил сей господин нечаянно нас атаковать (чая нас неготовых застать), которому гостю зело были ради (а особливо ребята, которые свисту не слышали), и, приняв, проводили его кавалериею и третьюю частью пехоты до его жилища, отдавая контрвизит, и, побыв там, для увеселения их сделали изо всего его владения фейерверк для утешения им (а именно сожжено в одном его местечке, где он жил, с 500 дворов, кроме других деревень, которых по сторонам сожгли б). Как взятые их, так и другие владельцы сказывают, что их было 10000; такое число не его, но многих владельцев под его именем и чуть не половина пехоты, из которых около 600 человек от наших побиты да взято в полон 30 человек; с нашей стороны убито 5 драгун да семь козаков, а пехоте ничего не досталось: ни урону, ни находки, понеже их не дождались. Потом когда приближались к сему городу (Дербенту), то наибо сего города (наместник) встретил нас и ключ поднес от ворот. Правда, что сии люди нелицемерною любовью приняли и так нам ради, как бы своих из осады выручили. Из Баки такие же письма имеем, как из сего города (Дербента) прежде приходу имели, того ради и гварнизон туда отправим, и тако в сих краях с помощью божию фут получили, чем вас поздравляем. Марш сей хотя недалек, только зело труден от бескормицы лошадям и великих жаров».

Сенаторы отвечали Петру из Москвы, что «по случаю побед в Персии и за здравие Петра Великого, вступившего на стези Александра Великого, всерадостно пили». Сенаторы могли увидеть из письма Петра, что сам император не намерен был продолжать похода далее Дербента и хотел только послать гарнизон в Баку; письмо было написано 30 августа, а накануне, 29, уже держан был военный совет вследствие затруднительного положения войска. Надобно было выгрузить муку из 12 ластовых судов, но перед выгрузкою ночью встал жестокий северный ветер, от которого суда начали течь; до полудня выливали воду, наконец потеряли силы, и оставалось одно средство – пуститься к берегу и посадить суда на мель. Суда выгрузили, но муки подмокло и испортилось много. Ждали еще из Астрахани 30 судов, нагруженных провиантом, находившихся под начальством капитана Вильбоа, но о них не было слуху. На военном совете Петр подал мнение: «Понеже требуется письменного рассуждения о сей кампании, что чинить надлежит, на что ответственю: Вильбоа ждать покамест, чтоб на всю армию осталось не меньше как на три недели провианту и на год или по меньшей мере на 8 месяцев на Дербенской гарнизон, и тогда возвратиться к Сулаку и там учинить консилий: которым итить в Астрахань и которым зимовать около Терека для делания на Сулаке фортеции из страха горским жителям и действия к будущей кампании; буде же известие получим о Вильбое, что оной не будет, то лучше ранее повернуться и из Астрахани как поскорее отправить на надежных судах гварнизон с провиантом и частью артиллерии городской к Баку, дабы, конечно, сего лета с помощью божиею сие место захватить, ибо не знаем будущего года конъюнктур, каковы будут». Вильбоа дал знать, что он пришел в Аграханский залив, а далее идти боится, потому что суда в плохом состоянии и по открытому морю на них плыть трудно. Тогда, оставив в Дербенте гарнизон под начальством полковника Юнкера, Петр с остальным войском выступил из Дербента к Астрахани и шел осторожно, как видно из следующего приказания: «При пароли объявить ведомости дербентские (хотя оные и невероятны, но для опасности людям), чтоб были осторожны и не отставали, а буде телега испортится или лошадь станет, тотчас из веревки вон и разбирать что нужно по другим телегам, а ненужное бросить. Також объявить под смертью, кто оставит больного и не посадит его на воз». На месте, где река Аграхань отделяется от реки Сулака, Петр заложил новую крепость Св. Креста; крепость эта должна была прикрывать русские границы вместо прежней Терской крепости, положение которой государь нашел очень неудобным. В то время, когда полагалось основание новой крепости, атаман Краснощекий с донцами и калмыками ударил в конце сентября на утемишского султана Махмуда, который не переставал враждовать к России; Краснощекий разорил все, что осталось от прежнего погрома или возникло вновь, много порубил неприятелей, взял в плен 350 человек и захватил 11000 рогатого скота кроме другой добычи. У Аграханского ретраншементу Петр сел на суда и отплыл в Астрахань, куда прибыл 4 октября благополучно, но генерал-адмирал, плывший сзади, вытерпел четырехдневный страшный шторм. 6 ноября Петр проводил отряд войска, отплывший из Астрахани в Гилян под начальством полковника Шипова, которому дана была такая инструкция: «Пристав (к берегу), дать о себе знать в городе Ряще, что он прислан для их охранения и чтоб они ничего не опасались; потом выбраться к деревне Перибазар и тут учинить небольшой редут с палисады для охранения мелких судов; самому не гораздо в больших людех перво итить в

Рящ, и осмотреть места для лагеря у онога, и, выбрав удобное место близ города, пристать со всеми, и сделать траншемент с палисады ж, также на больных, и, ежели очень холодно будет, взять квартиры, но смотреть того накрепко, дабы жителям утеснения и обиды отнюдь не было и обходились бы зело приятельски и несурово (кроме кто будет противен), но ласкою, обнадеживая их всячески, а кто будет противен, и с тем поступать неприятельски. И ежели неприятель придет, оборонять сие место до последней возможности. Когда уже жители обойдутся и опасаться не станут, тогда помалу чинить знакомство со оными и разведывать не только, что в городе, но и во всей Гиляни какие товары, а именно сколько шелку в свободное время бывало, на сколько денег, и что шаху пошлин бывало и другим по карманам, и сколько ныне, и отчего меньше, только ль от замешания внутреннего или в Гиляни от какого неосмотрения или какой препоны, равным образом и о прочих товарах, и что чего бывало и ныне есть, и куды идет, и на что меняют или на деньги все продают. Проведать про сахар, где родится. Также сколько возможно разведать о провинциях Маздеран (Мазандеран) и Астрабата, что там родится. Сделать в деревне Перибазаре два или три погреба для питья под башнею или каким-нибудь другим строением каменным, чтоб было холоднее». 7 числа Петр отправился в Москву, куда 13 декабря имел торжественный въезд.

Вместе с движением войск шли переговоры с персидским правительством. Еще 25 июня в Астрахани Петр велел отправить следующие пункты русскому консулу в Персии Семену Аврамову: «Предлагай шаху старому или новому или кого сыщешь по силе кредитов, что мы идем к Шемахе не для войны с Персиею, но для искоренения бунтовщиков, которые нам обиду сделали, и ежели им (т.е. персидскому правительству) при сем крайнем их разорении надобна помощь, то мы готовы им помогать, и очистить от всех их неприятелей, и паки утвердить постоянное владение персидское, ежели они нам уступят за то некоторые по Каспийскому морю лежащие провинции, понеже ведаем, что ежели в сей слабости останутся и сего предложения не примут, то турки не оставят всею Персиею завладеть, что нам противно, и не желаем не только им, но себе оною владеть; однако ж, не имея с ними (персиянами) обязательства, за них вступить не можем, но только по морю лежащие земли отберем, ибо турок тут допустить не можем. Еще ж сие им предложи: ежели сие вышеписанное не примут, какая им польза может быть, когда турки вступят в Персию? Тогда нам крайняя нужда будет берегами по Каспийскому морю овладеть, понеже турков тут допустить нам невозможно, и так они, иожалея части, потеряют все государство».

Аврамов получил эти пункты, находясь в Казбине, и обратился к наследнику шаху Тохмасу с предложением помощи, для чего должен быть отправлен к императору посол. О вознаграждении за помощь Аврамов не сказал ничего, чтоб не встретить препятствия делу в «замерзелой спеси и гордости» персиян. Увидев при этом, что Тохмас – человек молодой и непривычный к делам, Аврамов вошел в переговоры с вельможами, предложил, чтоб отправлен был посол с полномочием договариваться о вознаграждении, если император потребует его за помощь. Персияне согласились. Давая знать о результате своих переговоров, Аврамов доносил, что Персидское государство вконец разоряется и пропадает: Алимердан-хан, на которого полагалась вся надежда, изменил и ушел к турецкой границе; афганцы беспрепятственно разоряли места, оставшиеся за шахом; курды опустошали окрестности Тавриза; наследник престола Тохмас не мог набрать

больше 400 человек войска. Измаил-бек, назначенный послом в Россию, со слезами говорил Аврамову: «Вера наша и закон вконец пропадают, а у наших господ лжи и спеси не умалается».

Между тем полковник Шипов благодаря сильному северному ветру неожиданно скоро проплыл пространство между устьями Волги и Куры, в конце ноября 1722 года вошел в эту реку и потом в качестве шахова союзника занял большой город Рящ, куда губернатор нехотя впустил русское войско, не имея средств к сопротивлению. «Опасаясь я жителей Ряща, – писал Шипов, – слышно, что против нас и войско собирают; лесу дают рубить на дрова с великою нуждою и причитают себе в обиду: у нас-де с лесу шаху подать дают, и мы-де вас не звали. Я обхожусь с ними ласково и уговариваю как можно, но они нам не ради и желают нас выжить. Все богатые люди здесь в великой конфузии, не знают, куда склониться, и ежели б наших людей было больше, то, надеясь на нашу защиту, они бы к нам склонились, а ныне, видя нас малолюдных, очень боятся своих, чтоб за то их не разорили». Ежедневно увеличивалось в городе число вооруженных персиян, и Шипов, узнав от грузинских и армянских купцов, что войска набралось уже 15000 да пришли еще два соседних губернатора, велел укрепить караван-сарай, где жил с своим отрядом. Губернатор прислал спросить его, зачем он это делает. Шипов отвечал: «Европейские воинские правила требуют такой предосторожности, хотя и нет никакой явной опасности». В конце февраля 1723 года три губернатора по шахову указу прислали объявить Шилову, что они в состоянии сами защищать себя от неприятелей, в его помощи не нуждаются и потому пусть он уходит, пока его к тому не принудят. Шипов отвечал, что он прислан императором, без указа которого назад не двинется, да если б и хотел уйти, так не на чем: из судов, на которых он приплыл, два ушли в Россию с шаховым посланником Измаил-беком, и потому ему нужно сначала отправить в Дербент все тягости, и когда суда возвратятся, сесть на них с войском. Персияне успокоились, думая, что Шипов сначала отошлет артиллерию, которой боялись больше всего. Суда, привезшие Шипова, действительно начали приготовляться к отплытию, потому что начальствовавший ими капитан-лейтенант Соймонов окончил возложенное на него поручение описать места при устье Куры. 17 марта Соймонов, оставивши три судна в устьях Куры, с остальными вышел в море, но не взял с собою ни одной пушки. Узнавши об этом, персияне начали опять приступить к Шилову, чтоб вышел из Ряща, но полковник не двигался; персияне начали обстреливать караван-сарай, убили одного офицера; Шипов дожидался ночи: он велел одной гренадерской роте выйти из караван-сарая в поле и, обошед кругом, напасть на неприятеля с тыла, а двум остальным ротам велел выступить из передних ворот и напасть на персиян в лице. Неприятель, увидавши, что на него нападают с двух сторон, совершенно потерял дух и бросился бежать, русские преследовали бегущих по всем улицам города и убили больше тысячи человек. Так же удачно сто человек русских отразили 5000 персиян, напавших на три судна, оставленные Соймоновым.

Когда таким образом Шипов утверждался в Ряще, генерал-майор Матюшкин действовал против Баку. Как важно было овладеть этим городом для Петра, видно из его инструкции Матюшкину: «Идти к Баке как наискорее и тщиться оный город, с помощью божиею конечно, достать, понеже ключ всему нашему делу оный, а когда бог даст, то оный подкрепить сколько мочно и дожидаться новых

гекботов с провиантом и артиллериею, которой быть в городе и с людьми. Велено послать 1000 человек, но ежели нужда будет, то прибавить сколько надобно и беречь сие место паче всего, понеже для него все делаем. Всех принимать в подданство, которые хотят, тех, чья земля пришла к Каспийскому морю. Из Баки ехать на устье реки Куры, осмотреть гавани и устье реки Куры, взяв капитана-поручика Соймонова, также и по реке Куре несколько вверх того для, понеже, как ты и сам слышал, что у Баки, сказывают, кормами конскими зело скудно, а дров и нет, а у нас положено сие место главное для сбора войска, а ежели то увидишь, что правда, того для осмотреть места по Куре-реке, дабы там впредь для сего места устроить хороший город вместо Баки для рандеву войску впредь; а нынешним летом сделать на устье в самом крепком месте или близ устья, ежели на устье такого места не сыщется, малую крепость человек на 300, дабы неприятель не захватил, но наша посессия была. И, сие управля, возвратиться вам в Астрахань к будущей зиме, дабы зимою нам с вами о сем деле переговорить». В июле 1723 года Матюшкин приплыл с четырьмя полками из Астрахани к Баку и послал сказать начальствовавшему в городе султану, что явился взять город в защиту от бунтовщиков и прислал письмо от персидского посланника Измаил-бека, который писал о том же. Из Баку отвечали, что жители города, верные подданные шаха, четыре года умели отбиваться от бунтовщика Дауда и не нуждаются ни в какой помощи и защите. Матюшкин высадил войско, прогнал персиян, хотевших помешать высадке, и начал приготавливаться к приступу, но бакинцы поспешили сдать город. Оставивши в Баку комендантом бригадира князя Барятинского, Матюшкин отплыл назад, в Астрахань. Петр очень обрадовался взятию Баку и написал Матюшкину: «Письмо ваше я получил с великим довольством, что вы Баку получили (ибо не без сомнения от турков было), за которые ваши труды вам и всем при вас в оном деле трудившимся благодарствуем и повышаем вас чином генерал-лейтенанта. Не малое и у нас бомбардирование того вечера было, когда сия ведомость получена».

17 сентября Петр писал новому генерал-лейтенанту: «Поздравляю со всеми провинциями, по берегу Каспийского моря лежащими, понеже посол персидский оные уступил». Договор был подписан в Петербурге 12 сентября 1723 года и состоял в следующих главных статьях: 1) Его императорское величество Всероссийский обещает его шахову величеству Тахмасибу добрую и постоянную свою дружбу и высокомонаршеское свое сильное вспоможение против всех его бунтовщиков и для усмирения оных и содержания его шахова величества на персидском престоле изволит, как скоро токмо возможно, потребное число войск в Персидское государство послать, и против тех бунтовщиков действовать, и все возможное учинить, дабы оных ниспровергнуть и его шахову величество при спокойном владении Персидского государства оставить; 2) а насупротив того его шахову величество уступает императорскому величеству всероссийскому в вечное владение города Дербень, Баку со всеми к ним принадлежащими и по Каспийскому морю лежащими землями и местами, такожде и провинции: Гилян, Мазандеран и Астрабат, дабы оными содержать войско, которое его императорское величество к его шахову величеству против его бунтовщиков в помощь посылает, не требуя за то денег.

Петр уже хозяйничал в уступленных областях; в мае 1724 года написал пункты Матюшкину: «1) крепость Св. Креста доделать по указу, в Дербенте

цитадель сделать к морю и гавань делать; 3) Гилян уже овладена, надлежит Мазандераном также овладеть и укрепить, а в Астрабатской пристани ежели нужно делать крепость, для того работных людей, которые определены на Куру, употребить вышеписанные дела; 4) Баку укрепить; 5) О куре разведать, до которых мест можно судами мелкими идти, чтоб доподлинно верно было; 6) сахар освидетельствовать и прислать несколько, также и фруктов сухих; 7) о меди также подлинное свидетельство учинить, для того взять человека, который пробы умеет делать; 8) белой нефти выслать тысячу пуд или сколько возможно; 9) лимоны, сваря в сахаре, прислать; одним словом, как владение, так сборы всякие денежные и всякую экономию в полное состояние привести стараться всячески, чтоб армян призывать и других христиан, если есть, в Гилян и Мазандеран и оживать (поселять), а басурман, зело тихим образом, чтоб не узнали, сколько возможно убавлять, а именно турецкого закона (суннитов). Также, когда осмотрится, дал бы знать, сколько возможно там русской нации на первый раз поселить. О Куре подлинного известия не имеем: иные говорят, что пороги, а ныне приезжал грузинец, сказывает, что от самой Ганжи до моря порогов нет, но выше Ганжи пороги; об этом, как о главном деле, надлежит осведомиться, и, кажется, лучше нельзя, как посылкою для какого-нибудь дела в Тифлис к паше. Сие писано, не зная тех сторон, для того дается на ваше рассуждение: что лучше-то делайте, только чтоб сии уступленные провинции, особливо Гилян и Мазандеран, в полное владение и безопасность приведены были».

Но «уступленные провинции» были уступлены только в Петербурге. Для ратификации договора, заключенного Измаил-беем, отправились в Персию Преображенского полка унтер-лейтенант князь Борис Мещерский и секретарь Аврамов. В апреле 1724 года въехали они в персидские владения, и встреча была дурная: на них напала вооруженная толпа; к счастью, выстрелы ее никому не повредили. Когда Мещерский жаловался на такую встречу, то ему отвечали: «Ребята играли, не изволь гневаться: мы их сыщем и жестоко накажем». Шах принял Мещерского с обычною церемониею, но этим все дело и кончилось: посол не мог добиться никакого ответа и принужден был уехать ни с чем; на возвратном пути на горах подвергся неприятельскому нападению; было узнано, что персидское правительство хотело именно погубить Мещерского и действовало так по внушениям шевкала тарковского, который доносил о слабости русских в занятых ими провинциях. По возвращении Мещерского императорские министры подали мнение, чтоб Матюшкин написал шаху или его первому министру с представлениями, что между Россиею и Турциею заключен договор насчет персидских дел, что Персия может спастись единственно принятием этого договора и погибнет, если вооружит против себя соединенные силы таких могущественных государств. Министры считали необходимым увеличить число регулярного войска в новозанятых областях, чтоб, с одной стороны, распространить русские владения и военными действиями утратить персиян, а с другой – удерживать турок. 11 октября в Шлйссельбурге подано было Петру мнение министров, и он дал такую резолюцию: «Ныне посылать к шаху непотребно, потому что теперь от него никакого полезного ответа быть не может; пожалуй, объявит и то, что они договор подтвердят и потребуют помощи не только против афганцев, но и против турок: тогда хуже будет. Надобно стараться, чтоб грузины, которые при шахе, как-нибудь его увезли или по крайней мере сами

от него уехали; для этого писать к Вахтангу и устраивать это дело чрез его посредство. Писать к генерал-майору Кропотову, чтоб он искусным и пристойным способом старался поймать шевкала за его противные поступки». Относительно умножения русских войск император объявил, что разве прибавить нерегулярных полков, о пропитании которых пусть подумают министры.

Лучшим средством для закрепления занятых провинций за Россией Петр считал усиление в них христианского народонаселения и уменьшение магометанского. Мы видели, что император прямо указывал на армян. В XVII веке между этим народом и Россией происходили сношения по делам чисто торговым; с начала XVIII века пошли сношения другого рода. В конце июня 1701 года в Смоленск из-за литовского рубежа явились три иностранца: один назывался Израиль Ория, другой – Орухович, третий был римский ксендз. Представленный боярину Головину, Ория объявил себя армянином знатного происхождения, рассказал, что он уже 20 лет живет в Западной Европе и теперь, снесшись с армянскими старшинами, находящимися в Персии, составил план освободить своих соотечественников от тяжкого ига персидского; император и курфюрст баварский охотно соглашались помогать этому делу, но признают необходимым содействие царя русского. «Наши начальные люди, – говорил Ория, – будут употреблять все свои силы, чтоб поддаться великому царю московскому; больше пятнадцати или двадцати тысяч человек войска нам не надобно, потому что у неверных нет войска в Великой Армении, есть 5 губернаторов, каждый живет в неукрепленном городе с отрядом в полтораста человек, и как скоро наши начальные люди услышат приближение русских войск, то в 24 часа выгонят неверных и в 15 дней овладеют всею землею. Грузины желают того же самого для себя. Содержание царским войскам будут доставлять наши начальные люди; у меня белый лист за десятью печатями: о чем ни договорюсь с царским величеством, все будет исполнено». Видя, что царь занят шведскою войною и не может отделить значительную часть своих войск для освобождения армян, Ория подал предложение, чтоб послано было 25000 войска, составленного из козаков и черкесов: так как те и другие живут на границе, то поход будет бесподозрителен и без слуха: на знаменах войсковых должно быть изображено с одной стороны распятие, а с другой – царский герб; войско должно идти на Шемаху, потому что это город большой, торговый, но не укреплен, населен армянами и занять его будет легко, а Шемаха – ключ к Армянской земле. Армянские начальные люди с войсками своими соберутся в городе Нахичевани и, взявши царские знамена, пойдут на неприятелей. Город Эривань взять легко, потому что там живет много армян, пороховая казна и другие военные припасы в руках армянских. А когда войско овладеет Тавризом, городом богатейшим, то может пустить загоны на все четыре стороны и великую добычу получить, потому что села богатые. Известно, как Стенька Разин с 3000 козаков овладел Гилянью и держал ее много лет, шах ничего не мог ему сделать; а теперь козаки пойдут в этот поход охотно, потому что добыча им будет громадная. В Армянской стране 17 провинций, с которых соберется 116000 человек войска; да грузинского войска соберется с 30000; турецкие армяне придут на помощь персидским, и разум не может обнять, сколько богатства у всех армян тамошних; шах персидский не может собрать более 38000 человек, а как лишится армян и грузин, то не останется у него и 20000, и те

заняты войною с бухарцами. Теперь самое удобное время воевать персов, потому что они не готовы и все христиане на них восстали по причине великого гонения.

Ория написал письмо самому государю: «Без сомнения, вашему царскому величеству известно, что в Армянской земле в старину был король и князья христианские, а потом от несогласия своего пришли под иго неверных. Больше 250 лет стонем мы под этим игом, и, как сыны Адамовы ожидали пришествия мессии, который бы избавил их от вечной смерти, так убогий наш народ жил и живет надеждою помощи от вашего царского величества. Есть пророчество, что в последние времена неверные расвирепют и будут принуждать христиан к принятию своего прескверного закона; тогда придет из августейшего московского дома великий государь, превосходящий храбростию Александра Македонского; он возьмет царство Армянское и христиан избавит. Мы верим, что исполнение этого пророчества приближается».

Так как Ория называл себя посланцем курфюрста баварского, принимавшего такое живое участие в судьбе армян, то ему отвечали, что царское величество, будучи занят шведскою войною, не может отправить значительного войска в Персию, но пусть курфюрст пришлет на помощь свое войско с добрыми инженерами, офицерами и со всякими воинскими припасами, а в Персию государь пошлет под видом купца верного человека для подлинного уверения и рассмотрения тамошних мест. Ория отвечал, что русский человек ничего там не проведает, лучше послать гонца, с которым поедет он сам и повезет царскую обнадеживательную грамоту к армянским старшинам, что они будут приняты под Русскую державу со всякими вольностями, особенно с сохранением веры; такую же обнадеживательную грамоту надобно послать и к грузинам, и пусть ее напишет находящийся в России имеретинский царь Арчил Вахтангович. Обнадеживательную грамоту армянам послать прилично, потому что подобные же грамоты уже отправлены им от цесаря и курфюрста баварского.

На этом остановилось дело в 1701 году; весною 1702 года Ории было объявлено, что царское величество принимает его предложение благоприятно, начать и совершить предприятие не отрицается, только не теперь, потому что теперь идет война шведская и начинать другую войну трудно; а когда шведская война кончится, то освобождение армян будет предпринято непременно. Это объявляется Ории и товарищу его словесно, а они могут обнадежить старшин своего народа письменно. Осенью 1703 года Ория поднес Петру карту Армении. «Из этого чертежа, – писал он, – можно видеть, что во всем государстве нет другой крепости, кроме Эривани. Бог да поможет войскам вашим завоевать ее, и тогда всю Армению и Грузию покорите; в Анатолии много греков и армян; тогда увидят турки, что это прямой путь в Константинополь. Я здесь ничего не делаю и потому прошу отпустить меня к цесарю и курфюрсту осведомиться, какую помощь они могут подать; прошу также дать мне чин полковника карабинерного, чтоб тем удобнее мог я набрать всяких оружейных художников». Просьба была исполнена. В 1707 году полковник Ория, возвратившись из западной поездки, отправлен был в Персию под видом папского посланника, но умер на возвратном пути в Астрахани.

В России остался товарищ Ории архимандрит Минас Вартапет. В ноябре 1714 года он подал предложение: «Израиль Ория, в бытность свою в Персии, склонил армянского патриарха и несколько армянских духовных ехать с собою в

Москву, но когда он умер в Астрахани, то патриарх и все другие духовные возвратились назад. Я нашел следующий удобный способ привести армян под покровительство России: на Каспийском море есть удобная пристань, называемая Низовая, между двух рек; значительных поселений тут нет, только много деревень; для того чтоб царским войскам можно было безопасно тут пристать, пусть государь пошлет грамоту шаху, чтоб позволено было построить здесь армянский монастырь, а строятся обыкновенно эти монастыри обширно и могут заменять крепости; на построение этого монастыря изволил бы царское величество помочь деньгами. Для отвлечения подозрения от меня, государь благоволит приказать построить армянскую церковь в Петербурге: тогда будет ясно, что я занимаюсь только построением церквей».

В начале 1716 года Вартапет отправился в Персию и повез письмо от Шафирову к Волынскому такого содержания: «В данной вам инструкции помянуто, что, будучи в Персии, наведаться о народе армянском, как он там многолюден и силен и склонен ли к стороне царского величества; теперь для того же едет из Москвы в Персию известный вам Минас Вартапет, будто для отыскания пожитков, оставшихся после умершего Израиля Ории; оказывайте ему нужную помощь, только не возбудите подозрения». Вартапет возвратился в архиепископском чине и привез грамоту от армянского патриарха Исаии, живущего в монастыре Канзасаре; в грамоте говорилось: «Когда ваше величество свои воинские дела начать изволите, тогда прикажите нас наперед уведомить, чтоб я с моими верными людьми по возможности и по требованию вашему мог служить и приготовиться». Что же касается главного патриарха, живущего в Эчмиадзине, тот на словах обещал служить верно, но письмо дал в неопределенных выражениях, что Вартапет у него был и говорил с ним о делах, которые приняты любительно и приятно. Эчмиадзинский патриарх объявил, что он не может обязаться верностию царю, опасаясь персиян и некоторых армян. В 1718 году Вартапет подал пункты, в которых просил от имени всех армян освободить их от басурманского ига и принять в русское подданство; что теперь время приниматься за это дело, потому что варвары бедствуют извне и внутри; что этому делу много доброжелателей, но есть и противники, между прочими и епископ армянский, находящийся в Казани; изо всего видно, что он и приехала Россию для проведывания; если возвратится в Персию, то все верные пропадут, и патриарху может грозить смерть, поэтому епископа и слугу его надобно посадить в монастырь, держать честно, но не позволять ни с кем иметь сношения.

Неизвестно, как было поступлено с епископом, но известно, что в начале 1722 года посажены были по монастырям священник армянский Араратский и армянин Адам Павлов, которому священник открыл тайну сношений русского двора с армянами, а священнику открыл эту тайну Вартапет. Считая виновником своей беды Вартапета, Араратский подал императору просьбу, в которой указывал, что Вартапет – католик, ограбил армянскую церковь в Москве и подговаривал его, Араратского, чтоб он всех армян обращал в католицизм; когда русские девушки выходили за армян замуж, то Вартапет венчал их по католическому обряду. Этот донос, как видно, не повредил Вартапету, и в конце года тифлисский армянский епископ писал ему, что сто тысяч вооруженных армян готовы пасть к стопам императорским и чтоб русские войска спешили в Шемаху; если же до марта 1723 года не будут, то армяне пропадут от лезгин. По прошествии означенного срока

уже патриарх армянский Нерсес обратился прямо к императору с просьбою о заступлении, «как пророк Моисей освободил Израиля от рук фараоновых». Вследствие этой просьбы отправлена была «императорская милость и поздравление честному народу армянскому, обретающемуся в Персии». В грамоте объявлялось, что армяне могут беспрепятственно приезжать в Россию для торговли; повез ее армянин Иван Карапет, которому велено было обнадежить армянский народ императорскою милостию, уверить в готовности государя принять их под свое покровительство и освободить из-под ига неверных; но прежде всего русским нужно утвердиться на Каспийском море, овладеть прибрежными местами, а потому пусть армяне подождут короткое время; если же главным армянам никак нельзя оставаться в их стране, то пусть переезжают в города, занятые русскими войсками, а народ останется в своих жилищах и проживет спокойно, пока русское войско приготовится к его освобождению.

В начале 1724 года Карапет приехал в монастырь Канзасар к патриарху Исаяе, около которого собралось 12000 армянского войска. Восемь дней праздновали армяне, узнавши, что русский государь принимает их под свое покровительство, и объявили, что если императорское величество не изволит прислать к ним войска на помощь, то они просят, чтоб позволено было им поселиться у Каспийского моря, в Гиляни, Сальяне, при Баку и Дербенте, потому что они под игом басурманским более быть не хотят, хотя и персы, и турки зовут их к себе. В одной Карабахской провинции армян будет со 100000 дворов, а в другой провинции – Капан – еще более армян, и все они одинаково хотят быть под покровительством России. В октябре того же 1724 года два патриарха – Исаяя и Нерсес – прислали Петру новую грамоту: «О всех наших нуждах через четыре или пять писем мы вашему величеству доносили, но ни на одно ответа не получили; находимся в безнадежности, как будто мы вашим величеством забыты, потому что три или четыре уже года живем в распущенности, как овцы без пастыря. До сих пор, имея неприятелей с четырех сторон, по возможности оборонялись, но теперь пришло множество турецкого войска, и много персидских городов побрано; просим с великими слезами помочь нам как можно скорее, иначе турки в три месяца все возьмут и христиан побьют».

Петр не получил уже этой грамоты, но он и без армянской просьбы всего более опасался турок; мы видели, что он приказал населять новозанятые области армянами и удалять магометан турецкого закона. Интересы России и Турции необходимо сталкивались по отношению к Персии; Петр спешил занять прикаспийские области Персии и потому, чтоб не дать утвердиться здесь туркам; если христианское народонаселение Персии – армяне, грузины – прибегало под покровительство русского императора, то магометанское народонаселение Закавказья – лезгинцы, овладевшие Шемахою, из боязни перед русскими должны были отдаться под покровительство султана. В 1722 году, в то время, когда Петр готовился в Москве к походу Персидскому, русский резидент в Константинополе Неплюев давал ему знать, что лезгинцы, провозглашая себя настоящими мусульманами, одного с турками закона, прислали просить покровительства султана, признавая его своим верховным государем, объявили, что в знак подданства уже чеканят монету с именем султана Ахмета и каждую пятницу молятся за него в мечетях, требовали, чтоб Порта немедленно отправила к ним пашу для управления. Порта содержала это дело в большой тайне, потому что в то

же время находился в Константинополе и персидский посол; с другой стороны, она заботливо озиралась на Россию и, зная, что при взятии Шемахи лезгинцы враждебно поступили с русскими, доведывалась у них, как было дело. Лезгинцы, разумеется, оправдывали себя; рассказывали, что русским купцам было велено собраться в одно место со всеми своими пожитками, и если бы они так сделали, то не потерпели бы ни малейшего вреда, но они, увлекшись корыстолюбием, стали брать почти у всех шемаханцев дорогие вещи на сохранение, что было им именно запрещено; тогда войско, видя себя лишенным добычи и узнав, что все лучшее спрятано у русских, бросилось на них, побило и ограбило. Порта дала такой ответ лезгинским посланным, что султан не подаст против них помощи шаху, принять же их в покровительство хотя и желает, но не может, ибо это будет подозрительно и Персии, и России, которая раздражена погромом купцов в Шемахе.

21 апреля Неплюев был у визиря и объявил ему, что персидские бунтовщики побили в Шемахе русских купцов и разграбили их товары, за что император требует от шаха удовлетворения, а бунтовщики, как говорят, боясь мести со стороны России, обратились к Порте с просьбою о покровительстве. Визирь отвечал, что действительно были у них какие-то люди с устной просьбою о покровительстве, обещаясь быть в зависимости от Порты, подобно крымскому хану, но что Порта потребовала от них письменного заявления их желаний. «Мы знаем, – продолжал визирь, – что эти бунтовщики немалую сделали обиду русским купцам, потому если и письменно будут просить у нас покровительства, то мы их защищать не будем, пока ваш государь не получит полного удовлетворения». Французский посол говорил Неплюеву, что если русские ограничатся только прикаспийскими провинциями и не будут со стороны Армении и Грузии приближаться к турецким границам, то Порта останется равнодушною, а быть может, что-нибудь и себе возьмет со стороны Вавилона. Неплюев отвечал, что его император не желает разрушения Персидского государства и других к тому не допустит. Француз заметил на это: «Так всегда говорят вначале, а я говорю, как добрый друг, что ни вы туркам, ни турки вам воспрепятствовать не могут; но лучше к турецким границам не приближаться, а преследовать свою цель, и поскорее овладеть прикаспийскими областями. Донесите вышему государю, чтоб он письменно не заявлял Порте, что не хочет никаких завоеваний в Персии, да и сами вы на словах отходите, потому что нынче обяжетесь на письме, а завтра явятся такие обстоятельства, которые заставят совершенно иначе действовать».

Скоро Неплюев должен был сообщить тревожное известие: шах, стесненный Магометом Мирвеизом, прислал в Константинополь с просьбою о помощи; но в Диване решили, что нельзя подавать помощи шииту против суннита Магомета, а надобно объявить последнему, что Порта не будет препятствовать ему овладеть Персиею, если он признает зависимость свою от султана. С другой стороны, английский посол внушал визирю, что Россия хочет объявить войну Дании и сблизается с венским двором, что русский император хочет женить своего внука великого князя Петра на племяннице цесаря, но если эти две сильные империи соединятся, то будет дурно и Англии, и Порте; кроме того, послы английский, венецианский и резидент австрийский разглашали, что русский государь вступил в Персию с 100000 войска, а когда возьмет провинции Ширванскую, Эриванскую и часть Грузии, тогда турецкие подданные – грузины и армяне – сами вступят под

русское покровительство, а оттуда близко и к Трапезунту, отчего со временем может быть Турецкой империи крайнее разорение. Французский посол дал знать, что жители той области, где главный город Тифлис, просили помощи у турок, и эрзерумскому паше велено защищать их, занять под этим предлогом Тифлис, а с другой стороны – Эривань. Неплюев писал: «По моему мнению, весьма нужно для персидских дел посла французского наградить; а мне очень трудно от внушений других министров: внушают Порте, что русский государь умен и турок обманывает миром, теперь возьмет персидские провинции, и если султан не воспрепятствует ему в этом оружием, то он с той стороны нападет на Турцию». Когда внимание всех было поглощено персидскими делами, приехал польский интернунций с своим страхом перед разделом. «Король и республика прислали меня сюда, – говорил он визирю, – узнав, что между Россией и Портою заключен тайный союз: обе державы согласились овладеть Польшею и разделить ее пополам, и я прислан к Порте уведомиться об этом». Визирь отвечал: «У нас намерения такого и договора с государем русским не бывало; напротив, в договоре нашем с Россией утверждено охранять вольность республики и никому не вступать с войском в ее пределы, кроме тех случаев, если вы сами введете чужие войска в свою землю или пожелаете корону сделать наследственной».

В августе-месяце секретарь рейс-еффенди сообщил по секрету переводчику русского посольства Мальцеву, что если император не будет распространять своих завоеваний в Персии далее Шемахи, которую имеет право овладеть за причиненные здесь лезгинцами обиды русским купцам, то Порта этому не воспрепятствует, хотя и будет ей неприятно; но если русский государь по взятии Шемахи вознамерится взять под свою державу имеретинцев и грузин, то этого Порта никак позволить не может, ибо она хочет присоединить грузин, находящихся под персидским владычеством, к тем, которые уже находятся под ее властью, потому что если персидские грузины отойдут к России, то в случае разрыва ее с Портою и турецкие грузины отойдут к ней же. Порта будет дожидаться, что произойдет нынешним летом, ибо ей со всех сторон внушают, что русские войска будут иметь большие успехи в Персии и это со временем будет опасно для Турции. Через несколько времени «другой друг» сообщил в посольство, что Порте известно о пребывании русского войска в Дагестане и о построении новой крепости, известно и о том, что некоторые народы склоняются к России, а именно грузины и черкесы, что подаст явную причину к разрыву между Россией и Турциею. Порта не препятствовала вступлению русских войск в персидские владения, думая, что государь русский хочет только принудить лезгинцев к уплате вознаграждения за убытки, а не намерен овладевать областями. Визирь пригласил к себе Неплюева, при нем вынул из мешка донесение крымского хана, азовского паши и лезгинцев и начал говорить: «Ваш государь, преследуя своих неприятелей, вступает в области, зависящие от Порты: это разве не нарушение вечного мира? Если бы мы начали войну с шведами и пошли их искать через ваши земли, то что бы вы сказали? И к лезгинцам по такому малому делу не следовало твоему государю собственною особою с великими войсками идти, мог бы удовлетворение получить и чрез наше посредство. Мы видим, что государь ваш сорок лет своего царствования проводит в постоянной войне; хотя бы на малое время успокоился и дал покой и друзьям своим; а если он желает нарушить с нами дружбу, то мог бы и явно объявить нам

войну; мы, слава богу, в состоянии отпор сделать». «Не могу верить, – отвечал Неплюев, – чтоб государь мой вступил в пределы Оттоманской империи; что же касается лезгинцев, то государь мой заблаговременно дал знать султану о движении своих войск против них, потому что получить удовлетворение можно только оружием: шах доставить удовлетворение не в силах». Визирь увернулся в сторону, объявил, что большие обиды турецким подданным от козаков и от пограничного начальника Ивана Хромого и Порты имеет право требовать на это удовлетворения. Разговор, начавшийся жестокими словами, кончился очень дружелюбно. Неплюев уверял, что дружба между обеими высокими империями, как храмина, построенная на камне, который ветры не поколеблют; а визирь объявил, что Порты желает заключить с Россией оборонительный и наступательный союз без всяких исключений. «Этим союзом, – говорил визирь, – будем страшны всему свету; цесарь римский с Польшею и Венециею в союзе, и об этом дали нам знать для показания силы своей стороны; и хотя мы, турки, с русскими разной веры, но это не препятствие, потому что вера относится к будущей жизни, а на этом свете союзы заключаются не по вере, а по государственному интересу».

Через несколько времени от Порты дано знать Неплюеву, что грузины, подданные персидские, имеющие столицей Тифлис, взбунтовались против персидского шаха и делают набеги на подданных Порты, поэтому решено в Диване, чтоб эрзерумский паша с 50000 войска вступил в персидскую Грузию и сдержал ее жителей; Порты делает это, охраняя себя и вместе шаха персидского, а не для того, чтоб овладеть Грузиею. «Видя здешние замешательства, – писал Неплюев, – я обещал визирскому кегае и рейс-ефенди по тысяче червонных, чтоб они постарались сохранить дружбу, пока Порты получит ответ вашего величества через своего посланного, к вам отправленного; турецкие дела и слова непостоянны: может произойти бунт, или визирь переменится, или к татарам склонится, или татары самовольно нападут на русские пределы, и от подобного случая может произойти ссора, поэтому соизвольте на границах Остерегаться и приготовляться к войне. Порты принимает в свое подданство Дауд-хана и хочет сначала овладеть персидскою Грузиею, а потом вытеснить русские войска из Дагестана. Рассуждают здесь как знатные люди, так и простой народ, чтоб им двинуться всею силою против России; беспрестанно посылаются амуниция и артиллерия в Азов и Эрзерум. Видя все это, я письма, нужные, черные, сжег, а иные переписал в цифры, а сына моего поручил французскому послу, который отправил его в Голландию. Сам я готов варварские озлобления терпеть и последнюю каплю крови за имя вашего величества и за отечество пролить; но повели, государь, послать указ в Голландию князю Куракину, чтоб сына моего своею протекциею не оставил, повели определить сыну моему жалованье на содержание и учение и отдать его в академию для сциении учиться иностранным языкам, философии, географии, математике и прочих исторических книг чтения; умиловаться, государь, над десятилетним младенцем, который со временем может вашему величеству заслужить».

В начале ноября кегае великого визиря сообщил Неплюеву приказание Порты писать императору, чтоб вышел из персидских владений, потому что пребывание здесь русских войск внушает сильное подозрение всем окрестным государям и турецкий народ покоен быть не может. Особенно встревожило Порты известие,

что русский император находится в дружеских сношениях с персидским шахом; сейчас же заключили, что между Россией и Персией готовится союз против бунтовщиков. В то же время татары подкинули самому султану бумагу, в которой упрекали его за неосмотрительность. «Министры тебя обманывают, – говорилось в бумаге, – ты и не узнаешь, как русский царь разорит половину твоего государства». Султан сильно смутился, хотел казнить визиря, против которого готовился и бунт в народе, но визирь сохранил жизнь и место тем, что велел войскам двинуться в Грузию. Также пошел слух в Константинополе, что лезгинцы нанесли страшное поражение русскому войску и сам Петр едва спасся морем в Астрахань; догадывались, что этот слух пущен нарочно для успокоения народа. Впрочем, основанием слуху служило действительное отплытие Петра в Астрахань. Неплюев узнал, что между Портою и Хивою происходят сношения о союзе оборонительном и наступательном против России. Рагоци, в интересах которого было сохранение мира и приязни между Россией и Турциею, составил проект примирения интересов обоих государств; турки, говорилось в проекте, по единоверию хотят взять себе Дагестан, но по тому же единоверию Россия должна взять себе персидскую Грузию и для торговых выгод гавань на Каспийском море; когда Россия и Турция поделят таким образом кавказские области, то примут на себя посредничество между персидским шахом и Мирвеизом.

В конце года, когда получено было достоверное известие, что Петр из Дербента возвратился назад, великий визирь прислал объявить Неплюеву, что этим возвращением уничтожены все подозрения и Порты желает сохранения и усиления постановленной с Россией дружбы; но в то же время Порты спешила воспользоваться удалением русского императора, чтоб как можно выгоднее устроить свои дела на Кавказе. К Дауд-беку отправлена была жалованная грамота, по которой он принимался в подданство Порты на правах крымского хана, давался ему титул ханский и власть над двумя областями – Дагестаном и Ширваном; при этом ему внушалось, чтоб он старался покорить и другие ближайшие персидские провинции, которые также поступят в его владение; внушалось, чтоб он всеми средствами старался вытеснить русский гарнизон из Дербента и из других тамошних мест; послано к нему 30000 червонных и обещано вспоможение войском. Неплюев за 100 червонных достал копию с грамоты к Дауду и с инструкции, данной посланному к нему.

Петр, еще не зная об этом, поручил Неплюеву предложить Порте согласиться насчет персидских дел. В феврале 1723 года великий визирь пригласил к себе русского резидента и объявил ему, что соглашаться не в чем: Магомет, или, как обыкновенно его называли отцовским именем, Мирвеиз, овладел персидскою столицею Испаганью и большею частью провинций; с другой стороны, Ширваном, Ардебилем и Армениею овладел Дауд-бек лезгинский, который теперь вступил в подданство к Порте, да и Мирвеиз скоро должен последовать его примеру; русскому государю, следовательно, опасаться теперь нечего: все эти народы теперь подданные турецкие, русское купечество у них будет вполне безопасно. Неплюев заметил, что со стороны России война начата для получения удовлетворения за оскорбление, нанесенное русским подданным в Шемахе. Визирь отвечал, что «удовлетворение уже получено, потому что император прошел с войском до Дербента и разорил все на пути; правда, Порты обещала не принимать в подданство Дагестан, но она обещала это тогда, когда просьбы от его

жителей не получала, а теперь они просили принять их по единоверию, и отказать им было нельзя, и если русский государь нынешним годом вступит с войском в персидские владения, то Дауд, Мирвеиз и все тамошние народы против него соединятся, и Порты по единоверию, как защитница магометанских народов, принуждена будет также вооружиться. Следствия войны неизвестны, и если бы даже вашему государю удалось завладеть некоторыми провинциями, то удержать их не может, потому что все тамошние народы – магометане и будут стараться всеми средствами русских от себя выгнать; и шевкала тарковского Дауд принудит по единоверию поддаться Порте». Визирь окончил свою речь словами: «Всякий бы желал для себя больших приобретений, но равновесие сего света не допускает: например, и мы бы послали войско против Италии и прочих малосильных государей, но другие государи не допустят; поэтому и мы за Персиею смотрим».

На третий день после этого разговора к Неплюеву приехал переводчик Порты и объявил, что на общем совете постановлено сообщить русскому государю через его резидента, что если он считает себя вправе искать чего на лезгинцах или Мирвеизе, то должен с своими требованиями обращаться к Порте, потому что Персия теперь в подданстве у Порты; и русский государь должен вывести свои войска из персидских областей, в противном случае Порты принуждена будет вступить с ним за Персию в войну. Переводчик Порты сообщил Неплюеву по секрету, что на днях английский посол подал Порте мемориал на турецком языке, где говорится, что, по сообщениям от прусского двора, русский государь собирает огромное войско и хочет выступить в поход против Дагестана и распространить свои владения до Черного моря; Порты, говорилось в мемориале, должна беречься России, бороться с которою легко, ибо русский государь не в дружбе ни с одним из европейских государей, все они ему злодеи. Неплюев повидался с французским послом де Бонаком, и тот ему сказал: «Донесите своему двору, что все дело в двух словах: сохранять мир с Турциею и не вступаться в персидские дела; продолжать войну в персидских областях – разорвать с Турциею». Неплюев очень дорожил советами и сообщениями де Бонака и подарил ему два меха собольих в 1300 рублей.

Де Бонак, с умыслом или без умысла, говорил слишком решительно. Диван не хотел войны с Россиею и только страшал, выставляя нравственную для себя необходимость воевать; нравственной необходимости не было: Персия не была в подданстве у Порты, Мирвеиз не думал признавать свою зависимость от султана; в Константинополе хлопотали не о защите нового, правоверного персидского шаха, но хотели прежде всего овладеть христианскою Грузиею, чтоб не перепустить ее в русские руки и не быть отрезанными от магометанских народов Кавказа. Турки угрозами надеялись заставить русского императора покинуть кавказские страны, но Петра трудно было напугать, особенно когда приобретение Каспийского побережья он считал необходимым дополнением к приобретению побережья Балтийского. 4 апреля он сделал нужные приготовления к войне с турками: назначил князя Михаила Михайловича Голицына главным начальником украинской армии; полки были отпущены с работ на квартиры, и велено им быть в готовности; послан указ не высылать малороссийских козаков на канал, воротить тех, которые уже вышли, и быть им готовыми на службу; а 9 апреля Петр велел написать Неплюеву: «Наши интересы отнюдь не допускают, чтоб какая другая держава, чья б ни была, на Каспийском море утвердилась; а что касается Дербента

и других мест, в которых наши гарнизоны находятся, то они никогда во владении персидских бунтовщиков, ни лезгинцев, ни Мирвеиза не бывали, а по собственному их письменному и словесному прошению, как-то бывшему при дворе нашем турецкому посланнику, явно доказано: под покровительство наше добровольно отдались; и если Порта в противность вечному миру будет принимать под свое покровительство лезгинцев, наших явных врагов, тотем менее должно быть противно Порте, если мы принимаем под свое покровительство народы, не имеющие никакого отношения к Порте и находящиеся в дальнем от нее расстоянии, на самом Каспийском море, до которого нам никакую другую державу допустить нельзя. Если Порта безо всякой со стороны нашей причины хочет нарушить вечный мир, то мы предаем такой беззаконный поступок суду божию и к обороне своей, с помощью божиею, потребные способы найдем». Но в это время, когда продолжение военных действий на берегах Каспийского моря условливало войну турецкую, Петр был обеспокоен одним явлением, касавшимся интересов дорогой ему русской торговли: император узнал, что в Италию привезено много икры из Константинополя, тогда как эта страна обыкновенно снабжалась икрой из России; немедленно отправляется поручение к Неплюеву разведать, откуда пошла эта икра, приготовлена ли она в Турции или доставлена русскими купцами и в последнем случае из каких мест?

Русские войска поплыли в Баку, а Турция не объявляла войну России, несмотря на внушения английского посланника, что его король вместе с датским королем хочет напасть на Россию. Туркам хотелось прежде всего утвердиться в Армении и Грузии. Петру это очень не нравилось. 14 и 18 июля и 8 августа происходили конференции между Неплюевым, рейс-эффенди и де Бонаком, который был приглашен в качестве посредника. Неплюев объявил, что его император, несмотря на убытки, причиненные лезгинцами русской торговле, не пошлет против них своих войск, если Порта запретит лезгинцам нападать на те города, в которых находятся русские гарнизоны, и не будет вводить своих войск в персидские провинции, Армению и Грузию, до тех пор пока между Россией и Турциею будет все улажено насчет персидских дел. Рейс-эффенди отвечал, что Порта имеет права не только на Грузию и Армению, но и на все прикаспийские области, а Россия на последние не имеет никакого права, особенно потому, что народы, здесь обитающие, магометанской веры; недавно шевкал тарковский и другие владельцы писали Порте, чтобы по единоверию освободила их из русских рук. Неплюев возражал, что это рассуждение политическим правам противно: вера не служит определением границ, ибо если бы определять границы по вере, то во всем свете мира не было бы: сколько христианских народов под властью Порты, а магометанских под властью России! Неплюев объявил решительно, что император не допустит к каспийским берегам никакой другой державы, особенно Турции.

Между тем английский посланник продолжал внушать Порте, что война с Россией не опасна, что внутри новой империи происходят замешательства. Посол завел сношения и с человеком, который в случае войны мог быть полезен туркам: то был известный нам Орлик, называвшийся гетманом Войска Запорожского. Орлик, привезенный Карлом XII в Швецию, теперь приехал оттуда в турецкие владения и жил в Солониках, откуда посредством одного шведа, жившего при английском поселе, передавал Порте разные предложения; он домогался, чтоб

султан вызвал его в Константинополь, обещая в случае войны с Россией поднять против нее козаков. Визирь потребовал, чтоб он изъяснил обстоятельно, каким образом надеется возмутить Украину и имеет с русскими козаками сношения. Неплюев писал, что до объявления войны Орлика в Константинополь не вызовут.

В конце года по указу от своего двора Неплюев в новой конференции с рейс-эффенди и де Бонаком предложил остановить военные действия с обеих сторон. Порты, уже овладевшая Тифлисом, отвечала, что она готова остановить свои войска, но не прежде, как они овладеют городами Эриванью и Ганджею; согласились, однако, с обеих сторон послать начальствующим войсками приказ, чтоб они поступали между собою дружески, пока дело не решится на дальнейших конференциях в Константинополе. В это время Порты узнала о договоре, заключенном между Россией и Персией в Петербурге. На конференции 23 декабря рейс-эффенди выразил свое удивление: в Персии государя нет, и потому она, естественно, переходит во владение Порты, а между тем русский государь публикует какой-то договор, заключенный с человеком, Порте неизвестным. Резидент отвечал, что в Персии есть государь Тохмасиб, который наследовал престол законным образом после отца. С этим-то законным шахом заключен у России договор с обещанием помогать ему против бунтовщиков, а шах за эту помощь уступил России известные земли. Таким образом, Порты знает теперь, чем Россия владеет; известно и русскому императору, чем Порты в Персии овладела, и так как Персия обоим государствам соседственна, то для уничтожения всяких подозрений император предлагает, чтоб оба государства не распространяли больше своих владений в Персии, остались при том, чем действительно в настоящее время владеют, чтоб турецкие войска не переходили реку Куру, в Шемахе пусть владеет Дауд-бек, но чтоб турецких войск в этом городе никогда не было и город не был укреплен. Рейс-эффенди твердил свое, что Персия вся принадлежит султану, что Тохмасиб не может быть законным шахом, потому что отец его жив, хотя и в неволе. И какая польза русскому государю от договора с Тохмасибом, который принужден бежать в Араратские горы и живет там, как дикий человек; скоро вся Персия покорится туркам, и все тамошние народы, естественно, встанут против русских и выгонят их вон, потому что там искони нога христианская никогда не бывала; в договоре с Тохмасибом русский государь обязан стоять за него, против всех его неприятелей, следовательно, и против турок; значит, вечный мир у России с Портою нарушен. В конференции 30 декабря рейс-эффенди сказал, что султан объявил о русских требованиях своим министрам, духовенству и воинскому чину и все единогласно отвечали, что об этих требованиях слышать не могут, но готовы кровию своею защищать Персию, которая теперь, не имея своего государя, принадлежит Порте, и нога христианская в Персии никогда не бывала; поэтому дается указом султанским последнее решение – договариваться о тех местах, где теперь находятся русские гарнизоны, а до другого ни до чего русскому государю дела нет. Неплюев отвечал, что он остается при прежних своих предложениях. Этим кончились переговоры в 1723 году. 2 января 1724 года переводчик Порты приехал к Неплюеву с вопросом: принимает ли он условия Порты или нет? Неплюев отвечал, что без указа государя своего этих условий принять не может. «В таком случае, – сказал переводчик, – объявляется война, и ты должен выбрать одно из трех: или возвратиться в отечество, или быть при визире в походе, или жить в Цареграде

простым человеком, ибо Порта с этой минуты не признает тебя больше за министра. Хотя у нас и нет обычая при таких случаях оставлять министров на свободе, однако для тебя делается исключение за твое доброе поведение». Неплюев, разумеется, выбрал возвращение в Россию. Он послал немедленно же за паспортом, но ему паспорта не давали, а между тем де Бонак делал Порте представления, что война ей в Персии будет тяжела, ибо тамошний народ враждебен туркам, и Мирвеиза, как человека дикого, надобно опасаться; Россия увеличит число врагов, а быть может, русская дружба со временем Порте пригодится; правда, что русский государь много земель себе забирает, но к турецким границам не приближается, и от французского посла при петербургском дворе Кампредона есть верные известия, что Россия не начнет войны, если Порта первая не нарушит мира. Благодаря этим внушениям султан решил: войны России не объявлять, но приготовляться к ней.

Вслед за тем Неплюев имел приватную аудиенцию у великого визиря в присутствии де Бонака. Резидент начал говорить, что все недоразумение произошло от предложений слишком общих и неопределенных; а если бы откровенно сообщили друг другу, кто чего желает, то давно бы дело было кончено. Визирь сказал на это: «Резидент говорит совершенную правду, и Порта объявит, чего желает. Положим, что у шаха Гуссейна было три сына: один турецкий государь, другой русский, а третий, меньшей, – Тохмасиб; по смерти Гуссейна каждому из них следует иметь свою часть. Российский государь взял уже себе долю; теперь следует Порте получить свою, и пусть французский посол, как посредник, выделит каждому надлежащую часть, чтоб никому обидно не было». «Очень благодарен за такую честь, – отвечал де Бонак, – только по моему разделу наибольшая часть следует младшему, и я буду держать его сторону, как самого слабого». Визирь начал было дележ, уступал России берега Каспийского моря до слияния реки Аракса с Курой, откуда должны были начинаться турецкие владения, но Неплюев и де Бонак объявили, что без новых указов из России дела решить нельзя, и французский посол предложил отправить за этими указами в Петербург племянника своего, Дальона. Визирь согласился, прибавив, что желает заключения оборонительного и наступательного союза между Россиею, Турциею и Франциею, об Англии же турки прямо говорили, что в угоду ей нельзя ссориться с Россиею: в прошлых годах Англия обязалась помогать Швеции против России, а как помогла? Несмотря на то, со стороны Англии продолжались внушения, что русский государь хочет овладеть не только персидскою, но и всею восточною торговлею, вследствие чего товары, шедшие прежде в Европу через турецкие владения, пойдут через Россию, и тогда англичане и другие европейцы выедут из Турции, к великому ущербу короны султановой. Поэтому Порта оружием должна остановить успехи русских на Востоке; и если Порта объявит России войну, то получит денежное вспоможение не только от короля, но и от всего народа английского.

В начале мая Дальон возвратился из России вместе с русским курьером, и у Неплюева начались конференции с турецкими министрами, причем резидент сейчас же заметил перемену в тоне у турок. Они не хотели слышать об ограничении своих будущих завоеваний в Персии, и визирь притворялся, что забыл об условиях, им самим прежде предложенных. Еще более удивило Неплюева то, что де Бонак, получивший перед тем 2000 червонных от России,

явно брал сторону турок и однажды сказал Неплюеву: «Разве вы хотите послушаться указа государя своего, что моих советов не принимаете? Или подозреваете меня во вражде к России? Но государь ваш не так смотрит на дело: он своеручно изволил мне писать, чтоб настоящие переговоры как можно скорее приводить к концу, и во всем положился на меня; если вы не отступите от своего требования, то я слагаю с себя посредничество». В другой раз де Бонак сказал резиденту, что не хочет с ним больше говорить, и выслал его из своего дома. Донося о трудностях, какие он претерпел при заключении договора, Неплюев писал: «Больше того ныне без войны получить было нельзя; но хотя не очень ясно, однако сущность дела вся внесена. От французского посла вместо помощи были только одни препятствия; проект трактата раз десять переправляли; я желал, чтоб все ясно было, а французский посол при турках прямо говорил, что резидент спорит не дельно, в турецком проекте разумеется все то, чего он требует; а племянник его Дальон, как ребенок, при переводчике Порты сказал: „Не знаешь ты, что мы имеем из России проект за подписанием министерским и во всем уполномочены“ – и некоторые слова о лезгинцах говорил; но переводчик Порты этого туркам, по моей просьбе, не сказал. Дальон по приезде в Царьград, не видавшись с послом, прямо взят был к визирю и там невоздержанием ребяческим сказал, что ваше величество на все турецкие предложения склонился, кроме самых неважных пунктов, и те резидент имеет право устранить; сказал также, что вы сильно желаете мира».

Раз десять исправленный договор наконец был составлен таким образом: Шемаха останется под владением вассала Порты Дауда. Пространство от города. Шемахи по прямой линии к Каспийскому морю разделяется на три равные части; из этих трех частей две, лежащие к Каспийскому морю, должны принадлежать России, а третья, ближайшая к Шемахе, будет находиться во владении Дауда под верховною властью Порты. От Дербента на 22 часа пути внутрь страны будет поставлен знак; от этого знака проведется прямая линия к югу, к тому месту, где по означенному выше способу обозначится граница между русскими владениями и Шемахинскою областью: страна по правую сторону от этой линии внутрь страны будет принадлежать Порте, по левую, к морю, – России; наконец, от того места, где будет обозначена граница между русскими владениями и Шемахою, проведется прямая линия к месту слияния рек Аракса и Куры: здесь будет граница между Россиею, Турциею и Персиею. Шемаха не будет укреплена, и в ней не будет турецкого гарнизона, исключая тот случай, когда владелец тамошний воспротивится власти султана или между жителями произойдет смута; и тогда турецкие войска не прежде перейдут реку Куру, как уведомив о своем движении русских комендантов, и по утишении смуты ни один человек из турецкого войска не должен оставаться в Шемахе. Император всероссийский обещает склонять шаха Тохмасиба к уступке Турции занятых ее войском персидских провинций; если же шах не захочет уступить России или Порте выговоренных ими провинций, то Россия и Порта действуют против него заодно. Договор был подписан 12 июня 1724 года.

Для размены ратификаций отправлен был в Константинополь чрезвычайным посланником известный нам бригадир Александр Румянцев, на которого возложено было также разграничение вместе с комиссарами Порты русских и турецких владений на Кавказе. Относительно этого разграничения Петр

собственноручно написал Румянцеву следующую промеморию: «1) мера часовая чтоб была правдивая, а не укорочена. 2) Смотреть накрепко местоположения, а именно от Баки до Грузии какая дорога, сколь долго мочно с войском иттить, и мочно ль фураж иметь, и на сколько лошадей, и путь каков для войска? 3) Мочно ль провианту сыскать? 4) Армяне далеко ль от Грузии и от того пути? 5) Которых пошлет в Азов, чтоб того ж смотрели дорогою возле Черного моря, тако ж христиане последние далеко ль живут от Тамани или Кубани? 6) Курою-рекою возможно ль до Грузии иттить судами хотя малыми? 7) Состояние и силу грузинцев и армян».

Румянцев отправился. Думая, что он уже в Константинополе, Петр велел послать к нему рескрипт: «Приехали к нам армянские депутаты с просьбою защитить от неприятелей; если же мы этого сделать не в состоянии, то позволить им перейти на житье в наши новоприобретенные от Персии провинции. Мы им объявили, что помочь им войском не можем вследствие заключенного с Портою договора, а поселиться в прикаспийских наших провинциях позволили и нашу обнадеживательную грамоту послали. Если турки станут вам об этом говорить, то отвечайте, что мы сами армян не призывали, но они нас по единоверию просили взять их под свое покровительство; нам ради христианства армянам, как христианам, отказать в том было нельзя, как и визирь сам часто объявлял, что по единоверию просящим покровительства отказать невозможно; надобно смотреть только, чтоб земли принадлежали тому, за кем выговорены в договоре, а народам не надобно препятствовать переходить в ту или другую сторону. Порте еще выгоднее будет, когда армяне выйдут, потому что она тогда без сопротивления землями их овладеет. Прибавь, что если Порта захочет перезывать к себе басурман из приобретенных нами от Персии провинций, то нам это не будет противно; станут требовать письменного обнадеживания, дайте».

«Нам нельзя по христианству отказать в покровительстве христианам». Таково было последнее решение Петра по восточным делам; решение, которое хорошо должны были понимать в Константинополе, потому что здесь провозглашено было то же самое начало. Но армяне не были единственные христиане, которым Россия должна была покровительствовать в бывших областях Персидского государства; еще ближе армян к русским по исповеданию был другой христианский народ – грузины. Но этот народ был самостоятельнее армян, у него были свои цари, и мы видели, что один из них, Вахтанг, *царь Восточной Иверии*, или карталинский, имевший пребывание в Тифлисе, хотя поневоле, как сам говорил, был, однако, мусульманином и имел важное значение при шахе Гуссейне в Персии. Мы видели также сношения этого Вахтанга с Волынским и виды Петра на помощь его в намереваемой войне. В начале 1722 года, когда Петр находился в Москве, собираясь в поход, к нему приехал от Вахтанга посланник князь Борис Туркестанов с грамотою, написанною по-латыни *римскими патерами*, в этой грамоте царь Восточной Иверии просил покровительства русского императора. Петр взял Туркестанова с собою в поход, и отправил его из Астрахани 2 июля, давши такое письмо к Вахтангу: «Письмо ваше мы на Москве получили и присланного от вас князя Бориса Туркестанова устное доношение выслушали, на которое заранее отвечать за непотребно рассудили. Но ныне, при прибытии нашем в Астрахань, через того же князя Бориса отвечаем, что мы надеемся, как он к вам приедет, уже на персидских берегах быть. Думаем, что вам эта ведомость будет

приятна, и вы для пользы христианства по ревностному своему обещанию с вашими войсками к нам будете; только надобно, чтоб прочие вашего народа христиане, которые под турецкою властью теперь находятся, никакого движения не делали, чтоб тем не привлечена была Турция напрасно к затруднению сего от бога благословенного дела». Устно Туркестанов должен был объявить Вахтангу желание императора, чтоб он напал на лезгинцев и, когда пойдет для соединения с русскими войсками, чтоб приказал своим под смертную казнию не разорять и не притеснять жителей, но обнадеживать их, чтоб оставались в своих домах и ничего не боялись, «понеже от того много зла последовать будет: первое, что разбегутся и нам все пусто будет, что мы себе просим; другое, что мы всех огорчим и через то все потеряем».

Туркестанов возвратился с новою грамотою, в которой Вахтанг, называя Петра «неугасимую лампадою при гробе Христове и венцом четырех патриархов», а себя – «потомком Давида и Соломона», уверял в своем послушании русскому государю, которого пришествия они все, христиане, ожидали, как Адам, сидя в аду, ждал сошествия Христа-избавителя. Вахтанг писал, что он получил и от шаха приказание идти на лезгинцев; а Туркестанов объявил, что турки присылали к Вахтангу, требуя, чтоб он поддался султану и соединил свои войска с турецкими для войны против Персии, за что получит власть над всеми христианами, подданными Порты в Грузии и Иверии, но Вахтанг отвечал, что не хочет изменить персидскому шаху. В октябре Вахтанг писал, что он в походе на лезгинцев, но что кахетинский царь Константин, враждуя с ним, помогает неприятелю.

С дороги из Дербента назад, в Астрахань, Петр отправил к Вахтангу подпоручика Ивана Толстого склонять царя, чтоб он убедил шаха уступить России Каспийское побережье и христианские свои владения для сохранения остального с помощью императора от бунтовщиков и притязаний Порты. Толстому Петр дал следующие пункты: «Говорить, рассуждать, внушать и утверждать: 1) о повороте нашем, что весьма нельзя было далее идти; 2) что нам невозможно вдаль ходить с такими войсками, не учредя магазинов, что чинить надобно через море и, ежели не скоро сделается сие, чтоб сумнения не имели. Сие всякими образы им показывать и укреплять их; 3) о деле шаха персидского понуждать принца, рассуждая ему собственную его пользу, также когда шах сам уступит, то уже никому во оное вмешиваться будет нельзя, а шаху, в такой будучи нужде, для чего б наше предложение не принять? Понеже лучше малое потерять ему, нежели все государство свое, а может быть, и живот свой. Смотреть, примечать и, разведывая, писать следующее двояким образом: что подлинно знает – заподлинно и писать, а что слухом – слухом и писать: 1) каков народ и сила их воинская, какое ружье и манера, сколько собирается. 2) Весь ли народ их нашего закона или разных и которых какая часть. 3) Какой порядок и какое послушание к принцу и прочим, и силен ли он в полной власти или на шавкальскую походит. 4) Как слышим, что без наших войск опасаются в дело вступать; какая опасность и от кого или для домашней розни. 5) Возможно ль из них сыскать таких людей, которые бы похотели поселиться близ Дербента и Шемахи, также ежели из нестройных оные добры, мочно ль нанять их в собственную нашу службу и почем возьмут?» В начале ноября Толстой дал знать из Тифлиса, что он здесь Вахтарга не нашел, нашел побочного сына его Вахушта в должности правителя. Вахушт пришел в ужас, когда узнал о возвращении императора из Дербента в Астрахань, и Толстой

ничем не мог его успокоить; Вахушт представлял всю опасность, в какой находится Грузия: арзерумский паша по указу султана уже в другой раз присылал с угрозами, что если грузины не поддадутся Порте, то земля их будет разорена. Вахушт упросил Толстого молчать о возвращении императора, чтоб народ не пришел в отчаяние. Об этом народе Толстой писал: «Народ здешний зело доброжелателен к вашему величеству, и без молитвы не помянут высокого имени вашего; когда меня увидят на улице, то поднимают руки на небо и просят бога, чтоб видеть больше русских».

Вахтанг приехал в Тифлис и взялся охотно исполнить поручение императора относительно мирных переговоров с шахом, но скоро собственные его отношения к Персии изменились. 30 января 1723 года в Тифлис пришел указ шаха, что он пожаловал ханство Грузинское кахетинскому владельцу. Последний немедленно явился под Тифлисом, но Вахтанг не уступил ему, и началась усобица. В это самое время арзерумский паша явился на границе с войском, требуя подданства Порте. Вахтанг не соглашался, но грузины собрали совет и объявили царю, что надобно поддаться на время, пока не услышат о прибытии русского императора в Шемаху. «Если нам не поддаться на время, – говорили они, – то пропадем совсем, потому что шах на нас сердит, турецкий султан тоже и войска его стоят на границе; у нас же твой брат, кахетинский хан, сидит на шее, хочет нами завладеть силою». Толстой и князь Туркестанов возражали: «Пуще вы пропадете, когда поддадитесь такому сильному басурману, из его рук вам выбиться будет трудно, да и русского государя прогневае; он пришел для вашего избавления, но вы с ним не соединились; теперь потерпите только два месяца и услышите о действиях русских войск». Но грузины объявили, что не имеют никаких средств противиться таким сильным врагам, и поддались туркам. Это подданство не избавило, однако, Грузию от усобицы: кахетинский владелец выгнал Вахтанга из Тифлиса; изгнанник нашел убежище в России.

Глава вторая

Продолжение царствования императора Петра Великого

Сношения с Польшею. – Приезд в Москву белорусского епископа князя Четвертинского с жалобами на притеснения от католиков и униатов. – Петр требует от короля назначения комиссии для разбора жалоб русских людей и назначает от себя членами комиссии переводчика Рудаковского и ученого монаха Рудинского. – Прусский король обращается к русскому императору с просьбою заступиться за евангеликов, гонимых в Польше. – Сейм 1722 года. – Дело об императорском титуле. – Деятельность русского министра князя Долгорукого во время сейма. – Деятельность комиссара Рудаковского в пользу православных в польских областях. – Неприятности у Рудаковского с Долгоруким. – Князь Василий Лукич Долгорукий в Польше. – Неуспех королевский на сейме. – Сношения с римским двором по православно-русскому делу. – Дела курляндские. – Деятельность Петра Бестужева в курляндии. – Сношения с Австриею. – Мекленбургское дело. – Сношения с Пруссиею. – Сношения с Даниею. – Требование освобождения русских кораблей от зундской пошлины. – Переговоры

и союз с Швецией. – Сношения с Францией. – Желание Петра выдать дочь свою Елисавету за короля Людовика XV. – Другие женихи из французских принцев. – Сношения с претендентом Стюартом. – Сношения с Испаниею.

Если относительно армян Петр высказался, что «нельзя по христианству отказать в покровительстве христианам», то понятно, что он не мог оставить без покровительства христиан и русских людей, которые не переставали просить помощи против гонения от польских католиков и униатов. В январе 1722 года, когда император был в Москве, приехал туда белорусский епископ Сильвестр, князь Четвертинский, «обижен и изгнан от ляхов и униатов». Сильвестр представил в коллегии Иностранных дел длинный список обид и притеснений, какие терпит православное духовенство от шляхты; сам епископ носил на руке знаки ран, полученных таким образом: в Оршанском повете шляхтич Свяцкий стал принуждать в вотчине своей православного священника к унии, тот не согласился и получил за это по приказанию пана несколько сот палочных ударов. Сильвестр, встретившись с Свяцким на дороге недалеко от Могилева, стал выговаривать ему за поступок с священником; тогда Свяцкий вместо ответа вынул саблю и нанес епископу две раны в руку. Священников привязывали к четырем кольям и били до тех пор, пока закричат, что согласны на унию; пан поедет на лошади, а священника прицепит веревкою и гонит три версты пешком. Бискуп виленский под смертною казнию запретил строить вновь православные церкви.

Получивши это донесение, Петр написал королю: «Единственный способ для пресечения жалоб духовных и мирских людей греческого исповедания, для освидетельствования обид и для получения за них удовлетворения – это немедленное назначение комиссии, членами которой должны быть и наши комиссары, и уже нами назначен для этого переводчик при посольстве в Варшаве Игнатий Рудаковский и с ним один монах из Заиконоспасского монастыря, учитель (Иустин Рудинский), которым мы повелели жить в Могилеве, сделать подробное исследование об обидах людям греческого исповедания и представить ко двору вашего королевского величества с требованием исправления по силе договора о вечном мире 1686 года и по их правам и привилегиям. Если же паче чаяния по этому нашему представлению и прошению удовлетворения по силе договора не воспоследует, то мы будем принуждены сами искать себе удовлетворения». Мы видели, что уже в описываемое время дело о православных русских соединялось с делом о протестантах, притесняемых также католиками в Польше, и вопрос принимал уже характер диссидентского вопроса; мы видели, что польские протестанты уже обращались к Петру с просьбою о помощи. В описываемое время прусский двор обратился к русскому императору с просьбою заступиться за *евангеликов*, гонимых в Польше.

Русским министром при дворе Августа II продолжал быть князь Сергей Григорьевич Долгорукий. В начале 1722 года он хлопотал о том, чтобы король признал императорский титул русского государя; когда он обращался с этим делом к некоторым доброжелательным сенаторам, те отвечали, что Речь Посполитая согласится, если король не будет препятствовать; только одно сомнение: не даст ли этот титул будущим государям русским претензий на русские области, находящиеся под польским владычеством? «Но не все ли равно, – отвечал им

Долгорукий, – что быть царем или императором всея России?» Несмотря на то, паны продолжали толковать, что можно дать императорский титул только под условием письменного удостоверения, что император и его преемники не будут претендовать на русские области, находящиеся за Польшею. Видели опасность в титуле и не видали ее в явлениях, по поводу которых Петр писал Долгорукому: «Содержание нашей грамоты к королю объяви сенаторам и министрам польским всем с ясным представлением, что если удовлетворения не последует, то будем принуждены сами его искать; домогайся с крайним прилежанием, чтоб определили немедленно комиссаров, при которых должен находиться и наш комиссар Рудаковский, и, прежде чем комиссары с польской стороны будут назначены, отправь немедленно Рудаковского из Варшавы в Могилев, чтоб он жил при тамошнем епископе князе Четвертинском, и обо всех обидах людям греческого исповедания подлинно еще осведомился, и приготовил все доказательства для комиссии, и старался бы о том, чтобы греческого исповедания людям вперед гонения не было. Можешь объявить прусскому министру в Польше, что получил указ заступиться за евангеликов и, если по интересам нашим заблагорассудишь, можешь при случае и об них при польском дворе представления делать и взаимно требовать от прусского министра, чтоб и он тебе в делах людей греческого исповедания помогал».

В сентябре начался сейм, причем со стороны двора обнаружилось прежнее стремление укрепить наследство польского престола за сыном Августа II. Зная, что русский министр будет препятствовать этому всеми силами, придворная партия распустила слух, что русские потерпели сильный урон в Персии; разглашали также, что Долгорукий будет угрозами вынуждать у сейма признание императорского титула за своим государем и если сейм не согласится, то 60000 русского войска вступят в Польшу; внушали послам сеймовым, что если Речь Посполитая согласится дать царю императорский титул, то Петр, основываясь на этом титуле, отберет у Польши все русские провинции; король может в таком случае защитить республику, но за это должен быть обнадежен, что сын его получит польский престол. Долгорукий платил тою же монетой, выдумывая известия об успехах русского оружия в Персии. Впрочем, русский министр был вполне убежден, что посредством сейма король никогда не в состоянии провести *сукцессии*, т.е. заставить поляков согласиться признать его сына наследником престола, и удивлялся, как берлинский двор может этого бояться. Август II, по мнению Долгорукого, мог достичь своей цели только интригами и смутною. «Если же, – писал Долгорукий, – паче чаяния будет от двора предложение сейму о сукцессии, то буду протестовать и сейм до окончания не допущу». На сейме возобновилось старое дело, чтобы Флеминг сдал команду над польскими войсками природному поляку; двор этому противился по-прежнему; Долгорукий, подкупая послов сеймовых, заставлял их требовать, чтобы Флеминг непременно сдал команду. Но если послы сеймовые могли подчиниться влиянию русского министра, зато почти все магнаты были на стороне двора и готовы были исполнить желание Августа насчет удержания команды при Флеминге и увеличения числа регулярных войск, в чем заключалось вернейшее средство для короля достигнуть своей цели относительно наследства, особенно при помощи Австрии и пользуясь отсутствием русского государя. В таких обстоятельствах Долгорукий считал необходимым разорвать сейм на вопросе о Флеминговой

команде, чтобы «пресечь предосудительные дворские намерения». Увидевши опасность от действий Долгорукого, двор решился уступить в деле Флеминговой команды, чтобы только согласились продолжать сейм хоть на три дня, и в это время объявить, что так как после отнятия команды у саксонского фельдмаршала король не может считать себя более безопасным, то требует других мер для своей безопасности, а именно заключения оборонительного союза с Австрией. Но «добродетельные», по выражению Долгорукого, послы не допустили до продолжения сейма, который по истечении законного срока и разошелся, ничего не решив.

Между тем назначенный с русской стороны комиссаром Игнатий Рудаковский писал императору, что римский клир усиленно хочет воспротивиться порученной ему комиссии; говорят, будто это новость, чрезвычайно вредная государству, и русский государь хочет самовластно повелевать в государстве вольном. «Римский клир, – писал Рудаковский, – всячески будет стараться, как бы мне повредить или обнести меня у двора вашего величества, ибо, видя мое неусыпное старание, предполагает, что если я буду жить в Литве, то все их надежды на превращение православных в унию исчезнут; может быть, и наших заставят мне вредить, особенно тех, которые противны вере нашей благочестивой. У всех римлян то намерение, чтобы небольшим удовлетворением ваших требований усыпить двор вашего величества и тем удобнее впоследствии искоренять греческое исповедание в здешних краях». Король писал Петру, что назначит требуемую комиссию; по жалобе пинских монахов на захваченные православными монастыри и церквей в унию поведено было дело в суде и состоялся приговор о возвращении отнятых церквей и монастырей православным, несмотря на сильное сопротивление католического духовенства.

Этим неслыханным прежде в Польше делом закончился 1722 год. В начале 1723 года король Август уехал из Варшавы в Дрезден. Долгорукий отправился за ним и в Бреславле виделся с королевичем Константином, сыном бывшего короля Яна Собеского, объявил ему волю императора и внушал ему, чтобы королевич в потребное время старался о своих интересах, т.е. о получении польского престола; Константин отвечал, что в Польше всего более надеется на фамилию князей Вишневецких, и с покорностью поручал себя покровительству императора. А между тем в Саксонии и Польше людей, враждебных России, радовали вести, что Турция непременно объявит войну России, если Петр не откажется от своих персидских завоеваний. Флеминг нарочно показал Долгорукому письмо коронного гетмана Синявского, который писал, что турки непременно объявят войну России, причем и Швеция с Англией и Данией соединят против нее свои флоты; так как, по мнению Синявского, русские войска пойдут через Польшу, то гетман требовал созвания чрезвычайного сейма для изыскания средств, как бы воспрепятствовать этому. «При дворе русском, – говорил Флеминг, – имеют обыкновение упрекать саксонских министров в недоброжелательстве; но теперь видите, как доброжелательны к вам поляки!» Тут же Флеминг сообщил слух, будто во время прошлого сейма прусский посланник Шверин дал Долгорукому на расход три тысячи червонных. «Я этих денег у Шверина не требовал и не получал», – отвечал Долгорукий, а императору написал: «Очень меня удивляет, что господа министры прусские, резидующие при польском дворе, не могут ничего секретно делать, ибо все их поступки здешнему двору известны». По счету издержкам сеймовым,

представленному Долгоруким своему двору, выходит, что у Шверина взято было только две тысячи червонных; роздано было 2590 червонных, из них 800 – гетману литовскому Денгофу, остальные – послам сеймовым.

Между тем Рудаковский действовал в Западной России. В Пинске он с торжеством привел в исполнение декрет королевский о возвращении православным церковью их, отданных униатам; тщетно ксендзы и униаты вопили, как бесноватые: «Нам беда! Нам грозит смерть! Лучше бы нам было видеть в этих церквах турок или жидов, чем проклятых схизматиков!» Тщетно католический епископ луцкий грозил проклятием всем католикам, которые присутствовали при отобрании церковей, желая этим возбудить католиков против православных: никто не двинулся. В Минске Рудаковский спас одного мещанина, которого насильно обратили в католицизм и когда он возвратился к отцовской вере, то хотели сжечь. Приехавши в Могилев и осмотревшись, Рудаковский написал Петру: «Для прекращения здешних гонений на церковь восточную два способа легких: первый способ – шляхтича Соколинского, как самого свирепого гонителя церкви восточной, живущего в двух милях от русской границы, схватить и увезти в Россию под предлогом, что титулуется незаконно архиепископом смоленским и северским. Второй способ – схватить и вывезть в Россию Линдорфа, старосту Мстиславского, живущего также на границе, под предлогом, что в прошлых годах грабил казну вашего величества близ Борисова; от этих тяжких гонителей церковь восточная не иначе может освободиться; другие же, увидав это, все скроются, и исчезнет память их с шумом; покричат поляки, по обычаю своему, и тотчас же замолчат. А если таким пугалом не постращать, то трудно будет с ними справляться; так и теперь в Пинске я отобрал церкви, а за убытки и разорение где взять? Обратиться в Рим, где правды нет? Легче выпить воду в море, чем найти справедливость в Риме. Мы будем искать своего судом, а враги церкви в других местах будут грабить, и делу конца не будет; а когда эти две особы будут схвачены, то сейчас прекратятся все обиды. А что епископ белорусский вашему величеству доносил о гонениях на церковь восточную, то все правда, разве что забыл написать». Но в то время как Рудаковский предлагал эти меры против гонителей восточной церкви, он сам и вместе с епископом белорусским подверглись страшному оскорблению от своих православных монахов. Епископ князь Четвертинский пригласил Рудаковского ехать вместе в Кутеинский монастырь близ Орши для освидетельствования жизни тамошних монахов, о которых донесено было много нехорошего. Но монахи встретили епископа тем, что начали бить людей его, и когда он велел отдать зачинщиков бунта под стражу, то игумен вскочил на лошадь, прискакал в город Оршу, велел бить в набат и всполошил множество шляхты и черни, крича, что воры и разбойники напали на монастырь. Толпа с криками «Бей, руби москалей и попа-схизматика!» бросилась на епископа и Рудаковского, избивала их, ограбила и держала под стражею, пока не вступилось в дело местное начальство. Донося императору об этой «трагедии», Рудаковский писал: «Во всем виноваты русские архиереи, которые своими благословительными грамотами вмешиваются в эту епархию, освобождая посвященных ими здешних иеромонахов от подчинения епископу белорусскому. Можно ли епископу ростовскому вмешиваться в епархию киевскую и архиепископу киевскому в епархию новгородскую? Это не позволено, только в одну епархию белорусскую чуть ли не все епископы вмешиваются и тянут к себе

благословительными листами; а чрез это гинет здесь вера наша православная, ибо монахи, имея благословительные листы, живут непотребно в пьянстве и всяком разврате, а когда епископ белорусский захочет их смирить, то они объявляют, что зависят от киевского архиерея, и своею бездельною жизнью возбуждают только насмешки врагов церкви, которые были в большом страхе после отобрания церквей в Пинске, а теперь подняли головы. Повели, государь, чтоб киевский архиерей не вмешивался в эту епархию и чтоб св. Синод все прежде данные благословительные грамоты уничтожил; истинно, государь, здесь и без этих благословительных грамот тошно, ибо все единодушно желают веру благочестивую искоренить, и православные находятся в более униженном положении, чем жида, а благословительные листы собственных детей против пастыря своего поднимают, и в несогласии вера наша гинет. Епископ князь Четвертинский слезно просит ваше величество, чтоб вы позволили ему зависеть единственно от св. Синода».

И в самом Могилеве, где жил Рудаковский, католики не упускали случая оскорблять православных; так, в свой праздник тела господня потребовали, чтоб был звон у православных церквей, и когда епископ не дал своих людей для звона, то католики прислали своих и звонили. В других, более отдаленных местах католикам была своя воля, а какая была возможность, по словам Рудаковского, удержать людей, которые считали средством к спасению души нанести обиду православному или протестанту! Рудаковский предлагал своему правительству средство сдержать панов, отличавшихся особенною ревностью в гонении на православие, – конфисковать товары их в Риге. Значительнейшие из русского духовенства в Белоруссии предлагали Рудаковскому другое средство – поднять простой народ и перебить всех католиков и униатов, потому что, говорили они, простой народ весь пойдет за нами, не только те, которые еще остались в православии, но и те, которые силою совращены в унию. Рудаковский отвечал им, чтоб позабыли и думать об этом, а дожидались бы покровительства русского императора, который уже прислал его, Рудаковского, для защиты восточной церкви. Духовенство со слезами отвечало, что им в таком адском тиранстве жить невозможно, если не будет скорой помощи от императорского величества. Положение самого Рудаковского, как «проклятого москаля-схизматика», вовсе не было завидно: какой-то кармелитский монах уже ломился к нему в дом с угрозою убить его и потом объявил, что был подкуплен для убийства. Неприятность положения Рудаковского усиливалась еще нерасположением князя Долгорукого, который, по-видимому, рассердился на комиссара за то, что тот доносил своему двору и о делах, не касавшихся столкновений русских людей с католиками и униатами. В деле Кутеинского монастыря Долгорукий не заступился за Рудаковского и епископа, напротив, написал императору, что князь Четвертинский поступил неправильно, ибо Кутеинский монастырь находился под ведомством киевского архиерея, и Рудаковский получил из Петербурга приказание ограничиться наблюдением, чтоб католики и униаты не притесняли православных, и не вмешиваться в дела православного духовенства.

Долгорукий продолжал и в 1724 году неблагоприятно относиться о Рудаковском. «Здесь, – писал он Петру, – беспрестанные жалобы на переводчика Рудаковского; думаю, на сейме немалые неудовольствия и жалобы будут на его недискретные с ними поступки; притом мешается в дела, ему не порученные,

извольте это ему высоким своим указом запретить и повелеть дискретно с тамошними жителями обходиться, потому что могут недискретно с ним поступить, что высокому гонору вашего величества противно, ибо его уже нечестно трактовали за его насильственные и неучтивые поступки». Вследствие этого донесения Рудаковскому прислан был новый выговор за недискретные поступки и, кроме того, выговор за дурной язык его донесений: «В реляциях твоих употребляешь ты зело многие польские и другие иностранные слова и термины, за которыми самого дела выразуметь невозможно: того ради впредь тебе реляции свои к нам писать все российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов». Рудаковский отвечал: «Враги церкви усиливаются повредить мне и обнести меня, невинного, пред вашим величеством (а от князя Сергея Григорьевича Долгорукого ни я, ни епископ не получаем в обидах наших никакого ответа), потому что неусыпное мое старание о врученных мне интересах очень им неприятно, когда происходят небывалые в этих краях дела: так и теперь по просьбе жителей поветов Мозырского, Петриковского и Речицкого посланы два духовных лица, которые с пятьдесят церквей, находившихся под униатским игом, возвратили в недра восточной церкви и донесли мне, что весь народ воеводства Киевского и других склоняется к вере православной и от унии усердно отступить желает, только надобна помощь на будущем сейме. Очень мне горько, что обвинения на меня, ни в чем не виноватого, дается вера; очень чувствительно мне и то, что министр вашего величества, пребывающий в Варшаве, зная сам очень хорошо о всех здешних притеснениях православным, изволит верить ложным донесениям, а истинным с нашей стороны не верит и дурно пишет обо мне. Получил я известия из Варшавы, что все римское духовенство и люди их закона (в котором и из наших некто обретаются) хлопочут изо всех сил, чтоб меня и порученное мне дело ниспровергнуть».

В западнорусских областях пошел слух, что будущий сейм будет иметь важное влияние на судьбу православных жителей или судьба их улучшится, если русский государь решительно возьмет их под свое покровительство; в противном случае поляки примут решительные меры против восточной церкви. Петр счел нужным отправить на помощь к князю Сергею Долгорукому более опытного и искусного родственника его, князя Василья Лукича, вызванного из Парижа. Князю Василью было дано два кредитива: один – с характером полномочного министра, другой – чрезвычайного и полномочного посла, из которых первый он должен был вручить королю при приезде своем в Варшаву, а другой объявить только в случае крайней необходимости. Долгорукий должен был приехать в Польшу до начатия предварительных областных сеймиков и стараться, чтоб с этих сеймиков на генеральный сейм отправлены были послы, доброжелательные русскому императору и Речи Посполитой; стараться, чтоб маршалком (председателем) на генеральный сейм был выбран также доброжелательный к России человек; домогаться на сейме, чтоб жители греческого исповедания получили удовлетворение в обидах, также чтоб получили удовлетворение пограничные жители Российской империи, пострадавшие от поляков; стараться об отнятии команды над войсками у Флеминга и возвращении ее гетманам; побуждать под рукою к тому же и прусского министра; если поляки не будут соглашаться давать государю титула императора всероссийского из опасения, что под этим титулом будут заключаться русские земли, находящиеся под владычеством Польши, то

согласиться, чтоб дан был такой титул: император и самодержец всея Великия и Малыя и Белья России – титул старый, признанный Польшею, в котором только слово «царь» заменено словом «император». Домогаться выдачи изменника – малороссийского козака Нахимовского, который бежал с Мазепою, был потом при Орлике, употреблявшем его в сношениях с Портою и Крымом, и теперь выслан турками в Польшу. Никак не допускать, чтоб наследство польской короны было упрочено в доме саксонском. Сделать представления в пользу диссидентов.

Князь Василий Лукич начал свои донесения из Варшавы печально: у короля сильная партия, в которой Потоцкие, Чарторыйские, все гетманы; эти люди склонили к королевской стороне и множество шляхетства, вследствие чего маршалком сеймовым единогласно выбран Потоцкий, брат примаса, который находится совершенно в воле королевской. Дела, которыми должен заняться сейм, очень важны: 1) увеличение числа войск, к чему многие показывают склонность; это дело самое трудное, потому что наши внушения здесь подозрительны по причине соседства; 2) дело курляндское: рассуждают, что Курляндия принадлежит Речи Посполитой и другие державы не имеют права в нее вмешиваться; говорят, что по смерти князя Фердинанда Курляндию надо разделить на воеводства. Это дело хотя и опасное, но все же не так опасно, как первое; 3) подтверждение прежних договоров с цесарем. «Видя все эти опасности, – писал Долгорукий, – ожидая и других и не видя ничего надежного, чтобы можно на этом сейме к пользе вашего величества сделать, намерен я, в случае если все будет делаться по желанию королевскому, разорвать сейм, ибо это наилучший способ к пользе вашего императорского величества».

С этой целью Долгорукие начали приискивать между послами людей отважных, посредством которых можно было бы при нужде разорвать сейм; согласились насчет этого и с прусским министром. Примас Потоцкий с своей стороны грозил послам конным сеймом или конфедерациею, если они позволят разорвать сейм, и, чтоб уничтожить всякую причину к неудовольствию, Флеминг сдал команду над войсками гетманам. Долгорукие не отчаивались и продолжали искать отважных людей для разорвания сейма; знатные и богатые послы не брались за это опасное дело; один знатный посол обещал сыскать из небогатых послов двоих, которые согласятся разорвать сейм, но требовал, чтоб Долгорукие сказали заранее, что за это дадут. Один посол обещал разорвать сейм, отыскивали другого, прусский министр объявил, что и он надеется приискать смельчаков. Но эти труды и издержки оказались ненужными, ибо скоро явился повод к несогласию: король и его партия требовали, что так как Флеминг сдал команду, то по крайней мере гвардия должна остаться под командою королевскою; но другие послы на это не соглашались; в этих спорах подошло 2 ноября – срок, назначенный для окончания сейма, и послы разъехались, ничего не сделавши; король при самых благоприятных для себя, по-видимому, условиях не выиграл ничего, ничем не вознаградил себя за то, что его саксонский фельдмаршал потерял начальство над польским войском.

После сейма Долгорукий имел конференцию с польскими министрами и сенаторами и представил им требования своего двора. как они были обозначены в его инструкции. На эти требования он получил такой ответ: король хочет неотменно сохранять дружбу царского величества, дело же признания императорского титула откладывает до будущего сейма. Подданные короля и Речи

Посполитой закона греческого всякий раз, когда прибегали под защиту королевскую, были выслушиваемы и получали удовлетворение; доказательство – церкви им возвращены, а после того никакой жалобы не было. Диссиденты в государствах королевских не должны ничего опасаться, пока сами живут спокойно. С своей стороны польские министры предъявили Долгорукому следующие пункты: о неотлагаемом возвращении Риги и Лифляндии в силу союзного трактата; об очищении Курляндии и Семигалии; о том, что Польша должна спокойно владеть городами Чигирином, Каневом, Терехтемировом, Черкассами и другими пограничными; об уплате польским и литовским войскам миллионов в силу союзного договора; о возвращении пушек в Польшу и Литву; о возвращении пленных. Упомянуто было и о том, что уже два года, как в Могилеве живет Рудаковский, неизвестно почему называющийся комиссаром царского величества; он мешается в дела духовные, нарушает мир между католическим духовенством и дзунитами, противными своими и лживыми реляциями может на гнев привести царское величество; «поэтому мы требуем, – писали польские министры, – чтоб этот резидент был отозван, ибо не помним, чтоб когда-либо прежде подобные комиссары жили в землях наших и вмешивались в дела духовные». Наконец, поляки требовали, чтоб епископ переяславский к попам польских областей комиссаров своих не присылал.

Православно-русское дело в польских областях, которым так усердно занялся Петр, естественно, вело к сношениям с главою католицизма, могшим по разным соображениям умерить ревность польских фанатиков. Еще до окончания Северной войны Петр поручил находившемуся в Венеции Савве Рагузинскому снестись с двором папы Климента XI и поставить ему на вид, что, кроме иезуитов, другие католические духовные могут быть допущены в Россию, только бы не мешались в не надлежащую им корреспонденцию и в дела политические, за что именно высланы иезуиты. Савва Владиславич исполнил поручение, и кардинал Отобони отвечал ему, что духовные разных орденов – капуцины, францисканцы, кармелиты – будут заниматься только религиозным учением и богослужением, что папа обяжет их под жестоким наказанием и мысленно не вмешиваться в государственные и гражданские дела; что если папа получит от русского государя желаемую грамоту для своего духовенства в России, то отблагодарит за это признанием титулов и, кроме того, пришлет дорогой подарок-статую или какую-нибудь другую античную вещь. Смерть Климента XI порвала сношения. Весною 1722 года приехал в Россию иезуит Николай Джанприамо, возвращавшийся в Европу из Китая. Иезуиту дали свободный пропуск, и воспользовались случаем, чтоб через него переслать от имени канцлера Головкина письмо к кардиналу Спиноле с жалобой на гонения, претерпеваемые православными в Польше. «Повелел мне его величество, – говорилось в грамоте Головкина, – писать к вашему преимуществу, чтоб вы представили дело верховнейшему понтифексу и склонили бы его послать в Польшу крепкий указ не обижать людей греческого исповедания в противность трактатам, но дать совести их покой и свободу, ибо над совестью один бог имеет власть. И если католики, польские и литовские, не перестанут гнать христиан греческого закона и принуждать их с таким непристойным насилием к унии, то его императорское величество принужден будет против своего желания в возмездие запретить духовным латинского закона отправлять в России свое богослужение». Только в

начале 1724 года иезуит отвечал русскому канцлеру, что кардинал Спинола писал к папскому нунцию в Польше Сантини с требованием подробного изложения дела. Сантини отвечал, что в Риме желают иметь подробнейшие сведения, тем более что из Польши извещают, что русский государь уже заявил свои требования польскому двору; но в этих требованиях многие пункты неверны, и в Риме ждут из Польши верных известий для окончания дела.

Вместе с вопросом православно-русским в отношениях России к Польше важен был вопрос курляндский. Мы видели, что этот вопрос был поднят преждевременною смертию молодого герцога курляндского Фридриха-Вильгельма, мужа племянницы русского государя. Герцогиня-вдова Анна Иоанновна, которой содержание было обеспечено брачным договором, оставалась в Курляндии, и при ней для охранения ее и русских интересов находился генерал-комиссар Петр Бестужев, отец уже известных нам дипломатов Михайлы и Алексея Петровичей Бестужевых. Бестужеву было много дела, потому что с интересами Анны и ее дяди сталкивались интересы герцога Фердинанда, которому хотелось удалить из Курляндии опасную соперницу; интересы курляндского дворянства, которому не хотелось удовлетворять требованиям Анны относительно имений и доходов, выговоренных в брачном трактате; интересы польского короля, которому хотелось помирить герцога Фердинанда с его подданными и объявить брачный договор покойного герцога недействительным по причине несовершеннолетия Фридриха-Вильгельма и таким образом уничтожить претензии герцогини-вдовы или по крайней мере выдать ее за одного из своих; интересы Польши, которая не хотела, чтобы через Анну вступил на курляндский престол новый дом, а хотела, чтобы по смерти или устранении старого и бездетного Фердинанда Курляндия была присоединена к Польше и разделена на воеводства. Пруссия по своим инстинктам не спускала глаз с Курляндии, но, зная, что тут ничего нельзя сделать без сильной России, соединяла свои интересы с интересами последней и хлопотала о браке Анны с маркграфом бранденбургским, что, как мы видели, было противно королю польскому. При столкновении всех этих интересов курляндское дворянство, естественно, делилось на партии. В 1718 году Бестужев доносил Петру: «Здесь добродетели мне предлагали, чтобы государыня царевна до окончания дела о преемстве престола (о сукцессии) отсюда не отлучалась бы, потому что в ее отсутствие от противных людей многие факции происходить могут, и могут эти люди излишнюю в делах иметь бодрость, и добродетельные нам не будут иметь надлежащей смелости; а в резиденции ее высочество наибольший свой авторитет, яко суцкая здешней земли государыня, может одержать». Для усиления русской партии Бестужев пользовался высказавшимся намерением поляков разделить Курляндию на воеводства и представлял письменно высокоблагородным господам, оберратам и благородному рыцарству: «Можете рассудить, что тогда все вольности как в гражданском деле, так и в вере уничтожатся, ибо известно, что в Польше и Литве лютеране терпят великое гонение, никто из них ни до какой правительственной должности не допускается. Поэтому царское величество велел объявить королю и республике Польской, что он для соседства никак не допустит деления Курляндии на воеводства и делает это не для одной племянницы своей, но для соседственного благородного рыцарства и земства курляндского и нарушения древних прав Курляндии допустить не хочет; не желает он приобрести

себе ни целую Курляндию, ни какую-либо часть ее и другого сделать это допустить не может».

На сейме 1719 года была сильная борьба между русской и польской партиями: первая настаивала на решении просить короля и республику, чтобы Курляндия осталась по-прежнему под немецким и герцогским управлением; вторая, главами которой были Косцюшко и Эден, хотела просить только об удержании немецкого управления, не упоминая о герцоге. Наконец русская партия взяла верх, но в Польше не отказывались от своих притязаний, и в марте 1723 года Петр писал Бестужеву: «О кандидате с нашей стороны пришлется вскоре, а между тем чем возможно держите, и ежели не вредно, то хотя таких кандидатов выбирать несколько, которые сами не похотят (пока мы вам отпишем о подлинном), дабы поляков удержать тем или иным способом». Для увеличения претензий вдовствующей герцогини Бестужев предложил своему двору выкупить на имя Анны герцогские земли, находившиеся в закладе у дворянства, что было исполнено и, как легко понять, возбудило сильное неудовольствие в Польше и в польской партии в Курляндии. В 1724 году в Польше наряжен был суд над курляндским дворянством, которое взяло от вдовствующей герцогини выкупные деньги: суд решил, что дворяне должны возратить взятые деньги, и, сверх того, наложил на них штраф за то, что они поступили вопреки комиссионным декретам, запрещавшим уступать закладные герцогские земли людям сильным и иностранцам. Дворяне явились к Бестужеву с представлениями, что они взяли выкупные деньги и передали земли герцогине, исполняя желание русского императора и вовсе не считая герцогиню иностранкою, но видя в ней свою государыню; дворяне просили, чтоб император заступился за них у короля и республики Польской и не допустил их до нищеты. Петр велел Бестужеву обнадежить дворянство, что русский посол в Варшаве получил указ требовать у польского правительства уничтожения декрета, как выданного в предосуждение племянницы императора, ибо выкуп земель сделан в силу брачного договора с покойным герцогом. Курляндские дворяне могли положиться на слово Петра, потому что слово это было всегда с силою: так, когда Бестужев жаловался, что курляндское правительство поступает вопреки русским интересам, то император немедленно написал к командующему в прибалтийских областях генералу: «Пишет к нам из Митавы Петр Бестужев, что курляндские ландраты чинят некоторые противности и племянницы нашей, царевны Анны Ивановны, ни в чем не слушают, а именно придворным ее служителям квартир не дают, також и на почту лошадей не ставят; сверх того, когда корабль наш, называемый „Фонделинг“, у Либавской пристани с пенькою и с канатами разбило, то людям нашим никакой помочи не учинили и провианту им не дали; того для пошлите от себя в Курляндию к правителям и объявите, чтоб они никакой противности племяннице нашей, царевне Анне Ивановне, отнюдь не чинили и во всем волю ее, яко государыни своей, исполняли, також и наших интересов не пренебрегали; в противном случае объявите им и то, что ежели впредь так будут делать, то вы имеете указ ввести в Курляндию полк драгун; и ежели они от той своей противности не отстанут и за тем вашим объявлением будут противны, то действительно исполняйте и полк в Курляндию введите и расставьте по квартирам».

Бестужев, заботясь об интересах вдовствующей герцогини, был не в ладах с ее матерью, царицею Прасковьей Федоровною, что видно из письма к ней царицы Екатерины Алексеевны: «Об отправлении в Курляндию дочери вашей, Анны Иоанновны, от его царского величества уже довольно писано к светлейшему князю Александру Даниловичу, и надеюсь я, что он для того пути деньгами и сервизом, конечно, снабдил, ибо его светлости о том указ послан; а когда, бог даст, ее высочество в Курляндию прибудет, тогда не надобно вашему величеству о том мыслить, чтобы на вашем коште ее высочеству дочери вашей там себя содержать, ибо уже заранее все то определено, чем ее дом содержать, для чего там Петр Бестужев оставлен, которому в лучших городах, а именно в Либаве, в Виндаве и в Митаве, всякие денежные поборы для того нарочно велено собирать. Что же, ваше величество, упоминаете, чтобы для того всю определенную сумму на ваши комнаты на будущий на весь год взять и на расходы употребить в Курляндии для тамошнего житья, что я за благо не почитаю, ибо я надеюсь, что и без такого великого убытку ее высочество дочь ваша может там прожить. Что же о Бестужеве, дабы ему не быть, а понеже оный не для одного того дела в Курляндии определен, чтоб ему быть только при дворе вашей дочери, но для других многих его царского величества нужнейших дел, которые гораздо того нужнее, и ежели его из Курляндии отлучить для одного только вашего дела, то другие все дела станут, и то его величеству зело будет противно; и зело я тому удивляюсь, что ваше величество так долго гнев свой на него имеете, ибо он зело о том печалится и оправдание себе приносит, что он, конечно, учинил то не с умыслом, но остерегая честь детей ваших, в чем на него гнев имеете. Что же изволите упоминать, чтобы быть при царевне Анне Ивановне Андрею Артемоновичу (Матвееву) или Львову, и те оба обязаны его величества нужными и великими делами. А что изволите приказывать о пажах, чтоб взять из школьников русских, и я советую, лучше изволите приказать взять из курляндцев, ибо которые и при царевне Екатерине Ивановне русские, Чемисов и прочие, и те гораздо плохи».

Польша, занятая внутренними делами, больная страшною внутреннею болезнию, не могла обращать внимания на дела восточные, которые в описываемое время так сильно занимали Петра. Иначе было в Австрии. В июне 1722 года Ланчинский писал из Вены, что там главное содержание разговоров составляют военные действия русских в Персии; рассматривали дело с разных сторон; особенно толковали, что Петр, занявши значительнейшие места на Каспийском море, станет хлопотать об установлении сообщений с Индию вплоть до Персидского залива и это ему будет легко при смуте персидской. В Вене редко кто не имел у себя на столе карты Азии для наблюдения за ходом событий. Английская партия внушала, как неблагоприятно поступало австрийское правительство, не заключивши с Англиею союза против России до Ништадтского мира, а теперь царь своими завоеваниями в Персии может основать государство сильнее римского. Осенью внимание Ланчинского было отвлечено от восточных дел рескриптом, полученным от своего двора: «Король прусский объявил нам о несогласиях, происшедших у него с двором цесарским, и просил нашего содействия к их прекращению; поэтому мы повелеваем тебе объявить цесарскому министерству, что так как бывшие несогласия между прусским и цесарским дворами до сих пор не только не успокоены, но еще более усиливаются и так как мы имеем счартие с обоими дворами быть в дружбе, то, если цесарскому

величеству угодно, мы готовы употребить свои добрые оффиции для прекращения этих несогласий. Это представление надобно тебе сделать искусным образом, отнюдь не подать цесарскому двору подозрения, будто мы намерены в этом деле сильно заступаться за короля прусского». Ланчинский, ведя разговор с графом Шёнборном о польских делах, сделал предложение и о прусском деле. Шёнборн, поблагодарив за предложение, отвечал, что прежде всего надобно знать, куда клонится мнение русского государя: если к делам имперским, то они должны быть предоставлены своему свободному течению. Источник несогласия между двумя дворами известен: прусскому резиденту отказано было от цесарского двора, и немедленно отправлен был курьер в Берлин с объяснением вины резидента; но прусский король, не дождавшись курьера, отказал от своего двора цесарскому резиденту, ни в чем не виноватому. Если бы король прусский не принадлежал к имперским владельцам, то, конечно, цесарь не пропустил бы такого тяжкого оскорбления; но цесарь поступил долготерпеливо, как отец с сыном, и требовал одного – чтобы король принял опять его министра к своему двору. Если русский двор захочет вразумить прусский относительно несправедливости его поступка, то цесарю это будет приятно.

В России по-прежнему беспокоились, не будет ли венский двор помогать наследному принцу саксонскому, женатому на цесарской племяннице, получить и польскую корону. Ланчинский успокаивал на этот счет, писал, что венский двор считает это противным государственному интересу Австрии и частному интересу дочерей цесаря: зачем усиливать дом, который в свое время будет оспаривать право цесарских дочерей на австрийские владения? Поэтому в Вене положили не отказывать саксонцам наотрез и уклоняться от решительного ответа. Относительно недружелюбных действий австрийского резидента в Константинополе Ланчинский также сообщал успокоительные уверения цесарских министров, что между Россиею и Австриею не может быть никаких столкновений: Австрия не может завидовать приобретениям России на Балтийском море, потому что Швеция была всегда враждебна австрийскому дому, следовательно, интерес Австрии требует бессилия Швеции. Относительно Востока Австрия имеет побуждения желать там распространения русской торговли, ибо нет причин к войне между Россиею и Австриею, тогда как другие государства, обогащаясь от торговли на Востоке, употребляют свое богатство в войнах против Австрии; одним словом, нет еще таких двух дворов на свете, которых интересы были бы так тесно связаны, как интересы дворов русского и австрийского. При этих уверениях у австрийских министров проглядывал страх, чтоб Россия не сблизилась с Франциею и Испаниею. Особенно сильно встревожила Вену поездка Ягужинского в Берлин, и принц Евгений обошелся холодно с Ланчинским. Холодность усилилась, когда пронесся слух, что Ягужинский отправился в Париж для переговоров об упрочении польского престола за герцогом шартрским, сыном регента герцога орлеанского, и о заключении брачного союза с бурбонским домом. Петр требовал от венского двора, чтоб он употребил свои добрые услуги в Константинополе для отстранения столкновений между Россиею и Портою по поводу персидских дел. Венский двор обещал, но в то же время получено было известие, что об этом хлопочет французский посол в Константинополе, и к Ланчинскому обратились с упреками: «Если вы нам доверяете и считаете наш кредит у Порты сильным, то зачем

обращаетесь к Франции? Если же думаете, что Франция лучше вам может услужить там, то зачем обращаетесь к нам?»

В начале 1723 года венский двор был в затруднительном положении: происходит какое-то сближение между Россией и Пруссией, Францией и Испаниею; с единственным союзником Австрии, королем английским, у цесаря столкновения по религиозным делам, причем, защитник католицизма в Германии, цесарь не может уступить защитнику протестантизма курфюрсту ганноверскому, который, как король английский, пользуется своим временем и гордо заявляет свои требования. В тайном совете всегдашний противник английской партии граф Шёнборн требовал, чтоб цесарь высказал свое неудовольствие против короля английского, как имеет на то право цесарь против курфюрста, и чувствительным образом унял бы этого постоянного своего контролера; граф Цинцендорф советовал умеренность, представляя пользу английской дружбы, без которой цесарь не может быть безопасен в Италии, если возгорится война с Испаниею. Но граф Шёнборн возражал, что лучше дойти до крайности, чем переносить такие оскорбления, и притом надобно знать, с кем Испания имеет большую охоту воевать – с цесарем или с Англиею? Кто ей больше вреда сделал – цесарь или Англия? Помириться с Испаниею нет невозможности, и тогда английский король увидит, что выиграл. Мнение Шёнборна разделял и принц Евгений, который крупно поговорил с английским посланником и объявил ему, что цесарь и войну вести, и мир заключить может без короля английского. Посланник присмирел; с австрийской стороны решили удовольствоваться этим и не доводить дела до крайности. Такого рода отношения не давали венскому двору возможности слишком охлаждаться с Россией. Посланники английский, саксонский и датский твердили австрийским министрам, что усиление России будет иметь страшные последствия, что русский царь намерен взять Данциг, но получили ответ, что в свое время, когда дела назреют, цесарь примет нужные меры. Между петербургским и венским дворами было еще одно трудное дело – мекленбургское. В мае 1723 года Граф Шёнборн объявил Ланчинскому, что цесарь из особенного уважения к Дружбе русского государя, пока мог, сносил и делал вид, что не обращает внимания на непослушание и противные поступки герцога мекленбургского, но теперь более сносить не может, совесть и звание императорское побуждают его положить этому конец. Герцог выехал из империи и не хочет знать декретов императорских, поступает как сущий бунтовщик. Несмотря на все его неправды, цесарь оставил ему ежегодный доход в 100000 талеров; а если б герцог явился перед судною комиссиею, то цесарь охотно помог бы ему окончить все дела и процессы самым благоприятным образом. Но герцог презрел добрым расположением цесаря, который не может более допускать Мекленбург до крайнего разорения. Герцог оставил после себя в управлении самых плохих и дерзких людей, которые цесарским комиссарам говорят в глаза, что они цесарской власти над собою не признают и при получении цесарских декретов присыльных бесчестят, бьют до смерти. Из уважения к русскому государю цесарь хочет употребить теперь последнее средство – отправить герцогу рескрипт, в котором, как отец империи, будет его уговаривать возвратиться в продолжение трех месяцев; если же в это время не возвратится, то цесарь будет принужден назначить в Мекленбург правительство и покончить тамошние дела своею властью. Ланчинский после этого сообщения нашел случай видеться с

одним человеком, искусным в цесарских делах, у которого и выспросил о причине решения насчет Мекленбурга. Искусный человек отвечал, что вследствие отсутствия герцога ганноверцы обнаружили намерение укорениться в Мекленбурге, а это было бы предосудительно венскому двору и всей империи. Тут Ланчинский понял смысл слов Шёнборна, что цесарь не может допускать Мекленбург до крайнего разорения. Петр велел просить цесаря обождать приведением в исполнение своего решения, пока он успеет уговорить герцога к послушанию. Эта просьба была принята с большим удовольствием; Шёнборн отвечал Ланчинскому, что срок можно продолжить, лишь бы герцог сделал первый шаг: прислал бы цесарю грамоту в почтительных выражениях и просьбу об отсрочке. Грамота была прислана, но герцог разослал также грамоты и к имперским князьям с жалобами на притеснения и все не являлся в Германию. Это сильно раздражало венский двор. Когда Ланчинский стал домогаться у принца Евгения вывода экзекуционного войска из Мекленбурга, тот отвечал ему, что этого нельзя сделать, пока герцог не возвратится и все дела не будут улажены; тут Евгений разгорячился и, повысив голос, продолжал: «Для чего вывести экзекуционное войско? Разве для того, чтоб мекленбургскому двору дать волю головы рубить, вешать, колесовать, как герцог недавно распорядился? Вы говорите о грамоте, которую герцог прислал к цесарю, но герцог разослал другие грамоты к имперским князьям в жестоких выражениях против цесаря, кроме того, в Мекленбурге велел прочесть по всем церквам с кафедр бумагу, в которой опорочено все, что сделано по цесарским указам, и запрещено исполнять эти указы под тяжкими наказаниями. Неужели это знак истинной покорности и желанья возвратиться?» Ланчинский возражал, что герцог желает возвратиться в Мекленбург и управлять как следует; но как ему возвратиться, когда экзекуционные войска еще там? Это значило бы отдаться в руки врагам своим; если герцог наказал некоторых своих подданных, то по справедливости: всякий имперский князь право меча имеет. Евгений отвечал на это: «Я уже довольно уяснил дело; здешний двор совсем другие ведомости имеет о произведенных герцогом казнях; что же касается права меча, то еще вопрос: имперский князь, который находится вне империи, в явной непокорности цесарским указам, может ли пользоваться своим правом в империи? Вы подаете надежду, что герцог возвратится, но мы очень хорошо знаем, что этого не будет; мы его здесь видели, нрав его вконец вызнали и знаем, что теперь он еще хуже стал». Шёнборн на домогательство Ланчинского отвечал: «Невинно пролитая кровь людей, казненных герцогом, остается на цесаре, который виновен в том, что так долго медлил; намерение вашего государя помогать родственнику похвально, но вы не можете обнадежить, что герцог изъявит покорность, а мы на эту покорность нисколько не надеемся и в эту игру более играть не станем».

В этой игре окончился 1723 год. Новый, 1724 Ланчинский начал донесением, что мекленбургское дело в самом дурном положении при венском дворе и никакие представления не действуют: «И кто виноват, что мекленбургский двор не употребляет себе в пользу высокую вашего императорского величества помощь и, презирая все добрые советы, сам спешит к своей гибели?» Несмотря на то, Ланчинский выхлопотал еще двухмесячный срок для герцога. Что же касается до взглядов австрийского министерства на восточные дела, то Ланчинский доносил, что полубовная сделка у России с Портою не неприятна венскому двору; здесь

думали: «Лучше мир, чем война, к которой бы и мы каким-нибудь образом могли быть привлечены, а тем временем враги австрийского дома могли бы зацепить нас и с другой стороны». Но при этом, продолжал Ланчинский, не перестают злостные внушения, что когда, ваше императорское величество, настоящие дела по желанию окончите, то можете что-нибудь предпринять и против Европы. На это здесь отвечают так: «В чьих руках Каспийское море ни останется, нам дела нет: очень далеко, а если русский государь вздумает предпринять что-нибудь другое еще, то способы сопротивления найти можно; притом государь этот очень хорошо знает разницу между европейскою и азиатскою войною: иное дело в восточных сторонах действовать, где нужно только прийти, чтобы города и области побрать; иное дело в европейских краях, где везде есть с кем поговорить».

В Вене мало заботились о распространении русских владений на востоке; гораздо с большим вниманием следили за отношениями новой могущественной империи к европейским державам. Ближе других была Пруссия, с которою, как мы видели, давно уже у Австрии были неприятности. Мы видели также, как Пруссия действовала заодно с Россиею в Польше из соперничества с Саксонию, усиления которой на счет Польши она никак не хотела допустить. В начале 1722 года саксонский двор попытался сблизиться с Пруссиею и отвлечь ее от России в делах польских. Барон Ильген сообщил графу Александру Головкину, что Флеминг через прусского посланника в Дрездене представил свою готовность содействовать примирению Пруссии с Австриею; он надеется по своему кредиту в Вене успеть в этом деле, но Пруссии необходимо приступить к известному венскому трактату, которым устанавливался союз между Австриею и Саксонию. Ильген уверял Головкина, что Пруссия никогда не приступит к венскому трактату и не примет никаких ласкательных предложений. По словам Ильгена, главным виновником этого дела был ганноверский министр Бернсторф. Английский посланник в Берлине Витворт, по наблюдениям Головкина, также хлопотал о примирении Пруссии и Австрии, но, по мнению Головкина, если бы даже примирение и состоялось, то большого согласия и доверенности между Пруссиею и Австриею не будет. Интересы Пруссии требовали держаться больше всего России, хотя, разумеется, Пруссия и без английских внушений не могла не беспокоиться близостью могущественной империи; вот почему она спешила стать твердою ногою в Курляндии, чтоб подавить здесь влияние России, и король Фридрих-Вильгельм считал нужным внушить русскому императору, что России опасно что-либо предпринимать против Европы. Он говорил Головкину: «Я не возобновлю с Даниею трактата о гарантии Шлезвига, пока не получу известия, что произойдет с герцогом голштинским при вашем дворе, ибо не хочу сделать никакого шага, противного его императорскому величеству, хотя и не думаю, чтоб его величество по заключении такого славного и полезного мира изволил вступить в новые предприятия; в противном случае я должен сообщить в высшей конфиденции, вся Европа получит великое подозрение». С русской стороны спешили успокоить короля: так, когда Россия предъявила требование, чтоб корабли ее свободно проходили через Зунд, не платя пошлины датскому правительству, то Головкин предупредил прусское министерство, что император в этом деле будет употреблять только приличные и дружеские способы и не предпримет ничего, что бы могло подать повод к войне. Доброжелательные России люди в Берлине, между которыми был принц Ангальт, уведомили

Головкина, что надобно успокоить короля относительно Курляндии, и посланник при первом удобном случае представил королю, что это дело деликатное и скоро не может быть окончено; опасно поспешностию в нем раздражить поляков и оттолкнуть их от России и Пруссии. Король, как казалось, остался доволен объяснением, но заметил, что не худо бы заранее согласиться как относительно Курляндии, так и всех вообще польских дел. На это был ответ, что император твердо стоит при заключенном в 1718 году договоре о супружестве герцогини Анны с маркграфом Карлом бранденбургским; но приводить немедленно в исполнение этот договор противно интересам России: надобно поддерживать польский сейм в оппозиции королю Августу; но если начать курляндское дело, то этим раздражится сейм и усилится сторона королевская. В октябре 1722 года Головкин объявил королю, что император велел министру своему в Варшаве князю Долгорукому действовать против саксонских планов сообща с министром прусским Шверином, но что при этом просит приказать Шверину дать Долгорукому нужную для общего дела сумму денег. Король согласился, чтоб деньги даны были на расписку, но министры прибавили, чтоб деньги были возвращены как можно скорее, потому что Шверин сам в них нуждается для подкупов.

Польский сейм разорвался, и в Берлине опять все внимание обратилось на Курляндию, успех в которой зависел от России. Поэтому в начале 1723 года Фридрих-Вильгельм говорил Головкину: «Если венский двор впрямь моей дружбы хочет искать, то для двух причин: или хочет возбудить меня против Франции, или заключить какой-нибудь союз, предосудительный вашему императору, но я держусь русского императора, а не римского и никакою выгодою не позволю себя увлечь против него. Что же касается до союза против Франции, то и из него мало выгоды могут себе надеяться, ибо цесарь не захочет, да и не может дать мне в награду ни малого округа в Немецкой земле, а деньгами не приманит, потому что своих у меня довольно. Был у меня саксонский генерал Секендорф и разговаривал о важных материях, а именно внушал мне, что император русский в великой силе обретается, отчего другим державам не без подозрения, а особливо эта сила всего опаснее мне как ближайшему соседу; также что польский двор подлинную ведомость имеет, что между Россиею и Франциею союз заключается, от которого другим может произойти немалое предосуждение; поэтому венский, лондонский и дрезденский дворы между собою соглашаются о необходимых мерах для своей безопасности. При этом он всячески внушал, чтоб и я приступил к этому союзу. Я ему отвечал, что император русский находится со мною в дружбе и от него я нималой себе опасности не вижу, преимущественно желаю, чтоб сила его особенно увеличилась, дабы венский двор принужден был умереннее поступать и других поболее уважать. Потом Секендорф говорил, что я старался о разорвании последнего сейма в Польше и истратил на это много денег, тогда как этих издержек можно было бы избежать и немалые выгоды получить, если бы я с королем польским заодно держался; так, если бы я помог польскому королю упрочить польский престол и за сыном его, то бы он мог доставить мне епископство Варминское и Померанию. Я спросил его, когда король польский мне это даст? Секендорф отвечал, когда все исполнится по желанию моего государя». Головкин представил королю, что саксонцы коварствуют, требуют дела рискованного, а что обещают, того долго ждать, и дать это не зависит от их воли.

А хотя бы они и могли достигнуть своей цели, то легко можно рассудить, что, получа наследственность, могут ввести в Польшу и самодержавие, а с самодержавием легко могут не только отобрать то, что уступят, но и захватить прусские земли. Король сказал на это: «Правда, и я того же мнения, и потому вашему императору и мне с великою осторожностью надобно поступать и на саксонские предложения не склоняться. С какою тяжкою клятвою прежде саксонский двор отпирался от жидовского Леманова проекта о разделе Польши, а теперь возобновляет об этом дело». Разговор любопытный: и король, и русский посланник представляют друг другу невыгоду склониться на саксонские предложения, как бы совершенно забыв, что на этот предмет заключено уже было обязательство между Россией и Пруссией в феврале 1720 года; обе державы обязались смотреть, чтоб республика Польская осталась при своих правах и привилегиях, а если бы королевский польский двор обнаружил намерение ниспровергнуть ее вольности или стал бы склонять республику к союзу, заключенному в Вене между цесарем и королями великобританским и польским, то Россия и Пруссия советом и делом должны этому противиться и помогать Речи Посполитой, чтоб она осталась в прежнем положении, особенно никаким образом не допускать, чтоб кронпринц саксонский вступил на польский престол при жизни или по смерти отцовской. Так мало значения имели договоры, и так много значения имели, по тогдашнему выражению, «конъюнктуры».

Между Пруссией и Австриею произошло наконец видимое примирение, но в то же время Фридрих-Вильгельм заключил договор с Георгом английским и ганноверским для общего действия при защите протестантских интересов в Германии, и в начале 1724 года прусский король говорил Головкину: «Никогда я вашего императора ни на кого не променяю, потому что ни с кем у меня такой дружбы нет; хотя я с римским цесарем и помирился, однако большой конфиденции нет и не будет; с королем польским также прямой дружбы нельзя иметь. Никогда не вступлю ни в какие соглашения ни против завоеваний вашего императора в последнюю войну со шведами, ни против прав герцога голштинского на шведский престол, ни против возвращения ему Шлезвига; желаю, чтоб он получил опять Шлезвиг, и, смотря по обстоятельствам, не отказываюсь и помогать ему в этом; однако буду ждать доброй компании, и один в это дело не вступлю, и прежде других не начну». Прусские министры жаловались Головкину на саксонский двор, который будто бы хлопочет в Италии и в империи у католических князей составить католический союз с целью не допускать усиливаться значительных протестантских владельцев; хочет побудить и Польскую республику приступить к союзу, заключенному между Австриею, Бавариею и Саксониею. Если это удастся саксонскому двору, говорили министры, то он сольет оба союза в один; религия будет предлогом, а главной целью — утверждение наследственности польского престола в саксонской династии; и Курляндию хотят отдать принцу саксен-нейштадтскому.

Эти опасения ослабели вследствие неудачи саксонского дела в Польше. Петербургскому двору хотелось, чтобы берлинский двор приступил к союзу, заключенному между Россией и Швециею; но в Берлине спрашивали без церемонии: что нам за это дадите? Из Петербурга не могли дать удовлетворительного ответа. Притом между обоими дворами произошла некоторая холодность: первою причиною была Курляндия; брачный курляндский

договор был переписан: вместо маркграфа Фридриха поставлен маркграф Карл бранденбургский. Но договор оставался на бумаге; когда в июле 1724 года Петру донесли о требовании прусского двора порешить курляндское дело по причине скоро ожидаемой смерти герцога Фердинанда, то император указал «по прежним указам от этого решения еще отдалиться». Берлинский кабинет постоянно спрашивал петербургский, когда же кончится курляндское дело. Из Петербурга постоянный ответ: «Подождите!» «Долго ли же ждать?» – говорили в Берлине и сердились. Другая причина холодности, чуть ли не важнейшая, заключалась в том, что Петр в угоду Фридриху-Вильгельму, страстному охотнику до высокорослых солдат, прислал ему несколько русских великанов. Король был очень доволен, думая, что великаны подарены ему. Но Петр не считал позволительным для себя делать такие подарки и потребовал великанов назад, обещая на смену прислать новых. Фридрих-Вильгельм скрепя сердце расстался с великанами, но ему готовился страшный удар: новые присланные из России солдаты были малорослее прежних! Король долго не мог позабыть этого, и когда Головкину нужно было говорить с ним о важных делах, то доброжелательные к России люди внушали посланнику, что время неудобное, рана в сердце королевском по поводу великанов еще слишком свежа.

Мы видели, что Дания при выходе из Северной войны удержала за собою Шлезвиг, но эта добыча не была обеспечена, потому что герцог голштинский не отказывался от Шлезвига. Враждою этого слабосильного владельца можно было бы и пренебречь, но у него были права на шведский престол, а главное, он находился в Петербурге, ища руки дочери царской, и в случае этого брака Дании надобно было иметь дело не с герцогом голштинским, но с могущественною Россией, помощь которой обеспечивала герцогу и шведский престол. Алексей Бестужев писал из Копенгагена в 1722 году, что датский двор признает Петра императором всероссийским, но с условием гарантии Шлезвига или по крайней мере удаления герцога голштинского из России. «Но по моему мнению, – писал Бестужев, – герцога надобно удерживать в России, пока здешний двор не исполнит по желанию вашего величества, потому что он все сделает из страха, а не от приязни. Здешний двор уже хорошо мне знаком: можно вести с ним успешные переговоры только тогда, когда герцог в Петербурге, а уедет – здесь сейчас же поднимут головы, притом же ганноверский министр Ботмар во всех ваших интересах сильно препятствует». Требования России касались не одного императорского титула: по мысли Бестужева, русский двор потребовал у датского беспоплиного прохода через Зунд всех кораблей, выходящих из русских гаваней и возвращающихся в них. Когда Бестужев объявил об этом требовании в конференции с датскими министрами, то канцлер граф Гольст и тайный советник Гольст побледнели. Бестужев, донося своему двору об уклончивых ответах датского правительства насчет зундской пошлины, писал, что оно в своем упорстве поддерживается ганноверским посланником Ботмаром, который управляет Даниею посредством обоих Гольстов, получающих ежегодную пенсию из Ганновера, тогда как природные датчане отстранены от дел и сильно негодуют на такой порядок вещей. Ботмар обнадеживал датское правительство, что в случае враждебных действий со стороны России английская эскадра явится в Зунде. Бестужев писал Петру, что России не нужно объявлять войны, а стоит только поставить на военную ногу войско и флот; народ английский с флотом своим

понапрасну плавать соскучится, очень соскучится и король датский, принужденный снаряжать флот при большой нужде в деньгах; природные датчане и норвежцы прямо говорят, что английский флот только введет их правительство в большие убытки, а так же мало поможет, как незадолго перед тем Швеции.

Весною разнесся в Дании слух, что Петр дает герцогу голштинскому от 30 до 40000 войска и 30 линейных кораблей кроме фрегатов и галер. Датское правительство поверило слуху и стало спешить вооружением флота. Но в то время как в Дании со страхом ждали появления русских кораблей, в России строились и спускались суда по Волге для Каспийского похода, и Петр писал Бестужеву, чтоб он склонял датское правительство к отмене зундской пошлыны посторонними и искусными внушениями, без всяких угроз. «Нет никакой нужды, – отвечал Бестужев, – грозить здешнему двору, потому что он и без всяких угроз в неопisanном страхе обретається от присутствия герцога голштинского в России, и от поездки туда герцога мекленбургского, и от переговоров вашего величества с Франциею и Испаниею». Страх стал исчезать, когда начали приходиться известия об отправлении Петра с войском в Астрахань, и, наоборот, в России были обеспокоены известием, что Дания хлопочет о заключении оборонительного и наступательного союза с Швециею против России; Бестужеву велено было спросить объяснений по этому делу у министров или у самого короля. Но Бестужев отвечал, что не находит нужным спешить, ибо датский двор припишет это страху и возгордится; напротив, надобно показывать, что русский двор не обращает большого внимания на этот союз, будучи уверен, что Дания и с Англиею, и с Швециею вместе не в состоянии нанести никакого вреда России, тем более что в Дании все страстно желают союза с Россиею, кроме двоих Гольстов, которые действуют по внушениям из Ганновера, а Ботмару нужно стращать здешний двор Россиею и заставлять его всюду искать себе против нее союзов; так, недавно был распушен слух, что государь русский отправился не в Астрахань, а в Архангельск и русский флот под начальством вице-адмирала Гордона уже находится в Балтийском море, что опять нагнало страх на датский двор. Скоро Бестужев имел удовольствие донести, что датский двор, видя нерасположение Швеции к союзу с ним, отрицается всячески, что не искал шведского союза, и беспрестанно упоминает (подобно в фабулах о лисице), что этого союза и получить не желает. Бестужев твердил одно, что не надобно отпускать герцога голштинского из России, иначе датский двор возгордится и не исполнит русских требований.

Когда Петр возвратился из Персидского похода, то Ботмар успел уверить датский двор, что ему нечего опасаться России: царь отступил с большим уроном по причине бурь на Каспийском море, потерял и лошадей в тяжелом походе, но главное – Порта вооружается против России, и царю не до Севера. Бестужев доносил, что при таких обстоятельствах нельзя возобновлять предложения о зундской пошлыне, лучше пока возобновить требование императорского титула, но, чтоб получить здесь успех, необходимо дать канцлеру Гольсту 10000 червонных, тайному советнику Гольсту – 6000, тайному советнику Ленту – 6000 да управляющему иностранными делами фон Гагену – 3000, ибо точно таким же способом ганноверский двор отвлек Данию от русского союза. Гольстов, Лента и Гагена Бестужев надеялся иметь на своей стороне за 25000 червонных; но он уже имел за себя влиятельного при короле человека – военного обер-секретаря Габеля,

который 10 марта 1723 года устроил ему секретную аудиенцию, проведши его к королю потаенным ходом. Бестужев начал свою речь просьбою, чтобы его величество не верил злым внушениям насчет враждебных замыслов императора, который, напротив, весьма склонен пребывать в прежней дружбе, утвердить ее и вступить в ближайшие обязательства, если король прежде вступления в договоры в знак дружбы и учтивости признает его всероссийским императором и освободит русские корабли от зундской пошрины. Король отвечал: «Никогда не верил я злым внушениям против вашего государя и не поверю. Как Швеция ни трудилась склонить меня к наступательному союзу против его величества, я не согласился; как ни домогался король Георг и как ни старается теперь склонить меня к союзу, вредному для вашего государя, я еще ни в какие с ним обязательства не вступил, предпочитая дружбу и союз вашего государя и желая угождать ему во всем. Донесите его величеству одному: если я получу от России гарантию на Шлезвиг и герцог голштинский даст за себя и за наследников своих обязательство, что уступает Шлезвиг Дании безо всякой претензии на будущее время, то я обязываюсь дать герцогу титул королевского высочества и помогать ему в получении шведской короны; также если ваш государь вооружится против короля Георга в пользу претендента или для отобрания Бремена и Вердена герцогу голштинскому или вступит с войсками в Мекленбург, то я не только останусь нейтральным, но под рукою всякую помощь оказывать обяжусь, а именно во всех моих гаванях флот русский найдет свободную пристань. Если же при таком моем расположении и при таких выгодных предложениях ваш государь отвергнет мою дружбу, то, конечно, его величество не удивится, что я буду принужден вступить в союз с королем Георгом. Опять подтверждаю, донесите об этих словах моих только его величеству одному, а чтоб министр мой при русском дворе Вестфален ничего не знал, ибо я желаю, чтоб трактат заключен был через посредство одного Габеля, а моему тайному совету был бы неизвестен, и пусть его величество даст вам полномочие для его заключения». Бестужев заметил, что кроме этого предложения королевского он должен донести императору о ходе дела насчет императорского титула и зундской пошрины. «При заключении трактатов, – отвечал король, – охотно признаю за вашим государем императорский титул; но если его величество требует этого до заключения трактатов, не давая никакого вознаграждения и держа при своем дворе моего неприятеля, герцога голштинского, то не могу считать этого за знак дружбы. Что же касается до освобождения русских кораблей от зундской пошрины, то я этого не могу сделать, ибо сейчас шведы, англичане, голландцы и другие народы потребуют того же и отказать им будет нельзя; впрочем, я могу исполнить желание его величества на том условии, если он согласится ежегодно отпускать в Данию бесплатно известное количество пеньки, смолы и дегтю, чтоб на этом основании можно было отказать другим народам». Донося об этом разговоре, Бестужев писал, чтоб ему немедленно были высланы 3000 червонных для вручения Габелю.

В России разумеется, не считали приличным и выгодным отнимать у герцога голштинского всякую надежду на возвращение Шлезвига за нейтралитет Дании в войне с королем Георгом, в войне, которую Петр вовсе не хотел начинать, и 1723 год прошел в бесплодных переговорах о зундской пошрине; в Дании все утешали себя надеждою на войну между Россиею и Турциею по поводу персидских дел. В марте 1724 года король занемог, и Бестужев писал в Петербург, что причина

болезни – известие о заключении союза между Россией и Швецией; если же датский двор получит известие о примирении России с королем английским, то пуще ужаснется, тем более что датский двор обыкновенно весною бывает не так храбр, как зимою: боялись не только за Шлезвиг, но и за Норвегию. Скоро пришла и новая страшная весть: Турция вошла в соглашение с Россией по делам персидским, войны не будет! Датский король начал хлопотать о свидании с королями английским и прусским, чтоб устроить тройной союз между Даниею, Англиею и Пруссиею против России и Швеции, но прусский король отклонил свидание, чтоб не возбудить подозрений русского двора. Тогда в Копенгагене решились на отчаянное средство: начали внушать министрам союзных с Россией дворов, что царь предлагал Дании гарантировать Шлезвиг и в четыре недели выслать герцога голштинского из своих владений, если король даст царю императорский титул и освободит русские корабли от зундской пошлины. Но это средство ни к чему не могло послужить, и в Дании уже считали Шлезвиг потерянным.

Теперь обратимся к Швеции и посмотрим, каким образом между нею и Россией был заключен союз, так напугавший Данию.

После Ништадтского мира резидентом в Швецию отправился родной брат резидента в Дании Михайла Петрович Бестужев-Рюмин, который начал свои донесения о Швеции такими словами: «Как я вижу, здесь настоящая Польша стала: всякий себе господин, и подчиненные начальников своих не слушают, и никакого порядка нет». Первым делом Бестужева было предложить добрые услуги России в примирении шведского короля с герцогом голштинским, но резидент «довольно приметил», что это предложение королю очень противно. В мае 1722 года Бестужев доносил, что в Стокгольме пронесся слух, будто цесаревна Елисавета Петровна сговорена за герцога голштинского; эта весть произвела большую тревогу при дворе и большую радость в голштинской партии. Любопытно видеть, как русские даровитые люди, отысканные Петром и разосланные им на дипломатические посты, не только старались вникать в настоящее положение государств и их взаимные отношения, но и изучали историю и на основании исторических соображений выводили свои заключения о настоящих интересах. Бестужеву были подозрительны частые конференции цесарского посланника Фрейтага и ганноверского министра с четырьмя шведскими сенаторами – графом Горном, Дикером, Тессинем и Делагарди, которых он называет республиканцами, т.е. приверженцами той формы правления, какая была введена в Швеции по смерти Карла XII. Как же объяснял себе Бестужев эти частые конференции и тесную дружбу? «Я думаю, – писал он Петру, – что они хотят Данию, Швецию и Норвегию соединить под одну корону, как было так называемое кальмарское соединение во времена датской королевы Маргариты, и что этот проект цесарский и ганноверский дворы будут поддерживать; это только мое мнение». Бестужев взял слишком высоко: хлопотали не о восстановлении Кальмарского союза. Барон Шпар, шведский посланник при английском дворе, представил своему королю проект тройного союза между Швецией, Даниею и Англиею, причем король английский обещал привлечь к союзу и Голландию. Король чрезвычайно ласкал английского посланника, с которым он постоянно ужинал вместе у кассельского посланника; иногда на этих ужинах бывал и датский посланник, и более никого. Король

прежде всего хлопотал, чтоб перевести наследство шведской короны в свой кассельский дом; но для этого единственным средством считалось восстановление самодержавия, и король всю зиму и лето ездил по провинциям, задабривая и подкупая влиятельных людей, чем сильно раздражил против себя аристократию. Сенаторы говорили Бестужеву, что они ясно видят намерение королевское ниспровергнуть конституцию и потому возлагают большие надежды на русского государя, который не допустит до этого ниспровержения. «Очень удивительно, – писал Бестужев, – что частный королевский совет состоит из людей незнатных и *бескредитных* ; один из них – Нейгебауер, который был учителем у покойного царевича Алексея Петровича; другие – подобные ему». Опасаясь более всего герцога голштинского и его связи с Россией, король написал французскому посланнику при русском дворе Кампредону, что он готов дать Петру императорский титул, если царь не вступит ни в какие обязательства с герцогом голштинским и удалит его от своего двора. Бестужев по указу объявил королю, что император не вступит с герцогом ни в какие обязательства, которые могут быть вредны его королевскому величеству, но сам король может рассудить, что удаление герцога было бы противно чести и славе императора, который желает примирить герцога с королем, ибо только таким средством можно будет удержать герцога от враждебных предприятий относительно короля; после этого примирения герцог и выедет из России. Король отвечал, что он от примирения с герцогом не удаляется, пусть только герцог пришлет в Швецию своего министра и исправит свои прежние поступки; однако голштинский министр должен приехать в Стокгольм после сейма, потому что во время сейма он будет интриговать. Бестужев сказал на это: «Голштинский министр приедет тогда, когда вашему величеству будет угодно, только бы ваше величество изволили склониться к примирению и обнадежили меня, что когда герцог первый шаг сделает и через своего министра признает и поздравит ваше величество королем, то ваше величество дадите герцогу титул королевского высочества». Это предложение королю очень не понравилось, и он сейчас начал говорить о другом.

В январе 1723 года открылся сейм. Маршалом был выбран президент Камер-коллегии Лагерберг, «самый добрый патриот, противник намерениям двора, а герцогу голштинскому доброжелательный», по отзыву Бестужева. «Из сего можно видеть, – писал резидент, – что партия дворовая очень бессильна перед другою, хотя и множество было закуплено. Я вполне надеюсь, что король на этом сейме не увеличит своей силы и власти, тем менее успеет относительно передачи наследства в кассельский дом; королевская партия об этом и упоминать не смеет». Королевская партия потерпела поражение и при выборах в секретный комитет, состоявший из ста человек и ведавший тайные дела, как-то: заключение союзов и т.п. Оказалось, что из выбранных 98 человек – патриоты, т.е. противники королевским намерениям, и только двое – из королевской партии. Несмотря на объявление короля Бестужеву, чтобы голштинский посланник приезжал после сейма, известный нам Бассевич в звании чрезвычайного посла герцога явился в Стокгольме в самом начале сейма; король послал было приказ в Финляндию задержать Бассевича, но общественное мнение принудило его возвратить этот приказ. Бассевич привез Бестужеву тысячу червонных для необходимых издержек на сейме. Скоро королевская партия потерпела третье поражение: из среды сеймовых депутатов от крестьянского сословия явилось предложение усилить

власть королевскую; депутаты городского сословия уведомили об этом депутатов дворянских, и депутаты трех сословий – дворянского, духовного и городского – единогласно отвергли предложение и постановили сыскать между крестьянскими депутатами зачинщиков дела и наказать как изменников; при этом решении раздались громкие рукоплескания со стороны депутатов от дворянства, и была великая радость по всему городу. Некоторые из знатнейших дворянских депутатов говорили Бестужеву, что если бы депутаты от духовного и городского сословий одобрили крестьянское предложение, то они, дворяне, разорвали бы сейм и отправили депутацию к русскому императору с просьбою о покровительстве, потому что по седьмому параграфу Ништадтского договора император обязался поддерживать настоящую форму правления в Швеции. «Я знаю, – писал Бестужев, – что шляхетство стращало депутатов духовных и городских этим седьмым параграфом, стращало, что потребует у русского императора войска и галер для охранения своей вольности, и этою угрозой многих удержало. Таким образом, король понапрасну трудился, и по провинциям ездил, и множество денег понапрасну истратил; ваше величество, пользуетесь здесь великим уважением, и, пока нынешняя форма правления существует, нималого опасения со стороны шведской не имею».

Но если Бестужев писал, что Россия не могла ничего опасаться со стороны шведского короля, то и последнему писали, что ему нечего опасаться со стороны России. В начале марта приезжает к Бестужеву Бассевич и показывает письмо, полученное им из России от французского посланника Кампредона; в письме говорилось, что император начал принимать герцога голштинского очень холодно и что Россия находится в дурном состоянии: денег нет, ожидают голода, войско в самом жалком положении, третья доля его и 50000 лошадей пропали в Персидском походе, наконец, ожидается турецкая война. Бестужев проведал, что Кампредон те же самые известия препроводил шведскому королю через кассельскую канцелярию и они уже сообщаются, будто по секрету, некоторым лицам. Эти внушения, впрочем, не имели никакого действия, тогда как сильное впечатление произвело объявление, сделанное от имени императора Бестужевым графу Горну, президенту Иностранной коллегии, самому влиятельному тогда вельможе в Швеции; объявление состояло в следующем: «Так как к его императорскому величеству приходят известия, будто король старается ниспровергнуть настоящую форму правления и сделаться самодержавным, то его императорское величество приказал мне наисильнейшим образом обнадежить всех добрых патриотов, что он по обязательству мирного трактата не оставит их своею помощью и переменить настоящую форму правления не допустит». Это объявление привело в восторг Горна, и он просил резидента приехать на другой день к графу Делагарди. У Делагарди Бестужев нашел Горна и еще двух патриотов, и все просили Бестужева благодарить императора за такую великую милость. Бассевич по настоянию сейма получил наконец аудиенцию у короля, который все откладывал ее, желая протянуть время до окончания сейма. «Дела герцога голштинского находятся в наилучшем состоянии, – писал Бестужев, – можно было бы на этом сейме утвердить за ним и наследство шведского престола, только понадобились бы большие деньги, ибо хотя у герцога и много доброжелателей, но даром ничего делать не хотят; здесь люди *интересоватые*, к тому же бедны, и можно сказать, что за деньги все здесь получить можно».

Бассевич подал мемориал с требованием для герцога титула королевского высочества; сейм согласился и в том же заседании определил признать за русским государем императорский титул. Известие, что государственные чины определили дать герцогу голштинскому титул королевского высочества, сильно опечалило короля; партия его оробела, «и лучшие его партизаны томным видом являются, властно яко бы им великое несчастье случилось», по выражению Бестужева. Все думали, что король скрепя сердце утвердит решение сейма, но он объявил, что очень недоволен этим решением, и дал письменный протест, подписанный его рукою; королева от себя дала также письменный протест; в обоих протестах говорилось, что признание герцога королевским высочеством предосудительно государству, служа как бы признанием прав герцога на шведскую корону. В следующем заседании сейма придворная партия поддерживала протесты, но партии голштинская и патриотическая пересилили придворную, будучи в десять раз многочисленнее, и сейм объявил, что своего решения не переменит. Поступок короля и королевы только сильно раздражил государственные чины, отчего выигрывал герцог голштинский. *Друзья* сообщили Бестужеву за тайну, что в протоколе секретного комитета явился план, по которому король хотел сделаться самодержавным и упрочить наследство шведской короны в кассельском доме, для чего обещал королю прусскому остальную часть Померании, если тот поможет ему.

Петр был очень доволен, пожаловал Бестужева в камергеры и дал ему звание чрезвычайного посланника; но в то же время он поручил ему узнать, не нуждается ли голштинская партия в помощи прусского флота, чтобы провозгласить на том же сейме герцога голштинского наследником шведского престола. Но на вопрос Бестужева *доброжелательные* единогласно отвечали, что они за доброе намерение императора благодарят и от всего сердца желали бы утвердить наследство за герцогом голштинским на этом же сейме, только этого сделать нельзя; король против чаяния согласился на все, что государственные чины от него требовали, и потому теперь надобно удержаться от дальнейших намерений, чтобы не испортить дела, не навести подозрения и не повредить доверенности, какую нация имеет к русскому императору. Люди, находившиеся тайно в службе герцога и сидевшие в секретном комитете, также советовали не начинать дела о наследстве, которое герцога не минует, только бы он продолжал вести себя так, как вел до сих пор. После этих объявлений надобно было удовольствоваться пенсиою, которую сейм назначил герцогу; кроме того, Бестужев сейчас же предложил оборонительный союз между Россией и Швециею. Предложение было принято, несмотря на старания английского и датского министров помешать делу; сейм, заканчиваясь, уполномочил Сенат заключить договор, который и был заключен 22 февраля 1724 г.; постановили, что если одна из договаривающихся держав подвергнется нападению от какого-нибудь *европейского христианского* государства, то другая обязана употребить добрые услуги для примирения; если же все старания окажутся тщетными, то выставить войско: Россия выставляет 12000 пехоты, 4000 конницы, 9 кораблей линейных, 3 фрегата; Швеция выставляет 8000 пехоты, 2000 конницы, 6 кораблей линейных, 2 фрегата. Жалованье вспомогательным войскам платит их государство, государство же вспомоществуемое доставляет провиант, фураж и квартиры. Генеральная команда принадлежит государству вспомоществуемому, но каждое важное действие

наперед обсуждается в совете в присутствии генерала со стороны государства помогающего. Договаривающиеся державы объявляют, что у них ни с кем нет союза, который бы мог быть противен заключаемому союзу. Если какая-нибудь другая держава захочет вступить в этот союз, то может это сделать не иначе, впрочем, как с соизволения обеих договаривающихся держав. Должен быть как можно скорее заключен договор торговый. Оборонительный союз заключается на 12 лет. К этим статьям договора присоединены были два секретных артикула и один сепаратный. В первом секретном артикуле говорилось: «Так как владеющий герцог голштейн-шлезвигский уже много лет лишен своего княжества Шлезвигского и так как императору всероссийскому и королю шведскому очень потребно, чтоб этот им обоим близкий государь получил свое и таким образом восстановлен быть мог совершенный покой на Севере, поэтому Россия и Швеция обязуются наисильнейшим образом домогаться этого как при датском, так и при других дворах, и если никакие представления не помогут, то Россия и Швеция с другими державами, и особенно с цесарем римским, будут советоваться и рассуждать, каким бы образом это дело безопасно могло быть приведено к окончанию».

Второй секретный артикул заключал такое обязательство: «Так как их величества российское и шведское полагают, что цель оборонительного союза, именно покой и безопасность их государств и подданных, не может быть достигнута, если в королевстве Польском произойдет беспокойство от причин внутренних или от побуждения внешнего, поэтому их величества крепко договорились между собою предотвращать и утушать подобные беспокойства и особенно стараться, чтоб республика Польская сохраняла свою древнюю вольность, привилегии пакта конвента и прочие ей принадлежащие права». В сепаратном артикуле за Швециею утверждалось право в продолжение 12 лет, т.е. срока оборонительного союза, беспошлинно вывозить из России товаров на 100000 рублей.

В июне Бестужев объявил о помолвке цесаревны Анны Петровны за герцога голштинского и по этому случаю писал императору: «Не могу довольно изобразить всеобщую здесь радость лучших, средних и подлых людей. Это супружество принимается за основание истинной, ненарушимой и вечной дружбы между Россиею и Швециею. Правда, что двору и его партии это очень неприятно, но в нации истинно все радуются, говорят, хотя все герцога оставили, но всевышний его не оставил, нашел ему такого милостивого и великого покровителя; партия придворная день ото дня умалывается, и как ее члены, так и республиканцы на истинный путь приходят начинают».

По заключении союза с Россиею шведские министры предложили английскому и ганноверскому посланникам свое посредничество для примирения их короля с русским императором; на их предложение из Англии был получен ответ, что это дело уже ведется французским правительством и должно скоро прийти к окончанию. Мы видели, что в 1721 году, во время заключения Ништадтского мира, в Париже был князь Василий Лукич Долгорукий, сменивший Шлейница, на которого пало подозрение в нескромности. По заключении мира Петр велел Долгорукому съездить к Дюбуа и поблагодарить за помощь, оказанную Франциею при мирных переговорах. С такою же благодарностию Долгорукий ездил потом и к самому регенту, после чего писал к своему двору, что английский

король сердится на Дюбуа, зачем не включили его в мирный договор между Россией и Швецией, и Дюбуа, боясь негодования английского короля, хочет поправить дело, т.е. помирить Георга с Петром. «Теперь пора, – говорил Дюбуа Долгорукому, – пора приступить к главному делу между Россией и Францией. Для утверждения такого славного и полезного мира, какой получила Россия, нужны гарантии, нужна гарантия королей французского и испанского; но если Россия вступит в союз с Францией и Испанией, то нужно включить в него и короля английского, как курфюрста ганноверского, иначе английский король вступит в союз с цесарем и другими; не думаю, чтоб ваш государь из желания отомстить королю английскому потерял из виду пользу, какую может получить от примирения с ним; притом если английский король согласится помочь герцогу голштинскому в возвращении Шлезвига, то ваш государь еще более умножит свою славу; а я знаю, что король английский хочет помириться с вашим государем». Сначала Дюбуа просил Долгорукого донести своему двору об этом разговоре, но потом вдруг прислал письмо с просьбою, чтоб было умолчано, и сильно беспокоился, не опоздал ли, не отправил ли уже Долгорукий своих донесений в Петербург, ибо в таком случае, говорил Дюбуа, я буду принужден через Кампредона отречься при вашем дворе от всех моих слов. Причину такой перемены Дюбуа выставил ту, что с английской стороны нет никакого отзыва о примирении с Россией, а если ему начать о том говорить, то английский король загордится и дело примирения труднее будет вести к концу, поэтому он будет ждать, пока с английской стороны заговорят о примирении. Но, по мнению Долгорукого, причина была другая: Дюбуа хотелось показать, что с английской стороны холодно относительно примирения с Россией, потому последняя не должна быть очень требовательна. О признании императорского титула за русским государем регент сказал Долгорукому: «Если бы это дело зависело от меня, то я бы исполнил желание его величества; но дело такой важности, что надобно о нем подумать».

В сношениях с Францией Петр не покидал своей любимой мысли породниться с Людовиком XV. 6 мая 1721 года Долгорукий получил от него указ хлопотать о брачном союзе между королем и цесаревною Елисаветою Петровною. Но в конце года Долгорукий уведомил императора, что регент, сблизившись с Испанией, устроил двойной брак: первый – между наследником испанского престола и дочерью регента, а второй – между Людовиком XV и испанскою инфантою, которая была по четвертому году; условились привезти ее во Францию и воспитывать здесь до совершеннолетия. В 1722 году нашлись другие женихи между французскими принцами, но эти женихи хотели взять в приданое Польшу. 5 января 1722 года Долгорукий писал из Парижа: «В экстракте из Кампредоновых реляций, которые я домогался видеть, написано, что из тех, которые в совет вашего императорского величества не входят и в конференциях с ним, Кампредоном, не были, некто один предлагал ему о супружестве между дочерью вашего императорского величества Елисаветою Петровною и сыном дука регента дуком Шартром, и когда то супружество скончается, тогда ваше императорское величество изволите его, дука Шартра, учинить королем польским». Мы видели, как Россию и другие соседние государства занимал вопрос, кому должна достаться Польша по смерти Августа II; не хотели, чтоб она перешла к сыну его; но кто же могли быть другие кандидаты? Во время отсутствия Петра в

Персидский поход, 30 октября 1722 года, министры его держали тайный совет. Вначале прочли письмо императора к канцлеру от 16 октября; в письме говорилось: «Понеже из присланных реляций видится, что о слабости короля Августа от всех пишут и что для того спешит о наследстве сыну своему (о чем уже указ вам есть, как то предварить); в тех же реляциях пишут, что при других дворах под рукою уже кандидатов приискивают, а с нашей стороны в том спят, а ежели вскоре то случится, то мы останемся: того ради не худо б в запас и нам сие чинить и обнадежить кого, что в таком случае помогать будем; а о персоне я лучше не знаю, как о том, о ком при отъезде говорил». Тайные советники вспомнили, что Петр говорил о королевиче Константине Собеском, и в этом смысле отправили инструкцию князю Сергею Долгорукому в Варшаву. Но князь Василий Лукич писал из Парижа о других кандидатах: «Как стал быть здесь слух, что король польский начал быть болен и по всем оказательствам жизни его продолжительной быть не чают, то при здешнем дворе начали быть предложения и негоциации, кого по нынешнем короле избрать на тот престол. Министры английской и саксонской усиленно домогаются здесь, чтоб утвердить на том престоле сына нынешнего короля, сие заверно мне сказано; также слышал я, будто и цесарь того же у здешнего двора домогается. Регент и кардинал Дюбуа на те предложения мало склонности показали и рассуждали, что прибыточнее Франции возвести на тот престол Рагочаго (Рагоци), чтоб был противен цесарю. Пред несколькими временем Конт де ла Марк рассуждал со мною партикулярно, не можно ль учинить супружества между вашею среднею дщерию и дуком бурбонским и чтоб вы изволили помощи возвести его, дука бурбонского, на польский престол, а Франция с ее стороны о том стараться будет. Я отвечал, что воли вашей не ведаю, однако говорил, что удобнее быть супружеству между дуком бурбонским и меньшею дщерею царя Иоанна Алексеевича (Прасковьею), а среднюю вашу дщерь сочетать с сыном дука регента дуком Шартром. Сего месяца в 13 ездил я нарочно в Версалию, и кардинал начал мне говорить, что при дворе вашем цесарский министр старается, чтоб учинить обязательство между вами и цесарем, только он, кардинал, не надеется, чтоб вы к тому склониться изволили, ибо легко изволите усмотреть, что союз с королем французским вам прибыточнее, чем с цесарем. Я ему отвечал, что негоциация (с Франциею) не продолжается только за ними, ибо Кампредон никакого указа и донине о том не получил; кардинал обещал отправить нарочного курьера к Кампредону с инструкциею. Кардинал сказал, что императорский титул дан будет тотчас по заключении союза. Кардинал продолжал, что при Порте некоторые державы стараются склонить турок к войне против вас и, как скоро он о том уведал, тотчас отправил нарочных курьеров к послу французскому в Царьград с указом, дабы всевозможными способами старался отвращать Порту от войны с вами. Потом кардинал, взяв меня за руку, сказал, что он любит меня, как родного брата, и для того откроет мне последний важный секрет: дук регент может учинить супружество между среднею дщерию вашею и сыном своим дуком Шартром, и потом вы соизволите помощи к возведению дука Шартра на польский престол; дук регент презрел дочь цесаря и дочь короля португальского и намерен обязатьсь свойством с вами».

Женихи и требование их Польши в приданое не нравились Петру. В том же 1722 году князь Василий Лукич был отозван из Франции; его место занял камер-юнкер князь Александр Куракин, сын известного князя Бориса Ивановича

Куракина. Старик отец его продолжал быть посланником в Гаге, где, между прочим, он должен был наблюдать, чтоб в газетах не печаталось ничего предосудительного против России, и опровергать печатаемое. Легко понять, как трудно было Куракину исполнять эту обязанность в республике при свободной печати. Однажды Куракин получает императорский указ: «Для чего он такие ложные и вымышленные повести о России не опровергает, и, как видно, курантерам (газетчи кам) в печатании их свобода дается». «Сия экспрессия так чувственна мне есть, что нахожу себя вне ума, каким образом могу на сие вашему величеству доносить, – отвечал Куракин, – от младенческих лет своих служил и служу вашему величеству с такою верностию и усердием, какие только возможны наивернейшему из подданных. Во всех делах по указам вашего величества поступал и к желаемому концу их доводил, но относительно газетеров, к моему собственному несчастию, не могу достигнуть желаемой цели; не один я из министров приношу на них жалобы, но предупредить никто этого не может. Притом опровергать печатающиеся о России известия очень опасно, ибо я часто не знаю истинного положения дел и опровержением могу повредить интересам вашего величества, как, например, относительно герцога голштинского: не знаю, быть может, действительно существуют какие-нибудь обязательства, сходные с интересом вашего величества. Так, в прошлых годах, когда генерал Вейсбах был отправлен с поручением в Вену, я по указу вашего величества разгласил здесь и в газетах напечатал, что генерал поехал в Вену по собственным делам, безо всякого поручения от правительства, и вот Вейсбах пишет мне с жестокими выговорами, что я повреждаю интересы вашего величества».

Когда молодой князь Александр Куракин был назначен во Францию, отец его осенью 1722 года поехал туда же и велел объявить кардиналу Дюбуа, что приехал на короткое время, во-первых, для того, чтоб рекомендовать ему сына своего, во-вторых, посоветоваться с искусными врачами насчет своего расстроенного здоровья, от двора же своего не имеет никакого поручения. Дюбуа велел ему отвечать, что будет обходиться с ним как с своим старым знакомым и приятелем и поговорит с ним обстоятельно. Действительно, через несколько дней после обеда кардинал пригласил Куракина в кабинет и начал длинный разговор: «Я тебя могу обнадежить, что герцог регент питает глубокое уважение к царскому величеству и намерен связать Францию и Россию тесным союзом, и хотя с нашей стороны это намерение было показано, однако со стороны вашего двора объяснение было непространное. Правда, теперь за отлучкою царскою делать нечего; будем ожидать его счастливого возвращения, и тогда Кампредон начнет дело, а я могу объявить тебе свое мнение. Его царское величество есть великий монарх, деяниями своими получил великую славу, распространил свое государство и в такую привел себя силу, что пользуется всеобщим уважением в Европе. Рассуждаю, что его величество не желает более распространять своих пределов, а только надобно стараться приобретенное сохранять; для этого нет лучшего способа, как заключить тесный союз с Франциею, которая также не намерена более распространять своих владений, но только старается охранять свою безопасность и поддерживать уважение к себе в других государствах; и когда Франция с Россиєю будут в тесном союзе, тогда они могут держать в своих руках баланс европейских интересов, повелевать другими и могут оставаться всегда в дружбе безо всякой ревнивости. Главный вопрос в Европе, относительно которого

надобно принимать меры, – это вопрос об австрийском наследстве, соединенный с вопросом о наследстве в империи, если цесарь умрет без наследников мужеского пола. Вследствие брачных союзов с австрийским домом ближайших наследников двое – курфюрсты саксонский и баварский, да у нынешнего цесаря есть дочь; так надобно заранее об этом помыслить, которого претендента держаться, а мы, будучи в союзе друг с другом, сделаем все, что захотим. Притом по всему можно видеть, что в Германии рано или поздно дойдет до войны вследствие религиозных столкновений; интерес Франции и России требует вмешательства в это дело. Поэтому я рассуждаю, что царскому величеству надлежит беречь свои силы на будущее время, а теперь не вдаваться ни в какие предприятия, которые могли бы во многих государях возбудить опасения и принудили их к союзу между собою: так, прошлую весною, когда разгласилось, что царское величество намерен вступить в империю в интересах герцогов голштинского и мекленбургского, то цесарь обещал английскому королю дать 30000 войска; короли датский, шведский и мелкие владельцы имперские также были склонны к этому обязательству. Я тебе объявляю, что теперь наш план состоит в том, чтоб цесарь был в одиночестве, не допускать его в тесные союзы с другими державами; поэтому мы трудимся всячески Англию держать при себе и не допустить ее возобновить прежнюю дружбу с цесарем, потому что Англия сильна и важна по положению своему и богатству, и если б она теперь отделилась от нас, то могла бы держать против нас баланс и помешать всем нашим намерениям. Я бы желал, и надобно стараться, чтоб царское величество все несогласия с Англиею прекратил, и если нельзя помириться за какими-нибудь трудностями, то по последней мере ненадобно раздражать англичан, чтоб не заставить их отдаться в руки цесарю, откуда произойдет немалое предосуждение нашим общим интересам. На прусский двор совершенно полагаться ненадобно, потому что нет у него твердости, во всяком опасном случае старается держать себя нейтральным. Я знаю, что царскому величеству донесено, будто у нас не прямое намерение искать его дружбы, но это сущая неправда: могу тебя обнадежить, что ничего так не желаем, как утвердить дружбу с его величеством, и что видим в этом свой интерес. Напоминаю о Швеции, как была нам полезна ее дружба и Густав-Адольф какие выгоды Франции доставил; но теперь Швеция так упала, что не имеем на нее никакой надежды и вместо ее желаем иметь дружбу с царским величеством, которая нам будет в десять раз выгоднее как по великой силе его, так и по положению России».

Старику Куракину делались внушения и с другой стороны во время этого краткого пребывания его во Франции. Маршал Тессэ говорил ему, нельзя ли устроить брак между герцогом Бурбоном и одною из дочерей царских и в таком случае герцога сделать королем польским. Куракин спросил у маршала, от себя ли он это только говорит или по приказанию герцога Бурбона. Тессэ отвечал, что говорит от себя, по-дружески, и требует мнения Куракина, как он думает, согласится ли на это царь. Куракин сказал, что ему без донесения нельзя узнать о согласии своего государя, и потому просил его переговорить сначала с герцогом Бурбоном и тогда объявить подлинно, чтоб можно было написать в Россию основательно. Тессэ отвечал, что дело это при нынешних обстоятельствах чрезвычайно деликатное: если Кампредон проведает об нем при русском дворе и даст знать герцогу Орлеанскому и кардиналу Дюбуа, то это сильно повредит как ему, маршалу, так и самому герцогу Бурбону; герцог Орлеанский и кардинал

Дюбуа не позволят привести дела к окончанию, лучше оставить так до удобного времени. В 1723 году умер кардинал Дюбуа, за ним последовал и герцог Орлеанский, первым министром сделался герцог Бурбон-Конде. Эти перемены при французском дворе требовали присутствия здесь опытного дипломата, и Петр велел опять ехать во Францию старику Куракину Борису Ивановичу. Перед отъездом, из Гаги еще, Куракин писал императору, что маршал Тессэ, получивший теперь важное значение по близости к герцогу Бурбону, был у его сына и между прочими разговорами упомянул: «О чем я говорил отцу, то до сих пор остается в прежнем положении, отпиши к нему». «И понеже ныне я туды отъезжаю, – писал старик Куракин, – прошу ваше величество повелеть мне объявить, также и самому дуку де Бурбону, ежели говорить сам будет, понеже дук де Бурбон сам первым министром есть, и опасности ни от кого более не имеет, и ко мне всегда особливую склонность являл. При сем же доношу вашему величеству, что здесь получено, известие через тайную корреспонденцию, что король французский, как никогда, склонности не имел жениться на дочери испанского, а ныне весьма не хочет и намерен ее в Гишпанию отослать и что начинает иную искать».

Как только Куракин приехал в Париж (в начале 1724 года), то Тессэ объявил ему, что «дук» теперь опасности ни от кого не имеет и по-прежнему желает вступить в брак с одною из русских цесаревен в надежде, что тесть поможет ему получить польский престол по смерти короля Августа, ибо та корона «весьма в руках и воле русского государя: кому захочет отдать, тому и будет». «Помянутый дук, – писал Куракин, – очень предан интересам вашего величества, равно как и все министры, особенно епископ Фрежюс (Флэри), учитель королевский, и маршал Девильяр; от епископа теперь все зависит, потому что держит короля в своих руках. Рассуждая со мною о положении дел в Европе, он мне сказал, что французский король, руководясь своею совестью и интересом Франции, рано или поздно должен заступиться за кавалера св. Георгия (Стюарта, претендента на английский престол). Из этого можно понять, какой он партии, и все первые особы в государстве ничего так не желают, как твердой дружбы с испанским королем и тесного союза с вашим величеством. Если вашему величеству не угодно исполнить желание герцога Бурбона относительно брака и Польши, то по крайней мере надобно его манить надеждою и тянуть переговоры, как Англия покойного герцога Орлеанского держала при себе в рабстве, маня французскою короною».

Петру не угодно было исполнить желание герцога Бурбона; старинное сильное желание его востребовалось, когда Куракин дал ему знать, что Людовик XV не хочет жениться на испанке, и он тотчас написал посланнику: «Пишешь о двух делах: первое, что дук де Бурбон сватается на нашей дочери; другое, что король не хочет жениться на гишпанской; того ради зело б мы желали, чтоб сей жених нам зятем был, в чем гораздо прошу все возможные способы к тому употребить, твой труд по крайней возможности, а первое можешь на описку взять или иной отлагательный способ употребить ласковым образом». «Денно и ночью о том думаю, – отвечал Куракин, – и способы ищу, и всегда искать буду, и открывать каналы, к тому способные, через друзей моих, по моему здесь кредиту; сам внушаю старым, сын мой внушает молодым, окружающим короля; но необходимо сделать внушение самому королю; только дело это такое деликатное, как, ваше величество, лучше меня, раба своего, соизволите знать и рассудить».

Во-первых, надобно сделать королю внушение так, чтобы дук и прочие, желающие поддержать связь с Испаниею, о том не узнали преждевременно; во-вторых, внушение должно быть сделано самым деликатным образом; в-третьих, должна быть сохраняема величайшая тайна. Донесу, например, как открываются подобные деликатные дела: я знаю наверное, что посол португальский дон Луи имеет указ хлопотать о дочери своего короля и предлагает условие, чтоб инфанту испанскую, которая здесь живет, отдать в обмен за сына короля португальского, который сходен с нею летами; другой, герцог лотарингский, также хлопочет о своей дочери, и министры обоих дворов имеют портреты всей фамилии своих государей и раздают копии с портретов обеих принцесс многим придворным, чтоб король мог их увидеть. Предоставляю мудрому рассуждению вашего величества, не надобно ли и нам то же сделать, но я портретов государынь цесаревен до сих пор еще не имею. Теперь кратко донесу об интригах при здешнем дворе по этому делу: существует большая партия из таких людей, которые беспрестанно бывают около короля для его забавы, но в делах никакой силы не имеют; они, видя нежелание короля вступить в брак с инфантою, внушают, чтоб разорвал условие и женился на другой принцессе; эти они хотят заслужить милость короля, вырваться из порабощения правительственных лиц и себя сделать людьми. Но дук де Бурбон с своими всячески старается, чтоб король остался при прежнем намерении; итак, время покажет нам, кто выиграет этот процесс, но все того мнения, что первая партия восторжествует. О состоянии короля доношу, что теперь он так же самовластен, как и прадед его; правда, дел правления он на себя не перенимает, но для своих забав все повелительно чинит, и никто не смеет ему противоречить, даже сам епископ Фрежюс, потому что, зная нрав его, боится потерять его милость».

Из дел чисто политических на первом плане было восстановление дипломатических сношений между Россиею и Англиею при посредстве Франции. По мнению старика Куракина, интерес России требовал уступить желанию Франции и примириться с Англиею, тем более что примирение будет только для вида. Так понимал дело и герцог Бурбон, настаивая в разговорах с Куракиным на примирении и представляя, что примирение это развяжет Франции руки для вступления в теснейший союз с Россиею. Куракин писал Петру, что, по его мнению, надобно помириться с королем Георгом без всяких условий и объяснений, предать забвению все прошлое, отправить министров и возобновить корреспонденцию. Предвидя возражение, что возобновление дипломатических сношений между Россиею и Англиею может ослабить партию тори и претендента Стюарта, которого в России считали нужным поддерживать, Куракин писал, что как скоро в Лондоне будет русский министр, то в нем обе партии найдут поддержку и через него гораздо удобнее можно будет вести с ними корреспонденцию, чем теперь, не имея никого в Англии. Герцог Бурбон прямо объявил Куракину, что он истинный друг претенденту, никогда от этой дружбы не отстанет, и просил донести Петру, что в *свое время* будет иметь всякое старание об интересах кавалера св. Георгия, как обыкновенно называли претендента. Король и весь двор питают такие же чувства к кавалеру, но теперь по обстоятельствам европейских дел Франция не может сделать для него ничего полезного и потому должна молчать о своем добром к нему расположении. Франция принуждена всячески стараться о сохранении мира в Европе и для этого

должна поддерживать дружбу с английским королем Георгом. Но если со стороны Англии дружба эта будет чем-нибудь нарушена, то Франция принуждена будет принять свои меры и вступить в соглашение с Россией для возведения на английский престол кавалера, что будет легко сделать таким двум могущественным государствам; притом для начатия войны в Европе нужно дать время королю Людовику XV прийти в такой возраст, в котором он был бы способен заниматься делами.

Петру хотелось сблизиться с Франциею и вовсе не хотелось сблизиться с королем Георгом английским, но французское правительство, боясь раздражить Англию, требовало, чтоб прежде заключения союза между Россией и Франциею первая примирилась с английским королем. Наконец Петр согласился вести через Францию дело о примирении своем с английским королем, требуя, чтоб последний снова принял Бестужева к двору своему в качестве русского министра. Французский двор обратился с этим делом к английскому и получил ответ, что король Георг с великим удовольствием принимает желание русского государя, охотно отправит посла в Петербург и даст царю императорский титул, но относительно принятия Бестужева находится трудность; управлявший французским министерством иностранных дел граф Морвиль объявил, однако, Куракину, что Франция старается уничтожить и эту трудность.

На этом остановились сношения между Россией и Франциею относительно Англии; мы видели, что французское правительство давало знать русскому, что сближение с королем Георгом должно быть только видимое, что сочувствие обеих держав к претенденту, или кавалеру св. Георгия, как его тогда называли, должно сохраняться в прежней силе. Претендент продолжал сношения с Петром, на которого стюартисты, или якобиты, надеялись более чем на какого другого государя Европы вследствие явной вражды его к королю Георгу. В апреле 1722 года поверенный претендента Томас Гордон давал знать императору, что, по всем известиям из Англии, тамошний народ терпит большие тягости от настоящего министерства и все усердно желают восстановления на престоле законного короля. «Истинно доношу, – писал Гордон, – что они требуют только помощи в 6000 человек войска с оружием еще на 20000 человек и с амунициею, соответствующею этому числу. Если это великое дело исполнится с помощью вашего императорского величества, то не только увенчает бессмертною славою все великие деяния вашего прехвального царствования, но и будет содействовать счастливому окончанию последующих ваших предприятий. Для отправления русских войск, ваше императорское величество, по своей высокой мудрости соизволите указать такое место, где бы можно было это сделать с наибольшею тайною, ибо счастливый исход дела преимущественно зависит от тайны. При проходе кораблей и транспортов через Зунд надобно распорядиться так, чтоб они были свободны от посещения датских офицеров для осмотра и взимания пошлины; и когда войска благополучно достигнут назначенного места в Британии, то военные корабли и транспорты должны возвратиться, не теряя ни минуты времени, чтоб неприятель не захватил их в свои руки». В июне того же года претендент король Иаков писал Петру, что у него не достаёт слов для выражения благодарности за доброе расположение, оказываемое ему императором такое долгое время; чувства, столь достойные его императорского величества, могут только привлечь к нему новые благословения неба и доставить имени его еще

большую славу в Европе, ибо поддержанием правого дела Стюартов он может установить прочный мир в Европе. Иаков посылал при этом план высадки русских войск в Англию и просил как можно скорее привести его в исполнение; этот план был не иное что, как распространение плана, находившегося в письме Гордона. Персидский поход Петра объяснял в глазах претендента, почему на его план не могли обратить внимания в России. В начале 1723 года он написал другое письмо, в котором, поздравляя с успехами персидской войны, изъявлял надежду, что император обратит некоторое внимание на сообщения, сделанные от имени претендента русскому министру в Париже. Иаков уверял Петра, что все дело между ними останется в величайшем секрете и что никогда еще не представлялось таких благоприятных обстоятельств для высадки в Англию, как теперь. Но время для этих уверений было выбрано очень неудачное: персидские и еще более связанные с ними турецкие дела занимали все внимание Петра, и, кроме того, несмотря на всю вражду свою к королю Георгу, он не мог думать о высадке своих войск в пользу претендента без помощи других держав, особенно Франции, а во Франции твердили о необходимости примирения с настоящим правительством Англии.

С 1723 года видим постоянное русское посольство в Испании. Отправленный в Мадрид в звании советника посольства камер-юнкер князь Сергей Дмитриевич Голицын получил инструкцию смотреть на все поступки испанского двора, воинские приготовления, вооружение флота; разведывать, в какой дружбе и обязательствах король испанский находится с другими державами, особенно с Францией, и не намерен ли начать войну в Италии с цесарем или с Англиею для получения от нее Гибралтара и Порт-Магона; приятна ли присылка его, Голицына, ко двору испанскому, и в конфиденции объявить министрам испанским склонность императора к установлению доброго купечества между Россиею и Испаниею, чтобы получать товары из первых рук. Отвечая на эти пункты, Голицын доносил, что испанская армия, простирающаяся от 40 до 50000 человек, находится в самом жалком положении, жалованье офицерам не выплачивается; флот в таком же состоянии: искусных офицеров и матросов почти нет, кораблей строится очень мало, в мореплавании испанцы не имеют никакого искусства, а иностранцам, которые у них в великой ненависти, высшего начальства не поручают; материалы для строения, оснащения и вооружения кораблей получают с севера, хотя Испания все это имеет в изобилии и могла бы снабжать и другие государства; нет в этих делах искусных людей, нет порядочного адмиралтейства и арсенала. Поэтому Испания не в состоянии ничего начать, ибо не только действовать наступательно, и себя защищать не может от набега африканцев, следовательно, никакой надежды на Испанию иметь нельзя. Купечество национальное в Испании бедное и в торговом деле неискusstное; мануфактур никаких нет. В то время, когда князь Голицын сообщал из Мадрида такие печальные известия о состоянии Испании, в России патер Арчелли, поверенный герцога пармского, вел переговоры о браке испанского инфанта Фердинанда и малолетней дочери Петра цесаревне Наталии; но дело не повело ни к каким результатам.

Глава третья

Окончание царствования императора Петра Великого

Внутренняя деятельность правительства в последние годы царствования Петра Великого. – Учреждение генерал-прокурора, герольдмейстера и рекетмейстера. – Табель о рангах; гербы. – Дело Шафирова. – Указы, бывшие следствием шафировского дела. – Казнь обер-фискала Нестерова. – Злоупотребления Меншикова. – Выборы. – Сенатская контора в Москве; деятельность ее председателя графа Матвеева. – Коллегии. – Недостаток людей. – Областное управление и суды. – Судебные комиссары. – Финансы. – Войско. – Торговля. – Ладожский канал. – Препятствия развитию торговли. – Промышленность; препятствия ее развитию. – Заводская деятельность в странах приуральских; Геннин и Татищев. – Столкновения Татищева с Демидовыми. – Овцеводство. – Ремесла. – Городское устройство. – Крестьяне. – Полиция. – Нравы и обычаи. – Просвещение. – Молодой Кантемир. – Татищев. – Русская история. – Школы. – Проект Академии. – Перевод книг. – Патриаршая библиотека. – Искусство. – Посылка учителей к сербам. – Церковь. – Положение Синода. – Вопрос о жалованье синодальным членам. – Назначение обер-прокурора в Синод. – Подчиненные Синоду места. – Соединенные заседания Сената и Синода. – Синодальный суд. – Устройство черного духовенства. – Воспитательные дома в монастырях. – Белое духовенство. – Раскольники. – Отношения к протестантам и католикам. – Меры против суеверий. – Юродивые. – Старание Петра о религиозно-нравственном просвещении народа. – Малороссия. – Учреждение Малороссийской коллегии. – Смерть гетмана Скоропадского. – Распоряжение Сената по случаю этого события. – Избрание нового гетмана отлагается. –хлопоты малороссийской старшины об этом избрании. – Столкновения ее с Малороссийскою коллегией. – Великороссийские полковники в Малороссии; наказ им. – Полковники Апостол и Полуботок ищут гетманства. – Рознь между чиновными людьми и простым народом в Малороссии. – Старшина Полуботок с товарищами вызываются в Петербург за самовольные распоряжения. – Запрещение докучать государю просьбами об избрании гетмана. – Челобитчики на Полуботка и товарищей его приезжают в Петербург. – Отправление Румянцева в Малороссию на следствие. – Интриги Полуботка и товарищей его в Петербурге и Малороссии. – Их берут под стражу и подвергают допросу. – Переписка Петра с Румянцевым. – Дело старшины в Вышнем суде. – Смерть Полуботка в крепости. – Дела на юго-восточных окраинах. – Устав о престолонаследии. – Сопротивление этому уставу. – Толки о наследнике. – Переписка Петра с герцогом голишинским. – Объявление герцога женихом цесаревны Анны. – Деятельность императрицы Екатерины. – Вопрос об ее титуле. – Ее коронование. – Дело Монса. – Болезнь и смерть Петра Великого. – Оценка его деятельности и характера.

Одно из величайших событий европейской и всемирной истории совершилось: восточная половина Европы вошла в общую жизнь с западною; что бы ни задумывалось теперь на Западе, взоры невольно обращались на Восток;

малейшее движение русских кораблей, русского войска приводило в великое волнение кабинеты; с беспокойством спрашивали: куда направится это движение? Боялись, что великий царь, покончивший Северную войну с таким необычайным успехом и обладающий неслыханною энергией, не оставит в покое Европы, и вздохнули спокойнее, когда узнали, что он занят делами восточными. В ноябре 1723 года Куракин писал Петру из Гаги: «Не могу умолчать о всех здешних рассуждениях и славе персональной вашего императорского величества, понеже сия война персидская в коротком времени с таким великим прогрессом следует, что весьма всем удивительна; наипаче же во время ситуаций дел сходных в Европе начата и следует, что никто оным намерениям помешать не может, итак, великая слава имени вашего еще превзошла в высший тот градус, что некоторому монарху чрез многие секули могли приписать. Правда же желюзия не убавляется от многих потенциалей, но паче умножается о великой потенции вашего величества; но что могут делать? Токмо пациенцию иметь. Все потенциалей завистливые и злонамеренные к великой потенции вашего величества радуются, что ваше величество в войне персидской окупацию имеете, желая, чтоб она продолжалась на несколько лет, дабы они с сей стороны крепче стать могли». Но войну персидскую Петр предпринял в видах торговых и с целию не допустить Турцию одну усилиться на счет Персии, когда же вследствие этого начинала грозить война турецкая, то Петр всеми силами постарался отвратить ее. Из этого легко можно было видеть, что громадная деятельность Петра не была обращена на отношения внешние, на завоевания. Война была для него только средством для внутренней деятельности: тут поприще было обширнее, разнообразнее и труднее, препятствия сильнее, враги многочисленнее, скрытнее и опаснее, поражения частые и тяжкие, успехи медленные – в далеком будущем.

Обратимся к этой борьбе, к тяжкому для царя и народа процессу преобразования, как он совершался в последние годы жизни преобразователя с усиленною энергией.

Прежде всего, разумеется, Петр должен был иметь дело с учреждением, у которого «все было в руках», по словам учредителя, с высокоправительствующим Сенатом. Мы видели, что с учреждением коллегий в Сенат вошли президенты их; но Петр скоро увидал неудобства этого отношения Сената к коллегиям и откровенно признался в неосмотрительности. В указе от 12 января 1722 года он говорит: «Понеже правление сего государства, яко нераспоряженного пред сим, непрестанных трудов в Сенате требует и члены сенатские, почитай все, свои коллегии имеют, того ради не могут оногo снести; сие, сначала не смотря, учинено, что ныне исправить надлежит сие и прочее к тому надлежащее как следует: 1) чтоб кроме двух воинских коллегий и Иностранной выбрать иных президентов, також в Сенат прибавить из министров, которые ныне при чужестранных дворах, дабы сенатские члены партикулярных дел не имели, но непрестанно трудились о распорядке государства и правом суде и смотрели бы над коллегиями, яко свободные от них; а ныне сами, будучи в оных, как могут сами себя судить? 2) Президенты воинских коллегий и Иностранной и Берг-коллегии должности не будут иметь ходить в Сенат, кроме нижеписанных причин: а) когда какие нужные ведомости; в) когда новый какой указ в государстве публиковать надлежит; с) когда суд генеральный; d) или какое новое дело, решения требующее; е) когда я присутствую. Понеже довольно дела будет каждому в своей коллегии. 3)

Ревизион-коллегии быть в Сенате, понеже едино дело есть, что Сенат делает, и, не рассмотря, тогда учинено было». Современники выставляли такую *настоящую* причину, по которой Петр вывел из Сената коллежских президентов: члены коллегий не смели противоречить своим президентам, как сенаторам, отчего происходило много несправедливостей; потом, когда приносились жалобы на какую-нибудь коллегия, т.е. на ее президента в Сенат, то другие сенаторы не выдавали своего товарища, и жалобы оставались без последствий. Вслед за тем издан был указ о должности Сената: Сенат должен был состоять из действительных тайных и тайных советников по назначению государя; Сенат решает те дела, которые в коллегиях решены быть не могут; все губернаторы и воеводы должны доносить Сенату о нападении неприятелей, о язве, о каких-нибудь замешательствах и других важных событиях; в отсутствие государя Сенат решает дела по жалобам на неправый суд коллегий и канцелярий, выбирает в высшие чины баллотировкою от советника коллегии и выше, кроме придворных, а в низшие чины – без баллотировки. Но и при этой перемене Петр не надеялся, чтобы дела в Сенате пошли совершенно по его желанию, и потому не мог отделаться от мысли назначить при Сенате человека, который бы наблюдал за правильным ходом дел. Мы видели, что еще в 1715 году поставлен был при Сенате генеральный ревизор, или надзиратель указов. Потом стали выбираться из гвардии штаб-офицеры, которые ежемесячно состояли при Сенате в звании таких надзирателей указов; они должны были: 1) смотреть, дабы Сенат должность свою исправляли по данной им инструкции 1718 года; 2) смотреть того, дабы указы не только что на письме были сделаны, но чтоб экзекуция на все указы, как возможность допустить, чинена была; 3) також смотреть, дабы все чинилось в Сенате по второму пункту, который написан в должность обер-секретарю Щукину, и по оному исполнять ему все неотложно. Ежели кто того чинить не будет, то три раза напоянуть, а буде на третьем слове кто не будет чинить, тотчас итти к нам или писать. А ежели кто станет браниться или невежливо поступать, такого арестовать и отвести в крепость, и нам потом дать знать. Сие чинить нелицемерно, а ежели пренебрежет, то лишен будет всего и к тому смертию казнен или шельмован будет. Но и эта форма надзора оказывалась неудовлетворительною; Петр продолжал жаловаться: «Ничто так ко управлению государства нужно иметь, как крепкое хранение прав гражданских, понеже всуе законы писать, когда их не хранить или ими играть, как в карты, прибирая масть к масти, чего нигде в свете так нет, как у нас было, а отчасти и еще есть, и зело тщатся всякие мины чинить под фортецию правды». Для ослабления этой вредной деятельности Петр в начале 1722 года учредил при Сенате «генерал-прокурора, т.е. стряпчего от государя и от государства». Этим стряпчим был назначен известный нам Ягужинский. Генерал-прокурор был обязан «сидеть в Сенате и смотреть накрепко, дабы Сенат свою должность хранил и во всех делах, которые к сенатскому рассмотрению и решению подлежат, истинно, ревностно и порядочно, без потеряния времени, по регламентам и указам отправлял. Также накрепко смотреть, чтоб в Сенате не на столе только дела вершились, но самым действием и указом исполнялись. Також должен накрепко смотреть, дабы Сенат в своем звании праведно и нелицемерно поступал, а если что увидит противное сему, тогда в тот же час повинен предлагать Сенату явно, с полным изъяснением, в чем они или некоторые из них не так делают, как надлежит, дабы исправили, а ежели не послушают, то должен в

тот час протестовать и оное дело остановить и немедленно донести нам, если весьма нужное, а о прочих в бытность нашу в Сенате, или помесечно, или понедельно, как указ иметь будет. А ежели какое неправое доношение учинит по какой страсти, то будет сам наказан по важности дела. Должен смотреть над всеми прокуроры, дабы в своем звании истинно и ревностно поступали. Должен от фискалов доношения примать и предлагать Сенату и инстиговать, также за фискалами смотреть и, ежели что худо увидит, немедленно доносить Сенату. Генерал- и обер-прокуроры ничьему суду не подлежат, кроме нашего. О которых делах указами ясно не изъяснено, о тех предлагать Сенату, чтоб учинили на те дела ясные указы. И понеже сей чин, яко око наше и стряпчий о делах государственных, того ради надлежит верно поступать, ибо перво на нем взыскано будет».

Желая удержать за Сенатом значение верховного правительственного учреждения, желая приучить сенаторов думать над важными вопросами государственной жизни, желая иметь в них добрых помощников и советников себе и не быть принужденным решать важные дела без предварительного обсуждения их лучшими людьми, Петр сделал такое распоряжение: «Если случатся в Сенате такие дела, по которым решения без доклада императору полагать нельзя, то об них прежде рассуждать в Сенате и подписывать свои мнения, а потом докладывать его величеству, потому что без этого его величеству одному определить трудно».

Мы видели, что кроме «суда нелицемерного» и заботы о финансах Сенат обязан был смотреть, чтоб молодые люди не отбывали от службы; для этого в 1721 году учреждена была должность герольдмейстерская, о которой Петр собственноручно писал так: «Повинен (герольдмейстер) во всем государстве всех дворян списки иметь троякие: 1) кто у дел у каких и где; 2) кто без дел; 3) детей их, которые еще не в возрасте, также кто родится и умрет мужеского пола. И понеже у нас еще учение не гораздо вкоренилось, такожи в гражданских делах, а особливо в экономических делах почитай ничего нет; того ради пока академии исправятся, чтоб краткую школу сделать и ему вручить, дабы от всякой знатных и средних дворянских фамилий обучать экономии и гражданству; також смотреть ему, дабы в гражданстве более того от каждой фамилии не было, дабы служилых на земле и море не оскудить. И повинен ныне смотреть всех, которые кроются в домах или под именем малых детей по городам, и оных сыскивать, не маня никому под штрафом натуральной или политической смерти, но иметь всегда в ведении, когда по каким делам гражданским какие персоны попадаются». Тогда же учреждена была должность генерал-рекетмейстера, обязанного принимать и рассматривать жалобы на медленное или несправедливое решение какой-либо коллегии; понуждать к скорейшему решению дел, докладывать Сенату о правильных жалобах, быть ходатаем за челобитчиков, особенно за безгласных, бессильных, утесненных, и представлять таких самому государю.

Из слов преобразователя относительно герольдмейстерских обязанностей видно, в каком затруднительном положении находился он относительно служилых людей: для громадного, открытого со всех сторон и окруженного врагами государства нужны были войско и флот; выгодные внешние условия, в которых находилось теперь государство, были куплены страшным напряжением сил, но это напряжение не могло очень уменьшиться и теперь, ибо приобретенное значение и выгоды надобно было сохранить тем же средством, каким они были

приобретены; и Петр твердит русским людям, чтоб они, удовольствовавшись приобретенным, не складывали рук, «дабы не иметь жребия монархии Греческой». А между тем для получения возможности сохранять приобретенное значение и выгоды посредством вооруженной силы необходимо было гражданское развитие государства, необходимо было прежде всего удовлетворительное состояние финансов; для этого нужна была наука, нужны были знающие люди, но откуда их взять? Их нужно приготовить из тех же служилых людей: «Герольдмейстер должен брать их из служилых людей и готовить для гражданства, но немного, чтоб не оскудить армии и флота». Таким образом, сильнее всего давало себя чувствовать это постоянное зло русской земли – физический недостаток в людях, несоответствие народонаселения пространству громадного государства. Но как бы тони было, развитие, начавшееся вследствие деятельности преобразовательной эпохи, остановиться не могло. От половины IX до конца XVII века Россия представляла первобытное государство с резким признаком неразвитости: служба военная не была отделена от гражданской; как при св. Владимире, так и при царе Алексее Михайловиче дружинники, или служилые люди, делившиеся на несколько разрядов, или чинов, были воины, но по окончании похода занимали и гражданские должности. Только при царе Федоре Алексеевиче, как мы видели, является мысль отделить гражданские должности от военных, но мысль эта осталась только на бумаге. При Петре развитию была дана такая сила, что разделение должностей явилось необходимостью, что и высказалось в Табели о рангах, где все должности, или чины, были размещены в известном порядке, по классам, и подле должностей, или чинов, военных являются гражданские и придворные. В январе 1722 года двое сенаторов, Головкин и Брюс, и двое генерал-майоров, Матюшкин и Дмитриев-Мамонов, *сочинили* Табель о рангах. В этой табели подле чина генерала от кавалерии или инфантерии видим чин действительного тайного советника; и это не был чин в нашем значении слова: действительные тайные советники на самом деле были членами Тайного совета, собиравшегося обыкновенно для обсуждения важных, преимущественно иностранных дел. Современники рассказывают, что когда Петр хотел возвести в действительные тайные советники графа Брюса, то последний сам отказался от этой чести, представив, что хотя он и верный подданный, но иноверец. В пунктах, приложенных к Табели о рангах, говорилось: «Сыновьям Российского государства князей, графов, баронов, знатнейшего дворянства, также служителей (чиновников) знатнейшего ранга, хотя мы позволяем для знатной их породы или их отцов, в публичной ассамблее знатных чинов, где двор находится, свободный доступ перед другими нижнего чина и охотно желаем видеть, чтоб они от других во всяких случаях по достоинству отличались, однако мы для того никому никакого ранга не позволяем, пока они нам и Отечеству никаких услуг не покажут и за оные характера не получают. Потомки служителей русского происхождения или иностранцев первых 8 рангов причисляются к лучшему старшему дворянству, хотя бы и низкой породы были. Понеже статские чины прежде не были распорядены и для того почитай никто или зело мало надлежащим порядком снизу свой чин заслужил из дворян, а нужда, ныне необходимая, требует и в вышние (статские) чины, того ради брать, кто годен будет, хотя бы оный и никакого чина не имел. Но понеже сие в рангах будет оскорбительно воинским

людям, которые во многие лета и какую жестокою службою оное получили, а увидят без заслуги себе равного или выше, того ради кто в который чин и возведен будет, то ему ранг заслуживать летами, как следует». К Табели о рангах приложен был также пункт о следствиях пытки для чести служащего человека: «В пытке бывает, что многие злодеи по злобе других приводят: того ради, который напрасно пытан, в бесчестные причестья не может, но надлежит ему дать нашу грамоту с изложением его невинности». Тогда же Петр распорядился, чтоб были рассмотрены случаи, когда употребляется пытка, и велел отменить ее в случаях неважных. Впоследствии именно отменена была пытка при розысках и порубке лесов. При сочинении Табели о рангах в Сенате возник вопрос о гербах, где и для чего, кому даваны; решено для примера сыскать и выписать из латинских и польских книг.

Давши Сенату стряпчего от государя и государства, Петр отправился в Персидский поход, Сенат остался в Москве. Но уже при самом отправлении императора в поход явились признаки, предвещавшие очень неприятные столкновения в Сенате без государя. В Коломне обер-прокурор Сената Скорняков-Писарев забежал к императрице с жалобами на свое положение вследствие ссоры с генерал-прокурором. Осенью 1722 года сам Петр получает от того же Скорнякова письмо, в котором, поздравляя со вступлением в Дербент, обер-прокурор прибавлял: «А без вашего величества жить нам, бедным, скучно». В этих словах заключалось не простое выражение преданности. В письме к Екатерине Скорняков объяснял причины своей скуки: «А без вас нам, бедным, жить зело трудно; о чем я вашему величеству в Коломне доносил, то уже с бедным, со мною и чинится: Павла Ивановича (Ягужинского) некоторые плуты привели на меня на недоброхотство, и, то видя, из господ Сената некоторые чинят мне обиды, а паче господин барон Шафиров великие чинит мне обиды, неоднократно в Сенате кричал на меня и в делах ваших при Павле Ивановиче говорить мне не велит, и в день получения ведомости о входе ваших величеств в Дербент в доме Павла Ивановича, видя меня зело шумного (пьяного), заколол было меня шпагою, и после того за мое спорное ему предложение называл меня в Сенате лживцем, чего уже мне по пожалованной вашим величеством саржи (должности) терпеть не мочно, токмо же о сем его императорскому величеству доносить не дерзаю, дабы тем его величество не утрудить, но вас, всемилостивейшую государыню, прошу, ежели от него чрез кого будут на меня, бедного, и помощи, кроме вас, не имеющего, какие наветы донесет, сие мое слезное прошение в полезное время его императорскому величеству (донести), дабы я, бедный, от него и от согласников его не понес напрасного оклеветания». Но скоро обер-прокурор потерял терпение и послал письмо прямо Петру с жалобами на свою горькую жизнь от нападений Шафирова, а нападения начались тогда, когда он, Писарев, поссорился с генерал-прокурором: «Живу в таких горестях, что не чаю жив дождаться вашего величества, ибо боюсь, чтоб на мне не взыскалося неисправление дел, а что говорю, ничто не успеваает, токмо же паче к злобе Павла Ивановича на меня приводят, и говорят мне явно яко оный Шафиров, тако и прочие ему подобные, чтоб я при Павле Ивановиче ничего не говорил, а ему злохитренно предлагают, что будто я у него в слова впадаю. И ныне паче на меня Павел Иванович по наговору от него, Шафирова, озлобился и публично при

Сенате кричал на меня и бить челом хотел, а он, Шафиров, лъстя ему, написал на меня ему доношение, в котором лицемерно его хвалил».

Между тем генерал-прокурору нужно было по приказанию императора выехать из Москвы; его должность должен был исправлять Скорняков-Писарев. Ягужинский написал по этому случаю Петру, что и при нем обычное сенатское несогласие не могло быть сдержано, ссоры и брани становятся все сильнее, а после его отъезда можно опасаться, чтоб партии страсти своей не продолжали; поэтому он, Ягужинский, отъезжая, оставил в Сенате письменное предложение, чтоб партикулярные ссоры и брани оставлены были до возвращения императора. Тут же генерал-прокурор объяснял Петру, что вся ссора пошла из-за почепского дела князя Меншикова, возникшего по жалобе гетмана Скоропадского, что светлейший завел себе к Почепу, которым владел, много лишних людей и земель. Подробнее рассказывал дело Шафиров в письме своем к Петру: «32 года я уже у дел, 25 лет лично известен вашему величеству и до сих пор ни от кого такой обиды и гонения не терпел, как от обер-прокурора Скорнякова-Писарева. Озлобился он на меня за то, что при слушании и сочинении приговора по делу князя Меншикова о размежевании земель почепских не захотел я допустить противного указам вашим. Писарев трудился изо всех сил склонить меня на свою сторону сначала наговорами, потом криком, стращал гневом князя Меншикова, но я остался непреклонным. По указу вашего величества велено было князю Меншикову отдать только то, что ему гетман после Полтавской баталии к Почепу дал; козаков почепских и других велено было из-за караула освободить и быть им по прежним их правам и вольностям, но в сенатском приговоре написано было, что посылается в Малороссию особый чиновник для исследования – принадлежат ли к Почепу сотни и города Баклань и Мглин, о козаках же вовсе умолчено. Увидавши такой неправильно сочиненный приговор, мы обратились к обер-секретарю с вопросом, для чего он позволил себе такую неправильность? Тут вскочил с своего места обер-прокурор и начал вместо обер-секретаря говорить с криком, что так следует написать для ясности и что нам на князя Меншикова посягать не надлежит. Я на то ему отвечал, что говорю с обер-секретарем, а не с ним, а он сам знает, что приговор составлен не так. Он принужден был уступить, и мы их фальшивый приговор почти весь перечернили».

В этом деле Шафиров торжествовал над Скорняковым-Писаревым, вместе торжествовала партия родовитых людей в лице сенаторов Голицына и Долгорукого над Меншиковым; Шафиров, человек хитрый, был только орудием. Но при тогдашней общей легкой нравственности в служебных отношениях Шафиров дал возможность врагам своим поправиться и действовать на него наступательно: он позволил себе употребить свое сенаторское влияние для того, чтоб брату его, Михайле, было выдано лишнее жалованье при переходе из одной службы в другую. В другое время, при других отношениях, дело могло легко сойти с рук, но теперь за Шафировым смотрели самые зоркие глаза – глаза врагов. Скорняков-Писарев протестовал против незаконности дела; Шафиров должен был защищаться, а защищаться было крайне трудно, надобно было прибегать к отчаянным средствам: так, он требовал справиться, сделан ли вычет из жалованья у иноземцев, которые отпущены из службы, желая подвести своего брата под разряд иноземцев. Но обер-прокурор отвечал на эту натяжку: «Михайла Шафиров не иноземец, но жидовской природы, холопа боярского, прозванием

Шаюшки, сын, а отец Шаюшкин был в Орше у школьника шафором, которого родственник и ныне обретается в Орше, жид Зелман». Шафиров возражал: «Его величество сам отца моего знать и жаловать изволил, и ни у кого он в кабальном холопстве не был, но хотя в малых самых летах пленен, однако еще при царе Федоре Алексеевиче в чин дворянский произведен, в котором и живот скончал». Скорняков писал: «Отец Шафирова служил в доме боярина Богдана Хитрово, а по смерти его сидел в шелковом ряду в лавке, и о том многие московские жители помнят».

Но Шафирова должна была более всего тревожить мысль, что при взгляде Петра на обязанности к государю и государству неумолимый император должен произнести строгий приговор над сенатором, решившимся пожертвовать казенным интересом в пользу брата. В письмах своих к Петру Шафиров называл дело неважным и обыкновенным и старался выставить вины Скорнякова-Писарева, писал: «Когда мы были в доме г. генерал-прокурора и при случившейся радостной ведомости о вступлении вашего величества в город Дербень веселились, то он, Писарев, начал сперва брань и драку с прокурором Юстиц-коллегии Ржевским и уже в другорядь его бил и пришел безо всякой причины и ко мне и начал меня поносить, будто я своровал и ту выписку брата своего, утаясь от него, подлогом сенаторам предложил, и хотя я зело шумен был, однако же дважды от него с учтивством отходил, но он в третье меня атаковал и не токмо бранью, но и побоями грозил, что, ежели б то от г. генерал-прокурора не пресечено было, конечно, могло и воспоследовать. Могу по присяге донести, что по отъезде г. генерал-прокурора не прошло ни одного сенатского сиденья, в котором бы обер-прокурор некоторых дел и приговоров по страсти и в противность вашим указам не предлагал и с криком и с бранью не принуждал господ сенаторей подписывать, что по благополучном нашего величества пришествии сюда могу ясно доказать. И маловажные дела прежде нужнейших от него по страсти предлагаются, и в том числе некоторые и такие дела, которые при г. генерал-прокуроре от нас уже решены. Вся злоба на меня происходит от неприятелей моих за то, что я, по должности своей присяжной, видя противности ваших интересов, не молчу, от которых токмо сие ныне доношу: 1) усмотрел я, что Воинская коллегия, протестуясь в невыдаче из статс-конторы по окладу надлежащих денег в оную коллегию, представляла, что оттого многие полки по году и больше без жалованья, отчего множество стало бежать, – предлагал я, дабы статс-контору принудить к выдаче немедленно денег на армию и притом оную и Камер-коллегию счесть, також чтоб и с Военною коллегиєю счет учинить оным велеть. От оных коллегий счет учинен, и от статс-конторы показано, что хотя есть некоторая недодача за недостатком денег, но то чинится и для того, что Военная коллегия полного оклада не может никогда издержать, потому что армия никогда в комплекте не живет, к тому же офицеров, получающих иноземческий оклад, ныне немного, большие вычеты с офицеров, отпущенных по домам, штрафы, жалованье, оставшееся от мертвых и беглых, всех этих лишков Военная коллегия никогда не берет в расчет и претендует на полный комплект; и комиссарство доносит, что Военная коллегия по воле своей берет и из оногo на неокладные расходы по несколько сот тысяч, которым никогда счету не показывает, и оттого в окладные дачи солдатские и драгунские недостает. И я о том и при князе Меншикове, и без него обер-прокурору многократно говорил, чтоб взять у

Военной коллегии подлинному приходу и расходу ведение, дабы знать, куды те деньги употреблены, но вместо исполнения за то от него и от других на себя вящее гонение навел. 2) По доношению из Военной коллегии в Сенат предложено, чтоб послать для розыску на Яик полковника с двумя роты, пехотною и драгунскою, и велеть тому притом переписать козаков всех, и выслать всех пришлых с 203 года, и велеть им отвозить оных на своих подводах до Казани, и буде они в том ослушны учинятся, то б послать два полка, пехотный и конный, на них и велеть к тому их принудить, а буде то все совершится, и то жь бы учинить и с донскими козаками. И я, ведая из уст самого князя Меншикова, что та посылка чинится более для того, понеже он сказывает, что тамо его мужиков будто с 500 человек с лишком, и я опасен, чтоб тем козаков, как и прежь сего, не подвигнуть к возмущению, предлагал, чтоб силою того не чинить, не донесши вашему величеству, и полков бы не посылать без указа, а буде противности их в розыску не явятся, то б по окончании оног повелеть бы переписать всех козаков, но до указу не вывозить, а прислать перепись наперед в Сенат, что зело противно князю Меншикову и Писареву было; но понеже сенаторы склонились на мое мнение, и того ради так приговор и учинен».

Для Петра не могло быть не ясно, что удары Шафирова направлены не столько на Писарева, сколько на человека, стоявшего сзади его, которого обер-прокурор был только верным слугою: первый пункт был направлен против Военной коллегии, но президентом ее был светлейший князь, второй пункт был прямо направлен против Меншикова. Враги Шафирова кроме непосредственных писем к императору действовали через императрицу, через Макарова; действовали и против Ягужинского, который был не на стороне светлейшего князя. Ягужинскому по его характеру не хотелось кому-нибудь кланяться, от кого-нибудь зависеть. Вероятно, не без соображения с этим характером Петр и назначил его генерал-прокурором. Писарев писал к тайному кабинет-секретарю: «Прежде сего послал я к вам об сиденье Павла Ивановича (Ягужинского) в Сенате об одном месяце, ныне же посылаю и на прочие три месяца, из которых изволишь усмотреть, что во многие дни в Сенате не бывал, а в иные и был по часу и полчаса, а то все чинилось от частых компаней и от лукавства Шафирова и от его единомышленников, подобных ему, ибо всегда ему предлагали, что изволь веселиться, а дела будут исправлены, а мне многожды сказывали, что на мне тех дел не взыщется, что чинилось при Павле Ивановиче, и ему лукавством говорили, чтоб мне при нем ничего не говорить, чем его на пушую злобу на меня привели».

Положение Шафирова было плохо вследствие дела о братнем жалованье, скоро оно еще ухудшилось вследствие сцены, происшедшей в Сенате 31 октября. В этот день слушалось дело о почте, дело личное для Шафирова, который управлял почтою. Во время рассуждения сенаторов входит Шафиров. Обер-прокурор говорит ему, что господа Сенат слушают и рассуждают о почтовом деле, которое лично до него касается, и потому он должен выйти вон, по указу ему быть не надлежит. «По твоему предложению я вон не пойду, тебе высылать меня непригоже», – отвечает Шафиров. Обер-прокурор снимает со шкафа доску, на которой наклеен был указ, предписавший судьям выходить при слушании дел о родственниках их, и читает указ. «Ты меня, как сенатора, вон не вышлешь, и указ о выходе сродникам к тому не следует», – говорит Шафиров и предлагает сенаторам, что он почтою был по его императорского величества указу пожалован

во всем, как Виниус и его сын, о чем известно графу Головкину и князю Меншикову, и этого дела без именного указа решить им невозможно. Канцлер граф Головкин, давно непримиримый враг Шафирова, говорит, что такого именного указа нет, дело решить можно и Шафирову выйти вон надобно. После долгих разговоров обер-прокурор предлагает сенаторам, чтоб приказали наконец сделать так, как указ повелевает. «Что ты об этом предлагаешь! – кричит ему Шафиров. – Ты мой главный неприятель, и ты вор, и меня ты вором называешь и письменно протестовал, будто я государя обманул». Тут заговорил светлейший князь вместе с Головкиным, что если в Сенате обер-прокурор – вор, то как им дела отправлять? Скорняков-Писарев объявил, что ему оставаться больше нельзя. «Напрасно на меня гневаетесь и вон высылаете! – кричал Шафиров. – Вы и все мне главные неприятели, светлейший князь за почепское дело, а на графа Головкина у меня многое челобитье самому государю и в Сенате, и потому вам об этом приговаривать не надлежит». «Ты, пожалуйста, меня не убей», – говорит ему Меншиков. «Тебя убить! Ты всех побьешь!» – отвечал Шафиров. Меншиков объявляет, что, по словам Шафирова, он всех побьет. «Я не говорю, – отвечает Шафиров, – что ты всех побьешь, но можешь всех побить; я не помирился тебе в почепском деле, и за то на меня от тебя злоба; только я за тебя, как Волконский и князь Матвей Гагарин, петли на голову не положу». Тут Меншиков, Головкин и Брюс вышли из Сената; Долгорукий, Голицын, Матвеев и Шафиров остались и объявили, что намерены слушать дела, но обер-прокурор объявил, что присутствовать не будет, потому что Шафиров при всех называл его вором. 2 ноября в отсутствие Шафирова Меншиков подал мнение, что Шафиров за противозаконные его действия должен быть отрешен от Сената. Сенаторы решили принять и записать предложение и доложить, когда приедет государь. 13 ноября явился в Сенат Шафиров и просил, чтоб сообщено было ему, какая учинена резолюция по предложению Меншикова на его счет; обер-прокурор отвечал, что ему дадут знать об этом, когда приговор будет закреплен, а теперь надобно слушать очередные дела. «Пожалуйста, ты со мною не говори, у меня с тобою ссора!» – отвечал ему Шафиров. «Надобно слушать дела, – повторял обер-прокурор, – мне велено вас в этом понуждать; вот указ!» «Боже милостивый! Мне тебя слушать!» – сказал Шафиров. 15 ноября опять была перебранка между Шафировым и Скорняковым-Писаревым. «Да будет вам известно, – говорил Шафиров сенаторам, – что обер-прокурор никогда ни о чем не дает мне говорить и теперь сердится на меня за то, что я напомнил о запущении дел в надворном суде». «Да будет известно, что барон почти каждый день в делах помешательства чинит», – говорил обер-прокурор. Шафиров предлагал, чтоб мнение на его счет Меншикова запечатать или заручить, чтоб его в чем-нибудь не переменили, и, вставши, примолвил, намекая на Меншикова: «Я в подряде не бывал, и шпага с меня снята не была».

Для решения дела ждали возвращения государя из персидского похода. 9 января 1723 года Петр прислал указ господам Сенату: «Доносили нам письменно в дороге, возвращающемся из Персии, обер-прокурор Писарев на барона Шафирова, что он, когда дело его слушали о почте, вон по указу не вышел и назвал его вором, также и в иных делах противных; а барон Шафиров на него писал (и на некоторых из Сенату), что делает по страстям противно указу, которое дело ныне буду розыскивать, что надлежало бы чинить в Сенате. Но понеже оба

объявили противных себе в Сенате: Шафиров двух – князя Меншикова и графа Головкина, а Писарев глухо – Шафировых друзей, которому велите именовать, дабы с обеих сторон противным их в сем розыску не быть. Також объявить им, чтоб при том розыску как в доношениях, так и в ответах все писали или говорили о материи одной, о которой доносить или ответствовать будут на один токмо тот пункт, о чем спрашивают, а о другой бы материи отнюдь бы не упоминали под жестоким осуждением. И ежели что им каждому для оправдания какие списки из каких дел понадобятся, давали безвозбранно». Спрошенный по этому указу Писарев отвел князей Григория Федоровича Долгорукого и Дмитрия Михайловича Голицына. Суд, названный Вышним, был назначен из сенаторов Брюса, Мусина-Пушкина и Матвеева, из генералов Бутурлина, Головина, Дмитриева-Мамонова, бригадира Воейкова, полковника Блеклого, гвардейских капитанов Бредихина и Баскакова. Князя Долгорукий и Голицын, как свидетели, показывали в пользу Шафирова, но Меншиков, Брюс, Головкин, Мусин-Пушкин и Матвеев показывали в пользу Скорнякова-Писарева, против Шафирова. Долгорукий и Голицын из свидетелей сделались подсудимыми, ибо они вдвоем подписали указ о выдаче лишнего жалованья Михайле Шафирову и утверждали, что Шафиров мог оставаться в Сенате во время слушания и рассуждения о его деле. Шафиров, видя, что оправдан быть не может, написал письмо государю: «Припадая к стопам ног вашего императорского величества, слезно прошу прощения и помилования в преступлении моем, понеже я признаю, что прогневил ваше величество своим дерзновением в том, что по высылке обер-прокурора из Сената не вышел, також что дерзнул я по вопросу приказать приписать Кирееву (секретарю) в приговор брата своего о выдаче ему жалованья на третью треть по указу, разумея то, когда о той выдаче указ повелевает, и в том преступлении своем не могу пред вашим величеством никакого оправдания принести, но молю покрыть то мое беззаконие кровом милости своею, понеже клянусь вышним, что учинил то бесхитростно. Помилуй меня, сирого и никого помощника, кроме вашего величества, неимущего». Князь Голицын написал: «Про указ о высылке судей при слушании дел о родственниках их ведал и говорил только с господами сенаторами разговором, и то сущею своею простотою, а не против указу, и в том прошу вашего императорского величества милостивого прощения». Князь Долгорукий отвечал, что про указ, что при слушании дел сродникам не быть, аккуратно и памятно он истинно не слыхал, понеже оный указ состоялся без него, а если б он о том указе обстоятельно был сведом, то б было ему и самому в пользу, понеже по причине свойства с бароном Шафировым мог бы он в слушанье о почтовом деле выписки вон выйти и тем всех трудностей избыть, да и другие сенаторы Шафирова вон не высылали. Однако он, князь Долгорукий, сие объявляет не для оправдания своего, понеже должно быть ему те указы обстоятельно ведать, и в том просит от его величества милостивого прощения, дабы напомнимены были прежние его рабские службы.

Суд приговорил Шафирова к смертной казни по смыслу указа от 17 апреля 1722 года, «дабы никто не дерзал иным образом всякие дела вершить и располагать не против регламентам, не отговариваясь ничем, ниже толкуя инако; буде же кто оный указ преступит, под какою отговоркою ни есть, то, яко нарушитель прав государственных и противник власти, казнен будет смертию без всякия пощады, и чтоб никто не надеялся ни на какие свои заслуги, ежели в сию

вину впадет». Кроме поведения своего в Сенате и выдачи лишнего жалованья брату Шафиров был обвинен в трате государевых денег на свои расходы во время поездки во Францию; у полковника Воронцовского взял в заклад деревню под видом займа, не дав ему ничего денег.

15 февраля, рано утром, Кремль уже был наполнен народом; в этот день назначена была смертная казнь сенатору и подканцлеру Шафирову. Осужденного в простых санях привезли из Преображенского приказа; по прочтении приговора сняли с него парик и старую шубу и взвели на эшафот, где он несколько раз перекрестился, стал на колена и положил голову на плаху. Топор палача уже взвился на воздухе, но ударил по дереву: тайный кабинет-секретарь Макаров провозгласил, что император в уважение заслуг Шафирова заменяет смертную казнь заточением в Сибирь. Шафиров поднялся на ноги и сошел с эшафота со слезами на глазах. В Сенате, куда привели Шафирова, старые товарищи жали ему руки и поздравляли с помилованием, но Шафиров оставался в мрачном расположении духа; говорят, что, когда медик, опасаясь следствий сильного потрясения, пустил ему кровь, то Шафиров сказал: «Лучше бы открыть мне большую жилу, чтоб разом избавить от мучения». Многие, особенно двор герцога голштинского и министры иностранные, искренно жалели о Шафирове, расхваливая его честность. «Правда, – говорили, – он был немного горяч, но все же легко принимал делаемые ему представления, и на его слово можно было вполне положиться». Петр освободил Шафирова и от ссылки в Сибирь; он содержался в Новгороде под строгим караулом, так что и в церковь не позволено было ходить; семейство находилось при нем, на содержание им давали 33 копейки в день. Но и Скорняков-Писарев не торжествовал. Петр нашел его поведение в Сенате незаконным и неприличным и разжаловал в солдаты с отобранием деревень. Но Петр не любил терять способных людей и определил бывшего обер-прокурора надсматривать за работами на Ладожском канале. И здесь Писарев имел несчастье заслужить неодобрение государя, что видно из резолюции Петра в мае 1724 года: «Сказать, что он за дерзновение брани в Сенате довольно наказан и в старый чин достоин был бы, но в канальном деле потачка и недосмотр; того ради за оную вину тому себя учинил недостойным, но для нынешнего торжества (коронации императрицы) и обличения Шафирова дается чин полковничий и половина взятых деревень». У Долгорукого и Голицына отняты были чины, сказан им домовый арест до указа и наложен штраф по 1550 рублей на гошпиталь за то, что, «не слушав выписки, учиненной по челобитью Михайлы Шафирова, и не освидетельствовав о надлежащей ему жалованной даче, прежде закрепы обер-секретарской за просьбу брата его, барона Шафирова, без согласия других сенаторов только двое продерзливо приговор подписали, по коему определили оному Шафирову выдать жалованье без вычета, да, сверх того, и на излишнюю треть. 2) Пренебрежением, хотя и неумышленно, но непорядочно поступили и говорили, будто Шафирову при слушании выписки можно быть». Долгорукий и Голицын обратились к императрице с просьбою о ходатайстве и получили освобождение от ареста и восстановлены были в чинах. Видели, как гордый князь Дмитрий Михайлович несколько раз стучал головою в землю перед Екатериною, благодаря ее за милостивое заступление. Но штраф снят не был. Голицын писал Макарову: «Заняв, 500 рублей заплатил, достальных не имею чем заплатить, oprичь займов, и житье мое в Петербурге с убытком, не имею ни

одного загона земли, все докупаючи, жил и двор строю в долг». Долгорукий писал о том же. В январе 1724 года Петр в присутствии своем в канцелярии Вышнего суда подписал «не править».

Причины строгости наказания, которому подвергся Шафиров, Петр высказал впоследствии, в указе от 5 февраля 1724 года: «Кто в суде неправду учинит, или в каком ни есть деле ему поверенном, или в чем его должность есть, а он то неправдою будет делать по какой страсти ведением и вольно, такого, яко нарушителя государственных прав и своей должности, казнить смертию натуральною или политическою, по важности дела, и всего имения лишить. Когда кто в своем звании погрешит, то беду нанесет всему государству, яко следует: когда судья страсти ради какой или похлебства, а особливо когда лакомства ради погрешит, тогда первое станет всю коллегию тщиться в свой фарватер сводить, опасаясь от них извета, а, увидев то, подчиненные в какой роспуск впадут? Понеже страха начальных бояться весьма не станут для того, понеже начальнику страстному уже наказывать подчиненных нельзя, ибо когда лишь только примется за виноватого, то оный смело станет неправду свою покрывать выговорками непотребными, дая очми знать, а иной и на ухо шепнет или через друга прикажет, что если не поманит ему, то он доведет на него; тогда судья, яко невольник, принужден прикрывать, молчать, попускать; что же из сего последует? Не иное что, только подчиненных распустное житие, бесстрашие, людям разорение, еще горшее, прочим судьям соблазн. Понеже, видя другого, неправдою богатыщегося и ничего за то наказания не имущего, редкий кто не прельстится, и тако помалу все в бесстрашие придут, людей в государстве разорят, божий гнев подвигнут, и тако паче партикулярной измены может быть государству не точию бедство, но и конечное падение: того ради надлежит в винах звания своего волею и ведением преступивших так наказывать, якобы кто в самый бой должность свою преступил или как самого изменника, понеже сие преступление вящше измены, ибо, об измене увидав, остерегутся, а от сей не всякий остережется, но может зело гладко под кровлею долго течение свое иметь и злой конец получит».

Чтоб не повторялись неприличные сцены, подобные происшедшим между Шафировым и Писаревым, Петр издал указ в январе 1724 года: «Надлежит обретающимся в Сенате, в Синоде, коллегиях, и канцеляриях, и во всех судных местах всего государства судьям и пришедшим пред суд чинно поступать, понеже суд божий есть: проклят всяк, творяй дело божие с небрежением». За брань и крики положен штраф в 10 рублей, за повторение бесчинства – 100 рублей и арест; кто провинится больше трех раз, у того отнимается чин и треть имения, если же кто дерзнет рукою, то казнится политическою смертию. Все правители судебных мест должны с челобитчиками и доносителями учтиво поступать; за брань наказываются штрафом, равным трехмесячному жалованью обиженного, у которого, кроме того, обидчик должен просить прощения, а если дерзнет рукою, то суд по воинских правам. Тогда же запрещено отговариваться неведением государственных уставов: «Ежели о каком указе где при каком деле помянуто будет и кто в то время не возьмет того указа смотреть и пренебрежет, а станет неведением после отговариваться, таких наказывать впервые отнятием чина на время и штрафом, равным годовому жалованью, в другой раз – третьею долею всего имения, в третий раз – лишением всего имения и чина вовсе».

Крайнее невнимание к закону и казне, так глубоко укоренившееся в нравах русских людей, заставило Петра показать страшный пример: снявши с плахи, заточить человека, оказавшего ему большие услуги, сенатора и вице-канцлера. Но одновременно с этим тяжелым для преобразователя делом шло другое: уличен был в злоупотреблениях человек, прославившийся открытием и преследованием злоупотреблений, – обер-фискал Нестеров. Попался он по делу ярославского провинциал-фискала Саввы Попцова. Еще в 1718 году ярославец посадский человек Иван Сутягин подал в сенат челобитную на Попцова, жаловался на обиды, разорение, на побои и увечье. Из Сената челобитная отослана была в Юстиц-коллегию, из коллегии отослана в ярославский надворный суд и тут почила. Но Сутягин, которого характер выражался в фамилии, не хотел успокоиться и снова подал просьбу в Сенат. На запрос из Сената, почему дело не исследовано, ярославский надворный суд отвечал, что надобно было допрашивать ярославцев – посадских людей, которые ведомы в Главном магистрате, о чем из Юстиц-коллегии по трем доношениям повелительного указа не получено, и дело из ярославского надворного суда переслано в Сенат. В этих пересылках прошло четыре года. Сутягин не успокаивался и в 1722 году послал просьбу самому государю, доносил на фискала, что держит беглых солдат, недорослей из шляхетства, гулящих людей, через свойственника своего Лихарева собирал в уезде с крестьянских дворов без указа по гривне с двора, не платил с своих крестьянских дворов денежных сборов и нарядов, не ставил рекрут в продолжение многих лет, отпускал рекрут из взяток, пользовался казенными деньгами. Дело двинулось. Макаров написал Ягужинскому: «Понеже сие дело не малой важности, указал его императорское величество челобитную и пункты отослать вашему превосходительству, дабы по тому делу исследовали в Сенате или особливо в вашей конторе». По исследовании оказалось, что Попцов вопреки инструкции вступался в дела, глас о себе имеющие, имел съезжий двор, держал колодников и не только на подведомственных ему фискалов, но и на бурмистров, соляных голов и на других чинов людей налагал штрафы.

Попцова казнили смертью. Но он оговорил Нестерова, и в ноябре 1722 года по указу его императорского величества генерал-лейтенант и генерал-прокурор Павел Иванович Ягужинский да лейб-гвардии капитан и Военной коллегии прокурор Егор Иванович Пашков приговорили: обер-фискалом Алексеем Нестеровым, по делам, показанным на него от бывшего провинциал-фискала Саввы Попцова и от других, в преступлении указов и во взятках розыскивать в застенке и пытаться для того: указом его императорского величества учрежден он был оным чином для смотрения и искоренения за другими всяких неправд, но он, забыв свою должность, чинил: Попцов, состоя в команде его, вступил в немалые откупа, а он, Нестеров, вместо того чтоб его отрешить и протестовать, где надобно, взял с него за это взятку – часы серебряные боевые в 120 рублей, одеяло на лисьем меху, да, сверх того, договорились, чтоб еще Попцов дал ему денег 300 рублей; да и прежде Попцов давал ему взятки рожью, скотиною, парчами, лошадьми. С Лариона Воронцова за определение в Сибирь воеводою взял 500 рублей, за откуп кабаков – 500 рублей и проч. Нестеров, не допуская себя до пыток, во всем повинился, но от пыток все же не ушел, потому что показания его найдены неправильными. Дело перешло в Вышний суд, где присутствовали сенаторы, генералитет, штаб– и обер-офицеры гвардии. Знаменитый обер-фискал

был приговорен к смерти, и приговор был исполнен. Надобно было думать, что немногие жалели о Нестерове; в январе 1722 года по случаю выборов в президенты Юстиц-коллегии Нестеров подал жалобу, что с ним в десяток никто не сообщается; так общество в своих высших слоях упорно продолжало обнаруживать свое отвращение к фискалам. Но Петр не уничтожил должности; в январе 1723 года в сенатских протоколах читаем: «Понеже бывший обер-фискал Нестеров явился ныне во многих преступлениях, того ради его императорское величество указал искать в генерал-фискалы и обер-фискалы добрых людей и для того объявить всем коллегиям, ежели кто знает к оному делу достойных кого, и таковых дабы писал в кандидаты, и имена прислать на генеральный двор».

Курбатов умер под судом, сибирский губернатор князь Гагарин и обер-фискал Нестеров казнены смертию, сенатор и вице-канцлер Шафиров с плахи послан в ссылку, первый вельможа в государстве светлейший князь Меншиков уличен в злоупотреблениях и должен платить громадный начет. Меншиков хотел воспользоваться Ништадтским миром, радостью Петра, и подал ему просьбу по форме, на гербовой бумаге: «Всенижайше у вашего императорского величества прошу милости для нынешней всенародной о состоянии с короною Свейскою вечного мира радости и на воспоминание Полтавской баталии и Батурина взятя пожаловать мне во владение город Батурин с предместьем и с уездом, что к нему прежь сего принадлежало, и с хуторами, и с мельницами, и с землями, и с жителями, кто на той земле, поселясь, ныне живут. Я, ваше императорское величество, не хотел было сим прошением утруждать, но сего ради, что ваше императорское величество изволил повелеть во взятый оный город разорить и дабы никто в нем не жил; а ныне в предместье того города и в уезде живут, поселясь, всякого чина люди, а именно Чечеля, который во время измены Мазепиной был наказным гетманом и хотел с меня, живого, кожу содрать, жена его, и дети, и другие бывшие в измене с Мазепею». Государь не исполнил просьбы, и мы видели, что Данилыч задумал другими средствами расширить свои владения в Малороссии, прибирая земли и людей к Почепу; но гетман подал жалобу, и знаменитое почепское дело кончилось не к выгоде светлейшего, и он должен был в начале 1723 года просить прощения у Петра, писал ему: «Понеже от младых моих лет воспитан я при вашем императорском величестве и всегда имел и ныне имею вашего величества превысокую отеческую ко мне милость и чрез премудрое вашего величества отеческое ко мне призрение научен и награжден как рангами, так и деревнями и прочими иждивениями паче моих сверстников; а ныне по делу о почепском межевании по взятии инструкции признаваю свою пред вашим величеством вину и ни в чем по тому делу оправдания принести не могу, но во всем у вашего величества всенижайше слезно прошу милостивого прощения и отеческого рассуждения, понеже, кроме бога и вашего величества превысокой ко мне милости, иного никакого надеяния не имею и отдаюсь во всем в волю и милосердие вашего величества». Екатерина, по обычаю, сильно ходатайствовала за своего старого приятеля; Петр простил его (хотя следствие по почепскому делу и продолжалось), но сказал жене: «Меншиков в беззаконии зачат, во гресех родила мать его, и в плутовстве скончает живот свой, и если он не исправится, то быть ему без головы». В это время Данилыч сильно заболел, и Петр не утерпел, написал ему ласковое письмо. Меншиков ожил и отвечал: «Вашего императорского величества всемилостивейшее писание, писанное в Городне

минувшего февраля от 26 числа, со всяким моим рабским почтением и радостию я получил, за которое и за всемилостивейшее ваше о приключившейся мне болезни сожаление вашему величеству всенижайшее мое рабское приношу благодарение, и не малое имею, получа оное всемилостивейшее писание, порадование и от болезни моей паче докторских пользований свободу. Всенижайше благодарствую, что ваше величество по превысокой своей отеческой ко мне милости изволил пожаловать в Городню в новопостроенный дом мой и за мое здоровье кушать. Истину вашему величеству доношу, что оный дом я построил для шествия вашего величества, дабы вашему величеству от тараканов не было опасения». В следующем году новые вины и новые просьбы к императрице о ходатайстве; 4 апреля 1724 года Меншиков писал Екатерине: «Всемилоостивейше просил я у его императорского величества во всех моих винах для завтрашнего торжественного праздника живоносного Христова воскресения милостивого прощения, с которого прощения при сем прилагаю для известия вашему величеству копию, и притом всенижайше прошу вашего матернего всемилостивейшего предстательства и заступления, понеже, кроме бога и ваших величеств превысокой ко мне отеческой милости, иного никакого надеяния не имею».

Таков был самый видный из господ Сената. Но, несмотря на все разочарования, на все страшные искушения, Петр верил в будущее России, верил в русских людей и в возможность их совершенствования и неуклонно употреблял меры, которыми думал ускорить это совершенствование. Одною из таких мер он считал допущение к участию в выборах; любил сам присутствовать на выборах в Сенате и блюсти за их правильностью и беспристрастием. В начале 1722 года нужно было баллотировать президента Юстиц-коллегии; 19 числа по выходе из Сената император и сенаторы расположились в столовой палате, сюда же призваны были генерал-майоры и гвардии-майоры и другие офицеры, члены коллегий, 100 человек выборных из дворянства. После присяги написали имена кандидатов, которых оказалось 12; государь объявил, что ни эти кандидаты, ни родственники их не должны участвовать в баллотировке и даже присутствовать в палате. Из 12 особ наибольшее число баллов получили трое: граф Петр Матвеевич Апраксин (70), генерал-майор Ушаков (41) и Степан Колычев (41). Как обыкновенно и везде бывало, на право выбора смотрели сначала как на тяжелую обязанность и старались освободиться от нее, особенно в областях, где дворян было мало, и приезжавшие в отпуск из полков хотели пожить дома спокойно, вследствие этого дворяне вместо себя посылали на выборы приказчиков своих. В 1724 году Петр предписал: комиссаров, определяемых для сбора подушных денег, выбирать самим помещикам, и приказчикам их в выборе тех земских комиссаров не быть. В декабре-месяце предписано было всем помещикам, а в поморских городах и в других подобных местах, где дворян нет, тамошним обывателям, кому они между себя верят, съезжаться в одно место, где полковой двор, и в наступающий новый год в земские комиссары на место прежнего выбрать другого. Если на прежнего комиссара будут челобитчики, то помещики или обыватели судят его, и, в чем явится виновен, штрафуют, и по экзекуции рапортууют губернаторам и воеводам; разве кто смерти или публичному наказанию будет подлежать, такого отсылают в надворный суд или, где надворных судов нет, к воеводам. В конце царствования местопребывание Сената утверждено было в Петербурге, но в Москве учреждена Сенатская контора, в которой должен был

всегда присутствовать один из сенаторов, имевший по своему званию первенствующее значение в старой столице. В 1724 году представителем правительствующего Сената в Москве был граф Матвеев, который так писал о своей деятельности Макарову: «Здесь все состоит благополучно, и хотя я при многотрудных делах здешних и непрестанных хлопотах обращаюсь, однако ж и дороги здешние от воров и разбойников неоплошно очищаю, из которых в малое время число многое поймано и скорые экзекуции им уже учинены без продолжения времени по местам тех же дорог; и в недавних числах разбойничий атаман прозвищем Карпаш пойман, а нигде не пытан, который по Можайке, на Татарке и по иным разным дорогам много лет уже разбивал, по которому надеюсь и до большего впредь их компании того сонмища добраться».

Одною из самых трудных обязанностей Сената было устройство коллегий, областного управления и областных судов. Хотели обойтись как можно меньшим числом чиновников по недостатку людей и по недостатку денег; Но это крайне трудно было сделать по недостатку людей образованных и привычных, умевших вести порядок, который сберегает время, облегчает труд, упрощая делопроизводство. Особенно спешили избавиться от иностранцев в коллегиях; их сначала ввели туда по необходимости, но далеко не все оказались способными и полезными. В начале 1722 года Петр, сидя в Сенате в Москве, говорил: «Иноземцам – коллежским членам для смотра велеть быть из С.-Петербурга в Москву, и из них президентам разобрать, и буде которые годны и к делам потребны, и тех объявить, а неподобных отпустить». Подобно Сенату, и коллегии, находясь постоянно в Петербурге, должны были иметь в Москве свои конторы. Обязанность определения на все места способных людей как в коллегиях, так и в провинциях лежала особенно на генерал-прокуроре, и Ягужинский писал Петру в поход в августе 1722 года: «Люди как в коллегии, так и в провинции во все чины едва не все определены; однакож воистину трудно было людей достойных сыскивать, и поныне еще во сто человек числа не могут набрать; в штате сколько можно трудился против адмиралтейского уставу и другие коллегии уравнивать, но для множества излишних дел не можно удовольствовать другие, а особливо Камер-коллегию, таким малым числом служителей, как в Адмиралтейской определено».

Недостаток достойных людей особенно должен был чувствоваться в областном управлении. Мы видели, что Петр хотел и этому управлению дать коллегиальную форму учреждением ландратов, среди которых губернатор был бы «не яко властитель, но яко президент»; но в 1719 г. он заменил их воеводами, и, в каких отношениях находились последние к губернаторам, мы не знаем; не знаем и побуждений, которые заставили Петра отказаться от своей прежней мысли, хотя легко догадаться, что причиною тому был недостаток в людях. Известнее нам ход дела об отделении управления от суда, дела чрезвычайно трудного сколько по недостатку в людях и деньгах, столько же и потому, что люди высокопоставленные, сами господа Сенат, не признавали надобности этого отделения и не пропускали случая внушать государю о трудности, вреде и убыточности дела. 10 января 1722 года генерал-адмирал граф Апраксин в Сенате предлагал Петру, что в губерниях и провинциях и городах учиненным провинциальным судьям в правлении особом быть неприлично; а когда бы те суды подчинить воеводам, то, по его мнению, было бы лучше. Так об этом предложении

занесено в протоколах, но, разумеется, предложение было сделано не в таком кратком виде; что Апраксин представил сильные доказательства в пользу своего мнения, видно из того, что Петр тут с ним согласился и указал нижние суды подчинить воеводам. Но 12 февраля читаем в протоколе, что указ о подчинении судов воеводам отложен; 27 февраля в рассуждении положено, чтобы в городах, в которых главных судов не будет, определить тех городов от воевод судебных комиссаров для управления малых дел. Около Москвы учинить в трех местах провинциальные суды, и в Галиче учинить два суда, а в Москве будет надворный суд. 4 апреля государь указал во всех губерниях и провинциях всякие расправы чинить и судить губернаторам, вице-губернаторам и воеводам, кроме тех городов, где учинены надворные суды, а к ним для вспоможения в знатные города, где надворных судов нет, дать по два человека ассессоров, а в прочие провинции – по одному ассессору; а которые города от всех провинций отстоят до 200 верст, и в тех городах учинить для суда по особому судебному комиссару, которым судить дела до 50 рублей, и быть тем комиссарам под командою тех провинций воевод. Для осмотра всяких дел в губерниях и провинциях, чтобы во всяких делах была правда, посылать каждый год из сенаторских членов по одному да при нем из каждой коллегии по одному человеку. В то время когда Сенат хлопотал об устройстве судов в областях, к нему пришло странное челобитье от цыгана Масальского, который просил, чтобы велено было ему ведать всех цыган в Смоленской губернии. Сенат отказал.

«Людей нет, денег нет!» – слышалось со всех сторон, а Сенат должен был помнить пункт наказа, данного ему при его учреждении: «Денег как возможно собирать». По первой ревизии 1722 года лиц податного состояния оказалось 5967313 человек, в том числе 172385 – купечества; городов в империи было 340. По иностранным же известиям, было 273 города, 49447 домов мещанских (горожан), 761526 изб крестьянских. В Московской губернии 39 городов, 18450 домов мещанских и 256648 изб; в Петербургской – 28 городов, 10324 дома и 152650 изб; в Киевской – 56 городов, 1864 дома и 25816 изб; в Архангельской – 20 городов, 4302 дома и 92298 изб; в Сибирской – 30 городов, 3740 домов и 36154 избы; в Казанской – 54 города, 2545 домов и 20571 изба; в Нижегородской – 10 городов, 3694 дома и 78562 избы. Мы видели, что, по расчету, сделанному в 1710 году, доходы простирались до 3134000 рублей; но в 1725 году их было 10186707 рублей, по русским известиям, по иностранным же, в 1722 году доходы простирались до 7859833 рублей. С дворцовых, синодского ведения, с помещиковых и вотчинниковых всякого звания людей и крестьян бралось подушной подати по 74 копейки с души, а с государственных крестьян (черносошных, татар, яшашных и т.п.) сверх 74 копеек по 40 копеек вместо тех доходов, что платили дворцовые во дворец, синодского ведения – в Синод, помещиковые – помещикам. Заплативши эти 74 или 114 копеек, крестьянин был свободен от всяких денежных и хлебных податей и подвод. Платеж подушных разложен был на три срока: в январе и феврале, в марте и апреле, в октябре и ноябре. С купцов и цеховых брали по 120 копеек с души.

Несмотря на увеличение доходов и всю бережливость Петра, финансы не были в удовлетворительном положении. Война шведская прекратилась, но шла война персидская, долгое время грозила война турецкая, и, что хуже всего, оказался сильный неурожай, и надобно было для поддержания финансов

прибегнуть к чрезвычайным мерам, перед которыми Петр обыкновенно не останавливался.

В феврале 1723 года государь указал: «Для настоящей нужды в деньгах давать приказным людям и им подобным на жалованье вместо денег сибирскими и прочими казенными товарами, кроме служивых людей и мастеровых». Тогда же выдан был новый указ: когда придет какая нужда в деньгах на какое дело необходимое, искать способу, отколь оную сумму взять, а когда никакого способу не найдется, тогда нужды ради разложить оную сумму на всех чинов государства, которые жалованье получают, духовных и мирских, кроме призванных в нашу службу чужестранных мастеровых, также унтер-офицеров и рядовых и морских нижних служителей, с рубля, почему доведется из жалованья, дабы никто особливо не был обижен, но общее бы лишение для той нужды все понесли, а вырывом не чинили. Очень скоро, в апреле того же года, понадобилось искать способа достать денег, и способ был найден такой: «Понеже в нынешнем настоящем времени случилось оскудение в деньгах и в хлебе, ибо хлеб во всем государстве мало родился, к тому еще имеется ведомость, что от стороны турков не безопасно от войны, и ведомо нам учинилось, что в Военную коллегия на содержание армии с 720 года, также в Адмиралтейство на дачу морским и адмиралтейским служителям жалованья сумма великая в недосылке», того ради повелевалось вычесть из жалованья у всех четвертую часть, удержать хлебное жалованье, давать половинные рационы генералитету и офицерам, прибавить на горячее вино по 10 копеек на ведро, а на французское вино – акцизу, возвысить цену на гербовую бумагу.

В Военную и Адмиралтейскую коллегии сумма великая в недосылке. На вновь созданное войско и флот, давшие России новое значение в Европе, должно было тратиться наибольшее число денег. 25 октября 1722 года явился в Сенат Меншиков как президент Военной коллегии в сопровождении генерал-майора Лефорта и троих полковников и объявил, что из многих мест к ним в Военную коллегия пишут из полков, что, не получая жалованья, солдаты бегут из полков. Кроме жалованья важный вопрос состоял в том, как помещать постоянное войско. В 1724 г. Сенат нашел, что располагать солдат по крестьянским дворам нельзя; тем деревням, в которых стоять будут, перед теми, у которых постоя не будет, немалая тягость. Поэтому положено построить слободы, в которых сделать сержантам каждому по избе, прочим унтер-офицерам – двоим одна, рядовым – троим одна ж, и ставить в тех слободах не меньше капральства и не больше роты; в каждой роте сделать обер-офицерам двор, в котором бы было две избы офицерам с сеньями и одна изба людям; также в середине полка сделать штабу двор – восемь изб – и при том дворе шпиталь, строить полками, а где полков не будет – крестьянами и посадскими людьми и разночинцами, которые в подушный сбор положены.

В конце царствования Петра число регулярного сухопутного войска простиралось до 210 тысяч с половиною, в том числе в гвардии – 2616 человек, в армейских полках конных – 41547, пехотных – 75165, в гарнизонах – 74128, в ландмилицких украинских полках – 6392, в артиллерии и инженерных ротах – 5579. Войско нерегулярное состояло из 10 малороссийских, полков, в которых считалось 60000 человек, из пяти слободских козацких полков, в которых было 16000 человек; донским козакам выдавалось жалованье на 14266 человек, яицким

– на 3195 человек, терским – на 1800, гребенским – на 500, чугуевским – на 214; в казанских пригородах старой службы служивых людей 3615, в Сибири – 9495, всего – 109085 человек, не считая инородцев. Флот состоял из 48 линейных кораблей; галер и других судов в нем считалось 787; людей на всех судах было 27939. Число служилых людей увеличилось шляхетством новозавоеванных провинций, как тогда называли прибалтийские области; в 1723 году выдан был указ об определении лифляндского и эстляндского шляхетства в русскую военную службу на таком же основании, на котором российские шляхетские дети в нее поступают, уравнение относилось к жалованью: лифляндцы и эстляндцы, как русские подданные, получали одинаковое жалованье с русскими, тогда как иностранцы, приглашенные в русскую службу, получали больше. Еще раньше, в 1722 году, государь указал патриарших дворян впредь писать ровно с прочими дворянами, а патриаршими им не писаться и особо их не отделять. Дворяне, почему-нибудь освобожденные от службы, платили за это. От описываемого времени, именно от 1723 года, дошла до нас любопытная просьба известной княгини Настасьи Голицыной: «По вашему императорского величества указу велено мне брать в жалованье с Алексеева сына Милославского положенных на него вместо службы денег по 300 рублей, и оный Милославский по 719 год те деньги мне отдавал, а с 719 году и доньше не платил ничего. Повели, государь, те жалованные мне деньги на нем, Милославском, доправить и отдать мне».

При особенных неблагоприятных обстоятельствах доходов не доставало для покрытия расходов, чрезвычайно усилившихся вследствие преобразовательной деятельности, особенно вследствие заведения постоянного войска и флота. Но в то же время увеличивались и доходы: балтийские берега были приобретены; летом 1722 года к Петербургу пришло 116 иностранных кораблей, к Рижскому порту в приходе было кораблей 231, из Риги отошло кораблей с товарами 235, пошлин с них сошло 125510 ефимков, кроме порции городской. В 1724 году к Петербургу пришло кораблей уже 240, к Нарве – 115, к Риге – 303, к Ревелю – 62, к Выборгу – 28. В сентябре 1723 года велено было печатать прейскурранты иностранным товарам в знатнейших торговых городах Европы, «дабы знали, где что дешево или дорого». И в заграничные порты являлись русские корабли; так, в мае 1722 года Бестужев писал из Стокгольма, что туда прибыл русский корабль из Петербурга, принадлежащий Барсукову. Бестужев доносил также, что в то же время приехали из Ревеля и Або русские купцы с мелочью, привезли немного полотна, ложки деревянные, орехи каленые, продают на санях и некоторые на улице кашу варят у моста, где корабли пристают. Узнавши об этом, Бестужев запретил им продавать орехи и ложки, и чтобы впредь с такою безделицей в Стокгольм не ездили и кашу на улице не варили, а наняли бы себе дом и там свою нужду справляли. Один крестьянин князя Черкасского приехал в Стокгольм с огромною бородой и привез также незначительный товар; Бестужев пишет, что шведы насмеваются над этим крестьянином. В другом донесении Бестужев писал: «Русские купцы никакого послушания не оказывают, беспрестанно пьяные бранятся и дерутся между собою, отчего немалое бесчестие русскому народу; и хотя я вашего величества указ им и объявлял, чтоб они смиренно жили и чистенько себя в платье содержали, но они не только себя в платье чисто не содержат, но некоторые из них ходят в старом русском платье без галстука, также некоторые и с бородами по улицам бродят». На Западе только смеялись, но в разбойничьем

Крым было хуже. Неплюев писал из Константинополя в 1724 году: «Не только полезно, но и нужно в настоящий союзный договор внести, чтобы были русские консулы в Шемахе и в крымских городах: Хотине, Бендере и Перекопе. Может быть, при дворе вашего величества всего еще не известно, как в Крыму подданные ваши страдают в мирное время, как я тому был самовидец; многие купцы обижены, ограблены и в тюрьмах засажены, и со всех с них берут гарач вопреки договору. А консулы могли бы купцов и всяких приезжих охранять». Мы видели, как основателя Петербурга и купцов русских и иностранных занимал вопрос о направлении движения товаров к Балтийскому и Белому морям; в 1721 году было постановлено: к Архангельску возить товары из тех областей, которые прилегли к Двинской системе без переволоков землею, причем пенька вся должна обращаться в Петербург; для Риги товары грузятся на реках Каспле, Двине и Торопе; в Нарву возят товары одни псковичи. Работы по Ладожскому каналу шли успешно, благодаря тому что ими распоряжался знаменитый генерал Миних, которого, как мы видели, рекомендовал князь Долгорукий из Варшавы. Петр был очень доволен Минихом и мечтал, как поедет водою из Петербурга и сойдет на берег в Москве, в Головинском саду на Яузе. Но не все находившиеся вместе с Минихом при работах были довольны им: крутой и вспыльчивый нрав его давал себя чувствовать; так, майор Алябьев, находившийся при канальной Ладожской канцелярии, писал в 1723 г. к Меншикову: «Вашей светлости всепокорно доношу, как в бытность в селе Назье господин генерал-лейтенант Миних тряс меня дважды за ворот и называл меня при многих свидетелях дердивелем и шельмою и бранил м..... по-русски».

Но если торговля должна была усиливаться вследствие приобретения морских берегов и забот правительства, очень хорошо понимавшего важное значение ее, то старый порядок вещей, которого никакое правительство сломить было не в состоянии, противопоставлял страшные препятствия желанному усилению торговли. В продолжение многих веков служилое сословие привыкло непосредственно кормиться на счет промышленного народонаселения; в государстве земледельческом горожане-промышленники не могли приобрести важного значения, составить аристократию движимого имущества, денежную аристократию, не привыкли к самостоятельному значению, самостоятельной деятельности, к самоуправлению; самоуправление, данное Петром, застало врасплох, и посадские люди вели себя в этом отношении очень неряшливо; исправление обязанностей самоуправления казалось лишнею тягостью, богатые теснили бедных и заставляли их жалеть о воеводах, а между тем старинные отношения *мужей к мужикам*, вследствие чего служилый человек презрительно относился к промышленному человеку и позволял себе на его счет всякого рода насилия, — эти старинные отношения давали себя беспрестанно чувствовать, причем самоуправление, данное промышленному сословию, усиливало нерасположение к нему в людях, у которых вырывали из рук богатую добычу. Приведем несколько примеров тому. Главный магистрат представил длинный список купецких людей, которые были захвачены разными ведомствами и судебными местами, и, несмотря на промемории главного магистрата, ни сами они, ни дела их не были пересланы в это учреждение, и некоторые из них умерли в жестоком заключении. Бургомистры и ратманы московского магистрата писали в Главный магистрат, что ратманы от купечества в заседания не ходят, а им одним

всяких дел отправлять невозможно. Костромские ратманы доносили в Главный магистрат: «В 719 году, после пожарного времени, костромская ратуша построена из купеческих мирских доходов, и ту ратушу отнял без указа самовольно бывший костромской воевода Стрешнев, а теперь в ней при делах полковник и воевода Грибоедов. За таким утеснением взят был вместо податей у оскуделого посадского человека под ратушу двор, и тот двор 722 году отнят подполковника Татарина на квартиру, и теперь в нем стоит без отводу самовольно асессор Радилов; и за таким отнятием ратуши деваться им с делами негде; по нужде взята внаем Николаевской пустыни, что на Бабайках, монастырская келья, самая малая и утесненная, для того, что иных посадских дворов вблизиности нет, и от того утеснения сборов собирать негде, также и в делах немалая остановка».

По одному делу велено было послать в Зарайск из коломенского магистрата одного бурмистра, но коломенский магистрат донес: этому бурmistру в Зарайске быть невозможно, потому что в Коломне в магистрате у отправления многих дел один бурмистр, а другого бурмистра, Ушакова, едучи мимо Коломны в Нижний Новгород, генерал Салтыков бил смертным боем, и оттого не только в Зарайск, но и в коломенский магистрат ходит с великою нуждою временем. А с другим бурмистром такой случай: обер-офицер Волков, которому велено быть при персидском после, прислал в магистрат драгун, и бурмистра Тихона Бочарникова привели к нему, Волкову, с ругательствами, и велел Волков драгунам, повалая бурмистра, держать за волосы и за руки и бил тростью, а драгунам велел бить палками и топтунами и ефесами, потом плетьюми смертно, и от того бою лежит Бочарников при смерти. По приказу того же Волкова драгуны били палками ратмана Дьякова, также били городского старосту, и за отлучкою этих битых в Коломне по указам всяких дел отправлять не могут. Да в 716 году воинские люди убили из ружья Евдокима Иванова, а кружечного сбора бурмистра били так, что он умер. В 718 году драгуны застрелили из фузей гостиной сотни Григорья Логинова в его доме. Из псковского магистрата в Главный прислан был длинный список обид посадским людям.

Что же было делать промышленным людям, чтоб избежать таких притеснений, такого бесчестья? В старину они закладывались за сильных людей, которые и обороняли их от своей брaтьи. Но в XVII веке против закладничества были приняты строгие меры. Трудно стало закладываться за частных людей, стали закладываться за особ царского дома. Мы видели, как разбогатевшие ямщики записались в сенные истопники к комнате царевны Натальи Алексеевны. Когда в Сенате в 1722 году было окончательно решено: «Беломестцам лавок за собою, а купцам деревень иметь не надлежит» – и Главный магистрат распорядился исполнением этого решения, то служители двора герцогини мекленбургской Екатерины Ивановны подали ей просьбу: «В прошедших годах имели мы в торгу свободное время и торговали невозбранно, только с этого промысла платили в окладную палату положенного с нас на год по 25 рублей, поносую палату (?) – по 2 рубля, в слободу давали мы посадским людям в подмогу по 10 рублей, настоящие пошленные деньги также платили. В нынешнем, 724 году прислан указ из Главного магистрата во все ряды – велено беломестцев описать, лавки их запечатать и торговать запретить, дабы беломестцы записывались в слободы в равенство с купечеством.

А нам записываться в слободу невозможно, потому что отцы наши служили при дворах государевых и мы ныне служим при доме вашего высочества. Просим, чтобы нам поведено было содержаться в прежнем состоянии торгов наших».

Промышленники небогатые дорожили местами придворных служителей при малых дворах, чтобы безобиднее и выгоднее торговать; промышленники богатейшие стремились занять важные места при большом дворе, чтоб избавиться от необеспеченного положения. В начале 1722 года именитому человеку Александру Строганову объявлено в Сенате, что он пожалован в бароны. В 1724 году Марья Строганова с детьми Александром и Николаем били челом: «Пожалованы мы призрением ныне сына моего меньшого (Сергея) в комнату государыни цесаревны. А я, раба ваша, несведома, каким порядком себя между другими вести; также и сыновья мои чину никакого себе не имеют, а указом вашего величества всему гражданству определены различные чины и места по своим рангам, чтоб всяк между собою свое достоинство ведал. Просим, дабы я пожалована была местом, а дети мои чинами ради приходящего всенародного торжества коронования императрицы». Примеру Строгановых последовал богатый купеческий сын Алексей Гурьев и подал просьбу императрице Екатерине: «Отец мой из купечества из гостиной сотни определен и был в С.-Петербурге инспектором и умер в 1714 г. Я остался без всякого определения и был под протекциею царицы Прасковии Федоровны, а после ее кончины немалые мне чинятся обиды и нападки от многих людей; а в купечестве я нигде никакими делами не обязан и торгов, как прежде, не имел, так и ныне никаких не имею. Прошу вашего величества высокой милости, дабы для всемирной радости (коронации Екатерины) поведено было мне быть при доме вашего величества и жить в Москве и о том дать мне ваш государев указ за службы отца моего и для усердного радения и учиненной вашему величеству прибыли, что родственники мои построили своими деньгами город каменный на реке Яике и для рыбной ловли учуг, который и ныне зовется нашим прозванием – Гурьев-городок – и стал в 289942 рубля, и от того города собирается прибыли в вашу казну по несколько тысяч рублей».

Трудно было противостоять искушению выйти из промышленного сословия после того, что случилось с купцом Богомоловым по рассказу зятя его Ивана Воинова. «Тесть мой, гостиной сотни Алексей Васильев Богомолов, был в Москве знатный и богатый человек, имел у себя камень драгоценного, алмазных вещей, жемчугу, золотой и серебряной посуды, червонцев и талеров и денег многочисленную казну; из высоких господ также именитый человек Строганов, гости и гостиной сотни чернослободцы, иноземцы и греки, купецкие люди и всяких чинов брали у него займы денег; а двор его в Москве был в Белом городе подле Вознесенского Варсонофьевского девичьего монастыря, палатного строения много и ограда каменная, а ценою тот двор стоит пяти тысяч и больше. И был тесть мой вхож в дом блаженной памяти к князю Борису Алексеевичу Голицыну, потому что он, князь, всякие дорогие вещи у него покупал; и по той его познати (знакомству) приезжал в дом к тестю моему сын Князя Бориса Алексеевича, князь Сергей Борисович, будто ради посещения и, усмотря тестя моего древность и одиночество, жены, детей и родственников, кроме меня, нет, приказал людям своим сослать всех людей, которые жили у тестя моего в доме при нем, а вместо них поставил к тестю моему в дом своих людей человек с десять, будто для

обереганья и чтоб постою не было, и приказал людям своим тестя моего со двора никуда не спускать, таже и к нему не пускать ни меня и никого; когда тесть мой упросится слезно к церкви божией сходить, и тогда за ним люди княжие ходили, а одного его не пускали, и про то известно Варсонофьевского монастыря священникам с причетниками, игуменье с сестрами, тутошним соседям и той церкви прихожанам. В 713 году князь Сергей Борисович побрал тестя моего пожитки и другие вещи и весь скарб его к себе взял, также всякие крепости на должников и на закладные дворы и лавки, с пожитками тестя моего забрал вместе и мои, которые стояли у тестя, и от того разоренья пришел я во бесконечную скудость, одолжал и скитаюсь с женою и детьми по чужим дворам, а тестя моего отослал князь с людьми своими неволею в Богоявленский монастырь; тесть мой тут плакался, потому что князь отлучил его от дому и от пожитков и от обещанного ему кладбища Варсонофьевского монастыря, где он приказывал тело свое похоронить, потому что в том монастыре тесть мой построил церковь и ныне та гробница есть. И с той печалитесь мой в Богоявленском монастыре и умер бельцом, и погребен там».

Фабричная промышленность усиливалась, но не так, как бы хотелось Петру, который в указе 1723 года так объяснял причины неуспеха: «Или не крепко смотрят и исполняют указы, или охотников мало; также фабриканты разоряются от привозимых из-за границы товаров, например один мужик открыл краску бакан, я велел испробовать ее живописцам, а те сказали, что она уступит одной венецианской, а с немецкою равна, а иной и лучше, наделали ее много – и никто не покупает за множеством привезенной из-за границы; жалуются и другие фабриканты, и за этим надобно крепко смотреть и сноситься с Коммерц-коллегиею, а если она не будет смотреть, то Сенату протестовать и нам объявить, ибо фабрикам нашим прочие народы сильно завидуют и всеми способами стараются их уничтожить подкупамы, как много опытов было. Что мало охотников, и то правда, понеже наш народ, яко дети, не учения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но, когда выучатся, потом благодарят, что явно из всех нынешних дел; не все ль неволею сделано? И уже за многое благодарение слышится, от чего уже плод произошел. Так и в мануфактурных делах не предложением одним (как то чинится там, где уже и обыкло, а не так, как ныне делается: заведя, да не основав, оставят, как недавно каламинковый завод за одною машиною совершенства своего достигнуть не может) делать, но и принуждать, и вспомогать наставлением, машинами и всякими способами, и, яко добрым экономам быть, принуждением отчасти; например, предлагается: где валяют полсти тонкие, там принудить шляпы делать (дать мастеров), как чтоб неволью было ему полстей продавать, ежели положенной части шляп притом не будет; где делают юфть, там кожи на лосинное дело и прочее, что из кож; а когда уже заведется, тогда можно и без надсмотрителей быть, а именно вручить надсмотр бургомистрам того города, дав им пробы за печатями коллегии, и таковы ж у себя оставить и осмотреть потом, в рядах таковы ль продают, и, буде будут хуже делать, править штрафы. Которые мастера вывезены будут из других государств, освидетельствовать немедленно, знают ли они свое дело, и, буде не знают, тотчас и отпустить безо всякого озлобления; буде же годны, содержать во всяком довольстве; а ежели и контракт выйдет, и свои уже обучатся, а он не

похочет ехать, таких отнюдь не отпускать. А буде который сам похочет, такого прежде отпуску объявить в коллегии и допросить, волею ль он отъезжает и нет ли, или не было ль ему какой тесноты, и доволен ли отъезжает, и буде скажет доволен, и оного отпустить; буде скажет, что какую противность или недовольство, или хотя не скажет, но вид даст недовольства, о том коллегии накрепко розыскать, и жестоко наказать, и тщиться его где употребить, а не отпускать. Буде же весьма не захочет жить, то отпустить с совершенным удовольствием, дабы, приехав, жалобы не имел, что их худо трактуют, и там бы впредь вывоз мастеров не пресечен был. Которые фабрики и мануфактуры у нас уже заведены, то надлежит на привозные такие вещи накладывать пошлину на все, кроме сукон. Краски и прочие материалы, которые к фабрикам вывозят из чужих государств, таких материалов иметь у себя по несколько при коллегии, и из них посылать виды в государство, не сыщутся ль такие материалы, обещая довольную дачу по дороговизне оных». Разумеется, и относительно фабрик существовали те же неблагоприятные условия, как и в торговле: фабрики, принадлежавшие сильным вельможам, были обеспеченнее фабрик, принадлежавших купцам. Правительство по крайней мере делало все, чтоб поощрять к устройению фабрик и заводов: первый, кто устроит завод, освобождался от службы; также освобождались от службы товарищи его, которые вступят в товарищество не позднее полутора лет от основания завода. В описываемое время упоминаются фабрики: шелковые, принадлежавшие компании, в Москве и Петербурге, истопника Милютина в Москве, ямщиков Суханова с товарищи в Казани и Астрахани, шелковый завод армянина Сафара Васильева в двух днях езды от Терека. Позументного дела фабрики в Москве и Петербурге Карчагина. Игольная фабрика Томилина в уезде Переяславля-Рязанского. Парусные фабрики: князя Меншикова в Московском уезде на Клязьме, Филатова в Малоярославце, Плавильщикова в Московском уезде на Клязьме, Хвастливого с товарищи в Орле и Рязанском уезде. Полотняный и крахмальный заводы императрицы в Екатерингофе; полотняная фабрика Тамеса, или Тамсена, и товарищей в Москве. Суконные фабрики: Щеголина с товарищи, Собольников, Воронина, Александрова, Прана, Фибика в Москве, казенная в Казанской и две в Воронежской губернии. Коломиночная казенная в Петербурге, Волкова в Москве. Шпалерная казенная в Петербурге, шпалерная тисненая – там же. Кожевенные: Исаева в Петербурге, Истомина в Нарве, Жукова в Московском уезде. Лосинная Петрова там же, казенная лосинная в Воронежской губернии. Казенные восковые заводы в Петербурге. Волосная фабрика Кобылякова в Москве. Шляпные и чулочные заводы в Воронежской губернии, чулочная фабрика Момбриона в Москве. Казенная бумажная мельница в Московском уезде, бумажная и карточная мельница Багарета в Петербургском уезде. Сахарный завод в Петербурге иноземца Вестова с товарищи.

Благодаря посещению герцогом голштинским фабрики Тамеса, или Тамсена, в Москве мы знаем об ней замечательные подробности, сохранившиеся в дневнике камер-юнкера герцога Берхгольца. Все сидевшие за станком работники были русские, были и русские мастера, и Тамес надеялся, что они скоро заменят ему иностранцев. На фабрике было 150 ткацких станков и приготавливались все сорта полотна, от грубого до самого тонкого, прекрасные скатерти и салфетки, тонкий и толстый тик, тонкие канифасы для камзолов, цветные носовые платки. Содержание фабрики обходилось до 400 рублей в месяц.

Благодаря тому же Берхгольцу мы знаем подробности о знаменитом золотошвейном заведении барона Строганова, находившемся в его доме в Москве: здесь работало около 100 девиц. Писчебумажные фабрики шли успешно, так что в 1723 году велено было во всех коллегиях и канцеляриях употреблять бумагу российского дела.

В числе казенных фабрик была коломиночная в Петербурге, но оказалось, что произведения ее не раскупаются, потому что цена была положена почти такая же, как и привозным из-за моря коломинкам, которые были гораздо лучше и шире русских. Тогда Петр приказал продавать произведения русских фабрик дешевле, именно полотна и коломинки, почем в деле стали, кроме жалованья мастеровым, притом велел принимать полотно в Штатс-контору для раздачи вместо жалованья. Но Мануфактур-коллегия доносила, что хотя цена и сбавлена по пяти копеек с аршина, однако нет надежды, чтоб и по такой цене покупали; присланные из магистрата ценовщики оценили очень дешево, от трех до десяти копеек, тогда как на фабрике аршин коломинки обходится по 14 копеек с половиною, и так как за неимением никаких денег коломиночная мануфактура остановилась, то Мануфактур-коллегия просит, чтоб от кабинета эти коломинки велено было взять в Штатс-контору и употребить на жалованье или принять в Военную коллегия на матросский мундир, а за них прислать деньги в Мануфактур-коллегию.

Сильная заводская деятельность шла в странах приуральских, где в 1723 году в честь императрицы основан был город Екатеринбург и куда был перемещен Геннин, показавший свои способности на Олонецких заводах. В сентябре 1723 года он писал Петру: «Хотя я в трудах разорвуся, однако заводы новые, железные и медные, не могу скорее строить и умножить; остановка истинно не от меня, то ты поверь мне, но остановка есть, что у меня немного искусных людей в горном и заводском деле, а везде сам для дальнего расстояния быть и указать не могу, и плотники здесь не так, как олонские, но пачкуны; того ради понуждай Берг-коллегию, чтоб она штейгеров побольше прислала для сыску и копания медных и прочих руд». Не можем не привести и другого любопытного письма от 4 апреля 1724 года: «Екатеринбургские заводы и все фабрики в действе. В Екатеринбургской крепости и на Уктусе уже выплавлено 1500 пуд чистой меди и отправлено к пристани для отсылки к Москве; и медной руды ко оным заводам на Полевой уже на целый год добыто, и то в короткое время с малым убытком, и должен я благодарить бога о моем счастье, что я такое богатое рудяное место обложил. Еще ныне лучше является на Полевой, и надеюсь, что в малых летах тот убыток, во что заводы Екатеринбургские стали, все заплатится и потом великая прибыль пойдет. Прочие железные твои заводы исправлены и в Катеринбурхе, та-кож на Уктусских, Каменских и Алапаевских заводах руды, угля и дров на уголье на целый год изготовлено. И где такая богатая железная руда есть, что на Алапаевских заводах? Половина железа из нее выходит, а на Олонце пятая доля выходит, то великая разность! Ныне на Каменских заводах льют пушки на артиллерию. Который завод при Пыскоре капитан Татищев и сержант Украинцев строили по моему приказу, ныне зачнет плавить руду. Строгановым, видя ныне, что бог открыл много руды, а прежде сего жили они, как Танталус, весь в золоте и огорожен золотом, а не могли достать в таком образе, что жили они в меди, а голодны. И ныне просили меня, чтоб я с ними товарищ был и указал им, как плавить и строить, також на их кош завод отмежевать и при Яйве три места

рудных, то я с радостью рад и сделаю, а ваши места не отдам, понеже надобно прежде твой убыток, во что заводы стали, возратить, такожде и что Берг-коллегия берет жалованье. И они могут, ежели охотники, такожде довольно руды добывать; кроме твоего богатого места других тамо мест довольно. И покамест не приведу в действо нынешний завод при Пыскоре, не пойду без твоего указа, покамест могут моя есть, я рад трудиться, токмо были б приятели заочно, кому хвалить мой труд, без того не так. Пожалуй, послушай меня и не реши в горных здешних делах и положи на меня, как я прикажу. Я тебе желаю добра, а не себе и хочу прежде все убытки тебе возратить, что в 25 лет издержано на горное дело. И ты ныне не отдавай тех шахт и штолат при Полевой и при Яйве-реке, где я на тебя добываю руду, для того что очень богато и без труда добываем, а возле тех мест есть довольно и других таких рудных мест, где мы, компанейщики, можем добывать руды; я бы сам себе худа не желал и те места на себя взял, только не хочу, а тебе желаю добра; а коли положишь сие дело на Берг-коллегию рассмотреть, то они истинно здешнего дела не знают каково, и никто, кроме самовидца и кто трудится здесь. Я ныне на истинном пути в горных делах, и дай мне волю, а когда других слушаешь, которые мне поперек, то ты век в своем желании не прийдешь в конец, хотя и радеешь».

Геннин упоминает о капитане Татищеве как строителе Пыскорского завода. Знаменитый впоследствии Василий Никитич Татищев здесь начал свое поприще как горный чиновник и прежде всего столкнулся с Демидовыми, те жаловались государю, и Петр велел исследовать дело Геннину, который таким образом донес об нем: «1) когда Татищев здешние заводы и дистрикты не ведал и о заставах не доносил, то свободно было тайными дорогами с заповедными товары и с прочими съестными припасы без выписей и не заплатя пошлин на Демидовы заводы приезжать, как и ныне явилось; а как пресеклось, то стало тем мужикам досадно, и жаловались Демидову, иное вправде, а более лгали, чтоб таким крепким заставам не быть; а Демидов – мужик упрям, видя, что ему другие стали в карты смотреть, не справясь, поверя мужицкой злобе, жаловался для того; до сего времени никто не смел ему, бояся его, слова выговорить, и он здесь поворачивал, как хотел. 2) Ему не очень мило, что вашего величества заводы станут здесь цвель, для того что он мог больше своего железа продавать и цену наложить, как хотел, и работники б вольные все к нему на заводы шли, а не на ваши; а понеже Татищев по приезде своем начал прибавливать или стараться, чтоб вновь строить вашего величества заводы, и хотел по горной привилегии поступать о рубке лесов и обмежевать рудные места порядочно, и то ему також было досадно и не хотел того видеть, кто б ему о том указал. 3) И хотя прежь сего до Татищева вашего величества заводы были, но комиссары, которые оные ведали, бездельничали много и от заводов плода, почитай, не было; а мужики от забалованных гагаринских комиссаров разорились, и Демидову от них помешательства не было, и противиться ему не могли, а Демидов делал, что он желал, и, чаю, ему любо было, что на заводах вашего величества мало работы было и опустели. 4) Наипаче Татищев показался ему горд, то старик не залюбил с таким соседом жить и искал, как бы его от своего рубежа выжить, понеже и деньгами он не мог Татищева укупить, чтоб вашего величества заводам не быть. 5) Ему ж досадно было, что Татищев стал с него спрашивать от железа десятую долю. Ваше величество изволили мне дать от гвардии сержанта Украинцева, чтоб без бытности моей быть

ему над всеми заводами директором, и хотя он человек добрый, но не смыслит сего дела, и десятеро в Украинцеву меру не смыслят. Того ради вашему величеству от радетельного и верного моего сердца, как отцу своему, объявляю: к тому делу лучше не сыскать, как капитана Татищева, и надеюсь, что, ваше величество, изволите мне в том поверить, что я оного Татищева представляю без пристрастия, не из любви, или какой интриги, или б чьей ради просьбы; я и сам его рожу калмыцкой не люблю, но видя его в деле весьма права и к строению заводов смысленна, рассудительна и прилежна; и хотя я ему о том представлял, но он мне отговаривается, что ему у того дела быть нельзя: первое, что ваше величество имеет на него гнев и подозрение, которого опасаясь смело, как надлежит,² не посмеет и чрез то дело исправно не будет; також ежели он не увидит вашей к себе милости, то нет надежды уповать за труд награждения, и особливо в таком отдалении, где и великого труда видать не можно, ежели не чрез предстательство других получить. Третье, ежели на Демидова управы учинено за оболгание не будет и убытки его награждены не будут, то он и впредь с ним будет во вражде и беспокойстве, чрез что пользе вашего величества не без вреда быть может, и сих ради причин он, Татищев, здесь быть охоты не имеет. Пожалуй, не имей на него, Татищева, гневу и выведи его из печали, и прикажи ему здесь быть обер-директором или обер-советником».

На северо-востоке Строгановы увидали выгоду от рудных промыслов и сами просили знающего человека помочь им в начинании дела; на юге силою нужно было заставлять землевладельцев заниматься улучшенным овцеводством. В 1722 году в Сенате было определено: овец, которые содержатся на овчарных заводах, раздать в тамошних местах, расположа по числу деревень на многовотчинных людей, хотя бы кто и принять не захотел; овец этих и при них овчаров содержать точно так, как их содержали на заводах; приплод от овец получать им себе, а шерсть продавать на суконные заводы, которую покупать у них по определенной достойной цене. В Малороссию был отправлен в 1724 году такой указ: «Объявляем верным нашим подданным, малороссийским жителям всякого чина и достоинства, что мы для пользы всего нашего государства учинили суконные фабрики, на которые потребно много овечьей шерсти, а так как Малую Россию бог благословил больше других краев нашего государства способным воздухом к размножению овец и доброй шерсти, но малороссияне, не имея искусства в содержании овец, шерсть, к суконному делу негодную (хотя и множество ее имеют), за бесценок продают; для этого мы в 1722 году в Москве говорили с гетманом Скоропадским; также указом нашим писано из Мануфактур-коллегии к гетману и генеральному писарю Савичу и полковнику Полуботку, чтоб в Малороссии господари овец своих содержали по шленскому обыкновению, и правила, как овец содержать, к ним посланы; но до сих пор никакого успеха в том деле в Малороссии нет, ибо гетман Скоропадский вскоре потом умер, а Полуботок и Савич, как недоброжелатели своему отечеству и нам (в чем уже и обличились), не хотели видеть в действии повеления нашего и утаили его и никому присланных правил не объявили; а между тем уже некоторые великороссийские помещики, также и в слободских полках начали по тем правилам содержать овец и оттого прибыль великую против прежнего получают, так что продают шерсть по два

рубля по две гривны и больше, а по прежнему содержанию овец только по полтине и по 20 алтын пуд в продажу идет. Мы опять теперь повелеваем малороссийским жителям овец своих содержать по правилам и шерсть продавать на наши суконные фабрики, а мастеров, которые будут каждого наставлять в содержании овец, велели мы содержать на нашем жалованье». Несмотря на все препятствия, число фабрик и заводов в конце царствования Петра простиралось до 233.

В 1722, 1723 и 1724 годах приехали из Англии, Голландии и Франции русские мастеровые, учившиеся там: столяры домового убора – трое, столяры кабинетного дела – четверо, столяры, которые делают кровати, стулья и столы, – двое, замочного медного дела – четверо, медного литейного дела – двое, грядоровального – один, инструментов математических – один. Петр велел построить им дворы и давать жалованье два года, а потом дать каждому на завод денег с довольством, дабы кормились своею работою, и о том им объявить, чтоб заводились и учеников учили, а на жалованье бы впредь не надеялись.

На Западе ремесла имели цеховое устройство, сочли нужным ввести это устройство и в России. Устройство цехов вместе с образованием образцового магистрата в Петербурге император поручил Главному магистрату, но тот медлил, и Петр 19 января 1722 года дал такой указ обер-президенту магистрата: «Понеже давно имеется указ и регламент о исправлении дела, вам врученного, а именно о учинении перво магистрата правильного и цехов в Петербурге в пример другим городам, а потом в Москве и тако в протчих, но по се время никакого успеху в том не делается; того ради сим определяем, что ежели в Питербурхе сих двух дел, т.е. магистрата и цехов, не учините в пять месяцев или полгода, то ты и товарищ твой Исаев будете в работу каторжную посланы». В апреле 1722 года по выходе из Сената велено Дмитрию Соловьеву «учинить с иностранных учреждений о цехах известие и внести в Сенат». Соловьев обещал сделать это к завтрашнему утру. Такая *досужливость* не могла позволить держать знаменитых братьев в долгой опале, когда знающие и смышленные люди были так нужны; другой брат. Осип, уже был ассессором в Коммерц-коллегии. Только в конце 1724 года выработана была инструкция магистратам, посредством которых преобразователь хотел «всего российского купечества рассыпанную храмину паки собирать». Магистраты должны были состоять из президента, двоих бургомистров и четырех ратманов. Собираение рассыпанной храмины должно было начаться тем, что магистраты собирали из всех мест и записывали в посад и в тягло всех купеческих и ремесленных людей, которые, не желая с посадскими служить и податей платить, вышли из слобод каким-нибудь образом и подлогом в разные чины, в крестьянство и в закладчики, как будто за долги отданы. Таким образом, новое учреждение должно было начинать борьбою с явлением, которого не могла побороть древняя Россия. Потом магистраты должны были заботиться о безопасности городов от пожара, иметь достаточное число нужных для того инструментов и распоряжаться вместе с гражданскими квартирмистрами и другими лицами, которых магистрат определит к тому из граждан. Магистраты должны были переписать всех граждан мужского и женского пола с их детьми, братьями, зятьями и племянниками, внучатами, приемышами, служителями, работниками и захребетниками; должны знать, когда кто родится или умрет (известия об этом можно получать от приходских священников), и присылать

ежегодно в Главный магистрат ведомости о числе родившихся и умерших. Граждане должны быть разделены на три части, не включая гостей и гостиную сотню. В первом отделе, называемом первую гильдиею, находятся знатные купцы, городовые доктора, аптекари, лекари, судовые промышленники. Ко второй гильдии принадлежат торгующие мелочными товарами и всякими харчевыми припасами и ремесленные люди; остальные же, а именно все подлые люди, находящиеся в наймах, в черных работах и т.п., хотя суть и граждане и в гражданстве числятся, только к знатым и регулярным гражданам не принадлежат. Из каждой гильдии должно выбирать из первостатейных по нескольку человек в старшины, которые, особенно первой гильдии, во всех гражданских советах должны помогать магистрату; из этих старшин один избирается в старосты и один – к нему в товарищи, которые имеют попечение обо всем, что надлежит к гражданской пользе, и предлагают об этом магистрату; магистрат в важных делах должен старост и старшин призывать и с ними советоваться. В третьем разряде, между подлыми людьми, должны быть выборные старосты и десятские, которые доносят магистрату о всяких их нуждах. Старосты и старшины с согласия всех граждан делают уравнение в подушном сборе, смотря по состоянию каждого гражданина, чтоб достаточные и несемейные облегчены, а средние, бедные и семьянистые отягчены не были. Магистраты должны стараться о размножении мануфактур или. рукоделий, особенно таких, которых прежде не бывало; ленивых и гуляк понуждать работать; стараться, чтоб дети не только зажиточных, но и бедных людей учились читать, писать и арифметике, и для того при церквях или где пристойно учредить школы; стараться, чтоб обедневшие, особенно престарелые и дряхлые, граждане мужского и женского пола в богадельни были пристроены, а посторонних, кроме граждан, в городовые богадельни не принимать. Где возможно, стараться учредить ярмарки. Смотреть, чтоб гражданам от посторонних разных чинов и от приезжих купецких людей в их торгах и ремеслах помешательства, также и приезжим купецким и уездным людям от граждан в ценах и проволочке времени утеснения и принуждения не было. Во всякие городовые и купечеству приличные службы употреблять из подлых или обедневших граждан, чтоб от того могли себе пропитание иметь и положенную подать платить. Если по смерти гражданина останутся малолетние дети, то магистрат должен смотреть, чтоб душеприказчики, назначенные родителями, имели малолетних сирот в добром призрении и воспитании, а имение их в добром хранении; если же родители сами не назначат душеприказчиков, то магистрат обязан выбрать людей добрых, кому во всем верить можно.

«Магистрат, – говорилось в инструкции, – имеет правдиво, честно и чинно себя держать, дабы в такой знатности и почтении были, как и в других государствах, и чтоб, яко действительные начальники, от граждан почитаны и от его императорского величества рангом удостоены быть могли».

Нерадения и беспорядки, господствовавшие в прежних ратушах при переменных по выборам бургомистрах, понудили Петра учредить для городского управления коллегия из постоянных членов, которых граждане должны были почитать как действительных начальников, но горожане посредством своих старост и старшин должны были принимать постоянное участие в делах городского управления.

Самый многочисленный класс первоначальных промышленников – хлебопашцы продолжали заявлять о своем незавидном положении побегам. Правительство не могло улучшить их быт освобождением от крепостной зависимости, повторяло указы об отдаче беглых людей и крестьян прежним помещиками с женами и детьми и со всеми их пожитками, о наказании старост и приказчиков за содержание беглых, о взыскании с владельцев деревень за позволение принимать беглых людей и за водворение их. Землевладельцы хотели было порешить и с половниками, но правительство удержалось от этой меры. В 1723 году император предписал переписчикам согласиться с землевладельцами северных областей (поморских городов) насчет половников, переходящих с одной земли на другую, и прислать в Сенат мнения, какой придумать способ, чтоб половники, переходя с места на место, не избежали подушного сбора. Переписчик бригадир Фамендин прислал мнение, чтобы половников в другие места не переводить и запретить им переход указами; такое же мнение прислал и полковник Солнцев, но генерал-майор Чекин писал, что хотя, по мнению землевладельцев, должно укрепить половников за ними как за помещиками, однако, по его мнению, половников укреплять в крестьянство не следует. Сенат в январе 1725 года согласился с Чекиным, позволил половникам вольный переход как с частных земель на казенные, так и наоборот, только каждому половнику позволено было переходить в одном своем уезде. Для облегчения участи крестьян у правительства осталось два средства: отстранять помещиков, могших употреблять во зло свое право, от управления крестьянами и при особенных неблагоприятных обстоятельствах для сельского хозяйства уменьшать крестьянские повинности. В первом отношении замечателен указ: «Понеже как после вышних, так и нижних чинов людей движимое и недвижимое имение дают в наследие детям их, таковым дуракам, что ни в какую науку и службу не годятся, а другие, несмотря на их дурачество, для богатства отдают за них дочерей своих и свойственниц замуж, от которых доброго наследия к государственной пользе надеяться не можно, к тому ж и оное имение, получа, беспутно расточают, а подданных бьют и мучат, и смертные убийства чинят, и недвижимое в пустоту приводят: того ради повелеваем как вышних, так и нижних чинов людям, и ежели у кого в фамилии ныне есть или впредь будут таковые, подавать о них известие в Сенат, а в Сенате свидетельствовать, и буде по свидетельству явятся таковые, которые ни в науку, ни в службу не годились и впредь не годятся, отнюдь жениться и замуж идтить не допускать и венечных памятей не давать, и деревень наследственных и никаких за ними не справливать, а велеть ведать такие деревни по приказной записке и их, негодных, с тех деревень кормить и снабдить ближним их родственникам, а буде родственников не будет, то ближним же их свойственникам». Летом 1723 года Сенат получил доношения из Московской губернии и других провинций, что вследствие неурожая, бывшего два года сряду, крестьяне находятся в самом бедственном положении, едят Льняное семя и дубовые желуди, мешая с мякиною, бывают по несколько дней без пищи, многие от этого пухнут и умирают, иные села и деревни стоят пусты: крестьяне вышли в разные места для прокормления. А между тем, кроме денежных сборов, в одной Московской губернии показано провиантской недоимки 472832 четверти, и из Камер-коллегии для правяжу этой недоимки посланы такие жестокие указы, что велено продавать пожитки и неплатящих ссылать в галерную работу, вследствие

чего бедные крестьяне принуждены сами проситься в галерную работу. Сенат определил для таких нужд удержать правож до 1 сентября нынешнего года и на 723 год провиантские положенные сборы собирать в августе-месяце, как новый хлеб поспеет. Подушная перепись крестьян происходила с затруднением: в селе Лопатках Воронежского уезда поп Герасим возмущал жителей и приводил к кресту и евангелию, чтоб они людей и крестьян от свидетельства утаивали и друг на друга в том не доносили; однодворцы Куркины по согласию с попом утаили крестьян и дали присягу. Виновные были казнены смертию. В апреле 1723 года в Петербургской губернии, в провинциях и в Олонецком уезде сверх прежде поданных сказок явилось прописных мужского пола душ 70492 человека.

Успех торговли и промышленности всякого рода зависел от состояния путей сообщения и общественной безопасности. Мы видели заботы преобразователя о том и другом, но дело новое встречало сильные препятствия, и прежде всего в природных условиях страны, громадной и малонаселенной. Осенью 1722 года голландский резидент ехал из Москвы в Петербург около пяти недель вследствие грязи и поломанных мостов, на одной станции 8 дней ждали лошадей. Но продолжительность пути и неудобства его были еще малым злом в сравнении с отсутствием безопасности на дорогах, в деревнях и на улицах городских. Мы видели, о чем прежде всего уведомил сенатор Матвеев, оставшийся в Москве представителем высшего учреждения, – о поимке и казни разбойников. В 1722 году сенаторы имели рассуждение и объявили московскому вице-губернатору Воейкову, что около Москвы умножились великие разбои и какие меры он принимает для их прекращения. Воейков отвечал, что у него для этого определены особые люди в Можайск и другие места, в остальные же места послать некого: драгуны стары, дряхлы и лошадей не имеют. По донесению голландского резидента, в конце 1722 года в Петербурге в один день казнили 24 разбойника: вешали, колесовали, вешали за ребра. Но жестокие казни не прекращали зла, и по-прежнему старались уменьшать число гулящих людей. В 1722 году велено было в Москве священнических детей, которые при переписи явятся лишними, определять кто куда захочет – в посад или к кому во двор, чтоб гулящих не было. Распоряжения против нищих продолжают – доказательство их недействительности: «Слепых, дряхлых, увечных и престарелых, которые работать не могут, ни стеречь, а кормятся миром и не помнят, чьи они были, отдавать в богадельни. Малолетних, которые не помнят же, чьи они прежде были, которым 10 лет и выше, писать в матросы; а которые ниже тех лет, таких отдавать для воспитания тем, кто их к себе принять захочет, в вечное владение, и кому отданы будут, за теми писать в подушный сбор; а которых никто не примет, тех отдавать для пропитания в богадельни же, в которых им быть до десяти лет, а потом присылать в матросы же. В Москве, в Кремле и Китае-городе, велено строить всем каменные дома по улицам, а не во дворах и крыть черепицею, перед каждым домом мостить мосты (тротуары) из дикого камня, заборов не делать, а ставить тыны, чтоб ворами несвободно было перелезть. В рядах перед иконами велено ставить свечи в фонарях, а без фонарей нигде не ставить, потому что был от этого в рядах пожар великий и многие купцы пришли в разорение и скудость. Велено было сделать по концам улиц подъемные рогатки, которые по ночам опускать, и иметь при них вооруженные караулы из уличных жителей; у кого из

них не будет ружья, те должны являться с грановитыми большими дубинами, все должны иметь трещотки.

Голод вызвал в 1723 году следующие меры: в местах, где обнаружился голод, велено описать у посторонних излишний хлеб, чей бы он ни был, и сделать смету, сколько кому всякого хлеба в год надобно для собственных и крестьянских расходов, и оставлять каждому хлеба на год или на полтора, а остальное раздавать неимущим крестьянам до нового хлеба, сколько кому будет нужно, займы с расписками, и, когда хлеб уродится, возратить по распискам тем людям, у которых был взят. При раздаче хлеба смотреть накрепко, чтоб видом скудных и хлеба неимущих не брали такие, которые свой хлеб спрятали; также у купцов и промышленников хлеб описать, чтоб они, скупая у продавцов, не продавали высокою ценою и тем не причиняли бы народу большей тягости. Велено было из губерний и провинций доставлять в Камер-коллегию еженедельные ведомости об урожае хлеба и о справочных ценах.

Если изложенные препятствия к улучшению материального быта заключались, с одной стороны, в материальных условиях страны, то с другой – коренились в нравственном состоянии общества, далеко неудовлетворительном. Ссора Шафирова с Скорняковым-Писаревым во всех ее подробностях, поведение вельмож, фискалов, обращение сильных и служилых людей с людьми промышленными служат доказательством этой неудовлетворительности. Современники Петра рассказывали следующий случай: император, слушая в Сенате дела о казнокрадстве, сильно рассердился и сказал генерал-прокурору Ягужинскому: «Напиши именной указ, что если кто и настолько украдет, что можно купить веревку, то будет повешен». «Государь, – отвечал Ягужинский, – неужели вы хотите остаться императором один, без служителей и подданных? Мы все ворует, с тем только различием, что один больше и приметнее, чем другой». Петр рассмеялся и ничего не сказал на это. Приведем еще несколько резких примеров в другом роде. Давно уже известный нам дипломат сенатор князь Григорий Федорович Долгорукий в 1722 году испытал неприятность, которую он так описывал императору: «Сего декабря 18 числа по публичном вашего величества триумфальном въезде (по возвращении из Персидского похода) был я при вашем величестве во Преображенской съезжей избе, где по отлучении вашего величества князь Иван Ромодановский, умысля за партикулярную свою злобу по факциям моих злохотящих, бил меня и всякими скверными лаями лял, называл меня вором и предателем государства, и будто ваше величество не только меня кнутом наказать, но и голову отсечь намерение иметь изволили; однакож я, опасаясь вашего величества гневу, во всем ему уступал и просил Гаврилу Ивановича (Головкина) и других, дабы его от того удержали; и он, выпустя других, велел снять с меня шпагу и взять за арест, как сущего вора, где мало не сутки был держан, и потом указом все милостивейшей государыни императрицы свободился и у вашего величества за учиненную мне смертную обиду сатисфакции просил, о чем и ныне слезно прошу сотворить со мною милость, дабы мне не остаться навеки в нестерпимом ругательстве, також против всенародных прав учиненный публичный афронт характеру тайного действительного советника и вашего величества кавалерии без отмщения отпустить не изволили. Помилуй, государь, не дай мне беспорочный век мой ныне при старости безвременно окончить в бесчестии».

Приведем и рассказ других лиц об этом событии: «В этот день у князя Ромодановского, в Преображенском приказе, было в присутствии императора угощение для знатнейших русских вельмож, и государь, уезжая оттуда, просил хозяина продолжать хорошенько поить гостей, хотя все они были уже порядочно пьяны. Так как между князем Ромодановским и князем Долгоруким существовала давняя неприязнь и Долгорукий не хотел отвечать как следовало на предложенный ему Ромодановским тост, то оба старика после сильных ругательств схватились за волосы и по крайней мере полчаса били друг друга кулаками, причем никто из присутствовавших не потрудился разнять их. Князь Ромодановский, страшно пьяный, оказался, как рассказывают, слабейшим, однако после драки велел своим караульным арестовать Долгорукого, который в свою очередь, когда его опять освободили, не хотел из-под ареста ехать домой и говорил, что будет просить удовлетворения у императора. Но, вероятно, ссора эта ничем не кончится, потому что подобные кулачные схватки в нетрезвом виде случаются здесь нередко и остаются без последствий». Новый порядок вещей высказывается здесь тем, что Долгорукий протестует во имя всенародных прав против публичного афронта, нанесенного действительному тайному советнику и кавалеру (Андреевскому). Мы видели, что член Коллегии иностранных дел Степанов, жалуясь на подканцлера Шафирова, писал: «Я о моей персоне не говорю, только характер канцелярии советника не допускает не токмо побои, но и брани терпеть». Человек не обеспечен; начинают стремиться обеспечивать себя чином, ссылаясь на всенародные права. Мы должны приветствовать это начинание, ибо тем же путем, т.е. обращением более и более сильного внимания на всенародные права, общество мало-помалу придет к обеспечению человека как человека, а не советника канцелярии только.

Мало-помалу, ибо нравы народа не изменяются указами. Но если действительный тайный советник и кавалер не был обеспечен от публичного афронта, то что же приходилось терпеть людям, которые не были даже и советниками канцелярии? Мы это видели, говоря о положении промышленных людей. Если сановники, князья в личных своих или родовых ссорах позволяли себе публично позорить и бить друг друга, не понимая, какой вред наносят они всем своим, то нечего удивляться, что промышленные люди усобицами отягчали еще более свое незавидное положение. Вот пример: вятский купец Александр Шеин имел до 100000 рублей капитала и платил в казну с торгов своих по 3000 рублей пошлин. Поссорился он с женою и вздумал, по старому обычаю, постричь ее. Тесть Шеина Филатьев, узнав об этом, обратился с просьбою о помощи к свойственнику своему, дьяку страшного Преображенского приказа Нестерову. Дьяк помог: Шеина схватили и привели в Преображенское и сказали ему указ, что он за поклеп тещи своей, будто он испорчен ее происком, довелся смертной казни. Благодаря Ништадскому миру Шеин остался с головою, но был бит кнутом и сослан в Сибирь навеки, все имение конфисковано. Когда в 1723 году Петр, узнавши о сильных злоупотреблениях в Преображенском, велел публиковать, чтобы все объявляли, какие кто обиды потерпел от дьяков Преображенского приказа, то за Нестеровым нашлось много вин; движимое имение его император велел отдать московских мясных рядов старостам за мясо, взятое у них безденежно в Преображенское на корм зверям.

Астраханский губернатор Волынский продолжал отличаться бесцеремонностью своего обращения с ближними, подпал за это гневу Петра, но не унимался. Вследствие персидской войны он должен был в своей губернии иметь дело с двумя генералами – Кропотовым и Матюшкиным, с которыми не преминул поссориться. В одном письме, жалуясь на них Петру, он рассказывает следующее: «При сем я и мою продерзость вашему величеству доношу: обретается при астраханском порте мичман Егор Мещерский, который подлинно дурак и пьяница, и не только достоин быть мичманом, ни в квартирмейстерах не годится, и никакого дела приказать ему невозможно, что самая правда; и которые морские офицеры его знают, по совести и чести своей в том засвидетельствовать могут, что он таков, как я доношу. И, так ныне многие шалости показав, взят был в дом к генерал-лейтенанту г. Матюшкину для их домашней забавы, где его публично держали за дурака, и поили его, и вино на голову выливали, и зажигали, и называли его сажею, и прочие ему дельвали дурачества, и он, при них живучи, многих бранивал и бивал, что все терпели ему и упустили; между тем в доме его, г. Матюшкина, увеселяя их, выбранил меня, и жену мою, и дочь такую пакостною бранью, какой никому вытерпеть нельзя, что, слыша, г. Матюшкин не токмо ему возбранил, но еще и смеялся, что зело мне стало обидно, и для того я ему, г. Матюшкину, тогда же говорил, что мне сия брань зело чувствена, и я того не заслужил, и хотя ему, г. Матюшкину, гневно будет, однакож я такого ругания для его дурака терпеть не буду, на что он мне сам сказал, что он за дурака на меня сердиться не будет, как я хочу с ним. Мещерским; и потом я, увидав, что от него, г. Матюшкина, сатисфакции мне никакой не учинено, приманя его, Мещерского, к себе, и за то, что он мною других веселил, сажал его на деревянную кобылу, понеже не мог такого поношения вытерпеть».

Женщины не уступали мужчинам в продерзостях. В 1722 году в Тайной канцелярии держался дворцовый стряпчий Деревнин; ночью является туда царица Прасковья Федоровна, отнимает Деревнина у караульных и начинает его бить, служители ее жгут его свечами, обливают голову и лицо крепкою водкой и зажигают; несчастный сгорел бы, если бы караульные не погасили.

Русские люди понимали, что должно служить противодействием всех этих продерзостей – знание всенародных прав, могшее быть только следствием общей жизни с другими образованными народами, которая обязывала к образованию. Петр знал это лучше других и не хотел, чтоб его дочери были похожи на царицу Прасковью Федоровну: с 1715 года царевен Анну и Елисавету ежедневно учил по-французски Рамбур. Молодой человек, пришлец, усыновленный в России, которому суждено было быть одним из первых деятелей в нашей младенческой литературе, князь Антиох Кантемир в 1724 году обратился к Петру с самою доступною для преобразователя просьбой: «Крайнее желание имею учиться и склонность в себе усмотряю чрез латинский язык снискать науки, а именно знание истории древняя и новая и географии, юриспруденции и что к статусу политическому надлежит; имею паки и к математическим наукам немалую охоту, также между дел и к минятуре. Но понеже вышепомянутые науки как рачительно снискиваются, так и удобнее приобретаются в знаменитых окрестных государств академиях, требуется к неколиколетнему так пребыванию и денежное иждивение, а сиротство мое и крайний в деньгах недостаток сами собою вашему

императорскому величеству довольно ведомы суть, того ради прошу хотя малое что на тамошнее иждивение пожаловать».

В конце своего царствования Петр отправил за границу и другого впоследствии знаменитого труженика русской науки. Мы встретились с Татищевым на Екатеринбургских заводах, где Геннин умел отличить его способности. Петр, впрочем, не исполнил желание Геннина, не оставил Татищева начальником заводов, а вызвал его в Петербург. Сам Татищев рассказывал, что Демидов обвинял его во взяточничестве. На вопрос Петра, справедливо ли обвинение, Татищев отвечал: «Я беру, но в этом ни пред богом, ни пред вашим величеством не погрешаю» – и начал рассуждать, что судья не виноват, если решит дело как следует и получит за это благодарность; что вооружаться против этой благодарности вредно, потому что тогда в судьях уничтожится побуждение посвящать делам время сверх узаконенного и произойдет медленность, тяжкая для судящихся. Петр отвечал: «Правда; но позволить этого нельзя, потому что бессовестные судьи под видом доброхотных подарков станут насильно вымогать». Другие современники передавали ответ Петра так: «Ты забыл, что для доброго судьи служба есть священный долг, причем ему и в мысль не приходит временная корысть, и что ты делаешь из мзды, то он делает из добродетели». Понятно, что Татищев должен был произвести на Петра такое же впечатление, какое произвел на Геннина: понравиться он ему не мог, но в то же время нельзя было отрицать у него больших способностей. Петр не отправил Татищева на заводы, где он мог прилагать свою теорию о *благодарности* судьям, но отправил в Швецию для призыва потребных к горным и минеральным делам мастеров; при отъезде Петр поручил Татищеву осмотреть знатные строения, работы, горные промыслы, заводы, денежное дело, кабинеты, библиотеки и особенно канал Обигский, достать по возможности всему чертежи и описания; взять из школ молодых русских людей и раздать в Швеции для научения горному делу; смотреть и осведомляться о политическом состоянии, явных поступках и скрытных намерениях Швеции. Татищев возвратился в Россию уже по смерти Петра и представил отчет о полезных учреждениях в Швеции и вредных условиях. Нанимать мастеров в Швеции его не допустили; он мог принять в русскую службу только одного мастера, умеющего резать твердый камень и обтирать, но он успел раздать 16 русских учеников на разные заводы. В 1723 году приехали в Петербург ученики, которые в Париже учились философии: Иван Горлецкий, Тарас Посников, Иван Каргопольский. Петр велел Синоду освидетельствовать их в науках и определить к делу. Неизвестно, к какого рода русским ученикам в Англии относился указ 1723 года: «Ведомо нам учинилось, что некоторые из вас, будто боясь наказания за непорядочное житье в Англии, опасаются ехать по нашему указу в отечество: того для сим всемилостивейше повелеваем вам, чтобы по нашему указу, когда станет господин Гольден, купец английский, вас отправлять в Россию, чтобы без всякого прекословья ехали в отечество без всякой боязни, понеже мы всех, хотя кто что и непотребно сделал, во всем прощаем и милостиво обнадеживаем, что никакого наказания не понесут, но паче милостиво будут приняты, как уже некоторые из вас, приехав сюда, дела свои, чему учились, отправляют и награждены нашим жалованьем и домами».

Мысль о русской истории не переставала занимать Петра; если он видел по опыту Поликарпова, что рано было думать о ее сочинении, по крайней мере он

хотел приготовить материалы к великому делу и в феврале 1722 года приказал из всех епархий и монастырей взять в Москву, в Синод, все рукописи, заключающие в себе летописи, степенные книги, хронографы и т.п., списать их, списки оставить в библиотеке, а подлинники отослать в прежнее место, откуда взяты. Составление истории своего времени Петр поручил Феофану Прокоповичу. Во время Персидского похода он думал об исправлении и пополнении этой истории и пересылал Прокоповичу указания. Прокопович отвечал ему: «Что присланным ныне вашего величества указом в достопамятной славных вашего величества дел истории пополнить и исправить мне повелено, то делом исполнить усердно тщуся. А понеже она история не беструдно собиралась и не без того, чаю, что иные славные и знатные дела неведением или небрежением журналистов и без описания оставлены суть: того ради пришло мне ныне на мысль, дабы нынешний вашего величества поход обстоятельно был описан и, что где знатное и к истории достойное случится, не оставлено бы было, но все бы записывано с надлежащими обстоятельствомы, а удобный к тому способ видится мне сей, чтобы повелено было наблюдать всех сих случаев и действ адъютантам или кому то наипаче прочих свойственно есть и, наблюдая вся сия, описывать им или объявлять определенным на то собственным журналистам, а те записки сообщалися б обретающемуся при вашем величестве в оном походе Лаврентию, архимандриту Воскресенскому, который содержать сие может и записывать будет без всякого украшения, простым стилем, из чего можно будет своим временем и с украшением историю сию собрать».

Специальные школы продолжали возникать вследствие сознания той или другой потребности. В новых правительственных и судебных учреждениях нельзя было обойтись без знающих делопроизводителей, иностранцы были крайне неудобны, посланных за границу молодых русских было очень недостаточно, и в ноябре 1721 года Петр предписал: «учинить школу, где учить подъячих их делу, а именно цифири и как держать книги, ко всякому делу пристойные; и кто тому не выучится, к делам не употреблять; к сему ученью определить, а именно: арифметику, форму книгам, табели, стиль письма и прочее, что доброму подъячему надлежит, куды б приказные люди детей своих повинны были отдавать, також из стороны кто похочет быть приказным; також учиться определенным в коллегиию молодым дворянам, и сие в Сенате определить». Выражение о молодых дворянах при коллегиях имеет тот же смысл, какой мы видели уже в наказе герольдмейстеру, где сказано: «Пока академии исправятся, чтобы краткую школу сделать, дабы от всяких знатных и средних дворянских фамилий обучать экономии и гражданству».

«Пока академии исправятся», т.е. пока академии дадут возможность иметь образованных молодых людей для гражданской службы. Что же это были за академии? О них объявился указ 28 января 1724 года, изданный, следовательно, ровно за год до смерти преобразователя: «Учинить академию, в которой бы учились языкам, также прочим наукам и знатным художествам и переводили бы книги. На содержание оных определить доходы, которые собираются с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга, таможенных и лицензных 24912 рублей. К расположению художеств и наук употребляются обычайно два образа здания: первый образ называется университет, второй – академия, или социетет художеств и наук. Понеже ныне в России здание к возвращению художеств и наук учинено

быть имеет, того ради невозможно, чтоб здесь следовать в прочих государствах принятому образу, но надлежит, смотря по состоянию здешнего государства, как в рассуждении обучающих, так и обучающихся, и такое здание учинить, чрез которое бы не токмо слава сего государства для размножения наук нынешним временем распространилась, но и чрез обучение и расположение оных польза в народе впредь была. При заведении простой академии наук обои намерения не исполнятся, ибо хотя чрез оную художества и науки в своем состоянии производятся и распространяются, однакож-де оные не скоро в народе расплодятся, а при заведении университета меньше того, ибо когда рассудить, что еще прямых школ, гимназиев и семинариев нет, в которых бы молодые люди началам обучиться и потом выше градусы наук воспрять и угодными себя учинить могли, то невозможно, дабы при таком состоянии университет некоторую пользу учинить мог. И тако потребнее всего, чтоб здесь такое собрание заведено было, ежели б из самолучших ученых людей состояло, которые довольны (способны) суть: 1) науки производить и совершить, однакож-де тако, чтоб они тем наукам 2) молодых людей публично обучали и чтоб они 3) некоторых людей при себе обучали, которые бы младых людей первым фундамент всех наук паки обучать могли. И таким бы образом одно здание с малыми убытками то же бы с великою пользой чинило, что в других государствах три разные собрания чинят» (академия, университет и гимназия).

«Невозможно, чтоб здесь следовать в прочих государствах принятому образу». Невозможность эта проистекала от неразвитости России. В маленьком местечке, потребности жителей которого очень ограничены, промышленность и торговля далеко не обширны, в одной лавке продается все нужное: и предметы роскоши для богатого, и предметы первой необходимости для каждого самого бедного. Начинает местечко расти, увеличивается народонаселение, увеличиваются его потребности, и первоначальная лавка, где прежде продавалось все вместе, теперь разделяется на несколько лавок, где продаются только известные роды товаров, происходит, таким образом, развитие, доходящее в больших городах до высшей степени. Этот закон развития есть закон, общий явлениям народной жизни, и благо правительствам, которые нейдут против этого закона, умеют содействовать правильному развитию, но боятся торопить развитие. Такой неразвитой России первой четверти XVIII века удовлетворяло учреждение, которое долженствовало быть академиею наук, университетом, педагогическим институтом и гимназию вместе, долженствовало быть семенем, из которого впоследствии развились бы все эти учреждения.

Неразвитость относительно школ высказывалась в описываемое время и в том, что академия, основанная в Москве до Петра и носившая по условиям общественного развития смешанный церковно-гражданский характер, удерживала его и теперь, несмотря на закон об учреждении академии с чисто гражданским характером. Необходимость для Московской академии сохранить свой прежний характер обуславливалась преимущественно тем, что петербургского учреждения было мало для громадной России.

Новая академия по указу Петра должна была заниматься и переводом книг, но пока академия не устроилась, этим делом должен был заниматься новоучрежденный Синод. Заботы о переводе нужных книг Петра по-прежнему не покидали нигде и ни для чего. Находясь в Астрахани для Персидского похода в

июле 1722 года, Петр писал в Синод: «Книгу, которую переводил Савва Рагузинский о славенском народе с итальянского языка (*Orbini il regno degli slavi*), другую, которую переводил князь Кантемир, о магометанском законе, ежели напечатаны, то пришлите сюда не мешкав, буде же не готовы, велите немедленно напечатать и прислать». В октябре 1724 года Петр писал в Синод: «Посылаю при сем книгу Пуфендорфа, в которой два трактата: первый – о должности человека и гражданина, другой – о вере христианской, но требую, чтоб первый токмо переведен был, понеже в другом не чаю к пользе нужда быть». К тому же времени относится другая любопытная собственноручная записка в Синод, в которой ярко обрисовался человек: «Указ трудящимся в переводе экономических книг: понеже немцы обыкли многими рассказами негодными книги свои наполнять только для того, чтоб велики казались, чего, кроме самого дела и краткого перед всякою вещию разговора, переводить не надлежит, но и вышереченный разговор чтоб не праздной ради красоты, но для вразумления и наставления о том чтущему был, чего ради и о хлебопашестве трактат выправить (вычерня негодное), и для примеру посылаю, дабы по сему книги переложены были без лишних рассказов, которые время только тратят и у чтущих охоту отъемлют». К последним годам жизни относятся и заботы Петра о драгоценной патриаршей библиотеке, переименованной теперь в синодальную: в начале 1723 года Синод получил указ напечатать немедленно и представить императору каталог рукописей этой библиотеки, составленный Скиадою; весной 1724 года Петр велел содержать библиотеку особливо от ризницы, «а не купно с нею иметь, как прежде сего донныне было». Искусства по-прежнему не забывались: в 1723 году директору от строений велено было архитектурных учеников, находившихся в Риме, Усова и Еропкина взять в Петербург, а вместо них послать в Италию двух же добрых ребят.

Крайне нуждаясь сама в учителях, заводя Академию наук, которая в то же время была университетом и гимназией, Россия должна была заботиться и о просвещении других славянских народов. Сербский архиепископ Моисей Петрович, приехавший в Россию поздравить Петра с Ништадтским миром, привез от своего народа просьбу, в которой сербы, величая Петра новым Птоломеем, умоляли прислать двоих учителей, латинского и славянского языка, также книг церковных: «Будь нам второй апостол, просвети и нас, как просветил своих людей, да не скажут враги наши, где есть бог их?» Петр велел отправить книг на 20 церквей, 400 букварей, 100 грамматик. Синод должен был сыскать и отправить в Сербию двоих учителей, которым полагалось по 300 рублей жалованья человеку.

Синод переживал трудное время, время начальной деятельности, и в какую эпоху! В сентябре 1723 года объявлена была грамота антиохийского и константинопольского патриархов, признававших Синод; но в то же время Феодосий, архиепископ новгородский, представ его императорскому величеству, докладывал: 1) о бессилии Синода, которое происходит оттого, что сообщаемые в Сенат сведения и посылаемые в коллегии и канцелярии указы оказываются недействительными; от учреждения Синода с 1721 года на сообщенные в Сенат сведения, которых больше ста, и на посланные в коллегии и канцелярии многие указы не только действительного исполнения, но и ответов долгое время не получалось. 2) По сообщенному в Сенат сведению генерал-рекетмейстер Павлов, который подозревается в расколе, в Синод не прислан. 3) Генералитет, который

взыскивает доимки, не допускает синодальных служителей собирать настоящие доходы на этот год, отчего происходит остановка. Император, выслушавши доклад, велел сказать в Сенате именной указ, чтоб по всем вышеозначенным пунктам Синод получил удовлетворение и генерал-рекетмейстер был отправлен в Синод немедленно. По смерти Стефана Яворского Синод не получил другого президента. Это звание сначала было установлено на основании значения Синода как духовной коллегии; но Синод немедленно же выдался из ряду других коллегий и стал наравне с Сенатом, который не имел президента уничтожено было и название митрополита, которое предполагало подчинение ему других архиереев, чего на самом деле не было.

Важное затруднение в первые годы представлял вопрос о жалованье синодальным членам. Оклады им по тому времени были значительные: вице-президент получал 2500 рублей, советник – 1000, ассессор – 600 рублей. Но откуда брать деньги? Табельные доходы были все распределены, и в 721 и в 722 годах синодальные члены и приказные служители должны были получать жалованье из собранных в Синод денег с раскольников, с неисповедовавшихся, из штрафных денег и лазаретных. Но в январе 1723 года Синод получает грозный указ: «Понеже ведомо нам учинилось, что Монастырским приказом, который в ведении синодском, великая сумма в положенные места не дослана, от которой недосылки полевой армии бедным солдатам в даче жалованья учинилась остановка и не получают уже близко года, а иные и по году, того для, пока та недосланная сумма в определенные места от вас не выплатится, по то время денежного жалованья как себе, так и прочим вашим подчиненным и по монастырям чернецам (также и на строение) давать запрещается, кроме хлеба и прочих нужных необходимых потреб, что к пропитанию надлежит». Синод отвечал: «По оному вашего величества указу о собрании и платеже оной недосланной суммы (что хотя и не от синодского неисpravления, но от неудовольствования из Камер-коллегии книг и от неприсылки из Сената потребных к тем сборам офицеров и царедворцев учинилось) попечение Синод всегда имел и имеет со всяким усердием и ныне о том указами подтверждает и жестоким прощением; а о даче жалованья, также и о строении доносить: понеже в строениях находится гошпиталь лечебная, по именному вашего величества указу в Москве строящаяся, на которую несколько казны уже и употреблено, и еще требуется, и преminуть того нельзя; также и из членов и служителей синодских светского чина, кроме определенного им жалованья, никаких доходов всеконечно неимеющие обретаются, которым ныне сказано ехать в С.-Питербурх, а подняться весьма без дачи жалованья невозможно». Петр написал: «Дать жалованья на полгода, которые едут в Питербурх, тем, которые вотчинами не владеют, но токмо с жалованья одного пропитание имеют». Феофан Прокопович, архиепископ псковский, обратился к императору с просьбою: «Понуждаемый скудостью моею и уповая на отческое милосердие вашего величества, дерзаю всемилостивейшего моего государя турбовать сим моим прошением. Врученная мне епархия велми скудна; в прошлом году писано ко мне из дома архиерейского, что по раздаче церковным и домовым служителям осталось денег рубль тридцать алтын и четыре деньги. А дом я застал весьма нагий и пометеный. И тако на едино хлебородие некая осталась было надежда, но и того скудно; триста дворов, сказуют, на лице насилу сыщется: мором пустоты много сделалось. И еще чрез несколько лет

прежде меня и при мне великий недород был. Еще ж бы сноснейшая скудость была в Пскове, но понеже жить велено в С.-Петербурге (что мне благоприятно и радостно есть), то и иждивение стало не по доходам; пиво, дрова, иногда же и сено покупаем, негде скотины держать, некуда лошадей выгнать. Села подмосковные (которые мне всемилостивейший государь пожаловал) еще мне никакого дохода (кроме сена для лошадей) не показали ради великого прошлолетнего неплодствия; и понеж нужда явилася покупать лошадки и прочую скотину для навозу и других потреб, то еще и убыток стался: вся польза, какова-то будет, еще в надежде и ожидании, и, если бы ваше императорское величество не пожаловал меня изначала несколько тысячами рублей, воистину бы крайняя нужда и изначала была. Ныне вся была надежда на синодское жалованье. А сим денгам было бы у меня иное место: робят маленьких до двадцати человек учу, кормлю и одеваю, да и библиотеку порядочную собираю, на тысячу шестьсот рублей уже книг купил, и если змогу, никогда куповать не перестану, и, служа таковой прихоте моей, служу, кажется, и общей пользе: никому никогда (хотя бы крайняя нужда) библиотеки продавать не мышлю, но по мне будет там, где государь повелит. А ныне и жалованье давать не велено; и так я в самую крайнюю нужду пришел. На известной вашего величества милости уфундовал упование, занял в Синоде в прошлом году 3200 рублей, надеялся выплатить из жалованных денег, упросив срок четырех годов, и купил дом, хотя еще нужной пристройки требующий. А ныне по предложению г. обер-прокурора синодального домогаются на мне выплаты долга того, когда я ничего не имею и жалованья лишен стал». В январе 1724 г. состоялся именной указ: если члены Синода могут из своих епархий, монастырей и церквей получать из остающихся за расходом денег сумму, равную положенному им жалованью, то пусть получают и в таком случае жалованья уже не требуют; если же этих денег по окладу не достанет или вовсе ничего не придет, то должны просить и получать из государственной суммы.

Феофан Прокопович упоминает об обер-прокуроре синодальном. 11 мая 1722 года государь указал Сенату: «В Синод выбрать из офицеров доброго человека, чтоб имел смелость и мог управления синодского дела знать и быть ему обер-прокурором, и дать ему инструкцию, применяясь конструкции генерал-прокурора». Выбран полковник Болтин. Подчиненные Синоду приказы были: 1) духовная дикастерия в Москве, где управителем был синодальный советник архиепископ крутицкий, ассессорами – три архимандрита; 2) Монастырский приказ, где управителем был судья, при нем советник и два ассессора – все светские; 3) Приказ церковных дел, где был судья архимандрит и при нем игумен; 4) Канцелярия розыскных раскольничьих дел. При Сенате находился *духовного Синода агент*. Члены Синода нередко призывались в Сенат для общих совещаний, секретных и несекретных. Иногда при этих заседаниях присутствовал сам государь. Так было 12 апреля 1722 года, когда было рассуждаемо и постановлено: когда кто стоворит для вступления в брак, то отцов и матерей жениха и невесты приводить к присяге, что брак заключается по согласию их детей; из нижних чинов люди дают эту присягу при священниках и судьях светских, а знатные – при синодальных членах и архиереях. В домах господских церквей строить не позволять; в монастырях церквам быть одной соборной, другой – теплой, третьей – больничной, чтобы больше служб не было, а прочие церкви оставить разве для праздников годовых. При этом новгородский

архиерей Феодосий предлагал, что больше трех церквей не нужно, потому что иконостасы, церковные уборы и кровли тратятся. Больных солдат, которые посланы будут в монастыри, причитать вместо убылых старцев и содержать их в монастырях, а кто в монастырях жить не захочет, тем корму не давать. Меншиков заметил, что этого нельзя сделать, потому что многие больные имеют жен. В этом же заседании определено было принять энергические меры для поддержания православия в польских областях, именно Феодосий новгородский предложил об утеснениях православным в Могилеве; Петр отвечал, что надобно туда определить комиссара для наблюдения, и если гонение не уймется, то с гонителями надобно управиться, как пристойно; в то место, где православные, послать резидента, который должен купить двор и построить для православных церковь. Постановлено также: в монастырях и церквях надгробные камни опустить в землю и надписать наверху их, кто погребен, и который камень останется, употребить на мощение и починку церквей. В монастырях женских сделать госпитали и перевести женские монастыри туда, где каменные ограды. Тут же Синод предложил: раскольникам носить платье, как и бородачам, старинное, кроме красных цветов, потому что при том Платье для признаку раскольники должны носить красные козыри. Государь согласился на это предложение.

При самом учреждении своем Синод должен был заниматься известным нам делом о разводе Салтыковых, делом новым и трудным. По поводу этого дела Феодосий новгородский писал императрице Екатерине: «Всенижайше доношу вашему величеству о деле г. Салтыкова с женою его, которые хотят, чтоб дело по их желанию было сделано, а виноватого б не было, к тому ж и чести своей очень берегут и один другому не уступает; когда она подала челобитну на мужа в Синод, тогда его в С.-Петербурге не было, а когда он прибыл, тогда она из С.-Петербурга провалилась, а он без нее не хочет против ее челобитья ответствовать, отчего немалая в Синоде трудность. И ежели впредь так будут поступать, то нам нечем будет и начать. Не изволите ли, ваше величество, уведомиться чрез царевну герцогиню курляндскую о ее, Салтыковой, от мужа в Митаве побоях, такожде и у доктора ее высочества, который ежели ее, Салтыкову, после тех побоев пользовал лекарствами; секретарю вашего величества взять бы сказку за рукою оного доктора, которая бы нам к решению дела много помогла, понеже побоев смертных и несмертных никто так тонко не может рассуждать, как доктора. Сие написав, ежели что непристойное, всенижайше прошу прощения». В этом любопытном письме вскрываются причины той медленности, какую отличалось тогда наше судопроизводство. Отец Салтыковой, князь Григорий Федорович Долгорукий, также в письме к императрице указывает на другие причины медленности: «Всем обидимым милостивая мать! Известно вашему величеству, какие дочь моя от мужа своего нестерпимые обиды и смертные побои терпела и совсем ограблена и ныне без всякого милостивого страждет рассуждения, что еще по се время не только правого решения и ни начала по неусыпному моему прошению в ее известном деле нет, когда многие противные сильные особы людей в пользу его просят и принуждают, а моего никакого истинного прощения принять не хотят и к себе ни с какою истиною меня не допускают; того ради помянутый зять мой к Москве и по деревням всегда ездит и донныне гуляет и веселится и мне ругается, и я с моею фамилиею в слезах, едва жив, обретаюсь, что по се время ни в которой коллегии ни единого моего правого дела окончить, ни правым, ни виноватым

учинить не хотят, токмо бесстыдно все продолжают до того времени, чтоб я отсюда по-прежнему отъехал».

Главными обязанностями новоучрежденного Синода, по мысли учредителя, были: устройство духовенства, преимущественно черного, противодействие расколу, преследование суеверий и распространение религиозно-нравственного просвещения в народе.

Мы видели, что древняя Россия передала новой монашество в самом неудовлетворительном положении, резко засвидетельствованном церковным и гражданским правительствами. Меры, принятые преобразователем для исправления зла, не имели успеха, только ярче выказали зло; они возбудили сильную вражду к преобразователю, который, разумеется, отвечал тем же чувством. От 1722 года осталось написанное рукою Петра толкование заповедей; на одной стороне написаны заповеди, на другой – какие грехи противны тому. Против 1-й заповеди написано: «Идолопоклонники и атеисты». Против 2-й: «Кто страха божия не имеет и все почитает легко, другие – от незнания учения». Против 3-й – Те ж, о которых во втором пункте писано, и презорцы и ленивые. Против 4-й – То ж, что во 2-м и 3-м. 5-й – Разбойники и им подобные, 6-й – Есть от тех же страха божия неимущих, есть от нужды, есть от великого вожделения, 7-й – Тати. 8-й – Бездушники. 9-й – Ябедники, 10-й – «Они ж. Описав все грехи против заповедей, един токмо нахожу грех лицемерия или ханжества необретающийся, чего для? Того ради, понеже заповеди суть разны и преступления разны против каждой, сей же грех все вышеписанные в себе содержит. Против первой грех есть атеизм (атеизм), которое в ханжах есть фундаментом, ибо первое их дело – сказывать видения, повеления от бога и чудеса все вымышленные; и когда сами они вымыслили, то ведают уже, что не бог то делал, но они; какая же вера в оных, а когда оной нет, то суть истинные атеисты. Против второй страха божия неимущие, понеже когда лгут на бога, какой уже страх божий в них обрестися может? Против третьей: сия равна второй, к тому ж прилагается: святые его, сиречь молися; молитва же от ханжей приятна ли богу, которая во лживых чудесах и фарисейских местах и атеистовскою совестью исполнена. Против четвертой: может быть, что натуральных отцов некоторые и почитают (но сие на удачу), но пастырей, иже суть вторые по натуральных отцы от бога определены, как почитают? Когда первое их мастерство в том, чтобы по последней мере их обмануть, а вяще тщатся бедство им приключить подчиненных пастырей оболганием у вышних, и вышних всеянием в народ хульных про оных слов, подвизая их к бунту, как многих головы на кольях свидетельствуют. Против пятой: который на свете разбойник только может людей погубить, как заводчик бунта, и все то чинят образом святыни, под видом агнца, прикрытые его кожей. На шестую: как бы мог муж незнакомого человека к жене допустить, и особливо бодрого и хорошего, а ханжу, еще и под руку приняв, отведет для благословения и пророчества, и, провожая назад, руки выцелует, и наклоняется, считая за великую себе добродетель (что такого адского сына в свояки себе принял). На седьмую: не токмо одною рукой, но духом и обоими все крадут. На восьмую: в сем их и мастерство состоит, как выше писано. На девятую и десятую: сие все без разбору, понеже чем бы им питаться как следует? Скажут, что явилась икона где в лесу или на ином месте и явление было, чтоб на том месте монастырь сделать или пустыню, а монастырю без деревень быть нельзя, как недавно такое дело было в

Преображенском, что два крестьянина пришли и сказали такое явление, чтоб построить монастырь и господина их деревню тут отдать. И тако сей грех все в себе содержит, а из грехов прочих не каждый может, например коли б разбойник стал ханжить, кто б его в артель принял? Когда б из шумниц (пьяниц) кто пришел на кабак святым образом и не стал бы пить и шалить с ними, все б от него побежали; когда б охотник молодой до Венуса пришел бы в компанию девиц в ханжеском образе, то ни у одной бы дружбы не сыскал. Когда б тать так себя учинил, товарищей бы не нашел, понеже чаяли б, что их искушает. Наконец, Христос Спаситель ничего апостолам своим бояться не велел, а сего весьма велел: блюдитесь, рече, от кваса фарисейского, еже есть лицемерие».

Петр велел доставить точные ведомости о числе монахов и монахинь и обдумывал меры, как бы ограничить число их и оставшимся дать достойную деятельность. Оказалось во всех епархиях монахов 14534 человека, монахинь – 10673, всего – 25207. В ноябре 1722 года была конференция у сенаторов с синодальными членами о прокормлении отставных офицеров и солдат в монастырях; архиепископ новгородский говорил, что их довольствовать в Синоде не из чего; господа Сенат рассуждали, чтоб их довольствовать из выбылых монашеских окладов и из сбора с раскольников; синодальные члены говорили, что эти сборы определены уже на канцелярских служителей; определили доложить государю. Тут же Феодосий новгородский поднял вопрос: следует ли постригать молодых людей в монахи? Когда эти мнения были доложены государю, то в январе 1723 года издан был указ: «Впредь отнюдь никого не постригать, и, сколько из обретающегося ныне числа оных монахов и монахинь будет убывать, о том в Синод репортовать повсемесечно, и на те убылые места определять отставных солдат».

По возвращении из Персидского похода Петр прилежнее занялся делом о монашестве. Основная мысль уже высказалась в январе 1723 года в указе о московском Чудове монастыре: «Иметь монахов таких, которые достойны б были к произведению на начальства духовные, а которые тамо суть под стеною токмо стоящие, тех в иные переводить монастыри, в которых монахи своими питаются трудами». Наконец, после многократных *черчений* (исправлений) первоначальной записки Петр так высказал взгляд свой на монашество и его происхождение: «Монашество явилось, во-первых, от людей, уединения по совести желающих, и без всякой страсти или мнения, якобы невозможно в мире спастись, но ради токмо природной к тому склонности; другие мучителей и гонителей ради укрывались и невольны, хотя соблюсти душу свою. Монастыри же в тех же пустынях имели и таким же правилом, яко и уединенные, жили, не требуя прочих трудами туне насыщаться. Когда греческие императоры некоторые, покинув свое звание, ханжить начали и паче их жены, тогда некоторые плуты к оным подошли и монастыри уже в самых городах строить испросили и денежные помочи требовали; еще же горше, яко не трудиться, но трудами других туне питаться восхотели, к чему императоры весьма склонны явились и великую часть погибели самим себе и народу стяжали, на одном канале от Черного моря даже до Царя-города на 30 верстах с 300 монастырей было, и так как от прочего неосмотрения, так и от сего в такое бедство пришли: когда турки осадили Царьгород, ниже 6000 человек воинов сыскать могли. Сия гангрена и у нас зело было распространяться начала под защищением единовластников церковных, но

еще господь бог прежних владетелей так благодати своей не лишил, как греческих, которые (т.е. русские) в умеренности оных держали. Могут ли у нас монахи имя свое делом исполнить? Но сего весьма климат северные наша страна не допускает, и без трудов своих или чужих весьма пропитаться не могут. Нужда в нынешнем монашестве имеется трех ради вин: 1) ради удовольствования прямою совестью оное желающих; 2) для архиерейства, понеже не позволено быти кроме монахов, хотя прежде с 300 лет по Христе не монахи были и многие чудеса на соборах явили; 3) примера ради апостола Павла, который хотя обрезание и отрешил всячески, но ученика своего Тимофея обрезал иудей ради». В январе 1724 года дан именной указ Синоду: «Хотя в регламенте духовном о монахах уже изъяснено и како оных содержать определено, но кратко, понеже тогда аще и о всем его исправлении была нужда, но вящая была верховной архиерейской власти, которую примером папы римского, противно повеления божия, распространять некоторые тщились, в чем великую тягость истины желатели в сем понесли исправлении и с помощью божиею исправили, определили и постановили. Ныне же, имея свободное время, при расположении правильно всех дел в государстве, и о сем чине пространно объявляя людям, також расположить и установить должно есть для пользы вечной и временной людям и изрядства обществу. Надлежит искать способы, каким бы образом иной путь, пред богом угодный и пред людьми непостыдный и неблаженный, был, понеже нынешнее житие монахов точию вид есть и понос от иных законов, немало же и зла происходит, понеже большая часть тунеядцы суть и понеже корень всему злу – праздность, то сколько забабонов (суеверий), расколов и возмутителей произошло, всем ведомо есть; також у нас, почитай, все из поселян, то, что оные оставили, явно есть: не точию не отреклись, но приреклись доброму и довольному житию, ибо дома был троеданник, т. е. дому своему, государству и помещику, а в монахах все готовое, а где и сами трудятся, то токмо вольные поселяне суть, ибо только одну долю от трех против поселян работают. Прилежат ли же разумению божественного писания и учения? Всячески нет. А что говорят: молятся, то и все молятся, и сию отговорку отвергает Василий св. Что же прибыль обществу от сего? Воистину токмо старая пословица: ни богу, ни людям, понеже большая часть бегут от податей и от лености, дабы даром хлеб есть. Находится же оный способ жития праздным сим не праздный, но богоугодный и неззорной, еже служить прямым нищим, престарелыми младенцам». Вследствие этого определяется две цели для монашества: 1) служение страждущему человечеству; 2) образование из себя властей церковных. Распределяются по монастырям отставные солдаты и другие нищие, которым монахи должны прислуживать; монахини также должны служить престарелым и больным своего пола, кроме того, заниматься воспитанием сирот, для чего отделяется несколько монастырей, остальные занимаются рукоделием, а монахи – хлебопашеством. Для приготовления же ученых монахов должны быть учреждены две семинарии: в Петербурге и Москве.

Мы видели, что для призрения подкидываемых младенцев Петр велел в 1715 году построить гошпитали – в Москве мазанки, а в других городах – деревянные. Число младенцев возрастало год от году все более и более; в 1724 году в одной Московской губернской канцелярии их находилось 865 человек, 396 мужского и 469 женского пола разного возраста, от полугода и меньше до 8 лет;

издерживалось на них 4731 рубль, считая на человека по 5 рублей 15 алтын и 5 денег на год. При них находилось 218 кормилиц, из которых каждой шло на год по 3 рубля денег и по 3 четверти хлеба. Канцелярия доносила, что кормилицы и младенцы живут по разным местам, потому что указных госпиталей не построено, и, быть может, вместо незаконных умерших младенцев подставлены законные, чего усмотреть нельзя, ибо никакого признака нет; на валовых смотрах двое младенцев, украденные кормилицами, были узнаны отцом да матерью, а несколько других младенцев усмотрено у родных матерей на указном корму. Теперь для воспитания подкинутых младенцев в Москве назначены были монастыри. В мае 1724 года капитан гвардии Баскаков получил указ: взяв доходы монастырские, разделить следующим образом: 1) чиновным монастырским; 2) на церковные потребности; 3) прочее разделить на трое: две доли – больным, треть – служащим монахам; 4) на деньги, которые больным определены, делать и содержать постели, белье и прочее по регламенту о гошпиталях; 5) в сиротских монастырях первый и второй пункт равно содержать с прочими; 6) служащих монахинь також с прочими; 7) а о младенцах малых, средних и до семи лет порядок содержать по своему произволению, применяясь по-домашнему, однакож лишнее надобно, дабы белье и чистота хорошая была; 9) також, чтоб когда пять лет минет, учили грамоте из монахинь; 10) в выведенном монастыре сделать школу, где обучать арифметикой геометрии; 11) монастыри для больных, старых и увечных – Вознесенский и Чудов; для сирот – Новодевичий; для школ, который определяют от Синода. Относительно сиротского Новодевичьего монастыря Баскаков распорядился таким образом: здесь было 36 полугодовых младенцев, на каждого шло по 2 рубля денег в год; к ним было приставлено 18 кормилиц, получавших по 3 рубля и по 5 четвертей хлеба в год. 36 годовым младенцам шло каждому по 2 рубля денег и по полторы четверти хлеба; к ним было приставлено 18 монахинь, каждой шло по 6 рублей и по 5 четвертей. То же содержание получали и двухлетние младенцы. Трехлетние и четырехлетние получали по 3 рубля и по 2 четверти, к ним приставлены были монахини, к троим – по одной и получали по 6 рублей и по 5 четвертей. Пятилетние получали то же содержание, но к ним приставлено было по одной монахине к четверым. Шестилетние получали по 3 рубля 50 копеек и по 2 четверти с осьмушкою хлеба; для обучения их грамоте приставлено было шесть монахинь. В мае 1724 года Синод получил указ: «Святейший Синод деньги, собираемые за штраф с раскольников, без указа нашего ни на какие расходы не держите, понеже оные нужны ныне для строения в монастырях и на учение сирот, пока вся экономия ваша окончится». Но так как воспитательные дома могли быть устроены не во всех монастырях, то положено было учить монахинь прядильному мастерству; в 1722 году в синодскую канцелярию прислано было с прядильного двора в Покровском 50 мастериц и прялей с инструментами для рассылки по женским монастырям, где они должны были учить монахинь своему искусству. По этому случаю Сенат предложил Синоду, чтоб не подчинять всех монахинь этим бабами девкам, посланным с прядильного двора, потому что есть старицы из знатных, также престарелые.

Относительно белого духовенства дело было труднее: здесь имелось дело не с людьми, которые бежали от труда и нужды в жизнь более спокойную и привольную; здесь нужно было позаботиться об улучшении материального быта, а где было взять для этого средств при тогдашнем финансовом состоянии? Мы

видели, что прежде для улучшения положения священников старались ограничить число их при церквах и освободить их от обязанности покупать себе дома; теперь, последнее распоряжение было распространено на дьяконов и причетников, которые, подобно священникам, должны были жить в домах, купленных и поддерживаемых на сборные церковные деньги; но этих средств было мало. В ноябре 1722 года в соединенной конференции сенаторы вместе с членами Синода рассуждали о мерах более действительных и ничего не могли придумать. Решили, как обыкновенно решалось тогда в трудных случаях, узнать, как делается в других странах; в протоколе записали: «О определении при церквах священником и церковным служителем трактаменту рассуждено: выписав из прав других христианских народов, и предложить впредь к рассуждению общему». Пока продолжали старое, запретили строить новые церкви без указа из Синода: «Понеже всякому здраворассудному известно, какое то небрежение славе божией в лишних церквах и множестве попов». Доход приходских священников уменьшался тем, что богатые люди имели своих священников при домовых церквах. Относительно этих так называемых крестовых священников предполагалась такая мера: «О священниках крестовых учинить бы предел, кому держать, кому не держать, понеже от оных многое бесчиние и унять их невозможно. И ежели кому позволится крестового попа держать, дабы тот хозяин повинен был приходским своим священникам дать такой же трактамент, какой оному крестовому на год даван будет, а за всякое его бесчиние обязан бы был ответствовать. А ежели никому не позволится (т.е. иметь крестовых попов), штрафовать бы оных волочащих попов чем тяжким, хотя на время и до каторжной работы, дабы прочие страх имели и без отпусков своих архиереев не волочились. На заставах заказать бы накрепко, дабы попов и чернецов, хотя и начальных, которые не позваны будут и от своих архиереев не явят пропусков, к С.-Петербургу не пропускать, такожде и нищих волочаг, понеже и от тех немалое злое в людех бывает»ю

Нужда заставляла и лучших людей решаться на поступки, незаконность которых они ясно сознавали. В 1722 году, в бытность Синода в Москве, церкви Девяти Мучеников священник Михаил Тимофеев подал повинное доношение, что в 719 году, находясь у дел в тиунской палате, трудился он неусыпно два года без всякого вознаграждения и, не получая от церкви и от треб дохода, пришел в крайнюю нищету и вынужден был для прокормления себя и домашних своих принимать от челобитчиков добровольные приношения деньгами, съестными припасами и напитками. Состоя ныне при инквизиторских делах и желая снять с себя всякое подозрение, он представил список всем принятым подаркам и просил по случаю заключения мира с Швециею прощения вины своей. Синод, как видно, был затруднен этим повинным доношением, и только в половине 1725 года состоялось определение: истязания чинить ему не надлежит; но токмо вместо истязания от инквизиторства его отрешить и впредь к делам не определять, но токмо быть ему у церкви Девяти Мучеников по-прежнему, а вышеописанными взятками впредь его никому не порочить и тех взяток (97 рублей, 3 червонца да припасов на 196 рублей 93 копейки), буде о том ни от кого челобитной не будет, не взыскивать.

Мы видели, что прежде Петр распорядился обучением детей белого духовенства, *кто пожелает* , в школах заранее, чтоб были годны в попы. Но в

описываемое время он признавал за нужное не ограничиваться желающими; в 1723 году издан был указ: «Поповских, дьяконских и причетнических детей набирать в школы всех тех, которые учиться могут, и, которые в учении быть не похотят, тех имать в школы и неволею и учить их в надежде священства». Петр не был того мнения, что в войске могут быть священники, способные только исправлять требы, и в 1723 году писал в Синод, чтоб в полки определять священников из ученых в школах. Об отношении сельских священников к крестьянам Сенат в общем заседании с Синодом постановил, чтоб в праздничные дни прихожане приходили в церковь поочередно и домов своих пустыми не оставляли; если крестьянин в чем-нибудь ослушается священника, то последний, прежде чем писать об этом архиерею, должен объявить своим церковникам и старостам, чтоб крестьянину, по письму одного священника, в город волокиты не было. Обратили внимание и на вдовых священников и дьяконов, которым запрещено было вступать во вторичный брак без выхода из духовного звания; в апреле 1724 года Петр указал: вдовых попов и дьяконов, которые учились в школах и могут послужить в проповеди слова божия, обнадежить, что ежели они вступят в второбрачие, то могут быть при архиереях в учителях и у дел в духовных советах и управлениях.

Прежде Петр требовал от паствы соблюдения благочиния в церквах, безмолвного стояния во время божественной службы; теперь обратился к пастырям и в 1723 году указал именным указом всем архиереям и прочим духовным властям от Синода объявить, чтоб они в св. церквах во время божественного чтения и пения никаких челобитчиков ни с какими челобитьями, также приказных людей ни с какими докладами, кроме государственных великих и коснения не терпящих дел, отнюдь к себе не допускали и сами никого для таких дел не призывали, но упражнялись бы в богомыслии и молитвах и тем подавали бы приходящим на молитву людям образ благоговейного в церквах стояния. В церквах во время литургии доброхотные подаяния велено собирать в два кошелька: один – для церковных потреб, другой – на гошпиталь.

Как с учреждением Сената соединено было учреждение фискалов, так при учреждении Синода установлена была должность протоинквизитора, или главного фискала, по делам духовного ведомства, который обязан был выбирать провинциал-инквизиторов; должность их главным образом состояла в наблюдении, чтоб каждый чин исполнял свои обязанности, и в донесении о преступлениях.

Разумеется, прежде всего инквизиторы должны были наблюдать за раскольниками. Первым делом новоучрежденного Синода было издание пастырского увещания к раскольникам. Тогда же Синод объявил, чтоб все раскольнические учителя являлись для споров с Синодом свободно, без всякой боязни, наблюдая только должную учтивость в спорах, что никто из них не будет задержан, если даже и не согласится с Синодом; но если кто не явится в назначенный срок, тот подвергается гражданскому суду и казни. Но в январе 1725 года в увещании к православным против распространителей раскола Синод жалуется, что по этому приглашению никто из раскольнических учителей не явился на споры: «Когда их прежде взыскивано неволею к суду и наказанию за хуления их на церковь Божию и за развращение простого народа, тогда они клеветы в народе пускали сицевые: несправедно страждем за древнее благочестие,

гонение терпим и казни приемлем, понеже не хотяще послушать нашего оправдания и доводов, которые имамы от божественного писания осуждают нас в ссылки, во узы, в темницы и на смерть. А ныне, когда их призывано волею на любовный и безопасный честный разговор, не изволили явиться: кая тому причина? Не иная, токмо неправота их».

Кроме приглашения раскольнических учителей к спорам, Синод объявил: «Всяк, кто бы ни был, ежели в книгах, прежде печатанных, также и которые впредь с рассуждения и определения синодального будут печатаны, покажется ему какое-нибудь сомнение, приходил бы с объявлением этого сомнения в святейший правительствующий Синод без всякого подозрения и опасения, и ему сие сомнение разрешено будет от св. писания». В этом объявлении Синод, между прочим, говорит о раскольниках: «Показалось им что-нибудь за истинное, хотя и весьма ложное и непотребное, они в своем мнении и закрепили». Против этого места на поле Петр написал собственноручно: «И в том до смерти стоят и в мученичество себе вменяют, из которых один пример объявим zde: в 1701 году вор Талицкой ради возмущения людей писал письма, будто антихрист уже пришел, которому его учению последовал некто шорник Иван Савин и в том со удивлением, какие муки терпел, не внимая никакого от духовных наставления, за которое злодеяние и на смерть осужены, что все с радостию принял. Но когда во время казни копчением Талицкой, не стерпя того, покался и снят с оногo, то, видя оногo, Савин спросил караульщиков, для чего оногo сняли, от которых уведал, что повинился, тогда просил и о себе, которогo также сняли, и желал видеть его, и когда допущенный спросил его, впрямь ли он повинился и для чего. Тогда Талицкой все подробно сказал, что все то ложь, чему учил; а в какую горесть при сем тот Савин и с какими слезами раскаивался и пенял на Талицкова, для чего в такую беду его привел, что он ни для чего, только вменяя то за истину, страдать рад был».

Раскольнические учителя не являлись в Синод для споров о вере, а между тем не переставали распространять свое учение; Синод начал требовать сильных мер. В 1722 году в общей конференции Синода с Сенатом в Москве архиепископ Феодосий новгородский говорил, что многие раскольники по окладу денег не платят, на Бутырках жители мало не все раскольники и посланным для платежа денег не дают и грозят побить, хотя бы к ним и офицера послали. В докладных пунктах своих государю Синод говорил: «Для поимки раскольнических учителей, которые, хотя тайно по домам, а кой-где имели и долговременное пребывание, размножают раскольническую прелесть и отвращают простонародье от церкви, очень потребен, кажется, такой указ, чтоб людям, посылаемым от духовного правительства для поимки этих учителей, оказываемо было беспрепятственно послушание и светские управители не требовали бы при этом от своих командиров указа. И если в поимке этих лжеучителей (что до исправления души надлежит) такой вольности Синоду дано не будет, то не только неудобно будет их сыскать и искоренить, но еще более под укрывательством и защитою без боязни приумножаться и многих к своей прелести привлекать могут, что будет святой церкви крайне вредно, ибо по ведомостям из Москвы раскольники так умножились, что в некоторых приходах никого, кроме них нет, и все по записке под двойным окладом значатся в раскольниках. В отыскании лжеучителей светские управители духовным не только не помогают, но и препятствуют: так,

взяниковский судья Опрянин прислал подьячего с приставами и силою взял из-за решетки к себе на двор явившегося в расколе подьячего Лютова, которого держали у духовных дел под караулом, и на указ, присланный из приказа Церковных дел, Опрянин не дал никакого отзыва. Петр отвечал на доклад: „Брать таких, кто от Синода где к тому определен будет без всякого препятствия и светским начальникам, в том им вспомогать, и кто преслушает сего, будет штрафован, яко преслушатель указа; но дабы для какой страсти духовные приставники не затевали на кого напрасно, того для повинен духовный приставник, взяв такова, немало держав, привести сам к светскому начальнику, где он, приведенный, ведался, или начальнику того места, ежели далеко тот, где оной ведом; тогда светский начальник должен его освидетельствовать того ж дни, и, буде увидит, что раскольник, отдать духовному приставнику; буде же увидит, что в нем того нет, то и такого отдать ему, но притом сказать, что он будет о том писать в Синод и Сенат, и, отдав, писать немедленно, и когда такой репорт получают, тогда в Синоде при двух членах сенатских то исследовать и решить, чего будет кто достоин“.

Известный нам Питирим нижегородский продолжал свою деятельность против раскольников. В июле 1722 года он уведомлял Петра, что двое раскольнических учителей, старец Никон и старец Пахомий, обратились к св. церкви и он, с целию обратить и других, снова поставил их правителями над их согласиями на Керженце. Тогда же вместе с приятелем своим Ржевским он писал Петру, что по указу велено раскольникам быть на каторге, пока обратятся, а когда обратятся, тогда их для определения отсылать в Синод, а в Сибирь их посылать не велено. Несмотря на то, явился в Нижний из Петербурга капитан с каторжными колодниками, которых велено ему отвезти в Сибирь. «Уведомились мы, – пишет Питирим, – что посланы с ним раскольники необратившиеся, в том числе Василий Власов, злой раскола заводчик и учитель, которому не только в ссылке, но и на сем свете, по мнению нашему, быть не надлежит; также многие раскольники, опасные и неопасные, бегут и селятся в сибирских же городах, и ежели этим каторжным раскольникам позволено будет быть в тех городах и дастся им воля, то они, собравшись с беглыми раскольниками, могут произвести немалые пакости к возмущению народному». Петр отвечал указом Сенату: «Впредь раскольников отнюдь в Сибирь посылать не велите, ибо там и без них раскольников много, а велите их посылать в Рогервик».

А раскольники все ждали антихриста. В марте 1722 года в Пензе на базаре монах взобрался на крышу лавки, поднял клобук на палке и начал кричать, что Петр – антихрист, будет всех печатать и только тем, кто запечатан, будет давать хлеб. То был страдавший падучею болезнию, полупомешанный монах Варлаам, в миру драгунский капитан Василий Левин. В Тайной канцелярии Левин оговорил многих, в том числе и митрополита Стефана Яворского, то винился, то снова повторял прежнее. Его казнили смертью в Москве. В 1723 году раскольники ходили по деревням и учили: «Как то ныне минуло два года, праздновали две недели (Ништадтский мир), и был по всем церквам звон во весь день от утра и до вечера, и в то время антихрист садился на престол, и поделаны в Москве Красные ворота, только наши староверы в те ворота не ездят. Пройдет еще семь лет, и антихрист явится и выдаст *70 колырств* ». Относительно ожидания антихриста один из самых любопытных эпизодов в истории раскола представляет жизнь

монаха Самуила. «Было благочестие, а ныне отпало, как и Рим; царь Петр – антихрист, потому что владеет сам один, и патриарха нет, а то его печатать, что бороды брить, и у драгунов раскаты». Так говорил монах Савва в Тамбове дьячку Степану; тот испугался и перестал ходить в церковь. Пошел к духовнику, а духовник, как нарочно, стал рассказывать: «Как мы бывали на Воронеже в певчих и певали пред государем и при компании, проклинали изменников кое-каких, и дошел разговор до Талицкого, и государь говорит: „Такой он вор Талицкий: уж и я антихрист! О, господи! Уж и я антихрист пред тобой!“ И мы, то слыша, думали: к чему он это говорит – бог знает». А у дьячка Степана от этих слов духовника сомнение все более и более усиливалось, и начал он убеждаться, что царь Петр – прямой антихрист; да и в Кирилловой старопечатной книге написано, что во имя Симона Петра имать сести гордый князь мира сего, антихрист. Степан решился постричься. Разговорился с одною женщиной, а та рассказывает, что родственники ее были в Суздале, где содержалась царица, и царица говорила людям: «Держите веру христианскую, это не мой царь, иной выше». Степан постригся от живой жены в тамбовском Трегуляевском монастыре и назван был Самуилом. Ему говорили, что первое гонение будет на монастыри. «Нет нужды, – отвечал он, – уйду тогда в горы». В Трегуляевском монастыре Самуил сходитя с другим монахом, Филаретом, и тот рассказывает: теперь над нами царствует не наш государь, царь Петр Алексеевич, а Лефортов сын; царь Алексей Михайлович говорил жене своей: если сына не родишь, то разлюблю тебя; она родила дочь, а у Лефорта в это время родился сын; царица из страха и разменялась. Приехал в Трегуляевский монастырь дядя Самуила, монах Никодим из мигулинского Троицкого монастыря, инквизитор; племянник рассказал ему о своих сомнениях относительно антихриста. «Нет, не антихрист, – отвечал дядя, – а разве предтеча». С другой стороны шел слух, что нижегородские раскольники называют антихристом архиерея своего, Питирима, за его преследование старой веры. Скоро потом забрали всех монахов Трегуляевского монастыря в Воронеж по какому-то делу; там Самуил написал письмо, что Петр – антихрист, и подбросил на неизвестный двор. Монахов отпустили; на дороге из Воронежа, в селе Избердее, Самуил встретился с сыном боярским Лежневым, который говорил: «Носится слух, что наш государь пошел в Стекольную и там его посадили в заточенье, а это не наш государь». А Самуил думал: антихрист! Пришел указ не читать книгу Ефремову и соборник, пришел духовный регламент; явно, что царствует антихрист, отводит от монашества, надобно бежать в пустыню! Самуил бежал, но его поймали, отослали снова в Трегуляевский монастырь и посадили на цепь. Сидя на цепи, он тосковал, что царствует антихрист, не хотел кланяться игумену: как мне ему кланяться? Он слуга антихристов. Наконец Самуилу удалось уйти в степь, а оттуда пробраться к козакам, и где найдет какого бурлака, простого человека, внушает, что царствует антихрист; нашел попа, который на ектениях поминал вместо императора «имперетерь» и объяснял: «имперетерь», потому что людей перетерли. В это время в Самуиле благодаря его впечатлительной натуре произошла перемена: попались ему в руки книги, распространявшиеся правительством против раскола, сомнения его рассеялись, и он, возвратясь в свой монастырь, начал проповедовать православие. Но тут новое искушение: его взяли из Трегуляевского монастыря и отвезли в московский Богоявленский, откуда он должен был посещать училище. Самуил был не прочь почитать книги и подумать

над прочитанным, но в годах уже не детских учиться грамматике было ему тяжело; не явится на урок – ждут плети от префекта. Он снова стал раздражаться против нового порядка и его виновника, хотя уже и не считал его более антихристом. А тут еще сильное искушение: пришло известие, что жена вышла замуж за другого; с одной стороны, мысль, что она совершила, по апостолу, прелюбодеяние по его вине, но кто виноват в этой вине? Тот же Петр, потому что и жена хотела постричься, но ей не велели; с другой стороны, ревность: Самуил не мог быть равнодушен при мысли, что жена его принадлежит другому. А товарищ монах Петр все бранит духовный регламент, все поджигает этою бранью Самуила; наконец тот не вытерпел и начал писать на бумажках ругательства против императора. Одну такую бумажку нашли, и Самуила взяли в Тайную канцелярию; он оправдывался, что писал не для того, чтоб распространять в народе, а для покою в совести, но ему не верили и казнили смертью.

Случаи самосожжения повторялись: узнали, что в Ишимской волости находятся раскольники, и туда отправился полковник Парфеньев для увещания и обращения, а если не обратятся, то для взятия двойного оклада; но раскольники в двух пустынях сами себя сожгли. Спокойно держали себя выговцы; с ними случилось любопытное происшествие: подъячий Саблин подделал указ, уполномочивавший его взять деньги с Выговской пустыни; но там были люди опытные, распознали, что указ фальшивый, и представили Саблина на Петровские заводы.

Такие явления встречались между раскольниками, державшимися, по их словам, старой веры, т.е. старых книг; но мы видели уже другие явления – ереси. Знаменитый еретик лекарь Дмитрий Тверитинов раскаялся в своем заточении и в 1722 году просил, чтоб ему дали духовника; но то направление ереси, какое мы видели у него, не ослабевало. В 1724 году ходил какой-то Алексей Попов и учил: доведется молиться на небо духом и истиною, таковых поклонников бог принимает, а иконам поклоняться не достоин: иконы – дело рук человеческих; в Москве явился человек многолетний – не Иоанн ли Богослов явился? В последнем времени явятся Иоанн Богослов, и Илия, и Енох; как император ходил в низовый поход, сказывают, что в полках явился великим возрастом человек и называли его богатырем – не Енох ли явился? В следующем году был сыскан в Астрахани еретик Артемий Иванов, который говорил, что сын божий на кресте распят не был, но был вместо его пророк Евсевий, называл иконы идолами, поклоняющихся им – идолопоклонниками, церковь – вертепом разбойников и таинства церкви уничтожал.

Раскол, отпадение от церкви имел и у нас, в России, такие же последствия, как и в других странах. Раз высвободившись от авторитета церкви, раскольники разделились на многообразные толки, и это разделение, усиливаясь с течением времени все более и более, не знало границ. Протестантского влияния отрицать нельзя: оно явственно, например, в Тверитинове; но и без протестантского влияния дело шло дальше и дальше известным покатым путем. Смута, множество толков, невозможность добраться до истины посредством людей усиливали стремление ограничиваться одним св. писанием, но и писание толковалось различно; чтоб уйти от этих толков, начали стремиться войти в непосредственное сношение с духовным миром, с божеством, начали с того, что стали ждать появления людей, долженствующих быть вестниками великого переворота,

который уничтожит смуту и водворит царство истины; вместе с появлением антихриста ждали появления Иоанна Богослова, Еноха, Илии; кончили тем, что стали приводить себя в напряженное, неестественное состояние, думая, что в этом состоянии отрешаются от земного и получают наитие свыше, дар пророчества; в мужчинах, наиболее способных к этим упражнениям, стали видеть христов, в женщинах – богородиц; еще один шаг – и Христос исторический исчезал, и каждый посредством известных упражнений, приводящих в восторженное состояние, мог стать Христом. Средства приводить себя в такое восторженное состояние с религиозной целью одинаковы во все времена, у всех народов, у шаманов и дервишей, у финских волхвов, о которых рассказывает древняя русская летопись, у трясущихся мужиков и баб, о которых упоминается в Стоглаве, и в западноевропейских сектах. Производить крайние русские секты XVIII века, и теперь существующие, развившиеся из религиозного движения XVII века, которое мы называем расколом, производить их от старинных богомилов точно так же ошибочно, как производить их от квакеров, и точно так же будет натяжкой производить западных альбигойцев от тех же богомилов. Но мы возвратимся к этому предмету, когда надобно будет описывать вскрытие означенных сект перед правительством и обществом.

Борясь с расколом, Синод не упускал из внимания протестантов и католиков. Так, он прислал ведение в Сенат по поводу доношений Иоакима, епископа астраханского, который писал, что в 1718 году приехал в Астрахань через Персию римской веры патер Антоний, который в 1721 году построил близ православной церкви кирху с главою и крестом; спрошенный епископом, отвечал, что построил церковь по приказу губернатора Волынского; в 1720 году лютеранский пастор Яган Сикилис построил близ православной церкви свою церковь и поставил на ней четвероконечный крест, а в 1721 году от живого мужа жену православной веры обвенчал с драгуном лютеранской веры; следовало по этому делу допросить пастора, но нельзя ничего сделать из страха перед губернатором Волынским, который запретил духовного приказа судье делать что-либо без его повеления. Синод в своем ведении изъявил желание, чтоб впредь Волынский в духовные дела не вступался. Сенат послал Волынскому указ не вступаться в духовные дела и потребовал ответа по обвинениям. В конце 1723 года издан был любопытный указ, чтоб католики, живущие в Петербурге, требовали пасторов только из французов: предпочтение, оказанное галликанской церкви, как более свободно относящейся к папе, понятно; кроме того, побуждением могли служить и дружественные отношения к Франции.

Вместе с уничтожением раскола обязанностью Синода было по духовному регламенту уничтожение суеверий. Как везде, так и тут преобразователь хотел действовать объяснениями и наставлениями. Из дома секретаря Монастырского приказа Макара Беляева был взят в Синод серебряный ковчег с изображением мученика Христофора; в ковчеге хранились мощи, которые по освидетельствовании оказались слоновою костью. Император велел перелить ковчег в какой-нибудь церковный сосуд, а слоновою костью положить в синодальную кунст-камеру и написать на нее трактат с таким объявлением, что прежде, когда духовных инквизиций не было, употреблялись такие и тому подобные суперстиции (суеверия), которые и от приходящих в Россию греков производились, что ныне синодальным тщанием уже истребляется. В 1723 году

св. Синод приговорил: сочинить увещание с таким рассуждением, что годового артуса и богоявленской воды хранение для благочестия не нужно, ибо благословенные хлебы можно получать на каждой литургии и вода освящается часто; в строении золотых и серебряных на иконы окладов, подсвечников и лампад особенного славе божией и благочестию приплода никакого нет, а вместо этих незавещанных, но самопроизвольных строений из монастырской и церковной казны должно усердно иметь попечение о строении странноприимниц. Велено было отобрать в церковную казну привески у образов и употреблять их на церковные потребности. Часовни были разоряемы, крестные ходы отменены. Излишняя ревность возбуждала ропот в людях и несуеверных, боявшихся переступления должных границ в стремлении очищать общество от суеверий. Сенат счел своею обязанностию вмешаться в дело в отсутствие государя. В июле 1722 года господа Сенат призвали синодального обер-секретаря и говорили ему, что от разоренных часовен разбросаны кресты и главы и валяются без призора, отчего происходит большой соблазн; также и крестных ходов отменять не следует; если синодальным персонам ходить самим нет времени, то можно определить кого-нибудь из свободных.

Мера преследования юродивых могла найти полное оправдание в следующем случае. В 1723 году по доношению коломенского инквизитора в Синод был представлен юродивый Василий Босой. Выслушав расспросные речи, Синод приговорил отослать его в Юстиц-коллегию, ибо юродивый показал, что юродствовал притворно, в городе Белёве убил священника за то, что тот не хотел его исповедовать; в Орле столкнул с моста младенца за то, что тот дразнил его; в вотчине Ромодановских, в селе Просвирякове, волшебством разлучил крестьянина с женою; ходя по селам, девичья полу людей волшебством превратил на растление человек с двадцать; будучи в Калуге, волшебству научил десять человек; чтоб не чувствовать холода, ходя зимою в одной рубашке, босиком, весною рвал малую крапиву, потом в горшке без воды выжимал сок и мазался, учил двоеперстному сложению. Демонов имел у себя в услужении; водяным демонам давал всякий скот по их требованию: когда погонят скот поить, и в то время отдавал им в воду, а воздушные бесы ему безо всякого прекословия послушны, не уговариваясь, тогда как водяные без уговору, без подачи ничего не делают, а главный над всеми бесами – сатана Миха; из Калуги в Киев он, юродивый, был принесен демонскою силою в семь часов.

Подобные явления могли ослабляться возможным распространением религиозно-нравственного просвещения в народе. Мы видели, что по духовному регламенту возлагалась на Синод обязанность сочинить три необходимые для народа книги. Феофан Прокопович сочинил букварь, вышедший под заглавием «Первое учение отроком». В предисловии говорится: «Понеже мнози, у нас чин отеческий имущии, и сами мало что знают о законе божии, настала нужда общая сочинить книжицу с толкованием десятословия законного, от бога преданного; но и сие еще немного пользовало, ибо в России были таковые книжицы, но понеже славянским высоким диалектом, а не просторечием написаны, того ради лишались доселе отроцы подобающего себе воспитания. Видя убо толикую в народе своем тщету, всероссийский монарх, император и государь наш всемилостивейший Петр Великий и, яко отец Отечества, поболев сердцем о таком несчастьи подданных своих, начал прилежно рассуждать, как уставить в России действительное и

необходимое правило отроческого воспитания. И вдохнул ему бог по его желанию таковой премудрый совет повелеть сочинить книжицу с ясным толкованием закона божия, и символа веры, и молитвы господней, и девяти блаженств и напечатать оную с букварем, дабы отроцы, читать учащиеся по буквах и слогах, во утверждение чтения своего не псалмов и молитв, но сего толкования училися. А по сем уже, в вере и законе божии наставленни, могли бы с пользою учить псалмы и молитвы. И се повелением его императорского величества и напечатана таковая книжица, по которой учимии отроцы могут познати волю Божию и страха господня от младых ногтей научиться». Сохранилась маленькая собственноручная записка Петра: «Чтоб мужикам сделать какой маленькой регул и читать по церквам для вразумления». В феврале 1723 года Синод распорядился: вместо прежнего чтения книг Ефрема Сирина, сборника, и других читать в великий пост по церквам буквари с толкованием заповедей божиих, распределяя их умеренно, чтоб приходящие в церковь и готовящиеся к исповеди и причастию св. таин, слыша заповеди божии и толкования их и осмотрясь в своей совести, лучше могли к истинному покаянию себя приготовить. В апреле 1724 года Петр прислал в Синод указ: «Святейший Синод! Понеже разговорами я давно побуждал, а ныне письменно, дабы краткие поучения людям сделать (понеже ученых проповедников зело мало имеем), также сделать книгу, где б изъяснить, что непременный закон божий, и что советы, и что предания отеческие, и что вещи средние, и что только для чину и обряду сделано, и что непременное, и что по времени и случаю переменилось, дабы знать могли, что в каковой силе иметь. О первых кажется мне, что просто написать тако, чтоб и поселянин знал, или на два: поселянам простые, а в городах покрасивее для сладости слышащих, как вам удобнее покажется, в которых бы наставления, что есть прямой путь спасения, истолкован был, а особливо веру, надежду и любовь (ибо о первой и последней зело мало знают и не прямо что знают, а о средней и не слышали); понеже всю надежду кладут на пение церковное, пост и поклоны и прочее тому подобное, в них же строение церквей, свечи и ладан. О страдании Христовом толкуют только за один первородный грех, а спасение делами своими получать, как выше писано». Еще прежде Петр велел собрать римский, лютеранский и кальвинский катехизисы и прочие церковных действий книги и, переведши на славянский язык, для знания и ведения напечатать.

От преобразовательного движения в Великой России обратимся к таким же движениям в Малой. Мы видели положение Малороссии перед окончанием Северной войны, положение, вызывавшее постоянно вмешательство царского правительства, заставлявшее его усиливать свои средства для сохранения общих государственных интересов. Ништадтский мир позволял действовать решительнее. В начале 1722 года, когда новый император торжествовал этот мир в Москве, приехал туда и гетман Скоропадский с поздравлениями; его приняли почетно, но этим все и ограничилось. 29 апреля состоялся указ: для прекращения возникшего в малороссийских судах и войске беспорядка велено быть при гетмане бригадиру Вельяминову и шести штаб-офицерам из украинских гарнизонов на основании договоров, постановленных с прежними гетманами: Таким образом, один чиновник, находившийся при гетмане, заменен коллегиею. На жалобу Скоропадского, что пункты Хмельницкого этим уничтожаются, Петр отвечал собственноручно: «Вместо того как постановлено Хмельницким, чтоб верхней

апелляции быть у воевод великороссийских, она (т.е. коллегия) учреждена, и тако ничего нарушения постановленным пунктам с Хмельницким не мнить, но будет сие для исполнения по оным». В мае обнародован был манифест об учреждении Малороссийской коллегии под председательством бригадира Вельяминова; обязанности новой коллегии были обозначены так: 1) надзирать за скорым и беспристрастным производством дел во всех присутственных местах и обиженным оказывать законное удовлетворение. 2) Иметь верную ведомость о денежных, хлебных и других сборах и принимать их от малороссийских урядников и войтов. 3) Производить из этих денег жалованье с гетманского совета сердюкам и компанейцам, иметь приходные и расходные книги и ежегодно представлять их прокурору в Сенат. 4) Препятствовать с гетманского также совета генеральным старшинам и полковникам изнурять работами козаков и посполитых людей. 5) Смотреть, чтоб драгунам отводимы были квартиры без всякого исключения, даже в гетманских поместьях, кроме двора, где он живет, также дворов старшин, священно- и церковнослужителей. 6) Рассматривать вместе с полковыми командирами имеющиеся поступать жалобы от нижних чинов и малороссиян. 7) Наблюдать, чтоб присылаемые к гетману указы от государя и Сената были записываемы в генеральной канцелярии и в свое время доставлялись рапорты; также препятствовать писарям гетманским подписывать вместо его универсалы и отправлять их из коллегии.

С таким подарком Скоропадский отправился домой. В июле в отсутствие государя Сенат был встревожен известием, что гетман 3-го числа умер. Немедленно приговорили: Малую Россию до избрания другого гетмана ведать и всем управлять полковнику черниговскому Полуботку вместе с генеральною старшиною, только во всех делах и советах и посылках универсалов иметь сношение с бригадиром Вельяминовым и о том послать им грамоту. К бригадиру Вельяминову послать указ с нарочным курьером, написать, чтоб ехал в Глухов как можно скорее по почте и, приехавши туда, смотрел накрепко, чтоб при этой вакансии как в старшине, так и в прочих не было никаких противностей и народ к тому побуждаем не был; смотреть, чтоб без его ведома никаких универсалов и писем о делах не посылали, о том проведывать ему тайно. К генералу князю Трубецкому, киевскому губернатору, послать указ, чтоб ехал как можно скорее по почте в Киев, смотрел и проведывал тайно, чтоб заграничных и внутренних никаких тайных пересылок и факций не было и не произошло бы смятений, особенно чтоб не было пересылок от запорожцев, Орлика, от прочих изменников и из Крыму, чтоб не только старые заставы хорошо содержаны, но и новые прибавлены были. О том же послать указ и к командующему войсками генералу Вейсбаху. В Сенате беспокоились, не полагаясь на Полуботка; обер-прокурор Скорняков-Писарев писал Макарову: «Изволишь старание приложить, чтоб кого в Малороссию его величество приказал отправить для правления гетманского из знатных, понеже от Полуботка правлению надлежащему быть я не надеюсь, ибо он совести худой». Между тем двое знатных войсковых товарищей отправились к Петру в Астрахань с просьбою о позволении избрать нового гетмана; сенаторы написали к находившемуся при императоре графу Петру Андреевичу Толстому, что они, с общего совета, отпустили малороссийских посланцев в Астрахань, ибо, не отпустивши их, можно возбудить сомнение относительно исполнения просьбы; астраханскому губернатору писано, чтоб задержал их в Астрахани, и если

государь прикажет отпустить их назад, то не прикажет ли объявить им, что дело о избрании нового гетмана отлагает до своего возвращения из похода. «И таким образом, – писали сенаторы, – никакого сомнения им не будет, и может то тако до воли его императорского величества остаться. А что мы бригадиру Вельяминову обще с старшиною подписываться не велели и то учинили для того, чтоб сначала сею новостию их не потревожить, и о том просим указу». Согласно с мнением сенаторов, Петр отвечал, что прошение малороссиян исполнится, когда он возвратится из похода. Но до этого возвращения две власти, стоявшие друг подле друга в Малороссии, успели перессориться. В октябре Полуботок с товарищами прислал в Сенат жалобу на Малороссийскую коллегия, которая мимо старшины, не сносясь и не советуясь с нею, посылает полковникам указы, требуя известий, сколько в котором полку маетностей, мельниц и других угодий; назначено также послать в полки десять офицеров Глуховского гарнизона – неизвестно зачем. Из войсковой канцелярии коллегия требует выписок, универсалов, розысков, купчих и других документов по делам тех челобитчиков, которые приходят с жалобами в коллегия, чего войсковая канцелярия давать не может, потому что такого обыкновения в ней никогда не бывало и канцеляристов немного. Коллегия для сборных денег требует особливых еще счетчиков, чего нет в монаршей инструкции. Коллегия о самых малых делах присылает указы старшине именем его императорского величества, требует ответов и исполнения, чего они исполнять не могут при вседневных трудностях в управлении дел малороссийских. Вельяминов с своей стороны жаловался, что старшина плохо исполняет императорские указы и словесно объявляет, что они не в команде Малороссийской коллегии. Старшины прислали жалобу на имя императора: «Ваше величество указали в Малороссии быть коллегии для высшей апелляции, а Малороссийская коллегия принимает на свой суд такие дела, которые в полковых и генеральных судах наших не бывали, и посылает солдат за обжалованными знатными людьми и старшиною и решает дела по своему усмотрению, вследствие чего судьбы наши скоро останутся без дела. Нас велено изъять из ведения Иностранной коллегии и подчинить Сенату; а Малороссийская коллегия указы вашего величества ежедневно к нам присылает, приказывает всякий день исполнять и подавать себе обо всем доношения, как своим подчиненным».

Сенат, рассмотрев все эти жалобы, постановил: по частным делам Вельяминову ведомостей и копий из канцелярии не требовать, а когда у старшины будут советы о важных делах, то в них участвовать одному Вельяминову и брать с сентенций и универсалов копии, а коллегии в те дела не метаться. Коллегии принимать дела только по апелляции. Указов старшине не посылать, а сноситься промемориями с учтивостью, а с угрозами отнюдь не писать; если же окажут сопротивление, то писать об этом в Сенат. С требованиями известий о маетностях, мельницах и прочем к полковникам не посылать иначе как с совета старшины.

Старшина, поблагодарив за такое определение отношений в ее пользу, прислала доношение, что теперь стало известно, зачем коллегия посылала офицеров в полки: посланы они были с указами во всенародное объявление, чтоб всякий обиженный являлся с жалобой прямо в Глухов в коллегия, не опасаясь своей старшины, и дело его будет немедленно решено; чернь от этого взволновалась и не только перестала слушаться старшины и владельцев своих, но подняла старые дела, давно решенные как со владельцами и старшиною, так и

между собою, встали друг на друга и прямо отправились в коллегия. Те же офицеры всюду ревизовали мельницы, бани, пасеки и прочее, и эта ревизия привела людей в сомнение. Но Вельяминов дал знать, что старшина, не объявляя ему, учредила в Глухове собственный суд, кроме генерального; в этом новом суде судьи будут из полковых старшин по три человека, с тем чтоб жить им в Глухове по месяцу, переменяясь. Вельяминов писал, что в Малороссийской коллегии приняты челобитные только на старшину, на судью, писаря и есаула, потому что в генеральный суд на них бить челом нельзя: сами они здесь присутствуют. В ответ на это Сенат постановил в феврале 1723 года: если у генеральной старшины будут какие советы о важных делах без сообщения Вельяминову, то бригадир должен иметь всякий происк или приласкать тайно особых людей и, разведав, обличить старшину и в то же время писать в Сенат, только смотреть, чтоб народа малороссийского чем не озлобить. Если кто будет бить челом на судей, то эти дела судить другим, причем судьям, на которых будет подано челобитье, не быть; а если кто будет бить челом на весь суд в неправом решении, в таком случае дело переносится в Малороссийскую коллегия. Как только в Малороссии прослышали, что император на возвратном пути в Москву, пошла от старшин грамота к Меншикову с просьбою ходатайствовать об указе для избрания гетмана, а когда узнали, что Петр уже в Москве, то в январе 1723 года прислали самому императору грамоту, в которой просили исполнить обещание, данное в походе, позволить избрание гетмана. Не получивши ответа, в мае-месяце послали новую просьбу в Петербург о том же: «Прислать в Малую Россию монарший свой указ, дабы, против прав данных и обыкновения в войске малороссийском, вольными голосами избран был гетман без продолжения, понеже без гетмана впредь во всяких делах управляться с великою есть нуждою и трудностию». К этой просьбе прибавлены были еще другие: о выборе полковников из малороссиян на давно упраздненные места в Стародубе, Переяславле и Полтаве, об облегчении малороссиян относительно вывода беглых, войсковых постоев и отправления козацких отрядов на канальную (Ладожскую) работу и к крепости Св. Креста. Но в 1722 году Стародубский полк бил челом государю, чтоб пожаловал полковника «из великороссийских персон, именно стольника Федора Протасьева или кого иного, боящегося бога и их вольностей хранительного мужа», потому что от прежнего своего полковника Жураковского полк испытал страшные притеснения. Вследствие этого Петр велел определить в малороссийские города великороссиян, но сначала под именем комендантов для приготовления к перемене. В начале 1723 года Петр дал Сенату указ: «Объявить козакам и прочим служилым малороссиянам, что в малороссийские полки по их желанию определяются полковники из русских, и притом же объявить, что ежели от тех русских полковников будут им какие обиды, то мимо всех доносили бы его величеству, а посылаемым в полковники инструкции сочинять из артикулов воинских, дабы никаких обид под смертною казнию никому не чинили». В инструкции, данной полковнику Кокошкину, назначенному в Стародубский полк, говорилось: «Так как обыватели малороссийского Стародубского полка несносные обиды и разорение терпели от полковника Журавки и для того били челом, чтоб дать им полковника великороссийского, поэтому в незабытной памяти иметь ему, Кокошкину, эту инструкцию, рассуждая, для чего он послан, а именно чтоб малороссийский народ был свободен от тягостей, которыми угнетали его старшины. Препрежие

полковники и старшина грабили подчиненных своих, отнимали грунты, леса, мельницы, отягощали сбором питейных и съестных припасов и работали при постройке своих домов, также козаков принуждали из козацкой службы идти к себе в подданство, то ему, Кокошкину, надобно этого бояться как огня и пропитание иметь только с полковых маетностей. Прежние тянули дела в судах, а ему надобно быть праведным, нелицемерным и безволокиным судьей. Надобно удаляться ему от обычной прежних правителей гордости и суровости, поступать с полчанами ласково и снисходительно. Если же он инструкции не исполнит и станет жить по примеру прежних черкасских полковников, то он и за малое преступление будет непременно казнен смертию, как преслушатель указа, нарушитель правды и разоритель государства». Кроме определения великороссийских полковников, Сенат еще в заседании 22 октября 1722 года определил писать особливо и секретно Вельяминову, чтоб он по возможности побуждал малороссиян просить, чтоб у них суд был по уложению и по правам его величества.

Таким образом, смерть Скоропадского повела в Малороссии к столкновению двух стремлений: стремления правительства императорского воспользоваться разницей между старшиною с остальным народонаселением и приравнять Малороссию к Великой России и стремления старшины удержать старый порядок вместе с гетманством. Искателями последнего были двое полковников: один миргородский, Данила Апостол, который понимал, где сила, и хотел получить гетманство посредством императора; в марте 1723 года он писал Петру: «Вашему императорскому величеству не безызвестно есть, что я службу вашего императорского величества произвожу, яко полковник, тому уже больше сорока лет без всякого порока, чего ради, видя, ваше императорское величество, мою верную службу, многажды от вашего величества высочайшим милостивым словом призрен был, а понеже ныне в Малороссии гетмана не обретается, а старее меня из малороссийских полковников никого нет – да повелит ваше державство меня, нижайшего вашего раба, пожаловать за мою верную службу в Малороссии гетманом на место умершего гетмана Скоропадского, за которую вашего императорского величества высочайшую милость должен всегда в службе вашего императорского величества за ваше величество кровь свою проливать». В то же время Апостол отправил письмо к Меншикову с просьбою ходатайствовать перед императором о том же; с Меншиковым у Апостола была постоянная переписка, в которой полковник не щадил лести перед светлейшим князем.

Апостол выставял свою старую службу; но виднее его был полковник черниговский Павел Полуботок, энергию которого в отстаивании независимости Малороссии противопоставляли уже давно слабости Скоропадского. Апостол хотел получить гетманство через императора; Полуботок, уже управлявший Малороссиею в отсутствие, а теперь по смерти Скоропадского, составлял себе партию между знатью, интересы которой, в ущерб низшему народонаселению, он хотел поддержать во что бы то ни стало. В конце 1722 года Полуботок и генеральная старшина предложили Вельяминову разослать по всей Малороссии универсалы в таком смысле: известно-де им учинилось, что посполство, подданные легкомысленные, показывая самовольство, не хотят владельцам своим оказывать надлежащего послушания: так, если где-нибудь обнаружится от них сопротивление, то виновных сажать в тюрьмы и по рассмотрению вины публично

наказывать нещадно. Вельяминов отвечал, что не согласен на рассылку таких универсалов, потому что на их основании начальные люди станут и без всякой вины притеснять посполство, как прежде было. Вельяминов предлагал, что если крестьяне где-нибудь окажут сопротивление владельцам, то прежде освидетельствовать дело и по освидетельствовании положить наказание, а всем без повода объявлять такой страх не нужно. Но Полуботок с товарищами не послушались и разослали универсалы, какие хотели, тогда как рассылка универсалов без согласия Вельяминова была запрещена в указе.

Петр был не охотник до ослушания указов; время было показать, что указ императора или правительствующего Сената должен иметь и в Малороссии такую же силу, как в Великой России; наконец, важно было при тогдашних обстоятельствах удалить из Малороссии самых строптивых и ненадежных людей. Полуботок вместе с генеральным писарем Савичем и генеральным судьей Чернышом были потребованы в Петербург к ответу. В то же время послан был указ Малороссийской коллегии: доходы денежные и хлебные собирать в казну урядникам и войтам малороссийского народа и принимать у них в коллегии определенным для того людям; из этих сборных денег жалованье давать по пунктам Богдана Хмельницкого, а чтобы сборщики поступали справедливо и от отписей ничего не брали, то по тем же пунктам Хмельницкого определить надзирателями в каждый полк по одному человеку из отставных унтер-офицеров добрых, которые даны будут из Военной коллегии. Сборы, которые прежде взимались в Малороссии на гетмана, полковников, сотников и прочую старшину с козаков убогих и посполитых людей, а старшина, знатные козаки, войсковые товарищи, монастыри и церкви не платили, – эти сборы взимать со всех ровно, от вышних и до нижних чинов, не исключая никого. Посполитые люди бьют челом, чтоб им быть в козацкой службе по-прежнему, потому что деды их и отцы, а некоторые и сами прежде служили в козаках много лет, а старшины и другие владельцы взяли их, некоторых и поневоле, к себе в подданство: для подлинной справки по таким челобитным взять из войсковой канцелярии с прежних и нынешних козацких реестров списки, и если по справке окажется, что деды и отцы челобитчиков точно были в козаках, то и их писать в козаки; если же прежних давних реестров не сыщется, в таком случае свидетельствовать малороссийскими жителями и, по свидетельству, писать в козаки.

Чем решительнее действовал Петр в пользу посполства, тем сильнее должно было становиться желание знати иметь гетмана, в котором надеялись найти опору против ненавистной коллегии и ее президента, тем сильнее становились просьбы, докуки, интриги для достижения этой цели. В мае 1723 года старшина снова била челом о позволении избрать гетмана, обратилась и к императрице Екатерине с просьбою явить к ним свое патронство, чтобы государь повелел избрать гетмана вольными голосами из малороссиян. На это Петр отвечал указом в июне 1723 года: «Как всем известно, что со времен первого гетмана Богдана Хмельницкого, даже до Скоропадского, все гетманы явились изменниками и какое бедствие терпело от того наше государство, особливо Малая Россия, как еще свежая память есть о Мазепе, то и надлежит приискать в гетманы весьма верного и известного человека, о чем и имеем мы непрестанное старание; а пока оный найдется, для пользы вашего края определено правительство, которому велено действовать по данной инструкции; и так до гетманского избрания не будет в делах остановки,

почему о сем деле докучать не надлежит». Этот указ замечателен тем, что государь объявил о своем старании сыскать достойного человека в гетманы, следовательно, во всяком случае гетман будет назначен, а не избран.

Полуботок, Савич и Черныш, приехавши в Петербург, подали императору челобитную о содержании Малороссии при прежних правах. Но Малороссия двоилась, и скоро явились в Петербурге козаки Сухота и Ламака, присланные от Стародубовского полка, да священник любецкий и подали государю челобитную, в которой жаловались на обиды старшин и просили великороссийских полковников и великороссийского суда. По словам Полуботка с товарищами, Сухота и Ламака и священник были подосланы Малороссийскою коллегией. Получивши эту челобитную, Петр отправил в Малороссию доверенного человека, Румянцева, для осмотра городов, а под тем предлогом велел ему осведомиться: 1) коллегии и судов великороссийских все ли малороссияне желают? 2) Полковников русских все ли хотят? 3) О челобитной, которая от старшины подана, ведают ли старшина и козаки? 4) От постоев ли драгунских или от притеснений владельцев и старшины люди расходятся? 5) Какие починены обиды от старшины козакам в отнятии земель и мельниц?

Но Полуботок, Савич и Черныш не дремали. Они подкупили сенатских подьячих, а те сообщили им инструкцию Румянцева. Тогда они отправили в Малороссию наказ малороссийским правителям, как действовать, а именно внушать народу, чтоб на спрос Румянцева все единогласно отвечали требованием сохранения старины и никто бы не отвечал в смысле челобитной, привезенной Сухотою и Ламакою; для этого полковники должны были предложить полковой старшине, сотникам, чтоб они вознаградили обиженных ими для предупреждения жалоб Румянцеву, чтоб все ему отвечали: «Кто был обижен, тот уже получил вознаграждение, а если вперед будут обиды, то могут и у своего суда удовлетворение получить»; представить Румянцеву письма, присланные полковниками в генеральную канцелярию, что народ расходится от драгунских постоев. Также должны были объявить Румянцеву, что Ламака с Сухотою и поп любецкий не сами собою в Петербург приехали и челобитную не сами сочинили, но сочинена она в Малороссийской коллегии и переписана малороссийским письмом; подписались под нею дьячки и другие люди, державшиеся в коллегии за преступления, и с этою челобитною Ламаку, Сухоту и попу прислал бригадир Вельяминов на ямских подводах, давши им на прогоны и на проезд деньги. С таким наказом отправлен был в Малороссию человек Полуботка, Лагович, который должен был словесно приказать сыну Полуботка, Андрею, отцовским именем призвать к себе сотника любецкого и обнадежить его, что старик Полуботок по возвращении из Петербурга даст ему полное удовлетворение, если только он не допустит до челобитья людей своей сотни, да и сам не будет бить челом на него, Полуботка.

Но не хотели довольствоваться одною борьбой с Малороссийскою коллегией в Малороссии, написали две челобитные и отправили с ними в Петербург канцеляриста Ивана Романовича. 10 ноября 1723 года, когда Петр выходил из церкви св. Троицы, Романович подал ему челобитные. Государь пошел в светлицы (дом, называемый Четыре Фрегата) и там распечатал полученные бумаги, а между тем Полуботок, Савич и Черныш вместе со многими другими малороссиянами стояли у дома, дожидаясь, что скажет им Петр по выходе. Но они не дождались

его: найдя в бумагах «неосновательные и противные прошения», государь велел взять за арест Романовича, старшину и всех малороссиян, бывших в Петербурге, и захватить их бумаги, как находившиеся при них в Петербурге, так и в домах их в Малороссии, что должен был сделать Румянцев. В этих бумагах найдена была черновая промемория отправлявшемуся в Малороссию посланцу насчет ответов Румянцеву. 15 декабря старшине был сделан допрос: «От кого уведомились вы о посылке г. Румянцева в Малороссию и о содержании его комиссии? В вашей промемории написано: „Предложить господам правителям, что если они претерпели и претерпевают поношения и укоризны от бригадира Вельяминова, то писали бы жалобу в Сенат – так советуют лица высокие; кто эти люди?“ Старшина отвечала: „Промемория сочинена по общему их совету и согласию старшим канцеляристом Николаем Ханенком; узнали они через румянцевского бандуриста, что Румянцев посылается для розыску о коллегии, хотят ли ее и полковников русских, а Петр Андреевич Толстой с приезду их в августе-месяце объявлял, что для розыску в обидах и взятках пошлетя в Малую Россию особа. О совете высоких особ канцелярист написал сам, а не по их приказу“.

Но потом старшина объявила, что узнала о поездке Румянцева не от бандуриста, а от подкупленных ею подьячих, вследствие чего Петр в январе 1724 года дал указ господам Сенату: «Самим вам ведомо, что секретные дела вынесены от подьячих черкасам, и зело удивительно, что как ординарные, так и секретные дела в Сенате по повытьям: того ради, получа сие, учините по примеру Иностранной коллегии, чтоб секретные дела были особливо у надежных людей, что впредь такого скарעדства не учинилось». Между тем Румянцев дал знать из Малороссии, что, согласно инструкции из Петербурга, от старшины из генеральной канцелярии разосланы по городам внушительные письма; дал знать, что в Малороссии известно о тайных делах, делавшихся в Петербурге, что в захваченных им бумагах мало сыскано относящегося к делу. Петр отвечал ему: «Которые (люди) из канцелярии писали пункты по городам научительные и прочие к тому делу, кто в важности явился, пришли сюды немедленно, также и писаря Валкевича, а на их место выберете добрых людей, которые к нынешнему их делу не приставали и желали быть коллегии. Что же пишешь, что они про все дела, которые тайно деланы, ведают, и то здесь сыскано таким образом: когда взяты за арест, то найдены в письмах их копии, о которых сказали, что давали им подьячие из Сената, которых нашлось трое и винулись. Что же в цыдуле пишешь, что мало сыскалось, и то, конечно, утаено, понеже в черных их письмах найдено, что они писали в дома свои, чтоб убирались: того ради можете постращать домашних их; також надлежит публиковать, кто их пожитки скажет, дать довольную часть из оных; какое доношение Валкевич подал на Полуботка и прочих, такие сысканы здесь в черных их письмах; прочее чините по указу, а что сделали, тем мы довольны. Оставьте место нарочитое уряда Даниле Забеле, который прежде доносил на старшину, которое тогда не поверено, а ныне все сбылось, и оный впредь отправится на Украину по окончании розыску». Через несколько дней другое письмо: «В прошлом году писал сюда черниговский архиерей к псковскому архиерею, что в доме у него Борковский говорил при свидетелях о переписках от Полуботка с Орликом, и по тому письму послан был указ к губернатору киевскому из Тайной канцелярии, дабы розыскал о том, и оный губернатор прислал сюды розыск, в котором не найдено конца, а может быть, что

и есть подлинно известие о том деле, да за страхом от Полуботка не объявляют правды, а понеже он, Полуботок, и прочие ныне здесь явились в великих преступлениях, того для по приложенной при сем росписи збери тех людей, которые в розыску были, и обнадежь их, чтоб они безо всякой опасности ехали сюды для обличения Полуботка, и отправь их сюды не за арестом, но токмо с офицером для провожания»

Дело Полуботка с товарищами отдано было в Вышний суд. Прежде всего они были спрошены, зачем без согласия Вельяминова разослали универсалы устрашительные для простого народа. Они отвечали, что от самого Вельяминова запрещения не слыхали, и в свою очередь жаловались на бригадира, что он послал во все полки с офицерами универсал, чтоб подданные своих владельцев и старшин ни в чем не боялись, шли бы с челобитьем на них в коллегия, и по тем универсалам от подданных начались к владельцам и старшинам противности: владельца Забелу побили и волосы выдрали, старосту села Погребков били смертным боем. Второе обвинение: когда у них бывают советы о важных делах, тогда они должны давать знать Вельяминову, которому надобно присутствовать при таких советах, но они ему об них не объявляли. На это был уклончивый ответ, что важные дела случаются у них не часто. Третье обвинение: кроме генерального суда в Глухове собственный суд учредили, не объявив об этом Вельяминову. На это отвечали, что объявляли, и он сказал «хорошо». Но по следствию в Малороссии оказалось, что челобитная, поданная Полуботком, Савичем и Чернышом от имени всего малороссийского народа, этому народу неизвестна, что Полуботок с товарищами принудил некоторую старшину, бывшую в Глухове, приложить руки к белому листу, на котором после написал челобитную, чтоб Малороссийской коллегии не быть, а вместо нее быть генеральному суду из семи особ. Полуботок с товарищами объясняли дело так, что первая челобитная написана была у них в Глухове малороссийским письмом, к которой и руки были приложены, а на бланкете прикладывали руки для того, чтоб челобитную переписать письмом великорусским, что и было сделано ими по приезде в Петербург; но они признались, что внесли в челобитную без ведома рукоприкладывателей пункт о генеральном суде из семи особ. Всех полков полковая старшина, сотники, бунчуковые товарищи и от каждого полка по несколько сот козачков единогласно отвечали перед Румянцевым и засвидетельствовали протестациями за своими руками, что они об этой челобитной не знают, а подавали челобитные о сбавке с них положенных сборов. На очной ставке с Лаговичем Полуботок, Савич и Черныш признались, что давали ему упомянутую выше инструкцию. Старосенжаровские жители показали на сотника своего Выблого, что он уговаривал их требовать единогласно отмены Малороссийской коллегии и сборов. Узнано было, что когда в Малороссии узнали об аресте Полуботка, то домовая его служанка Марья сожгла его письма, что отставной кат (палач) Игнатов вместе со вдовою Натальею Кривкою ворожили, чтоб быть Полуботку гетманом, что по приказанию Полуботка убита была краморка Марья Матвеиха; кат Игнатов объявил, что Полуботок приказывал ему убить значкового козака Загоровского и других людей, чтоб на него не доносили; стародубские мещане подали жалобу на Полуботка, что пограбил у них деньги. Попался и Апостол: наказной полковник Шемет не давал жалованья козакам, бывшим в Персидском походе и оставленным за болезнями в Терском городке; на

эти деньги куплены были для Апостола верблюдов и пять лошадей. Петру дали знать также, что Полуботок с товарищами посылал письмо в Запорожье; это особенно было для него важно, что видно из письма его к Румянцеву от 14 марта 1724 года: «Потщитесь послать кого в Запорожье (а лучше б из таких, которые гораздо озлоблены от старшин), дабы то письмо достать, которое писала старшин к ним, и денег можете за то употребить до 5000 из взятых старшинских, и, чаю, за сию сумму сие получить можно». Русский резидент в Константинополе Неплюев доносил: «Из Крыма приехал французский консул, который сказывал мне в секрете, что этим годом в разные времена приезжали из Украины от некоторых козацких командиров, которых татары зовут барабашами, люди к татарскому главному мурзе Жантемир-бею с жалобами, что у них все прежние привилегии отняты, о чем они били челом в Петербурге, но ничего не успели; поэтому они, украинские жители, желают поддаться под турецкую протекцию, но без помощи турецкой сделать того не могут, потому что на Украине у них русского войска много. Мурза советовал хану Сайдет-Гирею вступить в эти козацкие Дела, но хан не согласился, во-первых, потому, что Порта строго наказала ему сохранять дружбу с Россиею, а, во-вторых, особенно потому, что он человек миролюбивый. Петр сам должен был присутствовать в Вышнем суде, потому что Черныш подговорил камергера Чевкина ходатайствовать за них перед императрицею; Чевкин советовал поднести Екатерине в подарок 500 червонцев, завернувши их в бумажку или спрятавши в стакане. Полуботок умер в крепости; судьбу товарищей его увидим в следующее царствование.

В другой стране козаков, на Дону, старые формы быта мирно уступали место новым отношениям к государству, непреборимое могущество которого было сознано после неудачи Булавинского бунта. Еще в ноябре 1716 года атаман Максим Фролов писал князю Меншикову: «Пожалуй, государь мой и батко, светлейший князь Александр Данилович, подай руку помощи заступи великому государю о самых моих нынешних крайних нуждах, дабы мне быть в Войску Донском войсковым атаманом по вся годы без перемены за мою службу и за старость имянным его величества государя указом на письме, такожде как и бывший войсковой атаман Петр Емельянов был пожалован; а ныне я выбран войсковым атаманом с общего войскового согласия». В 1722 году атаман Василий Фролов, брат Максима, прислал в Москву сына и племянника «ради изучения в школе книг латинского и немецкого писания и других политических наук». Василий Фролов умер в следующем году; на его место выбрали Ивана Матвеева; но комиссия, назначенная для разбора турецких жалоб на козацкие разбои, приговорила его к уплате денег за разбитые им турецкие арбы. На Дон пришел императорский указ, что поэтому Матвеев не может быть атаманом, а назначается атаманом впредь до указа из старшин Андрей Иванов Лопатин. Козаки отвечали, что Лопатин «удовольствован, войсковым атаманством почтен».

На Востоке инородцы продолжали волноваться. Мы видели, что в 1720 году для успокоения башкирцев и вывода от них пленных отправлен был Сенатом полковник граф Головкин. Весною 1722 года он возвратился, привез чертеж Башкирской земли и объявил, что выслал беглых с 7 июня 1720 по 1 марта 1722 года 4965 семей, а людей обоего пола – 19815. Но в 1724 году опять началось бегство к башкирцам, которые выходили против сыщиков боем. Отправлен был новокрещенин тайно, будто беглый, разведать, что делается у башкирцев.

Башкирцы приняли его и сказали: «Для чего тебе жить в Казанском уезде: будет скоро война с Русью, и будет война не такая, что прежде была; снами будут сибирские и яицкие козаки». Приходили известия, что новокрещены чистят копья и стрелы точат, ясачные татары отказывались платить подушное и давать рекрут. У башкирцев было собрание в Уфимском уезде, на озере Берсебен; приехал батырь Алдарко с 700 человек, приехал сын изменника Сеитка, бежавший в 1707 году к киргизам, с ним приехало киргиз 500 человек; собирались башкирцы и татары отовсюду на это озеро, хотели осадить Уфу, потому что на Уфе трое судей, а они требовали, чтоб оставлен был один, а двоих отдать им, прибыльщики им не надобны.

Но при этих беспокойствах со стороны степной Азии внимание Петра не переставало обращаться на самую отдаленную азиатскую границу, к берегам Восточного океана: здесь нужно было удовлетворить требованию науки, выставленному Лейбницем, узнать, соединяется ли Азия с Америкою. 2 января 1719 года написана была инструкция геодезистам из навигаторов Ивану Евреинову и Федору Лужину: «Ехать вам до Тобольска и от Тобольска, взяв провожатых, ехать до Камчатки и далее, куды вам указано, и описать тамошние места, сошлася ль Америка с Азиєю, что надлежит зело тщательно сделать». Евреинов и Лужин не узнали, сошлася ли Америка с Азией, они только доставили Петру карту Курильских островов в 1722 году. Петр, разумеется, не удовлетворился этим и в 1725 году написал инструкцию капитану Берингу: «1) Надлежит на Камчатке или в другом там месте сделать один или два бота с палубами. 2) На оных ботах (плыть) возле земли, которая идет на норд, и по чаянию (понеже оной конца не знают) кажется, что та земля – часть Америки. 3) И для того искать, где она сошлася с Америкою (с Азиєю), и чтоб доехать до какого города европейских владений и самим побывать на берегу, и взять подлинную ведомость, и, поставя на карту, приезжать сюды».

Такова была новая странная империя, на западе прислонившаяся к Балтийскому морю, а на восточных границах своих решавшая вопрос: соединяется ли Азия с Америкою? Но немало людей в России и за границею должна была занимать мысль о будущем этой империи, мысль о том, кто будет преемником великого человека, давшего новое значение своему народу. Старший сын был принесен в жертву этому новому значению; младший, царевич Петр, на котором сосредоточились надежды отца, скоро потом умер; оставался внук, сын Алексея, Петр; но о характере этого шестилетнего ребенка нельзя было сделать никакого удовлетворительного вывода, как нельзя было сделать его и впоследствии; притом объявить маленького Петра наследником престола значило возбудить надежды людей, жалевших об отце его как представителе известного порядка вещей, возбудить опасение людей, которые высказались против Алексея, а на этих-то людей император всего более рассчитывал для поддержания своего дела. В начале 1722 года, во время торжеств Ништадтского мира, происходивших в древней столице, Петр издал устав о наследии престола: «Понеже всем ведомо есть, какую авессаломскою злостию надмен был сын наш Алексей и что не раскаянием его оное намерение, но милостию божиею всему нашего отечеству пресеклось, а сие не для чего иного у него взросло, токмо от обычая старого, что большому сыну наследство давали, к тому ж один он тогда мужеска пола нашей фамилии был, и для того ни на какое отеческое наказание смотреть не хотел. Сей

недобрый обычай не знаю чего для так был затвержден, ибо не точию в людях по рассуждению умных родителей бывали отмены, но и в св. писании видим; еще ж и в наших предках оное видим (пример Иоанна III). В таком же рассуждении в прошлом, 1714 году, милосердую мы о наших подданных, что партикулярные их дома не приходили от недостойных наследников в разорение, хотя и учинили мы устав, чтоб недвижимое имение отдавать одному сыну, однакож отдали то в волю родительскую, которому сыну похотят отдать, усмотря достойного, хотя и меньшому мимо больших, признавая удобного, который бы не расточил наследства. Кольми же паче должны мы иметь попечение о целости всего нашего государства, которое с помощью божиею ныне паче распространено, как всем видимо есть; чего для заблагорассудили сей устав учинить, дабы сие было всегда в воле правительствующего государя: кому оный хочет, тому и определит наследство, и определенному, видя какое непотребство, паки отменит, дабы дети и потомки не впали в такую злость, как выше писано, имею сию узду на себе» Не довольствуясь побуждениями, высказанными в этом манифесте, Петр поручил Феофану Прокоповичу написать подробное оправдание меры; сочинение Феофана вышло под заглавием *Правда воли монаршей*.

Петр хотел, чтоб подданные присягнули в признании этой воли. В некоторых местах оказалось сопротивление. Раскольники толковали: «Взял за себя шведку, и та царица детей не родит, и он сделал указ, чтоб за предбудущего государя крест целовать, и крест целуют за шведа, Одноконечно станет царствовать швед». Монахи говорили: «Видишь, государь выбирает на свое место немчина, знамо к царевне, а внука своего сослал, и никто про него не ведает, а ныне прикладывают руки, кого он, государь, изволит выбрать». Тарские жители не пошли к присяге; возмутили их полковник Иван Немчинов, козак Иван Подуша, Петр Богачов, Дмитрий Вихорев, Василий Исецкий. В Тару для розыску приехал из Тобольска полковник Батасов, в инструкции которого было сказано, чтоб не ожесточать сопротивляющихся, не заставить их разбежаться. Вследствие этого Батасой освободил Подушу из заключения, отдав на поруки. Но кротость не помогла. Богачов, первый заводчик смуты, ушел, а Немчинов с 60 человеками заперся в хоромах; 49 человек он выпустил, а с остальными поджег под собою порох, но неудачно; все были взяты живые; Немчинов и четыре человека, наиболее пострадавшие от взрыва, умерли, но остальные выздоровели.

Манифест отнимал право у великого князя Петра Алексеевича, который мог быть преемником только по воле деда, если успеет понравиться ему. Но если не понравится, не изберет же Петр совершенно чужого? В церквах поминали царскую фамилию так: «Благочестивейшего государя нашего Петра Великого, императора и самодержца всероссийского, благочестивейшую великую государыню нашу императрицу Екатерину Алексеевну. И благоверные государыни цесаревны. Благоверную царицу и великую княгиню Параскеву Феодоровну. И благоверного великого князя Петра Алексеевича. И благоверные царевны великия княжны». Великий князь Петр стоял ниже теток своих, цесаревен, и потому, естественно, обращали внимание на дочерей Петра, тем более что знали влияние императрицы Екатерины на мужа, и вопрос о браке цесаревен был, следовательно, вопросом первой важности. Беспокоились не в одной России; беспокоились в Вене, где считали своим интересом и своею обязанностью поддерживать права великого князя Петра, родного племянника императрицы римской по матери

Австрийский посол вошел с представлениями к петербургскому двору, что великий князь Петр не получает достойного воспитания, живет во дворце окруженный женщинами, вследствие чего может оказаться ни к чему не способным; из этого видно, что его императорское величество не хочет объявить его наследником престола; но может ли отсюда произойти что-нибудь доброе, кроме нарушения союза между двумя империями? Посол объявил при этом, что слышал, будто цесаревна Анна Петровна будет выдана замуж за Александра Нарышкина, которого император объявит своим наследником, а цесаревна Елисавета выйдет замуж за герцога голштинского.

Слух о браке цесаревны Анны с Александром Нарышкиным, попавший, как мы видели, и в иностранные газеты, оказался ложным. Петр, сильно хлопоча, чтоб младшая цесаревна вышла замуж за французского короля, долго медлил дать свое согласие на брак старшей с герцогом голштинским. После Ништадтского мира герцог остался в России, но Петр молчал о свадьбе. Император собирался в далекий Персидский поход, с ним уезжала и Екатерина, особенно расположенная к герцогу, а тот все не объявлялся женихом. Бассевич обратился к Петру с письмом: «Ваше императорское величество, милостивейше рассудите изволите, как доволен и сердечно рад я был, когда его королевское высочество поручил мне свои дела и ваше величество обнадежили меня в Вене чрез генерала Ягужинского. А теперь с особенною печалию вижу, как его королевское высочество сердечно сокрушается, что ваше величество так затрудняетесь выдать за него одну из государынь цесаревен. Что может ваше императорское величество удерживать от заключения этого союза? Род его между владетельными домами один из самых знаменитых; он, слава богу, достаточно умен, никакого лукавства в нем нет, а богобоязливость и скромность его обещают цесаревне жизнь самую желанную. Права его на короны и княжества явны. Цесарь никогда не отступится от своей гарантии насчет Шлезвига; несомненно, что цесарь лучше желает видеть шведскую корону на голове его королевского высочества, чем принца гессенского. Если бы возможно было вашему императорскому величеству примириться с королем английским, то Англия за согласие на уступку Бремена и Вердена всячески помогла бы его королевскому высочеству в делах шлезвигском и шведском. Прусский двор исполнит желание герцога, который дал свое согласие насчет Померании. Голландия желает помочь герцогу, король польский также. Кардинал Дюбуа посланнику герцогову обещал, что когда ваше величество своим министрам указ дадите, то Франция помогать герцогу готова. Любовь шведской нации к его королевскому высочеству во Франции довольно известна, а когда бы узнали, что герцог стал зятем вашего величества, то еще сильнее стали бы помогать в надежде на будущую дружбу, и таким образом большая часть государств и знатные люди в Швеции, которые, может быть, еще не склонны к герцогу, возьмут его сторону; а ваше императорское величество такое важное и славное дело без войны совершите. Вашему величеству, как прозорливому монарху, довольно известно, что все государства завидуют вашему увеличивающемуся могуществу, которое они по смерти вашего величества будут стараться подорвать; но если ваше величество или ваш наследник будет в союзе с Шведским государством, то враждебные действия всего света будут напрасны, а союз с Швециею всего лучше сможет состояться посредством герцога, ибо он многих там имеет на своей стороне; другие очень многие будут бояться, что ваше

величество в опасное время зятя своего не оставите, а из истории известно, что маленькое войско достаточно для низвержения противников в такой стране, где имеется много доброжелательного народа. На сейме сто тысяч рублей могут много сделать, а эту сумму выдать готовы с охотою. Лифляндские и эстляндские жители обязаны всегда поступать по воле вашего величества. Если, ваше императорское величество, его королевскому высочеству одну цесаревну пожалуете, то в Швеции люди, преданные герцогу, свободнее станут обнаруживать свою преданность. Если вашему величеству не угодно будет старшую цесаревну выдать, то герцог будет доволен и младшею. Сколько я мог усмотреть, герцог обеих государынь цесаревен квалитеты сердечно любит. А способнее и лучше бы, по летам, жениться ему на старшей цесаревне». Сам герцог написал: «Так как до настоящего времени по многократному нашему исканию не имел я счастья получить ваше отеческое соизволение на брачный союз с ее высочеством цесаревною, то снова покорнейше представляю возрастающее в себе чувствительное беспокойство. Надеюсь милостивейшего и скорейшего выслушания, потому что от продолжительнейшего молчания принужден опасаться невозвратимого убытка и мне более в такой неизвестности быть невозможно». Петр отвечал: «Светлейший герцог, дружелюбно любезный племянник! Два ваши письма, единое от вас самих, другое от министра вашего Бассевича, я принял, в которых содержание двух дел, первое о свойстве чрез вас с домом моим; другое, чтоб вам помочь в ваших делах, к чему многие потентаты охоту имеют, ежели мы приступим, на что ответствую, что я с оными потентатами со всею моею охотою вступить готов и трудиться по всякой возможности в том деле. Что же принадлежит о супружестве, то и в том я отдален не был, ниже хочу быть, понеже ваше доброе состояние довольно знаю и от сердца вас люблю; но прежде, нежели ваши дела в лучшее состояние действительно приведены будут, в том обязаться не могу, ибо ежели б ныне то я учинил, то б иногда и против воли и пользы своего отечества делать принужден бы был, которое мне паче живота моего есть».

Только в 1724 году, когда действительно посредством союза, заключенного между Россиею и Швециею, дела герцога приведены были в лучшее состояние, Петр дал свое согласие на брак его с своею старшею дочерью. В июле, во время совещаний Петра с министрами, между прочим было донесено о герцоге голштинском и о сомнении, в котором еще в Швеции находятся насчет супружества его с одною из цесаревен, также об интригах, происходящих в Швеции против герцога; из Швеции требовали плана, каким образом надобно поступать в делах герцога голштинского для исполнения заключенного союзного договора. После долгих рассуждений Петр объявил, что он очень желает вступления в брак одной из своих дочерей с герцогом голштинским; но относительно интересов герцога лучше вести переговоры при русском дворе и смотреть, чтоб это дело всегда и преимущественно находилось в руках русского государя, и хотел еще иметь рассуждение об этом предмете. 24 ноября, в день именин императрицы, последовало обручение цесаревны Анны с герцогом. В силу нового закона, по которому право назначать преемника престола принадлежало царствующему государю, цесаревна должна была в брачном договоре отказаться за себя и за потомство свое от всех притязаний на русский престол; это отречение подтверждено было герцогом и скреплено присягою

невесты и жениха. Герцог обязался оставить свою супругу в греческом законе и в будущей резиденции своей построить и содержать церковь «по греческому обыкновению». Имеющие родиться от заключенного брака принцы должны были воспитываться в лютеранской вере, а принцессы – в вере и исповедании греческой церкви. Отец невесты обещал снабдить свою «дружелюбнолюбезную дочь» убором, клейнодами, платьем и, сверх того, дать в приданое и вено 300000 рублей; герцог обязался своей «сердечнолюбезной супруге» положить также 300000 рублей и выдавать ежегодно по пяти процентов, также обязался дать «утренний подарок» (Morgen-gabe) – 50000 ефимков и до выплачения этой суммы давать ежегодно по пяти процентов; наконец, обязался выплачивать своей супруге ежегодно по 6000 рублей ларечных и ручных денег, так, чтобы будущая герцогиня получала всего в год 23000 рублей, а для обеспечения этого дохода герцог обязался дать ей в заклад известное число земельных участков; герцог должен содержать и придворных служителей своей супруги. В случае смерти герцога герцогиня-вдова получает по смерти земли Триттау и Рейнбек с окрестными имениями, что должно приносить 50000 ефимков чистого дохода. Если герцог получит шведский престол, то обязывается придать своей супруге к вышеозначенному все то, что следует королевам шведским.

Петр также хотел скрепить и права жены своей. Екатерина по-прежнему пользовалась большим влиянием на мужа, по-прежнему к ней обращались все опальные, все нуждавшиеся в чем-нибудь с просьбами о ходатайстве пред государем, по-прежнему она охотно исполняла эти просьбы, охотно давала чувствовать свое смягчающее, благодетельное влияние. Это влияние простиралось и на одну из линий царского дома, на линию царя Ивана Алексеевича. Вдова последнего, царица Прасковья Федоровна, вовсе не отличалась мягким характером, как мы уже могли видеть, из ее поступка с дворцовым стряпчим в Тайной канцелярии. Петр отдал ей остров Петровский, принадлежавший прежде детям царевича Алексея, но огород, принадлежавший кронпринцессе и отдаленный от острова протокою, Петр утвердил за внучатами. Царица Прасковья без указа завладела и огородом; тщетно Меншиков и Петр Апраксин представляли ей незаконность этого поступка; она никого не хотела слушать, и об этом деле надобно было писать к Екатерине. Мы видели, что Екатерина должна была смягчать гнев царицы Прасковьи на Петра Бестужева, находившегося при царевне Анне Ивановне, герцогине курляндской. Быть может, за Бестужева царица Прасковья рассердилась и на дочь свою Анну. Императрица Екатерина II рассказывала своим приближенным, что царица Прасковья так осердилась на дочерей своих, Екатерину и Анну, что при смерти прокляла их и потомство их. Это предание имело основание; но дело было преувеличено вследствие несчастий потомства царевны Екатерины Ивановны, а может быть, преувеличивали не без желания угодить восторжествовавший линии Петра Великого. О гневе царицы Прасковьи на дочь Екатерину мы не знаем ничего; что же касается до гнева на Анну, то дело кончилось прощением со стороны матери по ходатайству императрицы Екатерины. До нас дошло предсмертное письмо царицы Прасковьи к дочери Анне: «Любезнейшая моя царевна Анна Ивановна! Понеже ныне болезни во мне от часу умножились и так от оных стражду, что уже и жизнь свою отчаяла, того для сим моим письмом напоминаю вам, чтоб вы молились обо мне господу богу, а ежели его, творца моего, воля придет, что я от сего света

отъиду и с вами разлучусь, то не забывайте меня в поминовении. Также слышала я от моей вселюбезнейшей невестушки государыни императрицы Екатерины Алексеевны, что ты в великом сумнении, якобы под запрещением или паче реши проклятием от меня пребываешь: и в том ныне не сомневайся, все вам для вышепомянутой ее величества моей вселюбезнейшей государыни невестушки отпускаю и прощаю вас во всем, хотя в чем предо мною и погрешили».

Когда Петр принял титул императора, то рождался вопрос о титуле супруги его и детей. 23 декабря 1721 года Синод и Сенат, будучи в Москве, имели в синодальной крестовой палате конференцию; так как его величество титулуется император и самодержец всероссийский, то как бы с этим титулом согласить титул и государыни царицы и детей его величества; рассуждали долго и согласились именовать ее величество императрицею или цесаревою, а детям именоваться цесаревнами, а что в прежнем многолетии употреблялось в титуле: *тишайшему, избранному, почтенному*, и то заблагорассудили выключить; также и там, где в титулах вспоминалось великому князю (Петру Алексеевичу) и цесаревнам *благородство*, признали приличнее употреблять слово *благочестивые*, потому что титуловаться благородством их высочеству по нынешнему употреблению низко, ибо благородство и шляхетству дается. Петр согласился с этим решением, только вместо *цесаревой* велел возглашать *императрице ее цесаревину величеству*. В 1723 году Петр вознамерился короновать Екатерину, и 15 ноября подписан был следующий манифест: «Понеже всем ведомо есть, что во всех христианских государствах непременно обычай есть потентатам супруг своих короновать, и не точию ныне, но и древле у православных императоров греческих сие многократно бывало (следуют примеры), и понеже не ведомо есть, что в прошедшей двадцати единойлетней войне коль тяжкие труды, и самый смертный страх отложася собственной нашей персоне, за отечество наше полагали, что с помощию божиею и окончили, что еще Россия так честного и прибыточного мира не видала и во всех делах славы так никогда не имела, в которых вышеописанных наших трудах наша любезнейшая супруга государыня императрица Екатерина великою помощницею была, и не точию в сем, но и во многих воинских действиях, отложася немочь женскую, волею с нами присутствовала и елико возможно вспомогала, а наипаче в Прутской кампании с турки, почитай отчаянном времени, как мужески, а не женски поступала, о том ведомо всей нашей армии и от них, несумненно, всему государству: того ради данною нам от бога самовластию за такие супруги наша труды и проч.».

Коронация Екатерины совершилась в Москве с великим торжеством 7 мая 1724 года. Но через полгода Екатерина испытала страшную неприятность: был схвачен и казнен любимец и правитель ее Вотчинной канцелярии камергер Монс, брат известной Анны Монс. Вышний суд 14 ноября 1724 года приговорил Монса к смерти за следующие вины: 1) взял у царевны Прасковьи Ивановны село Оршу с деревнями в ведение Вотчинной канцелярии императрицы и оброк брал себе. 2) Для отказу той деревни посылал бывшего прокурора воронежского надворного суда Кутузова и потом его же отправил в вотчины нижегородские императрицы для розыску, не требуя его из Сената. 3) Взял с крестьянина села Тонинского Соленикова 400 рублей за то, что сделал его стремянным конюхом в деревне ее величества, а оный Солеников не крестьянин, а посадский человек. Вместе с Монсом попались сестра его, Матрена Балк, которую били кнутом и сослали в.

Тобольск; секретарь Монса Столетов, который после кнута сослан в Рогервик в каторжную работу на 10 лет; известный шут камер-лакей Иван Балакирев, которого били батогами и сослали в Рогервик на три года. Балакиреву читали такой приговор: «Понеже ты, отбывая от службы и от инженерного учения, принял на себя шутовство и чрез то Вилимом Монсом добился ко двору его императорского величества, и в ту бытность при дворе во взятках служил Вилиму Монсу и Егору Столетову».

К неприятностям от Монсовой истории присоединились неприятности от неисправимого Меншикова, у которого Петр принужден был отнять президентство в Военной коллегии; президентом ее был назначен князь Репнин. Макаров и члены Вышнего суда были также обвинены во взятках. Все это действовало на здоровье Петра. Он доживал только 53-й год своей жизни. Несмотря на частые припадки болезни и на то, что уже давно сам себя называл стариком, император мог надеяться жить еще долго и иметь возможность распорядиться великим наследством согласно с интересами государства. Но дни его уже были сочтены; никакая натура не могла долго выдерживать такой деятельности. Когда в марте 1723 года Петр приехал в Петербург по возвращении из Персии, то его нашли гораздо здоровее, чем как он был перед походом. Летом 1724 года он сильно занемог, но во второй половине сентября начал, видимо, поправляться, гулял по временам в своих садах, плавал по Неве. 22 сентября у него сделался сильный припадок, говорят, он пришел от него в такое раздражение, что прибил медиков, браня их ослами; потом опять оправился; 29 сентября присутствовал при спуске фрегата, хотя сказал голландскому резиденту Вильду, что все чувствует себя немного слабым. Несмотря на то, в начале октября он отправился осматривать Ладожский канал вопреки советам своего медика Блюментроста, потом поехал на Олонецкие железные заводы, выковал там собственными руками полосу железа весом в три пуда, оттуда отправился в Старую Руссу для осмотра солеварень, в первых числах ноября поехал водою в Петербург, но тут, у местечка Лахты, увидав, что плывший из Кронштадта бот с солдатами сел на мель, не утерпел, сам поехал к нему и помогал стаскивать судно с мели и спасать людей, причем стоял по пояс в воде. Припадки немедленно возобновились; Петр приехал в Петербург больной и не мог уже оправиться; дело Монса также не могло содействовать выздоровлению. Петр уже мало занимался делами, хотя и показывался публично по обыкновению. 17 января 1725 года болезнь усилилась; Петр велел близ спальни своей поставить подвижную церковь и 22 числа Исповедался и приобщился; силы начали оставлять больного, он уже не кричал, как прежде, от жестокой боли, но только стонал. 26 числа ему стало еще хуже; освобождены были от каторги все преступники, невинные против первых двух пунктов и в смертоубийствах; в тот же день над больным совершенно елеосвящение. На другой день, 27 числа, прощены все те, которые были осуждены насмерть или на каторгу по военным артикулам, исключая виновных против первых двух пунктов, смертоубийц и уличенных в неоднократном разбое; также прощены те дворяне, которые не явились к смотру в назначенные сроки. В этот же день, в исходе второго часа, Петр потребовал бумаги, начал было писать, но перо выпало из рук его, из написанного могли разобрать только слова «*отдайте все...*», потом велел позвать дочь Анну Петровну, чтоб она написала под его диктовку, но когда она подошла к нему, то он не мог сказать ни слова. На другой день, 28

января, в начале шестого часа пополудни, Петра Великого не стало. Екатерина находилась при нем почти безотлучно; она закрыла ему глаза.

В страшных страданиях физических, с полным признанием человеческой слабости, с требованием подкрепления свыше, подкрепления религиозного, умер величайший из исторических деятелей. Мы уже говорили в свое время о том, как приготовлена была деятельность Петра всею предшествовавшей историей, как необходимо истекла из нее, как требовалась народом, который должен был путем страшного переворота, посредством необычайного напряжения сил выйти из отчаянного положения на новую дорогу, к новой жизни. Но это нисколько не уменьшает величия человека, который при совершении такого трудного подвига подал мощную руку великому народу, необычайною силою своей воли напряг все его силы, дал направление движению. История ни одного народа не представляет нам такого великого, многостороннего преобразования, сопровождавшегося такими великими последствиями как для внутренней жизни народа, так и для его значения в общей жизни народов, во всемирной истории. Западные народы, западные историки, при вкоренившемся у них предрассудке об исключительном господстве в новой истории германского племени, при очень понятном страхе потерять монополию исторической деятельности, при трудности, невозможности спокойно и беспристрастно изучить Россию, ее настоящее и прошедшее, не могут, не хотят оценить по достоинству всемирно-исторического значения явлений, происшедших в Восточной Европе в первую четверть XVIII века. Несмотря на то, однако, они принуждены обращаться к результатам этих явлений, т.е. к решительному влиянию России на судьбы Европы, на судьбы, следовательно, всего мира, и в России должны признать представительницу славянского племени, чем и уничтожается монополия племени германского. Отсюда весь гнев, отсюда стремление умалить значение и славянского племени, и русского народа, внушить страх перед честолюбием нового деятеля, перед грозой, которая собирается с Востока над цивилизацией Запада. Но эти нелюбезные отношения Запада и представителей его науки к России всего лучше показывают нам ее значение и вместе значение деятельности Петра, виновника соединения обеих половин Европы в общей деятельности.

Но оставим чужих и обратимся к своим. В сознании русского народа петровский переворот, разумеется, представляет самое важное явление, около которого сосредоточивается возбужденная наукою мысль. Благоговейное, религиозное отношение к деятельности преобразователя, господствовавшее долгое время после его смерти, вызвало во второй половине XVIII века противодействие. В этом противодействии высказывалось поступательное движение, духовное развитие русского народа. При известных условиях явились новые потребности, новые взгляды на средства, которыми поддерживается историческая жизнь народа; религиозное отношение к деятельности Петра Великого, освящение, которое лежало на результатах этой деятельности, естественно, препятствовало поступательному движению, отрицая всякое изменение как незаконное; обыкновенно считают необходимым для придания законности новому отрицать правильность старого, стремятся снять с него освящение, умалить его значение и, встречая сопротивление со стороны поклонников старого, стремятся поругать, разбить кумир, разрушить жертвенник и храм, чтобы воздвигнуть на их место другой храм, постановить другой кумир.

Не довольствовались приведением в соотношение деятельности Петра с новой деятельностью своего времени, не довольствовались тем, что говорили: «Петр Великий сотворил тело, Екатерина II влагает в него душу». Начали укорять Петра, что он и для своего времени действовал неправильно, незаконно, изменял старое лучшее на новое худшее. Эта крайность противодействия не имела сильного отзыва, XVIII век завещал XIX-му многотомный панегирик деятельности Отца Отечества, и книга Голикова заслонила собою книгу Болтина, заключавшую резкие выходки против деятельности преобразователя; однако самое направление труда Голикова, старание автора постоянно оправдывать во всем своего героя показывает нам, что во второй половине XVIII века русская мысль работала над великим явлением и противоположные взгляды сталкивались.

В XIX веке опять новые условия, которые вызвали враждебный взгляд на деятельность Петра. Крайности французской революции, потрясения государств и насилия над народами, произведенные Французской империей, результатом революции, страх перед возобновлением революционных движений заставили относиться враждебно вообще ко всем быстрым нарушениям старого, усилили охранительное направление, которым отличался и автор «Истории государства Российского», давший деятельности Ивана III предпочтение перед деятельностью Петра Великого. Скоро явились другие причины, поведшие в литературе к враждебным выходкам против деятельности преобразователя. Мыслители XVIII века имели в виду преимущественно человека, отвлеченно взятого, его отвлеченные права; в XIX веке обнаружилось противодействие этому направлению, оказавшемуся односторонним; гнет, испытанный народами от Французской империи, пробудил национальное чувство, и народы бросились к изучению своего прошедшего с целью выяснить и укрепить свою национальность, что и повело к господству принципа национальности, во имя которого совершались и совершаются важные события нашего времени. Направление, в сущности высокое и благодетельное, в крайностях своих породило на Западе германофильство, в России – славянофильство; переворот, совершенный Петром, который провозгласил несостоятельность древнерусского, чисто национального быта и потребовал от своего народа, чтоб он заимствовал учреждения и обычаи у народов чуждых, – такой переворот не мог возбудить сочувствия в людях, служивших господствующему принципу времени с крайним увлечением. Сюда присоединялся доведенный также до крайности взгляд на значение народных масс, без должного определения отношения их к своим историческим представителям. Петр явился страшным деспотом, который, руководясь своим произволом, своим личным взглядом, заставил насильно часть своего народа, высшие слои общества, переменить древние прадедовские нравы и обычаи на новые, чуждые, тогда как низшие слои народонаселения сослужили перед отечеством великую, святую службу, оставшись верны старине; таким образом произошло раздвоение между высшими и низшими слоями народонаселения, что и составляет главное зло русской земли начиная с царствования Петра.

И этот второй протест против деятельности Петра, протест XIX века, не может быть принят в науку. Мы имеем полное право не сочувствовать крутым переворотам в направлениях народной жизни. Бури очищают воздух, но опустошения, которые они по себе оставляют, показывают, что это очищение куплено дорогою ценою. Сильные лекарства условливаются сильными болезнями,

и мы знаем, что допетровская Россия накопила в себе много болезней, и явления преобразовательной эпохи всего лучше указывают на них. Политическое тело оздоровело, получило средства к продолжению жизни, и жизни, богатой сильными проявлениями; но историк впал бы в непозволительную односторонность, если бы не заметил, что сильные средства обыкновенно оставляют по себе и неблагоприятные для организма последствия. Эпоха преобразования не представляет в этом случае исключения. Не дело историка безусловно восхищаться всеми явлениями этой эпохи, безусловно оправдывать все средства, употреблявшиеся преобразователем для лечения застарелых недугов России; но, изображая деятельность человеческую с необходимою в ней темною стороною, историк имеет право изображать деятельность Петра как деятельность великого человека, послужившего более других для своего народа и для человечества.

Время переворотов есть время тяжкое для народов; такова была и эпоха преобразования. Жалобы на тягости великие слышались со всех сторон, и не напрасно. Русский человек не знал покоя от наборов; набор в тяжелую непрерывную военную службу пехотную, в новую службу морскую, набор в работники для новых трудных работ в местах отдаленных и непривлекательных, набор в школы свои, набор для отсылки в учение за границу. Для войска и флота, для работ, школ и больниц, для содержания дипломатов и для дипломатических подкупов нужны деньги, а денег нет в бедном государстве: тяжкие подати деньгами и натурою ложатся на всех; в нужных случаях вычитают из жалованья; люди достаточные разоряются постройкою домов в Петербурге; взято все, что можно было только взять, все отдано на откуп; у бедного народа нашелся предмет роскоши, дубовые гробы, и те отобрала казна и продает дорогою ценой; раскольники платят двойной оклад; бородачи окупают свои бороды. Предписание за предписанием: ищите руды, ищите красок, доставляйте монстров, ухаживайте за овцами не так, как прежде, выделывайте кожи, стройте суда по-новому, не смейте ткать узких полотен, возите товары не на север, а на запад. Правительственные места, суды новые: не знают, куда обратиться; члены этих мест и судов не умеют обходиться с новым делом, отсылают бумаги из одного учреждения в другое, волокита страшная; новое бедствие: постоянная вооруженная сила легла на безоружное народонаселение. Укрываются от тяжелой службы, но не всем это удастся; жестокое наказание грозит послушникам указа, и нельзя жениться дворянину неграмотному. А между тем под новыми французскими кафтанам и париками старая грубость нравов; то же неуважение к человеческому достоинству в себе и других, самые безобразные явления в шуму (в пьянстве), которыми должен оканчиваться каждый пир; женщина введена в общество мужчин, но она не окружена должным уважением к ее полу, к ее обязанностям, беременную, ее заставляют пить через меру. Члены высших учреждений ссорятся, бранятся друг с другом самым грубым образом; взяточничество сильно по-прежнему, по-прежнему слабый подвержен всем насилиям от сильного, по-прежнему муж позволяет себе все над мужиком, благородные – над подлым народом.

Но это только одна сторона, есть другая. Народ проходит трудную школу. Строгий учитель не щадит наказаний ленивым и нарушителям уставов, но дело не ограничивается одними угрозами и наказаниями. Народ действительно учится,

учится не одной цыфири и геометрии, не в одних школах, русских и заграничных; народ учится гражданским обязанностям, гражданской деятельности. При издании каждого важного постановления, при введении важного преобразования законодатель объясняет, почему он так делает, почему новое лучше старого. Русский человек впервые получает наставления подобного рода. Что нам кажется теперь столь простым и всем доступным, то предки наши узнали впервые из указов и манифестов Петровых. Впервые мысль русского человека была возбуждена, его внимание обращено на важные вопросы государственного и общественного строя; сочувственно или несочувственно обращались к словам и делам царя, все равно над этими словами и делами думали; эти слова и дела постоянно будили русского человека. Что могло погубить общество одряхлевшее, народ, не способный к развитию, – треволения преобразовательной эпохи, незнание покоя, – то развило силы молодого и крепкого народа, долго спавшего и нуждавшегося в сильном толчке для пробуждения. Поучиться было чему. Наверху правительствующий Сенат, Синод, всюду коллегиальное устройство, преимущества которого подробно изложены в духовном регламенте; повсюду выборное начало; промышленное сословие изъято из ведения воевод, ему дано самоуправление. Вся система Петра была направлена против главных зол, которыми страдала древняя Россия: против разрозненности сил, непривычки к общему делу, против отсутствия самодеятельности, отсутствия способности начинать дело. Эти-то недостатки и условливали возможность всякой силе легко пробиваться сквозь неплотно сомкнутые ряды, расти не в меру, переходить должные границы и теснить все вокруг. Указанными недостатками страдала прежняя царская Дума; Петр учреждает Сенат, которому присягали, которого указов должны были слушаться, как указов царских. Петр не ревновал к созданной им власти, не ограничивал ее, наоборот, он постоянно и бесцеремонно требовал, чтоб Сенат пользовался своим значением, чтоб был именно правительствующим; упреки, выговоры Петра Сенату были за медленность, вялость, за отсутствие распорядительности, за неуменье заставить привести свои приговоры немедленно в исполнение. Прежде русский человек, принимавший поручение правительства, ходил на помочах; ему не верили, боялись его малейшего движения и потому спеленывали, как ребенка, в длинный, подробный наказ, и при каждом новом случае, не определенном в наказе, взрослый ребенок требовал наставления. Эта привычка требовать указов сильно сердила Петра, как мы видели. «Делайте по своим соображениям: как я могу вам указывать из-за такой дали?» – писал Петр просящим указов. Коллегиальное устройство, встретил ли он его на Западе, присоветовано ли оно было ему Лейбницем – все равно, – Петр употреблял его всюду как могущественное средство приучить русских людей к общему, нестесненному действию. Из-за отдельных лиц выдвинулись учреждения, и над всеми ими поднялось государство, о настоящем значении которого русские люди услышали в первый раз теперь, когда должны были присягать государству. Мы не остановимся на этой картине, как на оконченной; мы очень хорошо знаем, что при Петре и после него было сильное противодействие его системе, что привычка служить лицам при известных благоприятных обстоятельствах брала верх, что выражение *господа Сенат* немедленно же стало заменяться выражением *господа сенаты*, но идеи, раз введенные в жизнь и закрепленные учреждениями, целою системою

государственного строя, не исчезают, несмотря на все желания отделаться от них; формы, и лишенные содержания, напоминают о нем, побуждают требовать его возвращения, храм и без богослужения призывает к молитве, все введенное великим человеком освящается его именем и надолго дает направление последующей деятельности. Не нужно много говорить о несостоятельности мнения, будто привычка к деятельности сообща была сильна в древней России и начала исчезать вследствие преобразования. Сильные привычки не скоро уступают самым сильным противодействиям и никак, разумеется, не могут ослабеть от условий самых благоприятных. Если бы русские промышленные люди привыкли к общему действию в древней России, то они не представили бы таких печальных явлений в петровских ратушах и магистратах, где богатые разоряли бедных, а выборные брали взятки и не исполняли своих обязанностей; объяснение этому явлению найдем в древней России, из которой идут жалобы на такие же явления в городах, идут просьбы, чтоб правительство защитило от *мужиков-горланов* обидчиков. Шли жалобы на воеводские притеснения; правительство сделало все, что могло, освободило от воевод, дало самоуправление; правительство могло дать другие, лучшие формы и дало; но вдохнуть вдруг способность к самоуправлению оно не было в состоянии, такую способность можно было приобрести только постепенно, если ее не было прежде, а что прежде ее не было, это обнаружилось немедленно. Если же спросят, зачем промышленные люди были выделены из общей деятельности с другими сословиями относительно города, то на это пусть отвечают коломенские бургомистры, с которыми так хорошо обходились люди другого сословия. Возможность общего действия людям из разных общественных кругов условилась постепенным и постоянным движением в духе системы Петра Великого; эта возможность могла бы явиться и скорее, если бы его системе следовали неуклонно.

Выставив значение государства, заставив, по-видимому, приносить этому новому божеству тяжелые жертвы и сам подавая пример, Петр, однако, принял меры, чтоб личность не была подавлена, а получила должное, уравнивающее развитие. На первом месте здесь, разумеется, должно быть поставлено образование, введенное Петром, знакомство с другими народами, опередившими наш народ в развитии. Мы знаем, что в допетровской России был силен родовой союз; продолжительность его существования объясняется легко из положения общества, которое не могло дать своим членам должного обеспечения, и они должны были искать его в частных союзах. Таков был прежде всего естественный кровный союз членов одного рода. Старшие, как мы знаем, защищали младших и за то имели над ними власть, ибо отвечали за них перед правительством. Так было везде, во всех слоях общества, нигде самостоятельный русский человек не представлялся один, но всегда с братьями и племянниками; безродность и бессемейность до последнего времени являлись выражениями крайне бедственного положения. Понятно, что родовой союз стеснял развитие личности; государство не могло дать личной заслуге силы над родовыми правами; ревнивый до крайности к порухе родовой чести, старинный русский человек был равнодушен к чести личной. Но к концу XVII века государственные требования так усилились, что род с своим единством не мог устоять, и уничтожение местничества нанесло сильный удар родовому союзу в высшем слое общества, в

служилых людях. Преобразование нанесло удар окончательный решительным, исключительным вниманием к личной заслуге, выдвинутием наверх людей, которые стали бесконечно выше своих «старых родителей» (т.е. родственников), введением в службу большого числа иностранцев; для людей новых стало выгодно являться безродными, и многие из них охотно начали выводить свое происхождение из чужих стран. Относительно низших слоев народонаселения удар родовому союзу был нанесен подушным окладом; стало исчезать прежнее выражение «такой-то с братьями и племянниками», ибо брат и племянник каждый стал платить за себя особо, явился отдельным, самостоятельным человеком. Не только прежние родовые отношения должны были исчезать; но и в самой семье, требуя глубокого уважения от детей к родителям, Петр признал права личности, предписывая, чтоб браки совершались с согласия детей, без произвола родителей; право личности признано было и в крепостном, ибо помещик должен был присягать, что не принуждает своих крестьян к невольному браку. Мы слышали беспристрастный отзыв современника, русского человека, об испорченности наших служилых людей в XVII и начале XVIII века, о их равнодушии к чести; между ними существовала позорная поговорка: «Бегство хоть нечестно, да здорово». При Петре вывелась эта поговорка, и он сам свидетельствовал, что во второй половине Северной войны бегство с поля сражения прекратилось. Наконец, получила признание личность женщины вследствие освобождения ее из терема.

Так воспитывались русские люди в суровой школе преобразования! Страшные труды и лишения не пропали даром. Начертана была обширная программа на много и много лет вперед, начертана была не на бумаге – она начертана была на земле, которая должна была открыть свои богатства перед русским человеком, получившим посредством науки полное право владеть ею; на море, где явился русский флот; на реках, соединенных каналами; начертана была в государстве новыми учреждениями и постановлениями; начертана была в народе посредством образования, расширения его умственной сферы, богатых запасов умственной пищи, которую доставил ему открытый Запад и новый мир, розданный внутри самой России. Большая часть сделанного была только в начале, иное в грубых очерках, для многого приготовлены были только материалы, сделаны были только указания; поэтому мы и назвали деятельность преобразовательной эпохи программой, которую Россия выполняет до сих пор и будет выполнять, уклонение от которой сопровождалось всегда печальными последствиями. Различные толки и суждения «за» и «против», толки о том, как быть с тем или другим делом, оставшимся от эпохи преобразования, были именно тем благодетельным последствием умственного возбуждения, которое дало русскому народу возможность жить новою жизнью и выполнять программу преобразователя. Возможность такого возбуждения условливалась именно всесторонним движением, всесторонним преобразованием, необходимым при том состоянии, в каком находился русский государственный организм, страдавший застоєм, отсутствием средств к развитию; но все же это был организм, в котором нельзя было, начавши преобразование в одном органе, не начать его в другом. Это было бы крайне вредно, если бы и было возможно. Историк не позволит себе утверждать, что не было никакого вреда в этой всесторонности преобразования: вред был необходим вследствие неприготовленности средств к всестороннему

преобразованию, неприготовленности как в руководимых, так и в руководителях, начиная с главного руководителя, самого Петра, в котором, при всем уважении к его гению, мы должны видеть человека, существо, ограниченное в своих средствах. Но мы должны признать, что России в описываемое время послан был человек, способный из двух зол выбрать гораздо меньшее, именно преобразование всестороннее и деятельное, которое не поставило русского человека только в положение ученика относительно Западной Европы, но в то же время поставило его и в положение взрослого, сильного деятеля в общей политической жизни и этим обеспечило ему самостоятельное внутреннее развитие, ибо внешняя безопасность, важное политическое значение, широкая историческая сцена действия составляют для народа необходимые условия его внутреннего развития. Русскому человеку легко было принять значение ученика при виде столь быстрого успеха в учении, при виде величия и славы, окружавших Россию и ее великого царя, которым так могли гордиться русские люди и который так верил в свой народ, так любил его, никогда не променявая своих на чужих.

Никогда ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом в первую четверть XVIII века. На исторической сцене явился народ малоизвестный, бедный, слабый, не принимавший участия в общей европейской жизни; невероятными усилиями, страшными жертвами он дал законность своим требованиям, явился народом могущественным, но без завоевательных стремлений, успокоившимся, как только приобретено было необходимое для его внутренней жизни. Человека, руководившего народом в этом подвиге, мы имеем полное право назвать величайшим историческим деятелем, ибо никто не может иметь большего значения в истории цивилизации. Петр *не* был вовсе славлющим-завоевателем и в этом явился полным представителем своего народа, не завоевательного по природе племени и по условиям своей исторической жизни. Гений Петра высказался в ясном уразумении положения своего народа и своего собственного как вождя этого народа, он сознал, что его обязанность – вывести слабый, бедный, почти неизвестный народ из этого печального положения посредством цивилизации. Трудность дела представилась ему во всей полноте по возвращении из-за границы, когда он мог сравнить виденное на Западе с тем, что он нашел в России, которая встретила его стрелецким бунтом. Он испытал страшное искушение, сомнение, но вышел из него, вполне уверовавши в нравственные силы своего народа, и не замедлил призвать его к великому подвигу, к жертвам и лишениям всякого рода, показывая сам пример во всем этом. Ясно сознавши, что русский народ должен пройти трудную школу, Петр не усумнился подвергнуть его страдательному, унижительному положению ученика; но в то же время он успел уравновесить невыгоды этого положения славою и величием, превратить его в деятельное, успел создать политическое значение России и средства для его поддержания. Петру предстояла трудная задача: для образования русских людей необходимо было вызвать иностранных наставников, руководителей, которые, естественно, стремились подчинить учеников своему влиянию, стать выше их; но это унижало учеников, которых Петр хотел сделать как можно скорее мастерами; Петр не поддавался искушению, не принял предложения вести дело успешно с людьми выученными, вполне подготовленными, но иностранцами, хотел, чтоб свои, русские, проходили деятельную школу, хотя бы это стоило и больших потерь,

сопровождалось большими неудобствами. Мы видели, как он поспешил отделаться от иностранного фельдмаршала, видели, как на всех высших местах поставил русских людей, а иностранцам дал только второстепенные, и мы видели, как Петр был награжден за веру в свой народ, за преданность ему. Также с необыкновенною осторожностью, умением не перейти должны границы разрешена была Петром трудная задача церковного преобразования. Он уничтожил одноличное управление и заменил его коллегиальным, или соборным, что вполне соответствовало духу восточной церкви; мы видели, что одною из главных забот Петра было поднятие русского духовенства посредством образования; несмотря на сильное и понятное нерасположение к монашеству, он не уничтожил этого учреждения, подобно Генриху VIII английскому, только старался дать ему более соответствующую его характеру деятельность.

С какой бы точки зрения мы ни изучали эпоху преобразования, мы должны прийти в изумление перед нравственными и физическими силами преобразователя. Силы развиваются упражнением, и мы не знаем ни одного исторического деятеля, сфера деятельности которого была бы так обширна. Родившись с умом необыкновенно возбужденным, чутким ко всему, Петр изоощрил эту чуткость до высшей степени, с малолетства прислушиваясь и приглядываясь сам ко всему, не направляемый, не ограничиваемый никем, а возбуждаемый обществом, уже стоявшим на повороте, колебавшимся между двумя направлениями, волнуемым уже вопросами о старом и новом, когда подле старой Москвы уже виднелся авангард Запада – Немецкая слобода. У Петра была старинная русская богатырская природа, он любил широту и простор: отсюда объясняется, что кроме сознательного влечения к морю он имел еще и бессознательное; богатыри старой Руси стремились в широкую степь, богатырь новой стремился в широкое море; местности, сжатые горами, были для него неприятны, тяжелы; так, он жаловался жене на местоположение Карлсбада: «Место здешнее так весело, что можно честною тюрьмою назвать, понеже между таких гор сидит, что солнца, почитай, не видать». В другом письме он называет Карлсбад ямою.

Богатырским силам соответствовали страсти, не умеренные правильным, искусным воспитанием. Мы знаем, как мог разнуздываться сильный человек в древнем русском обществе, не выработавшем должных границ каждой силе; могло ли такое общество сдерживать страсти человека, стоявшего на самом верху? Но одна наблюдательная женщина-современница отозвалась совершенно справедливо о Петре, что это был очень хороший и вместе очень дурной человек. Не отвергая и не умаляя черной стороны характера Петра Великого, не забудем стороны светлой, которая перевешивала черную и могла так сильно привязывать к нему людей. Если гнев Петра раздражался иногда так страшно над людьми, которых он считал врагами отечества, врагами общего блага, то сильно привязывался он и сильно привязывал к себе людей с наклонностями противоположными. Дело, совершенное Петром, было совершено им с помощью людей способных, которых он умел отыскать всюду и сохранить. В этом отыскивании способных людей нельзя видеть одного личного дела Петра: ему стоило только дать своим приближенным почувствовать, что ничем нельзя угодить ему так, как приисканием способных людей, и началась действительная гоньба за способностями. Послушаем одного из птенцов Петровых, известного

нам по дипломатической деятельности в Турции, Неплюева, как он был выведен в люди; этот рассказ вскроет нам тайну великого императора отыскивать способных людей. Неплюев учился за границею навигации; по возвращении в Россию он вместе с товарищами был представлен Петру, который сказал генерал-адмиралу графу Апраксину: «Я хочу их сам увидеть на практике, а ныне напишите их во флот гардемаринами». Тут стал говорить член Адмиралтейской коллегии Григорий Петрович Чернышов: «Государь! Люди, по воле твоей отлученные от родных в чужих краях, по бедности сносили там голод и холод, учились по возможности, желая угодить тебе, и в чужом государстве были уже гардемаринами, а теперь, возвратясь, в надежде за службу и науку получить награждение, отсылаются ни с чем и будут наравне с теми, которые ни нужды такой не видали, ни практики такой не имели». Государь назначил им экзамен в коллегии в своем присутствии и, оставшись доволен ответами Неплюева, произвел его в поручики морского галерного флота, причем, давая Неплюеву целовать свою руку, сказал: «Видишь, братец: я и царь, да у меня на руках мозоли, а все оттого: показать вам пример и хотя под старость видеть достойных помощников и слуг отечеству». Скоро после этого Петр определил Неплюева смотрителем и командиром над строящимися морскими судами – должность, в которой он почти ежедневно видел Петра. Государь начал говорить, что в малом будет путь, а Чернышов и адмирал Змаевич стали преподавать малому искусство, как сохранить расположение государя: «Будь исправен, будь проворен и говори правду, сохрани тебя боже солгать, хотя бы что и худо было; он больше рассердится, если солжешь». Скоро Неплюев подвергся экзамену и в этом искусстве. Однажды он пришел на работу, а Петр уже тут; Неплюев сильно перепугался, и первую мыслию было бежать домой и сказать больным; но потом вспомнились советы Чернышова, и он пошел к тому месту, где находился государь. «А я уже, мой друг, здесь!» – сказал ему Петр. «Виноват, государь, – отвечал Неплюев, – вчера я был в гостях, долго засиделся, оттого и опоздал». Петр взял его за плечо и пожал; тот вздрогнул, думая, что пришла беда, но государь начал говорить: «Спасибо, малый, что говоришь правду, бог простит! кто бабе не внук!»

В Константинополь Неплюев попал таким образом. В первых числах января 1721 года был *трактамент* для всей знати и для офицеров гвардейских и морских, почему был тут и Неплюев. Отобедав с товарищами прежде, он встал из-за стола и отправился в ту комнату, где государь сидел еще за столом. Петр был очень весел и скоро начал такой разговор: «Надобен мне человек, который бы знал италийанский язык, для посылки в Константинополь резидентом». Головкин отвечал, что такого не знает. «А я знаю, – сказал Федор Матвеевич Апраксин, – очень достойный человек, да та беда, что очень беден». «Бедность не беда, – отвечал Петр, – этому помочь можно скоро; но кто это такой?» «Да вот он за тобой стоит», – сказал Апраксин. «За мною стоит много», – возразил Петр. «Да твой хваленый, что у галерного строения», – отвечал Апраксин. Петр оборотился, взглянул на Неплюева и сказал: «Это правда, Федор Матвеевич, что он хорош, да мне бы хотелось его у себя иметь». Но потом, подумавши, государь приказал назначить Неплюева резидентом в Константинополь. Когда тот подошел к нему благодарить, упал в ноги, целовал их и плакал, то Петр поднял его и сказал: «Не кланяйся, братец: я вам от бога приставник, а должность моя – смотреть того, чтоб

недостойному не дать, а у достойного не отнять; буде хорош будешь – не мне, а более себе и отечеству добро сделаешь, а буде худ – так я истец: ибо бог того от меня за всех вас востребует, чтоб злomu и глупому не дать места вред делать; служи верою и правдою! В начале бог, а по нем и я должен буду не оставить тебя».

Сознание обязанностей своих к богу, глубокое религиозное чувство высказывалось постоянно у Петра, поднимало дух его в бедах и не давало заноситься в счастья. В последний год своей жизни, 16 августа 1724 г., составляя программу для торжества Ништадтского мира, Петр писал: «Надлежит в первом стихе помянуть о победах, а потом силу писать во всем празднике следующую: 1) неискусство наше во всех делах. 2) А наипаче в начатии войны, которую, не ведая противных силы и своего состояния, начали, как слепые. 3) Бывшие неприятели всегда не только в словах, но и в гисториях писали, дабы никогда не протягать войны, дабы не научить тем нас. 4) Какие имели внутренние замешания, также и дела сына моего, також и турков подвигли на нас. 5) Все прочие народы политику имеют, дабы баланс в силах держать меж соседев, а особливо чтобы нас не допускать до света разума во всех делах, а наипаче в воинских; но то в дело не произвели, но яко бы закрыто было сие пред их очесами. Сие поистине чудо божие; тут возможно видеть, что все умы человеческие ничто есть против воли божией. Сие пространно развести надлежит, а сенсу довольно».

Необыкновенное величие, соединенное с сознанием ничтожества всех умов человеческих, строгое требование исполнения обязанностей, строгое требование правды, уменье выслушивать возражения самые резкие, чрезвычайная простота, общительность, благодушие – все это сильно привязывало к Петру лучших людей, имевших случай сблизжаться с ним, и потому легко понять впечатление, произведенное на них вестью о кончине великого императора. Неплюев пишет: «1725 года, в феврале-месяце, получил я плачевное известие, что Отец Отечества, Петр, император 1-й, отъиде от сего света. Я омочил ту бумагу слезами как по должности о моем государе, так и по многим его ко мне милостям и, ей-ей не лгу, был более суток в беспамятстве, да иначе бы мне и грешно было: сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими; научил узнавать, что и мы люди; одним словом, на что в России ни взгляни, все его началом имеет, и, что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут; а мне, собственно, сверх вышеписанного, был государь и отец милосердый; да вчинит господь душу его, многотрудившуюся о пользе общей, с праведными!»

Другой приближенный к Петру человек, Нартов, говорит: «Если б когда-нибудь случилось философу разбирать архиву тайных дел его (Петра), вострепетал бы от ужаса, что соделывалось против сего монарха. Мы, бывшие сего великого государя слуги, вздыхаем и проливаем слезы, слыша иногда упреки жестокосердия его, которого в нем не было. Когда бы многие знали, что претерпевал, что сносил и какими он уязвляем был горестями, то ужаснулись бы, колико снисходил он слабостям человеческим и прощал преступления, не заслуживающие милосердия; и хотя нет более Петра Великого с нами, однако дух его в душах наших живет, и мы, имевшие счастье находиться при сем монархе, умрем верными ему и горячую любовь нашу к земному богу погребем вместе с собою. Мы без страха возглашаем об отце нашем для того, что благородному бесстрашию и правде учились от него».

Глава четвертая

Царствование императрицы Екатерины I Алексеевны

Значение времени, протекшего от смерти Петра Великого до вступления на престол Екатерины II. – Положение старой и новой знати при смерти Петра Великого. – Гвардия. – Совецание о престолонаследии. – Восшествие на престол Екатерины. – Манифест об этом. – Спокойствие Петербурга. – Отправление генерала Дмитриева-Мамонова в Москву для сохранения порядка. – События в древней столице во время присяги. – Речи в народе о Петре и Екатерине. – Похороны Петра Великого. – Выходка Ягужинского. – Стремления Меншикова. – Толстой, Апраксин, Ягужинский; ссора последнего с Меншиковым. – Герцог голштинский. – Характер императрицы. – Вопрос о крестьянах. – Учреждение Верховного тайного совета. – Состав Совета. – Отношения его к Сенату. – Возобновление крестьянского вопроса в связи с финансовым. – Решение их. – Ревизия графа Матвеева в Московской губернии. – Поддержание флота. – Поправка денежного дела. – Заботы об уложении. – Меры для усиления торговли. – Горные промыслы. – Ладожский канал и Миних. – Войско. – Отступление от программы Петра Великого. – Просвещение. – Нравы и обычаи. – Церковь. – Дело архиепископа Феодосия. – Донесение архиепископа Георгия Дашкова. – Синод и Верховный тайный совет. – Перемены в Синоде. – Раскол. – Отношения к западным исповеданиям. – Дела на окраинах.

Люди Западной Европы, смотря на удивительные явления, происходившие в первой четверти XVIII века в Европе Восточной, говорили, что все эти преобразования суть следствия одной личной воли царя, со смертью которого все введенное им рухнет и восстановится старый порядок вещей. Теперь преобразователь был во гробе и наступило время поверки, прочен ли установленный им порядок. Железной руки, сдерживавшей врагов преобразования, не было более; Петр не распорядился даже насчет своего преемника; русские люди могли теперь свободно распорядиться, свободно решить вопрос, нужен ли им новый порядок, и ниспровергнуть его в случае решения отрицательного. Но этого не случилось; новый порядок вещей остался и развивался, и мы должны принять знаменитый переворот со всеми его последствиями как необходимо вытекший из условий предшествовавшего положения русского народа. Время от кончины Петра Великого до вступления на престол Екатерины II обыкновенно рассматривалось как время печальное, непривлекательное, время малоспособных правителей, дворцовых переворотов, недостойных любимцев. Но мы не можем разделять этих взглядов. Названное время имеет высокий интерес для историка именно потому, что здесь русские люди были предоставлены самим себе ввиду громадного материала, данного преобразованием. Как они распорядятся этим материалом – вот вопрос, с которым историк обратится к своим источникам. Они должны ему сказать, было ли названное время временем застоя или движения, а вторая половина XVIII века в России, царствование Екатерины II, была ли результатом этого движения и в

каком смысле. Идеи и люди екатерининского царствования явились ли по мановению знаменитой императрицы или были приготовлены прежде, состоят в необходимой связи с движением, совершившимся в тридцать пять лет, протекших от кончины Петра Великого?

Кто будет преемником императора: женщина или ребенок – вот вопрос, который волновал Петербург накануне смерти Петра. Народное большинство, разумеется, было за единственного мужского представителя династии – великого князя Петра Алексеевича; за него была знать, считавшая его единственно законным наследником, рожденным от достойного царской крови брака, за него были все те, на приверженность которых надеялся и несчастный отец его, все те, которые с воцарением сына Алексея надеялись отстранить ненавистную толпу выскочек, и во главе их Меншикова. Носились слухи, что эти родовитые вельможи замыслили, возведши на престол малолетнего Петра, заключить Екатерину и дочерей ее в монастырь. Екатерина должна была действовать по инстинкту самосохранения и нашла себе помощников, находившихся в одинаковом с нею положении. В этом положении находился Меншиков, которого ничего не стоило погубить противной стороне вследствие обвинений, лежавших на нем, вследствие явной опалы от Петра: новому правительству можно было погубить Меншикова во имя старого, дать вид, что произносит приговор, который произнес бы и Петр, если б не был остановлен рукой смерти. В таком же положении находился Толстой, на которого смотрели как на главного виновника несчастий царевича Алексея и который, следовательно, не мог ожидать ничего доброго при воцарении сына его. Генерал-прокурор Ягужинский, обязанный своим высоким местом Петру, не любимый родовитою знатью, как выскочка и человек честолюбивый, стремившийся играть самостоятельную, первостепенную роль, не мог ждать для себя ничего хорошего при воцарении внука Петрова, т.е. при торжестве старой знати; тесть Ягужинского канцлер граф Головкин также не мог надеяться удержаться на своем важном месте и защитить своих; старик по природе своей не был способен действовать в решительную минуту, мог только помогать советами своему энергическому зятю Ягужинскому. Макаров имел право также ждать для себя беды при торжестве старой знати, тем более что на нем лежали важные обвинения. Члены Синода, учреждения нового в церкви, – а церковные новизны более всяких других многим кажутся неприятны и опасны, – члены Синода при воцарении сына Алексея имели полное право бояться противодействия хотя некоторым мерам прежнего царствования, и прежде всего коллегиальному управлению церкви, а новый патриарх, конечно, уже не будет избран из синодальных членов. Всего больше должны были бояться двое главных членов Синода – Феодосий новгородский и Феофан псковский; первый, успевший по собственному сознанию нажить себе множество врагов неприятным характером и ревностью, иногда не по разуму, к новому порядку; притом в последнее время на него явились тяжелые обвинения, которыми враги его могли бы легко воспользоваться. Феофан, даровитый и тем более опасный защитник тех мер, которые прежде всего могли быть найдены неудобными при воцарении великого князя Петра, не уважаемый старою знатью, как архиерей, нелюбимый, как пришлец и выскочка, Феофан был в опасном положении и как автор духовного регламента, и особенно как автор «Правды воли монаршей», как защитник меры, которая была явно направлена к уничтожению прав сына Алексея. Мы не знаем,

были ли люди, которые считали себя вправе не желать вступления на престол малолетнего Петра во имя высших интересов, т.е. из боязни сильной, губительной для отечества реакции новому порядку вещей: изо всего было ясно, что никто из людей, высоко стоявших, не думал противодействовать просвещению, связи с образованным Западом, никто не желал возвращения ко временам царя Алексея Михайловича: но все же бескорыстные приверженцы нового порядка могли опасаться мер, ему вредных, например покинутия Петербурга, а следовательно, и флота и т.п. Наконец, могли бояться больших бед при малолетнем государе в том опасном по своей новости внутреннем и внешнем положении, в каком покидал Россию преобразователь.

Как бы то ни было, были сильные личные побуждения, заставлявшие многих людей противиться воцарению великого князя Петра: эти люди были поставлены высоко, имели большие средства действовать, но, что всего важнее, имели сильные личные средства, ум, энергию, усиленную сознанием страшной опасности своего положения. Это были люди, выдвинутые Петром на первый план за их способности, и были они окружены людьми также способными, которых будущность была тесно связана с их будущностью. В рядах противных были люди второстепенные по своему положению и по своим личным средствам, люди, не отличавшиеся особенною энергиею; для них было очень важно воцарить великого князя Петра, взять в его малолетство правление в свои руки, очистить двор от худородных выскочек; но в случае неудачи им не грозила такая опасность, какая грозила Меншикову и Толстому в случае их неудачи. Силы борцов во всех отношениях были неравные, и легко было предвидеть, на чьей стороне будет успех.

Когда Екатерина увидела, что нет более надежды на продолжение жизни Петра, то поручила Меншикову и Толстому действовать в пользу своих прав. Прежде всего, разумеется, нужно было склонить на свою сторону войско, находившееся в Петербурге. Гвардия была предана до обожания умирающему императору; эту привязанность переносила она и на Екатерину, которую видела постоянно с мужем и которая умела казаться солдату настоящею полковницею. Офицеры явились добровольно к императрице с уверениями в своей преданности и готовности пролить кровь свою для поддержания ее на престоле. Несмотря на то, сочли нужным обещать денежные выдачи; гарнизон и другие войска, не получавшие 16 месяцев жалованья, были удовлетворены; были разосланы указы, чтоб войска, находившиеся на работах, оставили их и возвратились к своим полкам для отдыха и для молитвы за императора; в столице стража была удвоена на всех постах и отряды пехоты двигались по улицам для предупреждения волнений. В чем другом состояла деятельность Меншикова и Толстого мы не знаем, только секретарь Меншикова Алексей Волков уверял впоследствии, что нажил себе болезней, помогая в это время советом и делом своему патрону. В ночь на 28 число вельможи, зная о предстоящей кончине императора, собрались в одной из комнат дворца для совещания о его преемнике. Главами приверженцев великого князя Петра являлись князья: Голицын, Долгорукий, Репнин; двое братьев Апраксиных разделились: младший, Петр Матвеевич, президент Юстиц-коллегии, недовольный в последнее время, был между приверженцами великого князя; старший, генерал-адмирал, держался противной стороны; кроме других побуждений в эту сторону могла его тянуть тесная связь с Меншиковым и

Толстым, но, как бы то ни было, иметь старика Апраксина на своей стороне было очень важно для Екатерины. Важно было и то, что на ее сторону стал генерал Иван Бутурлин, который был подполковником гвардии вместе с Меншиковым; происходя из старинной фамилии, Бутурлин, однако, был на стороне новых людей по враждебным отношениям к Репнину, президенту Военной коллегии. Князь Дмитрий Михайлович Голицын с товарищами понимали невыгоду своего положения, недостаточность своих средств и потому готовы были на сделку: предлагали возвести на престол великого князя Петра, а за малолетством его поручить правление императрице Екатерине вместе с Сенатом, представляя, что только этим средством можно избежать междоусобной войны. Но Меншиков, Толстой и Апраксин поняли всю опасность этого предложения для себя. «Это распоряжение, – говорил Толстой, – именно произведет междоусобную войну, которой вы хотите избежать, потому что в России нет закона, который бы определял время совершеннолетия государей; как только великий князь будет объявлен императором, то часть шляхетства и большая часть подлого народа станут на его стороне, не обращая никакого внимания на регентство. При настоящих обстоятельствах Российская империя нуждается в государе мужественном, твердом в делах государственных, который бы умел поддержать значение и славу, приобретенные продолжительными трудами императора, и который бы в то же время отличался милосердием для содействия народа счастливым и преданным правительству; все требуемые качества соединены в императрице: она приобрела искусство царствовать от своего супруга, который поверял ей самые важные тайны; она неоспоримо доказала свое героическое мужество, свое великодушие и свою любовь к народу, которому доставила бесконечные блага вообще и в частности, никогда не сделавши никому зла; притом права ее подтверждаются торжественною коронациею, присягою, данною ей всеми подданными по этому случаю и манифестом императора, возвещавшим о коронации». Слова Толстого находили сильное отзвучие в одном углу залы, где собрались гвардейские офицеры; никто из приверженцев великого князя Петра не решался спросить, зачем тут эти офицеры, а приверженцы Екатерины знали зачем. Раздались барабаны, и присутствовавшие узнали, что около дворца стоят оба гвардейских полка. Репнин решился спросить: «Кто осмелился привести их сюда без моего ведома? Разве я не фельдмаршал?» «Я велел прийти им сюда по воле императрицы, которой всякий подданный должен повиноваться, не исключая и тебя», – отвечал Бутурлин. Членам суда над царевичем Алексеем нашептывали: «Ведь вы подписали смертный приговор царевичу». Сильные споры продолжались до четырех часов утра; наконец князь Репнин, боявшийся, как говорят, усиления враждебной ему фамилии Голицыных, объявил, что он согласен с Толстым: надобно возвести на престол императрицу Екатерину без всякого ограничения, пусть властвует, как властвовал супруг ее. Тут и канцлер Головкин, молчавший до сего времени, объявил, что он того же мнения; за ним все присутствовавшие, кто волею, кто неволею, объявили, что согласны. Генерал-адмирал Апраксин, как старший сенатор, велел позвать кабинет-секретаря Макарова и спросил, нет ли какого завещания или распоряжений государя насчет преемника. «Ничего нет», – отвечал Макаров. Тогда Апраксин объявил, что в силу коронации императрицы и присяги, данной ей всеми чинами империи, Сенат провозглашает ее императрицею и самодержицею

со всеми правами, какими пользовался супруг ее. Составили акт, который был подписан всеми сенаторами и другими сановниками.

Покончивши это трудное дело, вельможи отправились в комнату умирающего. Когда Петр испустил дух, они снова возвратились на прежнее место. Через несколько времени явилась туда и Екатерина с герцогом голштинским; обливаясь слезами, она обратилась к сенаторам с трогательною речью, поручала себя им как сирота и вдова, поручала им и все свое семейство, особенно герцога голштинского, в надежде, что они будут оказывать ему такую же любовь, какую удостоивал его покойный император, и выполнят волю последнего относительно брака герцога на цесаревне. Когда она кончила свою речь, генерал-адмирал Апраксин бросается перед нею на колени и объявляет ей решение Сената; зала оглашается кликами присутствующих; на улице раздаются восклицания гвардии.

Почти одновременно с известием о кончине императора в Петербурге узнали о восшествии на престол императрицы. Много нового видели русские люди в последние 25 лет, и теперь, когда уже преобразователь испустил дух, увидели небывалое явление – женщину на престоле. Но каким образом она взошла на престол? Она была избрана вельможами; но избравшие не хотели прямо объявить России об этом избрании. В манифесте от Синода, Сената и генералитета говорилось: «О наследствии престола российского не токмо единым его императорского величества, блаженной и вечнодостоной памяти, манифестом февраля 5 дня прошлого, 1722 года в народе объявлено, но и присягою подтвердили все чины государства Российского, да быть наследником тому, кто по воле императорской будет избран. А понеже в 1724 году удостоил короною и помазанием любезнейшую свою супругу, великую государыню нашу императрицу Екатерину Алексеевну, за ее к Российскому государству мужественные труды, как о том довольно объявлено в народе печатным указом прошлого, 1723 года ноября 15 числа; того для св. Синод и высокоправительствующий Сенат и генералитет согласно приказали: во всенародное известие объявить печатными листами, дабы все как духовного, так воинского и гражданского всякого чина и достоинства люда о том ведали и ей, всепресветлейшей, державнейшей великой государыне императрице Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской, верно служили». Коронование Екатерины было выставлено как назначение ее наследницею престола по закону от 5 февраля.

В Петербурге присягнули спокойно. Один из иностранных министров, находившихся в это время здесь, писал своему двору: «Скорбь о смерти царя всеобщая; об нем мертвом так же жалеют, как боялись и уважали его живого; мудрости его правления и постоянным заботам его о просвещении народа обязаны полную безопасностью, которою пользуются здесь до сих пор; не заметно ни малейшего беспокойного движения».

В Петербурге все было тихо, но боялись волнения в Москве; Туда немедленно был отправлен генерал Дмитриев-Мамонов с поручением распорядиться военными силами для сохранения порядка. От 2 февраля Мамонов уже доносил императрице, что он приехал в Москву накануне, в 9-м часу пополудни, и принял команду; по рапортам, числилось в старой столице 2041 солдат, но на деле Мамонов нашел меньше и потому удержал 1000 пеших драгун, которые должны были выступить в Нарву, также велел прибыть в Москву из губернии с вечных квартир 365 конных драгун. Граф Матвеев, бывший, как мы видели, в Москве в

звании председателя сенатской конторы, писал Макарову 9 февраля: «Сего месяца, в 3-е, по получении здесь того злопачевого из С.-Петербурга с сенатским курьером известия и печального манифеста, когда при бесчисленном множестве собрания всякого чину людей здесь в соборной великой церкви публично о той трагедии было прочтено, такой учинился от народа всего, наипаче же при панихиде, вой, крик, вопль слезной, что нельзя женам больше того выть и горестно плакать, и воистину такого ужасу народного от рождения моего я николи не видал и не слышал, что, как слышно, и по всем приходам и улицам по той же публикации чинилось, и все при господней помощи до сего времени здесь так тихо, как и прежде сего было, и для будущей осторожности впредь все способные и безопасные меры у меня с генерал-майором Дмитриевым-Мамоновым упержены и приняты суть». Несмотря, однако, на эти успокоительные известия, когда в марте-месяце Макаров доложил императрице о возвращении Мамонова в Петербург, то она сказала, чтобы генерал провел праздник Пасхи в Москве и смотрел, не будет ли в праздничные гуляющие дни каких шалостей. Относительно раскольников Сенат и Синод согласно рассудили приводить их в Москве к присяге в тех же церквях, где присягают и православные; но распорядиться приводом их к присяге московское начальство должно было по совету с Питиримом, архиепископом нижегородским, который для этого спешил из Петербурга в Москву.

Шалостей не было, но во время приведения к присяге некоторые оказали сопротивление. Двое братьев, уроженцы пригородка Судислава Костромской провинции, из подлых людей, как тогда говорилось, объявили Матвееву и Мамонову, что они к присяге не пойдут, императрицу за государыню себе не признают, и прежде не признавали, и никогда верными не были, потому что они по указам в двойной платеж раскольниками подписались и этим платежом денег свободу себе получили и, раз объявивши себя раскольниками, верными им быть нельзя. Их подвергли жестокой пытке: дали 30 ударов кнутом, жгли вениками, но ничего не добились – раскольники не только не охнули, но ни одним составом не дрогнули, лежали, закуся язык. Донося об этом, Матвеев писал, что от двойного оклада на раскольников государству прибыль малая, а расколичеству поощрение, и вперед может быть большой вред; лучше бы двойной оклад снять и, расписав раскольников по частям, гонять вместо солдат на всякие тяжелые работы, как сделали Львовичи Нарышкины с своими раскольниками – чашниковскими крестьянами. Впрочем, раскольники, которые так испугали Матвеева «своею неподобною адскою замерзелью», вытерпели только первую пытку; когда же их привели в другой раз в застенок, то объявили себя готовыми присягать. И в других местах оказались ослушники, которые говорили, что Екатерина не прямая царица; другие говорили: «Креста целовать не буду: если женщина царем, то пусть и крест целуют женщины». Толковали: «Нестаточное дело – женщине быть на царстве, она же иноземка». Неправильность брака Екатерины с Петром находили в том, что воспреемником ее при обращении в православие был царевич Алексей, следовательно, Петр женился на внучке своей. Известная уже нам сказка о плене настоящего Петра в Швеции стала теперь оканчиваться тем, что он освободился из плена и скоро явится. Изюмского уезда Святогорского монастыря старец Варлаам рассказывал: «Царь наш Петр жив, ходил в Турецкую землю послом, а из той земли пошел в город Стекгольм, а тот

город держит царица; и к той царице отписал турок; пошел к тебе посол русский царь, понеже наши земли он осматривает; а та царица его не отпустила, посадила под караул и вместо его избрала такого ж молодца и послала его в Россию на царство. И по приезде своем начал бороды брить и платья резать по-своему и жаловал своих неверных в высокие чины, и никто его не познал, токмо познала царица, и он ее от себя отринул и взял себе иную, а сам пошел на службу, а царевич остался на царстве; и говорил ему царевич: ты изволишь идти на службу и меня оставляешь на царство, позволь мне сделать звон, чтоб было слышно по всей земле; а по отъезде его на службу царевич начал неверных гнать, чтоб их не было в царстве, и, услыша, он возвратился назад и царевича уходил сам, а потом и сам умер, а ее пожаловал на царство. А теперь царь наш из неволи избавился через купецкого человека, который ездил на кораблях с товаром, а пришедши, поднес той царице великие дары, и она за тот дар его чествовала, и пошел он по темницам милостыни давать, и нашел его в особой темнице, а с ним двух человек, и стал он тоже царицу просить на корабль к себе на банкет, и та царица на корабль с своими служителями пришла и гуляла довольно, и помянутый купец поднес им пойла, и от того пойла они все уснули, и с теми кораблями от того города уехал и их увез; и как они проснулись, стали его просить, чтоб он отпустил их и – чего желаешь, то тебе дадим, и он им сказал: ничего от вас не хочу, только дайте мне трех невольников, и отдали царя Петра и с ним двух человек, и, взявши, он привез. Да удивляюсь я, что он и поныне не объявился; а о царевиче сказывают, что у тестя своего – цесаря». Варлаам объявил, что он слышал этот рассказ от дегтярного дела мастера. Толковали, что Екатерина испортила Петра. Козак-раскольник говорил: «Когда государь преставлялся, про себя сам говорил: еще было мне жить, да мир меня проклял. Жесток он, государь, был, а сказывают, что внук его жесточае его будет». Поп говорил: «Похваляют, что император наш был мудрен, а что его мудрость? Затеял подушную перепись себе на безголовье, а всему народу на изнуренье и вручил свое государство нехристианскому роду, что хорошего – указал по форме молиться за неверных! Все то изложили и указали и всю землю вязали большие бояре; как прежде сего они, бояре, пролили кровь стрелецкую, так и им, боярам, отольется кровь на главы их: в долго ль или в коротко будет не без смятения». Монахиня говорила: «Я за царицу бога не молю, молю бога за царевича: какая она царица?» Но этими выходками и ограничилось сопротивление.

При спокойной скорби совершились в Петербурге печальные церемонии. Никогда во время жизни преобразователя новые обычаи, которые усвоила себе Россия, не высказывались так резко, как во время его похорон, потому что при жизни он не позволял роскоши, но гроб его постарались окружить всевозможным великолепием. 30 января набальзамированное тело покойного императора было выставлено в меньшей дворцовой зале, и народ был допущен для прощания. Между тем генералы Брюс и Бок приготавливали печальную залу, которая была готова к 13 февраля. Между обычными украшениями, употреблявшимися в подобных случаях при дворах европейских, виднелись пирамиды с надписями.

На одной читали: от попечения о церкви
Именем и делом Петру Верховному подражавый,
Боговенчаннй верх наш Петр остави нас.

Ревнитель благочестия, рачитель исправления;
Суеверия и лицемерия ненавистник.
О женише церковный Христе! Утеши невесту Твою.
На другой: о исправлении гражданства
Что воздаси, о Россия! истинному отродившему тебя
отцу твоему?
Он тебя уставы правительскими мудрую,
Законы судебными здравую,
Искусств различием благообразную сотвори.
Едина в тебе благодарствия сила
В верности и послушании ко наследнице его.
На третьей: от обучения воинства
Изнемог телом, но не духом,
Уснул от трудов, Сампсон российский.
Трудолюбием подал силы воинству,
Бедствием же своим безопасие отечеству.
Но, о пременения жалостного!
Почившу же ему временно, вечно же торжествующу,
Стонем мы и сетуем.
На четвертой: от строения флота
Нового в мире, первого в России Иафета,
Власть, страх и славу на море простершего
И нам в сообщение вселенную приведшего
Плавающего уже не узрим.
Ныне нам воды – слезы наши,
Ветры – въздыхания наши.

13 февраля гроб императора был перенесен в печальную залу; в первых числах марта увидели подле него другой гроб – шестилетней дочери Петра цесаревны Натальи. 8 марта тело императора было вывезено в Петропавловский собор; процессия разделялась на 166 номеров; гроб цесаревны несли. По окончании литургии в соборе взошел на кафедру Феофан Прокопович и произнес знаменитую проповедь, начинавшуюся словами: «Что се есть? до чего мы дожили, о россияне! что видим? что делаем? – Петра Великого погребаем!» Проповедь была кратка, но говорение ее продолжалось около часа, потому что прерывалось плачем и воплем слушателей, особенно после первых слов. В утешение оратор решился сказать: «Не весьма же, россияне! изнемогаем от печали и жалости: не весьма бо и оставил нас сей великий монарх и отец наш. Оставил нас, но не нищих и убогих: безмерное богатство силы и славы его, которое вышеименованными его делами означилося, при нас есть. Какову он Россию свою сделал, такова и будет; сделал добрым любимую, любима и будет; сделал врагом страшную, страшна и будет; сделал на весь мир славною, славная и быти не пристанет. Оставил нам духовная, гражданская и воинская исправления. Убо, оставляя нас разрушением тела своего, дух свой оставил нам».

Тело посыпали землею, закрыли гроб, разостлали на нем императорскую мантию и оставили на катафалке под балдахином среди церкви. Так оставался он до 21 мая 1731 года.

31 марта 1725 года в Петропавловском соборе шла всенощная; входит генерал-прокурор Ягужинский, становится близ правого клироса и говорит, показывая на гроб Петра: «Мог бы я пожаловаться, да не услышит, что сегодня Меншиков показал мне обиду, хотел мне сказать арест и снять с меня шпагу, чего я над собою отроду никогда не видал».

Что же такое случилось, за что поссорились птенцы Петра? Меншиков обижают. Возведение на престол Екатерины было торжеством и спасением для светлейшего князя. В последнее время жизни Петра он мало мог иметь надежды возвратить доверие и расположение императора; отнятие места президента Военной коллегии показывало ему, что государь не намерен ограничиваться одними угрозами и денежными взысканиями. Но смерть Петра и воцарение внука его грозили еще большею опасностью; и вот опасности больше нет, восходит на престол Екатерина, которая до последней минуты была ревностною защитницею Меншикова, при которой он будет сильнее, чем когда-либо был при покойном императоре. Надежды, по-видимому, сбылись: Меншиков получил такую большую власть, какую только подданный может иметь, доносили иностранные министры дворам своим. Место президента Военной коллегии было ему возвращено. Меншикову по его характеру хотелось бы еще больше силы и власти, больших почестей, и Екатерина, как видно, должна была сдерживать его алчность. Сдерживать было необходимо: враждебная ей сторона родовитых вельмож потерпела поражение, не могла возвести на престол великого князя, но она существовала и была сильна, тронуть ее, пренебрегать ею было очень опасно, а главным виновником неудовольствия этой партии был Меншиков; всего более оскорбляло громадное, подавляющее значение этого выскочки; дать еще большее значение Меншикову значило не только раздражить сильную партию, но и заставить броситься в нее и других людей, прежде от нее далеких и приверженных к Екатерине. Императрица не могла не видеть, что опасность только устранена на время, но не уничтожена, что она обязана своим восшествием на престол преимущественно малолетству великого князя Петра, который в глазах огромного большинства народа остается законным наследником, что, следовательно, партия родовитых вельмож будет всегда иметь поддержку в этом большинстве. В Петербурге гвардия на стороне Екатерины; но есть еще армия; постоянный страх нагоняла украинская армия, находившаяся под начальством популярнейшего из генералов – князя Михайлы Михайловича Голицына, который был совершенно в воле старшего брата, князя Дмитрия Михайловича. Враждебного движения украинской армии ждали в первые дни царствования Екатерины, и потом, когда возникало неудовольствие, начинали ходить слухи о заговоре против Екатерины в пользу великого князя Петра, сейчас же присоединялись слухи о движениях украинской армии. Отсюда понятны причины, почему Меншикова сдерживали. Ему хотелось быть генералиссимусом, хотелось, чтобы прекращено было всякое следствие по его злоупотреблениям, хотелось получить Батурина, которого ему не дал Петр Великий. Но 1725 год проходил, и Меншиков не получал желаемого. Приближалось 24 ноября, день именин Екатерины, и Меншиков обращается с письмом к Макарову, оставшемуся в прежнем значении и теперь; тон письма, униженный и повелительный вместе, всего лучше обрисовывает тогдашнее положение Меншикова: «В первом моем прошении включено о штрафе и о счете; но так как по приговору Сената, по силе

милосердых ее императорского величества указов велено как с прочих со всех, так и с меня все штрафы снять, то вашу милость просим, о том ее величество трудить не извольте, а извольте доложить ее величеству по последнему нашему прошению и пунктам и по кратким табелям, которые я вам отдал, и сие изволите исполнить, не упустя нынешнего времени, в чем на вашу милость, яко на моего благодетеля, есмь благонадежен и пребываем вашей милости доброжелательный». Через день Меншиков подал письмо самой императрице: «Всенижайше просил я у вашего величества на поданные мои просительные пункты решения, на которые и ныне сим моим всенижайшим кратким письмом паки прошу милостивейшей резолюции, а именно о первом пункте (т.е. о звании генералиссимуса) предаю в милосердие вашего величества, а от его императорского величества хотя я тем был и не пожалован, однако ж по воле его величества то делал, что тому чину делать надлежит; и от его императорского величества в правительствующий Сенат, и в канцелярии, и во все государство указы были посланы за собственною его величества рукою, чтоб как от его величества, так и от меня посланных указов все слушали и по оным исполняли; и тако из сих двух резонов единое вашему величеству учинить возможно, и я прошу не для себя, но для самодержавной власти вашего величества. На прочие пункты (насчет Батурина) прошу не вновь какого награждения, но против данного от его величества диплома и собственною его величества рукою подписания вместо взятых моих вотчин; а о службе моей и верности как при животе его императорского величества, так и по кончине бывших вашему императорскому величеству известно: и того ради уповаю, что, ваше величество, по превысокой своей матерней ко мне милости в день тезоименитства своего тем меня обрадовать изволите». Но Меншиков не был обрадован: только в декабре 1725 года уничтожены счетные дела его, и только в июне 1726 года дан ему Батурин с 1300 дворами и 2000 дворов, принадлежавших к Гадяцкому замку.

Подле Меншикова виднее других при дворе Екатерины стоял граф Петр Андреевич Толстой по своим способностям, тонкому и твердому уму, умению дать делу желаемый оборот, наконец, по единству интересов; императрица, как замечали, решительно не могла обойтись без его советов. Но, конечно, и без советов Толстого Екатерина понимала, что если, с одной стороны, Меншиков был сила, которой она не должна была лишать себя при своем вовсе не твердом положении, то, с другой стороны, эту силу надобно было сдерживать, чтоб не возбудить всеобщего неудовольствия. По единству интересов Толстой не мог ссориться с Меншиковым; старик Апраксин по-прежнему крепко держался обоих; но третье самое видное лицо подле Меншикова и Толстого – Ягужинский – по характеру своему не мог щадить светлейшего князя при споре о делах и выходил из себя, особенно когда был *шумен*, по тогдашнему выражению. Так, 31 марта 1725 года в споре о внешней политике он наговорил множество оскорбительных вещей Меншикову и генерал-адмиралу Апраксину, после чего отправился в Петропавловский собор и там, как мы видели, громко жаловался на Меншикова, обращаясь к гробу Петра Великого. Скандал был страшный; императрица сильно рассердилась на Ягужинского. Герцог голштинский выпросил у нее прощение генерал-прокурору с условием, что он будет просить прощение у Меншикова и генерал-адмирала, что Ягужинский и исполнил.

Герцог голштинский выпросил прощение Ягужинскому; по крайней мере делу дан был такой вид; герцог же голштинский сильно хлопотал о возвращении Шафирова из ссылки, и Шафиров в марте 1725 года возвратился в Петербург и был очень милостиво принят императрицею и цесаревнами, хотя и не получил прежнего значения; по ходатайству герцога голштинского сын казненного князя Гагарина получил часть отцовского имения. Это новая сила! 21 мая 1725 года в Троицком соборе совершен был наконец брак герцога с старшею цесаревною, Анною Петровною, и по случаю этого торжества люди, известные своим нерасположением ко второму браку Петра Великого и к детям от этого брака, получили важные награды; князь Михайла Михайлович Голицын произведен в фельдмаршалы, брат его, князь Дмитрий Михайлович, князь Василий Лукич Долгорукий, Граф Петр Апраксин произведены в действительные тайные советники. В 1725 году иностранные министры при русском дворе были уверены, что Екатерина объявит своею наследницею цесаревну Анну Петровну; герцог старался выставить себя с выгодной стороны, являлся примирителем вельмож, старался войти в Сенат, чтоб получить опытность во внутренних делах и познакомиться с духом народа. Говорили, что вельможам это было неприятно, потому что они хотели управлять государством при женщине. Это неудовольствие, однако, не было опасно для герцога: между вельможами не было единства, каждый старался опередить других в доверии императрицы. Говорили, что Екатерине нечего опасаться, если только она будет хорошо содержать войско, чрезвычайно ей преданное. Говорили также, что герцог голштинский не способен к самостоятельному действию, что им руководит министр его Бассевич, человек, соединявший с чрезвычайно пылким воображением смелость, способность втираться, но имевший мало скромности и правоты.

Вельможи хотели управлять при женщине и теперь действительно управляли. В ночь на 28 января много было говорено в пользу Екатерины, в пользу ее мужества и способностей правительственных, которые были развиты под руководством великого человека, не имевшего от нее тайн государственных. Но, оставя в стороне желание сторонников Екатерины превознести ее достоинства, мы должны заметить, что знаменитая ливонская пленница принадлежала к числу тех людей, которые кажутся способными к правлению, пока не принимают правления. При Петре она светила не собственным светом, но заимствованным от великого человека, которого она была спутницею; у нее доставало умения держать себя на известной высоте, обнаруживать внимание и сочувствие к происходившему около нее движению; она была посвящена во все тайны, тайны личных отношений окружающих людей. Ее положение, страх за будущее держали ее умственные и нравственные силы в постоянном и сильном напряжении. Но вьющееся растение достигало высоты благодаря только тому великану лесов, около которого обвивалось; великан сражен – и слабое растение разостлалось по земле. Екатерина сохранила знание лиц и отношений между ними, сохранила привычку пробираться между этими отношениями; но у нее не было ни должного внимания к делам, особенно внутренним, и их подробностям, ни способности починать и направлять. В этом отношении место Петра Великого оставалось праздным. А между тем поднимались со всех сторон вопросы, не терпящие отлагательства в решении. Среди развалин старого поднимались новые здания – иные недостроенные, другие только что начатые, третьи уже разрушающиеся. Великой

трудности было дело разобраться в материале преобразования. Посмотрим же, как люди, оставленные Петром России, разбирались в нем.

В самом начале царствования, 5 февраля 1725 года, императрица указала: из подушных денег, из 74 копеек, убавить по четыре копейки. Но генерал-прокурор Ягужинский счел своею обязанностью подать императрице записку, в которой требовал более действительных мер для облегчения крестьян. «Конъюнктуры, – писал Ягужинский, – такого состояния суть, что прилежного и скорого рассуждения к поправлению нынешнего в государстве состояния требуют, и впредь как внутри, так и вне государства для целости государства и народа меры взять крайняя нужда настает. И хотя я, вашего величества низжайший раб по всепокорнейшей своей должности, донныне собственными трудами и всегдашним о всех нуждах напоминанием продолжал, однакож мало что успеваает, и большая часть токмо в разговорах о той и другой нужде с сожалением и тужением бывает, а прямо никто не положит своего ревностного труда; совесть же моя долее того смотреть не может, и тако, должность и совесть свою очищая, представляю о том вашему величеству. И чтоб обо всем вашему величеству совершенно быть известну, то, мнится, надлежит у всех господ министров порознь взять на письме, каким образом в настоящих конъюнктурах всякий по своей должности совет даст поступать; а как я усматриваю, не без нужды суть следующие: внутренняя опасность, что уже несколько лет хлебу род худой и от подушного сбора происходит великая тягость оттого: а) что беглые и умершие и взятые в солдаты в 719 году не выключены; б) престарелые, увечные и младенцы, от которых никакой работы нет, в тот же оклад положены, а подушные деньги правят на наличных, чего ради в такое неурожайное время крестьяне не токмо лошадей и скот, но и семенной хлеб распродавать принуждены, а сами терпеть голод, и большая часть может быть таких, что к пропитанию своему впредь никакой надежды не имеют, и великое уже число является умерших ни от чего иного, токмо от голоду (и небезужасно слышать, что одна баба от голоду дочь свою, кинув в воду, утопила), и множество бегут за рубеж польский и в башкиры, чему и заставы не помогают, и такой после расположения полков на квартиры в душах ущерб является, что в одном Вологодском полку, который расположен в Казанской губернии, убыло с лишком 13000 душ, из которых показано умерших 8000, беглых – 3000, взятых в солдаты – 340, а прочие вдвое написаны и вывезены беглые на прежние жилища. Да в той же губернии из определенного числа душ на тамошний гарнизонный полк бежало в Башкиры 2043 души. И ежели далее сего так продолжить и подушные деньги править на оставших, то всякому Российского отечества сыну, соболезнуя, рассуждать надлежит, дабы тем так славного государства нерадивым смотрением не допустить в конечную гибель и бедство».

По мнению Ягужинского, необходимо было убавить еще подушную подать, потому что полки, находясь внутри государства, могут жить и на половинном жалованье. Офицеров отпускать попеременно домой; также надобно, хотя из младших братьев оставлять по хозяину в доме, ибо тогда только будут крестьяне в призрении и государственные сборы порядочны. Привести в исполнение указ Петра Великого, чтоб один из сенаторов объезжал все провинции для пресечения воровства и приведения в порядок сборов; он должен иметь право наказывать телесно и казнить смертию, иначе ни страха, ни порядка в провинциях не будет. Доходов всех около 8 миллионов, а нет ли какого ущерба, того без ревизии знать

нельзя: надобно восстановить Ревизион-коллегию, чтоб могла без доклада Сенату считать и взыскивать. Всякое государство держится на двух подпорах – земледелии и торговле; но последняя теперь в чрезвычайно слабом состоянии. Тариф составлен и внесен в Сенат для апробации; но сенаторы так же опыты в торговом деле, как и в кузнечном, потому не диво, если что и просмотрено будет в тарифе. Всем известно, как портовые служители обижают купцов по тарифу, и так об этом надобно подумать, чтоб иностранное купечество не отогнать. Осенью 1725 года Ягужинский поднял крестьянский вопрос в Сенате. Ему возражали: «Неурожай не всеобщий: в других местах рожь родилась средняя, а яровой всегда родился изрядно, и пред прошлыми годами хлеб везде дешевле. Крестьян от побегов удержать можно таким образом: надобно из них выбрать сотников, пятидесятников, десятников и перепоручить всех круглою порукою, о чем из Военной коллегии указами объявлено, а ныне надобно о том вторично подтвердить, отчего побег удержать можно, это будет крепче караулов, потому что все крестьяне друг друга принуждены будут караулить; нельзя тому стать, чтоб крестьяне друг о друге не узнали, ибо кто захочет бежать, то перед побегом спроваживают из домов в другие способные к побегу места скот и пожитки и с собою берут жен и детей, а иные перед побегом все продают». Но эти замечания не подействовали, Сенат дал императрице такое мнение: блаженной памяти государь император указал армию и гарнизоны положить на число мужеского пола душ и на содержание их брать со всех тех, которые написаны в сказках в 719 году, по 74 копейки с души, а прежде бывшие сборы все отставить; а в нынешнем, 1725 году ее императорского величества указом сбавлено по 4 копейки с души. Ныне действительным сбором оказалось, что никаким образом того платежа понести не могут, и осталось того положенного на них окладу в доимке на прошлый год близ миллиона; а сего года на прошедшие две трети собрано разве с малым чем половина по следующим невозможностям: 1) несколько лет неурожай; 2) платежом подушных денег земские комиссары и обретающиеся на вечных квартирах штаб- и обер-офицеры так притесняют, что не только пожитки и скот распродавать принуждены, но многие и в земле посеянный хлеб за бесценок отдают и оттого необходимо принуждены бегать за чужие границы; 3) правят на наличных крестьянах подушные деньги за отданных в рекруты, умерших, беглых, дряхлых, увечных и младенцев. Сенат предлагал: исключить убылых и на 1726 год взять с наличных по 60 коп., а на будущие годы брать по 70; уменьшить расходы на армию, уменьшить число войска.

Трудный вопрос, связанный с многими другими, был предоставлен решению другого учреждения.

В апреле 1725 года государыня указала правительствующему Сенату для доклада приходить к ней каждую неделю по пятницам; но в том же месяце уже пронесся слух, что над Сенатом будет поставлено новое высшее учреждение, членами которого будут немногие самые доверенные и знатные лица. В начале 1727 года эта мысль осуществилась по следующему, как рассказывают, поводу. В последних числах 1725 года в Сенате происходил жаркий спор: Миних прислал требовать 15000 солдат для окончания Ладожского канала; требование поддерживали Толстой и генерал-адмирал Апраксин, говоря, что необходимо окончить такую полезную работу, необходимо кончить ее и из уважения к памяти Петра Великого. Меншиков говорил против, указывал, что войска погибают на

работах и что солдаты набираются с такими издержками и заботами не для того, чтоб землю копать. Ему замечали, что если бы несколько солдат и погибло на канале, то все же эта работа полезна для войска: солдаты заняты, а между тем сохраняются деньги, которые бы пошли на наем работников. Тут Меншиков покончил спор, вставши и объявивши по приказанию императрицы, что этот год ни один солдат не будет употреблен на канале, ибо она назначает для войска другое занятие. Сенаторы разошлись, крайне оскорбленные: совершенно равный им товарищ объявляет им волю императрицы и смеется над ними, заставляя их спорить понапрасну. Начали рассуждать о средствах, как бы сломить значение Меншикова; говорили, что не станут ездить в Сенат. В начале нового, 1726 года разнесся слух, что недовольные вельможи хотят возвести на престол великого князя Петра с ограничением его власти, что австрийский двор благоприятствует этому, что движение начнется в украинской армии, которую начальствует князь Михаил Михайлович Голицын. Толстой, видя опасность для Екатерины и ее дочерей, начал хлопотать, как бы прекратить неудовольствие, ездил к Меншикову, Голицыну, Апраксину, и результатом этих поездок и совещаний было учреждение *Верховного тайного совета*, где главные сановники должны быть членами с равным значением под председательством самой императрицы, где, следовательно, никто не мог провести ничего без общего ведома и обсуждения. Указ об учреждении Верховного тайного совета, изданный в феврале 1726 года, говорил следующее: «Понеже усмотрели мы, что тайным действительным советникам и кроме сенатского правления есть немалый труд в следующих делах: 1) что они часто имеют по должности своей, яко первые министры, тайные советы о политических и о других важных государственных делах; 2) из них же заседают некоторые президентами в первых коллегиях, отчего в первом и весьма нужном деле, в Тайном совете, немалое им чинится помешательство, да и в Сенате в делах остановка и продолжение оттого, что они за многодеельством не могут вскоре чинить резолюции и на государственные внутренние дела. Того для за благо мы рассудили и повелели с нынешнего времени при дворе нашем как для внешних, так и для внутренних государственных важных дел учредить Верховный тайный совет, при котором мы будем сами присутствовать. В том Верховном тайном совете быть при нас из первых сенаторов, а вместо их в Сенат выбраны будут другие, которые всегда при одном сенатском правлении будут. Быть при нас в Тайном верховном совете нижеписанным персонам: генерал-фельдмаршалу и тайному действительному советнику светлейшему князю Меншикову; генерал-адмиралу и тайному действительному советнику графу Апраксину; государственному канцлеру, тайному действительному советнику графу Головкину; тайному действительному советнику графу Толстому; тайному действительному советнику князю Голицыну; вице-канцлеру и тайному действительному советнику барону Остерману».

Избранные члены подали императрице «мнение не в указ о новом учрежденном Тайном совете»: 1) «Тайный совет может для домашних и внутренних дел в среду, а для чужестранных дел в пяток съезжаться, но когда случится много дел, то назначается чрезвычайный съезд. 2) Так как ее величество в Тайном совете президентство сама имеет и есть причина надеяться, что она персонально часто присутствовать будет, то этот Тайный совет не следует считать за особливую коллегия, потому что он служит только к облегчению ее величества

в тяжком бремени правления, все дела скорее будут отправляться, и не один человек будет думать о приращении безопасности ее величества и государства; чтоб безопаснее высоким ее именем указы выходили, надобно писать в них так: вначале – „мы, божию милостию и проч.“, в середине – „повелеваем и проч.“ и на конце – „дан в нашем Тайном совете“. 3) Никаким указам прежде не выходить, пока они в Тайном совете совершенно не состоялись, протоколы не закреплены и ее величеству для всемилостивейшей апробации прочтены не будут, и потом могут они быть закреплены и разосланы действительным статским советником Степановым. 4) Рапорты, доношения или представления, которые могут приходиться на решение в Верховный тайный совет, подписываются прямо на имя ее императорского величества с прибавкою: к поданию в Тайном совете. 5) Когда ее величество сама присутствовать изволит, то в ее всемилостивейшее соизволение о том предлагать, что заблагорассудит; когда же она присутствовать не изволит, то лучше каждому члену дать какой-нибудь департамент или повытье, о каких делах он предлагать имеет, дабы прежде довольно рассудить: а) потребное ли это дело; б) как его лучше решить, дабы тем легче было императорскому величеству принять свое решение. 6) В Тайном совете надобно два протокола держать: один – образом журнала, который подписывать не нужно; другой должен содержать резолюции и определения, и его члены закрепляют. 7) Тайному совету надобно иметь свою канцелярию и дела разделить, чтоб все порядочно было и без конфузии благовременно отправлено быть могло. Так как эта канцелярия должна служить образцом для других, то надобно, чтоб в ней не было столько ненужной переписки и штат ненужными служителями не отягощать; поэтому в учреждении канцелярии надобно поступать очень осторожно и все постановить с великим рассуждением, дабы и в содержании секретных дел безопаснее было. 8) Чужестранные министры остаются при коллегии Иностранных дел; но коллегия должна всегда о предложениях их доносить ее императорскому величеству в Тайном совете. 9) Дела, подлежащие ведению Тайного совета, суть: а) чужестранные; б) все те, которые до ее императорского величества собственного высочайшего решения касаются. 10) Сенат и прочие коллегии остаются при своих уставах; но дела особенной важности, о которых в уставе нет определений или которые подлежат собственному решению ее императорского величества, они должны с своим мнением передавать в Верховный тайный совет. 11) Первые три коллегии (Иностранная, Военная и Морская) под Сенатом быть не могут, как и без того Иностранная никогда от него не зависела. 12) Апелляции на Сенат и на три коллегии к ее императорскому величеству должны быть позволены и рассматриваются в Верховном тайном совете; но если апелляция окажется неосновательною, то апеллировавший наказывается лишением жизни, чести и имени, чтоб ее величество и Тайный совет дерзкими апелляциями утруждаемы не были. 13) Так как Тайному совету принадлежит надзор над всеми коллегиями и прочими учреждениями, о чем еще разные полезные определения могут быть постановлены, то не надобно очень торопиться, потому что все это делается высочайшим ее императорского величества именем, дабы польза всей империи тем лучше могла быть получена и в народе наибольшее прославление находила и явна была. Так как сношения с Сенатом и другими коллегиями остановились затем, что не знают, как Сенат титуловать, ибо правительствующим уже писать невозможно, для того Сенату придать титул *высокоповеренный* или просто

высокий Сенат. Синод пишет в Сенат указы о старых обыкновенных делах, о новых же доносит ее императорскому величеству в Тайном совете».

Императрица одобрила проект, только заметила на 3-й пункт: о важных делах, составя протоколы на мере и не подписав наперед для апробации ее императорскому величеству, вносить одному или двоим членам Совета и по апробации подписывать и в действо производить. На 5-й: об особых департаментах составить особое мнение с изъяснением. На 13-й: не лучше ли Синоду с Сенатом сноситься промемориями или как прежде Синод сносился с Вышним судом; о новых же синодских делах и как Синоду впредь выдавать указы, об этом составить мнение с изъяснением. Отнявши у Сената титул *правительствующего*, сочли последовательным отнять его и у Синода.

Новость произвела сильное впечатление. Иностранным министрам представилось, что это шаг к перемене формы правления. Между сенаторами, не попавшими в Верховный тайный совет, страшное неудовольствие. Из шести членов нового учреждения старое родовитое вельможество имело только одного представителя – князя Дмитрия Михайловича Голицына; между пятью остальными, людьми новыми, выдвинувшимися при Петре Великом, не видали одного из самых видных – Ягужинского, который был в отчаянии: по всем вероятностям, в его исключении была сделана уступка Меншикову, с которым Ягужинский не переставал враждебно сталкиваться и после описанной истории 31 марта. Обижен был Матвеев, которого как сенатора отправили ревизовать Московскую губернию; на его место председателем Московской сенатской конторы отправили старика графа Ивана Мусина-Пушкина. И этот был сильно обижен. Сам старик и сын его, граф Платон, писали об этом Макарову. Чтоб обратить на себя внимание, старик просил увольнения от всех дел за старостью. Ему не отвечали, и он объявил, что если угодно ее величеству, то он остается у дел. «Покорно прошу, – писал он Макарову, – приложенное письмо вручить светлейшему князю, понеже я мню, что нет ли его светлости на меня какого гнева, ибо многое уже время от его светлости я к себе писем не имею, и на мои письма не изволит писать, и может быть, что здешние мои злодеи могут его светлости напрасно меня и обнести; токмо я ни в чем его светлость не прогневил, и прогневить мне невозможно за его ко мне и к детям моим милость, и по указам его светлости всегда без всякие противности все исполнял; того ради вас прошу, если есть его светлости на меня гнев, прошу меня пред ним оправдать».

Ягужинский, Матвеев, Мусин-Пушкин не в числе членов Верховного тайного совета; а немец Остерман там! Мы видели деятельность Остермана при Петре Великом, видели, как он выдвинулся при нем. Как видно, Петр был недоволен Шафировым как вице-канцлером, быть может, по враждебности его отношений к Головкину; это видно из письма Скорнякова-Писарева к императору в октябре 1722 года: «О нем же, Шафирове, изволил ваше величество Павлу Ивановичу (Ягужинскому) и мне говорить, чтоб ему только сидеть в Сенате, а в коллегии Иностранных дел управлять Гаврилу Ивановичу (Головкину) и Остерману с прочими, а он и ныне ту коллегию за вице-президента ведает». Таким образом, с падением Шафирова возвышался Остерман. Однако Петр не дал ему звания вице-канцлера. После смерти Петра в начале нового царствования иностранные министры замечали, что Остерман не пользуется прежним значением, но это было ненадолго. Без Остермана обойтись было трудно. Юные, широкие натуры русских

людей, оставленных России Петром, были мало склонны к постоянному усидчивому труду, к соображению, изучению всех подробностей дела, чем особенно отличался немец Остерман, имевший также важное преимущество в образовании своем, в знании языков немецкого, французского, итальянского, усвоивший себе и язык русский. И вот при каждом важном, запутанном деле барон Андрей Иванович необходим, ибо никто не сумеет так изучить дело, так изложить его, и барон Андрей Иванович незаметно идет все дальше и дальше; его пропускают, тем более что он не опасен, не беспокоен, он один, он не добивается исключительного господства: где ему? он такой тихий, робкий, сейчас и уйдет, скроется, заболит; он ни во что не вмешивается, а между тем он везде, без него пусто, неловко, нельзя начать никакого дела; все спрашивают: где же Андрей Иванович? Для министров иностранных это человек важный и опасный: он при обсуждении дела не закричит, как неистовый Ягужинский, но тихонько укажет на такую «конъюнктуру», что испортит все дело. 24 ноября 1725 года, 9 день именин императрицы, Остерман был сделан вице-канцлером; в начале 1726 года попал в список членов Верховного тайного совета. Каково же было узнать об этом графам Мусину-Пушкину и Матвееву? Мусин-Пушкин думал, что могущественный Меншиков помешал ему быть членом нового верховного учреждения; но Меншиков сам скоро получил большую неприятность в этом учреждении. 17 февраля Макаров объявил в Верховном тайном совете, что «ее величества соизволение есть, дабы его королевское высочество герцог голштинский присутствовал в Совете, когда ему донесут, что бытность его потребна». Для Меншикова это было неожиданно; он спросил Макарова, так ли он понял повеление государыни и в точности ли объявил его Совету? Когда Макаров ответил утвердительно, то светлейший князь отправился к императрице для испрошения «вящшей резолюции»; но этой вящшей резолюции не последовало. 23 февраля герцог явился в заседание Совета и просил о занесении в протокол заявления его, что он хочет быть принят в Совете как член и товарищ, что он не хочет и не может один сам собою ничего определять и брать на себя, но желает вместе с другими членами советом и делом служить благу ее императорского величества и общему; герцог просит членов Совета при каждом деле объявлять свободно и откровенно свое мнение, что будет ему особенно приятно, тем более что он в русских делах еще неопытен. Как бы то ни было, однако герцог, как член царского дома заняв первое место, оттеснил светлейшего князя на второе.

В следующем году императрица сочла нужным изъясниться обстоятельнее насчет Верховного тайного совета: «В начале прошлого года изобрели мы запотребно при нас учредить Верховный тайный совет, состоящий из таких членов, которые все еще при его императорском величестве ближнейшие памяти в важнейших государственных делах употреблены были и на которых верность и ревностное рдение к интересам нашим и к нашему и государства нашего благополучию мы совершенную надежду имеем; и понеже мы сей Совет учинили Верховным и при боку нашем не для чего иного, только дабы оной в сем тяжком бремени правительства во всех государственных делах верными своими советами и бесстрастным объявлением мнений своих нам споможение и облегчение учинил, и тако все дела по довольном зрелом и совестном уважении и рассуждении от нас решены и потому отправлены быть могли. Того ради и наше

всемиловейшее соизволение есть, чтоб не токмо о делах, по учиненному от нас регламенту в сей Верховный тайный совет вносимых, но и обо всех других до нашей и государства нашего пользы касающихся в оном наперед зрелое рассуждение и верные, совестные и бесстрастные советы отправлены, общие мнения записаны и со оными потом нам для получения нашего всемиловейшего решения предложены были. И дабы сие впредь вящим порядком к пользе нашей и государства нашего учинено быть могло, того ради изобрели за благо следующие определения учинить: 1) понеже любезнейший наш зять, его королевское высочество герцог голштинский, по нашему милостивому требованию в сем Верховном тайном совете присутствует и мы на его верное радение к нам и к интересам нашим совершенно положиться можем, того ради и его королевское высочество, яко наш любезнейший зять и по достоинству своему не токмо над прочими членами первенство и во всех приключаящихся делах первый голос имеет, но и мы его королевскому высочеству позволяем из других Верховному тайному совету подчиненных мест все такие ведомости требовать, которые к делам, в Верховном тайном совете предложенным, для лучшего оных изъяснения ему потребны могут быть. 2) Повелеваем, чтоб никто никакие дела, до нашего решения и до рассуждения сего нашего Верховного совета принадлежащие, собою и партикулярно отнюдь не отправлял, но обо всем наперед во оном Верховном тайном совете предлагал, дабы с зрелого рассуждения и общего совета обо всем определение учинено быть могло, разве от нас кому партикулярно и особливо что учинить повелено будет. 3) Повелеваем, дабы такожде из каких партикулярных канцелярий никакие дела, до другого суда или коллегии касающиеся, отправлены не были, но для отправления и исполнения отосланы были, куда оные по званию своему принадлежат. 4) И понеже наше всемиловейшее соизволение есть, дабы обо всех делах, до наших и государства нашего интересов касающихся, наперед в Верховном тайном совете для общего зрелого рассуждения предложено было, того ради и мы впредь никаких таких партикулярных доношений о делах, о которых в Верховном тайном совете предложено и общее мнение записано не было, ни от кого принимать не будем, разве кто имеет доносить о таких делах, которые никому иному, кроме нам самим, поверены быть могут. 5) Ежели случится, что в наших важных государственных делах между членами сего нашего Верховного совета разные мнения будут и по общем совестном и беспристрастном уважении всех тех мнений, однако ж между теми членами об одном мнении соглашено быть не может, то в таком случае те дела отнюдь в действо не произвесть, несмотря на то, хотя б с которой стороны и больше голосов было, но должны тогда каждый свое мнение с обстоятельным изображением всех резонов на письме во оном Совете подать и потом нам для решения об оных доложить. 6) И также дела в Верховном тайном совете лучшим и основательным порядком отправлены быть могут, ежели по примеру других государств дела между членами по особливым департаментам разделены будут, и для того такожде при учинении регламента Верховного тайного совета от нас всемиловейше повелено было, дабы о таких департаментах особое мнение написано и нам всеподданнейше предложено было; но сие до сего времени еще не учинено: того ради надлежит немедленно тому учинить проект и нам об оном для всемиловейшей апробации доложить».

Императрица объявила, что сама будет присутствовать в Верховном тайном совете; но 12 февраля Меншиков, как президент Военной коллегии, получил указ: «Хотя мы определили в Верховном тайном совете иметь консилиии, или тайные советы, о всех важных делах, однако ж в которые дни не будем мы сами там присутствовать, то о важных воинских делах, а именно о состоянии армии и о движении оной, или которой дивизии, или нескольких полков, также и о приготвлении магазинов и о прочем, что к соблюдению секрета надлежит, доносить нам самим, яко президенту от Воинской коллегии, а кроме нас самих, рапортов и ведомостей никому не сообщать».

Нужно было прежде всего определить отношения нового учреждения к старому Сенату. 12 февраля Сенат слушал указ, присланный из Верховного тайного совета: в указе говорилось, что Сенат должен писать в Совет доношения, а Совет будет присылать Сенату указы; что с коллегиями – Иностранною, Военною и Адмиралтейскою – Сенат должен сношаться промемориями. Оскорбленные сенаторы определили, что так как в указе императрицы, объявленном им 9 февраля, повелено исправлять дела по указам, регламентам и сенатской должности, а не написано, чтобы Сенат подчинен был Верховному тайному совету, то указ, присланный из Верховного совета, возвратить туда с объявлением, что Сенат без указа за собственною рукою императрицы вопреки должности своей подчинить себя опасается. В силу этого решения сенатский экзекутор Елагин отправился к правителю канцелярии Верховного тайного совета Степанову с тем, чтобы возвратить ему указ. Степанов отвечал ему, что он не смеет принять от него указа и чтоб он ехал к членам Верховного тайного совета. Елагин возражал, что ему ни к кому ехать не велено, велено отдать указ ему, Степанову; а если он указа не примет, то он его положит. Степанов отвечал, что если он, Елагин, будет указ оставлять, то он ему его за пазуху положит. Тогда экзекутор повез указ назад, а на другой день Макаров приехал в Сенат с объявлением, что ее величество повелела исполнять указ, и в тот же день императрица словесно повторила сенаторам это повеление исполнять указ временно, пока дана будет подробная инструкция. Прежнее название Сената *правительствующий* заменено словом *высокий*. Определено, что «Сенат избирает собственных членов и представляет в Верховный тайный совет для утверждения; в штатские коллегии президентов и вице-президентов и советников Сенату выбирать, сперва кандидатов и оных для определения нам в Верховный тайный совет представить, а в другие коллежские члены и в прочие нижние чины выбирать по указу, как и прежде было, достойных. Сенату ж выбирать и объявлять в провинции воевод, ассессоров, камериоров, рентмейстеров и земских и судных комиссаров; в губерниях – президентов в надворные суды и земских секретарей; а губернаторов, вице-губернаторов, обер-комендантов и комендантов, которые из воинских чинов, таких выбирать, снесшись с Воинскою коллегиею, и нам в Верховном тайном совете для определения представлять».

28 марта в Верховный тайный совет допущены были сенаторы и обер-прокурор с доношениями и слушан реестр этим доношениям; повелено: доношения принять и доложить в другое собрание. Но еще до впуска сенаторов герцог голштинский объявил свое мнение, что когда в Верховный тайный совет придут сенаторы с делами, то при них этих дел не читать и об них не рассуждать, дабы они того, что Верховный тайный совет рассуждать

станут, прежде времени не ведали, и, принимая у них доношения о делах, отпускать их и дела слушать без них, и потом, когда будет надобно, их призывать. С этим мнением все согласились и определили поступить по сему. Герцог не понимал по-русски; чтоб помочь беде, 18 апреля допущен был в Верховный тайный совет молодой князь Иван Алексеевич Долгорукий (внук Григория Федоровича), сказан ему чин в камер-юнкеры и велено быть при герцоге голштинском для перевода с русского языка на немецкий. Герцог продолжал заниматься отношениями Сената к Верховному тайному совету: так, в июле он спрашивал, на все ли посланные в Сенат указы репортуют, исполнено или не исполнено и почему не исполнено? Ему отвечали, что на некоторые указы есть ответы, а на некоторые нет, и на какие именно указы нет ответа, тем представлена роспись. Все члены согласно приказали послать в Сенат указ, чтоб немедленно исполняли те указы, на которые не отвечали, и дали бы ответ, почему так долго не репортовали.

Осенью 1726 года опять поднялся крестьянский вопрос в связи с финансовым, и от членов Верховного тайного совета потребованы были мнения относительно пяти пунктов: 1) каким образом облегчить крестьянство в подушных деньгах? 2) Снимаемую с крестьян сумму, необходимую для поддержания армии, из каких доходов добавить? 3) Как рассмотреть штат? 4) Как исправить денежное дело, 5) юстицию, 6) торговлю? Приглашены были к подаче мнений по этим вопросам и другие сановники. Меншиков, Остерман, Макаров и Волков подали такое мнение: «Как вредно для государства несогласие – о том нечего упоминать; это обнаруживается не только в духовных и других государственных делах, но и относительно бедных русских крестьян, которые не от одного хлебного недорода, но и от подати подушной разоряются и бегают, также от несогласия у офицеров с земскими управителями и у солдат с мужиками. Если армия так нужна, что без нее государству стоять невозможно, то и о крестьянах надобно иметь попечение, потому что солдат с крестьянином связан, как душа с телом, и, когда крестьянина не будет, тогда не будет и солдата. Теперь над крестьянами десять и больше командиров находится вместо того, что прежде был один, а именно из воинских, начав от солдата до штаба и до генералитета, а из гражданских – от фискалов, комиссаров, вальдмейстеров и прочих до воевод, из которых иные не пастырями, но волками, в стадо ворвавшимися, называться могут; тому ж подобны и многие приказчики, которые за отлучкою помещиков своих над бедными крестьянами чинят, что хотят. Поэтому надобно всему генералитету, офицерам и рядовым, которые у переписки, ревизии и на экзекуции, велеть ехать немедленно к своим командам, ибо мужикам бедным страшен один въезд и проезд офицеров и солдат, комиссаров и прочих командиров, тем страшнее правож и экзекуции; крестьянских пожитков в платеж податей недостает, и крестьяне не только скот и пожитки продают, но и детей закладывают, а иные и врознь бегут. Надобно заметить, что хотя и прежде крестьяне бегали, однако бегали в своем государстве от одного помещика к другому, а теперь бегут в Польшу, к башкирцам, в Запорожье, в раскол: и так мы нашими крестьянами снабжаем не только Польшу, но и собственных своих злодеев. Сверх того, часто переменяемые командиры такого разорения не чувствуют, никто из них ни о чем больше не думает, как только о том, чтоб взять у крестьянина последнее в подать и этим выслужиться, не принимая в расчет того, что после крестьянин безо всего

останется или и вовсе куда-нибудь убежит». После этого введения предложены были следующие меры: 1) для скорейшего облегчения крестьян в платеже подушной подати на 1727 год дать сроку до сентября-месяца. 2) Доимки платить помещикам в генваре, марте и апреле месяцах 1727 года, а которые помещики не заплатят, на тех доправить с процентом. 3) Сборы поручить воеводам, которым на помощь дать по одному штаб-офицеру в каждую провинцию; один штаб-офицер за свою провинцию лучше может ответ дать, чем многие, и вместо 500 командиров будет только 50 штаб-офицеров. 4) Чтоб у воевод не было распри с этими офицерами, дать воеводам ранг полковничий на время воеводства. 5) Так как крестьяне ничем так не скудны, как деньгами, положить платеж подушного оклада наполовину деньгами или две трети, а другую половину или треть платить провиантом или фуражом. 6) Две части офицеров, урядников и рядовых, которые из шляхетства, отпустить по домам, а третью долю оставить при полках, иноземцев и беспоместных, которые без жалованья прожить не могут, отчего будет двойная прибыль: жалованье их в казне останется, деревни свои осмотрят и в порядок приводить станут. 7) Поставить полки на квартирах в хлебных местах, 8) Купечество в Российском государстве едва не совсем разорено, и так как оно воли требует, то рассмотреть в особой комцесии, не полезнее ли будет купечеству дать волю ездить туда с товаром, куда ему способно, и для того отворить порт Архангельский. 9) Нельзя при этом случае не упомянуть о холстах российских, которыми прежде у города большой торг был, много тысяч крестьян кормилось и немалая пошлина в казну сбиралась; а когда указ состоялся, чтоб не ткать больше узких холстов, но ткать холсты на широкие берда, то крестьянству прибыла не малая тягость и в казну убыток, потому что крестьянину широкого стану сделать нечем и широкого берда купить не сможет, а у иных крестьян и в избах столько места нет, где такой широкий стан поставить, да и широкие холсты за море мало потребны, больше узкие требуются; разорились от этого крестьяне северные, у которых хлеба мало родится. 10) К Архангельску провоз товаров дешевле был, чем к Петербургу: от Москвы до Архангельска с пуда по гривне и по три алтына, от Ярославля – по 6 и 5 копеек, с Вологды – по 4 и 3 копейки; В Петербург из Ярославля и из Москвы – по 6 алтын и по 2 гривны, а из дальних мест – по полуполтине и по 10 алтын и больше. 11) Лишних управителей, и канцелярии, и конторы, земских комиссаров, вальдмейстеров и прочих тому подобных вовсе отставить, равно как и Мануфактур-коллегию. Можно определить из больших фабрикантов без жалованья, которые хотя на один месяц зимою для совета в Москву будут съезжаться, и без приговоров и протоколов коллежских все неважные определения делать, а о важных доносить. 12) Нельзя не упомянуть, что кроме штата одним отставным и к сборам определенным солдатам идет жалованья около 70000 рублей; этого прежде не бывало и пользы от того никакой нет, кроме ссор и кражи, и для того не лучше ли положить все эти сборы на магистраты?» Канцлер граф Головкин подал мнение, чтоб все дела исправлять воеводам под надзором губернаторов; губернаторам, чтоб не употребляли во зло свою власть, дать в товарищи ассессоров человека по три или четыре; на губернаторов должна быть апелляция в Юстиц-коллегию. По мнению князя Дмитрия Михайловича Голицына, посадские люди по городам должны быть в ведении губернаторов, потому что теперь у них нет охранителя и защитника, особенно от проезжих в постоях и других нападках. «Я при этом не имею в виду

уничтожения магистрата, – замечал Голицын, – потому что посадские люди о всяких своих нуждах будут обращаться в Главный магистрат». Торговля в государстве, по мнению Голицына, должна быть вольная, в руках народа, а в одни руки ее отнюдь допускать не надобно; также и государевы торги выгоднее пресечь и отдать в народ же, которому позволить всюду в государстве и за границу торговать, ибо интерес государства соблюдается одинаково, где бы торговля ни отправлялась, лишь бы государство от того обогащение себе имело; и для распространения торговли в Петербурге достаточно уменьшить пошлину, также и торгующим, особенно приезжим иностранцам, давать всякие льготы, в торговле безопасность от убытков и всячески их приманивать. Генерал-адмирал Апраксин для исправления финансов предлагал вычет из жалованья, увольнение военного шляхетства в дома, в платежах ведать крестьян помещикам, солдат поселить в городах.

Подал мнение и герцог голштинский. Касательно облегчения крестьян в подушных деньгах он предлагал по примеру Швеции и других государств определить возраст, прежде и после которого крестьянин не должен платить, по неспособности к работе, именно 10 и 60 лет; также назначить срок, после которого крестьяне не обязаны платить за беглых своих собратий. Теряемая на крестьянах сумма может быть пополнена отчасти уничтожением, отчасти сокращением многих специальных и частью ненужных канцелярий и контор. Относительно штата и денежного дела учредить особую комиссию, причем сделать различие между внутренними областями и завоеванными землями (Прибалтийским краем), ибо в первых всякое учреждение может быть основано только на экономических соображениях, а в других – на трактатах и привилегиях. Касательно юстиции очень полезно было бы прибавить в Юстиц-коллегию несколько человек, знающих русские права, и двух человек, знающих права немецкие, особенно лифляндские; если же не угодно будет платить жалованье последним, то предоставить окончательное решение дел гофгерихту в Риге и обер-ландгерихту в Ревеле или с апелляциею прямо в Сенат или Верховный тайный совет. «Что касается поправления коммерции, – писал герцог, – то я думаю, что сбавка пошлин и уничтожение больше всего вредных для торговли и промышленности откупов, как то в Швеции я сам усмотрел и многими иными примерами доказать могу, к поправлению коммерции немало способствовать могут».

С 4 ноября в Верховном тайном совете началось рассуждение, каким бы образом сделалось крестьянам облегчение в сборе подушных денег, ибо до того дойдет, что взять будет не с кого, бегут за рубеж и в дальние сибирские города. Рассуждали, что надобно сбавить по 12 или по 20 копеек с души. При этом граф Толстой предлагал, что необходимо ревизовать в приходах и расходах Военную, Адмиралтейскую и Камер-коллегию, а что велено взять у них только ведомости, от того дело только затянется, а крестьянам никакой пользы не будет. 14 ноября, когда рассуждали об инструкции, посланной из Военной коллегии во все губернии к генералитету, то граф Толстой опять представлял, что в этой инструкции есть пункты, очень тяжкие для народа. Через месяц Военная коллегия, вероятно вследствие внимания, обращенного на ее действие, представила доношение, что для облегчения крестьян надобно брать с них натурою, а не деньгами. Все уже согласились на эту меру, как опять Толстой начал говорить, что если брать во всех

местах вообще натурою, то это может быть тяжело для народа: в одном месте съестные припасы будут в низкой цене, а верстах в девяти или двадцати они продаются высокою ценою; поселянин для своей выгоды лучше отвезет туда и продаст, а указные подати деньгами заплатит; так лучше отдать крестьянам на волю, кто хочет платить деньгами, кто натурою. «Оное предложение Верховный тайный совет принял за благо». Рассуждение о крестьянах продолжалось и в 1727 году: 30 января решено вывести из уездов генералитет, штаб- и обер-офицеров, которые находятся у сборов и на экзекуциях и которые посланы для ревизии. Подушный сбор положен на воевод, которым на помощь придается в товарищи по одному из штаб-офицеров на каждую провинцию; а чтоб у воевод не было с этими офицерами распри, то провинциальным воеводам дан ранг полковничий на время, пока будут воеводами; воеводы и с ними означенные штаб-офицеры подчиняются губернаторам. А которые офицеры посланы для сбора рекрут, тех, по представлению Меншикова, решено не высылать, пока рекруты собраны и для отводу в полки приняты будут; однако выбирать рекрут губернаторам и воеводам, офицерам же понуждать, чтоб были собраны и им отданы немедленно. Наконец в феврале издан указ, что на майскую треть 1727 года с крестьян подушной подати не брать; что недобрано за прошлые годы из подушного сбора, то выбрать непременно до сентября-месяца, а платить эту доимку за крестьян самим помещикам или в небытность их в деревнях приказчикам, старостам и выборным, править на них, а не на крестьянах, ибо известно, что в небытность помещиков в деревнях приказчики их что хотят, то делают, следовательно, и доимки причиною они.

Считали тяжелою для крестьян подушную подать; но ревизия, сделанная графом Матвеевым в Московской губернии, показала ясно, что крестьяне отягчены не подушною податью, а людьми, приставленными управлять ими и которые хотели кормиться на их счет, – зло, от которого страдала древняя Россия и против которого новая, преобразованная Россия не имела еще средств, несмотря на все усилия преобразователя. Матвеев получил такую инструкцию: «Понеже блаженной памяти его императорское величество повелел из сенатских членов одному для лучшей государственной пользы и управления дел ездить по государству погодно и смотреть, чтоб делали правду, того ради мы заблагорассудили отправить вас в Москву, куда вам, прибыв и разведав, где есть больше в ближних провинциях Московской губернии неисправностей от управителей и от народа жалоб, в те провинции наперед и ехать и чинить следующее: 1) осмотреть за гражданскими управителями, а наипаче в провинциальных судах, что правдою ли людей судят? 2) Также земские комиссары и офицеры порядочно ли подушные деньги с крестьян собирают и не чинят ли им каких обид и налогов в строении вечных квартир или в чем другом и все ль во врученных им делах по указам поступают? 3) И ежели что усмотрите за управителями и земскими комиссарами противное указам, то следовать и чинить решение, снесшись с генералитетом и штабом, которые в тех провинциях определены; а которые явятся в важных преступлениях, и тех держать за крепким караулом, а между тем писать к ним в Кабинет сокращенно, а подлиннее в Сенат».

Матвеев отправился и в конце августа 1726 года писал Макарову: «В Александровой слободе всех сел и деревень крестьяне податями дворцовыми через меру их гораздо неосмотрительно от главных правителей слободы той

обложены и отягчены; уже множество беглецов и пустоты явилось; и в слободе не токмо в селах и деревнях не крестьянские, но нищенские прямые имеют свои дворы; к тому ж и не без нападных тягостей к собственной своей, а не ко дворцовой прибыли». Из Переяславля-Залесского другое письмо: «Непостижные воровства и похищения не токмо казенных, но и подушных сборов деньгами от камерира, комиссаров и от подьячих здешних я нашел, при которых по указам порядочных приходных и расходных книг здесь у них отнюдь не было, кроме валяющихся гнилых и непорядочных их записок по лоскуткам; по розыску ими более 4000 налицо тех краденых денег от меня уже сыскано. По тем же воровским делам изобличился в рентерее их первый подьячий Бурнашов, который, забрав все указы и письма приказные, отсюда вывез в деревню свою и скрыл, и те от меня ныне в сундуках и кульках сысканы. Нашел я еще здесь остаток школы бывшего обер-фискала вора Нестерова и клеветы его, бывшего здешнего провинциал-фискала Саввы Попцова. Здесь ныне человек с 30 за караулы крепкими содержатся». В Суздале Матвеев учинил экзекуцию: повесил копииста комерирской конторы да пищика за похищения из подушного и других сборов 1101 рубля; другие из подьячих были жестоко наказаны, и впредь им у дел быть не велено; похищенных денег и со штрафом взыскано 4539 рублей. В Суздале ревизор пробыл долго; 24 ноября, в день именин императрицы, он угостил всякого чина людей 70 человек «до положения риз», по его выражению; отсюда же он писал: «В здешнем городе великое со дня на день умножение из крестьян нищеты, человек по 200 и больше, и отовсюду их, крестьян, в низовые города побег чинится многочисленный от всеконечной их скудости, подушного платить нечем. Крестьяне синодальной команды подают прошения об обидах и излишних сборах сверх положенного на них подушного оклада». Так было в Московской губернии; но что было в других? В январе 1726 года велено Новгородской провинции комиссаров Никиту Арцыбашева, Григорья Баранова, которые в Обонежской пятине у сбора денежной казны явились в презрении указов, и в похищении казны, и в излишних сборах и взятках, казнить смертью, повесить в той Обонежской пятине также подьячего Волоцкого и, написав вины их на жести, прибить к тем виселицам и так их с виселиц не снимать. Облегчение в платеже подушных денег, вывод военных команд – вот все, что могло сделать правительство для крестьян в описываемое время. Но искоренить главное зло – стремление каждого высшего кормиться на счет низшего и на счет казны – оно не могло; для этого нужно было совершенствование общества, а этого надобно было еще ждать. В этом ожиданий крестьянские побегы не могли прекратиться, несмотря на жестокие наказания, которым подвергали людей, содействовавших побегам. На западной границе пойманы были двое крестьян, которые за 4 алтына провели ночью мимо застав за польский рубеж крестьянина с женою и детьми. Их было велено пытаться накрепко, не знают ли они других таких, которые за рубеж бежать подговаривали и мимо застав проводили. По розыску велено было их повесить на тех местах, через которые они проводили тайно беглых, тел их с виселиц не снимать и публиковать в Смоленской провинции в знатных селах и деревнях и прибить листы о винах их, дабы другие, смотря на такую казнь, того чинить не дерзали.

Крестьянский вопрос был тесно связан с финансовым. Вследствие облегчения крестьян будет убыль в доходах, надобно, следовательно, сократить

расходы. Указывали на лишние канцелярии, конторы и даже коллегии; и в тех коллегиях, которых коснуться было нельзя, указывали на слишком большое число членов, отчего в жалованье происходит напрасный убыток а в делах успеха не бывает. В Верховном тайном совете решили оставить в каждой коллегии по шести человек, а именно: президента, вице-президента, двоих советников, двоих ассессоров; одной половине из них быть в Петербурге при коллегии, а другой жить по домам с переменою погодно; также, где есть прокуроры и экзекуторы, тем между собою переменяться погодно, и которые будут в Петербурге, тем жалованье давать, а которые по домам, тем не давать. Императрица утвердила это решение Совета с тою прибавкою, чтоб отпускать коллежских членов домой по примеру офицеров, именно тех, которые сами захотят; также утвердила решение Совета, чтобы Штатс-контору подчинить Камер-коллегии и быть президенту одному.

Мы видели, что при Петре для судных дел определены комиссары в тех городах, которые от провинциальных городов в расстоянии 200 верст и больше, и суду этих комиссаров подлежали иски не более как в 50 рублей. Теперь нашли обременительным для жителей подобных городов по всякому иску, который больше 50 рублей, ездить за 200 и более верст, и потому по всем городам суд отдан воеводам, причем недовольные получили право переносить свои дела к воеводе провинциального города; от последнего дела переносились в надворные суды. Императрица утвердила это решение Совета, рассуждая: первое, что чин воеводский уездным людям в отправлении всяких дел может быть страшнее; второе, что и по прежнему обыкновению в таких же городах, которые приписаны были к большим городам, бывали также воеводы; указом же от 24 февраля 1727 года велено было «как надворные суды, так и всех вышних управителей, и канцелярии, и конторы земских комиссаров, и прочих тому подобных вовсе отставить и положить всю расправу и суд по-прежнему на губернаторов и воевод, а от губернаторов апелляцию в Юстиц-коллегию, чтоб нашим подданным тем показано быть могло облегчение, и вместо бы разных и многих канцелярий и судей знали токмо одну канцелярию, и на многих бы судей и на их подчиненных в даче жалованья напрасного убытку не было». Крестьяне, приказчики и прочие чины синодского ведомства, кроме духовных, в судных и розыскных делах отданы также в ведомство губернаторов и воевод. В Верховном тайном совете рассуждали также, что теперь в провинциальных городах воеводы и с ними по несколько человек ассессоров, секретарей; кроме того, особливые канцелярии и конторы имеют камериры, рентмейстеры и валдмейстеры, при которых состоят подьячие и солдаты, отчего происходит: 1) в делах непорядки и продолжения; 2) в даче жалованья напрасный убыток; 3) народу от многих и разных управителей тягостей и волокиты. А так как прежде бывали во всех городах одни воеводы и всякие дела, как государевы, так и челобитчиковы, также по присылаемым из всех приказов указам исправляли одни и были без жалованья, и управление одним человеком было лучше, люди были довольны, то Совет решил изложить все эти обстоятельства и доложить ее величеству. Императрица утвердила, что в провинциях, кроме Петербурга, Москвы и Тобольска, рентмейстерам и их подчиненным не быть, а быть как у сборов, так и у расхода одним камерирам. Указом от 7 марта 1727 года уничтожена рекетмейстерская контора при Сенате и должность генерал-рекетмейстера велено исправлять сенатскому обер-прокурору.

Еще только рассуждали, принимали меры относительно сокращения расходов, а между тем правительство получило заявления, что доходов недостает для поддержания самых важных учреждений прошлого царствования. В ноябре 1726 года тайный кабинет-секретарь Макаров объявил в Верховном тайном совете, что из Кронштадта писал в Кабинет вице-адмирал Сиверс, требует 30000 рублей на поправку самых нужных тамошних работ, и если не будет прислано, то и больше разорится; и хотя деньги на кронштадтские постройки обыкновенно шли из Кабинета, то теперь в Кабинете денег очень мало, и в Верховном тайном совете надобно искать способа, откуда на этот предмет взять денег. Не угодно ли будет взять из почтовой конторы тысяч десять рублей; также справиться, нельзя ли сыскать какую-нибудь сумму в канцелярии бывшего Вышнего суда; дела этой канцелярии давно именным собственноручным указом велено разослать в разные другие места по принадлежности, но они и до сих пор не разобраны, и от того канцелярским служителям идет понапрасну жалованье, а дел никаких нет. Определили справиться, где какие есть деньги, нашли в Камер-коллегии 20000 рублей и отослали Сиверсу.

Мы видели, что в программе необходимых мер выставлена была и поправка денежного дела. В начале 1727 года для необходимых крайних государственных нужд, для облегчения народного в податях велено было как можно скорее увеличить число медной пятикопеечной монеты, на первый раз сделать не меньше двух миллионов; велено чеканить их старым штемпелем под тем видом, что готовятся они только на перемену старых пятикопеечников, а что сверх того будет сделано, чтоб о том никто знать не мог; велено поступать с великою осторожностью, чтоб в других государствах прежде времени об этих новых деньгах не узнали и предосудительного для России рассуждения не имели. Для устройства этого дела отправлен был в Москву генерал-майор Александр Яковлевич Волков. Московские монетные дворы изъяты были из ведения Берг-коллегии и отданы в ведение Кабинета, непосредственно же были поручены президенту Сенатской конторы графу Ивану Александровичу Мусину-Пушкину и при нем сыну его, статскому советнику графу Платону, да Берг-коллегии советнику Василью Никитичу Татищеву, только что возвратившемуся из-за границы. Татищев получил такую инструкцию: «Ехать в Москву и чинить там по сему: 1) понеже на монетных московских дворах весов равных и исправных нет, отчего происходят казне государственной убытки и многим невинным людям обиды и разорения, для этого освидетельствовать весы и, если найдутся фальшивые, заарестовать. 2) По розыскам явилось, что денежных дворов мастера и работники крадут с денежных дворов золото, серебро и снасти для делания воровских денег, из чего многих людей погибель и разорение происходит, причина же тому, знамо, из того, что или строения недовольно тверды, или смотрения недостает».

8 февраля Волков приехал в Москву и вручил указ графу Мусину-Пушкину. «Хотя сего старца, – пишет Волков, – нашел я весьма дряхла, однако ж к исполнению повеления показал себя зело ревностна; возблагодаря бога за высокоmaterнее вашего величества к народу милосердие, от великой радости прослезился и того часу вступил в дело». Волков вместе с графом Платоном Мусиным-Пушкиным сочли нужным ездить на монетные дворы каждый день по два и по три раза, иначе все бы дело «раковымходом» пошло. «Непорядка и

разорения монетных дворов изобразить никоим образом нельзя, – писал Волков. – Я не могу, рассудить, с какою совестью прежние управители так чинили. Истинно, как после неприятельского или пожарного разорения, все инструменты разбросаны без всякого призрения, многие под снегом на дворах находятся, деревянное гнило, а железное перепорчено, для этой починки я определил целую слободу артиллерийских кузнецов; как управители, так и минцмейстеры до сих пор не могут знать, что у них целого и что испорченного, и, когда дело пришло к началу, хватились – нет ни форм, во что плавить, ни мехов к кузницам, для чего послал я нарочно одного офицера в Тулу на железные заводы». Татищев в письмах своих к Макарову вторил Волкову: «Осмотрел я все денежные дворы и нахожу их так, как они во время поляков брошены, и до сего дня в них никто не бывал. Если мы все медные копейки из народа выведем, то будет очень трудно, потому что серебряных очень мало и на размену малых торгов недостаточно, особенно для крестьян пятикопеечники неудобны, поэтому надобно делать копеек столько же, как было. Полушки для бездельной их работы подают причины к воровству, надобно их переделать, и так как на монетных дворах управиться с этим невозможно, то надобно сделать водяные машины. Весы я освидетельствовал и нашел, что присланный со мною из Берг-коллегии пуд здешнего тяжелее девятью золотниками; здешние гири деланы по присланной из коллегии гире, только так дурно, что и между собою по золотнику несходны, присланная же со мною фунтовая гиря явилась перед здешнею четвертью тяжелее, только и эта неправдивая, и потому видно, что в Берг-коллегии правильных гирь нету, откуда истекает немалый государственный вред, о чем я доносил ее императорскому величеству с представлением, как устроить дело. Имеются здесь в разных канцеляриях разные описные пожитки, между которыми много находится золота и серебра в мелочах и в выжиге, также в окладах и образах. С образов оклады снимать не надобно без крайней нужды, но променивать их – битые на ефимочное, а золоченые на чистое серебро, охотников на такой промен много; но так как продажа их происходит из разных мест, то происходит великое похищение и ограбленным обида, поэтому надобно было бы особенную контору для этого сделать». В марте-месяце Татищев писал, что уже дело идет успешно: «Монетные дворы от бывшего их разорения в такое состояние, в каком они теперь, и в год привести было бы нельзя, если бы делать не с такою силою и властью, с какою Александр Яковлевич делал. Поистине удивительно, что в такое короткое время почти все вновь сделано, и можно уже надеяться на бога, что дело пойдет без остановки, только б такая была помощь после него, как теперь».

«Как исправить юстицию?» – стояло в программе. Как исправить юстицию, когда нет ни уложения, ни свода законов, могли спрашивать со всех сторон. Дело уложения остановилось, потому что из членов комиссии, назначенной при Петре, осталось только двое. Вероятно, вспомнили, что при царе Алексее Михайловиче Уложение было составлено скоро и при его составлении были выборные из разных чинов; не пойдет ли дело успешнее при этом способе? Сенат, рассуждая, «дабы уложение при довольном числе членов сочиняемо было с поспешением, приказали: быть при том сочинении членам из духовных, из военных, из гражданских и из магистрата по две персоны». Разумеется, эти персоны не могли помочь делу без предварительной работы, которая была поручена обер-секретарям Ключареву, Сверчкову, Познякову и секретарю Веселовскому, при которых

находился переводчик. Всем им сказан указ с запискою, чтоб они уложение к окончанию привели и принадлежащие чужестранные права, которые указом повелено, с российским уложением по главам свели в 1726 году непременно, а если они в том учинятся неисправны, то жалованье им давать не будут. Угроза не подействовала: обер-секретари учинились неисправны. Остерман придумал средство для ускорения дела – поручить его немцу. В конце 1726 года он предложил Верховному тайному совету, что есть профессор Вренгиштейн науки высокой: не дать ли ему комиссию для поправления уложения? Определили: выписать на меморию. В 1726 году занялись архивами: по до-ношению Вотчинной коллегии велено для лучшего содержания вотчинных дел в государственном архиве в добром охранении и порядке все столпы, имеющиеся в Вотчинной коллегии, переписать в тетради и переплесть в дестевые книги и впредь этих столпов более никуда из государственного архива не брать, а содержать их для споров в сохранном сухом месте. Для этого велено учредить особую комиссию, выбрать из знатного шляхетства одного, да из прежде бывших обер-секретарей одного, да к ним придать трех секретарей, а для переписки дел взять из губерний и из больших провинций по одному канцеляристу, а из прочих по одному копиисту и быть им в С.-Петербурге погодно с переменою, а вместо жалованья давать им от каждой исправленной тетради по 10 копеек.

Как исправить торговлю? – стояло в конце программы. Мы видели, что поднят был вопрос о том, нужно ли стягивать торговлю в Балтийском море. В ноябре 1726 года князь Куракин писал из Голландии, советуя восстановить торговлю в Архангельске. Императрица объявила, что сама будет говорить об этом в Верховном тайном совете; велено Сенату снести с другими коллегиями и сделать справки, чтоб яснее можно было донести об этом ее величеству. 19 декабря слушано было сенатское доношение о свободной торговле и рассуждали учинить доклад с предложением мнения о поручении комиссии о купечестве барону Остерману, потому что способнее его к такому делу другой персоны не изобрели. 30 декабря дело о вольной торговле было решено, позволено везти товары куда хотят – в Архангельск или в Петербург; а 30 января 1727 года купцы голландские, английские и гамбургские подали в Верховный тайный совет просьбу – назначить вместо умершего Баженинова в президенты к купеческим делам в Архангельске купца Ивана Рычкова. Просьба была исполнена. Так как больше всего боялись ненужных расходов, то в мае 1726 года в Верховном тайном совете происходило рассуждение о корабле, который был изготовлен к отпуску во Францию – отпускать ли? будет ли прибыль из этой посылки? Императрица сказала, что надобно отпустить, хотя бы убытки были: надобно отпустить, во-первых, для обучения в навигации; во-вторых, для слуху народного, что русские корабли ходят во французские гавани. Сенат представил о необходимости допустить в компанию к русским корабельным компанейщикам иностранца Борста для содержания порядочной конторы и заморской корреспонденции. Верховный тайный совет согласился, но с таким изъяснением, чтоб русские купцы постарались лет в 10, а по меньшей мере в 15 выучить конторных служителей русских. Ввиду торговых удобств на сибирских заводах сделано было такое распоряжение: велено было из тамошней меди делать вместо монет *платы*, потому что они удобны в купечестве и во всяких расходах, от них купцам и всяким промышленникам, счетчикам, сборщикам тягости не будет; не будет в

счетах продолжения и от плохих монет спору и убытков; всякий может их, как и прочие товары, внутри и за границу посылать без опасения убытка, потому что они по внутреннему их весу и по доброте материала равны с серебряными и золотыми добрыми монетами, от чего торгу и вексельному курсу никакой убыли не будет.

Относительно городского управления в указе от 24 февраля 1727 года велено было магистраты для лучшего посадским охранения подчинить губернаторам и воеводам. Тем же указом уничтожалась Мануфактур-коллегия: «Всем фабрикам ведомым быть в Коммерц-коллегии, а для неважных дел определить из самих фабрикантов без жалованья, которым хотя на один месяц зимою для совету в Москву съезжаться и без приговоров и протоколов коллежских все неважные определения чинить; и быть у фабрикантов протектором сенатору Новосильцеву, к которому бы они могли адресоваться».

Знаменитый начальник олонецких, а потом сибирских заводов Геннин приехал в Петербург и был оскорблен невниманием, оказанным ему по смерти преобразователя. Он написал Макарову 9 апреля 1725 года: «Я принужден напоминать вам, что мне стыдно так здесь шататься за мою государству радетельную через 26 лет службу; я обруган и обижен, мой чин генерал-майорский в Военной коллегии и в артиллерии не вспоминается и не числится, живу без караульщиков, денщиков и без жалованья и не знаю, откуда получать, чем питаться в таком здешнем дорогом месте, ежели долго волочиться за резолюцией; и понеже я истинно признаю, что от моих сильных недругов принужден я терпеть печаль и ругательство, разве за то, что я его величеству верно радел и льстить не мог, но прямою дорогою шел и для государственного интересу смело говорил; однако надеюсь я, что бог и всемилостивейшая государыня императрица, также и ваше благородие меня не оставите в моем прошении. Отшествием во блаженный покой нашего всемилостивейшего государя, Отца Отечества, протектора моего и хранителя от всех недругов, рассматривателя моих трудов, меня сокрушает так, что истинно могу под сим подписаться вместо присяги, что наш всемилостивейший монарх мое тщание, разум и память с собою во гроб взял и мне от оных и прочих печалей более служить невозможно и несносно, ибо я 26 лет служил нашему монарху в трудах и охотно, не исполняя свои прихоти, а ныне вижу в себе малое здоровье и желаю достальное свое короткое время служить всевышнему монарху, а от недругов прочь в покое и чтоб меня наградить токмо на пропитание маетностями в Лифляндии; а ежели я в своем прошении несчастлив, как и прежде сего в искании деревень, что и прежние мои деревни от меня отняты безвинно, а вместо тех хотя другие дать обещали было, и до сего времени не даны, то я более одного не ищу и ее величества не смею утрудить, но токмо покорно прошу о отпуске во отечество мое с милостию, а не с гневом».

Предания Петра Великого продолжались: полезного человека не выпустили из России, но отправили назад, на уральские заводы. Здесь после внимательного наблюдения Геннин нашел, что Татищев был прав, предлагая Петру Великому отдать екатеринбургские заводы в компанию, с тем чтоб 20 лет с нее ничего не брать; тогда Геннин не согласился на передачу заводов с этим условием, и по его представлению передача была отложена до времени. Теперь, в начале 1726 года, он писал Екатерине: «От заводов прибыль уповаю получить, ежели по

требованию моему будет исполнено, а впредь обещать не могу, ибо по основательному исследованию чрез три года явилось, что все руды лежат непостоянно, не так, как в Германии, но более гнездами, малыми и большими слоями, отрывными и рассыпанными частями, так что нельзя на них Бесконечную на многие, годы иметь надежду». Геннин соглашался теперь отдать заводы в компанию: «Сия есть причина моего о том представления: ежели по несчастию руды пресекутся и надлежащая прибыль прекратится, дабы тогда не было сказано, что я обещал впредь прибыль, а вместо того сделал убыток. Слезно прошу для самого бога, призри меня в своей высокой матерней милости, поговори недругом моим, чтоб они до меня милостивы были и в милости своей содержать обнадежили. И хотя я пред ними и пред всеми виноват и недостойн того, чтоб они мне добро творили, однакож прошу, чтоб надо мною гибели не искали; а ежели, ваше императорское величество, меня не призрите, то я буду богу плакаться на недругов моих и от них терпеть и печаль принимать рад за нашего блаженной памяти его императорского величества, для того что ради исполнения его воли и указов недругов себе я нажил, и чаю, что такой человек не родится, который бы всякому мог услужить». В описываемое время все сибирские, пермские и кунгурские медные и железные заводы и горные дела приносили в год доходу 113808 рублей.

И другой знаменитый иностранец счел было необходимым для себя оставить русскую службу по смерти Петра Великого. Мы уже приводили известие о столкновении Меншикова с другими сенаторами по поводу требования Минихом войск для работ на Ладожском канале. В ноябре 1726 года Миних прислал в Верховный тайный совет следующее донесение: «Свою важную и обширную работу в 1724 году я так исполнял, что его императорское величество октября 14-го дня того же году, как соизволил осматривать работу, свое удовольствие собственноручно письменно объявлял и декабря 11-го дня в Сенате, особливо за дешево учиненные всякие подряды, словесно благодарил и потом 29 декабря дал мне право представлять в чины. Сей великий и славный канал, которому подобного по ширине и глубине в свете не имеется, под моею дирекциею совсем отделан был, если б по его императорского величества указу в 1724 году наряженные 16000 человек да в 1725 году 25000 человек на канал прибыли; но в 1724 году только 3000, в 1725-м за преставлением его императорского величества около 8000 рабочих солдат, а в нынешнем, 1726-м по настоящим обстоятельствам очень мало солдат на канале было. По должности моей нынешнего числа (22 ноября), за полгода до истечения срока моей капитуляции, доношу, дабы о будущей работе было сделано распоряжение и директор назначен был». Отпустить его не хотели и в феврале 1727 года объявили ему, что он будет снабден переменою чина и прочим милостивым награждением с фамилиею, но Меншиков не переставал противиться исполнению требований Миниха относительно Ладожского канала: в следующем же месяце по поводу проекта Миниха, представленного в Верховный тайный совет, он объявил, что по нынешнему времени солдат в работу на канале употребить никак нельзя, и 14 марта состоялся указ: будущим летом доделывать Ладожский канал до реки Нази одними вольными людьми, с помощью одного только Московского гарнизона, который и теперь находится при канале; на эту доделку отпустить 51000 рублей.

Меншиков не посылал войска на Ладожский канал под предлогом, что оно дорого и назначается для другого употребления; в Сенате и Верховном тайном совете при рассуждениях о различных финансовых мерах и облегчении народа постоянно указывали на войско, на необходимость его поддержания войско было действительно необходимо для России по ее положению, как всегда, так особенно теперь, когда нужно было поддержать новое значение России, созданное Петром Великим. Набор войска был тяжел для малолюдной России, и потому, строго запрещая побегі крепостных людей, правительство должно было позволить желающим выход из крепостного состояния в войско. В июле 1726 года Сенат представил было в Верховный тайный совет мнение, что надобно запретить вольницу, т.е. уничтожить право крепостных людей записываться добровольно в солдаты. В Совете долго рассуждали; сама императрица присутствовала в заседании и объявила, что вольницу вовсе пресечь не следует и чтоб, подумав, еще написали мнение и представили средство, каким бы образом в том полегчить, а вовсе вольницу не пресечь. В 1726 году в войске было полных генералов 5, из них 2 иностранца; генерал-майоров – 19, из них 8 иностранцев; бригадиров – 22, из них 5 иностранцев; полковников – 115, из них 32 иностранца. В том же году было отменено баллотирование офицеров товарищами, причем сказано, что и покойный император уже видел неудобство этого способа производства в чины. Изменено было и распоряжение Петра относительно расположения войск по дистриктам. Вред этого распоряжения видели в растянутости полков и в притеснениях, которым подвергались крестьяне от солдат. Как для лучшего содержания полков, так и для облегчения свободы подданных императрица повелела полки селить при городах, и преимущественно пограничных и таких, где хлеб дешевле и обилие леса: это будет содействовать быстроте сборов в случае внезапных и скорых походов и офицерскому надзору над солдатами; гражданству и уездным людям в продаже всяких припасов может быть выгода, а в таможенных и кабацких доходах пополнение; особенно же крестьянству будет великое облегчение; гражданству же тягости никакой не будет, потому что солдаты будут жить особыми слободами и в одном месте, где скорее на преступников у их командиров управу сыскать будет можно. «Когда конъюнктуры допустят», велено было две части офицеров, урядников и рядовых, которые из шляхетства, отпускать по домам, чтоб могли привести свои деревни в надлежащий порядок, и таким отпускным жалованья не давать, третью долю оставлять при полках иноземцев и беспоместных, которые без жалованья прожить не могут.

Такова была в первое время по смерти преобразователя правительственная деятельность относительно поддержания материальных средств России. Мы можем видеть, как люди, оставленные Петром наверху, все русские люди распорядились на первых порах материалом преобразования. Первый вопрос был финансовый, возбужденный несостоятельностью крестьян в платеже податей. Русские люди высказали взгляд на государство как на организм, в котором все части тесно связаны между собою и нельзя заботиться о войске, не заботясь в то же время о крестьянине, сделали все, что могли, для облегчения крестьянина; меры эти, как писали из Москвы, произвели неописанную радость в народе; но, разумеется, главного сделать не могли – не могли сделать, чтоб сильные не бросались на слабых, как волки, по выражению самих правителей; виселицы, поставленные Матвеевым во время его ревизии, могли производить только

временное облегчение. Тот же финансовый вопрос, необходимость сокращения расходов, заставлял далее разбираться в материалах преобразования. Послышалось со всех сторон: «Слишком много правителей, разных канцелярий и контор, надобно их сократить». Здесь предстояло трудное дело: иное можно было сократить, уничтожить, но так, чтоб не коснуться основных мыслей преобразователя, например отделения администрации от суда и финансового управления. Пошли от мысли, что прежде, когда все сосредоточено было в руках воеводы, было лучше, проще и выгоднее для государства. Действительно было проще и, по-видимому, выгоднее для государства; воеводы не брали жалованья, кормились на счет подчиненных; но была опущена из виду главная мысль преобразователя, что народ должен воспитываться, развивать свои силы в новых учреждениях, учиться. Проще, легче, удобнее было нанять иностранное войско, иностранных генералов и офицеров, чем учить своих и во время учения терпеть поражения; легче было послать министрами к чужим дворам образованных, ловких иностранцев, чем терпеть неприятности и вред от неопытности своих; но Петр не соблазнился этою легкостью, учил своих и военному и дипломатическому искусству в действительной службе, перед вооруженным или невооруженным врагом. Люди, оставленные России Петром, не имели его веры в способности русского народа, в возможность для него пройти трудную школу; испугались этой трудности и отступили назад. Посадские люди терпят много от проезжих, некому их защитить, надобно дать им защитника в воеводе, подчинить их ему по-прежнему; но сами правители называли воевод волками; какое же покровительство от волка? И забыты были жалобы посадских людей на воевод, так громко раздававшиеся в древней России. Любопытны слова императрицы, что чин воеводский уездным людям в отпращивании всяких дел может быть страшнее.

Программа преобразователя показалась слишком обширна; на первый раз отступили от нее. К счастью, не отступили от программы относительно нравственных средств народа, которые были в зародыше, но, развиваясь, обещали верный, хотя и медленный, успех во всех проявлениях народной жизни. Мы видели, что Петр завел печатные ведомости, в которых печаталось все «надлежащее к ведению народному»; известия должны были доставляться в типографию из всех коллегий и канцелярий. Когда Петр умер, то сочли излишним присылать эти известия; но Екатерина в апреле 1725 года приказала снова доставлять сведения, объявив в указе, что доставление это прекратилось неведомо для чего. В декабре того же года исполнена мысль Петра – учреждена Академия наук; президентом ее был назначен лейб-медик Блюментрост. И относительно школ придумано было средство сократить расходы соединением школ различных ведомств. При Петре в областях существовали школы светские, находившиеся под ведением Адмиралтейской коллегии, и школы или семинарии при архиерейских домах; в октябре 1726 года Адмиралтейская коллегия представила в Верховный тайный совет доношение о соединении школ светских с семинариями и быть им в ведении синодском, вследствие чего Адмиралтейская коллегия освобождалась, разумеется, от хлопот и, главное, от издержек; Верховный тайный совет согласился. Мы упоминали о посылке Татищева в Швецию, о возвращении его и новой деятельности в Москве. Но здесь мы должны упомянуть о хлопотах Татищева в Швеции насчет собрания материалов русской истории. В апреле 1725 года он писал служившему при кабинете Черкасову: «О

истории ныне пространно писать не могу, но весьма от многих знатных и ученых людей известился, что много обретается полезного. И сие неудивительно, что здесь обстоятельные доказательства суть о древней российских князей столице в Ладоге, також о многих союзах и супружествах между Россиею и Швециею. Також доктор феологии Бенселиус (Бензель), здесь славный человек, обещал мне в Упсале множество русских древних письменных книг показать и притом обещал дать списать. А описание Сибири (Табберта фон Штраленберга) безо всякой противности состоит и паче к славе и пользе российской; в предисловии же намерен (автор) великие дела блаженной памяти его величества по крайней возможности изобразить, в котором и я, колико разумею, труд мой приложу». 25 июля 1725 года Татищев писал Черкасову из Стокгольма: «Гисторию российскую писать подрядил и дал наперед 10 червонных, чаю, вскоре будет готова. Ныне уведал я, что в начале войны нашей один швед, бывший в России, написал книгу с великою как его величеству, так и всему народу похвалою, а поносителей бранит, которую по тогдашней злобе не токмо продавать запретили, но почитай всю сожгли, и оную обещал мне библиотекарь дать списать. Ежели б я деньги мои имел, то б я все здешние до российской истории касающиеся книги купил, на которые надобно до 100 червонных, и ежели б занять мог, то б не жалел, ибо многое нам неизвестное в древности находится». Таким образом, в человеке, отправленном в Швецию наблюдать за горным делом и политическим состоянием страны, высказалась страсть к русской истории, к собиранию материалов для нее, страсть, которая впоследствии заставит его положить столько труда на свод источников древней русской истории.

Татищев заказывал русскую историю в Швеции; в России заботились о том, чтобы была написана подробная история Петра Великого. Это дело поручили Шафирову, который подал доношение: «...к повеленному мне сочинению гистории о преславных действиях и житии его императорского величества Петра Великого нужно: 1) для вспоможения в выписывании и переводе с иностранных языков из гистории прошу, дабы определен был сын мой Исай Шафиров, который ныне до указа определен был в герольдмейстерскую контору. 2) Дабы повелено было барону Гезину да Иностранной коллегии гистории описателю аббату Крусали, когда я временем требовать буду для совету или справки о каких принадлежащих к той гистории делах, оные бы то по требованию моему исполняли. 3) Дабы даны мне были к тому делу: Иностранной коллегии студент Алексей Протасов для письма латинского, немецкого и других языков да для русского письма копиисты. Чтоб сыну моему и вышеписанным трем человекам жалованье давано было, а о пропитании моем с моею фамилиею предаю во все милостивейшее изволение ее величества; також прошу, дабы мне со всеми к сочинению той гистории потребными людьми определена была удобная квартира вместе и определено б было давать на то потребное число бумаги и чернил. 4) Чтоб повелено было из Кабинета, из Иностранной коллегии и от барона Гизена те гистории ко мне прислать, и, понеже к сочинению оной гистории потребны и другие книги, того ради прошу, чтоб даны мне были: поколенные или родословные книги российских великих государей и прочих фамилий российских и летописцы письменные российские древние, которые сбираны в Кабинет, в Иностранную коллегию и герольдмейстерскую контору и инде. Книги на российском и иностранном языках, взятые в домах моих в С.-Петербурге и

Москве, которые отданы здесь в библиотеку, а на Москве, чаю, обретаются в конторе вышнего суда; також, чтоб повелено было из библиотеки петербургской, ежели к тому потребны будут какие книги, по письменному моему требованию, на время мне давать. 5) Чтоб из разрядных и других записок дано мне было известие о избрании на престол Российского царства Михаила Феодоровича и о браках его и о рождении детей сто величества, также царя Алексея Михайловича, царя Феодора Алексеевича и впоследствии пред его кончиною стрелецком бунте, и как оный бунт по избрании Петра Великого умножился, и каким образом потом царь Иоанн Алексеевич на престол купно произведен, и о всех происшедших делах с рождения его императорского величества по начатие истории, которая в Кабинете сбирана. Надлежит иметь ко известной истории о последующем известие: 1) как содержан царь Петр Алексеевич, яко царевич, с матерью своею по смерти царя Алексея Михайловича? 2) Какою болезнью болел царь Федор Алексеевич перед смертию и задолго ль был болен до кончины? И по смерти его как избрание царя Петра Алексеевича впоследствии и что чинилось по избрании мая по 15 число, когда главный бунт начался? 3) Что во время того бунту с его величеством от бунтующих случилось? 4) Какие внутренние интриги в том и от кого были? 5) Каким образом Хованский казнен и с какого случая? 6) Какие интриги и умыслы на его величество до казни Шакловитого и от него были, и как они и от кого открылись, и каким образом та премена учинилась и царевна в монастырь сослана? 7) Каким образом царское величество охоту к воинскому делу и экзерцициям получил и набор Преображенского и Семеновского полков?» и проч. Возбуждение этих вопросов делает честь смыслу бывшего вице-канцлера, но, с другой стороны, показывает неприготовленность его к исполнению задачи, ибо с этими вопросами он должен был обратиться к самому себе и искать их решения в своих источниках, а не обращаться с требованием этого решения к правительству; Шафиров хотел писать историю Петра Великого по известным ему готовым материалам (история Свейской войны, или так называемый журнал Петра Великого), а что не было приготовлено таким образом, того он требовал от правительства! Эта неприготовленность, неумение взяться за дело, самому отыскать что нужно, разумеется, должны были помешать делу в самом начале; Шафиров не написал истории Петра Великого. Но очень может быть, что возбуждение вопросов о событиях во время малолетства Петра заставило старика Матвеева написать известные записки об этом времени.

Шафиров упоминает о бароне Гизене, или Гюйсене, который мог быть ему полезен, ибо сам занимался составлением истории Петра Великого. Мы уже давно потеряли из виду этого человека: он был в удалении, в опале, забыт. По всем вероятностям, Петр рассердился на него за царевича Алексея, относительно которого он не исполнил своей обязанности, прославляя успехи царевича в учении, чего на самом деле не было, и таким образом обманывал отца. В июне 1726 года в Верховном тайном совете, по представлению светлейшего князя, происходило рассуждение о бароне Гизене и о службах его, что он так оставлен и живет многие годы без жалованья; напоследок велели записать указ быть ему в Военной коллегии советником, а о жалованье справиться, на которые годы ему дачи не было, и хотя не все, однако в удовольствие ему выдать.

Хотели поддержать начатки образования, которыми Россия была обязана предшествовавшему царствованию; для этого нужно было позаботиться и о типографии, которая терпела от общего недостатка в деньгах и терпела более других учреждений, ибо многие тогда могли смотреть на нее как на учреждение вовсе неважное. В начале царствования Екатерины директор типографии Михайла Аврамов донес, что типографским служителям дано на 1723 год вместо денег казенными товарами – приказным камками, а мастеровым людям – книгами, и то за вычетом четвертой части; товары эти продавали с немалым убытком; на 1724 год мастеровым людям хлебного ничего, а приказным денежного и хлебного не выдано. За неотпуском денег и за непродажей книжной ныне в конторе типографской денег ничего нет, бумаги и прочих потребных припасов купить не на что, отчего типография пришла в очень худое состояние, приказные и мастеровые люди терпят несносную нужду, платьем и обувью весьма обносились, вследствие чего и на работу им впредь ходить будет невозможно.

В типографской конторе денег нет, потому что книги не распродают. Трудно было и надеяться, чтоб книги, хотя их было очень немного, распродавались при начатках только образования, когда требовалось так мало для удовлетворения умственным потребностям. С неряшеством умственным в тесной связи находилось неряшество физическое, несмотря на полицейские распоряжения относительно соблюдения чистоты в городе, сделанные в прежнее царствование. Теперь обыкновенно жалуются на нездоровость климата в столице, основанной Петром. Но не так было в описываемое время для людей, успевших приобрести лучшие привычки. Новая столица, несмотря на известные неблагоприятные условия своего положения, отличалась чистотою воздуха вследствие незначительности еще народонаселения и лучшего соблюдения полицейских правил, тогда как в Москве при большом народонаселении и несоблюдении правил чистоты воздух был убийственный в известные времена года, особенно в центральных частях, где сучивалось жилье. Генерал-майор Волков, отправленный в Москву для устройства монетного дела, писал Макарову 25 февраля: «Извольте меня из это пропастного места вывести: истинно опасуюсь, чтоб не занемочь; только два дня, как началась оттепель, но от здешней известной вам чистоты такой столь бальзамовой дух и такая мгла, что из избы выйти нельзя. Какое здесь многонародное место, можно видеть из того что одних канцелярий и контор с 50, колодников – более 1000 человек, караульчиков рогаточных с большими дубинами – с 2500 человек; по одной таможенной записке в одно прошлое лето с 45000 быков и с 50000 баранов здесь вышло кроме партикулярных пригонов в дома господские». Приведем несколько наиболее замечательных черт из жизни общества. Генерал-майор Андрей Ушаков подал императрице просьбу: «Был я в доме вашего величества, и там же случился быть от гвардии подпоручик Пальчиков, который говорил мне весьма сердито, с злобою такие уязвительные слова: „Не так-де ты делаешь, как прежде при государе“. Да повелит ваше высокодержавство оного Пальчикова допросить, в чем он меня усмотрел против прежнего в нынешнем отменна». В 1725 году подана была жалоба на известного нам Посошкова зятем его, Киевского гарнизона полковником Петром Роде. Из этой жалобы мы узнаем, что в 1725 году купецкий человек Иван Тихонов Посошков был взят под караул в Тайную канцелярию. Роде пишет, что у Посошкова есть деревни купленные и заводы винные в разных городах, а владеет

деревнями, не справя их за собою по купчим, потому что купецким людям покупать и справлять за собою деревень не велено, если не имеют фабрик. Когда Посошков выдавал замуж дочь свою за Роде, то обещал под клятвою дать ей в награждение 1000 рублей денег да деревню, да приданого на триста рублей, чему он, Роде, может поставить свидетелей. Но обещание не было исполнено. Посошков показал, что, когда он выдавал замуж дочь свою за первого мужа, полковника Барыкова, тогда отдал все, что обещал; Барыков умер, а за Роде дочь его вышла без его ведома, и он новому зятю ничего не обещал. Императрица указала недвижимое имение Посошкова, кроме дворов петербургского и новгородских, отдать дочери его, жене Роде, в награждение.

Если в характере и деятельности великого преобразователя мы нередко встречали черты, которые указывали в нем представителя общества очень еще юного, то понятно, что мы еще долго будем встречаться с подобными чертами. Так, например, 1 апреля 1725 года жители Петербурга были разбужены страшным набатом во всем городе: императрица пошутила над ними, обманула их для 1 апреля.

При дворе продолжался еще старый обычай жаловать знатым людям сшитое платье. Так, в 1727 году по указу Екатерины сшита была пара платья суконного с золотым позументом для князя Михайлы Владимировича Долгорукого.

Правительство подметило резкую черту грубости нравов в низших слоях народонаселения и поспешило принять против нее меры. В июле 1726 года издан был указ: ее императорскому величеству стало известно, что в кулачных боях, которые бывають на Адмиралтейской стороне, на Аптекарском острове и в прочих местах в многолюдстве, многие люди, вынув ножи, за другими бойцами гоняются; другие, положа в рукавицы ядра, каменя и кистени, бьют многих без милости смертными побоями, и это убийство между подлыми в убийство и в грех не вменяется, также и песком в глаза бросают; поэтому кулачным боям в Петербурге без позволения главной полицейской канцелярии не быть; а кто захочет биться для увеселения, те должны выбрать между собою сотских, пятидесятских и десятских и записывать свои имена в Главной полицмейстерской канцелярии; выбранные сотские, пятидесятские и десятские должны осмотреть, чтоб у бойцов никакого оружия и прочих инструментов к увечному бою не было и во время бою чтоб драк не было, и кто упадет, лежачего не бить.

Разумеется, церковь лучше выборных сотских и полицмейстерских канцелярий могла прекратить подобные явления внушениями, что убийство и на кулачном бою есть страшный грех. Вскоре по смерти Петра внимание высшего церковного правительства было поглощено судьбою, постигнутою старшего члена его, Феодосия, архиепископа новгородского. Мы уже довольно познакомились с этим человеком, энергическим, но неудержливым в деле и слове, властолюбивым и корыстолюбивым. Он был готов на преобразования в церкви, но, когда эти преобразования начинали клониться к уменьшению его значения и доходов, он был очень недоволен и не умел сдерживать своего неудовольствия. Честолюбие его было оскорблено тем, что по смерти Стефана Яворского он не был назначен президентом Синода; корыстолюбие – урезыванием доходов, недачею жалованья. В Москве, когда получен был указ о сочинении штата, Феодосий резко высказался против новых порядков. «Отнял бог милость свою от этого государства, потому что духовные пастыри сильно порабощены и пасомые овцы над пастырями власть

взяли. Однако может явиться Филипп-митрополит, который не пощадил своей крови за церковь, да надобно смотреть, что случилось после изгнания Филиппова: бог сам перстом показал как на фамилии царской, так и во всем государстве внутренним нестроением, моровою язвою, разорением чуть не всего государства и премногими бранями». Филипп-митрополит после этого не сходил с языка у Феодосия, и 30 апреля в селе Покровском он вздумал сильно поговорить с Петром о новых порядках. Петр рассердился, и Феодосий страшно струсил. На другой день он шлет письмо к Екатерине: «Вчерашнего числа в Покровском селе безумием моим, не выразумев благопотребной воли всемилостивейшего государя, прогневал я, окаянный, его императорское величество так много, как никто больше; того ради пребываю в великом страхе и отчаянии и не имею в таком своем бедствии никакого способу, только дерзаю утруждать ваше величество: умилосердися, великая государыня, надо мною, окаянным, заступи милостию своею у всемилостивейшего государя и благоволи вручить его величеству приложенное здесь моё рабское доношение, чтоб мне невозбранно было прийти и просить в моей великой вине милостивого прощения и милования».

Петр простил Феодосия, но тот скоро забыл беду. Когда после коронации Екатерины рассуждали, как поминать ее на ектениях, Феодосий сказал: «Какова та молитва будет, что по указу молиться». Но скоро пришла другая беда: на Феодосия подан был донос в расхищениях: в 706 году Новгородской епархии архиерейские и монастырские вотчины взяты были в ведение в новгородскую приказную палату, а архиерею и в монастыри велено давать указное; но в 707 году по прошению митрополита Иова и властей его епархии теми вотчинами велено им владеть по-прежнему, за что платишь каждый год по 11000 рублей; они же, Иов и власти, обещали скот и хлеб, что у них за расходами будет оставаться, отдавать в государеву казну; но этих денег епархия не платила. Кроме того, подан был донос на судью новгородского архиерейского дома Андроника в денежном и хлебном похищении и во взятках. Петр велел Толстому исследовать дело, но умер. У Феодосия спала гора с плеч. Страшного Петра не было более; на его престоле сидела женщина, боявшаяся, что непрочна на престоле, боявшаяся приверженцев великого князя. Феодосий разнуздан, не скрывал своей радости, что Петра нет более, и все резче и резче высказывался против новых порядков, против унижения духовной власти перед светскою. 12 апреля Феодосий в карете подъехал к мосту, который находился перед домом императрицы; часовой остановил лошадей, объявив, что не велено пропускать в экипажах далее моста. Феодосий вышел из кареты в страшном гневе, махал тростью и говорил: «Я сам лучше светлейшего князя». То же повторяли за ним и служки его, браня часового дураком. Вошедши в переднюю, он обратился к дежурному офицеру: «Зачем меня не пускают; мне при его величестве везде бывал свободный вход; вы боитесь только палки, которая вас бьет, а наши палки больше других; шелудивые овцы не знают, кого не пускают». Дело осталось без последствий. 20 апреля приехал к Феодосию камер-юнкер сказать ему именем императрицы, что на другой день должна быть в Петропавловском соборе панихида по усопшем государе. «Мы готовы, – отвечал Феодосий и стал жаловаться на свою обиду. – Я и впредь опасуюсь ездить ко двору ее величества, чтоб и впредь также не обругали часовые, разве пришлют да неволею велят взять». «Если вам такая обида, то надобно просить милости государыни императрицы», – сказал камер-юнкер. «Так же было и при

императоре, – отвечал Феодосий, – не пропустили меня в Адмиралтейство, и за то я не получил никакой сатисфакции, хотя и просил; а теперь я и искать не хочу». На другой день после панихиды обер-гофмейстер Олсуфьев подошел к Феодосию с приглашением к императорскому столу. «Мне быть в доме ее величества не можно, понеже я обещен», – отвечал Феодосий. Обер-гофмейстер два раза повторял приглашение; Феодосий отвечал: «Разве изволит прислать нарочного, чтоб проводили». Нарочного не прислали, и Феодосий не был на обеде.

На другой день, 22 апреля, явился во дворец Феофан Прокопович и от имени других синодальных членов донес императрице, что Феодосий часто говорил непристойные слова. Вследствие этого донесения 25 числа в доме канцлера графа Головкина собрались генерал-адмирал граф Апраксин и граф Толстой, к которым явились два архимандрита из синодальных членов и подали письменный донос о непристойных словах Феодосия. Он говорил про императрицу: «Будет трусить, мало только подождать». После сам Феодосий так объяснял эти слова: «Был разговор со псковским (Феофаном Прокоповичем) о трактаменте сенаторов в доме ее величества на святой неделе, а синодских членов на том трактаменте не было, и те речи говорил от глупости, а не от злобы, что станет трусить в такой силе, что ныне задабривают сенаторов, чтоб добре дела управляли, а, сохрани бог, когда в них какое несогласие к добру общему будет, тогда духовных станут задабривать, чтоб увещевали к согласию добра общего. А что мало только подождать – говорил от слов, которые слышал, что будто цесарь намерен тайно прислать в Россию с деньгами, которыми бы склонять здешних министров в свою партию».

Архимандриты донесли, что недавно в синодской палате Феодосий говорил по поводу штата: «Никто духовным недоброжелательны, все уклонишася вкупе, какого тут благословения божия ожидать? Воистину скоро гнев божий снидет на Россию, и, как станет междоусобие, тут-то увидят все, от первых и до последних!» При этих словах стал он швыкать и руками посечение показывать. Говорил в Синоде же: «Государь старался ниспровергнуть это духовное правительство и для того нас утеснял штатом и недачею жалованья, а теперь смотрите: мы все живы, а он умер, его нет». Когда ему объявили, что государыня приказала синодальным членам собраться на служение панихиды по покойном императоре, то он, поднявши глаза к небу, говорил: «Боже милостивый, какое тиранство! Чего церковь дождалась? Мирская власть повелевает духовной молиться, это слову божию весьма противно: апостол Павел *молит* христиан молиться за царя, а не принуждает; служить буду: боюсь, чтоб в ссылку не сослали; только услышит ли бог такую молитву?» Приводя известие из 3-й книги Царств о болезни сына царя Иеровоама, говорил, что бог за грехи отца не пощадил и грудного младенца, и не только одно дитя, но и всю фамилию искоренил. Ярославскому архимандриту Кондоиди сказал: «Видал ты такой суд божий, что как он (Петр) хотел учинить штат духовный, то и умре?»

Подали доносы и другие члены Синода. Тверской архиепископ Феофилакт Лопатинский писал, что Феодосий постоянно бранился, всякого чина русских людей называл безумными, нехристями, хуже турок и всяких варваров, атеистами, идолопоклонниками. Синодский обер-прокурор Болтин показал, что Феодосий особенно сердит был на сенаторов, называл их гонителями духовенства; сравнивал, по выражению Болтина, «злато с блатом», Петра Великого с царем Иваном Грозным, а расстриженного монаха Варлаама Овсянникова, бывшего

синодского обер-секретаря, с Филиппом митрополитом, говорил, что Петра умертвил бог за расстрижение этого Варлаама. В разные времена то защищал Петра, обвиняя во всем сенаторов, то делал выходки против покойного императора; говорил: «Его величество желал все делать доброе, да не допускают сенаторы; ей-ей, святая христианская душа, да наговорщики не допускают за злобу от сенаторей на Синод за отнятие попов и что у них церкви (домовые) запечатаны и тем всю их гордыню пресекли. Доколе будет тиранство над церковию, дотоле добра надеяться невозможно и суеверие не искоренится, понеже пастыри ни в чем не могут иметь воли, а в церкви монархии нет и никакой не бывало; какие мы управители? никто нас не слушает». В другой раз говорил о Петре: «За воинские дела не для чего его хвалить: воевал он от младенческой своей охоты и из тщеславия, а не для государственной пользы. Излишняя его охота к следованию тайных дел показывает мучительское его сердце, жаждущее крови человеческой. Он делает указы и переделывает, как человек непостоянный или неблагорассудный, без всякого резона. Бывало, Филипп Пальчиков придет к государю и наговорит ему того, что он всю ночь уснуть не может; также наговорщики его и уморили. Был государь великой амбиции, глубоких и беспокойных замыслов: новые одни за другими дела заводил, сего дня задумал великое дело, завтра еще больше затеет; с наговоров бездушных людей и доносителей о всех духовных и светских особах начал иметь, как о неверных себе, худое мнение и подозрительство и обо мне также, никому не верил, только молодым своим придворным и злосовестным людям, для чего и тайных имел шпионов, которые над всеми надзирали и так иногда смущали его, что ночью спать не мог; для того подозрения всех боялся, за не очень важные слова повелевал казнить смертью, а можно было и без такого кровопролития в словах подлых людей и во всем положиться на промысл божий. Я по се время всегда думал, что мне от его рук кончина жития будет; это размышление во мне родилось от того, как я еще в молодых летах приехал в Москву с шляхтою смоленскою, приведены были в палату и пожалованы к руке; кланялся я царю Ивану Алексеевичу, и ничего; а как пришел к руке царя Петра Алексеевича, тогда такой напал на меня страх, что едва не упал и колена затряслись; с этого времени всегда рассуждал, что мне от той руки и смерть будет». Говорил: «Иерусалим и прочие святые места отдал бог варварам-туркам, отняв у христиан за их суеверие, что они поклоняются гробу господню: того ж надеяться и Русскому государству, идолопоклонствующему суевериям. Кабинет – раскольщикам прибежище и заступление. Сколько людей переказнено, а воровство не убывает, совесть в людях незавязанная, надобно обучать чрез школы, и от того познают бога и что есть грех, только без денег сего сделать нельзя, а инструмент железный невелика диковинка, дать две гривны».

Феодосий винился в одном, отвергал другое, клялся, что забыл, говорил ли третье; обвинял своих сочленов, на него доносивших, писал императрице: «Никогда в доме вашего величества и нигде слов, касающихся до высокой чести вашего величества и до целостности государственной, не говорил, и если говорил, то для чего архиепископ псковский не засвидетельствовал в то время обретающимся людям, которых была полна палата? А что сенатские члены на святой неделе трактованы, а синодские нет, то и сам его преосвященство говорил. В Синоде по разным временам говорил я с пререканием, что Синоду много противников и труд

духовных персон тщетный; а других слов истинно не помню, и если б неумеренные мои в св. Синоде какие слова были, для чего св. Синода слышавшие члены тех слов в протокол не велели записать, но, когда увидели за преступление мое о негодовании на меня вашего величества, тогда изволили доносить».

Но Феодосий сам хорошо знал, сколько он нажил себе врагов и как ему трудно оправдаться. Он обратился к герцогу голштинскому, через него послал просьбу императрице: «Хотя великая моя пред вашим величеством вина недостойна меня сотворила всякого прощения и помилования, однако, уповая на великое вашего величества всем виноватым изливаемое милосердие, сим моим всенижайшим доношением паки без извинения, ради вручителя вашему величеству сего доношения, вседражайшего зятя вашего и всей государственной высокой фамилии и ради вечного поминовения блаженные и вечнодостойные памяти императорского величества всенижайше прошу милостивейшего прощения и помилования. А ежели вашему величеству сумнительна прежняя моя и нынешняя к вашему величеству убогая верность и услуга рабская, то сим моим доношением подтверждаю тако, что по кончине императорского величества добрым и согласным советом всевышний сделал и все верные подданные вашего величества присягою утвердили, в которой по чистой моей к вашему величеству и к отечеству верности не остался и я, убогой, но прежде всех оную учинил и подписал, то и содержать ту мою присягу до кончины жизни моей тшуся непременно. Вашего императорского величества всеподданный и всенижайший молитвенник, всеблагожелательный *виноватый* Феодосий, архиепископ новгородский. 30 апреля 1725 года».

Но открылись другие вины: *гонитель суеверий* забирал иконы из церкви, обдирая с них оклады и сливал в слитки; отбирал церковную серебряную утварь, колокола и прочее церковное имение и употреблял на свои домашние нужды; распилил образ Николая Чудотворца в Никольском монастыре, что на Столпе. 11 мая состоялся приговор: «Императрица, слушав поданных на новгородского архиерея Феодосия в церковных его противных поступках доношений и подлинных доказательств синодальных членов о непотребных его предерзостных и непристойных словах и его архиерейских двух повинных руки его писем (в которых приносил вину свою точно в некоторых малых продерзостях, а в самых важных делах заперся), и его, Феодосиевых, на вопросные пункты подписанных ответов, которыми себя признал и рукою своею под каждым пунктом вину свою подписал, указала: понеже он, Феодосий, за те учиненные его к церкви божией и указам их величеств противности и непристойные слова довелся смерти; но ее величество для поминовения его величества во всем государстве к винным показанной высокой своей милости и его, Феодосия, лишить и смертью казнить не указала, а повелела от синодского правления, Новгородской епархии и архимандрии монастыря Александровского его отрешить и сослать его в дальний монастырь, а именно в Корельский на устье Двины, и содержать его там под караулом неисходно, и давать ему на одежду и на пищу по 200 рублей на год. Бывшего синодского обер-прокурора Ивана Болтина послать к делам в Сибирь, а старца Варлаама Овсянникова сослать в Соловецкий монастырь в братство». Болтин был наказан за то, что не доносил на Феодосия по должности своей и в допросах не объявил того, что после засвидетельствовано всеми синодальными членами. Потом нашлось еще несмотрение по должности, не

означенное в указе, за которое его велено немедленно отправить в Сибирь и к делам не употреблять. Приговор «бывшему новгородскому архиерею Федосу» был обнародован торжественно, с барабанным боем; иностранцы удивлялись, что никто не жалел об осужденном, напротив, все знатные и незнатные говорили, что с ним поступлено слишком милостиво. В октябре 1725 года объявлено было во всенародное известие, что Синод узнал о новой вине *плута Федоса* : в 1724 году он приказал синодскому секретарю Герасиму Семенову написать форму присяги императору и прибавил, чтоб и ему духовные присягали по такой форме: «Также и собственной моей правильной власти, великому господину, св. правительствующего Синода вице-президенту, преосвященному Феодосию обязуюсь во всем по должности моей верен и весьма покорен быть и все до его архиерейской чести принадлежащее по последней моей силе умножать и охранять». В августе 1726 года Екатерина дала указ графу Толстому с товарищами, следовавшими дело Феодосия: «Имеющиеся в Новгороде, в архиерейском доме, у чашника да в С.-Петербурге у казначея Феодосия серебро, жемчуг, камень, облачения, церковные книги, колокола, посуду медную и оловянную, лошадей и рогатую скотину, что отбирал в новгородский архиерейский дом без указа нашего бывший архиерей Федос и судья Андроник из соборной Софийской церкви и из монастырей, что ныне из тех вещей по исследованию дела за продажами и за расходами имеется налицо, велите отдать все, что откуда было взято по росписям именно с росписками; а из серебра, которое в слитках, велите сделать, как вы заблагорассудите, церковные сосуды и раздать в те монастыри или церкви, откуда то серебро взято и слито, или в другие бедные церкви и монастыри, где серебряных сосудов не имеется, с совету новгородского архиепископа Феофана. Саккос старинный, шитый по атласу белому золотом, с которого бывший архиерей Федос с оплечья, с рукавов и с подолу жемчуг снял, велите по-прежнему возобновить и сделать на память так, как был, и которые камень и жемчуг и прочие украшения с него сняты были, то все по-прежнему положить и сделать на нем, где прилично, надпись, что сей саккос испорчен был бывшим архиереем Федосом, а по указу нашему паки возобновлен». Мы видели, что и прежде сенаторы, на которых так был сердит Феодосий, противодействовали некоторым нововведениям, шедшим преимущественно от новгородского архиепископа; теперь члены Верховного тайного совета продолжают это противодействие после падения Феодосия: в сентябре 1726 года они имели рассуждение, что при прежнем новгородском архиерее Федосе выданы указы, чтоб в городах и уездах священникам со святынею и с иконами в дома к обывателям не ходить; но, быть может, это как городские жители, так и крестьяне ставят себе в озлобление, и потому рассудили взять об этих указах ведомости и, рассмотря их, доложить ее величеству с представлением мнения, чтобы в том поступаемо было по древнему христианскому обыкновению.

Так покончил свою деятельность Никон XVIII века. Оба, и Никон, и Феодосий, в своих стремлениях призывали к себе на помощь память о св. Филиппе, но неудачно, и Болтин имел полное право сказать, что здесь сравнение злата с блатом. Филипп вступился за самое священное свое право, не признаваемое грозным царем, — право печалования об опальных; в истории столкновений Никона и Феодосия встречаем монастырский приказ, штаты,

неприглашения к обеденному столу во дворец. Знаменательно различие между этими представителями русского архиерейства в XVI, XVII и XVIII веках, между Филиппом, Никоном и Феодосием; это различие объясняет нам многое в истории русской церкви, объясняет прежде всего, почему Феодосий носил титул не митрополита, не патриарха, а вице-президента Синода. Никон старался выставить себя мучеником, царя Алексея – мучителем, и понапрасну: никто не признавал этого отношения; Феодосию казалось, что он погибнет от руки Петра; но страх был напрасен: Петр казнил архиерея Досифея, решившегося снизойти до лжепророчества, но не тронул Стефана Яворского за обличение, сказанное при всем народе, тем менее мог быть озлоблен словами, сказанными в тесном кругу в потешном покровском доме; Феодосий пал в царствование преемницы Петра, женщины, которая избегала сильных мер против видных лиц, пал вследствие враждебного движения своих собратий, причем вскрылись такие грехи, за которые не пощадил бы его Петр Великий. Феодосий высказывал совершенно справедливую мысль, что жестокими казнями воровства вывести нельзя, что для этого нужно нравственное воспитание народа, школы; но зачем же заставили Петра повторять указ о сочинении необходимых для народного наставления книг и зачем было, указывая на средства уменьшить воровство, забирать в свою пользу из церквей образа и колокола и спарывать дорогие украшения с облачений?

В деле Феодосия Феофан псковской подвергся также неприятности. Мы видели, что синодский секретарь Герасим Семенов был привлечен к делу как сторонник Феодосия; Феофан в Синоде назвал его прямо ребелизантом (бунтовщиком), умышлявшим бунт вместе с Феодосием. Герасим Семенов подал доношение, что в начале 1722 года Петр Великий велел в Синоде рассмотреть обвинение на Феофана в неправославии, обвинение, подписанное Стефаном Яворским, Иоанникием и Софронием Лихудами, Феофилактом Лопатинским, Гедеоном Вишневым, Афанасием Кондоиди. В Синоде Лопатинский и Вишневский не отреклись от своего обвинения; но Феодосий явился посредником и уговорил обоих подать доношение, что они в сочинениях Феофана не находят никакого противного мудрования. Герасим Семенов объявлял, что он сам принял дело от графа Мусина-Пушкина, но потом этого дела в синодальном архиве более не видал. Потом Герасим Семенов доносил, что в букваре, сочиненном Феофаном, усмотрел он несколько важных «дубитаций», несколько неправославных мнений; доносил, что Феофан, крича на петропавловского протопopa, зачем он поставил в соборе лишние иконы, сказал: «Так, стало быть, государь – еретик, что он велел поставить столько икон, а протопop поставил вдвое больше». Но этот донос не имел для Феофана вредных последствий: он получил Новгородскую архиепископию и занял в Синоде место Феодосия. Феодосий вооружался против новых порядков, благодаря которым уменьшались доходы духовенства. Против них вооружился в описываемое время другой архиерей, известный уже нам Георгий Дашков, теперь архиепископ ростовский и член Синода. Георгий подал Екатерине такое доношение: «Яко самому богу, так и вашему величеству служу верно; для того не могу умолчать, чтобы не донести вашему величеству, ибо происходит относительно духовенства такой беспорядок, какого искони не бывало. У архиереев и монастырей с церковью сборы и деревни отнимают и определяют на вновь учрежденных правителей, на приказных, на иностранцев, на гошпитали, на богадельни, на нищих. И то правда, что церковное имение нищих –

имение для государственной славы; но, как видно, судей и приказных не накормить, иностранцев не наградить, а богаделен и нищих не обогатить, дома же архиерейские и монастыри, в иных местах и церкви чуть не богадельнями стали; архиереи и прочие духовные бродят, как, бывало, иностранцы или еще хуже, ибо служителей и потребного к церковной службе в достаточном количестве не имеют и приходят в нищенское состояние; а деревенские священники и хуже нищих, потому что многих из податных денег на правежах бьют и оплатить не могут. Того б надлежало рассмотреть, чтоб было к государственной пользе, но только то затмилось».

Мы видели, что в Верховном тайном совете сочли нужным отменить запрещение ходить духовенству со святынею по домам прихожан, и отмена этого *федосовского* запрещения, разумеется, облегчала действительно жалкое состояние деревенских священников. Что же касается архиерейских домов и монастырей, то некоторым из них сделано было облегчение насчет синодальных членов. Однажды, в самом начале 1727 года, Макаров, пожалованный в тайные советники, пришел в Верховный тайный совет с предложением, что в доношениях от Синода упоминается указ Петра Великого, по которому синодальным членам архиереям из епархий, архимандритам из монастырей присылалось кроме денег съестное, дрова и прочее в зачет определенного им жалованья; указ этот, говорил Макаров, должно уничтожить, потому что архиереи сами себе указ сочинили и толковали в нем, как им было надобно, вопреки указу 17 апреля 1722 года, чтобы указа на указ не выдавать; бывший новгородский архиерей Феодосий жаловался, что когда синодальные члены из Петербурга в свои епархии приедут, то им келий теплых не дают, и Петр Великий изволил тогда говаривать, чтобы на первое время для приезда архиерейского и архимандричья давать пищу, а не в таком смысле указ императора был, как архиереи сами собою сделали да сами ж и подписались; указ объявлен в Синоде архиереями Феофаном и Феофилактом, они же к записному указу и подписались. Члены Совета единогласно положили указ отменить, получать синодальным членам только одно жалованье, а из епархий к себе в Петербург ничего отнюдь не брать. В самом же начале 1727 года императрица в указе Верховному тайному совету говорила: «При учинении регламента Верховному тайному совету от нас повелено было о синодском правлении сочинить особое мнение на доношение нам, а оные синодские и духовные дела известным образом в весьма слабом порядке находятся; того ради также потребно, дабы члены Верховного тайного совета и члены синодальные каждой особливо о сих синодских и духовных делах и как оные впредь наилучшим образом содержаны и отправлены быть могут свое мнение, как скоро возможно, письменно сочинил и оное нам подал, и понеже оные синодские и духовные дела так важны и весьма нужны, что надлежит без всякого упущения времени надлежащее определение об них учинить, того ради оные мнения по крайней мере нам в настоящем январе-месяце подать».

Дела шли медленно в Синоде, особенно дело школьное и книжное, и потому пришли к мысли освободить синодальных членов от хозяйственного управления, вспомнили, что и Петр хотел оставить духовное собрание при одних духовных делах. В июле 1726 года Синод был разделен на два департамента или апартамента; в первом заседали шестеро архиереев: Феофан Прокопович, теперь архиепископ новгородский, Георгии Дашков ростовский, Феофилакт рязанский,

Иосиф воронежский, Кондоиди вологодский, Игнатий, бывший суздальский; они должны были управлять всякие духовные дела всероссийской церкви, стараться об учреждении школ, об учении народном (в церквах), о лучших и ученых священнослужителях, ведать типографию, стараться о печатании книг, которые были бы согласны с церковным преданием; однако о тех книгах, которые должны быть вновь сочинены и печатаемы, также если какие императорские указы должны быть выданы, должны представлять для одобрения императрицы в Верховный тайный совет и без этого одобрения не печатать. Этим членам Синода до своих епархий ни в чем не касаться, в епархиях должны быть викарии. В другом департаменте, который будет называться коллегиею Синодальной экономии, быть суду и расправе, также он заведывает финансовым управлением по примеру прежде бывшего патриаршего разряда и других патриарших приказов, и к этим расправным делам определить шесть светских особ. Писать: духовный Синод, а не святейший Синод и вице-президентов отставить, ибо эти чины приличны более к светским правлениям.

Нашли медленность Синода в напечатании и распубликовании указа Петра Великого о монастырях и монахах. В мае 1726 года Макаров спросил нового обер-прокурора Синода Баскакова о причинах этой медленности; Баскаков отвечал, что он спрашивал членов Синода, и они сказали, что о печатании и публиковании этого указа им не приказано и в присылке из Кабинета его не было. Но по справке оказалось, что копии с указа разосланы во все епархии, кроме малороссийских, а подлинный указ за подписью Петра Великого хранится в Синодальном архиве.

Феодосий, настаивавший на сильные меры против раскольников, жаловался, что в последнее время они находят себе поблажку в Кабинете. Жаловался и знаменитый Питирим нижегородский именно на то, что ведение раскольников и сбор с них двойного оклада отошли от него и от вице-губернатора Ржевского в общие финансовые и правительственные места. «Будет немалое упущение, – писал Питирим, – ибо заочные дела без настоящего собственного нашего присмотру и понуждения могут производимы быть так закрытые, как за завесою, и между тех дел плуты раскольщички, по замерзлым своим воровским обычаям, чрез поноровку приходских попов могут производить себя подлогом, яко волцы в одеждах овчих, под именем православных христиан, ибо при ведомстве моем явились в сыску многие такие подлогом при церкви обретающиеся раскольники, за что приходских попов послано на галеры более 70 человек, а с других взято штрафов с 1500 рублей. Раскольщички злую дерзость против прежнего уже много пуще ныне возымели: попов приходских, которые тщатся их раскол не укрывать, паче же приводить к обращению, тех воровски тайным обычаем убивают до смерти со многим и различным поруганием; а отколе им такая придадесе дерзость и в какой надежде, того признать не можно. Такжеде раскольщички и за бороды не платят, отговариваясь иным платежом, который положен на них особый за раскол, а не за ношение бород, да и тем, в других-де губерниях и епархиях с раскольщичков за бороды не правят; а в Нижегородской епархии с них, раскольщичков, как за раскол, так и за бороды правили без упущу, понеже блаженные памяти его императорское величество чрез доклад нашего смирения повелел править и за бороды». В другом письме к Макарову Питирим писал: «Раскольщички в немалое дерзновение пришли обаче не туне: первое, что Юрья

(Ржевский) от нас помощью выключен; второе, разглашают, что будто Юрье в Нижнем и не быть впредь; третье, синодального ведомства город Арзамас, Ерополчь и Вязниковская слобода, которая в расколе подобна Керженцу, Гороховец из св. Синода были определены указом 1722 года раскольническими и духовными делами и рукоположением в священство в Нижегородской епархии, из которых чрез труд наш в обращении более 10000; а в прошлом, 1726 году от ведения моего указом из св. Синода отрешены к дикастерии; и сия вся раскольщики видевши, разглашают пред простыми о мне, ему-де и от всех дел раскольнических будет отказано. И правда, таковыми случаи немалое подадесея им на мя дерзновение: смолчать грех, а и говорить не без сомнения, якобы любоначалиа ища».

Относительно западных исповеданий Синод заметил, что при католической церкви в Петербурге находятся четыре колокола; спросили у священника Якова Диалогия, по какому указу он держит колокола. Тот отвечал, что он с товарищами при определении в церковь нашли уже в ней колокола. Синод представил Верховному тайному совету, что при католической и других кирхах колоколам быть не следует, потому что исстари в Москве и других местах колоколов при таких кирхах не было. Совет положил справиться с коллегиею Иностранных дел, нет ли каких на этот счет контрактов и привилегий, и после отрицательного ответа велено было снять колокола.

Против протестантов хотели напечатать книгу Стефана Яворского «Камень веры»; но по известному нам распоряжению этого нельзя было сделать без одобрения в Верховном тайном совете. Книга была представлена, и Совет решил: отослать ее к тверскому архиепископу Феофилакту Лопатинскому для просмотра, не явится ли в ней какого подозрения или чего к закону российскому не надобного, и, как он ее рассмотрит, пусть рапортует в Совет. При этом князь Дмитрий Михайлович Голицын заметил, что отчасти в этой книге находится и ненадобное. Известно, что в царствование Петра Великого некоторые английские епископы изъявили желание присоединиться к восточной православной церкви. В октябре 1725 года Синод подал императрице доклад, что по указу Петра Великого находящийся в Петербурге Александрийской патриархии протосингел Иаков послан был в разных годах неоднократно в Великобританию к тамошним епископам для некоторого немаловажного дела с письмами и в бытность свою там имел труд немалый и небезопасный. При этом Афанасий Кондоиди писал Макарову: «Так как я по указу Петра Великого определен был комиссаром греческой нации, и потому, исполняя обязанность моего звания, объявляю особое мое мнение, некоторому лучше быть в Англии протосингелу Иакову, чем тамошнему греческому архимандриту Геннадию, во-первых, за службы Иакова, его труды, рачения, попечения, бедствия и страхи; во-вторых, уменьшатся издержки казны государевой; в-третьих, протосингел Иаков присягал в верности ее императорскому величеству и может нам там приносить немалую пользу, будучи искусен в делах политических; в-четвертых, протосингел отчасти разумеет по-русски и может находящихся в Англии русских исповедовать и прочих св. таин сподоблять, а тамошний архимандрит не только не знает ничего по-русски, но и в России никогда не бывал». Так в первые два года по смерти преобразователя люди, оставленные им России, разбирались в материалах преобразования; как же при этом разборе, при этой трудной внутренней работе поддерживалось значение

России, приобретенное при Петре? Но прежде, нежели приступим к ответу на этот вопрос, посмотрим, что делалось на окраинах.

Мы видели, как в Малороссии люди, хотевшие поддержать старину, проиграли свое дело, отделивши свои интересы от интересов остального народонаселения; правительству в своих стремлениях к приравнению стоило только опереться на интересы низших слоев народонаселения, чтоб уничтожить попытки приверженцев старины. Таким образом, приравнение Малороссии к Великой России последовало точно так же, как и приравнение Новгорода к Москве. Полуботок умер в Петербургской крепости до решения своего дела. При Екатерине оно было решено. В феврале 1725 года новое правительство издало указ, в котором говорилось, что Петр Великий устроил в Малороссии коллегия для охранения подлого малороссийского народа от тяжких обид, чинимых ему генеральною старшиною, полковниками и прочими урядниками; но генеральная старшина и некоторые полковники, не отставая от прежнего своего обычного скверного лакомства и чинимых подлому народу обид и разорений, посылали от себя в Малую Россию универсалы, повелевая полковой старшине подлый народ, ежели в таких тяжких им обидах владельцам своим хотя малую обиду учинят, вязать, в тюрьмы брать и нещадно публично карать; это было донесено его величеству Малороссийскою коллегиею и от четырех полков, а именно: Стародубского, Нежинского, Миргородского и Черниговского; от полковой старшины, куренных, сотенных и козацких атаманов и козаков на генеральных старшин челобитье и многие жалобы произошли; просили о защищении и призрении и от тягостей избавления, вследствие чего старшина была вызвана в Петербург. По исчислении известных противозаконных поступков старшины в указе говорится: за такие вины Черныша, Савича, Жу-раковского и Лизогуба с семействами, также семейство Полуботка должно было сослать в Сибирь и отнять имение; но императрица для поминовения Петра Великого указала им жить в Петербурге безвыездно «для того, чтоб народу малороссийскому впредь от них обид и разорения не было». Одинакой участи подвергся и миргородский полковник Апостол. Ката (палач) Семена Игнатова и челядника Полуботкова Карпа Луценко, которые по приказанию Полуботка задавили и бросили в воду краморку Марью Матвейху, сначала велено было казнить смертью на Украине, но потом приговор был изменен: велено их бить кнутом и, вырезав ноздри, сослать в Рогервик на вечную работу; других, которым Полуботок приказывал о убийстве, но они не исполнили приказа, однако, и не донесли об этом, велено, учиня наказанье, сослать в Сибирь в ссылку. Верховный тайный совет тотчас после своего учреждения, 11 февраля, занялся делами малороссийскими и рассуждал, что, пока еще с турками до разрыва не дошло, для удовольствования и приласкания малороссиян выбрать из них же человека годного и верного в гетманы; новые подати все сложить, а брать только те, которые собирались при гетманах на войско; суды должны быть составлены из одних малороссиян с переносом дел в Малороссийскую коллегия. В мае 1726 года в Верховном тайном совете рассуждали о миргородском полковнике Апостоле и решили отпустить его на Украину, а в Петербурге оставить сына его; императрица согласилась, но прибавила, чтоб взять с старого Апостола крепкую присягу в верности. Осенью на тех же условиях были отпущены в Малороссию Лизогуб, Черныш и Жураковский.

Мы видели, что Петр, убедившись в виновности Полуботка с товарищами, велел возвратить из Архангельска в Малороссию знатного козака Данила Забелу, сосланного при Скоропадском за доносы. Забела подал теперь Екатерине новое донесение. «Чтобы вперед в Малой России не было измены, – писал Забела, – надобно выбрать верного человека, который, не жалея сродников и прочих, только единому вашему величеству радел бы по боге и всякие порядки в Малороссии устроил вместе с господином Вельяминовым или с кем другим, потому что хотя десять коллегий учредите в Малороссии, но всего не можете проведать так, как от одного из наших верных. Прежде всего надобно сделать так: какие при измене были начальные и знатные люди, тем отнюдь не владеть селами и должностей правительственных не занимать; самых виноватых из них собрать в одно место и назвать его Изменничья или Мазепинская слобода, дать им место не корыстное для поселения, пусть строятся как хотят, только бы каменных домов не строили; остальных взять в Петербург, чтоб они там селами не владели, и жалованье давать им определенное из их же доходов, а не так, как Чернышу, ежегодно присылается кроме денег больше ста волов. Полковников и сотников поставить вновь верных, утвердить их присягою и наградить селами и другими пожитками, взятыми у изменников, не жалеть при этом никого, потому что врагов жалеть – себя не жалеть; начать с гетманихи (вдовы Скоропадского) с братом ее Андреем: они желали победы над государем проклятому Мазепе, за которого и теперь умирают. В Глухове и теперешние управители остаются в великой измене, иные не по мере своей завладели городами и многими селами; что от проклятого Мазепы и от Скоропадского кому дано, все то перебрать и всем везде по достоинству дать, кому что следует, а чего кому не надлежит, то взять на ваше величество. Гетманы изменяли особенно потому, что им одним давали чрезмерную силу, власть и веру, точно самодержцы были; разбогатевши, не только фельдмаршалов ни за что почитали, но хотели, чтоб и государева имени никогда не поминали, а только бы одно их имя поминалось, тайком и монархами себя, бывало, называют. Без подписи генеральной старшины и полковников не принимать от гетмана никакого дела и не верить им; учредить ординатов и силу дать им такую, чтоб могли судить по челобитью на гетманов; поставить 12 ординатов для правосудия, построить дома каменные большие для славы, над домом чтоб был орел с надписью: „Дом ее императорского величества, приказ или юстиция“. Так же и по полкам судили бы полковники с старшиною своею по юстициям, и сотники с своими сотенными старшинами судили бы тоже в юстициях; для этого приказать мудрым людям составить книгу правосудную; а если бы по сотням, полкам и в ординацких судах не было правосудия, то переносить дела в Малороссийскую коллегия, а если бы и в коллегии дело было решено несправедливо, то переносить его в Кабинет к вашему императорскому величеству, и кабинет-секретарь, как поверенный, должен о всем доносить под совестью. Не должно отягощать воинских людей, ни с мельниц, ни с сел не брать поборов; с купецких людей и посполства установить поборы надлежащие. С монастырских сел и мельниц можно брать всякие поборы, потому что некоторые из архиереев и многие из прочих начальных монахов о измене ведали и советовали с проклятым Мазепою; по селам монашеским десятую часть мужиков оставить, а девять частей в козаки на службу взять, потому что монахи сильно притесняют своих мужиков, также и в других селах притесняют, насильно из Козаков в мужики идти принуждают, отнимают и

убивают; для этого монахам по селам жить не следует, пусть светских приказчиков держат, а иное сами бы работали, как им закон велит; держать села монахам только по универсалам прежних гетманов до Ивана Самойловича, а мазепинские и Скоропадского универсалы уничтожить, ибо для плутовства своего много лишним завладели. Другим монахам мудрым приказать, чтоб заводили школы латинские, дабы в государстве умножились мудрые люди. Протопопам и попам также не надобно сел давать, ибо они не лучше, притом от помещиков содержание получают; из протопопов некоторые мешались во время измены не в свое дело. Подати надобно учредить наилучшим образом, чтоб не говорили, что встали против общего отягощения народного, позабыв, что сами народ погубили взятками и убийствами, не могли ничем насытиться. Есть в Малороссии проклятого Мазепы племянники и друзья любимые нетронуты, потому что при измене не были; таких надобно особенно опасаться и усмирять, отобравши у них села и мельницы, верным отдать. Скоропадский с своею супругою при министерстве Протасьева большое плутовство размножили; верным великая была пагуба от Протасьева из-за взяток; и у моей жены больше 15 куф вина взяли и сулили мне сто рублей. Проклятый Мазепа и Скоропадский очень опасались того, чтоб в Чигирине не сделали другого гетмана; можно это сделать и теперь, чтоб и та сторона Днепра была под державою вашего величества. Черныш знает, как проклятый Мазепа писал ко мне, искушая меня, обещался быть ко мне милостив, как отец, клялся, лежа больной в Батурине, говорил: будь мне верен, а не государю, и я тебе чего надобно дам. Прошу ваше величество не объявлять о моем доношении, чтоб не отомстили моим детям, как самого меня едва не погубили, когда мое доношение стало известно гетману Скоропадскому; публиковал он его по всей Малороссии, и за мою верность и правду мне и детям моим всегда будет укоризна и ненависть от тех, кто написан в моем доношении, поэтому опасно служить верою и правдою или что доносить вашему величеству. Во время гетманства проклятого Мазепы и Скоропадского укоряли меня верностию деда моего Забелы, говорили: когда бы не дед твой Забела, не была бы Малороссия под государем и Москвою, а ты такой же враг наш, что в государя и москалей веруешь».

Попытка Мазепы увлечь Малороссию к измене была последнею: народ не откликнулся на гетманский призыв, и нарвский победитель стал полтавским побежденным: нравственные и материальные средства оказались на стороне царя, на стороне единства России. Полуботок с товарищами попытались мирными уже средствами противодействовать приравнению, и эта попытка не удалась; царь обратился опять к тому большинству, которое стало на его стороне в 1708 году. В другой козацкой стране, на Дону, также научились из булавинского опыта, что борьба козаков с государством была невозможна и при самых неблагоприятных для государства обстоятельствах: донцы были спокойны, спокойно брали свое жалованье: 17142 руб. денег, 7000 четвертей ржи, 500 ведр вина. Но козацкие силы отливали далее на восток, в степь, на Яик, ибо там козак имел настоящее свое значение, там он стоял на стороже Русской земли, постоянно бился с степняками, разминал в широком поле плечи богатырские в борьбе с поганью. В 1725 году приехал в Петербург с Яика легкой станицы атаман Арапов с товарищами и просил позволения завести поселение и построить крепость для оберегания границы на заставах по Яику, выше Яицкого городка, на устье реки

Сакмары, близ башкирцев, где переправляются и ходят в Россию неприятельские каракалпаки и киргиз-кайсаки и ближним к тому месту городам причиняют большое разорение и людей в плен забирают. Сенат согласился, но с условием, если яицкий атаман и все войско пожелают и усмотрят надобность в этом новом поселении для оберегания границы; но и в таком случае быть Арапову и товарищам его под смотрением войскового атамана и других яицких старшин и Козаков, и Военная коллегия должна подтвердить им накрепко, чтоб они отнюдь беглых, как великороссиян, так и малороссиян, не принимали.

Граница России с степными кочевниками переносилась все далее и далее на восток: вместо Днепра и Оки, как было прежде, она очутилась теперь на Яике. Здесь каракалпаки и киргизы играли роль старинных половцев и татар, сильная Орда Калмыцкая, зашедшая к Волге, охвачена была государством и понапрасну билась в его крепких объятиях. Мы видели, что при Петре с калмыцкими отношениями к России была связана деятельность астраханского губернатора Волынского. Волынский принадлежал к числу тех людей, которые всем были обязаны Петру и которые, однако, имели побуждение не очень печалиться о смерти великого преобразователя; подобно Меншикову и Феодосию, Волынский мог думать, что событие 28 января 1725 года избавит его от беды. Он потерял расположение Петра своими поступками, своим старовоеводским поведением; на него наложен был штраф за то, что выдал жалованье своим подчиненным без ассигнаций Штатс-конторы; упомянутый уже нами поступок его с Мещерским возбудил сильное неудовольствие. В своих бедах Волынский и жена его прибегали обыкновенно к ходатайству Екатерины; Волынский всеподданнейше доносил ей о всех делах, как царствующему государю; например, в марте 1723 года он писал ей: «Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу: персидский посол сюда прибыл, который объявил о себе, что он от шахова сына, который ныне короновался шахом, отправлен полномочным послом и имеет просить ваше величество о войсках для обороны от их неприятелей, также, ежели повелено ему будет от вашего величества вступить в какие трактаты, велено ему так заключить, на каких кондициях ваше величество изволите. Донесши сие, всемилостивейшая государыня, всеподданнейше и нижайше прошу ваше императорское величество содержать меня, сирого и последнего вашего раба, и милостиво не оставить в материнской милости и милостивой протекции».

Материнская милость оказалась через пять месяцев по восшествии на престол Екатерины; в июле 1725 года Волынский был сделан казанским губернатором, вероятно, для прекращения столкновений его с генералами кавказского, или, как тогда называли, низовского, корпуса; велено выдать ему удержанное при Петре жалованье, сложить штрафные деньги; калмыцкие дела велено было ведать ему по-прежнему. Волынский отвечал на эти распоряжения таким письмом к императрице от Камышенки: «Получил я указ из Сената о том, что ваше императорское величество повелели положенный безвинно на меня штраф 12000 рублей снять, а паче соизволили свободить из астраханской пеклы, и что я между здешних варвар волочуся на моих собственных проторях, за те мои убытки наградить. Я, волочаясь здесь, ныне уже было и до того дошел, что калмыки за мое к ним бескорыстное благодеяние и за труды и самого меня убить или поймать хотели. Дабы уже всему их бешенству конец был, для того, может быть, пробуду здесь до октября-месяца или и дале. Когда уже ваше императорское

величество соизволили калмыцким делам быть в моей дирекции в Казанской губернии, я в том предаюсь в волю вашего величества».

Между калмыками опять начались усобицы. Наместник Черен-Дундук, видя, что Волынский не хочет принести ему в жертву Досанга, хотел призвать к себе на помощь кубанских татар, но Волынский помешал сношениям калмыков с татарами. Скоро, однако, он убедился, что от Досанга нельзя ожидать никакого добра. «Я желал, – писал Волынский, – чтоб калмыки были разделены на две партии, и до сего времени держал больше Досангову сторону, но теперь вижу, что он человек непотребный, забыл благодеяния государя Петра Великого и мои труды, забыл, что я спас его от смерти, из нищих сделал сильным владельцем; забывши все это, он искал покровительства кубанцев, после чего нельзя уже ждать от него никакого добра; кроме того, при нем людей умных и добрых нет. Черен-Дундук хотя не умнее его и такой же пьяница, однако человек с совестью, да и люди при нем отцовские умные и добрые есть, через которых все можно делать. Сколько Досанга под протекциею ее императорского величества ни держать, но совершенно уберечь нельзя, потому что он перед тою стороною бессилен, а держать при нем всегда наши войска очень убыточно и трудно, да и ту сторону можем этим отогнать, и пути в нем не будет, потому что у него люди воры, а брат его Нитар-Доржи над всеми ворами архиплут; все владельцы и простой народ другой стороны на них страшно озлоблены, потому что от них ни другу, ни недругу спуска нет, всех обокрали кругом. Так как Досангу все равно пропадать же, то, по моему мнению, надобно сделать так: объявляя все его дурные дела, объявив, что императрица отнимает от него свою руку, отдать его на суд Черен-Дундуку, чтоб управился с ним сам; та сторона такую милостию будет довольна; в противном случае они самовольно его погубят и будут хвастаться, что сделали это, несмотря на покровительство, оказываемое нами Досангу». Императрица отвечала, чтоб Волынский поступал по тамошнему состоянию дел и по своему рассуждению. Досанг начал исправляться по-калмыцки: удавил брата своего Нитар-Доржи и прислал труп его к Волынскому.

Между тем дело Мещерского не затихало, и в конце года Волынский пишет императрице из Пензы: «Я засвидетельствуюся богом и делами моими, что я никакой вины моей не знаю: однакож, как известно вашему императорскому величеству о многих персонах, ко мне немилостивых, от которых ныне такое наглое гонение терплю, что поистине сия печаль меня с света гонит и в такое отчаяние привела, что я не смею ни на какое дело отважиться, понеже, что ни делано, редкое проходило без взыскания, и я только в том живу, что непрестанно отвечаю и за добрые дела так, как бы за злые; и тако, сколько ни было слабого ума моего, истинно все потерял и так сбит с пути, что уж и сам себе в своих делах не верю. Сотвори надо мною, бедным, божескую милость и чтоб указом вашего императорского величества повелено было мне в нынешней зиме хотя на малое время побывать ко двору вашего императорского величества». В следующем письме объясняется причина беды: «Военная коллегия приказала за мичмана Мещерского судить меня военным судом. Служу я с ребяческих моих лет и уже в службе 23 года, однако никакого штрафа на себя не видал и ни с кем на суде сроду моего не бывал; а ныне прогневил бога, что будут судить меня с унтер-офицером; а паче с совершенным дураком и с пьяницею; известно всем, что он, Мещерский, ни к чему не потребен и дурак и пьяница, для того он, Мещерский, и жил в доме

генерала Матюшкина в прямых дураках, где многих бранивал и бивал, также многие и его бивали, и, напоя пьяного, и сажею марывали, и ливали ему на голову вино, и зажигали, он же бывал в доме его острижен и по-жидовски, а и кроме того, и в прочих во многих домах, куда б он ни пришел, везде смеивались над ним; неоднократно валивался он пьяный по кабакам и по улицам и ганивался за многими с палками и с камнем. Прошу, дабы прежде освидетельствовано было одного Мещерского состояние, также и то, какие мне учинил обиды и как в доме генерала Матюшкина бранил меня, и бедную жену мою, и сущеву младенца дочь мою, чего ни последнему унтер-офицеру снести невозможно».

В Петербурге готовили Волынскому новую неприятность. 15 декабря 1725 года в доме императрицы собрался Тайный совет по иностранным делам; присутствовали Меншиков, Апраксин, Головкин, Толстой, Остерман, Ягужинский. Читали последние донесения Волынского о приближении киргиз-кайсаков и каракалпаков к Яику и о намерении их ударить на калмыков. Тут генерал-прокурор Ягужинский донес о мнении Сената, чтоб Волынскому быть у одного дела: или у калмыцкого и жить в Саратове, или управлять Казанскою губерниею, а вместо него к калмыцкому делу назначить другого, которого подчинить генерал-фельдмаршалу князю Михайле Михайловичу Голицыну, причем Голицын должен иметь главную квартиру в Рыбном и командовать над всеми войсками по Волге и Дону, кроме Астрахани и крепости Св. Креста. По долгом рассуждении императрица изволила определить: Волынскому оставаться и губернатором казанским, и у калмыцких дел, и так как он для последних должен быть в частой отлучке, то придать ему в товарищи вице-губернатора для управления губернскими делами во время его отсутствия; но по калмыцким делам Волынский должен быть подчинен фельдмаршалу князю Голицыну, который должен иметь главную квартиру в Рыбном и командовать войсками по Волге и Дону согласно с мнением Сената.

Защитив таким образом Волынского, оставив при нем обе важные должности, хотя и с подчинением Голицыну по калмыцким делам, императрица на его жалобные письма и просьбы о позволении приехать в Петербург отвечала в марте: «Господин губернатор! письма твои все до нас доходят, из которых мы усмотрели, что в немалом ты сумнении находишься о том, якобы мы имеем на тебя гнев свой; и то тебе мнение пришло в голову напрасно, и хотя прежде по письмам Еропкина отчасти имели некоторое сумнение, однакож потом в скором времени чрез письма свои ты выправился, и остался в том помянутый Еропкин, что неправо о том он доносил, а вашими поступками в положенных на вас делах мы довольны. Что же представляешь свои нужды и просишься для того, также и для доношения о некоторых тамошних важных делах ко двору нашему: и ныне тебе ко двору быть невозможно затем, что писал к нам недавно генерал-фельдмаршал князь Голицын, что Черен-Дундук согласился с кубанцами и ищут чинить нападение на донских Козаков и на Петра Тайшина, и для того надлежит вам подлинно о том проведовать и до того не допускать; а потом, також и по осмотрении нужных дел в Казанской губернии в июне-месяце приезжайте к нам в Петербург».

Несмотря на это утешительное письмо, дело о Мещерском продолжалось. 30 апреля Волынский писал опять Екатерине: «По присланному из Военной коллегии указу поведено генерал-лейтенанту Чекину судить меня военным судом за

Мещерского, который был у генерал-лейтенанта Матюшкина в дураках. И понеже хотя Адмиралтейская коллегия и показала надо мною такую немилость, какой еще образ, как началось регулярное войско в государстве, ни над кем не бывало, чтоб кто из штаб-офицеров был сужен с унтер-офицером, и паче что с публичным дураком; однако по всем военным артикулам вины моей не сыщется, ежели меня будут судить правильно, но останется в том генерал-лейтенант Матюшкин: первое, что он держал у себя унтер-офицера в дураках и попускал его не токмо ругать, но и бить офицеров; второе, что оной Мещерской бранил меня в доме его при нем и говорил, что мне, и жене моей, и дочери виселицы не миновать, в чем он не токмо ему (не) воспретил, но еще тому и смеялся и мне никакой сатисфакции не учинил».

То, чего не мог сделать Сенат относительно Волынского, то сделал Верховный тайный совет: осенью 1726 года калмыцкие дела были взяты у Волынского. Верховный тайный совет донес императрице, что он требовал на его место кандидатов из Военной коллегии, которая представила генерал-майоров Шереметева и Кропотова; Екатерина ответила, что Шереметев и Кропотов у калмыцких дел быть не способны и Кропотов к тому же болен.

Калмыцкие дела действительно требовали способного человека. Мы видели, какие были получены в Петербурге известия о калмыцких замыслах против донских Козаков. Один из калмыцких владельцев, брат Досанга, принял христианство и назван был Петром, но этот поступок возбудил против него неудовольствие в родичах. Новообращенный посылал к брату своему Досангу мурз требовать разделения улусов; но Досанг велел отвечать, что не даст улусов человеку, который принял христианскую веру и надеется на русских людей; пусть просит русского бога и христиан: они ему помогут. Петр Тайшин действительно обратился к христианам, писал к князю Михайле Михайловичу Голицыну, что если императрица и он, князь, ему не помогут, то он останется у своих в презрении и все будут ему смеяться. Голицын написал Досангу, что, если он оставит брата в убожестве, тот станет искать милости и суда у императрицы и она прикажет его судить, то, получа гнев, будет ему стыдно. Угроза подействовала, и Досанг разделился полюбовно с братом. Кроме калмыков башкирцы не переставали возбуждать опасения. Геннин, который на Олонецких заводах заступался за раскольников, теперь на Уральских заводах заступался за инородцев, притесняемых русскими чиновниками, и указывал на вредные следствия таких притеснений. Геннин давал знать, что в Вятской провинции комиссары собирают с инородцев большие сборы, а отписок им в получении не дают, отчего инородцы приходят в разорение; они просили Геннина, чтоб для сборов определен был особый командир, добрый человек, и они будут платить всегда бездоимочно. В той же провинции фискал поставил заставу, у которой берут с вотяков и других инородцев по 20 копеек с возу хлеба, в Соликамской провинции берут с них обыкновенную пошлину, а когда возвращаются домой и покупают из казны соль, то берут у них по 12 копеек с возу, а расписок нигде не дают. Геннин опасался, чтоб инородцы, выведенные из терпения, не возмутились вместе с башкирцами. Башкирцы также жаловались Геннину, что их разоряет табачный откупщик Белопащинцев, принуждает их покупать гнилой табак, который продает вместо пуда 30 фунтов, и если они купят хорошего табаку на стороне, то откупщик их разоряет. Башкирцы же жаловались Геннину на уфимских судей, что волочат их

верст за 700, а правосудия никакого не оказывают, берут взятки; поэтому они просили, чтоб был над ними один судья. Правительство поручило Геннину исследовать, какие обиды терпят башкирцы от откупщиков; Геннин в свою очередь поручил это дело верному человеку – бургомистру купеческой ратуши Юхневу, который указал грабительство, «от чего, – писал Геннин, – тайная искра, которая под пеплом тлеет, может со временем огненное пламя родить».

Дополнения

1. *Письмо князя Дмитрия Мих. Голицына из Киева к кн. Меншикову 1717 года, февраля 5.*

«Светлейший князь и милостивейший наш патрон изволил, ваша светлость, ко мне писать, дабы прислать из Киева в Питербурх Казнодея (проповедника) Прибыловича. Доношу вашей светлости, такой монах в Печерском монастыре есть, токмо человек не есть состояния доброго, но еретичеством против восточные церкви и такое ныне чинил дерзновение: от скольких лет принята была в церкви молитва Манасия, царя иудейска, положенная в часослове, – вымарал и внушает, что не должно призывать на помочь пресвятую богоматерь и св. угодников божиих и за усопших творить поминовения, и предания церкви и соборы святых божиих уничтоживает, и как я был ваш верный слуга, так и ныне по должности своей доношу вашей светлости, дабы вы были об нем известны, ибо ежели б я его прислал, а он бы и тамо показал блевотину свою, чтоб изволил иметь на меня нареkanie, что я, ведая о его безделье, вашей светлости не донес, и прошу вашей светлости на сие респонсу, и, ежели повеление ваше будет, пришлю его без замедления. При сем к вашей светлости посылаю пять календаров сего 1717, киевского друку».

2. *Письмо кн. Дмитрия Мих. Голицына из Киева к кн. Меншикову 1717 года, сентября 20:*

«Писал ко мне брат князь Михайло Михайлович, что ваша светлость, мой государь, изволили показать ко мне заочную патронскую милость, за что я не могу чем заслужить, токмо да воздаст вам вседержитель, и впредь вашей светлости, моего государя и благодетеля прошу, дабы я в оной же вашей патронской милости был не оставлен; мне свои несносные напрасные обиды не может перо мое вашей светлости от болезни своей изъяснить, которые деются от г. Головкина, которой, не взирая суда божия и внешнего, всякими способами ищет, как бы мне пакость нанести; воистинно, мой государь, совесть моя не зазрит, чтоб я государевым хотя малым был корыстен, а что бог изволит, в том воля его, всещедрого. Мой милостивый отец и государь, во все свое время благодетеля и милостивого своего патрона иного я не сыскал, как вашу светлость, и хотя я в верности вашей не первой ваш слуга, однакож и не последний, в чем изволите сами признать, и в надежде вашей патронской отеческой милости прошу во всех случаях и в обидах меня не оставить».

3. *Письмо адмирала Апраксина к Меншикову 19 августа 1716 года:*

«Светлейший князь, милостивый мой патрон. Вашей светлости моего милостивого отца и благодетеля письмо с приложенною копию с другим разговором из Санкт-Петербурга июля от 30 я здесь настоящего августа 16 числа сохранным получил, за которую вашу отческую милость приношу мое нижайшее поклонение и долженствую служить до последнего моего живота, и не дивлю на сие, понеже есть злоба древняя и без того обойтится не может, и желал и желает поглотить многих; но бог всемилостивый до того не допустил, и впредь надеюсь на милостивые ж его щедроты, изволишь рассудить совестную злобу, как всеми мерами проискивает, но и того безделья не оставил, что несколько сажень камня от Ревеля на порожих талках привезено, что ис того потеряния государственному интересу? И хотя б я по своему чину одно ластовое судно и подлинно для своих нужд имел, и за то б не мнил на себе возыметь царского величества гнева, однакож все сие оставляю на суд вышнего и его царского величества и надеюсь во всех своих делах быти прав и получить сатисфакцию, прочее оставляю и прошу вашу к себе отчую милость, содержи меня по своей милости, изволишь напомнить, первая злоба на меня родилась, что я своим исканием привязался к вам, и явно меня о сем просили и вашей светлости чрез многие факции предъявляли, дабы чем вашу светлость от меня отлучить, но бог всемилостивый по высокому вашему разумению сердца вашего от меня отвратить не изволил».

4. Из письма адм. Апраксина к кн. Меншикову из Ревеля. 20 июня 1717 года:

«Особливо вам, моему милостивому патрону, благодарствую за показанную заочную высокую ко мне милость, о чем писал ко мне брат мой Петр Матвеевич, также известился от моего истинного благодетеля Александра Вас. Кикина, о котором прилежно прошу: ежели ему случатся какие нужды, не изволь его оставить».

(Дела кн. Меншикова в Москов. архиве мин. иностр. д.)

Приложения

1. Письмо к кн. Меншикову от полковника Ивана Бухгольца из Тобольска 11 февраля 1717 года

Доношу вашей высокой светлости: в прошлом, 714 году против доношения господина губернатора Сибири князя Матв. Петр. Гагарина его царскому величеству отправлен я по именному е. в. указу в Сибирь, и велено в Тобольску у г. губернатора Сибири взять войска 1500 человек, и со оным войском иттить в новопостроенную крепость Ямышеву, и, перезимовав, иттить к калмыцкому городку Еркетью, и оной городок достать, и укрепить, и проведать на Дарье-реке, как калмыки промышляют песошное золото. И в 716 году, июня в 30, взяв я войска 2450 человек и пришед, у Ямышева озера в октябре-месяце построил город; а преж того писал я до его величества, что контайша, колмыцкой владетель, имеет у себя многие войска и того для мне до назначенных мест иттить не беспечно, на что я себе никакова указа не получил, и февраля в 11 того ж 716 году (?) пришли внезапно в ночи от вышепомянутого владетеля контайши войска, тысяч десять и болши, и прежде разьезды и караулы скрали, и лошадей государевых и офицерских мало не всех отогнали, и приступили к крепости и к квартире, и

приступали часов с 12; обаче с помощью божиею оных от крепости и от других мест отбили, и, отступя, оные калмыки недалече остановились и атаковали крепость и другие места караулами так крепко: четырех, государь, человек послал я в розные числа в Тобольск со известием, и оные все впали в руки неприятелю, и волею божиею пришла в войске у нас на людей болезнь, от которой в сутки человек по 20 и болше помирало, и болезнь в людех непрестанно умножалась; и, опасаясь, государь, чтоб артиллерия и многая амуниция не досталась в руки неприятелю, и не надеясь к себе ниоткуда сикурсу, апреля в 28, разоря оную крепость, с малыми здоровыми людьми уступил на судах вниз по Иртышу до усть реки Оми, где ныне я построил город; а в прошлом же, 716 году декабря в 16 прислан ко мне указ великого государя, велено мне иттить до Зайсан-Нор озера, через которое прошла река Иртыш, и на оном озере построить город немалой, и против того указу подал я г. губернатору доношение, что оное озеро во владении контайши выше Ямышева вверх по Иртышу в дальнем расстоянии, и проход судовой и сухопутный велми трудной, и дойти малыми войски и новыми людьми невозможно; и на оное доношение его сиятельство изволил мне сказать на словах, что вел. государь, уничтожая (презирая) народ калмыцкой, не указал великих войск посылать; и, конечно, указал малолюдством до того места итти. И о сем вашей высокой светлости доношу: понеже до оного озера за многими войски калмыцкого владетеля контайши, которой имеет у себя войск великое число оружейных и к войне обычных и ежели покажет противность, дойти невозможно, и не токмо они могут за оное озеро войну иметь, но и за Ямышево с великими войски контайша брата своего прислал с войною, и, ежели, государь, ныне отправлюсь я до оных мест, ясно вашей высокой светлости доношу, что многой интерес его величества утратится и могу я в калмыцкие руки впасть и с войски безвестно, а истинно, государь, оной народ напрасно уничтожен. Всепокорно и нижайше вашей высокой светлости рабски прошу о милосердном заступлении, дабы я, не отправляясь в такую дальность, мог прежде видеть его цар. величество.

2. Письмо Алексея Волкова к кн. Меншикову 30 октября 1725 года

Светлейший князь, милостивый государь мой патрон! Ваша светлость милостиво напомнить изволите, что каким образом меня, почитаю, от самого младенчества в вашу милость милостиво принять и отчески воспитать и обучить и всегда содержать изволили, и помощью божиею и вашей светлости милостивым призрением дошел до такого состояния, что его божественною благодтию и вашим отческим снабдением истинно доволен и должен всегда о здравии и благополучии вашей светлости и всего вашего высокопочтенного дому бога молить и с моею обыкновенною верностию и прилежностию вашей светлости и всему дому вашему служить до кончины моей; и, надеясь на помянутую вашу ко мне отческую милость, никогда б хотел я о сем мыслить, чтоб и ваша светлость, быв довольны моею, могу смело сказать беспримерною к вашей светлости и к вашему княжескому высокопочтенному дому верностию и толь многолетнею и вашей светлости весьма прибытною службою, паче же имея ко мне всегда постоянно вашу отческую милость, а при нынешней моей смертоносной болезни, а наипаче при пришедшем самом часе смертном, который непостижимый всевышнего

промысел отвратить от меня изволил, вашим долгом турбовать меня изволили, невзирая на то, что всех сердца к слезному соболезнованию и сожалению обо мне благодать божия обратила тогда изволила; и хотя б ваша светлость и не изволили иметь надежды в животе моем, но я не токмо все свое имение, но детей моих и душу свою рекомендовал по бозе в ваше милостивое отческое призрение и шлюсь на мою духовную, что я не упустил того вашей светлости долгу, но именно написал, ежели милости показать не изволите, то продать часть моих деревень или б оную ваша светлость на себя взять благоволили, в котором намерении и ныне есмь. Ежели ваша светлость не изволите напечатать прешедшей моей двадцатолетней верной службы, я могу во имя господне пред всем светом сказать, что никто вашей светлости как из внешних, так и внутренних слуг так верно и непорочно не служил, как я, ежели все прошедшие случаи милостиво напомнить изволите, а именно: чаю, в памяти вашей светлости, 1) что я сколько лет держал ваш домовый приход и расход и во всем учинил я вашей светлости порядочный отчет так верно, что ни единая денга ваша не утрачена. 2) Отправлял вашу собственную корреспонденцию со всяким охранением вашего интереса и секрета. 3) А в бывшем счете вашей светлости в канцеляриях князя Долгорукова и князя Голицына какой я дневношней труд имел и о ползе вашей старался, о том вашей светлости и всем довольно известно, и что по канцеляриям нашим на вашу светлость было напрасно написано, то моим трудом и старанием все сложено. 4) А во время бывших против вашей светлости разных претензий каким образом, невзирая ни на какие страхи, забыв живот свой, должность адвоката отправлял, о том всем же известно, за что от некоторых судей немалой гнев и страх претерпел. А паче всего во время бывших баталий, акций и блокад неотступно при вашей светлости был, охраняя ваше здравие со всяким тщанием, и при всяких случаях служил по всякой возможности как советом, так и делом. 5) Отстал ли я от вашей светлости и при последнем бывшем претрашном и рыдательном случае, во время кончины всемилостивейшего государя императора? Но какое мое старание советом и делом было, о том как вашей светлости, так и прочим многим известно (богом свидетельствуюсь, что оттого и настоящая болезнь мне приключилась).

3. Реппорт, коликое число по репортам из застав явилось в Питербурх в приезде из городов с хлебом и прочими припасы

Сего 723 года января с 7 по 20 число возов:

1) К дому их импер. в-ства и государыни и-цы – 173; 2) разных чинов людей с припасы шляхетства – 2067; 3) купецких людей с товары – 1763; итого: 4003. С 20 по 26 число: 1) к дому императора и императрицы – 183; 2) к дому царицы Прасковьи Федоровны – 236; 3) к шляхетству с припасами – 904; 4) купецких людей с товары – 2276; итого: 3599. С 26 января по 2 февраля: 1) к дому императора и императрицы – 45; 2) шляхетству – 1022; 3) купецких людей с товары – 307; итого: 1374. Со 2 по 9 февраля: 1) – 54; 2) – 846; 3) – 825; итого: 1725. С 16 по 23 февраля: 1) – 173; 2) – 674; 3) – 221; итого: 1068. С 23 февраля по 2 марта: 1) – 263; 2) – 592; 3) – 584; итого: 1439. Со 2 по 9 марта: 1) – 161; 2) – 201; 3) – 3; итого: 365. С 9 по 16 марта: 1) – 65; 2) – к дому царицы Прасковьи Федоровны – 5; 3) – 128; 4) – 9; итого: 207. С 16 по 23 марта: 1) – 10; 2) – 43; итого: 53. С 23 по 30 марта: 1) – 16; 2) – к дому царицы Прасковьи Федоровны – 2;

3) – 66; 4) – 14; итого: 98. С 30 марта по 6 апреля: 1) – 32; 2) – 80; 3) – 27; итого: 139. С 6 по 13 апреля: 1) – 16; 2) – 130; 3) – 9; итого: 155.

4. Из письма Девьера к Меншикову 11 марта 1723 года: «И о сем не умолчу вашей светлости донести, что сего марта 9-го числа в первом часу пополудни государыня царевна Мария Алексеевна от сего света преставися и одержима была каменною, цынготною и другими болезнями, и сего вечера в Петропавловском соборе погребать будут».

5. Из письма Девьера к Меншикову 12 марта 1723 года: «Что вчерашнего числа вашей светлости я доносил, что имелось быть погребение государыни царевны Марии Алексеевны, однако ж вчерась того не учинено затем, что не исправилась, а будет то погребение ныне, и велено съезжаться от генералитета и до штап-офицеров с женами в четвертом часу пополудни в дом за Фонтанкою-речкою, где ее высочество жила».

6. Из письма Акинфия Демидова к кн. Меншикову 15 февраля 1727 года: «Писали ко мне Санкт-Петербургские прикащики мои, что Берг-советник Василий Татищев подал ее и. в-ству челобитную, возбуждая паки то дело, которое было со отцем моим Никитою Демидовичем в сущей нелицемерной нашей правде, как предстать судищу Христову, отвращая от народного разорения и завоцкого опустения: токмо донныне оной Василий Татищев желает со мной помиритца и просит дву тысяч рублей; но однакож, хотя совесть меня к тому и понуждает, понеже как вашей высоко-княжей светлости известно, что я стал одинак и здешных заводов положить не на кова, к тому ж я весьма к таким делам не заобычаен, и ежели мне за приказными делами бродить, то, конечно, во всех моих завоцких промыслах учинитца остановка и разорение; ибо заводы, яко детище малое, непрестанного требуют к себе доброго надзирания, токмо я под таким сомнением остаюсь, понеже которой приговор до мнения господина артиллерии генерал-майора Геннина в Вышнем суде и учинен, и в том того не показано, чтоб ему, Василью Татищеву, какую награду учинить, но однакож в сем на высокое вашей высококняжей светлости отческое милосердие полагаюсь, как ты, государь, о сем соизволишь, хотя ему что и дать – быть так, что нам от них терпеть, ибо на них и работаю, которое за благодарением бога моего и терпети понуждаюсь. Чрез самую мою крайнюю и необходимую нужду принужден и вашу высококняжью светлость трудить, ибо многое бывшего отца моего и мое прошение в Берг-коллегии о даче нам Лапаевских казенных заводов со крестьяны, токмо и поныне на то резолюции я не получил; а в том прошении сила та, ибо мне заводы, кроме слобод, не нужны, понеже за помощью божиею у нас и своих заводов довольно, токмо за недачею мне к тем вновь заведенным моим заводам крестьян часто те заводы недействительны стоят; а ежели мне оных Алопаевских заводов с слободами не отдадут, то прошу хотя б по поданному доношению с мнением от Берг-коллегии в Правительствующий сенат определили мне к тем, к новозаведенным моим, одному медному и к семи железным заводам из крестьян

по двести Дворов: пожалуй, милостивый отец и государь, не оставь сей моей просьбы для государственной пользы».

7. От того же к тому же 18 апреля 1724 года: «В благодарении содетеля моего бога остаюсь, что с господином советником Татищевым в происшедшем между нами деле состоялся мир: того ради нижайше вашу высококняжью светлость прошу: буди, государь, по отеческой своей милости за меня заступник, чтоб сему подобно смиритца и с благородным господином генерал-лейтенантом Салтыковым по делу моему с ним в сыскании на мне за беглых его крестьян пожилых денег, которых мы купили с Нижегородскою Фокинскою вотчиною и перевели в Сибирь на заводы, отдать бы ему те деньги, которые он по тому делу в пошлину употребил, ибо, государь, воистину такая тяжёбные дела весьма мне не заобычны и не малую завсегда печаль мне наносят и отлучают от управления завоцкого». (Дела князя Меншикова в Москов. архиве мин. иностр. дел)

8. Число дворов и доходов в дворцовых селах и волостях: в Московской губернии – 17000 дворов, с них 35799 рублей доходу; в Петербургской – 4324 двора и 11087 доходу; в Киевской – 913 дворов и 1341 рубль доходу; в Архангельской – 326 дворов и 768 рублей доходу; в Нижегородской – 14194 двора и 34 623 рубля доходу; в Азовской – 5333 двора и 10 528 рублей доходу; в Казанской число дворов не показано, а доходу 341 рубль; всего 42090 дворов и 94490 рублей доходу.

Сбор пошлин с кораблей в 1724 и 1725 годах

Города – Корабли – Деньги (руб.)

Петербург 1724. – 240 – 10723

Петербург 1725. – 242 – 17682

Архангельск 1724. – 22 – 1122

Архангельск 1725. – 12 – 217

Кола 1724. – 4 – х

Кола 1725. – 5 – х

Нарва 1724. – 115 – 1950

Нарва 1725. – 170 – 4749

Рига 1724. – 303 –

Рига 1725. – 386 –

Ревель 1724. – 62 –

Ревель 1725. – 44 –

Выборг 1724. – 28 –

Выборг 1725. 72 –

(Кабинет 11, Кн. №2)

9. В 1724 году в Кабинете императрицы отпущено 23819 рублей, из того в расходе жалованья: комнаты ее величества – 5305, комнаты царевны Анны Петровны – 794, Елисаветы Петровны – 467, Натальи Петровны – 268, комнаты

великого князя – 869. При распределении жалованья значится гоф-юнкер Семен Маврин, которому жалованья 200 рублей. Между прислугой Елисаветы Петровны два пажа – Александр и Андрей Шуваловы. (Следственные дела в Архиве мин. юстиции, № 72/288)

10. Светлейшему князю Александру Даниловичу всего духовного собора пастырей доношение, притом и мнение их ему объявляется: 1) рождественским и крещенским царским часам удобно быти в царствующем граде С.-Петербурхе в палате, идеже преж сего отправлялися. (На полях резолюция: Быть посему.) 2) При том действе быти соборному протопопу Георгию с верховным диаконом Иваном Афонасьевым. (Быть.) 3) В день Рождества Христова после литургии надлежит быти духовным и прочим служителем для духовного согласия в крестовой палате, именуемой астерии. (Быть.) 4) По расположении того ли или в иной день надлежит духовным с животворящим крестом к дому князь папы быти, и прославя Христа, ему князь папе, а он им духовным долженствует поздравити, а порознь в дома их не ездить, понеже царского величества присутствия не обретается. (Быть так, как при царском величестве было.) 5) При домах государских, где повелит его светлость славити, или довольствоватца одною вышепомянутою крестовою. В дому ц. в. быть, а государыни царевне доложить. 6) Которого дня повелит его светлейшество для славления быти у себя в дому? (На другой день праздника.) 7) Надлежит быть в дому адмирала сиятельного графа Федора Матвеевича того же ли или в иной день? (В иной день.) 8) Также надлежит быти в канцелярии высокопочтенного Сената, а по славлении их высочества обще поздравить, а порознь в дома их не ездить. (Ездить порознь в дома.) 9) Все духовные усовевывали для надлежащего времени быть в среднем одеянии, т.е. в одних рясах. (Дается на волю вашу.) 10) О всем вышеписанном он, светлейший князь, своим благоразумием како повелит быти, чего весьма требуем, понеже его светлость над сим царствующим градом вышний губернатор и повелитель. (Из дел князя Меншикова в Москов. архиве мин. иностр. дел)

11. В 1721 году в полку Киевском было козаков конных 1657, пеших – 1269, посполства достаточного – 1563, посполитых убогих – 2421, всего – 6910. В полку Черниговском всех козаков 6406, всего посполства – 12132, всего – 18538. В Стародубском – козаков 4123, посполства – 11694, всего – 15817. В Нежинском – козаков 9945, поспол. – 6306, всего – 16251. В Переяславском – коз. 700, посп. – 5772, всего – 12472. В Лубенском – коз. 10655, посп. – 9470, всего – 20125. В Миргородском – коз. 4840, поспол. – 11640, всего – 16480. В Полтавском – коз. 5135, поспол. – 8704, всего – 13839. В Гадяцком – коз. 5809, поспол. – 5890, всего – 11699. В Прилуцком – коз. 3310, поспол. – 7028, всего – 10338. (Тот же архив)

12. Описание кончины Петра В. в донесении французского посланника Кампредона 10 февраля 1725 года.

La maladie prevenoit d'un reste de vieux mal vññrien mal guÿri... Depuis son retour du voyage de Ladoga, i n'a jouit gue d'une santÿ fort languissante, il s'est peu

appliquй aux affaires, quoiqu'il parыt en public a son ordinaire. La nuit de 20 au 21 janvier il fut attaque d'une rйtention d'urine trыs violente; on lui donna les remides et l'on publia quelques jors aprыs qu'il йtait hors de dangers; on appella cependant plusieurs mйdecins et entre autres un Italen nommй Lazariti, homme trыs capable, qui йtant informe de la cause du mal du Czar la jugea sans risque pourvu qu'on suivit la maniere de traiter qu'il proposait, a savoir de dйgager la vessie de l'urine qu'y croupissait pour prevenir l'inflammation et ensuite guйrir l'ulcere qu'on ne doute point qu'il n'ait au col de la vessie: M-r Blumentrost rejeta d'abord un avis qui ne v.enoit point de lui, et continuant sa cure palliative, le Czar resta au мкме йtat jusqu'a samedi matin 3 de ce mois. Il se trouva plus mal vers le soir, et la nuit il eut de si grandes convulsions, qu'on ne crut point qu'il en reviendrait; elles furent suivies d'un dйvoirement, et le dimanche matin on s'aperzut que son urine йtait fort puante; le mйdecin Italien insista de nouveau sur la necessitй de pomper l'urine de la vessie, ce qu'i fut neanmoins diffйrй jusqu'au l'endemain в dix heures qu'un chirurgien Anglais nommй Horn lui fit opйration avec succыs, ayant tirйrыs de quatre livres d'urine; elle йtoit d'une infection йprouventable melйe de morceaux de chair et de membranes corrompues; cependant le Czar se trouva soulagй, il reposa quelques heures, et l'on debita dans le public qu'il йtait hors de dangers. Il passa la nuit du lundi au mardi assez tranquillement; mais ce jour-la vers les dix heures, ayant demandй a manger, on lui donna du gruaut d'avoine; il en eut a peine avalй quelques cuillerйes, que la fièvre le prit; ce fut alors qu'on ne douta plus que la partie ne fut attaquйe de la gangrине et par consйquent sans remide; cependant aucun des mйdecins n'osoit porter cette nouvelle a la Czarine, mais M-r le C-te de Tolstoy ayant interrogй M-r Lazariti, lui dit que si on avait quelques mesures a prendre pour le bien de l'Etat, il йtait temps d'y travailler, le Czar n'ayant que peu a vivre. En effet la nuit de mardi au mercredi les convulsions ie reprirent; elles furent suivies d'un grand dйlire, pendant lequel on lui entendit dire qu'il avait sacrifiй son propre sang. Il sejeta hors de son lit nonobstant les efforts de ceux qui le gardaient; il voulut qu'on lui ouvrit la fenetre pour prendre l'air, mais il tomba aussift en faiblesse; on le remit au lit, et depuis ce mement jusqu'a celui de sa mort, l'on peut dire qu'il a йтй dans une agonie continuelle, n'ayant pu dire que quelque paroles, ni faire aucune disposition testamentaire, soit par la crainte qu'on a eu de lui proposer comme un прйsage de sa fin prochaine, soit que la Czarine et ses amis connussent assez les intentions du prince moribond pour ne pas vouloir hazarder quelque changement que la faiblesse de l'esprit accablй sous le poids des grandes douleurs aurait pu occasionner. La Czarine ne l'a presque point quittй et elle lui ferma la bouche et les yeux avanthier huitieme de ce mois a 5 heures du matin. Hier on exposa ce prince dans son lit de parade оц teut le monde est admis a lui baiser la main. L'affection desa mort est universelle, et l'on peut dire avec veritй qu'il est aussi regrette dans le tombeau qu'il a йтй craint et respectй sur le trone; aussi n'est ce qu'a la sagesse deson gOuvernement et aux soins continuels qu'il a pris de civiliser sa nation, que l'on est redevable de la sureтй parfaite dont on jouit izi jusqu'a прйsent оц l'on ne remarque aucune esprise de mouvement que ceux de la tristesse parmi les troupes et ie peuple.

13. Подметное письмо 1724 года: «В 723 году уставить изволил (государь) канцелярию, которая пишется Вышним судом. Вышнего суда господа, по согласию с Макаровым, чинили, желая себе, чрез ево, Макарова, старание, у

вашего величества описных деревень, понеже по всем о деревнях прошениям докладывает вашему в-ству оный Макаров, а именно: Дмитриев-Мамонов, полковник Блеклый, Егор Пашков, Алексей Баскаков, Иван Бахметев, которым уже и дано немало, токмо еще якобы недовольны; граф Мусин-Пушкин да граф Матвеев от него, Макарова, весьма одолжены, ибо что до них касалось наперед сего и ныне по доношениям фискальским важных интересных дел, то все им, Макаровым, закрыто. Генерал Бутурлин и Головин только в то время приезжали, когда им они повестят, и, что оные господа предложат, к тому они и подписывались, а капитан Бредихин хотя и всегда с ними в канцелярии бывал, токмо одним голосом против их делать ему было нечева». (Государ. архив)

14. Челобитная людей боярских Петру В. (без года): «Просим и молим и умильно вопием, да ты на милость приклоним о свободстве, дабы нам из Содому и Гоморру отраднее было. На сем нашем приношении к тебе, великому государю, сановнии твои бояре и князи тебе, великому государю, станут возбранять, чтоб нам у них, яко в Содоме и Гоморре, мучиться, яко лви, зубы челюсти своими пожирают и, якоже змии ехидные, разсвирепся, напрасно попирают и, якоже волцы свирепии, бьют нас, яко немилостивые пилаты: великий государь, смилуйся, пожалуй!» (Москов. архив мин. иностр. дел)

15. Письмо императрицы Екатерины к бригадирше Марье Румянцевой 19 января 1725 года: «Письмо ваше от 8 числа января мы получили, чрез которое уведомились, что бог вам даровал сына Петра, со оным новорожденным вам поздравляем; что же желаете, дабы вместо нас была восприемницею царица Имеретинская, и, по желанию вашему, даем вам позволение, дабы вместо нас присутствовала восприемницею помянутая царевна (?) Имеретинская, о чем мы к ней от себя писали и то письмо при сем прилагаем, впрочем, желаем оному новорожденному младенцу благополучного просвещения св. крещением и счастливого воспитания в увеселение вам». Этот новорожденный младенец был знаменитый впоследствии граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский. (Письмо в Государ. архиве)

16. Просьба Екатерине I Елисаветы Лефорт, вдовы знаменитого Франца: «В дряхлости и престарелых летах обретающаяся вдова генерала Франца Лефорта, доношу, что я принуждена от племянника моего, генерал-майора Петра Лефорта, толико несносных обид и противностей претерпевать, так якобы ему приятно было седые мои волосы от печали в гроб положить». Дело состояло в том, что Петр В. пожаловал своему любимцу Францу Лефарту вотчину, которая потом записана была за Петром Лефартом с оставлением, однако, в пожизненное владение вдовы Францевой; но Петр Лефорт владел вотчиною и пользовался доходами, хотел овладеть и остальным имением, тогда как у него был двоюродный брат, польский посланник Яган Лефорт, который ничего не получил, но, по словам Елисаветы, питал к ней сыновнюю нежность. (Кабинет, II, кн. № 75)

17. Письмо жены Волынского Александры к императрице Екатерине 25 октября 1723 года: «Прогневали мы бога, что вижу гнев его и в-ства на мужа моего: того ради, всемилостивейшая государыня, припадая к ногам вашего в-ства, прошу со слезами: умилосердись, премилосердая государыня мать, покажи над нами, сирыми, божескую милость, не дай мне, бедной, безвременно умереть, понеже и кроме того всегда была больна, а ныне, видя себя в таком злом бедстве, и последнего живота лишаясь. Известно вам, всемилостивейшая государыня, что у нас, сирых, и отец и мать, вся наша надежда только что ваше в-ство». (Государ. архив)

18. Письмо Волынского к императрице Екатерине 23 ноября 1723 года. После поздравления с именинами Волынский продолжает: «При сем всеподданнейше прошу милостиво мне, последнему рабу вашему, упустить, что я за бедами моими укоснил должного моего рабского благодарения приносить вашему в-ству за показанные ко мне высокие паче достоинства моего милости, что ее высочество, всемилостивейшая государыня наша цесаревна Анна Петровна, соизволила девочку мою милостиво именовать своею крестницею. Поистине могу донести вашему в-ству, так меня сей год бедами посетил бог, что не знаю, как во мне остался живот мой, а жена моя, бедная, и прежде худа в здоровье была, а ныне так дошла, что и последнего здоровья лишилась и многократно была безгласна, а ныне еще заболела. И тако, всемилостивейшая государыня мать, вижу себя, что лишил меня бог всякой утехи, одна только радость наша и вся надежда и упование на высокую милость вашего в-ства». (Государ. архив)

19. В 1707 году Петр указал: «Лучшего ради благолепия и чести св. икон имети о них в художестве управление и повелительство духовное, по апостольским и св. отец правилам, преосвященному Стефану, митрополиту рязанскому и муромскому, а во искусстве того иконного и живописного художества над изуграфы иконного и живописного писма, которые пишут св. иконы, московских градских и иностранных приезжих во всей всероссийской своей державе надзирать и ведать их, кроме всех приказов, и свидетельствовать иконы, объявлять признаками, которые впредь им даны будут, и смотреть прилежно у себя Ивану Зарудному, и приказать ему с подтверждением, чтоб изуграфы св. икон писания благолепно и удобноподобно по древним свидетельствованным подлинникам и образом искусным и тщательным писанием управляли с великим прилежанием в добродетельном житии, кроме пьянства и кошунств. И учинить списки и записную книгу для всякого осмотра и свидетельства мудрым искуснейшим иконного и живописного писания изуграфом, кто имяны; а не искусным и не рачительным св. икон не писать. И ведать ему, Ивану, с ведома преосвящ. Стефана-митрополита; а за высочайшую честь, св. икон и в благопотребном изуграфстве управительного надсмотрения писатися ему, Ивану, суперинтендентором». (Москов. архив мин. ин. д. Дела князя Меншикова)

Иконостасы в петербургские соборы, Петропавловский и Исаакиевский, делал тот же Зарудный в Москве. Он умер в 1727 году, недоделав Исаакиевского

иконостаса; доделывать поручено было подмастерьям Зарудного под надзором архитектора Усова. (Кабинет, II, кн. №85)